Эрнест
Кольман
[Мы не должны
были так жить!]

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мемуары партийного и государственного деятеля СССР и Чехословакии, доктора философии Э. Кольмана – это не только историческое свидетельство, но и прежде всего, психологические размышления одного из «последних могикан» сегодня уже почти вымершего племени революционеров-идеалистов. Эти люди пришли в революцию с наивысшими этическими требованиями, но им не удалось предотвратить вырождение системы, которую они сами помогали создавать.

- Эрнест Кольман
  - ○
  - ○
  - ○ Предисловие
  - ○ Для чего я пишу
  - ○ Часть первая. Прага
    - ■ В мире детства
    - ■ Атмосфера семьи
    - ■ Я весь в отца
    - ■ Неважный ученик
    - ■ Влюблен в Лилавати
    - ■ Романтизм двух национализмов
    - ■ Тянет в дальние страны
    - ■ В двух высших школах
    - ■ Замечательные люди
    - ■ Я знакомлюсь с марксизмом
  - ○ Часть вторая. В войне и в революции
    - ■ Муштра
    - ■ Фронт и контузия
    - ■ Попали в плен
    - ■ Нас везут в Сибирь
    - ■ Из лагеря в лагерь
    - ■ Зреет протест
    - ■ Бури революции
    - ■ Борьба за мир
    - ■ В роли парламентера
    - ■ Я – советский гражданин
    - ■ Разговор с Лениным
    - ■ 14 месяцев Восточного фронта
    - ■ Автор «Швейка» в Красной Армии
    - ■ «Агент Коминтерна»
    - ■ В каторжной тюрьме

- Партийная работа в Москве. Надежда Константиновна
- Оппозиционная борьба
- Три встречи со Сталиным
- На Урале и в Средней Азии
- Возврат к науке
- Встреча с Мартичкой
- «Идеологическая» подготовка репрессий
- Бывало и так…

○ Часть третья. Без передышки
- «Ежовы рукавицы»
- Жуткая предвоенная полоса
- Война началась
- В эвакуации
- Смерть нацизму!
- Возвращение в Прагу
- Дипломатическая миссия
- Покушения
- Долой абстракционизм!
- Мирная конференция в Париже
- Наш друг, югославский партизан
- Бескровный переворот
- Конфликт с Расселом

○ Часть четвертая. Лубянка
- Роковой шаг
- Корни деформаций социализма
- Вражище
- Ворвань и воля
- Ночи тюремные
- Это была «ошибка»
- Начало прозрения
- Реабилитация кибернетики
- Последний раз в Праге
- В водовороте научных дискуссий
- Прыжок в Новый Свет
- И тут плохо, и там плохо…
- Запоздалая ересь
- Наследники Сталина
- Короткая Пражская Весна
- 21 августа 1968 года
- Зажимают рот

○ Открытое письмо
○ Диалог двух поколений
○ Хронология важнейших событий из жизни Эрнеста

Кольмана
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

Эрнест Кольман
Мы не должны были так жить!

© Кольман Э., наследники, текст, фотографии, 2011
© Издательство «Человек», издание, 2011

* * *

Посвящаю самому младшему из моих внуков и внучек, Эрику Яноуху, родившемуся 7-го марта 1971 года

Предисловие

Мне пришлось долго уговаривать моего тестя Эрнеста Кольмана, чтобы он написал свои воспоминания. Он начал их писать только после того, как ОВИР в шестнадцатый раз отказал ему и его жене посетить их дочь Аду, сначала – в Праге, а потом – в Швеции.

У Кольмана было много причин быть недовольным коммунистическим режимом: он писал свои мемуары в Москве, где в те времена царила особо отвратительная форма бюрократического и дегенерированного советского «коммунизма»; он начал их писать после вторжения советских войск в его родную Чехословакию; после того, как КПСС, в которой он состоял более 50 лет, вынесла ему «выговор с предупреждением» за статьи и выступления в поддержку Пражской весны. И, наконец, после того, как он в течение нескольких лет испытывал на собственной шкуре тюремные камеры на Лубянке. Несмотря на это, в своих мемуарах он временами как бы оправдывает происходившие на его глазах события.

Эрнест Кольман начал писать свои мемуары в 1973 г. и закончил их в начале 1975 г. В том же 1975 г. его воспоминания – более 500 убористо написанных рукописных страниц – были нелегально вывезены через США в Швецию. Я никогда не говорил Кольману, кто помогал при осуществлении этой операции. Быть может, ему это не пришлось бы по душе, не показалось бы вполне «кошер». Он мучился бы угрызениями совести, поскольку такие методы плохо сочетались с его коммунистическим сознанием и верой.

В сентябре 1976 г., после ходатайства шведского премьер-министра Улофа Пальме у Леонида Брежнева, Кольман и его жена, Екатерина Концевая, получили, наконец, заграничный паспорт и приехали в Стокгольм. Кольман немедленно принял решение не возвращаться в СССР (в эту тюрьму, как он выразился) и написал открытое письмо Брежневу. В письме он ставит его в известность, что выходит из КПСС, в которой состоял 56 лет. Это письмо (см. приложение) получило на Западе широкую огласку и было опубликовано в десятках западных газет.

После приезда в Стокгольм, Кольман и его жена проделали последнее литературно-языковое редактирование рукописи, но оно не затрагивало содержания и оценок, оставшихся без изменений. Я старался понять взгляды этого старого большевика под конец жизни, и мы с ним провели сотни часов в интересных

дискуссиях, часто переходивших в бурную полемику, и даже иногда – в острые споры. Я задавал ему вопросы, – и он отвечал на них. Вскоре я начал записывать наши беседы на магнитофон. В конце концов, мы перешли к записям на бумаге: Кольмана это больше устраивало. Ему было 84 года, и он довольно плохо слышал, но зато владел пером прекрасно, не хуже, чем в молодые годы. Наш диалог мы вели на немецком языке, которым Кольман владел, пожалуй, лучше всех других языков. Когда издательство «S. Fischer» во Франкфурте получило рукопись нашего диалога, то опытный главный редактор запретил в ней что-либо менять: дело в том, что Кольман писал на пражском немецком языке начала прошлого столетия, то есть, на том диалекте немецкого, который уже давно исчез и сохранился лишь в произведениях пражских немецких писателей: Франца Кафки, Макса Брода, Франца Верфеля, Райнера Мариа Рилке и др. Диалог вышел как часть второго немецкого издания мемуаров Кольмана, во Франкфурте, в 1982 г., под заглавием Wie habt ihr so leben können? (Как вы могли так жить?). Сейчас, 35 лет спустя, я, быть может, формулировал свои вопросы несколько иначе, но так же как и мемуары, диалог оставлен точно в том же виде, в котором мы его с Кольманом вели.

Мемуары Эрнеста Кольмана вышли в 80-х годах в двух немецких изданиях: в издательстве «S. Fischer», а также – по-шведски, по-датски, и по-русски – в американском эмигрантском издательстве «Чалидзе Пресс», в Нью-Йорке. Чешское издание мемуаров вышло значительно позже, в 2005 году под названием Zaslepená generace – Paměti starého bolševika (Заблудившееся поколение – Воспоминания старого большевика), и вызвало много положительных откликов. Например, известный чешский критик Павел Косатик написал в своей рецензии: «Написать подобную книгу в форме романа было бы невозможно, – никто бы ей не поверил. Такая жизнь могла произойти лишь на самом деле».

Мы с женой подготовили для печати первое московское издание воспоминаний Кольмана. Прошло почти 35 лет с тех пор, как я впервые получил вывезенную из СССР рукопись. Я снова внимательно и подробно перечитываю воспоминания Кольмана. Я, к сожалению, должен заметить, что количество вопросов, которые я задавал автору в конце 70-х годов, только возросло. Кольман был необычайно талантливым и высокообразованным человеком. Он знал много языков, был профессором математики и философии, хорошо разбирался в современной физике, логике, истории естественных наук, в истории религии. Его энциклопедические знания во многих областях импонировали не только его друзьям, но и недругам. Так, например, бывший

ректор Мюнхенского университета Николаус Лобковитц сказал о Кольмане, что тот в 1945 г. в Праге «…вызвал немедленно уважение к себе: он знал всегда гораздо больше, чем можно было бы ожидать в те времена от советского философа; прежде всего, его глубокое знание математики, физических и естественных наук, и, не в последнюю очередь, знание логики, должны были произвести сильное впечатление на позитивистски настроенный Пражский университет».

Как же возможно, что этот человек оставался так долго в неведении? Тут может быть единственный ответ: коммунизм стал для него, воинствующего атеиста, религией, церковным учением, верой. А в церкви о вере обычно спорить не принято.

Некоторые моменты в мемуарах Кольмана кажутся сегодня архаичными, наивными, даже смешными. Несмотря на это, они оставлены в том виде, как были написаны: как свидетельство той эпохи, и одновременно как свидетельство необыкновенной притягательной силы, которую имела коммунистическая идеология и которая, к сожалению, у нее есть до сих пор и, наверное, сохранится и в будущем. Мемуары являются уникальным документом, свидетельствующим о притягательности коммунизма не только для бедных и униженных, но и для образованных людей, для интеллектуалов. В отличие от фашизма или нацизма, коммунизм не был, однако, никогда побежден и разоблачен, и виновные в преступлениях против человечности не были никогда осуждены и наказаны. Преступная сущность коммунизма укрылась и продолжает укрываться за победой во Второй мировой войне, за научно-техническими успехами, за успехами в развитии и производстве современного оружия, включая ядерные бомбы и межконтинентальные ракеты.

Победителей не судят… Поэтому советский ГУЛАГ, террор ЧК, зверские по своему содержанию телеграммы и приказы Ленина и Сталина, в которых они требуют казнить тысячи невинных людей, голод в стране, десятки миллионов мужчин, женщин и детей в советских концентрационных лагерях, – все это *пока* частично прощается, так как Советский Союз был одним из трех союзных держав-победительниц, да, к тому же, является сверхдержавой…

По стечению обстоятельств, я как раз недавно, когда мы начали готовить мемуары Кольмана к печати в России, прочел несколько книг Александра Яковлева, в особенности, его книгу «Крестосев», и ознакомился с его документальной серией книг о злодеяниях коммунизма. Я не могу не задавать себе вопроса,

ответа на который мне уже никогда не получить: как бы реагировал Эрнест Кольман на эти сегодня обнародованные архивные материалы, не оставляющие камня на камне в коммунистической вере и морали, в непорочности ее святых апостолов?

Текст воспоминаний мы оставили в том же виде, как 35 лет тому назад. Мы лишь внесли небольшие поправки, уточнив некоторые географические названия, имена и даты.

Мы с женой счастливы, что мемуары Эрнеста Кольмана, наконец, будут изданы в Москве, на русском языке, на котором они были написаны. Мы уверены в том, что эта книга не перестанет быть актуальной, поскольку в настоящее время Россия ищет свой новый национальный идентитет и пути к его достижению. Хотелось бы верить, что опубликование мемуаров Эрнеста Кольмана будет способствовать осуществлению этой цели.

Франтишек Яноух, Стокгольм, Июль-август 2010 г.

Для чего я пишу

Историю своей жизни я берусь написать, когда мне подходит к восьмидесяти. Уже во второй раз я приступаю к этой задаче. Еще в 23 году (мне не было тогда 31) я во время болезни набросал несколько десятков страниц воспоминаний детства (и они чудом сохранились, я использовал их сейчас), но дальше не пошел. Кроме того, в разное время, в виде статей и одной книжки («Повернувшие штыки») я опубликовал отрывочные воспоминания о некоторых своих жизненных эпизодах. Это единственные источники, из которых я могу черпать, – никаких дневников или записей у меня, естественно, не имеется, если, конечно, не считать собственную память.

Отмечаю это для того, чтобы перед собой и перед другими оправдать пробелы и неточности, которые (в чем я не сомневаюсь) встретятся здесь, в написанном.

Нарушения объективности изложения вызваны не только недостатками моей памяти и отсутствием записей. Как мне теперь ясно, я в свое время оценивал многие, причем важнейшие факты, весьма неверно. Искренне заблуждаясь, я питал иллюзии, которые затем обманули меня, но тогда я боролся за их осуществление, жертвуя всем. Спрашивается, где же гарантия, что нынешние мои оценки верны? Конечно, ее нет, и я не собираюсь навязывать кому бы то ни было свое мнение.

Но при всем этом, несмотря на то, что здесь невольно будет содержаться не только Wahrheit, но и Dichtung[1], я субъективно честно буду стремиться писать правду, только правду и полную правду, не допуская полуправды, которая хуже лжи. Это относится прежде всего к политико-социальным оценкам, к оценкам моих личных позиций, и к оценкам людей, которые мне встречались в жизни.

И тут сразу встает вопрос: зачем и для кого я пишу все это, зная, что при данных координатах пространства и времени никто не станет печатать такую «ересь»? Разве не очевидно, что в наше противоречивое время, для характеристики которого трудно подыскать прилагательное, нельзя и помышлять об издании этой работы.

Пусть эти мои воспоминания будут чем-то вроде исповеди, которой, как считается, верующий христианин облегчает свою совесть. Что ж, у меня на совести немало грехов. Может быть, если я попытаюсь самокритически публично покаяться в них, то на том свете черти проявят ко мне при поджаривании некоторое снисхождение. А как я написал, об этом – как в таких случаях

говорится – пусть судят другие. Еще одно сомнение. Вероятно, надо было писать по-чешски, на моем родном языке. Но русский стал для меня более привычным, и, кроме того, он все же обеспечивает более широкий круг читателей.

Часть первая. Прага

В мире детства

Вот я, маленький, играю на ковре, в углу комнаты, перед окном. Рядом сидит няня, огромная, в огромной комнате, она не то вяжет, не то чинит чулки, не то рассказывает сказку, не то поет:

Изюминки, миндаль,
Арноштеку дадим…

Нет, это ведь колыбельная песня, она здесь не причем, тут, видно, я что-то перепутал. Должно быть, все это я слышал позже, из рассказов матери.

Наплывает другая картина. Бабушкина комната. Бабушка не живет с нами, мы с мамой пришли к ней в гости. Полутемно, в нижнем этаже окно выходит в сад, оно затенено каштанами, липами. И сколько здесь рукоделия, кружев самых тонких редких узоров, самой трудной работы! Бабушка, хотя ей далеко за шестьдесят, не перестает заниматься плетением кружев на пяльцах, конечно, ради собственного удовольствия. Она ни минуты не сидит без дела. Не носит очков, глаза ей не изменили. Кружева, а также вышивки, какие-то выпуклые, она раздаривает всей родне.

Мне года четыре-пять. Я мал ростом, голова перевешивает, то и дело падаю и набиваю шишки на лбу. Ходить к бабушке в гости я очень люблю. Как она интересно рассказывает, разговаривает со мной, как с равным, не сюсюкает, как это делают почти все взрослые с детьми. И всегда чем-нибудь особым угостит – кусочком засахаренного имбиря, или изготовленным ею же розовым печеньем из плодов шиповника. Она замечательный кондитер по профессии. Помнится, однажды, она запасла для меня огромное чудо-яблоко, говорила, австралийское, от кого-то она его получила. И тут же рассказала про заморские диковинные страны.

Но главное, какие занимательные игрушки у моей бабушки! «Чертов узел» – многогранный деревянный крест. Его надо сначала разобрать, а потом снова сложить. Первое еще и так и сяк удается, после долгих поисков, но второе никак не выходит. И бабушка не подсказывает, она приговаривает: «Нужно иметь терпение и быть внимательным. Когда ты разбирал, ты ведь видел, как эти кусочки сложены, какой с каким. Ничего, повозись, повозись, Арноштек, постепенно научишься». Но, наконец,

бабушка сжалится, отложит свои пяльцы, возьмет кусочки, на которые «чертов узел» рассыпался, повертит их туда-сюда, и каким-то волшебством фокусника вся эта сложная геометрическая фигура опять цела. И так много раз, пока я не научился этому искусству. Имеется еще металлическая ручка из согнутой наподобие буквы проволоки, с подвешенными на ней костяными кольцами. Их все надо снять, а потом снова надеть, но и то и другое сделать нелегко. «Игры на терпение», так их тогда называли, «математические игры» – называют их теперь.

Возможно, что они как-то приобщили меня к математике, к стереометрии, но уж никак не научили терпению. Ведь нетерпеливость была всегда и осталась и ныне одним (не единственным, конечно) моим большим недостатком.

Бабушка – мать моей матери – грузная, дородная. Лицо у нее розовое, без морщинок, глаза серые, большие, все белые зубы целы, а волосы длинные, густые, серебряные. Одевается она в темные, длинные до пола шелковые платья. Она очень любит меня, называет «маленьким философом». Но она строга, властна, у нее твердый, настойчивый характер. Что-то не помнится, чтобы она нежно ласкала меня. Наоборот, она могла ядовито издеваться над моей неуклюжестью, вышучивать мои медвежьи повадки. Но я знал, чувствовал, что все это она делает любя. А я очень любил ее, и эта любовь живет во мне до сих пор. Она умерла в тридцатых годах, перед самой гитлеровской оккупацией.

Но любил я посещать бабушку не только ради нее самой. Ведь она как бы открывала новый для меня мир, мир «сотоварищей по игре», «друзей детства». Дома я был долго одинок – единственный ребенок – мой брат Рудольф родился на пять, а сестра Марта на восемь лет позже меня. У меня не было тогда друзей.

Я не помню также, чурался ли я других детей, был ли замкнут. Скорее всего, думается, что нет, что был общителен, но от знакомства с ними удерживали меня постоянные наставления мамы и вторившей ей няни: «Арноштек, не хватай чужие игрушки, не трогай других детей!»

Больше всего я любил лодки, однако, это была сезонная игра, для лета. Сначала отец, а когда я стал постарше и мне разрешалось брать в руки Ме (до этого у нас дома мама строго цитировала «Messer, Gabel, Schere, Licht, dürfen kleine Kinder nicht!» «Нож, вилку, ножницы и огня маленьким детям давать нельзя!»), то я сам вырезывал лодки из коры, снабжал их палочками-мачтами и бумажными или даже тряпичными парусами и на нитке пускал в плаванье.

Но зачем, собственно, я описываю все эти мелкие

подробности? Я вспоминаю об этом потому, что большую любовь к воде, – к пруду, озеру, реке, и особенно к морю – я пронес с собой через всю мою жизнь. Ведь как ни люблю я природу во всех ее видах – луга, поля, степи, леса, горы и даже пустыни – море волнует меня глубже всего. Вновь и вновь, уже взрослым, я возвращался к мысли, что зря не избрал своей профессией профессию судового инженера, что давало бы мне возможность постоянно плавать по морям, побывать во всех новых, самых далеких странах. Ведь путешествовать всегда было моей мечтой и страстью. Но заговорив о такой «мирской» возможности выбора профессии, я должен тут же добавить, что иногда я в своих мечтах впадал в другую крайность: стать лесничим, все дни проводить в глубоких лесах, скажем, где-то в Карпатах, в тишине, в спокойствии.

Игры, как кукольный театр, появились уже в более позднем детском возрасте. Сцену для миниатюрного кукольного театра, кулисы, занавес, все это из картона и дерева, да и сами куклы, стандартные персонажи наиболее распространенных кукольных пьес, а также тетради их текстов, продавались в писчебумажных магазинах. Соорудить из этих реквизитов театр и поставить пьесу помогал мне отец, сам большой любитель кукольного театра. Позже, когда я подрос, я не только сам ставил спектакли, но и по-своему переиначивал пьесы, а потом, лет с четырнадцати, сочинял свои собственные. Помню две из них. Одна, шуточная, называлась «Принцесса Одуванчик, ушастая и носатая», и была в стихах. Зрителями были: мои брат и сестра, родители. Вторая, но уже не для кукол, была серьезная, на тему о подвиге библейской Эсфири. Я написал ее шестнадцатилетним юношей, в период моего увлечения еврейским национализмом, о чем еще расскажу. Ее ставили любители-студенты, в здании хлебной биржи, выручка пошла на помощь детям жертв одного из многочисленных погромов в России, кажется, кишиневского.

В раннем детстве я часто только казался играющим, в действительности же я прислушивался к разговорам взрослых. В этом они убеждались, когда я выдавал себя, внезапно вставляя в их разговор какое-нибудь словечко. В мой адрес часто раздавалось «епГап! ТегпЫе». Играя один, я уходил в свои фантазии, мечтал, продолжал в игре сказки, одушевлял неодушевленные вещи. Впрочем, это свойство жить, когда захочешь, в нереальном мире, созданном собственной фантазией, но ничуть не менее ярком, чем действительный мир, осталось у меня на всю жизнь. Оно очень выручало меня в тяжелые времена, особенно трехкратного тюремного одиночества.

Но вот, неведомый мне мир других детей-ровесников

открылся мне там, у бабушки Иоганны. Мне было тогда меньше шести, то есть меньше школьного возраста. А так как я родился в конце года, в декабре, то мне разрешили начать посещать начальную школу даже раньше шести лет. Однако не в школе, а до нее, я узнал этот странный мир других «я». Бабушка была членом еврейского благотворительного общества. Она взяла на себя обязанность надзора над сиротским приютом для девочек, который это общество содержало, была его заведующей. Там она в одной из его комнат и поселилась.

Атмосфера семьи

Мой отец (звал я его «папá», а мать «мамá», на французский лад, или также по-чешски «татинек» и «маминка») никогда бабушку не посещал, по меньшей мере, в течении нескольких лет. Причина этой размолвки была мне неизвестна, и хотя впоследствии я узнал всю эту историю, теперь я ничего не могу толком припомнить. Подобных историй, каких-то запутанных отношений между родственниками, было как будто в нашей семье не мало. Ничего я не знал о дедушке (муже бабушки Иоганны), вероятно, его я не застал в живых. А родителей отца – вторых бабушку и дедушку – я хотя и помню отлично, но чуть ли не по одной единственной встрече. Жили они в деревне Светла близ селения Кардашова Ржечица, а Светла – это то место, где родился отец, или даже где он учительствовал, в Южной Чехии. Это край «письмаков», чешских братьев, остатков гуситов. По семейным традициям – Кольманы происходили из Северной Италии, из местности около озера Лаго-ди-Комо, из тех же мест, откуда в Чехию, в 19-ом веке, прибыли предки Больцано. Об этом я узнал позже, когда занимался биографией этого замечательного мыслителя. Если мне память не изменяет, Гёте, описывая свое путешествие по Италии, называет оба городка: Больцано и Кольмано. Мой прадед или прапрадед был скрипичным мастером и скрипачом. Дед, отец моего отца, тоже производил скрипки и играл на скрипке, но одновременно был проповедником-сектантом. На скрипке чудесно играли и отец, и брат Рудольф, который сам и сочинял, импровизировал, и со своей скрипкой никогда не расставался. Отец и внешне был похож на итальянца, смуглый, с большими усами а ля Гарибальди. Его портрет, выполненный крупным художником, масляными красками, уцелел при нацистах, и мать подарила его мне после моего возвращения в Прагу. Он висел в нашей квартире «Под Боржиславкой». Но в 48 году, как и большинство дорогих мне вещей, пропал – его попросту украли либо чехословацкие работники госбезопасности, либо вселившийся в мою квартиру новый жилец.

Что же касается неладов между отцом и бабушкой Иоганной, то хотя я и понимал, что отцу неприятно, когда я хожу к ней, и хотя я и уважал его больше кого бы то ни было на свете, но все же отказаться от частых посещений сиротского приюта было бы мне больно. Да и отец не требовал этого. Я помню, что любил играть с девочками. Все они были одеты в одинаковые синие платья. Но играл я не со сверстницами, а обязательно со старшими, и они

любили играть со мной. В приюте было свыше 60 девочек, от 6 до 18 лет. Больше всего я привязался к самой старшей, к Гермине, уже кончавшей среднюю школу. Когда однажды учительница, фрейлейн Текла (немецкая еврейка), «идейный» руководитель приюта, спросила меня, кто из воспитанниц мне нравится больше всех, я без стеснения громко заявил: «Я люблю Гермину и больше никого!» И я совершенно не понимал, почему все расхохотались, и после этого любовного признания поддразнивали меня. В глубине души я считал всех, а в первую очередь учительницу – типичный синий чулок – дурами.

Атмосфера в приюте была не ахти как здорова. Думается, что это характерно для любого закрытого детского и юношеского заведения. Сиротский приют был заведением с религиозным иудаистским уклоном, с посещением раввина по праздникам и каких-то еврейских богачей, членов правления благотворительного общества.

Надо полагать, что этот религиозный дух был одной из причин неладов между отцом и бабушкой. Отец был человеком сугубо антирелигиозным; ксендзов, пасторов, раввинов, он не выносил и называл не иначе как «длиннополые». Он не мог примириться с тем, что бабушка, женщина умная, по существу не придававшая религии большого значения, в своей личной жизни, соприкасалась так близко с этим делом, да и невольно втягивала меня в эту атмосферу. Но в отношении отца к этому вопросу все же не доставало последовательности. Он так любил играть на скрипке, что не устоял и дал согласие играть в синагоге в самый большой еврейский праздник Йом-Киппур (Судный день). Играл он чудную древнееврейскую мелодию Кол Нидрей. С другой стороны, хотя отец на практике не отличался терпимостью, в теории он проповедовал ее. (Эту нетерпимость к чужим взглядам, особенно мировоззренческим, я, видно, унаследовал от отца, вдобавок оправдывая ее «принципиальностью», неправильно понятой мною.)

Как бы там ни было, сиротский приют долгое время был для меня чем-то светлым, чем-то выводившим меня из будней однообразной обстановки домашнего одиночества. Поэтому неудивительно, что я уделяю этому так много места, возможно больше, чем нашему «дома», которое представляло величину переменную. Мы несколько раз переезжали, все в тех же Виноградах. Родился я не то в Крамериовс, не то в Челаковского или же Коменского улице. Но названия этих улиц почему-то переменили. Позже мы жили в самых новых квартирах. Дома эти были четырехэтажные, и они, по очереди, были собственностью матери, ее приданым, капиталом, источником которого была

кондитерская ее родителей, не то в Старой, не то в Младой Болеслави. В связи с какими-то неудачами с ценными бумагами или с крахом банка, где они хранились, дома перепродавались, менялись, и, наконец, переходили в другие руки. В последнем доме, на Шумавской, мы жили уже не как домохозяева, а как квартиранты, снимали четырехкомнатную квартиру. А после смерти отца в 1912 году нам пришлось переехать в Вршовице, в трехкомнатную квартиру, в более скромный район города.

Одна комната в этой квартире была парадной гостиной. Когда никого не было, я забирался туда. В ней, как правило, не поднимались тяжелые бордовые шторы, царил полумрак и только поблескивала мебель из красного дерева, стояла абсолютная тишина. На громадном столе тяжелое бордовое покрывало с вышитыми бабушкой выпуклыми цветами и длинными золотыми кистями, до которых я любил дотрагиваться. Персидский ковер на паркетном полу. Черный запертый рояль, на котором почти никто никогда не играл (хотя мама умела, а потом училась сестра), аквариум с золотыми рыбками, трюмо с посудой и серебряными приборами, масса безделушек, книжный шкаф и полки с энциклопедическим словарем Отто – одним словом, стандартное оснащение мещанской зажиточной квартиры. Я любил, предварительно сняв обувь, забираться тайком на красный кожаный диван, стоявший в углу, и, свернувшись калачиком, грезить. Но вскоре на меня находило какое-то оцепенение, начинало звенеть в ушах, я пугался, когда большие стоячие маятниковые часы отбивали свои мелодичные удары, и насилу, чтобы не потерять сознания, выбирался из этого заколдованного царства, куда, однако, через несколько дней меня снова тянуло. Когда же бывали гости, или в праздники, в дни рождения с обязательным тортом домашнего приготовления, и шторы открывались, или зажигался свет, то все преобразовывалось, все это чародейство исчезало, и я неохотно, по требованию родителей, выходил сюда к гостям.

Здесь же на Шумавской я пережил пожар (позже, в г. Ческа Каменице пережил наводнение, а в Андижане землетрясение; зато на мою долю выпало пережить не по одному из общественных катаклизмов).

Поскольку я пишу эти воспоминания в начавшийся век научно-технической революции, не могу пройти мимо и той эволюции техники, разумеется, не только осветительной, свидетелем которой я был на протяжении моей жизни. Помню, как керосиновые лампы-молнии сменились ацетиленом, газом, как на улицах появились сначала электрические углевые дуговые лампы, а потом уже лампы накаливания и, наконец, холодный

свет. В раннем моем детстве в Праге еще ходила конка. Помню первые электрические трамваи, первые автомобили спортсменов и богачей, когда все ездили на извозчиках. А, если не ошибаюсь, в 1903 году мы ходили с отцом смотреть полет аэроплана – прибывшего из Парижа летчика Пегу. Он поднялся на своем легком фанерном моноплане на несколько десятков метров, сделал над футбольным полем, где это представление состоялось, пару-другую кругов, и благополучно приземлился, встреченный овациями зрителей. За все это зрелище настоящего чуда взималась всего одна крона.

Но техника развивалась во всех областях и проникала буквально во все поры повседневной жизни. В детстве и юности мы писали карандашами довольно плохого качества, грифелями на аспидной доске и, конечно, металлическими перьями. «Вечные» перья появились поздно, а первую шариковую американскую ручку я купил лишь в 47 году в Париже. Или взять бритвы. Они развивались от опасных к безопасным и электрическим, и мы настолько привыкли к последним, что, кажется, будто других никогда и не бывало. В моем детстве консервы были представлены лишь сардинками, считавшимися деликатесом, да «железным рационом» – мясными для армии. На всю Прагу существовал только единственный магазин на улице Скоржапка, где иногда бывали такие редкие фрукты, как бананы, а также креветки, крабы и даже устрицы! Был и единственный магазин Станека на Юнгмановой улице, с чаем и живым китайцем с косой – портье, для рекламы. Ребята со всего города бегали глазеть на него.

Но вернусь на Шумавскую. Здесь я подружился с сынишкой пекаря Шубрта, пекарня и магазинчик которого находились на углу, в доме напротив. Я любил приходить в пекарню и наблюдать, как месят тесто, формуют булочки и рогалики, караваи хлеба, как сажают все это в печь. Работа шла, конечно, вручную, трудился сам хозяин и единственный его работник, но как ловко и опрятно’ Во время работы они напевали чаще всего старые солдатские песни, перебрасывались шутками. Я мог часами стоять или посиживать на низкой скамеечке и тихо, с неослабеваемым вниманием наблюдать. И, разумеется, не последнее дело получить горячий маковый кренделек розанчик с изюмом и миндалем, или рогалик с солью и тмином, и есть их тут же, почти обжигаясь.

Мальчик Шубрт и я были однолетки и вместе поступили в первый класс начальной школы, которая стоит до сих пор такая же, какой я помню ее, рядом с садом, где я играл. С Шубртом мы играли в индейцев, а позже в буров. В наших играх оружием

служили строго-настрого запрещенные самодельные рогатки, а также деревянные мечи и ружья. Покупного игрушечного пистолета с капсюлями, о котором я мечтал, у меня (в отличие от Шубрта – как я завидовал ему!) не было. Мой отец принципиально был против «милитаристических» игрушек. В этих играх на ближайшем пустыре большая роль в нашем воображении принадлежала «катакомбам», подземным ходам, будто бы ведущим отсюда, с Виноградского холма, не то на Вышеград или Жижков, не то даже – под руслом реки Влтавы – на Градчаны. Их якобы прорыли еще в давние рыцарские, а то и более ранние времена. Нечего и говорить, что это были просто канализационные, водо– или газопроводные трубы, где, во время «боя», мы стремились устраивать засады или укрытия.

Но больше всего любил я сад, тенистый, пахнувший липами и каштанами, с беседкой – в нем чувствовал я себя свободней. Здесь нет постоянного надзора, постоянных окриков, здесь не следят за каждым твоим шагом. Считается, что наблюдение ведется из выходящих в сад окон. А мама сидит у бабушки, увлечена беседой, я один. Совсем маленьких девочек (хотя они и старше меня, ходят в школу, а я поступлю туда лишь в будущем году) я презираю, они не в счет. А большие девочки – все они мои друзья, ведь они не стесняются вести при мне свои секретные разговоры, они мне доверяют.

Эти их разговоры происходили на «кухонном» чешском языке, в то время официальным языком приюта был немецкий. Как негодовал и возмущался отец тем, что это учреждение занималось германизацией девочек, попадавших сюда чаще всего из чешских краев. Эти богатые евреи – пытавшиеся ассимилироваться немецкой среде, стремились показаться превосходными немцами, австрийскими патриотами. А ведь было так: в приют принимались еврейские сиротки, безразлично с чешским или немецким языком, но поступали отсюда все без исключения в немецкие школы. А фрейлейн Поллак знала только «кухонный» чешский язык. Понятно, что добрая половина девочек теряла год, а то и больше на изучение немецкого, не успевала в начальной школе, где над ними смеялись, обращались как с тупицами или лентяйками, не говоря уже об антисемитизме, который чувствовался среди немцев сильнее, чем среди чехов.

Все это сильно волновало отца. Но приют был благотворительным учреждением, частным делом и, разумеется, австрийские власти покровительствовали германизации.

Еще о нашем «дома». Прямой противоположностью большой парадной гостиной, была кухня. Несмотря на ее просторность, в ней всегда казалось тесно. Зато она была светлая, вся сияла,

блестела посудой, кастрюлями. Для меня она считалась запретной зоной. «Арноштек, не ходи на кухню!» был один из многочисленных заветов, которые, однако, иногда мною нарушались, что, впрочем, у людей случается и с заветами скрижалей Моисея. Разве не любопытно наблюдать, как девушка, – «домашняя работница» Андулька или Боженка – они время от времени менялись – она же и кухарка, готовит, как разными незатейливыми ручными машинками там и мясо мелят, рубят, и картошку и морковку чистят, хлеб режут или сливки взбивают. Я клянчил разрешить мне тоже повертеть ручку, и, конечно, за свой «труд» получал вознаграждение – лизнуть.

Особое значение получала наша кухня осенью, когда варили варенье. Однако тогда уже пускали меня туда вполне законно. Сама мама усадит меня на высокий стул, завяжет на мне большой фартук, и вместе с ней я наблюдаю за всей этой церемонией. Но в то время как мама помогает своими советами, я «помогаю» тем, что выскабливаю нарочно с излишком оставленные пенки – остатки себе в рот. Скажу еще, что варенья варили у нас много сортов и сам процесс закупки ягод и фруктов для варенья был очень привлекателен. Их покупали на Тыловой площади – специальном базаре фруктов и овощей, куда я очень любил сопровождать маму и домработницу. Один вид этих пестрых красок на прилавках под простыми навесами или зонтами, за которыми сидели привезшие всю эту яркую снедь крестьянские бабы, одетые в национальные костюмы – чего стоит!

Я весь в отца

Дом на Шумавской улице, в результате все более нисходящих трансакций с ценными бумагами, был последним «нашим». Должно быть, эти потери привели к тому, что мои родители вынуждены были сократить свои расходы, а затем и потеряли эту недвижимость. У мамы это вызвало недоверие ко всякого рода финансовым операциям; презрение и ненависть к банкирам и биржевикам – у отца.

Отец, хотя и был строг и взыскателен, бывал всегда ласков. В то же время он был очень вспыльчив, и мог, сильно рассердившись, выйти из себя, однако, вскоре остывал, и во всяком случае не был злопамятен. Вспыльчивость – это один из моих недостатков (не говоря уже об упрямстве, «твердая головушка», как говорят чехи), который особенно сказывался в молодости. В состоянии аффекта я мог наговорить черт знает что, накричать, навредить себе, а потом, охладев, жалеть об этом. Но, как и отец, я быстро остывал, и если меня обидели, забывал, прощал обиду. Типичный характер холерика. С возрастом эта моя вспыльчивость постепенно стала уменьшаться, но горячность все же осталась, даже и ныне, в старости. Всякий раз, когда мне приходится выступать, все равно, с докладом или с лекцией, пусть в энный раз на ту же тему, я вновь и вновь горячусь, волнуюсь… У отца была привычка говорить очень отчетливо и громче, чем обычно говорят люди – это осталось у него от учительствования. Мама и ласкала, и чуть-чуть бранила меня одновременно. Она всегда о чем-нибудь хлопотала. Этот беспокойный ее характер я тоже унаследовал.

Отец занимался со мной, учил, воспитывал. Как я потом узнал от товарищей-школьников, в нашей среде это тогда было редким явлением. В других семьях отцы свое свободное время коротали за кружкой пива и картами в кругу друзей, за собственными интересами, или за развлечениями с супругой или на стороне. Отмечу, что не помню, чтобы отец когда-нибудь курил, ни сигарет, ни сигар, ни трубки, хотя у него всегда имелась большая коробка дорогих сигар «гавана» для гостей, а в его кабинете висела длинная черная трубка, с нарисованной на ее фарфоровой белой головке охотничьей сценкой, трубка с двумя зелеными кисточками. Чубук длиннее этого мне пришлось позже увидеть лишь у Ярослава Гашека. Гашек ухитрился провезти эту свою трубку в самую Сибирь, через фронты гражданской войны из Киева, где, как он рассказывал, раскуривая ее, ему ее подарил чешский пивовар. Я, как и отец, никогда не курил, и даже за всю

свою жизнь ни разу не пробовал курить, в какой бы тяжелой обстановке, при которой чуть ли не каждый курит, я ни находился. Что же касается алкоголя, то виноградное вино было редкостью у нас дома. В праздники рюмочка или две. Однако пиво отец любил, конечно, в меру.

Как я уже сказал, отец моего отца был скрипичным мастером, чешско-братским проповедником и учителем в деревне Светла у подножья Шумавских гор, в захолустье «на Блатнэй», где мелкие арендаторы громадных фидейкомисных поместий князей Шварценбергов были пропитаны бунтарским сектантством гуситизма. Отца воспитывали религиозно, готовили в проповедники. Но он каким-то образом – здесь у меня пробел – приобщился к светскому знанию, к крамоле, и даже к вольнодумству, и, будучи горячего и настойчивого характера, четырнадцатилетним подростком порвал с семьей, сбежал из дому, вырвался из захолустья. После долгих странствований, он очутился в городе Колине. Здесь он работал упаковщиком на стекольном заводе, потом на зеркальной фабрике, в цехе. Но жажда знания его не покинула. Он стал посещать вечерние курсы, сдал экзамен, поступил в среднюю школу. Не имея средств, он жил общественной благотворительностью, обедал то у одного, то у другого энтузиаста нарождавшейся молодой чешской буржуазии, его увлекало это течение, возрождение чешского народа, чешского языка, борьба с австрийским абсолютизмом. Он перешел из средней школы в педагогическое училище, жил уроками, которые давал неуспевающим школьникам – сынкам зажиточных людей, окончил училище и стал сельским учителем. Так он достиг своей цели: идти в народ, пробуждать его национальное самосознание, воскрешать полузабытую чешскую культуру, изучать быт народа, мечтать об избавлении от ненавистного австро-венгерского ига, от германизации, от двуглавого орла и черно-желтого знамени.

Этот революционный национализм был у отца тесно связан с его атеизмом, с воинствующей антирелигиозностью. Католическая церковь, по выражению выдающегося чешского философа Августина Сметаны, который сам был ксендзом-отступником, всегда была «подушкой» светской деспотической власти. Для моего отца не только «Вена» и «Рим» были одинаково ненавистны, но и всякую религиозную веру он считал поддержкой монархии. Ему так много пришлось перенести из-за фанатизма сектантов, что он хладнокровно, без злобы, – я бы даже сказал сейчас, с той же сектантской нетерпимостью, – не мог говорить о религии, что прямо-таки физически не переносил священников любого вероисповедания. Учительствовать он начал в знакомых

ему родных местах, «на Блатнэй», а потом где-то под романтическим замком Орликом. Но учителем он был недолго. Через год или два он заболел воспалением легких, у него началось кровохарканье, врач запретил ему продолжать преподавание. Он не знал, чем жить, куда ткнуться.

Случайное знакомство с местным почтмейстером толкнуло его в почтовое ведомство. Он быстро подготовился и сдал экзамены по требуемым предметам на государственном немецком языке, которым он тогда еще не очень бойко владел. Ему дали в маленьком городке место низшего, нищенски оплачиваемого чиновника, нечто вроде приемщика почты. Но не прошло и пяти лет, а он уже в столице, продвигаясь по чиновничьим рангам все выше, настойчиво сдавал один экзамен за другим. Случайно он познакомился с мамой, влюбился в нее с первого взгляда, они поженились. Между прочим, это свойство «роковой» влюбчивости с первого взгляда передалось и мне «по генам», и оно несомненно стимулировалось еще и тем, что я в детстве бывал столько в среде девочек в сиротском приюте.

Про обстоятельства первой встречи моих родителей знаю, что мама была завсегдатаем вечеринок, человеком веселым, жизнерадостным, но никогда раньше не посещала те круги, куда пришла в тот вечер. Ведь это было чешское общество, а она вращалась исключительно в еврейско-немецком. Ее воспитали в таком же пансионе. Она тогда и не умела как следует говорить на языке «кухарок и дворников», каким чешский язык считали тогда немцы. А отец не посещал вообще никаких вечеринок, а тем более танцулек. Но на этот раз приехали старые товарищи по педагогическому училищу, уговорили его, затащили туда насильно – мол, должен сыграть на скрипке. И он играл, и мать и отец «нашли друг друга». Национализм и вольнодумство не помешали отцу совершить такую вопиющую «измену». Но ни в коем случае в этом не могло играть какой-либо роли то, что мама была богатая невеста, с большим приданным, достаточным для того, чтобы на него купить доходный дом, что она – дочь владельца кондитерского производства. Это не могло играть роли уже потому, что отец и не знал об этом, когда объяснялся ей: она долго разыгрывала его (из каприза, или чтобы «испытать» его), утверждая, что она круглая сирота и служит гувернанткой у дальних родственников – все это я знаю по ее рассказам.

Мне известно, что моя мать – тогда восемнадцати-двадцатилетняя девушка – была ужасно наивна. Ее духовной пищей были романы Марлит из аристократической жизни, слащавосентиментальной дамы, чьими творениями зачитывались тогда девицы, начиная с институток и кончая домашней

прислугой. В отце мать могла полюбить его нестандартную внешность, и то, что он вообще не был похож на тех холеных молодых людей, с которыми ей до тех пор приходилось знакомиться. Отец был выше среднего роста, худощав, строен, с красивыми руками музыканта большими темно-карими глазами, выглядывавшими из-за пенсне. Он носил длинные, гладко причесанные назад волосы, иссиня-черные, такие же усы, густые и закрученные вверх. Его громкий голос и выражение лица быстро менялись. Он не был привычен к вечеринкам, а поэтому вел себя не манерно, как было принято, а непринужденно просто. Но благодаря своей гибкости (у него была быстрая, изящная походка), он вовсе не производил впечатления неуклюжего провинциала.

Вот как я себе воссоздал первую встречу моих родителей. Родители моей матери не особенно обрадовались такому жениху: какому-то бедному чинуше, вдобавок чеху, «гою» и «безверцу» – человеку, воспользовавшемуся недавно изданным законом и официально вышедшему из церкви, что чуть было не привело к его увольнению из почтового ведомства. Но на сторону моей матери стала ее мать – моя бабушка Иоганна – уломавшая своего мужа фабриканта-кондитера дать волю единственной дочери. Карьера моего отца этим браком косвенно выиграла: он увеличил свое рвение и успешно карабкался вверх по иерархической лестнице. Уже при моей жизни – а я родился на второй или третий год после брака родителей – мой отец принял участие в конкурсе по случаю открытия в мировом курорте Карлсбаде (Карловых Варах) нового здания почтамта, куда требовались чиновники со специальными «международными» знаниями, со знанием языков, международных почтовых конвенций, и т. п. Он удивительно быстро подготовился и выдержал трудные экзамены. Назначение в Карлсбад он, правда, не получил (как он утверждал, из-за политических соображений назначили, конечно, немцев), но все же сразу перепрыгнул в категорию высших чиновников.

Вот он, отец, сочетание фанатика и идеалиста, с упорной энергией борьбы за существование. Тут, в одном и том же шкафу висит его мундир: парадная форма директора округа почт и телеграфов, оранжевые лампасы и нашивки, золоченые пуговицы с изображением ненавистного австро-венгерского двуглавого орла, стоячий высокий оранжевый воротник с жолудеобразными золотыми розетками (эмблема императорского дома Габсбургов), плетенные из золотых шнуров эполеты, треугольная комичная шляпа, «обросшая» черным пухом. И тут же простая потрепанная штатская одежда, та, которую он надевает в настоящие свои праздники, когда превращается в туриста, с рюкзаком за плечами

и суковатой палкой в руке вспоминает свою молодость. Во много раз милее ему эта дубовая палка со стальным острием, чем смешной кортик, который приходится ему, ненавидящему все эти условные обрядности, нацеплять в государственные праздники, чтобы в белых лаковых перчатках, вместе с другими чиновниками, стоять в передней наместника или другого высокопоставленного лица. А все-таки, несмотря на свою искреннюю ненависть, как мне кажется, он не расстался бы с этим своим чином. Он стремится продвинуться выше. Он честолюбив, гордится тем, что собственным трудом, собственными усилиями «вышел в люди», что, несмотря на его политические взгляды, которые он не скрывает (конечно, не выходя за рамки закона), его не могут отставить и даже в меру выдвигают.

Странно мне теперь подумать, что эти два человека – отец и мать – люди, как будто мало подходившие друг другу, жили столько лет – 24 года – вместе. В самом деле, какие разные характеры, разный склад ума, разный кругозор, разные интересы! Отец – горяч, фанатичен, вспыльчив, мать – холодная, флегматичная, бесстрастная. Она – успокаивающаяся на каком-то месте, он – постоянно мыслящий, ищущий, беспокойный, непоседливый. Интересующийся всем – наукой, политикой, искусством. Она – вращающаяся в привычном кругу интересов о доме, семье, родне, театре, «обществе». Разве они могли быть, разве они были счастливы? Почему-то мать утеряла свою веселость, свою былую удаль, бойкость, которыми, как она сама рассказывала, она отличалась в молодости. Разве не потому, что чувствовала, что она не чета отцу, что ей не взлететь на те высоты, куда взлетал он, что стала слишком грузна не только плотью, но и духом? А отец? Почему это он бывает вечером, в «черный часочек» (в сумерках), когда, хотя уже стемнело, нарочно не зажигают свет, так печален, поет всегда грустные песни и играет еще более грустные мелодии? Почему он несравненно больше внимания уделяет мне, чем маме? Разве не потому, что ему тяжело живется, что он одинок, непонят? Все его попытки найти в маме отклик, по-видимому, комкаются, упираются в стену. И хотя он и старается скрывать все это, но мама знает, чувствует, – она ведь вовсе не глупа, а, наоборот, очень чутка. Тогда она становится печальной, растерянной, и улыбается беспомощной, какой-то глуповатой улыбкой. У нее эта улыбка – признак величайшего волнения, смущения, а иногда и душевной боли. И эта ее улыбка еще больше раздражает отца. Эту улыбку матери я унаследовал. И она приносила мне немало горя. Бывало, в школе напроказничаешь, учитель сделает замечание, а я – улыбаюсь этой дурацкой улыбкой, на деле сопровождающей

раскаяние, чем усиливаю его гнев. Ведь он-то не знает, что мне плакать хочется, а думает, что я смеюсь над ним!

Мама лишь постепенно овладела правильным чешским языком, тем чистым, строгим, красивым, пожалуй, даже немного педантичным, на котором говорил отец, и на котором говорили в кругах, где он – вне службы – вращался. Отец поэтому не вводил ее в свою среду, хотя, возможно, у него даже не было долгое время своего «общества» в столице – и всем этим вновь закреплялось это отчуждающее родителей положение. Было бы, конечно, преувеличением назвать его разладом, но как бы там ни было, мое сочувствие было на стороне матери, которую я жалел. Вероятно, это смутное чувство содействовало тому, что я – как я расскажу в дальнейшем – «переметнулся» от отцовского чешского национализма к еврейскому, так сказать, на сторону матери.

По существу религиозно холодная, безразличная, мама (которая, когда я стал постарше, высказывалась весьма скептически насчет существования бога: мол, если бы существовал всемогущий и всеблагий бог, то как он мог бы терпеть все те безобразия и несправедливости, которые беспрестанно творятся на земле», не то что по инерции, а благоговейно любила кое-какую религиозную восточную еврейскую обрядность. С трудом выговаривала слова по древнееврейскому молитвеннику (читать она его умела, и меня научила азбуке), но напечатанный рядом немецкий перевод молитв (по реформированному, не ортодоксальному культу), не интересовал ее, казался ей скучным, пустым. Можно было подумать, что она просто тешится узорами букв квадратного шрифта, странными звучаниями слов, причем вряд ли понимала больше дюжины из них.

Влечение к незнакомым, «таинственным» шрифтам свойственно было и мне. У меня с юношества имелась брошюрка Британского библейского общества – реклама его изданий переводов Библии на многочисленные языки, содержавшая один из стихов евангелия Иоанна («Ибо так Бог возлюбил мир…») на многих десятках языков. Я ею очень дорожил. Арабский шрифт, китайские иероглифы, обе слоговые японские азбуки – катакана и хирагана, индийские дева-нагари и бенгали, древне-германские руны, армянский, грузинский, монгольский шрифты, и, конечно, древнеегипетские иероглифы, гератическое и демотическое письмо, как и пиктограммы американских индейцев, – все это меня чрезвычайно занимало. Вероятно по той же причине я в средней школе стал посещать необязательные уроки стенографии, выучил ее, а затем, будучи уже в Советском Союзе, приспособил себе чешскую к русскому языку. И хотя я редко упражнялся в ней

и не дошел до парламентской скорости, все же владел ею настолько, что однажды, когда не пришла стенографистка, сумел довольно сносно записать доклад Каменева на заседании Московского комитета партии.

Но, конечно, чтение древнееврейского молитвенника, которое бывало, впрочем, редко, по большим религиозным праздникам, с подсознательной традицией молодости, со смутными образами школы, где она училась (а она сначала посещала религиозную школу «хедер»), с образом ее отца, братьев, подруг. В синагогу она ходила крайне редко. Отец делал вид, что все это ему безразлично, что это ее частное дело, но в действительности нервничал, злился. Поэтому меня мама не хотела брать с собой. Но, разумеется, я все равно из любопытства настоял.

Как необыкновенно выглядела эта Виноградская синагога! (Гитлеровцы сравняли ее с землей, потому вероятно, что золотые шестиконечные звезды «щит Давида» на ее двух башнях, были видны высоко над панорамой Праги). Совсем непохожая ни на пасмурный католический костел, ни на такую же мрачную старинную синагогу, каких в Праге было несколько, в том числе и древнейшая в Европе «старо-новая», а также ни на трезвую, казарменную евангелическую молельню. Здание у нее было высоченное, все белое и золоченное внутри, розовое снаружи, в ложно-мавританском стиле, с множеством арабесок, и яркого электрического света (лампочки в виде свечей), но, конечно, без образов, икон, хоругвий, всего того, что запрещает иудаизм. Мужчины сидели в зале внизу на скамьях с высокими спинками, женщины на галерее, полускрытые от взоров мужчин. Когда я, еще совсем маленький, впервые выклянчил у мамы разрешение сопровождать ее, меня снисходительно, в нарушение всех правил, пустили к женщинам. Позже я садился в самую глубь зала, к мужчинам с покрытой головой, и смотрел, как они, не снявши шляп, в талесах, углублялись в свои молитвенники, и вторили странным беспокойным бормотаньям кантора, одетого в черный талар, читавшего нараспев перед амвоном. Но вот кантор начинает петь по настоящему. У него чудный баритон, так подходящий для старинных древнееврейских мелодий, в ответ поет хор, играет орган. Это особенность реформированного культа, подражающего христианскому. В ортодоксальном иудаизме эта «языческая мишура» не полагается. А здесь хор женский, поют хористки нееврейки, из городского театра, а соло поет известная певица-христианка.

Богатые евреи, в особенности еврейки, посещают по большим праздникам синагогу только для того, чтобы послушать музыку,

пение, повидать знакомых, показать свои туалеты, наряды последней моды, выписанные из Вены и Парижа. Брезгливость, отвращение к ним и ко всему показному, к размалеванным личинам и вызывающим нарядам, привилось мне рано со слов отца. В этом отношении – под его же влиянием – моя милая скромная мама ушла далеко вперед от своей бывшей среды.

Мы с отцом, как только выдавалось в течение года свободное время и благоприятная погода, отправлялись на лоно природы. Еще в дошкольном возрасте мы излазили с отцом «Шарку» – дикую романтическую местность – большое ущелье, вроде каньона под самой Прагой (теперь недалеко от аэродрома Рузынь). Это ложе дилувиальной реки, согласно легенде, место, где предводительница матриархата Шарка сражалась в битве с мужчинами. Но я уже в этом юном возрасте посетил также «Сватоянские Проуды» в Штеховицах, – пороги реки Влтавы, где тогда с колесного парохода переходили на особый паром, молнией несшийся среди водоворотов и скал. Зрелище это было жутко захватывающее.

Отец таскал меня по всем музеям, водил в картинную галерею, к изумлению знакомых, считавших его чудаком. Такое воспитание развивало во мне чрезмерную, не по возрасту, впечатлительность.

Внимание, уделявшееся мне отцом, быстро развивало мои способности. Моя любознательность – а, возможно, любопытство – не знало предела. Мама чуть ли не до самой смерти вспоминала, как я приставал к ней, надоедал вечными расспросами, что позднее не делали ни мой брат, ни сестра, как я мучил ее вплоть до прихода отца со службы, который один умел подойти, успокоить меня, да больше того, занять мой ум, воображение, дать мне новую пищу для новых расспросов. При этом отец не учил меня, не обучал в принятом смысле слова. Ему всегда было противно наблюдать родителей, натаскивающих своих чад для показа: «Покажи, деточка, как хлопаешь в ладошки!», «Прочитай стишок про птичку'«, «Спой песенку'«, «Считай до десяти!». Он рано купил мне кубики с картинками и буквами, но строго-настрого запретил маме и няне натаскивать меня, а сам объяснял значение букв, только после моей настойчивой просьбы. Не знаю точно, сколько мне было лет четыре или пять – когда я выучил буквы и начал читать по слогам. Но твердо знаю, что в дошкольном возрасте я уже умел читать, что читал для себя вслух и по-своему понимал прочитанное, простые сказки и рассказы для детей.

К моему пятому дню рождения среди подарков была книга чешских народных сказок Божены Немцовой. Эту книгу я

перечитывал снова и снова, рассматривая цветные иллюстрации Миколаша Алеша, жил этими сказками. И эта книга – напечатанная на крепком картоне – сохранилась еще для брата и для сестры, с надписью посвящения ее мне и датой 6 декабря 1897 года, как свидетельство моей ранней грамотности. От чтения у меня еще больше развилась любознательность. Я стал задавать больше вопросов, в том числе придирчивых и щепетильных. Так, по рассказам мамы, уже в первое время, когда я едва научился складывать буквы, на прогулке я медленно тащился, останавливаясь перед каждой вывеской. Прочитав вывеску «Porodní bába» («Повивальная бабка»), я пристал к маме: «Расскажи, что это за бабушка!», и она, смущенная, насилу от меня отделалась. Вернувшись домой, мать все это рассказала отцу, и отец, приспособляясь к моему детскому пониманию, стал объяснять мне половой вопрос. Как бы там ни было, когда я начал посещать школу, я знал основы тайны зачатия и рождения человека и животных, и стал просто, естественно относиться к ним. Так был, не в пример другим мальчикам, которые или верили в аиста, или грязно хихикали и шушукались, найден выход.

Правда, эта простота отношений к половому вопросу заключала для меня и неудобство. Отец не посвятил меня в общественную сторону этого вопроса, и я не подозревал, что другие иначе смотрят на вещи, что они скрывают, прячут все это как какой-то позор, не подозревая, конечно, сколько ханжества за всем этим скрывается. И вот, однажды, случайно заговорив с мальчишкой по фамилии Копецкий вполне открыто об этом, я натолкнулся на смехотворно нелепые представления, – какую-то смесь «аиста» и чего-то теперь уже позабытого, грязного, отталкивающего. Я объяснил ему, как умел, но мальчик почему-то обиделся и наябедничал на меня дома. На следующий день в школе появилась его мамаша, пожаловалась учителю на меня, «развращающего» ее сыночка. Вызвали моего отца, дошло до столкновения между ним и директором школы. Потом, дома, отец попеременно то сердился (но не на меня), то покатывался со смеху, а мама всхлипывала. Наконец, отец кое-как разъяснил мне, в чем дело и «утешил» сообщением, что меня чуть было из школы не выгнали. Я должен был обещать, что о том, как родятся дети, я больше ни с кем не стану говорить. Это обещание я сдержал, что было тем легче, что меня сразу перевели в другой, параллельный класс, где ни с этим Копецким, ни с учителем, замешанным в эту историю, мне не пришлось сталкиваться.

Но, понятно, этот инцидент уронил как следует в моих глазах авторитет школы.

Неважный ученик

Сам переход в школу мною забыт. Помню только, что я поступил в нее в нарушение закона, в сентябре, хотя шесть лет мне исполнилось лишь в декабре. Приняли во внимание то, что я уже неплохо читал, и, должно быть, повлияло положение моего отца. Учился я с самого начала неровно. В то время как другие мальчики (школа была мужская) только еще учили буквы и учились складывать их, мне на этих уроках чтения бывало скучно. Что касается обучения письму, то дело продвигалось труднее. Я знал форму букв, но не умел как следует выводить их карандашом на бумаге, а еще трудней это удавалось чернилами – пером. Выходило грязно, размазано, неряшливо. Я писал с размаха, ставил одну кляксу за другой. А главное – буквы я ставил не косо с наклоном в правую сторону, а прямо, вертикально к линейкам, писал не кругло, а угловато.

Замечу, что устойчивость почерка явилась одной из причин того, что я не могу согласиться с отрицательным мнением о графологии, согласно которому графология, так же как психоанализ, является лженаукой. Что в почерке человека должен как-то – пусть опосредовано – отразиться его характер, и что, следовательно, возможно по почерку не только идентифицировать индивидуальность писавшего (что практически широко применяется в криминалистике), но и узнать некоторые черты его характера и даже настроение в момент написания – как мне думается, не находится ни в каком противоречии с научным, материалистическим мировоззрением. Впрочем, я убедился в этом лично с несомненностью, а как именно, расскажу сразу здесь, в этом отступлении. Студентом, я прочитал в газете объявление графолога, предлагавшего за небольшую плату, высылаемую почтовыми марками – причем его ответ можно получить до востребования, не указывая своего имени, чем исключается возможность, что графолог может обмануть, предварительно получив информацию о личности писавшего – по почерку любого написанного на полстраницы текста, определить характер написавшего его. Я рискнул кроной (или двумя, не помню), и что же? Быстро получил ответ, в котором поразительно были не только нелицеприятно отмечены все отрицательные черты моего характера, как: торопливость, вспыльчивость, упрямство, влюбчивость, и т. п., но было указано также, что я способен к абстрактному мышлению, в особенности к математике, и хотя я люблю фантазировать, мечтать, мой ум больше аналитический, чем синтетический и так далее.

Но не только чистописание, которому тогда в школах придавалось большое значение (ведь пишущие машинки были еще редкостью, имелись лишь в больших конторах), и не только рисование, но и арифметика удавалась мне с трудом. Правда, не было задачи, которую я бы не понимал, не знал, каким путем решить ее. Но также не было почти случая, чтобы я в самом вычислении, в умножении, а тем более в делении, не сделал какую-либо ошибку. Вся проблема была в таблице умножения. Сколько крови она мне перепортила! Сначала мы заучивали «малую», до 9 × 10, а потом «большую», до 9 × 100. А я противился этой зубрежке. Но, ведь, например, на стихи память у меня была отличная, я быстро и прочно их запоминал, особенно те, которые нравились мне своим содержанием, ритмом, некоторые из них я помню до сих пор. Но запоминание цифр было мучительно. Пять лет учился я в начальной школе, и пять этих лет были сплошной мукой по арифметике и сплошным праздником по родному языку.

Нужно еще рассказать о наказаниях. В Чехии общепринятыми были тогда телесные, попросту битье. Детей били дома в семье, били в школе. За то, что я писал прямыми, а не косыми буквами, учитель бил меня по пальцам и ладоням линейкой, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе, будешь писать как люди!» У нас дома на кухне висела трость – их специально продавали для битья детей. Но мне чаще всего перепадали просто сорвавшиеся в гневе шлепки, редко подзатыльники или пощечины, а уж в виде исключения как наказание за большой проступок, систематические удары этой злополучной тростью по мягкому месту.

Насколько мне помнится, я никак не мог усвоить школьную дисциплину. Полагалось проситься отвечать поднятием правой руки, а я порывисто соскакивал со скамьи, и без спроса вставлял свое слово. За это немало доставалось, случалось, что оставляли после уроков в классе, и в наказание еще заставляли бессмысленно переписывать целые страницы. Разумеется, этим все не кончалось. Дома мать стыдила, бранила, за «безнравственное» поведение. Повод к неприятностям давала и моя рассеянность, невнимательность к тому, что происходило во время уроков.

Кроме распроклятой арифметики, нелегко удавались и «побочные» предметы – рисование и пение. Мои рисунки были, как правило, ужасно замусолены, а, следовательно, браковались. А с пением было другое. Я почему-то невзлюбил учителя пения, и прямо-таки нарочно петь не желал. И хотя у меня был кое-какой музыкальный слух, я не развил вовсе своего голоса, а также не

стал учиться играть. Но из этого не следует, будто я относился безразлично к музыке и пению. Глубоко в памяти у меня запали уже упомянутые вечерние часы, когда отец, бывало, поет и играет, – иногда даже из «Влтавы» Бедржиха Сметаны, или соло из какой-либо его оперы, – разве я не жил этими чудными звуками?

Если мои успехи в школе были всегда неважны, то мой кругозор за эти годы значительно расширился. Но прежде всего изменилась обстановка. В семье рос брат Рудольф, а позже родилась сестра Марта. Помню, что когда Рудольф достиг четырех-пяти лет, у него проявился тяжелый характер драчуна: заупрямится, войдет в ярость, бросается на пол, брыкается и колотит ногами, как лошадь, и зычно орет. Понятно, что в отношениях к младшему брату и сестре я выступал как совсем «взрослый». В дальнейшем у меня сложилось неодинаковое отношение к обоим. Мартичка, как ее все звали, пользовалась моим безграничным, безоговорочным покровительством. Рудольфика я порядком недолюбливал, может быть, за его непокорный характер, за упрямство, еще большее, чем мое собственное, за обиды, которые он, не стесняясь, наносил сестричке.

Но вместе с тем, у Рудольфа было необыкновенно мягкое, впечатлительное, полное жалости сердце. И хотя в нем отсутствовал интерес к школьному чтению и внимательность, а преобладало веселое баловство, он был очень одарен, быстро схватывал, но особенно его влекло к ритму, к музыке, к пению. Уже в самые молодые годы его голоском восторгались, как и позднее его игрой на скрипке, песнями, сочиненными им самим, импровизациями и композициями. У Марты был ровный, спокойный, мечтательный, полный нежности характер. Громадная впечатлительность, большое прилежание, усидчивость, дарование к отвлеченному мышлению. При этом она столь же прекрасно пела, как и рисовала и писала сочинения.

Как выглядели мои брат и сестра, какими они мне помнятся? Их фотографии, которые я получил в 45 году, когда вернулся в Прагу, от мамы, пропали при моем аресте в 48. Самая характерная черта внешности Рудольфа – это его кудрявая, как барашек, черная голова и большие лучистые глаза, гибкая подвижность всей его невысокой фигуры, красивые, тонкие руки скрипача. Марту я (да и не только я) считал восточной красавицей, не смазливой, а своеобразной, ее полуеврейское и в какой-то небольшой доле итальянское происхождение делало ее похожей на египтянку. Это, между прочим, сказалось и на моей дочке Аде, которая очень похожа на Марту. Темно-карие глаза

Мартички отличались глубиной и добротой, а длинные, особого оттенка черные косы она, по тогдашней моде, заплетала венчиками над ушами. Очень грациозная, она обладала большим художественным вкусом и редким голосом, меццо-сопрано, тонким музыкальным слухом.

Между тем в моей школьной жизни происходили незначительные перемены. Я переходил из класса в класс, хотя и плелся с самыми посредственными учениками. Не готовил уроков, шалил, грубил учителю, зачитывался Жюлем Верном и Карелом Майем с его индейцами, тяготился школой и жил ожиданием каникул. На каникулы мы всей семьей ездили в Северную Чехию, в настоящую деревню, в Бехчин, расположенную среди тихих лесов с пасеками, с вишневыми аллеями, с большим прудом, громадными равнинами пшеничных полей, со знойным солнцем, всем чешским деревенским бытом, этим сочетанием кирпичных, крытых черепицей, добротных, красивых домиков, бетонных хлевов и амбаров, благоустроенных шоссейных дорог, хорошо упитанных коров и лошадей, многолемешных плугов, молотилок, сеялок, и остатков чешских национальных костюмов – многослойных юбок на женщинах, как «шкурок у луковицы», по воскресеньям, их пышных чепцов, расшитых блузок, праздников урожая с гармошкой. Позже мы ездили в горы, в Чешско-саксонскую Швейцарию, на границу Чехии с Германией, в местность, заселенную преимущественно немцами.

С этой местностью, с городком Чешская Каменица, связано у меня очень многое; бродячая жизнь среди дикой природы, первая «настоящая» влюбленность, и первое острое ощущение социального неравенства, классовой природы общества, в котором я жил. Но все это относится уже к тому времени, когда я переходил из начальной школы в среднюю, и когда десяти-одиннадцатилетним стал внезапно «самостоятельным», так как перестал жить с родителями и превратился в нахлебника вдали от семьи. Дело в том, что как раз когда я должен был начать посещать среднюю школу, отца повысили в чине и перевели в провинцию, в Чешскую Каменицу, директором почты. Это было в духе австрийской политики «Divide et impera!» («Разделяй и властвуй!») – постоянных переброс чиновников той или иной национальности в места, заселенные жителями другой национальности.

Чешская Каменица – городок небольшой, но все же промышленный, с хорошими электрифицированными текстильными фабриками, бумажными, машиностроительными и спиртными заводами. Расположен он очень живописно, на горной речке, среди извилистых, покрытых сосновыми борами гор, с

развалинами рыцарских замков-крепостей на базальтовых скалах над горными потоками, с небольшими водопадами, с озерами. Еще перед переселением всей семьи, мы там прожили каникулы. Поселились мы в вилле одного из местных фабрикантов, Пильца. Вилла эта стояла в большом, полуискусственном, полудиком саду, с множеством фруктовых деревьев и кустов, с большим прудом посередине, где имелся и островок с фонтаном и гномами, подбрасывающими три разноцветных, стеклянных шара, и купальня, и беседки, и запущенные, заросшие непроходимой травой места.

В это первое наше пребывание в Каменице у отца был продолжительный отпуск, который он использовал для наших прогулок и туристских экскурсий по окрестностям, по горам, куда почти всегда брал меня с собой. Мы побывали с ним на многих развалинах замков, обошли все ущелья, ни одной горы, ни одного озерца не оставили без внимания, двигаясь по так называемой «Гребневой дороге» («Kammweg»), особенно рекомендуемой туристам. За спиной у нас были рюкзаки с бельем и едой, в руках горные палки с острием, пелерины, кепки. У отца имелась подробная специальная туристская карта, компас, бинокль, шагомер. Мы из принципа никогда ни у кого не спрашивали дорогу, и я выучился ориентироваться на местности по карте, узнавать направление и страны света по часам и солнцу, по признакам растительности в лесу, по звездам ночью. Впрочем, все это было почти и излишним, ведь на каждом шагу дорога была помечена туристскими условными знаками и указателями с обозначением расстояний, и все это содержалось в образцовом порядке. Самыми чудными были прогулки ночью, по вершинам гор, при свете луны, переходы через перевалы. Тогда мы шли молча, часами старались не нарушать тишину, любовались красотой освещенных призрачным светом, расстилавшихся глубоко под нами долин, с их игрушечными домиками в деревнях и курортах.

Иногда, натыкаясь на цветок альпийских лугов, на гусеницу, бабочку, мотылька или жучка, на птичку-красношейку, перышко сойки, или спугнув зайца, увидев совсем близко серну, повстречав рыжую или черную белку, найдя особую породу камней, отец в ответ на мои вопросы рассказывал мне все, что только знал, пополняя мои скудные знания более глубокими сведениями из естественных наук, которые сохранились у меня с поры его учительствования, и которые он расширял, читая выписываемые им научно-популярные журналы.

Но после этого райского блаженства предстояла суровая действительность. Мне надо было поступить в среднюю школу, сдать вступительные экзамены и жить в Праге одному, в чужой семье. Не стану же я в Каменице учиться в немецкой гимназии! Несмотря на настойчивые советы учителя, на его указания, что у меня полностью отсутствует склонность к математике, так как я ухитрился путаться в таблице умножения, что нет дарования к рисованию, а значит и к черчению, но зато имеются способности к чешскому языку, к свободному изложению, к стихотворной форме, и что не следует посылать меня в реальное училище, где я несомненно провалюсь, а в классическую гимназию, окончив которую я смогу стать не то писателем, не то адвокатом (я лучше всех в классе декламировал) – отец не послушался этих советов. Он хотел, чтобы я стал инженером – электроинженером, «Техника – это будущее!» – было его девизом.

Отец жалел, что ему самому не пришлось отдаться изучению природы и техническому творчеству, созиданию. Вот он и хотел увидеть меня работающим на этом поприще, но так и не дождался этого. Кроме того, он считал, – а тогда в самом деле в начавшей быстро развиваться чешской промышленности был большой недостаток инженерно-технических сил, – что как инженер я легко смогу найти хорошую работу, стать «независимым», то есть не буду принужден есть хлеб «блестящей нужды» государственного чиновника. Но эти его расчеты были опрокинуты жизнью: я не пошел по намеченному отцом пути, и условия рынка труда стали совсем не те – так же как и мой отец, рассуждали в то время тысячи других родителей, и через пять-шесть лет появился в Чехии излишек безработных инженеров всех специальностей. Но как бы там ни было, меня определили в реальное училище, где мне предстояло проучиться семь лет, переходя из «примы» в «септиму», затем сдать экзамен зрелости, чтобы получить право поступить без экзамена в высшую политическую школу, а также служить вольноопределяющимся, то есть один год вместо трех, на военной службе.

В пустом, кажущемся гигантским, подавляющем своей величиной здании реальной гимназии «на Сметанке», вмещающем около 500 учеников, все классы были параллельные, «А» и «В», а первые классы даже «А бис»; здесь разместили по нескольку мальчиков в пустых классах, на приличном расстоянии друг от друга, чтобы они не могли списывать, и в присутствии «суплекта» (стажера) дали нам письменную работу. Собственно,

были четыре темы, распределенные в шахматном порядке – еще одно средство против списывания. Суплект называл нас на «вы», относился до оторопи холодно, строго. Работу по чешскому я написал хорошо, возможно, даже отлично. По арифметике же, хотя «ход» был правильный, результат оказался неверным, я допустил неизбежные числовые ошибки в каком-то действии. К моему великому ужасу и огорчению, меня не оказалось в списках сдавших, принятых, который быстро и невнятно прочитал строгий «господин профессор». Значит, я провалился, что скажут дома, что будет со мной, что я буду вообще делать? Я еле сдерживался, чтобы не разреветься. Но вот «он» берет второй список, очень короткий, и заявляет, что такие-то останутся еще для дополнительного устного экзамена по чешскому языку, а такие-то по арифметике. И среди последних я слышу свою фамилию.

Как я обрадовался! Значит, еще не все потеряно. Я знал, что я спасен. Меня позвали к доске и дали задачку – помню по сей день, с какими-то бочками вина по такой-то цене, а другими – по другой. Вино смешивают, спрашивается, по какой цене будет литр смеси. Я, не стесняясь, по привычке, тут же выпалил, как надо задачку решать, написал на доске такое-то деление, а перед тем, как начать проводить его, дерзко заявил, что тут-то, в цифрах, я могу наврать. Экзаменующему не особенно-то понравилась моя выходка, я до сих пор помню, как он пристально, из-под очков, всматривался в меня, покачивая головой, но все же помог мне перебраться через эти камни цифровых невзгод и милостиво пропустил меня в «реалку», посоветовав «обязательно поупражняться в вычислениях»

Родители устроили меня у каких-то дальних бедных родственников матери, в семье коммивояжера Корнфельда, на пятом этаже старого пасмурного дома. Думаю, они руководствовались тем, что отсюда было рукой подать до сиротского приюта, к бабушке, и тем, что в этой семье был сын Феликс, старше меня на четыре года, примерный во всех отношениях парень, и, наконец, тем, что для бедной семьи плата за содержание нахлебника представляла значительное подспорье.

Семья Корнфельдов была своеобразна. Все они были оригиналы-чудаки. Отец семейства, высокий, худощавый, преждевременно поседевший, с длинной бородой, был типом аскета, человеком совершенно другого мира, чем тот, в котором проходила вся жизнь вокруг. Он был глубоко религиозен, еврей-ортодокс, один из тех, относительно немногих, которые остались в Праге от старого гетто. По утрам он, когда все еще спали, вставал и долго молился, бормотал, раскачиваясь, на странном непонятном языке, тягучие молитвы, обматывал, одетый в белый

балахон с черной каймой и длинными кистями – в таллес – ремни «тефилин» вокруг руки и лба – и, что всего страннее, – все это скрывал, скрыл и от моих родителей, когда договаривался с ними о моем поселении в его семье. Никакая профессия не подходила столь мало к этому человеку, как та, которой ему, по какой-то злой иронии судьбы, приходилось заниматься. Как коммивояжер шляпной фирмы, этот молчаливый религиозный фанатик должен был красноречиво болтать, убеждать, заманивать покупателей – провинциальных торговцев, что ему, должно быть, удавалось туго.

Пани Корнфельдова была маленького роста преждевременно состарившаяся женщина, с виду старушка, вся в морщинах, но ласковая, всегда улыбающаяся, хлопотливая, боязливая, добрая. Кроме сына Феликса, о котором речь будет впереди, у них была дочь постарше, Клара, некрасивая, сентиментальная старая дева, работавшая где-то конторщицей, и непрерывно читавшая слезливые немецкие романы. Феликс учился в гуманитарной восьмиклассной гимназии. Он был первым учеником в классе, до болезненной щепетильности аккуратен и прилежен. Ему поручили наблюдать за мной, помогать мне. За это он взялся не без чувства превосходства.

Меня поселили в крохотную комнатушку Феликса. Прошло немало времени, пока мы с ним по-настоящему подружились, его наставнический тон не мог, конечно, способствовать дружбе. Первое время с моей стороны была даже затаенная вражда к нему. Ведь он не без надменности запретил мне трогать стоявшие на этажерке его книги: «Арношт, они не для таких маленьких, как ты!» А ведь эти книги были всего-навсего его школьные учебники! Этот запрет вызвал прямо обратное действие. Когда Феликса не было дома, я тихонько брал с этажерки какую-нибудь его книгу, заглядывал в нее. Но оказалось, что все эти учебники латыни, географии, истории были так скучны!

Исключение представляли собой только две книги: толстый полный курс алгебры Тафльта-Солдата (с четвертого по восьмой класс) и столь же толстый сборник задач к нему. Меня привлекали эти непонятные закорючки. Возможно, я принимал их за своеобразный шифр. Я начал жадно читать учебник, написанный деревянным языком старой школы, однако, по-видимому, учебник был, тем не менее, вовсе не плох, ведь мне почему-то все показалось простым, понятным, и я не понимал только одного, почему тому же Феликсу алгебра кажется трудной. После прочтения первой главы учебника, я принялся за задачник. Стал решать задачи, все подряд, не пропуская ни одной, решал не только с любопытством, но и со спортивным азартом, – сойдется

ли с решением, помещенным в конце задачника – так рьяно я до этого решал лишь шарады и ребусы в детском журнале «Malý čtenaf» («Маленький читатель»), регулярно выписываемом для меня отцом.

Эти свои занятия алгеброй, ставшие регулярными, я держал в строжайшей тайне. Сама эта тайна доставляла мне наслаждение, она была своего рода игрой. Но для занятий требовалось много времени – оно шло за счет подготовки к урокам. И много нужно было бумаги – я исписывал все школьные тетради. Думая о задачах, я стал рассеянным, нервным, плохо ел, привередничал, тем более, что еда у Корнфельдов была намного неприхотливее той, к которой я привык дома. В классе я стал невнимательным, получал плохие отметки. Получал и замечания по поведению за то, что под партой решал свои задачки, а за мои подсказывания на математике меня наказывали.

Приближались зимние рождественские каникулы, время ожидания получения годового аттестата в первом классе и поездки домой, к родителям. Однако, незадолго до рождества случилась катастрофа. Вся моя тайна вышла наружу. Феликсу математика давалась трудно. И вот в один зимний вечер, он взволнованно бегает взад и вперед по нашей комнате – не знает, как составить и решить заданную на дом контрольную задачку. Как я и сейчас помню, она сводилась к системе простых квадратных уравнений, с двумя неизвестными, и гласила примерно так: «Даны периметр и площадь прямоугольного треугольника. Требуется найти его стороны». Я, который за это время, за три с лишним месяца, успел уже добраться до логарифмов, наблюдал взволнованного Феликса сначала не без злорадства. Все же я сделал робкую попытку помочь ему, начал расспрашивать о задаче. Он резко грубо огрызнулся: «Все равно ничего тебе не понять, не такому мальчишке соваться в такие дела!» Меня, понятно, взорвало, и я упорно твердил про себя: «Ну и мучайся, тогда, дурак, ни за что не помогу!»

Но все же, наконец, я не выдержал. Я сел на кровати и заявил спокойно и неожиданно для Феликса, полагавшего, что я уже сплю: «Я умею решать такие задачки». Прежде чем возмущенный Феликс успел вставить слово, я соскочил с постели как был в одной ночной рубашке, бросился к столу, заглянул в его тетрадь, схватил карандаш, написал нужную пару уравнений, и тут же и те несколько строк, требуемых для их решения, и не проронив ни слова вернулся обратно в свою постель. Вся эта сценка поздним вечером была чем-то нелепа, театральна. Ошеломленный Феликс, не понимающий всего этого «чуда», сначала было попытался, когда убедился, что ответ сходится, пристать ко мне с

расспросами. Но я отвернулся к стенке, сделав вид, что засыпаю, а потом в самом деле быстро заснул тяжелым сном. А Феликс, как выяснилось позже, разревелся от обиды, побежал к своему отцу жаловаться.

Утром, когда я проснулся, что тут творилось! Разразилась настоящая буря. Отец Феликса допрашивал меня – это было просто следствие. Но я и не стал отпираться, рассказал все. И то, что брал без спроса книги, и то, что решал задачки, и то, что ложью выманивал у бабушки деньги на тетради, и что в «реалке» плохо учусь. Тогда меня всей собравшейся семьей то бранили, угрожая, что меня выгонят из школы за плохие отметки, то переглядывались, удивляясь, как это я без руководителя в каких-то четверть года справился с тем, чему в школе учат чуть ли не три-четыре года. В результате, Корнфельд пошел в мою «реалку», справился о моих «успехах», узнал, что они до того неважны, что мой перевод с первого на второе полугодие стоит под вопросом. После этого он зашел к бабушке, рассказал ей все, и они оповестили письмом отца.

Отец немедленно приехал в Прагу. Работа в национально чуждой, даже враждебной обстановке, где ему приходилось быть постоянно начеку, опасаясь разных подвохов, сделала его еще более раздражительным. Тем не менее, приехав, он поговорил со мной вполне спокойно, обсудил, как со взрослым, создавшееся положение. Против моего опасения, он на сей раз не вспылил, не пришел в ярость, а заключил со мной своеобразный «договор»: «Ты, Арношт, должен дать слово, что будешь делать школьные уроки, готовиться, учиться, пусть только так, чтобы без затруднений переходить из семестра в семестр, из класса в класс. Большего я от тебя не требую, не обязательно, чтобы ты приносил одни отличные отметки. Зато ты можешь заниматься математикой, чтением, всем разумным, что тебя интересует, и никто не станет тебе в этом препятствовать». И отец пошел в школу, переговорил с преподавателями, а, может быть, и с директором, и мне дали возможность исправиться по тем предметам, по которым мне угрожал провал. А сам купил мне учебники и задачники – алгебры, планиметрии, стереометрии, тригонометрии, начертательной геометрии для высших классов, и повел меня в виноградский «Народный дом», где записал в публичную библиотеку с правом брать книги на дом. Вот каким человеком, каким подлинным педагогом был мой дорогой отец, понявший мою влюбленность в древнеиндийскую богиню математики, прекрасную Лилавата, она же богиня времени, которая, прикоснувшись раз в столетие в танце своей воздушной вуалью к гранитной скале, по песчинке сносит ее.

Вскоре наступило рождество, двухнедельные каникулы, и я поехал домой в Каменицу, с аттестатом, хотя и не ахти каким блестящим, но все же переведенный на второй семестр. Конечно, по математике у меня была – чуть ли не единственная – высшая отметка. Это было мое первое самостоятельное путешествие поездом, причем шестичасовое с пересадкой поздним вечером. Каким я чувствовал себя важным, когда другие пассажиры со мной заговаривали, и когда на пересадочной станции мне пришлось изъясняться по-немецки.

Но две недели пролетели чересчур быстро. После моего возвращения в Прагу, весь школьный год прошел однообразно, как прошли и все последующие первые четыре года моей учебы в средней школе. Я сознательно прилагал лишь минимум усилий и стараний, был не очень внимателен в школе, а дома лишь в редких случаях готовил уроки как следует. Все только так, чтобы как-нибудь вытянуть и не провалиться. Некоторые предметы вызывали во мне прямо-таки отвращение, причиной чему был всегда преподаватель. Самыми ненавистными были для меня вплоть до «кварты», четвертого класса, где преподаватель сменился, география и история. Оба эти предмета преподавал аббат Гнидек, член ордена иезуитов. Тощий, костлявый, с длинным иссохшим лицом, в очках, одетый иногда в штатский черный костюм, а иногда в сутану, он был настоящим страшилищем, его боялись все.

Я вскоре попал в немилость к Гнидеку. Виною тому были элементы математической географии, входившие в программу, – почти для всех учеников самая трудная часть географии, для меня же единственная, не показавшаяся мне скучной. И вот, я посмел полюбопытствовать, когда пришлось наизусть заучивать таблицу изменяющихся длин градусов широты, какова закономерность этой таблицы, и тем самым попал сразу в «дерзкие» ученики. С тех пор придиркам Гнидека не было конца.

Преподавателем французского был профессор Повр, по происхождению француз. Это был низкого роста шустрый человечек, беспрерывно бегавший по классу, согнувши полудугой ручки и спрятав кисти в рукава, и еще быстрее говоривший с нами, причем только по-французски. Повр был фанатиком чешско-французского сближения. Он полагал, что Франция в будущем, когда Чехия станет самостоятельной, сможет помочь устоять против поглощения ее немцами, но в этом, как известно, он, увы, ошибся. И не он один. И так же, как ошиблись те, кто полагали, что благодаря дружбе с русскими Чехословакия сохранит свой суверенитет. Неужто, таков удел всех малых стран?

Но Повр был таким же фанатиком своей системы

преподавания. Она состояла с одной стороны в том, что на уроках, с самого начала, говорили только по-французски, и это было замечательно, а с другой стороны, в том, что надо было зазубривать слово в слово все грамматические правила, все те исключения, которых во французском языке так много, и это было плохо.

С зубрежкой я никак не мог примириться. Однако, несмотря на то, что я ею не занимался, я все же стал понимать французские книжки, которые охотно брал из школьной библиотеки, что, тем не менее, не улучшало мои отметки. Повр, проведавший, что я читаю французские книжки, причем не заглядывая в словарь и не делая – как по его указаниям требовалось делать – никаких выписок непонятных выражений и оборотов, относился ко мне как к преступнику, лентяю и озорнику. Вдобавок к плохой отметке по языку я получал от него наказания и замечания по поведению. Должен подчеркнуть, что все же позднее я понял, насколько я обязан бедному Повру, которого мы так незаслуженно обижали, как будто неплохим знанием французского.

Больше света приносили уроки родного чешского языка. Преподавал его профессор Лориш, добродушный, веселый, почти совершенно лысый толстячок. Зубрежка, правда, и у него присутствовала, – требовалось знать на память всякие там обороты склонений и спряжений, – но центр тяжести был все же в понимании прочитанной чешской классической художественной литературы и умении пересказать, разобрать, написать сочинение, продекламировать стихи, не только выучив их наизусть механически, но и с «чувством».

Однако наибольший интерес и удовлетворение вызывали у меня уроки нашего классного руководителя профессора Апльта. Это был статный мужчина с лицом странного желтовато-коричневого цвета, с длинными, зачесанными назад вороно-черными волосами и длинной, такого же цвета ассирийской бородой, длинными желтыми ногтями. Он был холостяком, носил золотое кольцо непривычной формы, с большим резным аметистом, про которое, как про магическое, у нас, мальчиков, ходили различные легенды. Говорил и двигался он медленно, с каким-то особым достоинством, словно жрец, и, как нам казалось, часто говорил с таинственным – как я бы назвал это теперь – подтекстом. Да, нас всех пугало и вместе с тем привлекало что-то загадочное в этом человеке. Загадочными были его большие блестевшие черные глаза с желтыми белками, и даже почему-то его неизменный черный костюм непривычного покроя. Таинственны были слухи, которые шепотом передавали ученики

старших классов во время переменок в длинных, гулких, вымощенных каменными плитами коридорах «реалки».

Апльт был атеистом, вольнодумцем, будто бы даже франкмасоном. О нем распространяли всяческую клевету, то – будто он сифилитик, то гомосексуалист, он – так они утверждали – был членом правления атеистического общества «Вольная мысль», писал для его журнала, подвергался преследованиям со стороны начальства. Но почему-то начальство его побаивалось, не очень-то трогало. Он стоял особняком от своих коллег, действовал по-своему: строго не придерживался программы преподавания, не ставил – как другие – непрерывно отметки, не заставлял класс, когда его урок был первым с утра, читать молитву. Он преподавал математику, физику, химию, биологию и все естественные науки. Он был человеком, знающим и любящим свой предмет, чутким учителем, по-человечески понимавшим психологию подростков. Я обязан профессору Апльту очень многим, с искренней благодарностью вспоминаю о нем. А ведь на уроках математики я доставлял ему много неприятных минут.

Вот он выводит на доске доказательства какой-либо геометрической теоремы или показывает решение алгебраической задачи. А я без спросу вскакиваю со своего места и перебиваю его: «Господин профессор, это можно сделать проще!», и уже бегу к доске. А то по физике задаю чересчур каверзные вопросы. Но Апльт не сердится, или, по крайней мере, не показывает виду, что сердится, что я подрываю его авторитет, и только мягко замечает, что не годится без спроса перебивать его. Более того, он всегда помогает мне советом, рекомендует, что почитать. Помнится, благодаря ему, я заинтересовался проективной геометрией, начал приобретать постепенно всю серию немецких сборников Гешён. В классе, где чуть ли не у каждого школьника имелось свое прозвище, меня прозвали «Архимед».

Но тем не менее в то время школа была для меня лишь неизбежным злом, и только. Настоящая моя жизнь была в книгах. В библиотеке «Народного дома» я стал одним из самых ревностных абонентов. Читал я главным образом беллетристику, как чешских авторов, так и переводы иностранных романов выдающихся писателей, но попадались и книги по философии, научно-популярные сочинения. Я читал без руководства, без разбора, многое, надо полагать, вовсе не понимал, или понимал превратно. Читал нечеловечески быстро, прямо-таки глотал книги. Прочел я и «Антропологию» Тейлора, которая произвела на меня сильное впечатление. Это был один из первых и вероятно наиболее сильных систематических стимулов материалистического миропонимания, которые дошли до меня. К

тому времени – мне было около тринадцати лет – относится и моя первая любовь.

Летом, как всегда, я приехал домой на каникулы, в Чешскую Каменицу. Однажды моя пятилетняя сестричка засиделась долго в гостях у своей подружки. Меня послали за ней. Подойдя к садовой калитке, я позвонил, и в дверях виллы показалась, освещенная бликами витражей, девочка. Длинные, золотистые косы. Одета в национальный костюм тирольской крестьянки. Заикаясь от смущения, я пролепетал: «Я брат Мартички, пришел за ней, уже поздно, извините…» Это была романтическая, платоническая страсть, о такой я зачитывался в романах. Я стал пропадать из дому, подкарауливал издали Густль. Мартичку я ходил провожать и, конечно, заходил за ней. Стал плохо есть, худел. Моим излюбленным местом был теперь высокий холм, поросший густой травой, в которой водилась лесная клубника «травница». Это был холм Заттельсберг, высившийся над городком. С него видна была и вилла, где жила «моя Густль». Там я сочинял чешские стихи, и немецкие в прозе, своего рода подражания Бодлеру. Я записал их в альбом Густль. Мое увлечение длилось два-три года. Оно побудило меня изменить свое отношение к школьным занятиям. Я рассуждал так: для того, чтобы заслужить «ее», надо мне стать кем-то стоящим, даже выдающимся, надо стать лучшим, первым учеником. И, начиная с пятого класса, в моих школьных занятиях наступила резкая перемена, я стал внимателен в школе, что оказалось достаточным, чтобы сразу перескочить на место второго ученика, всего за одно полугодие.

На совершившийся во мне переворот, причины которого были, понятно, окружающим неизвестны, реакция была неожиданной. Все ругали. Учителя, да и мама, говорили: «Так вот, оказывается, ты мог отлично учиться, а просто не желал!» Но, как и полагается для всякой романтической любви, моя любовь была несчастной. Когда, наконец, в одни из очередных каникул, – мне было лет пятнадцать, – я настолько осмелел, что признался Густль в своей любви, то встретил смех этой тринадцатилетней девочки. Более того, Густль рассказала все своей матери, чопорной фабрикантше. Мне сразу запретили появляться там. Для меня это был двойной урок: социальный и национальный. Сказалась разница общественного положения родителей – капиталиста и чиновника, равно как и национализм, антисемитизм – чистокровные арийцы-немцы и «полукровка», не то чех, не то еврей. Судетские немцы уже тогда славились своим шовинизмом. Я тяжело переживал этот удар.

Романтизм двух национализмов

А со следующей осени Густль отвезли во французский пансионат, в Лозанну. Только спустя год я получил от нее оттуда открытку с видом Женевского озера. Но было уже поздно. Боль была забыта, мое увлечение Густль сменилось другим, хотя и не любовным, но не менее страстным, и, во всяком случае, более захватившим всего меня. Я стал еврейским националистом. Этому содействовало все мое развитие. В националистическом романтизме, правда, чешском, воспитал меня отец, воспитывала школа, вся обстановка в Праге, в Чехии. Да и вся Австро-Венгрия с ее одиннадцатью национальностями кипела их непрекращающейся борьбой между собой. Угнетение прежде столь славного, высококультурного чешского народа, его героическая борьба за сохранение самобытности, за свое возрождение, против насильственной австрийской германизации – все это было центральной темой художественной литературы, преподавания истории даже в ее столь засушенном виде, все это наполняло рассказы отца о его деятельности странствующего учителя. Пьяные «бурши» – студенты имеющихся в Праге параллельно с чешскими немецких университета и высшей политической школы, у которых было свое казино на одной из главных улиц города, «На Пржикопе» (ныне там помещается «Славянский Дом»), шествовали в своих цветных фуражках, кичась шрамами от дуэлей, орали свои воинственные песни, задевали прохожих, постоянно всячески провоцировали столкновения с чешской молодежью, с чехами, составлявшими девять десятых населения столицы. Разумеется, что австрийская полиция закрывала глаза на эти бесчинства.

Ядовитые стихи Гавличека, полные ненависти к австро-венгерской монархии, к Габсбургам, к католической церкви, литература, напечатанная лишь после интерполяции в парламенте (однако все же при монархии было возможно печатать то, что подрывало самые ее устои, а в СССР, в так называемой социалистической, самой «демократической» стране, нельзя было опубликовать ни одной строчки, критикующей не строй, а лишь политику ее правителей) – вот что любил на память декламировать мой отец, что давал мне читать.

Романтизмом я был пропитан насквозь. Этому содействовали и классики, в том числе и немецкие издания Гете, Шиллера, Гейне, Лессинга, а также и Шекспира, которые принадлежали маме. Мой отец посещал какой-то патриотический клуб. У него, чуть ли не рядом с его австрийским официальным мундиром

почтового ведомства, висел в шкафу длинный сюртук со шнурами вместо пуговиц – старое чешское патриотическое одеяние.

Переход от чешского национализма к еврейскому свершился во мне с необычной легкостью. Разве евреи – а я ведь был не только чехом, но и евреем – не были национальностью, еще более угнетаемой, гонимой и беззащитной, чем чехи? Ведь были чехи-антисемиты, но не было евреев-античехов! Но, конечно, кроме подобных, чересчур отвлеченных, идущих от разума, соображений, действовали на меня другие факторы, эмоционального порядка.

Прежде всего, романтизм подкреплялся всей той атмосферой национальной освободительной борьбы, которая охватила Европу в начальной стадии наступления империализма на рубеже XIX–XX веков. В англо-бурскую войну симпатии чехов были, естественно, всецело на стороне буров, и мы, мальчишки, в своих играх нещадно били «англичан» и страдали от каждого газетного известия о поражении буров. В русско-японской войне, понятно, по давнишней славянофильской традиции, симпатии чехов были на стороне русских, каждое поражение которых переживалось больно, как собственное. То, что буры сами станут жесточайшими угнетателями африканцев, не приходило никому в голову. И то, что удары японцев объективно ударяли по русскому самодержавию, не доходило, конечно, до нашего сознания.

Но было и другое. Была волна дикого, звериного антисемитизма, прокатившаяся, начиная с 1894 года, по всей Европе. Сначала во Франции, в этой образцово просвещенной стране, в стране «свободы, равенства и братства», разыгралась «дрейфусиада». Офицер генерального штаба еврей Дрейфус был ложно обвинен в государственной измене. Знаменитого Золя, выступившего с открытым письмом «Я обвиняю» к президенту республики в защиту невиновного, суд осудил, и он вынужден был бежать в Англию. И лишь в 1906 году Дрейфус был полностью реабилитирован.

В самой Чехии в 1899–1900 годах разразилась «гильзнериада». Еврея-бедняка Гильзнера ложно обвинили в убийстве христианского мальчика, причем, якобы, для получения крови в мацу. Против этого антисемитского процесса, затеянного австрийской реакционной юстицией, поднялся протест всей передовой чешской интеллигенции с Масариком во главе. А в 1913 году, в России, такое же клеветническое обвинение в ритуальном убийстве создало «дело Бейлиса» – судебный процесс, организованный царским правительством, сопровождавшийся погромами, против которого выступили Горький, Короленко и другие.

Хотя в чешском народе никогда не бытовал антисемитизм, в то время вспышка его стихийно поднялась. Это проявилось не только в погромах еврейских лавок и магазинов, в Праге и в ряде других городов, – дело рук люмпенов, подонков большого города, – под покровительством полиции – но и в антисемитских надписях на заборах, проявилось в поведении учеников в школах, оскорблениях, наносимых на улице людям семитской наружности. В связи с этой вспышкой антисемитизма, отец любил цитировать слова поэта Яна Коллара: «Тот, кто в оковы сажает рабов – сам раб» – изречение, несправедливо жестоко сказавшееся на судьбе в сущности доброжелательного чешского народа, и висящее угрозой над израильтянами, не желающими понять, что единственная их надежда – в братании с арабами.

Мой отец ратовал за идею «Чешскому ребенку место в чешской школе». Этот лозунг он распространял и на детей евреев, горячо спорил с родственниками матери, в особенности с дядей Лангером, виноторговцем, лавочка которого пострадала во время погрома. Помню, однажды я присутствовал при таком споре, и со свойственной мне неуместностью совать свой большой нос повсюду, вмешался в разговор взрослых, встал на сторону дяди. «А я думаю, что еврейскому ребенку место в еврейской школе, а не в чешской или немецкой», заявил я с апломбом, так, как мне подсказывала моя логика, не принимая во внимание, что никаких еврейских школ в Чехии не существовало вовсе.

Это было мое первое «политическое» выступление и начало все более усиливавшегося расхождения с отцом, начало моего еврейско-националистического увлечения. Да, я, лет пятнадцати, знающий в объеме средней школы всю алгебру и геометрию, начавший изучать высшую математику по французскому учебнику Серрс, решавший конкурсные задачи из приложений для средней школы «Журнала чешских математиков и физиков» и регулярно получавший призы, опять-таки математические книги, я, влюбленный, в Густль Ренгер, – стал безудержно увлекаться всем еврейским.

Моему еврейскому увлечению значительно содействовала дружба с двоюродным братом Йиржиком. Он был на два года моложе меня, но наша дружба была самой крепкой, как равного с равным. С ним вместе мы посещали сиротский приют, он, как и я, очень любил бабушку, вместе с ним мы играли. Он обладал буйной фантазией и влечением к мистике, выдумывал самые причудливые сказки, истории, похождения с привидениями. С ним вместе мы перед девочками «колдовали», то есть проделывали всякие фокусы, которым мы научились из разных брошюрок, гадали, составляли гороскопы, отгадывали мысли и

т. д. В то время мы зачитывались всяким вздором о белой и черной магии, но также о гипнотизме и самовнушении.

Одно время мы пробовали поставить опыты по телепатии. В большом саду сиротского приюта на расстоянии каких-нибудь пятидесяти метров мы с Йиржиком садились спиной друг к другу, к садовым столикам, предварительно условившись, что один станет писать простые знаки: либо цифры от 0 до 9, либо простейшие геометрические фигуры, вроде креста, квадрата, треугольника, круга, либо цвета цветными карандашами, либо даже какую-нибудь букву, и что он, после каждой отдельной записи, подаст знак ударом карандаша о столик. А другой должен отгадать, записывая в том же порядке знаки. Эксперименты вначале удавались довольно плохо, но чем чаще мы стали ими заниматься, тем становились точнее, причем безразлично, кто из нас обоих отгадывал. Они кончались всякий раз сильным утомлением, и даже головной болью отгадывающего. Устраивались они нами без свидетелей, в полной послеобеденной тишине этого тенистого сада. Йиржик объяснял их, конечно, магической силой мысли. Для меня же они оставались – и остаются до сих пор – необъясненными. Во всяком случае, я как-то не так давно публично выступил против тех, кто заушательски хотел запретить опыты по телепатии, по обнаружению возможного, пока неизвестного излучения, вызываемого, быть может, биотоками мозга, излучения, которое, без всякой мистики, вполне материалистически, могло бы передавать мысли на расстояние. Единственным веским доводом против возможности существования человеческого мозга, обладающего столь сильной способностью передавать, получать и преобразовывать подобное излучение (если оно вообще существует), мне кажется, вытекает из теории Дарвина: люди, обладающие подобным свойством, были бы несравненно лучше, чем прочие, приспособлены к жизни, а поэтому, с течением времени, это свойство должно бы перестать быть редчайшим – но этого ведь нет в действительности.

Вскоре после моей упомянутой сцены с отцом, мы с Йиржиком стали изучать древнееврейский язык – иврит. У Йиржика в этом отношении были большие преимущества, так как он уже знал кое-что из уроков религии, умел хорошо читать и знал много слов, но читал он с ашкеназским произношением, на котором происходили религиозные службы в Чехии и во всей восточной, средней и западной Европе. Мы сели за учебники и продвигались быстро вперед. Учились мы по учебнику для студентов теологического католического факультета университета, с сефардийским, «академическим», очень благозвучным произношением, теперь официально принятым в

Израиле. Оно нам очень нравилось, так же как и большая стройность грамматики этого древнего языка. Манила и таинственность – мы станем меж собой разговаривать, а понимать нас никто не сможет. А я просто считал своим долгом знать язык своего наиугнетеннейшего народа.

То, что мы изучали древнееврейский, мы старались сохранить в тайне. Но, конечно, об этом скоро узнали домашние. Наша семья к тому времени, как я перешел в пятый класс, вернулась из Чешской Каменицы в Прагу, куда отца перевели с новым повышением по службе. Пришлось выслушивать немало насмешек и брани по этому поводу: «К чему тебе это, ты что, раввином хочешь заделаться, или ксендзом, или уехать в Палестину?», говорил отец. Я увертывался, отшучивался, но все это лишь усиливало во мне дух противоречия. Споры между мной и отцом становились все чаще и все острее. Самым спорным вопросом был вопрос чисто теоретический: являются ли евреи нацией или нет? Ассимилянты и их сторонники утверждали, что раз у евреев нет своего единого языка и территории, государства, то они не нация.

Среди самих националистов имелось множество оттенков, начиная с религиозных сионистов «мизрахим», и кончая социалистическими «поалейцион». Вообще же политическая сторона вопроса оставалась для меня скрытой. «Еврейское государство» («der Judenstaat»), это основное сочинение основателя сионизма, младогегельянца Теодора Герцля, произвело на меня меньшее впечатление, чем его же небольшой рассказ «Менора». А еще сильнее действовали стихи Морриса Розенфельда, этого певца американского еврейского гетто, стихи не только националистические, но и социальные, если не сказать социалистические. Их я прочитал впервые не в оригинале на идиш, а в чешском переводе Ярослава Врхлицкого.

В древнееврейском вскоре – через год-два – у меня оказались недурные успехи. Этот язык давался мне удивительно легко, и я вскоре стал первым на курсах усовершенствования при студенческой сионистской организации «Бар-Кохба», куда записался. Понемногу я начал читать тексты без знаков для гласных, которые в иврите, как и в арабском, как правило, опускаются, газеты и журналы, выходившие на иврите в России, и, наконец, сам преподавать иврит начинающим. Имелись друзья, с которыми я довольно бегло разговаривал по-древнееврейски. Все это было в то время, когда я кончал среднюю школу, в мои семнадцать лет.

Студенческая организация «Бар-Кохба», названная так по имени вождя иудейского восстания против римского владычества, устраивала различные культурные мероприятия, из которых мне

особенно помнятся концерты еврейской музыки, певца Голанина, чтение стихов, доклады писателя-философа Мартина Бубера. Душой всего был Гуго Бергман, библиотекарь Пражского немецкого университета, впоследствии израильский академик, философ-идеалист. Книгу Бубера «Три речи о еврействе» я перевел тогда с немецкого на чешский, она была издана и перевод получил высокую оценку чешского прогрессивного критика Франтишека Ксавера Шальды, также как мой чешский перевод избранных стихотворений древнееврейских поэтов средневековья. В журнале Шальды я позже опубликовал и небольшое количество своих собственных лирических стихов.

К этому же времени относятся, хотя и по существу не укладываются сюда как-то, попытки моей матери сделать из меня, этого чудака, «светского человека». После ряда сцен и скандалов, мама принудила меня надеть сорочку с накрахмаленной манишкой и такими же манжетами и стоячим твердым воротничком, режущим горло. Мне сшили черный смокинг, и повели на уроки танцев. Я пошел, чувствуя себя отвратительно, хуже, чем скотинка, которую ведут на бойню. Самое страшное в моем воображении было то, что танцевать придется с барышнями, которые представлялись мне совершенно непохожими на тех простеньких девочек-сироток, которых я знал. О чем это я стану с ними говорить? Мне представлялось, что все они невероятно тупые, ограниченные и вздорные существа, которые только и знают, что вертеться перед зеркалом, наряжаться, флиртовать, а о другом, кроме как о погоде, разговаривать не умеют. Я решил, что приглашу танцевать самую некрасивую девушку, так как если вероятность встретить красивую равна, скажем, 1/10, и вероятность того, что она будет умной также 1/10, то вероятность того, что она будет как красивой, так и умной окажется всего 1/100. Вот как я «практически» применил в своих расчетах теорию вероятности, с которой по книжке из сборничков библиотеки Гешёна я тогда познакомился.

Против всякого ожидания, первые начала танцевального искусства оказались уж чересчур простыми. Во всяком случае, менее трудными, чем уроки гимнастики, которые – по сокольской системе – преподавали нам в нашей «реалке», с разным там лазаньем по лестницам, прыганьем через козлы, упражнением на брусьях и т. п. В большом зале «Мещанской беседы», где происходили танцевальные курсы, по одну его сторону стояли «дамы» – девушки в длинных белых платьях, а по другую – мы, «кавалеры». Позади «дам», около стены, сидели их мамаши, или тетушки, «гардедамы», на галерее разместилось несколько музыкантов. Учитель танцев, молодой человек во фраке,

извивавшийся, как будто он каучуковый, заставлял нас постоянно повторять одно и то же: надо было выходить на середину зала по одному – сначала «кавалеру», потом «даме» – и здесь каждый, под звуки музыки повторял несколько простых «па» польки, потом расшаркивался, и снова возвращался на свое место. Трудно было себе представить нечто более дурацкое и комичное.

После перерыва учитель танцев объяснил, что теперь каждый «кавалер» должен – и как именно – пригласить какую-нибудь «даму» танцевать с ним, и что будем танцевать польку. Я, как решил, так и сделал.

Заранее пригляделся к стоявшим напротив девицам, и пригласил ту, которая показалась мне самой большой дурнушкой. Протанцевали мы благополучно, что значит, что я ни разу не наступил ей на ногу, ни даже на ее длинное платье, и что наша пара не получила никакого замечания учителя, шмыгавшего тут же, среди танцующих.

Но самое худшее испытание еще предстояло. После того, как стихла музыка, нельзя было просто отвести свою «даму» на ее место к мамаше, а – согласно инструкции, преподанной нам учителем – прогуляться с ней раз или два по залу, вести «светскую» беседу. Спрашиваю: «Вы любите оперу?», и получаю ответ: «Да». Но и на вопрос: «Кого вы предпочитаете, Сметану или Дворжака?», следует нечто неопределенное, но односложное, не то «да», не то «нет». Так моя «дама» или вовсе молчала, или отвечала этими «да» и «нет». Это, и еще больше то, что меня так бессовестно подвела теория вероятности, взбесило меня, я прервал прогулку и со словами: «О, вы, барышня, видно очень набожны! Руководитесь словами евангелия: да, да, нет, нет, да буде слово твое, и что больше есть, то от дьявола» вручил ее с поклоном ее мамаше. А сам – покинул зал, твердо решив никогда больше не танцевать. У Ницше я прочитал, что если смотреть на танцующих, не слыша при этом музыку, то справедливо сочтешь их помешанными, и с этим я согласился. Танцы, как и балет, я, увы, не понимаю. Маму я огорчил, И мой смокинг стал добычей моли.

Я стал на некоторое время женоненавистником. Это была присущая в переходном возрасте многим подросткам отчужденность, стимулируемая, вдобавок, раздельным обучением в школе. Я стал называть девушек презрительно «гусынями». И в то же время в моем воображении «женщина» как таковая была высшим существом, как это описывалось в романах рыцарских времен. И когда один из моих приятелей, Норберт Адлер, сын сахарозаводчика, как-то изложил мне свои цинические взгляды на отношение к женщине, я, в ответ, тут же порвал с ним, приняв все

это мальчишеское хвастовство всерьез.

В то время я уже начал зарабатывать, давая за плату уроки на дому по математике нескольким плохо успевающим или же готовящимся к «матурите» – выпускным экзаменам – ученикам средней школы, сыновьям зажиточных родителей. Заниматься с лентяями, а главное с тупицами, было неприятно. Но уроки эти неплохо оплачивались. Для меня, больше, чем эта реально-материальная сторона, было важно моральное сознание того, что я стал самостоятельным. Конечно, это в значительной степени была фикция, ведь я жил по-прежнему у родителей, пользовался их кровом и столом, но все же настоял на том, что вносил в домашний бюджет свою скромную лепту. И все это из-за разногласий с отцом по национальному вопросу! Раз мы столь резко расходимся во взглядах, то я не желал чувствовать себя зависимым от него.

Тянет в дальние страны

В то время в последних классах средней школы у меня было много друзей. Но я остановлюсь здесь лишь на дружбе с Крупским, так как именно она была прочна и своеобразна. Этот долговязый, чуть заикавшийся ученик, был, так сказать, издателем, шеф-редактором и чуть ли не единственным автором всех статей издававшегося – разумеется, без ведома начальства – рукописного классного журнала, выходившего в трех классах, причем весьма регулярно, раз в месяц. Название его было оригинально, он назывался «Без названия». Журнал был публицистическо-художественный, с явным уклоном к сатире, к остроумию, которым славился Крупски. По понятным причинам, все авторы выступали в журнале под псевдонимами (а у самого Крупского их было множество), но желающих принимать в нем участие было тем не менее сравнительно немного. Боялись тяжелых последствий в случае провала.

Но за все три года провала не было, не нашелся ни один доносчик. Впрочем, я теперь думаю, что классный руководитель Апльт знал о существовании журнала, но закрывал на это глаза. Возможно, что знал кое-кто другой из профессоров, но не хотел поднимать шума, так как это каким-то образом ударило бы и по самим учителям. Крупски предъявлял большие требования к статьям, далеко не все «печатал», что ему предлагали. В каждом номере была своего рода «политическая» передовая, поднимавшая события в классе чуть ли не до международного уровня, были заметки, посвященные отдельным «личностям» – преподавателям и ученикам – и отдельно проблемам по предметам. Но был и чисто литературный отдел: стихи, рассказы, и даже «кровавый» роман в продолжениях – пародия на печатавшиеся в ежедневных бульварных газетах романы. Были и переводы классиков. Авторами их были мы двое, Крупски и я, попросту сочинявшие эти поддельные «переводы», стараясь на полном серьезе подражать стилю того или иного западного – Золя, Диккенса, Толстого – или восточного – китайского, арабского, – автора. Вообще же я постепенно стал вроде как бы помощником Крупского, а под конец мы вели наш журнал вдвоем.

Техника занимала немало времени, ведь мы писали его от руки печатными буквами, снабжали иллюстрациями, даже цветными, преимущественно карикатурами, затем переплетали. И все это делалось в строжайшей тайне от домашних. Журнал ходил по рукам, а потом возвращался к Крупскому, который хранил все номера где-то в тайнике. Опасаться было чего. В

«передовицах» и других статьях нет-нет да и попадались выпады против Австрии и самого Франца-Иосифа. Когда мы после сдачи выпускных экзаменов устроили скромную вечеринку с участием нескольких любимых профессоров, то храбрый Крупски притащил на нее все номера журнала – чуть ли не 30 толстых тетрадок – и мы на выбор читали из них под общий хохот. Больше всего смеялись после того, как осушили рюмочку-другую вина господа профессора. Крупски не пошел учиться дальше в высшую школу, а поступил служащим в какую-то частную фирму. В первую мировую войну его убили, Вообще же, когда в 1960 году состоялось традиционное собрание абитуриентов 1910 года, то нас оказалось немного. Многие погибли на фронте в войне 1914–1918 гг., некоторые в фашистских лагерях, а иные просто умерли от болезней и преждевременной старости. Грустное это было собрание, явно показавшее, какая тяжелая доля выпала нашему поколению, и не в первый раз я удивляюсь теперь тому, как же это мне, пережившему три войны, плен и три тюрьмы, удалось выжить.

Заканчивая воспоминания об этом «средне-школьном» периоде, я должен упомянуть еще о некоторых более или менее ярких эпизодах, скрасивших это, в общем спокойное, но довольно однообразное, скучное течение жизни.

Так вот, я мечтал о путешествиях в чужие, особенно в дальние экзотические страны. Старался не пропускать ни одной из публичных лекций путешественника Браза, этого чешского Левингстона, исходившего пешком многие районы экваториальной Африки и Южной Америки. Он сопровождал свои лекции показом проекций, им же раскрашенных фотографий. И мне, наконец, выпало такое счастье. Пять настоящих путешествий – правда, не на Таити, о чем я больше всего мечтал, но все же! До них, кроме описанных уже прогулок с отцом, я побывал только на народных храмовых праздниках, однако утерявших первоначальный религиозный характер.

В Крушных горах мне довелось увидеть осенний праздник общества стрелков («Schutzenverrein»), военизированного общества немцев, одетых в зеленые мундиры, которое имело свои организации во всех селениях Судетов. На горной поляне, возле бойко торговавшего ресторанчика, воздвигли шест высотой в рослую сосну, на вершине которого было прикреплено яблоко, и оттуда же свисали длинные черные, белые и красные ленты – пангерманские цвета. Состоялось состязание в стрельбе из средневековых самострелов – стрелой надо было сбить яблоко. Поодаль горел громадный костер и над ним на вертеле жарилась целая туша вола. Праздник так и назывался «Ochsenbraten am

Spieβ» («Воловье жаркое на вертеле»). А под конец, когда уже спустилась ночь, и все как следует наелись и напились пива и шнапса, началось факельное шествие, вокруг костра дико плясали и орали воинственные, кровожадные, шовинистические песни. Этим они не в первый и не в последний раз опровергли изречение Шиллера: «Где поют, там радостно поселись. У злых людей песен нет». Все это должно было изображать языческие празднества древних тевтонцев. Из этих стрелков и подобных им организаций, которые масариковско-бенешевская Чехословакия либерально терпела, позднее рекрутировались наиболее активные гейнлейновцы, эсэсовские головорезы.

Но вот теперь я еду в другую страну – в Германию, в столицу Саксонии Дрезден. Взяла меня с собой бабушка Иоганна, отправившаяся туда навестить свою болевшую сестру, как и она сама, вдову, проживавшую там с двумя уже немолодыми дочерьми. Это было летом, и мы поехали туда колесным пароходом, сначала по Влтаве, а затем по Лабе (Эльбе), а обратно вернулись поездом. Для поездки в Германию, а также в Италию – в страны-союзницы – не требовалось никаких паспортов и никаких формальностей вообще. Все это, не в пример порядкам в странах так называемого социалистического содружества, где на 56 году революции, спустя 27 лет после окончания Второй мировой войны, советский гражданин для того, чтобы посетить родственника, проживающего в другой «социалистической» стране, должен сперва получить от него официально заверенное приглашение, обзавестись характеристикой, – если он партийный, от партбюро своей низовой организации, – пройти затем через специальную выездную комиссию райкома партии, а потом еще ждать, пропустит или не пропустит его ОВИР – номинально орган милиции, на деле же Комитета Госбезопасности. И все это длится не менее 3 месяцев, не говоря уже о том, что за эту свою нервотрепку надо уплатить 40 рублей. В таком же положении находятся и советские граждане, временно работающие в Чехословакии, Польше, ГДР и т. д., все они, если хотят навестить своих родственников в СССР, должны пройти через эту унижающую человеческое достоинство жандармскую процедуру. А в Австро-Венгерской монархии получить заграничный паспорт было сущим пустяком для поездки в любую страну мира, стоило 5 крон и длилось не больше суток (полиция выясняла, не числится ли за желающим уехать уголовное дело, или не подлежит ли он призыву).

Но вот, мы ехали в Дрезден. Запомнилось общее впечатление от красот этой поездки, зеленых берегов Эльбы, живописных селений и замков на скалах Чешско-Саксонской Швейцарии.

Проезжая Шандау, летнюю резиденцию саксонского короля (тогда в Германии, кроме кайзера Вильгельма Второго, в каждой отдельной провинции сохранились еще короли и князья, со своими, наряженными в старинные мундиры, гвардиями), мы с парохода хорошо видели как на берегу происходил какой-то праздник, с военным оркестром, – мне запомнился дирижер, размахивавший вместо палочки длиннющим шестом, с нанизанными на него колокольчиками. От самого города Дрездена осталось у меня впечатление бело-зеленого цвета, подстать саксонскому знамени: белые здания с зелеными крышами. Конечно, мы побывали в Цвингере, смотрели Сикстинскую мадонну, но мне было тогда лет тринадцать, и я не мог, понятно, ничего этого как следует оценить. Вторично я побывал в Дрездене лишь после того, как он был варварски разрушен американской авиацией.

Запомнился еще такой случай. Как-то Прагу посетил черногорский князь Никита. Он разъезжал по городу в открытом фаэтоне в национальном костюме, в расшитом золотом жилете, встречаемый бурными овациями пражан. Симпатии чехов к югославам, а в особенности к черногорцам, к этому немногочисленному храброму народу, отстаивавшему в своих горах самостоятельность, были давнишними. Мне повезло, я видел проезжавшего по Вацлавской площади князя. И вот однажды я, вернувшись домой из школы, рассказал с массой деталей, будто князь Никита посетил нашу школу, побывал у нас в классе, как раз, когда меня вызвали на уроке родного языка, и я продекламировал в его честь стихи. Конечно, мое вранье вскоре обнаружилось, и меня чувствительно наказали. «Вот тебе, запомни на всю жизнь, надо всегда говорить правду и только правду, приговаривал отец, шлепая меня. Не знаю, возможно, что я с тех пор запомнил это, но говорить правду оказалось не легким делом. Во-первых, проклятый вопрос Понтия Пилата: «Что такое правда?», пока еще, при моей жизни, не решен. Сколько раз я искренне принимал за правду то, что было на деле самой настоящей ложью. Во-вторых, не столько за вранье, сколько именно за правду бьют, причем не любя, а нещадно, часто до смерти. И в-третьих, не горькая правда, а сладкая ложь доставляет нам утешение, наслаждение.

Когда я окончил «реалку», а окончил я ее с отличием, отец взял меня в виде награды с собой в Триест (тогда австрийский морской порт), куда он ездил в служебную командировку. Там я впервые в жизни увидел море – голубое, Адриатическое! Как сегодня, вижу все это. Поезд спускается с холмов, раннее утро, мы только что проснулись. Я не отхожу от окошка, прилип к нему,

хочу первый увидеть море. И вдруг внезапно исчезает линия горизонта, – это голубой небосвод сливается с таким же голубым морем. От удивления, радости, восторга, я вскрикиваю: «Море, море, посмотрите, море!», точно так, как те древние греческие воины, прокричавшие «Талата, талата!», когда они после изнурительного похода наконец добрались до его берегов.

В Триесте я запомнил, пожалуй, только именно море и набережную с молами, со звучными названиями «Санто Карло», «Де ля санита», многочисленными судами, пеструю гомонящую толпу, по преимуществу итальянского населения (в окрестностях города проживали словенцы), и еще небольшой канал с рыбацкими лодками, с фруктовым и рыбным базаром на его берегах. Мы пробыли в Триесте дня четыре. Посетили мраморный белый замок Мирамаре, бывший прежде летней резиденцией императрицы. Ездили пароходом на курортный остров Градо, всего какой-нибудь час или два езды, но ведь это была моя первая поездка по морю. Было это в воскресный день, народ ехал отдыхать, веселый, с гитарами, всю дорогу не затихали песни, танцы на палубе, и, конечно, были и большие бутыли вина в плетенках.

После поездки в Триест, за год до смерти отца, – я был уже студентом второго курса, – состоялось наше путешествие в Берлин, куда отец ездил также в командировку. Берлин был первым большим городом, который я увидел. По сравнению с ним, наша Прага была жалкой провинцией. Берлин производил впечатление настоящего «каменного мешка». Какая подавляющая человека монументальность всех этих напыщенных дворцов, колоссальных размеров памятников всяким курфюрстам, военачальникам в «Аллее победы», Бранденбургские ворота, церкви, музеи – все рассчитано на то, чтобы поразить размером покрупнее, помассивнее. Ужасающая безвкусица! Но какое движение автомашин на улицах! И сколько повсюду военных и полицейских в касках – шуцманов и ненавистных надменных морд пруссаков и пруссачек! И на каком резком, неблагозвучном берлинском наречии немецкого языка они говорят! И какая невкусная, по сравнению с чешской, эта их еда! Все это вместе взятое удручало меня. Конечно, музеи были чудесные, в них были собраны многие сокровища древнего, восточного, а также и современного искусства, свезены сюда правдой и неправдой, куплено за бесценок или просто награблено, затем классифицировано и хранимо с немецкой педантичностью. И мы с отцом, валясь с ног от усталости, носились по музеям, да вообще старались за короткий срок пребывания в городе не пропустить ни одной достопримечательности.

Побывали мы и в красивых окрестностях Берлина, в прекрасных кварталах богачей, на полянах, поросших розовым и белым вереском, в чистеньких поселках Бранденбурга, названия которых свидетельствуют о том, что когда-то всю эту местность заселяли выгубленные затем славяне, а также на озере Ванзее. Не предчувствовал я тогда, при каких обстоятельствах мне придется в следующий раз побывать в Берлине и вообще в Германии.

Другие два путешествия я совершил самостоятельно, без опеки родных, одно втроем, с двумя друзьями – Трнобранским и Макариусом. Оно было настоящим пешеходно-туристским. Долго мы выбирали, куда направиться, как легендарный Буриданов осел не мог выбрать между двумя охапками сена, так и мы не знали, чему дать предпочтение: Татрам или Альпам. Наконец, мы остановились на Альпах, на Тироле, из-за льготного железнодорожного проезда, густой сети дешевых туристских ночлежек, и не в последнюю очередь из-за того, что здесь нам не придется иметь дело с незнакомым мадьярским языком (Татры ведь в Словакии, тогда входящей в Венгрию), и в особенности с венгерскими жандармами, которые преследовали чешских туристов.

Поездом мы доехали до Зальцбурга. И примерно после недельного пути добрались до городка Бергель, стоящего на середине пути к нашей цели – столице Тироля – Иннсбруку.

Но тут мы обнаружили постигшую нас катастрофу: у нашего казначея Макариуса, самого аккуратного и расчетливого из нашей тройки, пропал бумажник, в котором хранилась основная часть наших финансов. Не то он как-то выронил его, не то его у нас вытащили из рюкзака в одной из ночлежек. Мы побранили Макариуса, горевавшего больше нас всех, но что же делать, как нам быть дальше? Конечно, было несколько выходов из этого пикового положения. Дать телеграммы домой, попросить перевести нам по телеграфу деньги. Но это мы единодушно отвергли, стыдно было за наше ротозейство. Мы могли бы продать имеющиеся при нас ценности – часы, колечки – но все они были даренные (у меня было недорогое, но необыкновенного вида кольцо с печаткой, бабушкин подарок), никому не хотелось расставаться с ними, да и выручили бы мы не очень много. А кто-то из нас предложил, чтобы мы стали просто побираться – петь и рисовать картинки – портреты крестьян, а главное крестьянок и их детей, для чего сначала надо купить бумагу и акварельные краски, а плату будем получать натурой, питанием и ночлегом. Но в результате состоявшегося совета, все эти предложения были отвергнуты. Мы решили бесславно прекратить наш поход и вернуться поездом в Прагу, самым дешевым, четвертым классом,

на что у нас в обрез, как мы подсчитали, но все же хватило денег. Так мы до Тироля и не добрались.

И еще одно путешествие довоенного времени, на этот раз в Вену, в столицу Австрии. Собственно говоря, я осуществил его уже будучи студентом после смерти отца, но упомяну его здесь. В Вене тогда состоялся одиннадцатый Всемирный сионистский конгресс, и железные дороги предоставили возможность удешевленного проезда туда и обратно, что они охотно делали для безразлично каких более или менее крупных сборов. Хотя я и не был членом сионистской политической организации, и тем более, разумеется, делегатом или гостем конгресса, но, как я уже об этом писал, был связан со студенческим сионистским обществом «Бар-Кохба». Через это общество я приобрел билеты со скидкой и поехал в Вену, где пробыл неделю, пока длился конгресс. О его ходе я знал только из рассказов его гостей и участников, студентов, с которыми жил в каком-то общежитии. И еще по венским газетам, некоторые из которых вели травлю не только сионистов, но всех евреев. Ведь венским бургомистром был тогда Луэгр, воинствующий антисемит. Выбрали себе сионисты подходящее место для конгресса! Заправилами на нем были крупные капиталисты во главе с Хаимом Вейцманом, известным ученым-химиком, ставшим позднее первым президентом государства Израиль.

Он ориентировал сионистское движение на то, чтобы оно искало опору в британском империализме, заинтересованном в том, чтобы удержать свои позиции в Палестине. Для этого сионисты, начиная с самого своего учредительного Базельского конгресса в 1897 году, руководимые основателем сионизма Герцелем, держали курс на Турцию, на «кровавого султана» Абдул-Хамида. А теперь, после Второй мировой войны, израильские руководители опираются на США. Но на венском конгрессе была и многочисленная левая, социалистическая оппозиция, происходили жаркие дискуссии. До всей этой политики мне тогда не было никакого дела, и я не разбирался в ней. Политику, в частности и в особенности международную, дипломатию, я отождествлял с политиканством, этим корыстным и коварным злоупотреблением общественными делами в низменных, эгоистических личных и групповых, кастовых интересах. К сожалению, в чересчур многих случаях, это недалеко от истины.

Пора, непосредственно предшествующая Первой мировой войне, ощущалась нами, жителями Центральной и Западной Европы, как подлинно мирная, спокойная, тихая, чтобы не сказать скучная, довольно скупая на волнующие умы события. Кто же мог

подозревать тогда, что все без исключения генеральные штабы давно уже разработали планы кровавой бойни, имевшей все шансы превратиться в мировую? Конечно, и по Австро-Венгрии прокатились отголоски русской революции 1905 года – рабочими демонстрациями, всеобщей забастовкой, возглавлявшейся социал-демократами борьбой за всеобщее равное и тайное право выборов в парламент. Случались и разного рода «инциденты» – небольшие, локализованные конфликты из-за захватнических действий той или иной империалистической державы, не прекращалась борьба между одиннадцатью национальностями, находившимися под властью Габсбургов.

Бывали, разумеется, события, которые раскрашивали эти будни. Мне запомнились два из моих школьных лет. Одно – это было посещение Праги императором. К Францу Иосифу, этому преклонного возраста монарху, у чешского обывателя было двойственное отношение. С одной стороны его ненавидели как олицетворение проводимой правительством германизации и грубого подавления гражданских прав и свобод, а с другой стороны, над ним добродушно посмеивались, подтрунивали, – в ходу была масса анекдотов, за распространение которых полагались «строгие» наказания («оскорбление величества» считалось одним из тягчайших государственных преступлений). А добрые души жалели его: супругу его, якобы гуманнейшую женщину, убили; сын – наследник принц Рудольф будто бы влюбился в какую-то актрису и решил стать рядовым гражданином; брата императора Максимилиана расстреляли в Мексике; эрцгерцог Франц Фердинанд д'Эсте, о характере и политических установках которого ходили самые противоположные слухи, став наследником, интриговал против Франца Иосифа.

Значительная часть чешской общественности и, прежде всего, буржуазии, связывала с визитом императора большие надежды. Это были сторонники австрофильской политики, видного чешского историка XIX века Палацкого, считавшего, что чехи, как малочисленный народ, смогут сохранить свою самостоятельность, да и вообще отстоять свое существование перед напором Германии, только в недрах Австро-Венгрии. Это была политика «меньшего зла», которая, как это показывают многочисленные исторические факты, почти никогда не кончается добром ни для целых народов или партий, ни для отдельных лиц, придерживающихся ее.

Прага шумно готовилась к торжествам. Было построено несколько пышных с виду, на деле же фанерных триумфальных ворот, дома были свежеокрашены, на их балконах выставлены

цветы, город был расцвечен флагами – австрийскими черно-желтыми и чешскими красно-белыми – их, по приказу полиции, были обязаны выставить домовладельцы. И вот, наконец, наступил давно ожидаемый момент. Нас, школьников всех начальных и средних учебных заведений, мальчиков и девочек, в том числе и самых маленьких, погнали в обязательном порядке на встречу его величества, выставили с флажками шпалерами на пути, по которому должен был проследовать с вокзала в пражский кремль «Градчаны» торжественный кортеж. Мы стоим час, два, три на жаре, хочется пить, некоторые малыши не выдерживают, просятся по малой нужде, но их никуда не пускают, – им пришлось встречать «любимого монарха» в не вполне достойном, так сказать, подмоченном виде, – за нами стоит сплошная стена полицейских, солдат, и изображающих штатскую публику шпиков, а еще позади нее теснится толпа пражан, вытягивающих шеи, чтобы увидеть, не пропустить редкое зрелище.

Наконец издали докатилась к нам волна все нарастающего гула голосов: «Едут!» Появляется открытая коляска, запряженная четверкой белых лошадей, и в ней сидит, одетый в белый мундир, с красной лентой накрест на груди, весь в орденах, в треуголке с белыми страусовыми перьями, державшийся прямо старик, с застывшей ласковой улыбкой на лице, и машинально машет нам маленькой ручкой. А за ним также в открытых колясках или верхом на рысаках генералы в расшитых золотом мундирах, как и он в треуголках, но не с белым, а со светло-зеленым оперением, напоминающим зеленые петушиные перья на высоких шапках пражских полицейских, которых народ и прозвал «петухами». За генералами следует кавалерия – гусары, уланы, кирасиры, драгуны – в красочных мундирах, со сверкающими на солнце обнаженными саблями. Вся эта цветная картинка быстро промчалась мимо нас, мы даже не успели опомниться, как от нее остались лишь столбы пыли. И мы, усталые до изнеможения, еле волоча ноги, плетемся обратно. Любовь к Францу Иосифу от всего этого у нас, надо полагать, не увеличилась. Любопытно было бы узнать, что думают и чувствуют – по-социалистически – московские школьники, пионеры и комсомольцы, когда их, подобно нам тогда, выгоняют простаивать часами с флажками на Ленинском проспекте, чтобы встречать, на их пути с Внуковского аэродрома, «в отведенную им резиденцию», августейших особ.

Вся эта наша «встреча» была для меня, можно сказать, небольшой репетицией тех парадов, в которых мне пришлось принимать участие за время моей военной службы в австро-венгерской армии.

И еще одна, возникающая попутно мысль. В 1912 году

скончался прославленный чешский поэт Ярослав Врхлицкий. Его похороны вылились в подлинно стихийную демонстрацию национального единения и преклонения перед талантом писателя. В них участвовала вся молодежь – мы, студенты, школьники, рабочие (фабрики и заводы на два часа прекратили работу) – и все это без каких бы то ни было указаний «сверху». Прибыли делегации – за свой собственный счет – из самых дальних уголков страны. Весь город был в трауре, везде висели черные знамена, люди прикрепили к одежде черный креп, и хотя похороны происходили днем, горели уличные фонари (таков обычай при похоронах выдающихся личностей), движение транспорта повсюду прекратилось, все разговаривали шепотом, царила гробовая тишина. И без всяких полицейских, державшихся в стороне, соблюдался образцовый порядок, нигде не было никакой давки. Вот что значит сознательная добровольность и дисциплина – настоящая, свободная, в отличие от командной, принудительно «добровольной», навязанной человеку под страхом неприятностей, которые последуют для него от властей в случае ослушания.

Последним событием, о котором я здесь расскажу, прежде чем перейти к своим студенческим годам, была большая выставка, состоявшаяся в Праге в 1910 году. На территории, где ныне расположен Парк культуры и отдыха имени Фучика, были сооружены выставочные здания, в том числе и большой павильон, в котором сейчас устраивают городские партийные активы и другие большие собрания. Выставка была промышленная и сельскохозяйственная, но были показаны и образцы достижений чешской науки и культуры, а также и история чешского народа, и быт отдельных краев Чехии. Здесь выстроили несколько деревень с типичными для них хатами, в которых можно было увидеть внутреннее убранство и фигуры крестьян в национальных костюмах. Но были и сверхсовременные экспонаты – действующие модели дирижаблей и летательных аппаратов, из которых мне запомнились машущие крыльями ортоптеры и подобие «летающих тарелок», пугающих теперь воображение. Помнится также, что вход на выставку происходил через турникет, автоматически подсчитывающий количество посетителей (каждый десятитысячный премировался) – это был, пожалуй, первый автомат (если не считать часов), с которым мне пришлось встретиться. Однако устроители выставки позаботились и об отдыхе и развлечениях. И самым большим аттракционом были, конечно, ашанти.

Тогда цирк, не то германский Гагснбек, не то американский Барнум – показывал в разных европейских столицах привезенные

либо из Африки негритянские, либо из Америки индейские племена. Ашанти – народ, населяющий Золотой берег Западной Африки, достигший в свое время сравнительно высокой культуры, но жестоко угнетавшийся английскими колонизаторами. На выставку их привезли с сотню. Они здесь построили свой настоящий «крааль» – африканское селение, окруженное забором, с остроконечными конусообразными хижинами, и с сараями для мелкого скота. Черные, как смола, курчавые, как барашки, небольшого роста, ходили они полунагие, женщины с большими обвисшими грудями, дети совсем голые. Все были обвешаны ракушками и украшены пестрыми перьями, громадными серьгами (какие теперь в моде) и браслетами на руках и ногах, иные с кольцами, вдетыми в ноздри и губы (такой моды пока еще, кажется, нет). Не обращая внимания на нас, зевак, наблюдавших за ними, – за приличную входную плату, – они жили здесь, в самом центре Европы, своей африканской жизнью. Стряпали на кострах какую-то свою еду, отправляли свои религиозные обряды, пели свои песни, устраивали под оглушительную, уши раздирающую, дикую нам музыку, свои еще более дикие, воинствующие пляски.

Мы побывали на выставке всей семьей и я, конечно, смотрел на это зрелище с любопытством, но – так же как и отец – с недоумением, с состраданием к этим бедным «дикарям», которые ведь такие же люди, как и мы, но вынуждены показывать себя, словно обезьяны в зоопарке, и даже не понимают, как это унизительно, не испытывая, по-видимому, презрения к потешавшейся над ними мещанской публике, и ненависть к сделавшим из них для себя коммерцию, хозяевам цирка. Под этим впечатлением я вскоре написал что-то вроде короткого эссе в белых стихах о мнимой цивилизации и подлинной культуре, и мне удалось поместить его в журнал Шальды. Так я, хотя и не побывал в Черной Африке, все-таки прикоснулся к ее быту. Говорили тогда, что некоторые ашанти, за короткое время пребывания в Праге, неплохо стали уже договариваться по-чешски. Это вполне возможно, так как ашанти способный народ, о чем свидетельствует их развитой фольклор. Но так или иначе, но память они после себя оставили. Как это отметили газеты, спустя год в Чехии народилось несколько черных детей.

Итак, школьные годы кончились, начинались годы студенческие. Однако предстояло еще выдержать выпускные экзамены, а значит пережить связанные с ними тревожные дни. На выпускные экзамены была отведена целая неделя, но на деле они проходили лишь в три дня, так как проводились через день. Экзаменовали в основном наши же профессора, но участвовала в

экзаменах целая комиссия представителей министерства образования и высшей политехнической школы, куда эти экзамены давали право поступить. Первый экзамен был по родному языку. Мы явились в обязательных темных костюмах и накрахмаленных сорочках с манжетами, высоким, жестким стоячим воротничком, который был тогда в моде, и черным галстуком-бабочкой, уже с утра, еще до начала экзаменов, все вспотевшие – помнится, как на зло, в Праге стояла тогда непривычно жаркая погода. Нас рассадили на приличные дистанции друг от друга, а затем торжественно вскрыли запечатанный красным сургучом конверт, присланный из министерства, в котором содержались темы письменной работы. Их было три, и каждый мог себе выбрать одну любую. Мне запомнились названия двух из них: «О пользе и вреде воды для человека», «Намечай свои цели по своим силам, и соизмеряй свои силы по своим целям». Я остановился не на первой теме, хотя она естественнонаучная и техническая, казалась более легкой, а избрал вторую, философскую, кажется, афоризм Сенкевича, и написал сочинение, заполнившее довольно объемистую тетрадь, за три часа, положенных на экзамен.

После двухчасового обеденного перерыва, состоялись устные экзамены. Спрашивали по литературе, чешской и мировой, по теории словесности, но я отделался очень быстро, за каких-нибудь полчаса, и одну треть экзаменов, таким образом, имел уже за собой. Второй экзамен был по математике. Та же церемония с распечатыванием конверта, три варианта задач на выбор, и в каждом по три задачи – алгебраическая, геометрическая и тригонометрическая. Я не стал выбирать, а решил все три варианта, причем сразу в чистовик, всего за три часа вместо положенных шести. Но тут должен сознаться в преступлении. Все три варианта я потом мелко переписал и, выйдя в туалет, спрятал их там в заранее условленном месте. И лишь тогда отправился домой.

После обеда был устный экзамен, но у меня члены комиссии, пошептавшись меж собой, спросили только, что я в последнее время читал по математике и сколькими способами могу доказать теорему Пифагора. Третий экзамен по физике был лишь устный. Спрашивали по разным ее разделам и довольно обстоятельно. Помнится, по какому-то вопросу, касавшемуся оптических линз, я нахально вступил в спор с одним из членов комиссии, и не будь вмешательства нашего профессора Апльта, мог себе сильно напортить. Но и тут все закончилось благополучно, и в конце недели я получил аттестат зрелости с отличными отметками по всем предметам, в том числе и по французскому языку, несмотря

на то, что правил грамматики со всеми ее бесчисленными исключениями я так и не выучил наизусть. Такой аттестат давал не только право поступления в политехникум, но и на бесплатное в нем обучение, и даже на стипендию, если этого требовало имущественное положение родителей. Я простился со зданием «реалки», где провел целых семь лет, как мне казалось, навсегда. Но тут я ошибся. Мне пришлось сюда еще раз вернуться, при обстоятельствах не только пока непредвиденных, но и принципиально непредвидимых.

В двух высших школах

После вечеринки и каникул с путешествием в Триест, о чем я уже упомянул, я записался в высшую политехническую школу на факультет машиностроения и электротехники, как этого пожелал отец. Но и он пошел мне навстречу – разрешил стать параллельно вольнослушателем математического отделения философского факультета Карлова университета. Я должен был лишь дать слово, что эти мои побочные занятия не помешают основным в политехникуме.

В политехникуме посещение всех дисциплин было обязательным и контролировалось избираемыми самими студентами старостами. Между тем, в университете студенты сами выбирали себе лекции, которые им хотелось прослушать.

Некоторые профессора не находили нужным считаться с тем, насколько студенты подготовлены к тому, чтобы понимать их. Они – настоящие ученые-исследователи – из года в год продолжали разрабатывать свои проблемы и в своих лекциях просто докладывали о той стадии, которой в данное время их работа достигла. Известным подспорьем служили, правда, параллельно проходившие, руководимые доцентом-помощником профессора, семинары. Но при всем этом требовалась большая самостоятельная работа по изучению специальной литературы, которая университетской библиотекой не выдавалась на дом, ею можно было пользоваться лишь в читальном зале. Но именно таков был идеал университета – храма науки, лаборатории самостоятельного постижения знаний, совместного профессорами и студентами. И университеты сохранили в значительной степени свою автономию, свое самоуправление «академической общины», без вмешательства государства. Так, на их территории без разрешения университетского сената не смела появляться полиция, ректор и деканы факультетов не назначались, а избирались тайным голосованием самим профессорским коллективом, который распоряжался и средствами, получаемыми по государственному бюджету и т. д. Но все это было при монархии, а потом и в буржуазной республике, но при «социализме», понятно, отошло в область предания.

Основные мои занятия проходили в политехникуме, где порядки были, однако, совсем другие. Поступил я туда не без колебаний. Машины, которыми придется заниматься, не особенно привлекали меня, интерес могло представлять разве только лишь их проектирование. И тут еще действовало влияние профессора университета Рудольфа Дворжака, с которым отец находился в

приятельских отношениях. Этот родственник известнейшего композитора Антонина Дворжака, основатель чешской ориенталистики, специалист по семитским языкам – древнееврейскому, арабскому и амхарскому (эфиопскому) издал поэтический перевод «Песни песней». Зная о моих успехах в иврите и попытках начать изучать и арабский, он настойчиво уговаривал меня стать египтологом, заняться семитско-хамитскими языками, поступить на филологическое отделение философского факультета. Возможно, только мысль о том, что мне придется тогда предварительно сдавать экзамен по латыни, а, следовательно, готовиться к нему все лето, отвадила меня от этого решения. Действовало и сопротивление отца. И я до сих пор так и не знаю, правильно ли я тогда поступил, послушавшись отца, а не его друга.

Влечение к языкам, особенно к сравнительной этимологии, у меня сильное. Я люблю в часы досуга заглядывать в словари, скажем, арабский и иврит, размышлять над тем, как получилось, что, например, некоторые части человеческого тела, как-то голова, глаза, уши, рот, ноги, мозг, легкие, кости, волосы и др. обозначаются в обоих языках одинаково (разве только с отличием произношения), между тем как другие, такие, как лицо, лоб, грудь, спина, сердце, желудок, почки, череп, борода и др. выражаются в этих языках совершенно различными словами, имеющими непохожие корни. Не может быть, чтобы в едином семитском праязыке не существовало слова для таких понятий, как «лицо» или «сердце». Значит, когда семитское племя, первоначально единое, распалось на арабов и евреев, то по каким-то причинам, либо одни, либо другие, либо как те, так и другие потеряли эти слова и приобрели взамен новые, сами их создали, или где-то позаимствовали у другого племени.

Поступление в политехникум означало, прежде всего, что мне пришлось рано вставать. Занятия начинались с 7 часов утра, а здание политехникума находилось на Карловой площади, в получасе езды трамваем от нашего дома. Больше всего времени занимали не лекции, не лабораторные занятия, а черчение. Прямо-таки замучил нас профессор Живна, злющий, ехидный, низенького роста старичок, с рыжей козлиной бородкой, преподававший детали машин. Счета не было тем большим ватманам, которые мы вычерчивали, снабжали стандартными каллиграфическими надписями, и раскрашивали в условные цвета, соответственно материалу. Сколько часов мы прокоптели тогда над этим занятием, казавшимся мне довольно бессмысленным, бесцельным! Его польза – но для совсем неожиданной цели – открылась мне не раньше, чем через 12 лет.

На первых четырех семестрах преподавались главным образом общетеоретические предметы. Среди них математический анализ и начертательную и проективную геометрию я знал в значительно большем объеме, чем они читались здесь, а поэтому отсиживал по обязанности на этих лекциях, занимаясь при этом чем-нибудь другим. Очень нравились мне три курса, которые читал молодой профессор Фельбер – по механике твердого тела, гидравлике и термодинамике. Он излагал свой предмет необыкновенно изящно, стремясь, как я сейчас понимаю, максимально приблизиться к аксиоматическому методу. Нередко он вставлял в свои лекции различные философские (позитивистские), а то и прогрессивные, социально-политические сентенции. Мне пришлось сдавать ему три экзамена, из которых запомнился один, по механике: расчет движения шарика, катящегося без трения по винтовой поверхности – задача довольно трудная. Но Фельбер был хороший ученый, патриот и передовой мыслитель. Он был казнен нацистами в 1942 году.

Преподавание в политехникуме сопровождалось несколькими экскурсиями на заводы, как пражские, так и более дальние, например, в Кладно. Помнится тяжелое впечатление, которое произвел на меня литейный цех с его пышущим жаром, он показался мне Дантовским адом, и труд рабочих в нем – каторгой. После второго и четвертого семестров, в каникулы полагалась месячная практика, которую мы, будущие инженеры-электротехники, проводили на пражском заводе Кольбен, производившем динамомашины и электромоторы. Для этого пришлось приобрести и надеть синюю спецодежду, что оказалось единственным, чем мы сравнялись с рабочими. Дело в том, что наша практика получилась весьма своеобразной. Нас почти бегом инженер провел по цехам этого большого завода, а потом предоставил в распоряжение старика-мастера, который показал нам как наматывать – разумеется, вручную – обмотку на катушку. Вот этим и подобными подсобными занятиями мы, практиканты, все время, по восемь часов в сутки, и занимались, причем в отдельном помещении, не приходя в соприкосновение с рабочими, разве только при входе и выходе с завода, так как и обедали мы от них отдельно, в инженерной столовой.

Четвертый семестр заканчивался первым государственным экзаменом. Мы должны были рассчитать полную малогабаритную турбину, пригодную в условиях сельского хозяйства на небольших речках, по заданным исходным данным, и изготовить все необходимые чертежи. Пользовались мы при этом немецким инженерным справочником «Хютте». Мне нравилась эта работа, и

я при расчетах применил номографию, которой тогда увлекался, так что моими номограммами могли воспользоваться и другие мои коллеги, хотя им, конечно, были заданы другие исходные. Профессор по фамилии Завишка отнесся к этому новшеству сначала неодобрительно, расценив его как «подсказывание» с моей стороны, но потом примирился с ним и даже похвально отметил меня. В общем, первый государственный экзамен я сдал по всем предметам на «отлично». Это давало мне право перейти на последние два курса, где преподавались уже исключительно только специальные электротехнические дисциплины.

Но тут случилось событие, изменившее течение всей жизни нашей семьи – умер отец. Во время своего отпуска, летом 1912 года, он отправился с двумя друзьями в давно задуманный туристский поход в Альпы, в Тироль и Форарльберг. Здесь, в горах их застала гроза, и пока они добирались до хаты, отец сильно простыл. Домой он вернулся в тяжелом состоянии, его немедленно положили в городскую больницу, и здесь он через пару дней скончался от острого воспаления почек. Я запомнил это потемневшее, осунувшееся лицо, на котором лишь одни большие черные лучистые глаза остались прежние – таким я увидел отца в последний раз, когда он появился дома. В больницу, в палату к умирающему, пустили только маму. Я должен был остаться с братом и сестрой в коридоре. Там мы стояли втроем около окна, выходившего на унылый больничный двор, и плакали навзрыд, глядя на дождь, который лил за окном. Мама стала получать сравнительно высокую пенсию, к чему добавлялись ещё мои скромные гонорары за уроки, так что материальной нужды мы не терпели. Но все же мы должны были значительно ограничить свои потребности и, как я уже писал, сменили квартиру на более дешевую. Однако горе мамы и наше, детей, от утраты любимого человека, еще полного жизненных сил, было самое подлинное.

Теперь, когда не было отца, который настоял бы на том, чтобы я продолжал инженерное образование, я склонил мягкую мать к тому, что стану не инженером, а профессором математики. Распрощавшись с политехникумом, я окончательно превратился в студента философского факультета. В то же время и брат Рудольф, которому было тогда пятнадцать лет, после окончания с незавидными отметками четвертого класса гимназии, не захотел продолжать в ней учиться. После крупных сцен, он, еще более упрямый, чем я, настоял на своем желании самостоятельно зарабатывать, и поступил учеником-приказчиком в фирму «Шпиц и Мунк», торговцев мануфактурой. Это далеко не поэтическое занятие, однако, не помешало брату развивать дальше свои

музыкальные способности и сочинять лирические стихи, которые, несмотря на столь юный возраст их автора, то и дело появлялись в печати. А сестра Марта, только еще окончившая к тому времени начальную школу (ей было 12 лет), поступила затем в художественно-промышленное училище, и стала специалистом по декоративному искусству, работала рисовальщицей новых узоров для текстильных тканей. Одновременно она училась музыке, пению и сделалась первоклассной оперной певицей. Но все это относится к тому времени, когда меня уже давно не было на родине.

Освободившись от политехникума, от трудоемкого черчения, я смог в университете почти всецело посвятить себя посещению лекций, участию в семинарах и библиотечному чтению научных книг и журналов. Я говорю «почти», так как часть моего рабочего времени уходила на два урока на дому по математике. Кроме того, я раз в неделю ездил в Уста (Ауссиг), в северную Чехию, где в кружке еврейской националистической молодежи преподавал иврит. Это очень хорошо вознаграждалось, мне оплачивали и стоимость билетов скорым поездом.

В университете в то время философские науки читали несколько профессоров и доцентов: будущий первый президент Чехословакии Масарик, затем Крейчи, Радл, Тврды, Халупны и Дртина. Все они, без исключения, были сторонниками идеализма. Масарик, эклектическая философия которого примыкала к платонизму, и чьи социалистические взгляды и политическая деятельность (он был лидером партии «реалистов», издававшей газету «Время» – «Сах») были – для представителя буржуазной интеллигенции – несомненно левыми, передовыми, пользовался большой популярностью среди студенчества, да и среди рабочих. На меня он производил сильное впечатление оригинальной личности, искреннего демократа. Конечно, позднее, при его президентстве, творилась антинародная политика, в том числе расстрелы бастующих рабочих. Этим Масарик только лишний раз оправдал болгарскую поговорку: «Хочешь узнать человека, дай ему власть», верность которой, как это ни странно, исторически подтверждена для политических (и не только политических, но и научных и культурных) руководителей любого общественного класса. Что же касается позднейших антибольшевистских выступлений Масарика (равно как и Андре Жида, и ряда других представителей западно-европейской интеллигенции), которые мы, коммунисты, тогда с негодованием отвергали и клеймили как запроданные капитализму, то сейчас, в ретроспективе, после разоблачения массовых кровавых преступлений сталинского террора и продолжающегося и поныне попирания элементарных

прав человека и расправы с инакомыслящими, я, как мне кажется, способен объективно расценить и понять причину этих выступлений. Масарик и другие просто отождествляли последовательно коммунистические, а значит высоко гуманные принципы большевизма, с их извращениями правящими советскими, а после и другими «социалистическими» политиками, чтобы обрушиться на эти принципы. Но такое же отождествление сознательно или по недомыслию допускают современные коммунисты-аллилуйщики для того, чтобы всячески оправдывать этих политиков, обелять их злодейства.

Небезынтересно отметить, что на семинарских занятиях, которые, как правило, вел не профессор, а доцент, зачастую разгорались горячие диспуты, из которых «победителем» не всегда выходил руководитель. А во время экзамена студент мог защищать взгляды, идущие вразрез с мнением профессора – правда, не всякого, были и крайне нетерпимые, и расхождения обычно не были слишком уж радикальными. Но во всяком случае большинство экзаменаторов выше всего ценило не пересказ прослушанного и прочитанного, а умение самостоятельно критически философски мыслить. И опять-таки нельзя воздержаться от сравнения: попробуй теперь советский или чехословацкий студент на экзамене по основам марксизма-ленинизма высказать какую-нибудь свою, собственную, выстраданную им, но по мнению преподавателя еретическую, крамольную мысль – провал, а то и «проработка» и даже изгнание из института, а не исключено и арест, ему обеспечены.

Мои математические занятия продвигались успешно. За время пребывания в высшей школе, я не только продолжал решать задачи по элементарной математике, публикуемые в приложении к «Журналу чешских математиков и физиков», но иногда и сам составлял их и посылал в журнал. Это пристрастие к математическим (а в последние годы и к логико-математическим) задачам осталось у меня и теперь, я люблю решать их и мучить ими любителей, и своему математически одаренному внуку, пятнадцатилетнему Васе, иногда предлагаю их. Книжка «Занимательная логика», написанная по моей инициативе вместе с профессором Зихом, тоже свидетельствует об этом увлечении.

Еще до того, как я окончил университет, я стал работать вычислителем при астрономической обсерватории. Меня не могли зачислить в ее штат не только потому, что у меня пока еще не было научной степени. Дело в том, что при существовавших австрийских бюрократических порядках, прославленного «шимля», для назначения на штатную должность «ассистента вычислителя», как и в любом государственном учреждении

самого низшего чиновника, требовалось утверждение министерства в Вене. На это уходили многие месяцы, а то и год-два. В моем случае приходилось ожидать затяжки, а то и опасаться, что утверждения вовсе не последует.

На основании международного разделения труда, существовавшего между обсерваториями, мы в Праге занимались определением орбит астероидов – малых планет, которых, главным образом в пространстве между Марсом и Юпитером, насчитывается свыше полутора тысяч. В большинстве они очень малы, и, должно быть, являются осколками пятой по счету планеты, когда-то обращавшейся вокруг Солнца, но погибшей вследствие какой-то катастрофы. Какие могли быть причины? То ли столкновение с кометой, или другим небесным телом, то ли внутренние напряжения, вызвавшие взрыв планеты, а то и «успехи», быть может, существовавшей на ней цивилизации, приведшие к уничтожению самой планеты в термоядерной или еще более гибельной тотальной войне? В наш атомный век, для сочинителей фантастических романов тут имеется готовый сюжет.

Мы получали в готовом виде лишь столбцы цифр – исходные данные, координаты различных положений астероида, снятые, замеренные с фотопластинок. При существовавшей тогда вычислительной технике – семнадцатиместных таблиц логарифмов и гониометрических функций и ручных арифмометрах – это была очень кропотливая работа, продолжавшаяся многие месяцы.

А в настоящее время, после составления программы – процесса, который также может быть, хотя бы частично осуществлен автоматически – ЭВМ выполняет эту работу в течение нескольких минут, в крайнем случае, часов.

С тех пор, несмотря на бурные перипетии моей жизни, на долгое время оторвавшие меня от науки, я не потерял живого интереса к астрономии. Когда, после 1962 года, я снова вернулся в Москву, то в течение всего времени принимал активное участие в методологическом семинаре Астрономического института имени Штернберга, выступая на нем с докладами. В Чехословакии я дружил с космологом Пахнером, притесняемом и в конце концов вынужденном эмигрировать, а в Москве – с талантливым Зельмановым.

В связи с философскими проблемами естествознания, хочу еще заметить, что я недоумевал тогда (теперь недоумевать перестал, но многие недоумевают и сейчас), как же это немалое количество ученых-естественников могут быть искренне религиозными. Мы, студенты, знали, например, что один из

профессоров, читавших звездную астрономию и астрофизику, и в своих лекциях никогда не упоминавший о боге и других сверхъестественных силах, перед началом занятий отстаивал на коленях заутреннюю мессу в университетской часовне.

Замечательные люди

Упомянув о мировоззренческих проблемах, я вспомнил, что раньше я позабыл назвать престарелого профессора Тильшера, геометра, который на своих лекциях – я слушал их, правда, только спорадически – обязательно затрагивал, с позитивистских позиций, философские проблемы математики, в особенности вопрос о существовании, наряду с эвклидовой, одинаково логически непротиворечивых неэвклидовых геометрий. Во всяком случае, уже к тому времени у меня все сильней стал проявляться интерес к методологии математики, к вопросам ее логико-философских основ, а также к методологическим вопросам физики и астрономии, равно как и истории всех этих наук. Но, конечно, наиболее сильное влияние в этом отношении оказали на меня лекции Эйнштейна.

О существовании теории относительности (равно как и квантовой теории) я узнал из научно-популярных журналов и, позднее, из курса Хвольсона. Но на одном из математических семинаров я завел знакомство со студентом физики старшего курса, очень даровитым, оригинально мыслившим Ружеком. По его просьбе я стал помогать ему в математическом обзорном реферате о Бернуллиевых числах, и вот однажды Ружек с восторгом сообщил мне, что в немецком университете сам основатель теории относительности, представляющей настоящую революцию в науке, Альберт Эйнштейн будет читать лекции. И он, Ружек, обязательно станет их посещать. Он уговорил меня сделать то же.

Хотя доступ на университетские лекции был вполне свободен, я не без некоторой опаски входил в аудиторию «чужого» немецкого университета. Она оказалась битком набитой, присутствовали не только студенты, немцы и чехи, но и многие профессора. Со времени опубликования первой работы Эйнштейна по теории относительности прошло шесть лет. За это время вокруг нее и ее автора создалась атмосфера жарких споров, восхищения и негодования, в те годы, правда, еще ограничиваясь сравнительно узкими научными кругами. Как-никак теория относительности представлялась многим чем-то заумным, а сам Эйнштейн, преемник здесь, в Праге, кафедры Маха, сенсацией.

Как это полагается на вступительной лекции нового профессора, Эйнштейна аудитории представил ректор. Эйнштейн оказался среднего роста, довольно плотным, совсем молодым еще мужчиной, с буйной курчавой шевелюрой, для профессора университета и этого торжественного момента несколько

небрежно одетым. И без всякой торжественности он начал быстрым темпом излагать в сжатом виде основы специальной теории относительности. Это должно было служить лишь введением к его лекциям по общей теории относительности, которую он тогда, а также ее приложение к космологии, разрабатывал. Уже на этой первой лекции было ясно, что большинство слушателей не в состоянии понимать специальное «сухое» физико-математическое изложение лектора, и не услышали от него – по крайней мере на этот раз – тех общефилософских рассуждений, ради которых – если не просто ради того, чтобы увидеть знаменитость, или потому, что так «полагается» – они явились сюда.

Уже со второй лекции аудитория стала заметно редеть – мы с Ружеком установили, что в убывающей геометрической прогрессии – пока не стабилизировалась на каком-то десятке с лишним человек-энтузиастов. На Эйнштейна, однако, это не произвело заметного впечатления. Он придерживался такого же принципа, как и наш профессор Соботка, который говаривал: «Ничего, трое составляют общество – бог-отец, бог-сын и дух святой присутствуют всегда, а поэтому, если вас, господа, и никого не будет, я все-таки стану читать».

На следующие лекции Эйнштейн приходил одетым совсем по-домашнему, в свитере, часто без галстука, зато однажды, по рассеянности, явился сразу в двух. В то время носили кальсоны, завязывавшиеся внизу тесемками. Эти тесемки у него иногда болтались, испачканные осенней слякотью пражских улиц. Понятно, что мы, студенты, сразу же зачислили Эйнштейна в чудаки. Но чудно, и вместе с тем чудно было совсем другое – содержание его лекций, способ изложения и его отношение к слушателям. Почти каждая его лекция была творческой импровизацией, он просто рассказывал о том, над чем в данное время думал, зачастую спорил сам с собой, призывал нас участвовать в этом споре. Напишет на доске то крупными знаками, то мелким, почти бисерным почерком уравнение. А потом внезапно задумается и взволнованно говорит: «Что же вы, господа, молчите? Ведь все это неправильно, тут ошибка!» И стирает написанное, заменяет другим. А то откладывает продолжение, заявляя: «Надо нам это продумать». Какая разница между Эйнштейном и теми непогрешимыми, богоравными политиками, которые ни за что не признают допущенные ими ошибки!

Эйнштейн любил, чтобы его перебивали, – вещь немыслимая у других профессоров, – чтобы задавали «каверзные» вопросы, вел длинные беседы со слушателями. Часто – даже в дождливую

погоду, на которую Прага не скупится, – небольшая группа студентов провожала его домой после лекции. И если интересная беседа не кончалась, то он – уже тогда мировая знаменитость – был в состоянии повернуть и сам проводить провожавших его до «менсы» – студенческой столовой. Да, Эйнштейн был подлинным, не показным демократом.

Но популярность Эйнштейна имела уже тогда и обратную сторону. Немецкие националистические, антисемитские студенты, «бурши» разных объединений, отличавшихся своими разноцветными фуражками, всячески старались отравить ему пребывание в Праге. Возможно, отчасти в виде внутреннего протеста, в Эйнштейне пробудилось сознание принадлежности к еврейской национальности, или, во всяком случае, усилилось в нем. Он стал общаться с пражской еврейско-националистической и сионистской интеллигенцией. И, не будучи правоверным сторонником иудаизма, он стал играть по большим еврейским праздникам в синагоге на своей любимой скрипке. Как известно, из Праги Эйнштейн уехал в Берлин, где ему были созданы исключительно благоприятные условия для работы, пока жуткая волна гитлеризма не захлестнула Германию.

Я без смущения сознаюсь, что мне было трудно понимать лекции Эйнштейна. Пришлось изучить новый созданный аппарат специального тензорного анализа. Но я выдержал, и вместе с Ружеком, которому обязан тем, что пришел в соприкосновение с величайшим физиком нашего времени, первым из тех многих замечательных людей, с которыми жизнь, не баловавшая меня в других отношениях, в виде компенсации дала мне возможность встретиться, до конца оставался одним из немногих слушателей. Пространство, время, материю и ее движение Эйнштейн толковал – как я сейчас понимаю – отнюдь не по-махистски, а как существующие объективно, независимо от познающего их субъекта, причем не в боге, не в каком-то абсолютном мировом духе, а в материальной природе. Его религиозные взгляды сводились, собственно, лишь к признанию некоего высшего морального принципа, к вере в человека, в гуманизм, в духовный исторический прогресс. Впоследствии, как я об этом расскажу в своем месте, мне вновь пришлось встретиться с Эйнштейном. А про Ружека я, после моего возвращения в Прагу в 1945 году, узнал, что он спился и преждевременно умер.

Окончание университета завершилось, как и положено, «промоцией» – торжественным вручением диплома. В большой «ауле», – актовом зале, – получала его сразу целая группа выпускников философского факультета. За длинным, покрытым красным сукном столом, на возвышении, сидели профессора, во

главе с деканом, одетые в черные мантии и береты, с золотой цепью на шее. Был тут и «педель» – привратник в красной мантии, державший золотой жезл – знак достоинства университета, который впоследствии украли нацисты. Играла праздничная музыка, орган, звучали фанфары. Я, как и другие выпускники, должен был повторить латинскую формулу клятвенного обещания никогда не извращать науку ради посторонних, корыстных целей, применять ее исключительно только на пользу человека, а не во вред ему. Эта формула, как в основных чертах, а отчасти даже в буквальном тексте, и вся церемония, сохранились со средних веков, со времени основания Пражского университета Карелом IV в 1348 году.

В свои студенческие годы я соприкоснулся также с литературным миром. Для этого мне не приходилось ходить далеко, ведь трое моих родственников со стороны матери были писателями, причем даже известными: два двоюродных брата – Франтишек и Йиржи Лангеры и троюродный брат Макс Брод. Франтишек, старше меня на четыре года, в то время заканчивавший медицинский факультет, уже прославился не только лирическими стихами, но и рассказами, а главное – стихотворной драмой «Святой Вацлав», удостоившейся постановки на сцене национального театра. В ней молодой легендарный Вацлав, первый из чешских королей, став во главе народа, избавляет его в победной борьбе от нашествия чужеземцев, возможно тоже пришедших «освобождать» бедных чехов (ведь и Гитлер был в Чехии только «протектором», что значит «охранителем», а войска пяти «социалистических» стран, «вошедшие» в нее в 1968 году, тоже лишь «спасали» ее).

Франтишек Лангер получил звание национального художника Чехословакии. Пройдя сложный путь от неоформленных анархистских увлечений ранней молодости, затем симпатий к марксизму, Лангер, попав на русский фронт Первой мировой войны, тут же вместе со всем полком, состоящим преимущественно из чехов, сдается в плен, и как дивизионный врач в чехословацких легионах, принимает участие в национально-освободительной борьбе против Австро-Венгрии. А в дальнейшем, в Самаре и в Сибири, вместе с другими легионерами, Фирлингером и Свободой в том числе, обманутыми своим политическим руководством, он участвует в жестоких выступлениях против большевиков. Так получилось, что мы с Франтишеком тогда, собственно, воевали друг против друга.

История чехословацких легионеров так до сих пор и не появилась. Да возможна ли вообще объективная историография? Существовала ли она когда-либо? Не являются ли все

исторические сочинения палимпсестами – папирусами, на которых всякий последующий древне-египетский храмовый писец тщательно выскабливал предыдущий текст, и заменял его угодным царствующему фараону?

Франтишек Лангер принадлежал по своему литературному профилю к кругу Карела Чапека, близким другом которого он был. Его произведения выделяются тонкой философской направленностью, поисками ответов на вечные «проклятые» вопросы, занимающие человека всю жизнь и во все века. Он давал читателю выпить чашу и сладости и горечи до дна.

Лангер участвовал и во Второй мировой войне, в рядах чехословацких войск во Франции, в чине генерала руководил их медицинской службой. Своей антивоенной, антифашистской тематикой (рассказ «Речь над колыбелью», драма «Бронзовая рапсодия», написанная в последние годы жизни) он продолжил те подлинные гуманистические и демократические мотивы своего богатого творчества, которые, как и у всех передовых чешских писателей, характеризуют его лучшие произведения.

Именно благодаря Франтишеку я впервые увидел Гашека. Еще до этой встречи я прочитал несколько фельетонов Гашека, которые этот богемствующий юморист, о чьих веселых похождениях ходили по Праге самые невероятные истории, помещал без разбора в любых газетах, кроме, разве, крайне правых, клерикальных. Но вот, в 1911 году, во время дополнительных выборов в Краевой сейм от нашего города Королевские Виноградy, Франтишек предложил мне пойти с ним на одно собрание, обещав, что я там потешусь на славу. Мы отправились вечером в трактир «Кравин». Здесь проходило предвыборное собрание новой политической партии, «Партии умеренного прогресса в рамках закона», которую издевательски основал Гашек, выдвинув от нее кандидатом в Сейм самого себя.

В насквозь прокуренном и пропахшем пивными парами не очень большом зале, в сизом дыму которого, как говорится, можно было топор повесить, было битком набито. За столами, осушая одну кружку пива за другой, сидели собравшиеся сюда со всей Праги друзья Гашека и почитатели его юмора. Но было также и немало жителей Коронного проспекта (ныне проспект Вильгельма Пика), где располагался трактир, и прилегавших к нему улиц, привлеченные именем кандидата и странным названием его партии. Под импровизированным помостом, за длинным столом сидели с важным лицом основатели этой партии, члены ее Центрального комитета. И Франтишек, как один из них, уселся там, потащив и меня. А на возвышении за небольшим столиком восседал, строя еще более серьезное лицо,

молодой председатель собрания, и там же полицейский комиссар, строгий, в полной форме, снявший лишь кепи. Здесь же стоя с увлечением, разойдясь, выступал со своей «кандидатской речью» сам Гашек.

Это был пухлый, розовощекий шатен с рыжеватым оттенком волос, с маленькими слезящимися сероватого цвета глазками, с неопределенной постоянной добродушной улыбкой, почти не сходившей с его, казалось, никогда не смеющегося лица, с какими-то в общем замедленными, но иногда не к месту порывистыми движениями. Он производил впечатление человека, находящегося постоянно «на взводе», а сейчас, вдобавок, изрядно уже хватившего. Так оно, должно быть, и было, потому что мы с Франтишеком сильно опоздали, а Гашек ораторствовал уже час или два, то и дело залпом осушая кружку, чтобы прочистить горло. Но как он говорил! Это были сплошь шедевры экспромтов, пародии на трескотню политиканов, на пустословие газетных передовиц, выпады против кандидатов-соперников, обещания реформ, которых он, Гашек, будучи избранным депутатом, добьется! И все это пересыпано анекдотами, неподражаемыми клоунадами, тут же разыгрываемыми им. Зал снова и снова грохотал от взрывов хохота. А полицейский комиссар, абсолютно не понимая, что здесь творится, растерянно ерзал на месте, не зная, следует ли ему вмешаться. На этом кончилось мое первое знакомство с Гашеком. Следующие встречи состоялись лишь через три года, а затем еще через шесть лет.

Литературное творчество младшего брата Франтишека, Йиржи (или Мордехай, как он своим еврейским именем стал позже называть себя), о близкой дружбе с которым в детские годы я уже рассказывал, принадлежит сразу трем литературам. Он писал одинаково свободно на чешском, немецком и древнееврейском языках. Правда, писательская известность пришла к нему уже тогда, когда меня давно не было в Праге.

Интерес ко всему таинственному, который Йиржи и прежде проявлял, как свойственно юному возрасту, но только более интенсивно, чем он выражался у других, в том числе и у меня, с годами стал у него все больше усиливаться, превращаться в увлечение религиозной мистикой, направление же моего ума вообще было естественно-научное, и поскольку – как я об этом тут же расскажу – я стал усваивать научное, материалистическое мировоззрение, непримиримое ни с какой мистикой. А Йиржи между тем сблизился с Альфредом Фуксом, парнем моего возраста, стройным, с пританцовывающей походкой, и они вместе стали изучать Талмуд, комментарии к нему, а главное – Каббалу. Для этого они освоили и родственный древнееврейскому, но все

же сильно отличающийся от него, мертвый арамейский язык. В то время в Праге в церкви Змауэского монастыря, по воскресеньям вел свои пламенные фанатичные проповеди патер Альбан, гремевший ораторской славой Савонаролы. Под его влиянием многие холодные христиане «обращались» к вере, а Альфред Фукс сменил еврейскую мистику на католическую, углубился в средневековые латинские тексты, затем принял крещение, стал монахом и видным религиозным философом. После оккупации Чехословакии нацистами, гестапо извлекло Фукса из монастыря и замучило его в концлагере в Дахау.

Однако Йиржи Лангер практически превратился в хасида. В 1914 году Йиржи уехал в восточную Галицию, в местечко Бельц, где некоторое время подвизался при «дворе» тамошнего раввина-чудотворца, пожалуй, самого прославленного своим прямым «общением» с богом. Но с этой печальной унылой болотистой местностью, с этой дикой заброшенностью, отсталостью и грязью местечка, жившего как бы еще в XIV веке, Йиржи не мог свыкнуться. И он вернулся домой.

Он появился здесь в полном хасидском наряде, в длинном до пят кафтане, глубоко нахлобученной широкополой черной плюшевой шляпе, которую хасиды, вместе с языком идиш в век миннезингеров вывезли с собой из южной Германии и консервативно сохранили. Лицо, все заросшее рыжеватой бородой, длинные вьющиеся пейсы до плеч. Он так ходил по Праге, вызывая насмешки прохожих, смущение и возмущение домашних. Но вскоре он вновь уехал к своим хасидам – как он утверждал, ему так велел «явившийся» ему бельцский раби. Однако тут же началась война, и Йиржи мобилизовали. На военной службе, не желая осквернять себя пищей «трейфе», он питался одним только хлебом и луком, и наотрез отказывался носить в субботу винтовку. Его арестовали, угрожали военным трибуналом, но признали душевнобольным и от военной службы освободили. И Йиржи еще раз вернулся в восточную Галицию, где, однако, разгорелись самые бурные военные действия того времени. Тогда он, вместе с хасидами, эвакуировался в Венгрию, где и оставался до 1918 года, до распада Австро-Венгрии. Теперь уже гражданин Чехословакии, он снова возвратился в Прагу. Все эти приключения Йиржи, начиная с 1914 года, мне стали известны по воспоминаниям Франтишека Лангера.

Вернувшись, Йиржи, к удивлению всех, углубился в изучение сочинений Фрейда, опубликовал несколько статей в фрейдистском журнале «Имаго», и в 1923 году на немецком языке книжку «Эротика Каббалы», а на иврите – поэтический сборник «Пиютим вешират едидут» («Стихи и песни дружбы»). Он

сдружился с писателем Францем Кафкой, который был старше его на 11 лет, и с писателем Максом Бродом, тот был старше на 10 лет. Йиржи издал на чешском научно-популярную книжку о Талмуде и его возникновении со ста отрывками, переведенными из него. В то время германские фашисты уже начали распространять свою человеконенавистническую «мораль» и антисемитскую пропаганду. И по замыслу Йиржи его книжка должна была дать этому отпор.

Конечно, Талмуд – это средневековое сочинение, содержащее, наряду с прекрасными, поэтичными народными легендами, которые высоко ценили Бялик и Горький, в своих узаконениях религиозного права и быта массу всякого суеверного вздора. Однако, в общем этика Талмуда гуманна, несравненно выше звериной аморальности не только таких пасквилей, как «Mein Kampf», но и тех, якобы антисионистских, на деле же антисемитских, писаний, в немалой мере сдутых с дореволюционных, черносотенных, которые в последние годы стали выходить массовыми тиражами в СССР, Чехословакии и Польше. В 1937 году появились «Песни обреченных» (в 1939 они были изданы вторично) – чешский перевод, сделанный Йиржи, избранных еврейских поэтов с XI по XVIII век, включая и элегию Авигдора Кара, одного из немногих, кто пережил кровавый погром пражского гетто в 1389 году. В том же 1937 году вышла чешская книга Йиржи, самый прекрасный его труд «Девять ворот» – рассказы и легенды о хасидах, принадлежащая, по общему мнению, к жемчужинам чешской художественной литературы. В 1959 году она была переведена на немецкий язык, а в 1961 вышла на английском в Лондоне и Нью-Йорке.

Осенью 1939 года, спасаясь от гитлеровцев, Йиржи перебрался в Словакию, откуда подкупленные гестаповцы за приличную мзду давали пока еще евреям бежать в Палестину. Плывя в невероятно тяжелых условиях при тридцатиградусном морозе на железной барже по Дунаю, Йиржи простудился и, прибыв в «обетованную землю» тяжело больным, после четырехлетних страданий скончался в 1943 году в Тель-Авиве от нефроза. Будучи больным, он продолжал писать, и, уже посмертно вышел сборник его стихов «Меат цори» («Немножко бальзама»), содержащий и стихотворение «На смерть поэта», посвященное Францу Кафке.

С Максом Бродом мы встречались редко. Я находился с ним лишь в отдаленном родстве, а, главное, он, как он сам называл себя, был «еврейским писателем немецкого языка», а, следовательно, мы вращались в разных кругах. Он был старше меня на восемь лет, что в молодом возрасте много. Кроме всего

прочего, он был юристом, а у меня всегда – будь я суеверен, я сказал бы, в предчувствии моих будущих судеб – почему-то чувствовалась какая-то аверсия ко всем и ко всему, что связано с правосудием.

Наконец, Макс Брод уже тогда, когда я впервые прослышал о нем, славился как выдающийся автор романов и повестей, действия которых иногда развиваются в современной, а то и средневековой пражской среде, проникновенно воспроизведенной им. И я, естественно, чувствуя большое почтение к писателю, робел перед первой встречей с ним. Не помню уже по какому поводу, она состоялась у него на квартире, куда я с мамой пришел в гости. Но Макса Брода я представлял себе совсем другим. Ничего от великого, или хотя бы знаменитого человека. Простой человечек низенького роста, вдобавок горбатый. Осталось общее впечатление: гуманиста, ратующего за культурное сближение населения Чехии – чехов, немцев и евреев; еврейского националиста, но отнюдь не шовиниста, затем сиониста, а в философии – идеалиста.

Макс Брод был самым близким другом Франца Кафки, а после его смерти издателем и комментатором его сочинений. Этот необыкновенно своеобразный писатель сумел как никто другой в своих в большинстве не оконченных романах «Америка», «Процесс», «Замок» и в своих рассказах выразить не только страх, тоску, заброшенность, одиночество человека в обесчеловеченном мире империализма, а поразительно тонко почувствовать весь ужас бытия в любом тоталитарном государстве, где человек отдан на произвол безымянных сил. Несомненно, что тому, что Кафка смог столь остро ощутить весь тот надвигавшийся на человека кошмар, в котором мир, не только в Германии, но и в СССР, и в США, погрузился с тридцатых годов, содействовало то, что Франц Кафка был еврей, с сильным национальным самосознанием, пробудившемся в нем под ударами антисемитизма, чутко воспринимавший все положительное, как и отрицательное, что связано с еврейством. Вместе с Максом Бродом Кафка изучал иврит, их учителем был как раз Йиржи Лангер. Макс Брод повторял, что одна лишь толерантность, терпимость к другой нации, не только недостаточны, но и оскорбительны, что они сводятся к этакому похлопыванию по плечу. У нас, коммунистов, термин «националист» давно стал бранным словом, по крайней мере в применении ко всякой другой нации кроме русской, да еще и арабской. О великодержавном русском национализме стыдливо умалчивают. А также о том, что великий интернационалист Ленин написал статью «О национальной гордости великороссов». Если подлинный интернационалист

имеет право гордиться тем, что он русский, почему интернационалисту-еврею нельзя гордиться тем, что он еврей? Почему он тогда становится сразу не то «космополитом» не то «сионистом»? Видите ли, еврею положено ассимилироваться. Но для ассимиляции нужны двое: тот, кто желает ассимилироваться, и тот, кто позволяет, чтобы к нему ассимилировались.

Мы должны признать, и отнюдь не только в связи с «еврейским вопросом», что Маркс, при всей своей гениальности, недооценил значение национального вопроса (в частности, доверившись предвзятым, пангерманистским источникам, он считал чехов нацией, обреченной на гибель). Национальный вопрос, как об этом свидетельствует вся новейшая история, будет еще не предвидимо долго играть огромную роль. Хотя и в меньшей мере, чем Маркс, Ленин тоже недооценил все значение национального самосознания.

Ведь не все ли, в конце концов, равно, нация или только национальность евреи, раз они сами, или какая-то часть их, ощущают свою самобытность, которую – не только в религиозной форме – они, вопреки всем жесточайшим преследованиям, через два тысячелетия сумели сохранить. И не требовала ли материалистическая диалектика признания Лениным того, что раз евреи, которые ведь когда-то несомненно были нацией, смогли, при определенных исторических условиях, потерять требуемые им для определения нации признаки, то может наступить также момент, когда они, при других исторических условиях снова приобретут их?

Ведь каким гигантским бы ни было определяющее значение классовой борьбы в развитии общества, она все же не ликвидирует, а только модифицирует национальную, а также и религиозную борьбу.

Что же касается сионизма, то я считаю, что мы, коммунисты, не имеем никаких причин возражать против того, чтобы евреи, если они этого желают, возродились как нация, со своим государством, языком, всей культурой. Однако мы решительно должны возражать против того, чтобы навязывать евреям эту идею, чтобы считать каждого еврея, гражданина любой страны, потенциально гражданином Израиля, чтобы осуждать его за то, что он желает ассимилироваться. Столь же решительно мы должны выступать против того, чтобы суверенитет евреев в Израиле осуществлялся за счет арабов, их экономической, политической и культурной дискриминации. Совершенно неприемлем так называемый «принцип исторических границ», согласно которому, раз вся Палестина в древности обиталась евреями (что, впрочем, сомнительно), то она и теперь должна

принадлежать им. Ведь если руководствоваться этим порочным принципом, то, например, в Европе не осталось бы ни одной страны, границы которой не пришлось бы до неузнаваемости перекраивать. И мы должны настаивать на том, что гарантии безопасности любого государства это не столько отодвинутые и «удобные» в военном отношении границы (чего, к примеру, добился Сталин в войне против Финляндии, но что совершенно иллюзорно при современной технике), сколько дружеские, лишенные реваншистских настроений, взаимоотношения с соседями.

В беседе с руководителями Компартии Израиля, с Микунисом и ныне уже покойным Снээ (с Вильнером я тоже виделся и убедился, что он ничтожество, а его партия – просто платная экспозитура советских руководителей), я настойчиво высказывал мнение, что им нужно бороться не просто за дружбу евреев с арабами, а за братство, «гитахавут», с ними, что их газета «Кол-Гаам» должна регулярно печатать страницу о славной истории и культуре арабов, а в приложении – уроки арабского языка, который коммунисты-евреи должны изучать, что они должны изыскивать разнообразные формы совместной работы евреев и арабов, поощрять смешанные браки и т. д.

Наконец я, понятно, осуждаю реакционную политику правительства Голды Меир, ее аннексионизм, ее союз с раввинатом, ее помыкание сефардами, – евреями, выходцами из стран Азии и Африки, находящимися на более низком культурном уровне, чем ашкенази – евреи, выходцы из Европы и Америки, ее притеснение израильских арабов, ее антирабочую и антидемократическую внутреннюю политику.

Огульное заушательское отношение к сионизму тем более странно, что именно благодаря Советскому Союзу самая заветная мечта сионистов – создание еврейского государства в Палестине – реализована, и тем более неоправданно, что сионизм вовсе не представляет идеологически и организационно единого течения. Наоборот, ныне это целый спектр – от левых социалистов до анархистско-экстремистских террористов фашистской партии «хсрут» («свобода»), а также до религиозных изуверов включительно. Казалось бы, что советские руководители, называющие себя самыми последовательными марксистами, должны были бы подходить к сионизму исторически, учитывать происшедшие в нем изменения, и что разумная реалистическая, и вместе с тем принципиальная коммунистическая политика должна бы быть направлена на сближение с теми сионистами, которые, как и мы, выступают за права арабов, за свободу евреев определять свою национальную принадлежность, и против

мракобесной политики израильского правительства.

Я знакомлюсь с марксизмом

Осенью 1910 года, в самую первую неделю первого семестра в политехникуме, подошел ко мне Ладя Кожешник. С ним вместе мы окончили «реалку» и, как и я, он теперь трудился над первым чертежом винтов, гаек и прочих машинных деталей. Он спросил, не пойду ли я с ним на устраиваемый «Свободной мыслью» вечер, посвященный памяти Франциско Феррера. Я охотно согласился. «Свободная мысль» – название журнала, издававшегося организацией свободомыслящих, и вечер состоялся в его редакции. Хотя эта организация рабочих, но главным образом интеллигентов, которую возглавлял Бартошек, и была легальной, австрийская полиция, поддерживая клерикализм, всячески ущемляла ее. Она то и дело конфисковывала выходящие номера журнала, с пристрастием цензурировала его, в нем тогда появлялись большие белые «плеши», на редактора Бартошека налагала крупные денежные штрафы, и всех, соприкасавшихся с этой организацией, держала под своим негласным надзором.

В 1909 году в Испании церковная и светская реакции затеяли процесс против Феррера, передового педагога, боровшегося за отделение церкви от школы, обвинив его облыжно в самых тяжелых преступлениях. Несмотря на кампанию протеста, развернувшуюся тогда во всем мире, – пражские свободомыслящие устроили демонстрацию, которую полиция разогнала – Феррера расстреляли. В нашем школьном журнале «Без названия» мы с Крупским поместили посвященную этому чудовищному событию страстную передовицу. Но мировая передовая общественность все-таки добилась того, что Феррер был посмертно реабилитирован. Этот процесс, эта казнь, эта «реабилитация посмертно», стали одним из первых звеньев той длинной мертвящей цепи, которой сковано наше XX столетие.

Вечер под видом совещания редакции проходил довольно тоскливо. Доклад о Феррере сделал сам Бартошек, и одна девица прочитала о погибшем герое свои незадачливые, но искренние стихи. Я перебрасывался с сидящим со мной рядом парнем замечаниями. Соседом этим оказался немногим старше, чем я, студент второго курса Коммерческой академии Йозеф Пик. Это был невысокого роста блондин, в довольно-таки потрепанном костюме. Мы оба сразу прониклись взаимной симпатией, и после окончания вечера вышли вместе.

Пик, с рвением неофита – сам он стал социалистом лишь недавно – начал тут же излагать мне основные положения социализма, должно быть, пересказывая содержание последних

прочитанных им брошюр. Я, понятно, знал о существовании партий социал-демократов и национальных социалистов (о последней тем более, что сын ее основателя, Клофача, учился в «реалке», в классе, параллельном моему) но мое представление о их целях было вульгарно-мещанское, они, дескать, хотят уравнять всех. Такие понятия, как «классовая борьба», «буржуазия», «пролетариат», «эксплуатация», «прибавочная стоимость», и такие имена, как Маркс, Энгельс, Каутский, прозвучали для меня впервые настоящим откровением.

Мой новый друг, с которым мы тут же перешли на «ты», и которого я стал звать его уменьшительным именем Пепик, рассказал мне также о своей жизни. Он – сирота, отец, сцепщик, погиб от несчастного случая. Он живет один с матерью, которая получает лишь ничтожную пенсию, так как управление дороги лживо объявило, будто его отец, мол, был выпивши. Но мать подрабатывает стиркой, конечно, тайно, иначе ее лишат и тех нескольких крон. А он дает уроки и получает стипендию, потому что учится на «отлично». Я был тронут доверчивостью Пепика, и в свою очередь поведал ему все о своей жизни, о жизни всегда сытого сынка зажиточной, обеспеченной семьи высшего чиновника.

Узнав о моих националистических взглядах, Пепик очень огорчился. Он не то обещал, не то грозился убедить меня отказаться от них, стать интернационалистом, не придавать никакого значения национальности, вступить в студенческую организацию социал-демократической партии. «В следующий раз я дам тебе почитать чудесную книжку, которая откроет тебе глаза», – примерно так таинственно сказал он. Жил он неподалеку от мензы, в чердачной комнатке, вдвоем с его ласковой матерью. Я потом часто бывал у него, как и он у меня.

Книжка, точнее, брошюра в ярко-красной обложке, без переплета, которую принес мне Пик, оказалась чешским переводом «Коммунистического Манифеста». Привыкший не читать, а глотать художественные сочинения, я сначала было прочитал и это произведение чересчур быстро, но тут же убедился, что как следует не понял его, что у меня от него осталось лишь смутное общее впечатление, хотя и очень сильное. Идея наивная, романтическая, но непритворно честная, шедшая больше от сердца, чем от разума, навязчиво звала меня молодого всецело отдаться борьбе за освобождение человечества, за новое, справедливое устройство общества. Недовольный результатом первого чтения, я стал читать книгу второй раз медленно, но ряд мест все равно оставался для меня неясным. Мое самолюбие было задето: как же я, без чужой помощи разобравшийся в толстых

учебниках высшей математики, не смогу как следует совладать с этой тоненькой, столь волнующей книжкой! Преодолев свою ребячливую гордость, я попросил Пепика разъяснить мне непонятные места, и мы незаметно стали перечитывать, или, собственно, изучать «Манифест» вместе. Однако оказалось, что и мой наставник не смог во всем разобраться, и, не смущаясь этим, предложил обратиться за разъяснениями к оканчивающему историко-филологическое отделение философского факультета Густаву Винтеру, его товарищу по социал-демократической организации. Так мы и сделали, и я впервые появился в ее помещении, состоявшем из двух беспризорных задних комнат канцелярии какого-то адвоката-партийца. Густав Винтер, на вид невзрачный, ничем не выделяющийся, очень близорукий молодой человек в очках, оказался редчайшим феноменом.

Он не только подробно, по-профессорски, с легкостью объяснил нам все трудные места. Это был настоящий полиглот. Оказывается, он в совершенстве знал все индо-европейские языки, не только славянские, германские, романские, но и кельтские, новогреческий, баскский, албанский и даже цыганский, изучал санскрит, и Бог знает еще какие языки. И все это в какие-то там 24 года! Я взирал на него, как на божество. С его и Пика помощью я быстро одолел это первое, попавшее мне в руки, фундаментальное марксистское произведение. И, конечно, никто из нас троих не поверил бы, что через 30 лет именно я напишу предисловие (я подписал его псевдонимом К. Арношт, как и некоторые другие свои работы) к новому, чешскому изданию «Коммунистического Манифеста», которое будет опубликовано в Москве во время Второй мировой войны в Издательстве иностранных рабочих.

В 1910 году социал-демократы, существовавшие в Чехии как партия уже с 1878 года, и ставшие постепенно многочисленной партией, располагавшей немалым числом депутатских мест в австро-венгерском парламенте и в других представительных органах, были идейно и организационно расколоты. Одна часть партии – если не ошибаюсь, составлявшая большинство – состояла из так называемых «центристов», другая, отколовшаяся как раз в этом году, называла себя «сепаратистами». И те, и другие были реформистами, добивались частных улучшений положения рабочих и трудящихся вообще в рамках капиталистического строя, чураясь даже мысли о его революционном свержении. А судьбу чешского народа они связывали с судьбой австро-венгерской монархии, которую хотели бы увидеть превращенной в своего рода федерацию более или менее автономных, национально управляемых земель с

либеральной конституцией.

При всем этом, обе фракции сохраняли фразеологию «классовой борьбы», но именно лишь фразеологию. В области теории они придерживались бернштейнианства, этого противоестественного симбиоза марксизма с неокантианством, и его оппортунистического лозунга «движение – это все, цель – ничто». И вместе с тем между центристами и сепаратистами все же существовала разница, и не только организационная: центристы, входившие в единую общегосударственную партийную организацию как ее автономная часть, были более интернационалистами, чем совсем отделившиеся сепаратисты. Но зато последние были все же кое в чем менее оппортунистичны, в своих требованиях и средствах более революционны. Во всяком случае, все наиболее известные тогдашние чешские социал-демократические вожди – Соукуп, Немец, Модрачек – были правые.

Но в партии имелось и левое крыло, правда, организационно не оформленное. Левые были сильны среди молодежи, в том числе студенческой, а также среди социал-демократов немцев, обитавших в Судетах. Они ориентировались на Каутского, пока еще не проявившего свое позднейшее отступничество (тогда еще Ленин рекомендовал его книги в качестве популярных учебников марксизма). Среди левых выделялись Карл Крейбих, редактор газеты «Вперед», выходившей в городе Либерец, и Штрассер, брошюру которого по национальному вопросу Ленин положительно оценил. Чешских левых социал-демократов возглавлял Богумир Шмерал. Эти левые вожди до 1914 так или иначе, хотя и далеко не столь решительно и последовательно, как в Германии Карл Либкнехт и Роза Люксембург, выступали против империалистической войны. Впоследствии они приняли активное участие в работе Коминтерна. Крейбих, а в особенности Штрассер, иногда читали доклады для нас, социал-демократических студентов (Шмерал был больше рабочим трибуном), и здесь я познакомился с ними. А в 1945 году Крейбих припомнил меня. У нас установились дружеские отношения с этим замечательным, душевным человеком (он был на 9 лет старше меня), которые продолжались, конечно, и тогда, когда при Новотном он, как и многие другие ветераны партии, находился в опале.

Но я возвращаюсь к нашей дружбе с Пепиком Пиком. В спорах с ним я высказывал свои сомнения не столько относительно экономических и социальных основ марксизма, сколько по вопросам философии, в особенности этическим. Я брал под сомнение, способен ли человек, который ведь по

Дарвину по самой своей природе эгоист, стать когда-либо подлинным социалистом, альтруистом, действительно смогут ли люди создать гармоническое общество, в котором навсегда прекратится борьба интересов между ними. Вероятно поэтому второй книгой, которую раздобыл для меня Пепик (может быть, по совету того же Винтера), была не какая-нибудь брошюра вроде «Наемный труд и капитал», «Заработная плата, цена и прибыль») и, конечно же не первый том «Капитала» и «Анти-Дюринг», с которыми я ознакомился гораздо позднее, а немецкий перевод «Этики» Спинозы.

Этот удивительный труд произвел на меня неизгладимое впечатление. Не знаю, правда, рассеял ли он мои сомнения в человеческой моральной природе. Однако его пантеистическое положение «Deus – sive natura» («Бог – то есть природа») как бы только камуфлировало его подлинно материалистическое содержание, и помимо меня, бывшего, сколько я помню, всегда атеистом, этот его псевдо-религиозный дух, этот «Amor Dei aeternitatis» («Вечная любовь к Богу») естественно переключался в благорасположение, в благожелательство, благоволение и благоговение к природе и к ее созданиям, прежде всего к человеку и человечеству.

В считавшейся левой студенческой социал-демократической организации, членскую книжку которой, без всяких формальностей мне вручили весной того же 1910 года, мы много и страстно дискутировали, должно быть, довольно бестолково, вразброд, так как некоторые из нас увлекались самыми различными идейными течениями – Толстым, Бакуниным, Кропоткиным, Ландауэром, Вейнингером. Но, тем не менее, зерна материалистического, а затем и диалектико-материалистического мировоззрения, посеянные первыми усилиями Пика и Винтера и тех сочинений классиков марксизма и его популяризаторов, которые я прочитал, постепенно, в течении четырех лет, давали свои всходы. На лекциях по философии профессоров-идеалистов, при чтении обязательной классической философской литературы, я смог теперь относиться ко всему этому критически. И со свойственной мне несдержанностью, я то и дело на семинарах, во время коллоквиумов и экзаменов, резко высказывал свое несогласие с преподанными нам концепциями. И это сходило мне с рук, не отражалось на отметках. И только один из профессоров, Радл, проявил ко мне свое недоброжелательное отношение. Я чересчур досаждал ему.

Еще один социал-демократ, года на три старше меня, оказал на формирование моих взглядов значительное влияние. Это был Дончев, черноглазый и черноволосый болгарин, родом из

Тырново, студент старших семестров архитектурного факультета чешского политехнического института. Он считал, что силу можно преодолеть только силой, а не словами, какие бы они не были прекрасные. Должно быть, он просто воспроизводил взгляды своей революционной партии «тесняков», близкие к большевистским.

Что до меня, то от этих большевистских взглядов на революционную роль я не отказался и не намерен пересматривать их. Сам ход современной истории подтвердил незыблемость истины, что – за редчайшими исключениями таких «перебежчиков» от буржуазии к пролетариату, какими были как раз Маркс, Энгельс и Ленин, – капиталисты добровольно, под влиянием одних лишь доводов разума, справедливости, морали, никогда не откажутся от власти, от своих привилегий, от того грабежа, который они осуществляют ежечасно, и что только сила (или реальная угроза силы) в состоянии принудить их к этому. Однако наученный горьким опытом жизни я понял и другое, чего тогда не заметили не только такие, как я, но и умы, несомненно более прозорливые. Применение силы в борьбе против силы неизбежно вызывает явления, подходящие – выражаясь языком кибернетики – под категорию «обратной связи». Свергающие посредством насилия насилие, точнее, руководящие этим свержением, – сами становятся насильниками, применяя его теперь, чтобы приобрести и закрепить власть и привилегии для себя лично, для своего сословия, для своей касты.

Но каков же тогда выход? Я не знаю его, и не собираюсь предлагать какие-то рецепты. Конечно, я был бы счастлив, если бы знал их, уже потому, что это избавило бы меня от мучительного отчаяния, в которое, не скрою, впадаю иногда, думая о будущем человечества вообще, а конкретно, по-человечески, о том, которое ждет моих внуков. Неужто и они будут жить в такой же неволе, как жили мы, переносить столько – а возможно еще больше – бедствий, мучения, горя, как перенесло мое поколение? Но эти настроения безнадежности не доминируют у меня. Я сознаю, что несмотря ни на что, развитие человечества – хотя и возмутительно медленно, с зигзагами и флюктуациями регресса – в целом все же прогрессивно, причем не только в научно-техническом, но и в социальном и моральном отношении. И если не через десятилетия, то через столетия (разумеется, если оно прежде самое себя не истребит), человечество сумеет организовать подлинный коммунизм на Земле. Это не просто мое желание или вера, а вытекает из объективных закономерностей развития.

Мы, студенты, хотя и не скрывали свою принадлежность к

партии, все же, по понятным причинам, и не афишировали ее. Так, я даже не счел нужным оповестить об этом своих домашних, не желая еще больше усиливать конфликт с отцом, возникший из-за моего еврейского национализма. Кстати сказать, Пепику так и не дали убедить меня, что социал-демократ будучи интернационалистом, руководствуясь лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», не может в то же время бороться за свободу еврейской нации, за ее освобождение. И я продолжал по-прежнему поддерживать свои дружеские контакты с баркохбанцами, читать на иврите литературу – Бялика, Черныховского и других – и преподавать этот язык. Вместе с тем, я прилежно читал партийную прессу и литературу, участвовал активно во всех мероприятиях партии.

В 1911 году в Австро-Венгрии социал-демократы развернули кампанию борьбы за восьмичасовой рабочий день – общегосударственную всеобщую забастовку, массовые демонстрации – причем в них участвовали, по меньшей мере, в Праге, и анархисты, и чешские национальные социалисты и даже христианские социалисты, а также и еврейские по-алейцион – все, чехи, немцы и евреи, безразлично. Мы, социалистические студенты, конечно, также приняли в ней участие, с красными гвоздиками в петлице (это была эмблема нашей партии в отличие от красно-белых гвоздик – эмблемы национал-социалистов). Демонстрация была очень внушительная, хотя и вполне мирная. «Нарушение общественного порядка» сводилось к походу по мостовым самых широких улиц, на несколько часов задержавшему движение транспорта, к транспарантам с не слишком уж революционными лозунгами, к красным и красно-белым национальным знаменам, и к пению партийных, революционных песен. Полиция стушевалась, хотя ее конные отряды стояли в прилегающих улицах, и войска в казармах были приведены в боевую готовность. Но порядок удерживали сами наши люди, с красными повязками на рукаве. До столкновений с властями не дошло. А в результате этих демонстраций, проходивших во всех больших городах страны, восьмичасовой рабочий день был узаконен.

Участие в подобных волнующих массовых акциях, к которым принадлежали и ежегодные первомайские демонстрации, подкрепляли, понятно, мою привязанность к рабочему движению, так сказать, со стороны чувства, в то время как чтение, да и дискуссии, укрепляли ее со стороны разума. Но своими чувствами я был ведь и раньше подготовлен к участию в освободительной борьбе. Мое романтическое увлечение сначала чешским, а затем еврейским освободительным стремлением, послужили своего

рода подготовкой к этому. Да и почти вся передовая чешская литература непременно содержала в себе мотивы то более, то менее острого протеста не только против национального, но и против социального угнетения народных масс, примером чему служило, скажем, сочинение Божены Немцовой «В замке и под замком». Я уже упоминал о стихах Морриса Розенфельда, но я прочел – конечно, в переводе – и «Мать» Горького, а главное долгое время прямо-таки жил под впечатлением «Силезских песен» Петра Безруча.

В конце июля 1914 года я собирался в дорогу – провести двухнедельный отпуск, полученный в Обсерватории, в южной Чехии, в небольшом живописном городе Крумлове, славящемся своим замком, у своего нового друга Клингера, с которым мы были одногодки, пригласившего меня погостить у него. Клингер изучал историю в пражском немецком университете, был баркохбанцем, и так называемым «культур-сионистом». Он был сторонником полу-анархического, полурелигиозно-толстовского социализма Ландауэра, противником политического сионизма. Он не соглашался с тем, чтобы евреи в Палестине создали государство, куда перенесли бы все то свинство, которое существует во всех государствах повсюду. Он представлял себе их живущими там свободно, в своего рода утопических сельскохозяйственных фаланстерах.

Я охотно принял его приглашение, тем более охотно, что мне очень нравилась его сестра Магда, милая девушка, только что окончившая гимназию. Я познакомился с ней в Праге, куда она приехала к брату со своим отцом, начальником железнодорожной станции в Крумлове. Я стал ухаживать за ней. Как и сам Клингер, и как тогда многие еврейские юноши и девушки, Магда изучала иврит, но вряд ли поняла бы меня, если бы я вздумал объясниться ей в любви на языке «Песни песней». Впрочем, так далеко у нас еще дело не успело зайти, не вышло ничего и из моей поездки. Надвинулись тревожные предвоенные дни.

Часть вторая. В войне и в революции

Муштра

29 июня в столице Боснии, в Сараеве, сербский студент Гаврила Принцип убил Франца Фердинанда д'Эсте, наследника императора, и его жену. Ровно через месяц после сараевского убийства начались военные действия, после чего, три недели спустя, русские войска вторглись в Галицию.

Была объявлена всеобщая мобилизация, и вскоре, как и сотни тысяч других молодых людей моего возраста, я получил повестку, предлагавшую явиться на призывной пункт. Призывная церемония была проще простого. Раздеться догола. В длинной шеренге, держа в руках всю свою одежду, подойти к столу призывной комиссии. Здесь военный врач, приложив стетоскоп к твоей груди, в одну минуту «осмотрит» тебя. И если ты только не калека, непременно произнесет: «Годен!» Фельдфебель, сидящий за столом, запишет и выдаст направление в полк, куда ты приписан. Мне выпал 91 пехотный, дислоцированный в Чешских Будейовицах. Его солдат прозвали «попугаями» из-за ярко-зеленых петлиц. Как окончивший среднюю школу с аттестатом зрелости, я числился «вольноопределяющимся». Одно это название звучало издевкой. Какие мы были «Freiwillige»?!

Ведь как и все прочие, я попал на военную службу не добровольно. Разница состояла в том, что в мирное время срок ее был ограничен одним годом вместо трех, и что вольноопределяющихся готовили в офицеры запаса. Но это звание дало мне тут же и другую льготу. Мне не пришлось отправиться в полк в вагоне для скота, битком набитом другими призывниками; мне выдали удостоверение, по которому в вокзальной кассе отпустили бесплатно проездной билет третьего класса.

На сборы полагалось 24 часа. Но ехать надо было уже солдатом, в мундире. Его выдавали в казармах в Дейвицах. Там я и получил его: синий, мешкообразный, громадный, не по росту. Многие давали срочно перешивать эти мундиры, превращать их даже в щегольские. Но я этого не сделал. Не то что война, но военная служба и все, связанное с ней, было мне ненавистно. Хотя, конечно, не так отчетливо, как теперь, но все-таки, как левый социал-демократ, я хорошо понимал, что война ведется в интересах, чуждых трудящемуся народу, что пользу из нее желают извлечь заводчики, фабриканты, банкиры, генералы любой воюющей нации. За что должны умирать такие, как я, все равно чехи ли, немцы, евреи, поляки или мадьяры, и почему мы должны убивать таких же, как я, сербов и русских? Австро-

Венгрия, что ли, «отечество», которое мы должны защищать? Мстить миллионам за то, что террорист убил одну супружескую пару?

Я вышел из ворот казармы в этом нелепом мундире, обутый в жесткие, тяжелые, какие-то сморщенные военные башмаки не по ноге. Словно пугало со свертком своего штатского платья подмышкой, стал спускаться по склону Летненского парка к Влтаве. Настороженно озирался кругом, – при выдаче мундира нас предупредили, что мы должны отдавать честь каждому встречному военному чину, в противном случае нам угрожает наказание. Был сияющий солнечный августовский день, и «стобашенная» Прага во всей своей красе простиралась передо мною. Я уселся на скамью, чтобы – возможно, в последний раз, как я думал – полюбоваться этим видом, проститься с ним. Сегодня вечером предстоит тяжелое прощание, с мамой, с Рудольфом, с Мартичкой, с бабушкой. Потом уеду ночным поездом, а там – офицерская школа, краткосрочная по условиям военного времени, а потом на фронт, где разгул смерти.

В будейовицких Марианских казармах, мрачными сводами своих помещений напоминавших монастырь, началась наша муштра. Наши мундиры снабдили отличающими нас от простых солдат нашивками. Мы составляли особый взвод – офицерскую школу. По ее успешному окончанию производили в младший офицерский чин – в «кадеты». Учебная нагрузка была зверская. Это были сплошные марши с тяжелейшим коричневым ранцем из телячьей кожи за спиной, винтовкой со штыком, патронами. Упражнения в поле, излюбленные унтеров, глумившихся над нами, «белоручками» – бег на месте, вновь и вновь броски плашмя в грязь. И, конечно, стрельба по цели из винтовки, пулемета, пистолета, разборка, чистка и сборка оружия. Но, пожалуй, больше, чем все это, обращалось внимание на бесконечную чистку до блеска медных пуговиц на мундире, а в особенности, значка с инициалами Франца Иосифа на нескладном кепи, и на заправку по форме коек, на которых мы спали. Конечно, нам читали и лекции по различным предметам военного дела, но в большинстве они были устаревшие, рассчитанные на маневренное ведение войны, между тем она вскоре приняла вид войны позиционной, а ее стратегию, тактику, ее практические окопные приемы мы в нашей школе не изучали.

Национальный состав нашего полка был весьма пестрый: солдаты принадлежали ко всем национальностям «лоскутной» империи. Здесь имелись чехи и немцы (большинство, поскольку полк в основном рекрутировался в Чехии), затем словаки, поляки, украинцы (их тогда называли русинами), хорваты, сербы и

словенцы, мадьяры, румыны и итальянцы, евреи и цыгане. Каждый говорил на своем языке, – настоящее вавилонское столпотворение’ Но кадровые офицеры были почти все немцы, и командным языком был немецкий. За исключением некоторых, чисто немецких и чисто мадьярских полков, почти все другие имели смешанный состав. Правительство хотело этим предотвратить измену. Этот расчет не был лишен основания. Пражский 28 пехотный полк, в значительной степени состоявший из чехов, попав на русский фронт, не только без боя сдался в плен, но и стал ядром чехословацких легионов, боровшихся против Австро-Венгрии.

Что собой представляли офицеры нашего 91 полка? Почти с фотографической точностью, лишь слегка шаржируя, их вывел другой солдат этого полка, Ярослав Гашек, в своем бессмертном «Швейке», причем под их настоящими фамилиями. Всех их – обер-лейтенанта Лукача, кадета Биглера, фельдкурата Катца и других, я застал в живых, каждого по-своему бесчинствовавших в Марианских казармах. По вечерам в большом зале, который когда-то мог служить монастырской столовой, лежа на своих топчанах, мы жадно слушали передаваемые вполголоса солдатами «старожилами» не рассказы, а легенды о них. О том, что здесь служил такой солдат Гашек, пражский писатель, – его недавно угнали на фронт с очередным маршевым батальоном. Хитрющий парень, притворявшийся дурачком. Он изводил офицеров, доводя выполнение любого приказа до несуразности. И придраться к нему нельзя было! И сыпались одна историйка смешнее и перченее другой. А мы, уткнув голову в набитую соломой подушку, еле сдерживали взрывы сотрясавшего нас хохота. Вот это и была моя вторая встреча с Гашеком.

Но вот, наконец, нашу школу построили в казарменном дворе, и полковник, ее начальник, сидящий верхом на лошади, объявил о ее окончании, произнес короткую патриотическую речь и зачитал список произведенных в младший офицерский чин кадета. Среди немногих, не названных в этом перечне, оказался и я, получивший лишь звание «кадет-аспирант», звание промежуточное между старшим унтерофицерским и младшим офицерским. Как мне уже на фронте строго конфиденциально сообщил командир нашего взвода лейтенант Блак, молодой, веселый венец, «прокурист» – коммерческий представитель какой-то фирмы – я не был допущен в избранное общество господ офицеров потому, что в списке, возле моей фамилии, значилась пометка «subversiv» – «неблагонадежный». Ясно, что это произошло по донесению тайной полиции о моей партийной принадлежности, не просто к социал-демократам, которые в

своем большинстве считались вполне «надежными», а к левым.

Став кадет-аспирантом с соответствующими петлицами, звездочками и нашивками, я, как уже сказано, попал в высший ранг унтер-офицеров, сразу перескочив все их низшие чины. Это, понятно, не могло расположить их ко мне. Особенно фельдфебелей, для которых военная служба была профессией (они служили 6 лет, после чего получали право открыть «трафику» – табачную лавчонку: продажа табачных изделий была государственной монополией), почти без исключения грубых, невежественных людей. Они брали взятки (продовольственные посылки) от имущих простых солдат и садистски издевались над неимущими. Нас, «образованных господ», они ненавидели, но вместе с тем и побаивались. Ведь чем черт не шутит, вдруг мы можем оказаться их начальниками.

Мне поручили заняться обучением следующего, только что прибывшего пополнения новобранцев, и я действительно провел с ними несколько дней в этих мучительных занятиях, ставших особенно неприятными в дождливую, слякотную погоду поздней осенью. Однако не прошло и недели, как мне объявили, что я зачислен в маршевый батальон, который вот-вот отправится на фронт. Обещали предоставить двухдневный отпуск для поездки в Прагу, проститься с семьей. Но через день такие отпуска были отменены, дали нам всего-навсего «увольнительную» на 4 часа. Что поделаешь! Домой я написал длинное прощальное письмо, а эти свободные часы решил использовать для поездки в близкий Крумлов – всего каких-нибудь 30 километров на юг от Будейовиц – чтобы увидеться с Магдой. Она переживала большое горе. Мобилизованный в самые первые дни войны, ее брат и мой приятель Клингер, пропал без вести. (Как выяснилось позднее, его убили в первом же бою.) Понятно, что при таких обстоятельствах, моя поездка не могла ободряюще повлиять на мое настроение. Она происходила второпях, чуть ли не с поезда на поезд. С Магдой и ее отцом мы простились, и больше я их никогда не видел и не смог узнать ничего о их дальнейшей судьбе. Вероятнее всего, они погибли от руки нацистов.

Как было типично для австрийского императорского и королевского «шлендриана», наша отправка на фронт со дня на день откладывалась. То оказались какие-то недостатки в амуниции, то на складе обнаружили хищение, – нехватку нужного количества мясных консервов, входивших в «железный рацион» солдата, то у железнодорожников получались неполадки с эшелоном. Но все это время, днем и ночью, в течение нескольких суток, мы находились в мобилизационной готовности, в нервном напряжении, офицеры и унтера суетились, вокруг царила

неописуемая суматоха. Нас уже привели к присяге, «на суше, на воде и воздухе воевать не щадя живота своего за любимого императора и его августейшую семью». Фельдкурат Катц отслужил положенную полевую мессу (вроде «последнего причастия»), а мы все еще в Марианских казармах. Все же, в конце концов, под моросящим дождем пополам со снегом наш батальон прошел ранним утром парадным маршем через город на вокзал. Будейовицы, тогда с довольно большим процентом немецкого мещанского населения, провожали нас восторженно, с криками: «Jeder Schuss ein Russ[2]» А офицерам преподносили букеты астр, солдатам же сигареты и шоколадки. Но было и немало горя – плакали подружки солдат.

Нас напихали в вагоны с надписью «8 лошадей или 40 человек», и по команде «Запевай!» с нар, где мы разместились, раздалось пение, не очень стройное, и не всегда вполне пристойное.

Фронт и контузия

Вот мы двинулись, но неизвестно куда. На сербский или на русский фронт? Этого не знал даже командир батальона. Поезд продвигался медленно, то и дело останавливался, как будто раздумывая, куда ему направиться дальше. В Линце, столице Верхней Австрии, ночью нас ждал обед, но, конечно, совершенно остывший. И лишь когда на какой-то станции в Венгрии поезд повернул решительно на север, что я сразу определил по компасу, мы все облегченно вздохнули. Значит, нас посылают на русский фронт, а не на сербский, пользовавшийся самой дурной репутацией. Не говоря уже о свирепствующих там эпидемиях и жесточайшем голоде, который ждал каждого, попавшего в плен, самих сербов изображали как стрелков, чьи пули, словно заколдованные, убивают, вылетая неизвестно откуда, и как дикарей, истых головорезов, которые не берут пленных, а убивают их, и даже раненых приканчивают своими кинжалами. По сравнению с ними русские были просто добрыми малыми.

В то время фронт проходил по северному склону Карпат. Русская армия, стоявшая в восточной Галиции, пыталась прорваться отсюда через карпатские перевалы и ущелья в Венгрию. И наш батальон направлялся на подкрепление австро-венгерских войск, оборонявших эти горные перевалы. Три мадьярских географических названия я отчетливо припоминаю – Такшань, Мезе-Лаборч и Шаторайяуйхей. Именно Такшань назывался тот полустанок, до которого нас доставили на следующие сутки. Когда мы выгрузились, то услышали отдаленную канонаду, отсюда мы направились походным порядком дальше на север. Дорога вела через заснеженные буковые леса. И с возрастающим трудом, тяжело нагруженные, мы поднимались все выше в гору. После нескольких часового похода мы добрались до селения, по-видимому, это и было Мезе-Лаборч, расположенного на склоне над долиной. Здесь стрельба слышалась, как казалось, совсем близко.

Наступила ночь, и нас разместили в жалких избах и покосившихся сараях нищего украинского племени гуцулов-лесорубов. Теперь они почти без остатка покинули свои убогие жилища, бежали от ужасов фронта. А те немногие, которые остались, какой вид был у них! Ребятишки в одних рубашонках босые бродили по снегу, выпрашивая у нас хлеба. Полуголые, кормящие грудью женщины, старики в лохмотьях. В избе – посредине очаг, в крыше дыра, куда уходит дым, черные от сажи стены, глиняный пол, стол, скамьи, тряпье и овчины вместо

постели – вот и вся обстановка. Тут же с людьми живут и козы. Грязь и вонь неимоверные. А все это – в центре Европы, в XX веке! И за сохранение такой «культуры» мы должны проливать нашу и чужую кровь…

На сеновале я – разумеется, не раздеваясь – заснул, как убитый, но, как мне показалось, тут же проснулся. Не дожидаясь рассвета, нас подняли, и мы двинулись на передовую позицию. В этот ранний час в лесу было так тихо, словно и войны никакой нет. И мы двигались осторожно, чтобы не спугнуть эту тишину, стараясь не греметь ничем металлическим – винтовкой, штыком, лопаткой для рытья окопов, котелком. И следили, чтобы, боже упаси, никто не смел зажечь спичку, закурить. Благополучно, не наведя на себя внимание противника, мы добрались до начала хода, ведшего в окопы. А потом по нему гуськом достигли первой линии. Здесь мы сменили промерзших, давно дожидавшихся нас земляков, солдат того же нашего 91 полка. Они ушли в Такшань отдыхать. Смена происходила бесшумно, команды передавались шепотом, от человека к его соседу. Так и началась моя фронтовая жизнь.

Этот первый фронтовой день сохранился у меня в памяти. Окопы все в снегу были хоть и тесные, но глубокие. Они казались надежной защитой от пуль. Как положено, я проверил, как расставлены солдаты, знают ли, как себя вести. Затем побывал в укрытии командира нашего первого взвода лейтенанта Блака. Оно находилось тут же за окопом, соединялось с ним коротким ходом. В этом укрытии помещались и связисты. Было холодно, зябко, сыро, но мороз пока был небольшой. Но вот, не успели появиться первые солнечные лучи – а этот зимний день выдался пригожим, на небе ни одной тучки – как началось. Все вокруг загудело, сотрясалось, над нашими головами стали проноситься снаряды. И откуда-то издали с противоположного хребта, поросшего такими же буковыми лесами, оттуда, где находились окопы русских, началась беспорядочная винтовочная стрельба. Иногда она сопровождалась стрекотанием пулемета. Пули, как правило, ударялись в высокую, достаточно мощную насыпь перед окопом, поднимали небольшие фонтанчики глины и снега, но вреда нам не причиняли.

Однако иногда шальная пуля все же рикошетом попадала и к нам в окоп. Были раненые и даже двое убитых. Вскоре мы все пропахли порохом, смрадом, тем «дымом сражения», который романтики столь часто и столь лживо опоэтизировали. К счастью за весь этот первый день не было ни одного попадания снарядов в наши окопы. Русская артиллерия почему-то недостреливала. Не стану скрывать, что я, как, вероятно, все мы необстрелянные,

испытывал страх. Я «кланялся» перед каждой жужжавшей где-то пулей, и содрогался от завывания и взрыва шрапнели и гранат.

Казалось, что этому дню не будет конца. Но стемнело, повалил густой снег, и хотя перестрелка все еще продолжалась, наши полевые кухни храбро подвезли нам питание – хлеб, горячий жирный суп, сладкий черный «кофе» с несколькими каплями рома – и на душе стало как бы легче. А постепенно затихли и выстрелы. И тогда, наконец, свернувшись калачиком, тщательно закутавшись в наши не очень теплые синие шинели, мы заснули тревожным сном.

И так продолжалось не то неделю, не то десяток дней подряд. Вдобавок, в последние дни русская артиллерия, как видно, пристрелялась. Но как сказано в коране: «Куллу интагаи» – «Все проходит». Проходит не только хорошее, увы, слишком быстро, но и плохое, хотя, на беду, уж очень медленно. Прошла и эта маета. Нас сменили, и мы перебрались в Такшань, на пару-другую дней, чтобы отдохнуть, отоспаться, обогреться, а потом снова туда же, в наши окопы. В блаженной уверенности, что с утра отмоемся в полевой бане при санбате и что там произведут дезинфекцию нашего белья и мундира, я улегся спать на том же сеновале. Наконец-то, я даже смог разуться и отчасти раздеться. Ну и высплюсь же я!

Но не тут-то было! Правда, баню нам устроили, причем даже не назавтра, а этой же ночью, но совсем другую, чем мы ожидали. А от неразлучных спутниц войны, вшей, этих крохотных кровожадных бестий, которые, заражая нас сыпняком, пуще пуль и осколков, сеют смерть, на сей раз я так и не избавился. То исчезая по временам, то вновь появляясь, они мучили меня всю войну, и в плену, а затем снова решительно заявили о себе и в гражданскую войну.

Только что я успел зарыться с головой в вонючее, прогнившее сено, как вскочил, ошалелый. Кругом светло, как днем, стоит оглушительный грохот, снова и снова бабахают снаряды, слышны вопли, истошные крики, ржанье лошадей, гиканье. Хаты и сараи гуцулов пылают. И хотя мой сеновал пока цел, оставаться в нем нельзя. Хватаю винтовку и, кое-как спросонья напялив на себя вещи, выскакиваю наружу. Что тут творится! Настоящая классическая паника, массовый психоз, как он описан в учебниках психологии. Обезумевшие от страха люди знают только одно: спасти свою жизнь, бежать от огня, от этой пальбы. Организованность, разумный порядок, дисциплина – ничего этого нет и в помине, один только животный страх. Безумие одинаково охватило офицеров, как и солдат – бежать, бежать!

Неширокая дорога вилась по склону – справа над нами гора

поднималась вверх, слева глубокий обрыв в долину. Смятение, давка, столкновения, ругань не прекращались. То и дело застревал какой-нибудь лафет, чуть ли не опрокидывалась повозка, спотыкалась лошадь, угрожая свалиться в пропасть. Вместе со здоровыми бежали легкораненые. Какой-то офицер, стегая направо и налево своим хлыстиком, пробивал себе дорогу. Были и такие господа, что угрожали пистолетом. И хотя снаряды не попадали на эту часть дороги, близкая канонада не стихала. Более того, где-то там начали строчить очереди «максима», русского пулемета, особый звук которого мы уже научились различать. И все это в освещении зарева горящих Такшань. Что же случилось с остатком несчастных их жителей, с этими детишками, женщинами, стариками? Но не успел я подумать об этом, как все прекратилось – я потерял сознание.

От чего я очнулся – не знаю. Над собой увидел ясное зимнее небо, – серп луны, – снег блестел. Вокруг царила волшебная тишина. Я чувствовал себя хорошо, нигде ничего не болело. Но тут я вспомнил о только что пережитом кошмаре. Не сон ли мне приснился? Или я сплю теперь? Первое, чего я хватился, была моя винтовка. Ее нет со мной. Где же она? Я понял, что лежу навзничь в каком-то сугробе, хотел подняться, но не смог, почувствовал невыносимую боль в спине. «Что это, неужто ранило? Где я? И почему такая тишина? Я лежу здесь целые сутки, и весь этот хаос на дороге уже прошел? А, может быть, я уже по ту сторону фронта, и если ранен, то меня подберут не наши, а русские санитары?» Такие примерно мысли проносились у меня в голове, и причудливо смешивались с другими: «Недавно был мой день рождения, мама, наверно, всплакнула, вспомнив обо мне. А скоро рождество. Новый год – 1915-ый, – где я встречу его? А где встретят его те гуцулы, или нет, они ведь православные, он у них, кажется, в другое время…»

Насильно я отделался от этого бреда и, превозмогая боль, поднялся на четвереньки. И первое, что я к неописуемой радости увидел, была моя винтовка. Всего в каких-нибудь десяти шагах торчала она надо мной в снегу. Я попытался доползти до нее, но не смог. Туго стянутый поясом, ремнями, нагруженный «теленком», патронташами, я сразу же обессилел. Попытался расстегнуть все, сбросить с себя, но это не выходило. Тогда я догадался – вытащил из-за пояса штык – он имел у меня вид острого двустороннего ножа – и начал перерезать им ремни. Это было чертовски трудно, на это ушло немало времени. Наконец мне удалось добраться до винтовки. Используя ее как палку, я поднялся на ноги, и стал медленно карабкаться вверх, бродя в глубоком снегу, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть,

туда, к роковой дороге. До нее оставалось двадцать метров, не меньше. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что на ней все то же безумное движение, продолжается то же паническое бегство. Только теперь все происходило беззвучно, как в кинематографе (тогда ведь все фильмы были немые). И тут только я догадался, что со мной случилось. Я оглох, меня оглушило взрывной волной, которая и сбросила меня под откос, благо в глубокий снег. И я, должно быть, контужен, возможно, поврежден позвоночник. Какая-нибудь заблудившаяся на дороге граната все это наделала. Вот откуда эта дикая боль в спине.

Я влился в этот поток, и опираясь на винтовку, ковылял дальше. Проезжала повозка с красным крестом, и я попросился подвезти меня. Сначала мне грубо отказали, но потом молодой врач сжалился и приказал меня посадить. Но тряска была ужасная, боль от нее нестерпимее, и я решил добраться до первого полевого госпиталя пешком. И добрался. Под самой горой была большая палатка, перевязочный пункт. Врач осмотрел меня. Никакого ранения или контузии позвоночника не оказалось. Зато были порваны мускулы на животе, который уже успел вздуться, как у беременной. Была поражена симпатическая нервная система, от этого резкие боли в спине. Мне сделали перевязку, туго забинтовали живот. Врач спросил, когда я в последний раз принимал пищу, и, узнав, что давно – ни перед отходом из окопов, ни после прибытия в Такшань нас не накормили – поздравил меня: «Ваше счастье. Иначе, с полным кишечником – верный перитонит и смерть. Не смейте ничего есть. Только пить можно». Мне предложили подвезти меня, но не лежа (мест не хватало для тяжело раненых) и, зная уже, что это значит, я отказался. С этим напутствием голодать, я поплелся дальше, к железной дороге, где меня должен был подобрать санитарный поезд.

До станции Шаторайяухей я добрался лишь на третьи сутки, в походе от одного медпункта к другому. Мне сменяли повязку, рана гноилась, а в двух лазаретах дали кое-как переспать ночь. Шел я, конечно, не один. Таких раненых и контуженных, которые могли передвигаться самостоятельно, была целая ватага. Полевая жандармерия, эта гроза дезертиров, давно остановила бегство, но нас не трогала. Благоприятствовала погода – морозы были не сильные. И, хоть на последнем пределе своих сил, я поспел удачно на станцию: санитарный поезд словно дожидался, чтобы увезти меня.

Через пару часов нас выгрузили в Кошицах (тогда, по мадьярски, Каша) в громадном карантине. Выкупали в ванне (помню, как я неловко чувствовал себя голым перед

молоденькими сестричками, хихикавшими и щебетавшими что-то на непонятном мадьярском языке – слух, к тому времени, ко мне уже успел вернуться). Меня одели в свежее белье, перевязали, напоили, и, – какое наслаждение! – уложили в настоящую белоснежную постель! Так меня там, в карантине, продержали четверо суток, перевязывали, но гноившийся живот не трогали. А потом уложили в санитарный поезд, чтобы, наконец, отправить в госпиталь, в тыл. В вагоне койки были размещены в два этажа, я лежал на верхнем, и через окошко, ранним утром, увидел в солнечном сиянии Татры. Это неожиданное, сказочное видение запомнилось мне на всю жизнь. Но куда нас везут? Все равно. Не до того теперь. В вагоне душно, пахнет йодоформом, гноем ран, стоит непрерывный стон. Я впадаю в забытье. Наконец, поезд останавливается прочно, нас перегружают в трамвай, превращенный в санитарный. Где же мы? Да ведь это Прага! И представьте, какая случайность – госпиталь находится в моей «реалке»!

Осмотревший меня старший врач, молодой доцент немецкого пражского университета, крепко ругал кошицких врачей, продержавших меня так долго без хирургического вмешательства. Он направил меня в операционную, которой оказался наш бывший рисовальный класс. Мне измерили температуру, она оказалась ниже 35, сделали местную анестезию уколом в спину, и я, лежа на операционном столе, дожидаясь своей очереди, хотя и очень ослабевший, но в полном сознании, наблюдал, как соседу, электрической пилой, отнимают ногу выше колена. Зрелище, несомненно поднимающее настроение. Но солдат не человек, он должен все выдержать. Оперировал меня тот же доцент, – щипчиками разнял рану, скребком вычистил ее, и затем, изнутри, скрепил связки тончайшей металлической пружинкой – все это быстро, с легкостью фокусника. На второй день мне удалось оповестить маму, и ей разрешили посетить меня. Она принесла мне всяких вкусных вещей, но мне по-прежнему ничего нельзя было есть (давали все в жидком виде), все это она раздала другим.

Я довольно быстро стал поправляться. Мой вздутый живот опал, рана перестала гноиться, силы возвращались. И отмороженная пятка, которую смазывали жутко вонючей мазью, зажила. Впрочем, это была всего-навсего отмороженность первой степени. Всерьез принималась во внимание лишь третья степень, когда уже начиналась гангрена. Но гной появился снова, живот снова пришлось вскрывать, снова скребли в нем – на этот раз было нестерпимо больно.

В госпитале я провел зимние праздники. Меня часто

посещали родные, друзья, знакомые, приносили не только еду, но и интересные книжки. В целом я пролежал в госпитале недель шесть, после чего комиссия второй раз признала меня годным для фронта в качестве пушечного мяса.

Наш батальон и на этот раз направили на русский фронт, но уже не в Карпаты, а в западную Галицию. Я не помню, на какой станции мы покинули эшелон и начали свой поход. Львов был незадолго до нашего прибытия освобожден от занимавших его русских, и мы вошли в него без единого выстрела. Он произвел на меня впечатление прекрасно сохранившегося, почти не пострадавшего города, в котором жизнь кипела вовсю. Были даже открыты шикарные кафе. Но во Львове я успел лишь осмотреть несколько красивых церквей. Происходило успешное совместное наступление австро-венгерской и германской армий. Первой задачей было изгнать русских из Галиции и Буковины, а затем вторгнуться в Россию.

Из Львова мы прошли около 200 км, преследуя отступающую русскую армию. Это был очень изнурительный поход, хотя он происходил преимущественно без серьезных боев. Большое сражение, в котором наш батальон принял участие, состоялось лишь при форсировании реки Западный Буг в районе города Сокаль. Мы залегли на ее западном берегу в выкопанных на скорую руку траншеях, дожидаясь, пока наша артиллерия не разгромит позиции противника. В течение многих часов, показавшихся мне вечностью, барабанный огонь, сосредоточенных на малом участке большого количества тяжелых батарей, производил через нашу голову эту дьявольскую музыку, не оставив на том берегу ни одной пяди нетронутой. Конечно, все это была лишь детская игра по сравнению с тем, что творилось, в особенности благодаря авиации, во Вторую мировую войну, и что творится ныне, благодаря напалму и ракетам во Вьетнаме, где происходит репетиция третьей. Но таков уж прогресс человечества, вошедшего благополучно в период научно-технической революции…

Переправившись на другой берег Буга, мы вошли в город Сокаль, но увидели только догоравшие развалины, среди которых и двигаться было опасно. А от русских окопов осталось лишь одно крошево. Везде трупы людей и лошадей, брошенное искореженное снаряжение. Из остального нашего похода, продолжавшегося более двух месяцев, – июнь, июль и часть августа, – у меня запечатлелось лишь несколько картин, вроде кадров из какого-то захватывающего фильма.

Вот наш батальон движется по дороге широкой равниной в солнечный летний день. Никакой стрельбы не слышно. И вдруг

вдали отчетливо виден кавалерийский разъезд. «Это казаки, они с пиками!», раздаются в наших рядах панические крики. И, не получив приказа, наши «храбрые» солдаты начинают беспорядочно стрелять, причем не так, как их учили (надо стрелять по кавалерии, став на одно колено), а стоя. Вот вам иллюстрация «воинствующего духа нашей доблестной армии».

Мы уже перешли государственную границу, вошли в Россию, на Волынь, отчего ни вид ландшафта, ни убогих селений не изменился. Но вот мы проходим через какую-то совершенно уцелевшую деревню, из которой, однако, ушли все ее жители. Но все ли? На деревенской площади мы встречаемся с тремя из них: на деревьях висят два длиннобородых еврея в кафтанах и ермолках, и, так сказать для равновесия, один длинноволосый русский поп в рясе. Жуткое зрелище. Кто их повесил? «Наши» или русские? И за что? Ясно, за «шпионаж», за что иначе здесь вешают. И некоторые «наши» офицеры фотографируют этот «вид» на память.

Но не все селения на Волыни представляли столь мрачную картину. Вот одно богатое – оказывается, здесь живут чешские колонисты, переселившиеся сюда еще во времена Екатерины. Оно лежит в стороне от главного пути продвижения воюющих армий, многие его жители остались на месте, не бежали. Даже скот у них частично уцелел, не весь был реквизирован ни отступавшими, ни наступавшими. Слыша нашу чешскую речь, сердобольные крестьянки угощают нас молоком, но «наши» офицеры не дают нам постоять здесь. На отдых мы останавливаемся в поле, оставив это селение далеко позади. И тут Ласло, шустрый веселый цыган (их было двое в нашем взводе; пожилой Янко был угрюмый), приносит мне жареную гусиную ножку, приговаривая по-словацки; «Нэх ся пачи, пан офицер!» («Пусть вам нравится, господин офицер»). Я отказываюсь, хотя слюнки текут, и дознаюсь, откуда это у него. Но на мои приставания он отвечает только одно, по-мадьярски: «Nemptudum» («Не понимаю!»). Ясно, что этого гуся он «реквизировал» еще там, в колонии чехов, а здесь его, по цыганскому способу, зарезал, ощипал, выпотрошил, обмазал илом и испек в выкопанной в земле ямке. Глиняный панцирь отвалился с гуся вместе с остатками перьев, и все соки, весь жир гуся сохранились, войдя внутрь. Ничего не поделаешь, пришлось и мне полакомиться этим краденым гусем.

Но был и такой случай, о котором можно сказать, что я находился точно на два дециметра от смерти. Мы только что кончили наш привал, как получили приказ развернуться цепью. Это значило, двигаться примерно на расстоянии полутора метров друг от друга. Значит, неприятельский арьергард где-то

поблизости, собирается задержать нас, дело идет к бою. И действительно, едва я так подумал, как русские трехдюймовки начали обстреливать нас. Мы залегли и стали спешно копать укрытия. Но почва оказалась очень твердой, и я успел лишь насыпать перед головой небольшой холмик. И вдруг грохот, свист, и я вижу – именно на расстоянии двух дециметров, не больше, – перед моим носом зарылся ярко блестевший на солнце, скрученный спиралью, весь в острых зазубринах, алюминиевый осколок шрапнельной гильзы.

Но как ни странно, я продолжал машинально рыть лопатой землю. Я выждал, пока раскаленный осколок остыл, а потом спрятал его в «теленка» на память. А сейчас думаю, что не будь этих двух дециметров, не было бы не только этих записок, но и детей и внуков, кому они предназначены. А после этого все еще находятся чудаки, придерживающиеся метафизического детерминизма, недооценивающие роль случая. Как-никак только благодаря случаю, я остался жив, и только случайно ранило тогда же Блака, его отправили в тыл, и ротный командир приказал мне взять на себя командование нашим взводом.

Все это произошло на подходах к реке Икве, вблизи города Дубно, на запад от него. И где-то в тех же местах случилась радостная неожиданная встреча, последнее событие перед окончанием этого наступления. На одном из привалов я уселся отдохнуть на меже. И вдруг кто-то, подкравшись сзади, закрывает мне ладонью глаза и спрашивает: «Кольман, угадай, кто это?», совсем по-детски. Этим кто-то оказался никто другой, как Ладислав Кожешник, тот же милый Ладя, с которым мы вместе, в течении семи лет просиживали штаны в нашей «реалке», а затем еще два года в «технике», на машиностроительном факультете, тот же Ладя, который привел меня на вечер свободомыслящих, где я познакомился с Пиком, первым социал-демократом.

Но теперь Кожешник был одет во все еще щеголеватую, хотя уже потрепанную форму младшего артиллерийского офицера. Его батарея стояла тут же посреди некошеного овсяного поля. До чего мы оба обрадовались! Эта встреча словно вернула нам на время те прошлые годы, показавшиеся теперь такими счастливыми. Перебивая друг друга, мы спешили вспомнить веселые эпизоды школьной жизни, вспоминали товарищей, учителей, даже самых нелюбимых, и Прагу, ее сады, в которых мы перед экзаменами, зубрили, купальни на Влтаве, в Подоли, трактирчик рядом, где наслаждались жареными «грундлями» (так в народе называли мелкую рыбешку вьюна) и, конечно, кружкой холодного темного пива. Ладя позвал своего денщика и тот принес банку сгущенного сладкого молока, белые сухари и фляжку рома – все это из

офицерского «железного рациона», который без особого приказа трогать не дозволялось. Но мы не оставили, кроме пустой посуды, ни следа.

Началась осень с туманами по утрам и вечерам, с холодными пронизывающими ветрами. В землянки привезли жестяные печурки, выдали одеяла – на двух человек по одному – хотя и тонкие, чуть ли не прозрачные, но все-таки забота!

И обещали, что мы не будем здесь торчать все время, иногда нас будут сменять, мы сможем отогреваться в тылу. Ведь теперь призрак надвигавшейся зимы больше всего пугал нас. И вот, это произошло в середине сентября – точную дату этого, столь знаменательного в моей жизни события я не помню – ночью я проснулся, разбуженный треском пулеметов, который слышался где-то далеко слева, но почему-то казалось позади нас.

Я немедленно велел телефонисту запросить батальон что это, собственно, происходит, но он не смог дозвониться. Аппарат не работал, связь прервалась. Но пока он безуспешно пытался наладить ее, стрельба так же внезапно прекратилась, как и началась. Тем не менее, не дожидаясь рассвета, я приказал связистам поискать повреждение кабеля. И выслал связного с письменным запросом в батальон. Но как связисты, так и связной что-то долго не возвращались.

Наступило утро. И тут перед нами и позади нас, в белом тумане, появились, словно привидения, казавшиеся исполинами, фигуры русских солдат с винтовками наперевес, кричавшие: «Выходи, пан, выходи!» Значит, мы окружены, мы в плену.

Попали в плен

Оторопевшие, мы карабкаемся из окопов, бросаем свои винтовки. Как же это могло случиться? Оказывается, перед нами Первый волынский полк. Местные люди, знающие здесь каждую тропинку, прекрасно прошли через эти «непроходимые» болота. Весь наш 91 полк, вместе со штабом, всего свыше пяти тысяч человек, взяты в плен. Эти русские кажутся мне великанами. Теперь они снимают с нас все: патронташи, штыки, «теленка», пояс, а у некоторых даже ботинки. Отбирают часы, кошельки, а у кого есть, кольца. И никто не смеет протестовать, боясь, как бы не избили, а то и не убили. А потом нас гонят по тому же болоту, отдельно офицеров, отдельно солдат, нескончаемыми вереницами, все дальше и дальше. И так начинается наш путь, теперь уже во всамделешную царскую Россию.

Трудно передать, какие чувства обуревали меня тогда в эти минуты. Конечно, встреча, которой мы здесь удостоились, не предвещала ничего утешительного. Но все же в плену шансы спасти свою жизнь были намного выше, чем на фронте. Зато я теперь отрезан от своих на всю войну, и кто знает, сколько еще времени она продлится. И кто знает, можно ли будет послать хоть весточку в Прагу, дойдет ли она. Ведь и с фронта и на фронт письма шли мучительно медленно, проходя через военную цензуру (примерно как теперь, когда авиаписьмо из Москвы в Прагу или обратно, вследствие незаконной цензуры, идет две недели!) И что вообще представляет собой эта Россия? Загадочная страна, полная противоречий, давшая Пушкина, Достоевского, Толстого, Менделеева, Лобачевского, Чебышева, но также и сибирскую каторгу, зверские еврейские погромы, нищету, неграмотность, дикость мужицкой деревни. Да, это совсем другой свет, чем тот наш, среднеевропейский, с другими, иначе мыслящими и чувствующими людьми, с другими обычаями жизни, с другой, какой-то нам непонятной, полуазиатской культурой, с другой речью, и даже незнакомым мне шрифтом – как я со всем этим освоюсь?

Но эти смутные размышления жизнь начала тут же конкретизировать и вносить в них свои коррективы. Не успели мы как следует выбраться из болота и пройти не больше двух километров – к этому времени туман уже рассеялся – как загрохотали наши тяжелые пушки, и вскоре их снаряды стали аккуратно ложиться прямо на наши колонны, раня и убивая без разбора вооруженных русских и невооруженных пленных австрийцев. «Ложись!», закричали русские, и мы легли, что,

конечно, сделали бы и тогда, если бы, – как, впрочем, почти все, понимающие только соответствующее ей немецкое «Nieder!» – и не поняли этой команды, ни сопровождавших ее ругательств с обильным упоминанием матери. Русская артиллерия начала отвечать, завязался продолжительный поединок, который, однако, все-таки прекратился, и нас погнали дальше. Поздним вечером, разбитые не столько походом, сколько пережитым, голодные мы добрались до окраины какого-то города, – это было Ровно. И здесь нас загнали в огромный двор, обнесенный высокими стенами со сторожевыми вышками, и в нем мы вповалку заночевали. Оказывается, мы находились в тюрьме.

Утром, с криками «Вставай!», «Становись» (все это было вместе с матерщиной, первые наши уроки русского языка), нас растолкал новый конвой – это были донские казаки, чубастые, с красными лампасами – и русские военные писаря стали составлять наши именные списки. Делали они это так. У каждого из нас висела на шее ладанка – капсула с вложенной в нее казенной бумажкой, указывавшей фамилию, имя, год и место рождения, родной язык и вероисповедание, – для опознания убитого или раненого. С нее писарь и заносил эти сведения в свой список. Так как все эти данные были на немецком языке, то в списке я оказался Эрнестом, – так он записал вместо Эрнст – и таким уже остался и впредь. После переписи состоялась кормежка, но она происходила как скачки с препятствиями. Каждому выдали буханку черного хлеба весом в целый фунт (400 г), а на десять человек большую жестяную лохань с двумя ручками (как я узнал потом, такие миски зовут «шайками», и в них стирают белье и моются в бане), до краев полную горячих щей. Хлеб – это хорошо, даже слишком; мы прежде не съедали его в таких количествах. Но как же нам есть этот «капустный суп»? Мы не привыкли есть из одной посуды, брезгуем, боимся заразиться. Ведь среди этой случайно образовавшейся десятки может оказаться кто-нибудь больной. Да и чем есть? Ложек ведь у нас нет, наши металлические, складные, вместе с вилкой и ножом, отобрали у нас с «телятами». Посредством наших «русинов» и международного «эсперанто» – языка жестов – объясняем это казакам. Их реагирование было неожиданным: всеобщий безудержный хохот. После некоторого замешательства, нам одалживают, а то и дарят деревянные ложки не первой свежести. Мне достается сильно зазубренная, лишь со следами шелушащегося золотистого лака-глазури, но с красиво выточенным изящным черенком.

Преодолев брезгливость – голод не тетка! – мы дружно, стараясь не обидеть друг друга, выхлебали это непривычное во

всех отношениях угощение. Нам наполнили нашу шайку какой-то никогда не виданной черной кашей. Это была гречневая каша. Хотя я сначала испугался было ее необыкновенного вида, она мне очень понравилась, несмотря на то, что была сдобрена несколькими ложками горчившего топленого масла.

Но эту кашу мы так и не успели доесть. Над нами появились два самолета, германские «ТаиЬе», то есть «голуби», единственная авиация, которую мне пришлось увидеть в эту войну. Но они прилетели не с оливковой веткой. Покружившись немного на сравнительно небольшой высоте, не обращая внимания на стрельбу, которую из своих карабинов подняли казаки, эти «голуби» сбросили две бомбы, одна из которых попала в угол тюремного двора, убив и ранив несколько человек из пленных и конвоя, а также привязанных там лошадей. Нас поскорее погнали дальше.

Из Ровно, через Новгород-Волынский и Житомир, нас гнали на Киев. Это расстояние, свыше, примерно, 300 км, мы прошли чуть ли не за целый месяц, делая в день не более 15 км. Двигались мы нестройной толпой, погоняемые едущими верхом казаками, их гиканьем, криком и бранью, но и нагайками. Погода стояла отвратительная, осенняя, часто хлестал дождь, ветер так и свистел. Неудивительно, что многие из нас – а немало шагали босиком – не выдерживали, сильно простуживались, не были в состоянии двигаться дальше. Основательно убедившись, что такие свалившиеся на дороге солдаты не симулируют, их подбирали и везли на телеге, вповалку, дальше.

Когда мы проходили через какую-нибудь деревню, ее жители, почти одни женщины, старики и дети, непременно выскакивали из своих хат, чтобы поглядеть на нас. Наш конвой не подпускал их близко, но, скорее перед своим начальством, делал вид, что отгоняет их. Немало женщин причитало – должно быть, вспоминали своих мужей, братьев, женихов, которых, возможно также гонят, как скот, где-то в германском или в австрийском плену. И, бывало, рискуя, что ей съездят плетью по спине, какая-нибудь женщина выносила бредущим в толпе солдатикам какую-то снедь. Но был и такой случай. В одной из деревень, выбежавшие женщины, с криком «Германцы!» пытались срывать с нас кепи, чтобы посмотреть наши… рога! Оказывается, на русских агитационных лубочных картинках германских солдат изображали с рогами! Подобные методы военной пропаганды стали в наше время «мирного сосуществования» повсюду всеобщими.

На этом не столь длинном, сколь продолжительном пути, я выучился русской печатной азбуке по вывескам. Мне помогло в

этом знание греческого алфавита, часть букв которого совпадает с русскими, а также подсказки одного пленного, вольноопределяющегося «русина», с которым я познакомился. Он оказался большим националистом и мечтал о «вильном» украинском народе, свободном как от австрийского и польского, так и от русского гнета. Он читал мне по памяти стихи Шевченко, хотя тогда я плохо понимал их, говорил о том, что надо создавать украинские части, которые завоюют своему народу свободу, о чем грезил великий поэт.

Шел уже октябрь, но когда мы подходили к Киеву, погода внезапно улучшилась, потеплело, дожди и ветер прекратились. Помню, как, когда я проходил мимо какой-то красивой дачи, оттуда, просунув руку сквозь узорную чугунную решетку сада, девочка лет восьми протянула мне кусок уже надкушенной белой булки со словами: «На, австрияк!» И я, как нищий, с радостью взял ее.

И помню, как сейчас, Дарницкий лагерь. Громадная площадь, обнесенная высоким забором с колючей проволокой, сторожевые башни, ряды длинных, двухэтажных деревянных бараков, но больше всего людей – пленных австрийцев, германцев – ими кишмя кишит все это пространство. Первое, что я вижу, когда мы входим сюда, это столярная мастерская, прямо у входа. В ней пленные сколачивают гробы для своих умерших в лагере товарищей. А они умирают ежечасно, их косит неиствующий здесь тиф. И не мудрено. Бараки донельзя переполнены, сотни пленных многие сутки ночуют на открытом воздухе, а с фронта то и дело прибывают новые и новые пополнения. Хаос, царящий в этом пересыльном лагере, невероятный. Охрана – те же донские казаки – явно не в состоянии справиться со своей задачей. Во время раздачи пищи, происходящей под навесом перед кухней, происходит свалка, драки. Многим по кулачному праву удается получить по две порции, а слабые остаются без еды.

Наш свежеприбывший транспорт сначала держали отдельно. Как всегда и везде, сперва начали пересчитывать нас, но потом, вместо всегдашней команды «Разойдись!», офицер в австрийской форме майора стал выкликать фамилии тех из нас, у кого в списке, как родной язык, был указан чешский или словацкий. Таких оказалось сотни четыре, а то и больше. Нам велели остаться, а остальных отогнали.

И офицер, у которого вместо букв Р.Г. на кепи оказалась красно-белая ленточка чешского знамени, обратился к нам с речью. Она состояла из двух частей – духовной и материальной. В первой, очень растянутой, на напыщенном, высокопарном, ходульном языке дешевых газетных статеек говорилось о

патриотизме, о любви к родине, упоминалось великое гуситское движение, прошлое чешского народа, долг каждого его сына сражаться против ненавистного австро-германского ига, утверждалось, что поражение Австро-Венгрии, ее крушение, наступит еще до конца этого, 1915, года. Вторая часть была значительно короче и весьма деловая. В ней всякому, кто сейчас запишется в чехословацкую часть, формирующуюся под покровительством великого славянского союзника РОССИИ, он обещал выдачу нового обмундирования, хорошее питание и жалование, немедленное повышение в чине (вольноопределяющимся – офицерское звание), а после победного возвращения на родину, в уже свободную, самостоятельную Чехословакию, – обязательное обеспечение работой по профессии и пенсией. Да, была, пожалуй, еще и третья часть этой речи, самая короткая: запись в чехословацкую часть, конечно, добровольная, но тот, кто станет отказываться – изменник родины, выродок, изверг, которого вы сами, братья, – так он назвал нас, – надеюсь, возьмете как следует в оборот.

Запись добровольцев производилась тут же рядом, в пустовавшем бараке. Впускали нас туда поодиночке. Желающих, как среди солдат и нижних чинов, так и среди офицеров, было много, – трудно сказать, какая часть прослушанной ими речи повлияла на них больше всего. Но были и такие, кто заявляли, что они еще не решили, как им быть, должно быть, одним просто не хотелось снова попасть на фронт, другие боялись, что из-за их поступка пострадает дома семья, а третьи не желали добровольно воевать по принципиальным соображениям. Их коротко увещевали, но если отказывающийся был рядовым солдатом или даже унтером, то его отпускали с богом, советуя одуматься. А нас, нескольких отказавшихся офицеров и вольноопределяющихся, оставили в бараке, во второй его половине. Потом этих офицеров куда-то отвели, а нас – человек 15 – здесь заперли. Что теперь с нами сделают? Один, оказавшийся инженером из Карлина и очень напоминавший мне моего приятеля Крупского, твердил с подлинным юмором висельника: «Раз этот брат-майор столь красочно говорил о демократии, то нас ни в коем случае не повесят, а только расстреляют».

Однако, как вы видите, не произошло ни то, ни другое, возможно, по какой-то ошибке. Под вечер вышли двое казаков и не говоря ни слова выпустили нас, и мы растворились в общей толпе. Нет, оставаться здесь, это смерть не менее верная, чем виселица и расстрел, – и я решился на дерзкий, отчаянный шаг. Мимо проходил какой-то важный русский чин в золотых погонах. Я подошел, стал во фронт, отдал честь, и обратился к нему по-

французски, зная из русской художественной литературы, что офицеры здесь говорят по-французски. Я сказал, что нас тут полтора десятка человек с высшим образованием, и мы просим, чтобы он велел отправить нас с ближайшим маршрутом в нормальный лагерь военнопленных. Выслушав меня, офицер ничего не ответил, но подозвал старшину, приказал ему что-то, и пошел дальше, так что я не успел даже поблагодарить его. И всю нашу группу немедленно посадили в теплушку, уже порядком набитую другими, поезд стоял под парами совсем недалеко, – и через пару-другую часов мы тронулись куда-то вглубь этой необъятной страны.

Нас везут в Сибирь

В теплушке, где нам отвели место на нарах, – кому на нижних, кому на верхних, – стояла посередине чугунная печка, всегда докрасна раскаленная, и имелся громадный жестяной чайник цилиндрической формы, который мы при всех подходящих случаях старались пополнить кипятком. Понятия «кипятка», равно как и «бака» для него, были для меня диковинными, одинаково странными, как и то, что наши новые конвойные, едущие в теплушке с нами, без передышки пили чай «в прикуску», причем непременно горячий, из блюдец, дуя на него. Это были двое «ратников второго разряда» – уже пожилые бородачи, с винтовками, к которым они относились с явной опаской, в шапках, на которых вместо кокарды, как у строевых солдат, виднелся большой крест с надписью: «За царя, веру и отечество». Они рассказывали нам, что едем мы в Сибирь, а куда именно, они и сами не знали. «Значит, в Сибирь…» Само это слово страшило, пугало нас, вызывало представление невыносимого холода, пустых, незаселенных пространств, волков и медведей, нехоженых просторов тайги и тундры, простиравшихся до самого Ледовитого океана, жутких каторжных рудников, работ в кандалах. Такой воображали себе тогда у нас в Европе Сибирь.

Продвигались мы вперед крайне медленно. Поезд шел вне всякого расписания, пропуская многочисленные другие составы, идущие то с новым пополнением на запад, то с ранеными на восток. То он еле полз, то наоборот пускался вскачь, то подолгу стоял на какой-нибудь станции, или простаивал много часов на запасных путях. Но, в конце концов, нам-то что, нам нечего спешить в эту Сибирь! Правда, в теплушке у нас душно, тесно, вонь, но зато тепло, никто нас не беспокоит, наши конвоиры добродушны, уже свыклись с нами и кормят нас исправно, три раза в день. Утром и вечером чай, который сами завариваем (некоторые уже успели приобрести жестяные самодельные кружки). Чай кирпичный, прессованные черные таблетки, производят их из отходов чайного листа; он твердый, его нужно крошить ножом, выдают его порциями на человека. И три куска сахара на день. В обед либо щи, либо суп, из мелкой рыбки, хамсы, и каша гречневая или просяная, с ложкой-другой топленого масла – всего этого полная лохань на 10 человек. И, конечно, фунтовая буханка черного хлеба. А два раза в неделю даже мясо – небольшой его кусочек нанизан на деревянную щепку – это каждому такая порция. Одним словом, жить можно.

Пока мы так ехали, наступила настоящая русская зима, снег шел все чаще и гуще, и наконец покрыл весь пейзаж вокруг. Из нашей теплушки мы то и дело видели сани. Запомнил я такую станцию, с нерусским, татарским или еще каким-то названием Инза.

Однако до внушающей страх Сибири я на сей раз так и не доехал. Из теплушки меня выгрузили уже в Самаре, нынешнем Куйбышеве. Дело в том, что снова начала гноиться рана в животе, колющие боли в спине усилились, я ослабел настолько, что не мог двигаться, встать и дойти до ведра.

И вот я в военном лазарете, где раненые русские и военнопленные вперемешку. За все время, которое я там пролежал, примерно недель шесть, только раза три или четыре сделали мне перевязку с каким-то антисептическим веществом, а в остальном не обращали на меня ни малейшего внимания. Нужно, однако, быть справедливым, «забота» медицинского персонала – врачей, фельдшеров и сестер милосердия – была в этом лазарете одинакова как по отношению к русским солдатам, так и к австрийским и германским. В общем же, каковы там были «порядки», видно из того, что в одной и той же палате лежали заразные больные вместе с незаразными. Так, через одну койку от меня лежал русский солдат, болевший рожей. Я находился на втором этаже и первое время не мог спускаться вниз, где происходила раздача пищи. Не окажись среди нас добросердечных товарищей, то такие как я были бы обречены на голодную смерть.

Чем же занималось тогда врачебное начальство этого лазарета? Устраивало оргии, пьянствовало, развратничало. Оказывается, этот лазарет находился под патронажем одной из особ царствующей семьи. В нем собрались разные протеже – уклоняющиеся от фронта врачи и «сестрички», а также офицеры – «пациенты». Все они сплошь принадлежали к аристократии и прочей знати. Вот эти «патриоты» так и коротали время здесь. И это в то время, когда на фронте от Балтийского до Черного моря ежедневно сотни и тысячи русских солдат проливали свою кровь за таких вот господ.

Как уже повсюду во время войны заведено, в лазарете периодически появлялась комиссия, которая выписывала выздоровевших (или якобы выздоровевших) русских солдат в свои части, откуда их вскоре снова направляли на фронт, а нас, военнопленных, в лагеря. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как в лазарете готовились к приходу этой комиссии, точь-в-точь как в «Ревизоре», – эту постановку я видел у нас в Праге – и я с каким-то внутренним удовлетворением отметил, что

эта русская комиссия, которую возглавлял какой-то генерал, ведет себя также, как вела себя австрийская – не прошла, а пролетела через нашу палату, выписав не меньше, чем три ее четверти, в здоровые, в том числе и меня.

В то время русские люди, хотя и не закрывали глаза на вопиющие пороки своего общества – продажность и распутство властей, взяточничество, произвол – в подавляющем большинстве в 1915–1916 годах, считали их только грязными, легко выводимыми пятнами на поверхности существующего строя, не сознавая, что он прогнил насквозь. Так и ныне, советские люди, почти без исключения, полагают, что сталинизм (со Сталиным и без него) – нечто вроде легкого заболевания (насморка, как когда-то выразился Гомулка). Они не замечают, что тут раковая опухоль, что они живут в тоталитарном государстве, которое как небо от земли отличается от того социализма, за который мы боролись.

Стало быть, я в лагере. Он помещается в небольшом школьном здании, на городской окраине. В классах вместо парт нары, как и везде в два яруса, но это не просто горизонтальные доски, а с косым изголовьем, для каждого. Когда положишь туда свое кепи, то получается суррогат подушки. Тюфяков и одеял «пока» нет, но их нам обещают выдать.

Здесь, как и потом повсюду, нас караулили пожилые ратники, но в данном случае это были не русские, а татары, а, возможно, и башкиры с жиденькими бородками. Они были мусульмане, с чем никак не вязались эти большие кресты на их шапках. Были по-детски наивны и, как правило, благожелательны к нам, очень тяготились военной службой и разлукой с семьей, и у меня с ними вскоре сложились более чем хорошие отношения, причем на самой неожиданной почве. Из своей деревни они получали письма, которые там, по просьбе домашних, писал мулла. Они были написаны арабским шрифтом, который тогда лежал в основе письменности всех мусульманских народностей России. (Позднее, самодурством Сталина, этого грузина, строившего из себя русского в большей степени, чем сами русские, всем им была навязана русская азбука, чем была прервана их вековая связь с арабоязычной культурой; однако грузинам и, заодно, и армянам, а также прибалтийцам, Сталин все же милостиво оставил их алфавиты). Но бедные ратники, сплошь неграмотные, не только на русском языке (который они, вообще, знали немного лучше, чем мы), но и на своем родном, прочитать эти письма не могли.

И вот я, хотя и не понимал ни слова по-татарски, но знал арабский шрифт, увидев, как один из них вертит беспомощно в руках полученное письмо, попытался прочитать эту весточку. И, к

моему удивлению, опыт удался, он понял! Его восхищению не было конца. Он созвал своих товарищей, те окружили меня, хлопали по плечу, восторгались мной. И с тех пор я стал в лагере persona grata, ко мне относились с уважением, чтобы не сказать с благоговением, я пользовался всяческими привилегиями: при раздаче пищи мне совали лишние куски сахара, и на мою десятку доставалась добавочная шайка каши.

Однако эти мои лингвистические успехи легко могли обернуться против меня. Мои клиенты стали требовать, чтобы я не только прочитывал им полученные ими письма, но и писал за них ответы. И сколько я ни толковал им, что я этого не умею, ничего не помогало. Они не верили. Тогда, поднаторев на прочитанных письмах, обнаглев, подражая их фонетической орфографии, я стал под диктовку выводить арабские письмена, стараясь, как мог, уловить звуки. Так я написал три или четыре таких послания, но к счастью, так и не узнал, были ли они на месте расшифрованы, так как попал в очередной, ушедший из Самары, транспорт.

Раздача пищи происходила раз в день, к полудню, когда мы получали не только обед, но и весь суточный паек – хлеб, чай и сахар – причем в управлении воинского начальника. Оно находилось в другом конце города. Поэтому мы ежедневно шагали в своей неприспособленной к русской зиме одежде и обуви, в не очень стройном строю, через всю Самару.

Эти прогулки по Самаре были крайне интересны. Ведь тут встречались, и прямо на улицах, а не в зоопарке, верблюды, одно– и двугорбые. Раньше я всегда представлял их себе в зное Сахары, а здесь они важно вышагивали, покрытые инеем. И какие только этнографические типы ни встречались тут! Монгольские, монголоподобные азиатские лица и костюмы мужчин и женщин. Поражали громадные мохнатые шапки, широкие разноцветные кушаки, но в особенности войлочные валяные высокие до пояса сапоги – валенки, коричневые, черные, а иногда и белые с цветными узорами. Все это были жители Поволжья.

Уже начинался 1916 год, и кончалась зима, первая наша зима в России, последняя ли? Когда же кончится эта проклятая война, конца-края ей не видно, а с ней и наш плен, когда же мы вернемся домой? Да мы, собственно, даже не знаем, что творится там, на фронтах. Откуда нам знать? В лагере газет нет, а у нас ведь ни одной копейки, чтобы купить их. Лишь изредка мне удается, когда прохожу мимо киоска, прочитать одним глазом какой-нибудь крупный заголовок в русской газете, вроде: «Германский цеппелин бомбит Париж!», и сделать отсюда вывод, что немцам не удалось победить на Марне и взять французскую

столицу. Таким путем мы получаем хотя бы какие-то отрывочные сведения.

Из лагеря в лагерь

С самарским лагерем я расстался без сожаления. Там я подружился лишь с одним человеком, вольноопределяющимся Бруно Цукерманом, родом из Хеба в западной Чехии, который, как и я, попал в транспорт. Значит, снова теплушка, снова путешествие в неизвестном направлении, возможно, на этот раз я все-таки попаду в Сибирь. Но нет, мы едем недолго, всего трое-четверо суток, и не на восток, а все на юг, и нас выгружают в Царицыне (город, который переименовали сначала в Сталинград, а потом в Волгоград). Здесь, по недоразумению, меня, как и всех вольно-определяющихся, помещают не в солдатский, а в офицерский лагерь.

Он тоже в школьном здании, расположенном на склоне над Волгой, которой, однако, от нас не видно. Господам офицерам в плену живется недурно. Они получают месячное жалованье, 50 рублей, сами столуются на эти деньги, им готовят собственные повара, обслуживают их денщики. Обстановка в лагере весьма приличная, – не нары, а топчаны, соломенные тюфяки и подушки, простыни и одеяла. Шведский Красный крест усердно заботится о пленных офицерах, посылает им белье, продовольствие, курево, книги. У них здесь имеется небольшая библиотека, – в большинстве немецкие, а также несколько русских, французских, английских романов, но и несколько научных книг, из которых одна математическая по абстрактной алгебре. Но есть и Библия – Ветхий и Новый завет – на древнееврейском, издание British Bible Society.

Пополнение нашей небольшой горсткой не причинило никаких неудобств обитателям лагеря. Им не пришлось ни потесниться, ни делиться с нами питанием. Тем не менее, они, за исключением немногих, встретили нас неприязненно, а то и прямо враждебно. С наибольшей спесью отнеслись к нам даже не кадровые и высшие офицеры, а лишь недавно вылупившиеся из таких же вольноопределяющихся как мы, кадеты. Всех шокировал, конечно, наш вид – мы были небритые, заросшие густой щетиной, нестриженые, в грязных, потерявших всякий вид, мундирах. Но и когда мы постриглись и побрились, и кое-как привели свою одежду в порядок, и когда выяснилось, что мы как-никак цивилизованные люди, кастовая преграда этим не устранилась.

Не знаю, как в других местах, но здесь, в училище имени Чехова, жили эти офицеры в общем недружно, гораздо более вразброд, чем пленные в солдатских лагерях. Основная стена разделяла кадровых, профессиональных вояк от офицеров запаса,

этих штатских штафирок. Затем существовала преграда между германским и австро-венгерским офицерьем. Но национальные водоразделы были также сильно ощутимы: пруссаки (из юнкеров) и баварцы относились свысока к саксонским и прирейнским германцам, австрийские немцы не очень ладили с поляками, а в особенности – с мадьярами. Все было достаточно обнажено, не требовалось большой наблюдательности, чтобы заметить это. В отличие от солдатских лагерей, где все было просто, здесь господствовал дух чинопочитания, строгого соблюдения рангов. И не успели мы попасть сюда, как какая-то добрая душа доверительно предупредила нас быть осторожными, тут имеются лица, которые тайно ведут «кондуит» – запись поведения, а главное политических настроений каждого, с тем, чтобы по возвращении на родину донести обо всем властям. Да, «стукачи» существовали везде и во все времена.

Тогда там, в Царицыне, мы втроем – Цукерман, Натан Фельзенбах (другой вольноопределяющийся) и я, без конца обсуждали военное положение, строили догадки о глубоких причинах войны, а главное – о ее окончании и последствиях. Здесь мы каждый день узнавали последние новости, конечно, в освещении русских газет, столь же одностороннем, лживом, как и в австрийских и германских, во французских или английских легальных газетах. А о существовании нелегальной прессы мы тогда и понятия не имели.

Я все-таки не забывал о своем не слишком крепком социализме и марксизме, развивал мысль, взятую на прокат у Штрассера, что национальное освобождение должно совпадать с социальным. А в полемике с Натаном я ссылался на библейское изречение «Сион будет освобожден правосудием и достигнет равноправия справедливостью». Но толковал его почти по-толстовски: средствами насилия нельзя добиться свободы, они непременно приводят к новому насилию, к порабощению.

Наша тройка в Царицыне оставалась недолго. Ее, как и всех вольноопределяющихся неофицеров, отправили отсюда с первым же транспортом. Этого добились у русского командования некоторые из «наших» пленных офицеров, возмущенные подобным нарушением священных кастовых законов. И вот мы поехали, но не поездом. Вскоре после открытия навигации по Волге, когда в нашем лагере слышались заманчивые гудки пароходов, нас вместе с конвоем погрузили на один из них – конечно, не в первый класс, а в трюм, и повезли «вниз по матушке, по Волге». Пароход был большой, вместительный, веселый, нарядный. Пароходное общество, которому он принадлежал, называлось «Самолет». Настроение у нас было, как

и положено у «туристов», весеннее, приподнятое. Конвоиры – астраханские казаки с желтыми лампасами – относились к нам либерально.

Народ ехал самый разношерстный, – от немногих расфуфыренных богатых дамочек и щеголеватых военных, до толпы пассажиров третьего класса – смеси разных народностей, многие в каких-то бурых лохмотьях, хуже наших. Настоящий поперечный разрез классовой структуры российского общества. Были тут и восточное люди, как говорили, персидские купцы. Один из них, толстый-претолстый, в цветном халате, важно восседал один на верхней палубе и попивал чай из громадного самовара. А закусывал сливочным маслом с сахарным песком, поочередно набирая то и другое ложечкой. Я долго с любопытством наблюдал за ним из своей преисподней.

Так нас привезли в Астрахань, где вблизи от города, в песках, находился большой лагерь с несколькими рядами деревянных бараков, обнесенный, как и все лагеря, высокой стеной с колючей проволокой и с башнями-каланчами. Лагерь был солдатский, но в нем имелся и офицерский барак, где офицеры жили своей особой жизнью, почти совсем не общались с нами. Охрана была здесь смешанная, астраханские казаки и ратники, за небольшим исключением все калмыки. Порядки тут были вполне нормальные, то есть не донимали люди, но насекомые, конечно, да. Самыми страшными нашими врагами были комары и москиты, они не были безобидны, приносили малярию и желтую лихорадку. Болели многие, болели тяжело и умирали, несмотря на уход русских, и своих, пленных врачей.

Особенно много болели пленные турецкие солдаты, и смертность среди них была очень высокая. Помню жуткое зрелище – прибыл новый транспорт – одни турки (тогда я впервые увидел турок), и почти все безногие, на костылях. Это были в большинстве анатолийские крестьяне, попавшие в плен под Эрзерумом. Русские послали их на север, строить Мурманскую железную дорогу, которую они устлали своими костьми, по Некрасову. Непривычные к крутой зиме Заполярья, к питанию без витаминов, они быстро отмораживали ноги, болели цингой, появилась гангрена, им пришлось ампутировать конечности. И тех, кто выжил, таких калек, послали «на поправку» в «теплые края», сюда в Астрахань, где их ослабевший организм легко поддавался микробам.

Я дружил с ними, выучил от них несколько самых необходимых для общения турецких слов и фраз. Конечно, мое знание арабского шрифта и тут сыграло свою роль. Я им читал и под диктовку писал их письма, не понимая языка, подобно тому,

как в Самаре татарам.

В астраханском лагере, где я пробыл от весны до конца лета 1916 года, среди пленных образовались кружки занимавшихся самообразованием. Не все проводили время в пустом безделье. Существовал и небольшой кружок любителей математики. Я занимался с ними, прочитал им целый курс дифференциального исчисления. Но когда мы должны были приступить к интегральному, очередной транспорт разрушил наши занятия. Из-за отсутствия бумаги (ее, правда, можно было купить, но нами ценилась в буквальном смысле каждая копейка) и, конечно, классной доски, все излагалось на песке, том самом, на котором Архимед чертил свои круги. И разумеется, все примеры и задачи пришлось придумывать самому. Провел я и несколько бесед по астрономии.

Некоторые из нас, в том числе и я, отваживались и на художественное творчество. На одну копейку (как я приобрел деньги, скажу дальше) я купил ученическую тетрадь для чистописания, с косыми линейками и вписал туда, именно косо, – так экономней, – печатными буквами сочиненный мной фантастический роман-шарж «Артаскоп». Написал я его по-немецки, на языке, на котором мы общались, и телеграфным, крайне сжатым, стилем.

Но в лагере пришлось заниматься и самообслуживанием. Я научился кое-как чинить свою одежду и даже обувь, а также и брить – не очень первоклассно, «опасной» бритвой головы. Не скажу, что я это делал по законам искусства, но во всяком случае за эти мои достижения меня ни разу не побили. Очень большой интерес у меня вызывали ратники-калмыки. Хотя это было не легко, – запас русских слов, которыми они располагали, был невелик, – я все же сумел войти в доверие к некоторым из них, и мы часто подолгу беседовали. А с одним стариком, как все они, с безбородым «бабьим» лицом, как говорили недолюбливавшие калмыков русские, мы настолько сблизились, что он однажды показал мне амулет против «злых духов», который он носил в кожаном футлярчике, подвязанном в подколенной ямке левой ноги. Но показать содержание амулета он отказывался, ведь талисман потерял бы тогда свою магическую силу! Были у него и деревянные четки, которые он перебирал, произнося при этом несколько слов, как мне казалось в стихах.

С этим же ратником я несколько раз побывал в городе, где было что посмотреть. Я уже не говорю про астраханский кремль и разные церкви – памятники старорусской и византийской архитектуры, – но весь облик этого портового города производил на меня крайне необычное впечатление.

Мне казалось, что одной ногой я уже нахожусь где-то в сказочной Персии. Один раз я увидел настоящее чудо – громадную рыбину, белугу, которую везли одну на телеге! «Мой» калмык как-то взял меня с собой в свою кумирню – стоящее на одной из окраин, среди других жалких калмыцких хибарок, глиняное строение в форме кибитки, в глубине которого находилась нескладная статуя сидящего Будды. Никаких служителей культа – не знаю, буддистского или ламаистского – здесь не было, в полумраке этого «храма» мы находились с божеством одни. Калмык вынул из глубокого кармана шинели бутылку крепкого, пьянящего кумыса, раскупорил ее и осторожно вылил несколько капель к ногам идола, бормоча при этом что-то вроде заклинания. А потом допил сам все, что оставалось в бутылке, блаженно причмокивая. Таким образом, я один раз в жизни присутствовал при обряде жертвоприношения.

Вот так я познакомился с калмыками, национальностью, которая, если верить 19 тому второго издания Большой Советской Энциклопедии, вообще никогда и не существовала. В БСЭ заглавное слово «КАЛМЫКИ» помещено лишь в дополнительном, 51 томе, вышедшем в 1958 году. По милости «отца родного», калмыков, как и крымских татар, немцев Поволжья, как ряд кавказских племен, а также и корейцев, не только изгнали из родных мест туда, где они страдали и гибли, женщины, старики и дети в том числе, всех поголовно, за действительные или мнимые грехи небольшой группы своих сородичей, но и вычеркнули их имя из истории и географии.

Завязать задушевные разговоры я неоднократно пытался и с русскими – астраханскими казаками. Почти все они, служившие караульными лагеря, были сынками зажиточных, «крепких» крестьян, сумев устроиться за взятки здесь в тылу, чтобы не попасть на фронт. И хотя они и не обращались с нами как-нибудь особенно грубо, в то же время они не были склонны к какому-либо панибратству. Все же мне удалось несколько раз побеседовать то с одним, то с другим, на так сильно интересовавшие меня темы о войне, о жизни, о смерти, о том, в чем, собственно, счастье человека.

Сюда, в астраханский лагерь, я стал, наконец, получать, довольно регулярно, весточки из дома. По этим открыткам я узнал, что мама, брат и сестра, а также бабушка живы и здоровы, что послали мне очередную посылку (которую я, однако, не получил), и только. Но как ни старались цензоры, вымарывая все остальное, они все же не догадались и пропустили одно сообщение, осветившее то, что там у нас делается. Оказывается, Рудольфа призвали в армию, значит, положение Австро-Венгрии

незавидное, раз стали призывать восемнадцатилетних! При таком истощении людских резервов, война уже долго продолжаться не сможет. И, по-видимому, русские газеты, по меньшей мере в этом отношении, не врут, когда они описывают, как плохо там в Австрии и Германии с продовольствием, как там чуть ли не совсем перешли на «эрзацы», какие ничтожные пайки выдают по карточкам бедному населению, как это особенно гибельно отражается на питании русских пленных, которых, вдобавок, заставляют тяжело трудиться. Впрочем, это ухудшение положения центральных держав рикошетом отразилось и на нас здесь. Примерно со второй половины 1916 года нам сократили пайки, заметно понизилось и качество питания, постепенно стали гонять и на работу. Все это не было вызвано ухудшением экономического положения самой России, – в то время оно еще не давало себя знать заметно – а являлось ответной мерой за ухудшение обращения с русскими пленными. Играло роль и то, что повсюду все больше усиливались хищения, воровство, казнокрадство; нас, пленных, обирали все, начиная с каптенармуса, и кончая начальником лагеря, да, вероятно, и чинами повыше, в военном министерстве, наживавшимся на «экономии».

Нас, вольноопределяющихся со званием кадет-аспирантов и даже унтер-офицерских чинов пониже, сперва принудительно работать не заставляли. Однако томиться все время в лагере было скучно, тоскливо. И когда мы узнали, что посылают работать в астраханский торговый порт и, к тому же, выведали о характере этой работы, то многие из нас добровольно попросились поработать. Попросился и я.

Это значило очутиться в ином, сказочном мире, почти на воле, несмотря на присутствие казачьей охраны. Хотя порт был речной, – до Каспия все еще далеко, чуть ли не целых 100 км, – мне казалось, что я чувствую море, вижу его дали. Запахи рыбы, дегтя, канатов, весь этот шум, гудки, свистки, крики, уханье – все вместе создавало эту приятную иллюзию. И в самой работе, которая предстояла нам, было что-то романтическое. В помощь русским и персидским грузчикам-профессионалам, сплошь этаким дюжим молодцам, мы должны были разгружать баржи, прибывшие оттуда, из Персии, из Энзели (ныне Пехлеви).

Но зато, что это были за тюки! Там оказался кишмиш, изюм, сабза, урюк, курага. Нечего и говорить, что мы усердно дегустировали эти сухофрукты. И так делали все, рабочие-грузчики и караульные тоже.

Зреет протест

Лето подходило к концу, и из лагеря уходил транспорт, в который были включены Натан и я. Так мы расстались с Бруно, и я никогда больше не слышал о его судьбе. Повезли нас поездом на север, в район Богородска Нижне-Новгородской губернии, на работы в имении графа Бобрынского. Теперь уже всех, кроме офицеров, без разбора. Здесь нам предложили рубить лес и самим строить себе бараки. А временно мы жили в шалашах, разумеется, тоже самодельных. Здесь мы впервые увидели необыкновенное для нас явление – белые ночи. Пока было еще сравнительно тепло – это был, кажется, август месяц – жить в шалашах было сносно. Но как будет дальше? Успеем ли мы со строительством бараков? Мы валили лес, – смешанный, высокие мощные деревья, а затем пилили его. Мне как «слабосильному», из-за моей травмы, досталась более легкая работа пилки.

Но вот, в один прекрасный день нас выстроили, и русский офицер в сопровождении каких-то штатских господ произнес, обращаясь к нам, речь. Затем переводчик воспроизвел ее по-немецки. Здесь, на этой вырубке, мы построим текстильную фабрику бельгийской акционерной компании. Каждый из нас должен указать, чему он выучен, и каменщики, плотники, кровельщики, слесари и другие мастера станут работать по своей профессии, а остальные – чернорабочими. Труд будет оплачиваться.

После этого, один из штатских, назвавший себя главным инженером, предложил по-французски, чтобы те, кто знает французский, выступили вперед. Таких нас оказалось человек пятнадцать. Тогда он спросил, имеет ли кто-либо из нас инженерную подготовку, умеет ли разбираться в чертежах. Четверо – и я в том числе – соответствовали и этому требованию. Он наобещал нам золотые горы: особое питание, новую одежду, хорошую зарплату, отдельное жилье вместе с бельгийским персоналом, который, дескать, вот-вот прибудет. С этими радужными перспективами я лег спать. Но уже на следующий день все это оказалось химерой. По недосмотру бельгийцев, в наши руки попали именно чертежи цехов, и на них было недвусмысленно указано, что этот будущий завод будет производить не какую-нибудь миткаль, а артиллерийские снаряды. Мы, конечно, постарались, чтобы эту новость узнали все пленные, причем с соответствующим комментарием: заставлять нас работать на войну русские не имеют права, это запрещено международной Гаагской конвенцией. И некоторые из нас (но

далеко не все: из четверых, знавших язык и имевших инженерные звания, только я один) твердо решили отказаться от этой работы, что бы там с нами ни было. Так мы и заявили об этом вежливому бельгийцу. Ответ мы получили от русского начальника, который велел всех, отказавшихся от работы – таких, в конце концов насчитывалось немногим более двух десятков из общего числа в 500 человек – отделить, как паршивых овец, «анархистов», от остального чистого стада. А милые чеченцы этот приказ тут же выполнили в сопровождении дикого гика и свиста нагаек по нашим спинам. Они окружили эту небольшую нашу кучку, в которой находились и мы с Натаном, и погнали куда-то по проселочной дороге.

Не расстреливать ли повели нас, «мятежников»? Но нет. После нескольких часов ходьбы, мы попали в село Махры и очутились перед воротами в каменной стене мужского монастыря. И в этом монастыре, под охраной одних лишь монахов, пробыли мы целый десяток дней. Это оказалось очень своеобразным наказанием. Лучший санаторий было трудно придумать. Монахи относились к нам, иноверцам и «антихристам», ласково, не принуждали трудиться. Но большинство из нас, как умели, помогали им. Мы вместе с ними ели их обильную добротную еду. Купались, грелись на солнце. За трапезой они не заставляли нас молиться, а некоторые с охотой затевали беседы на щекотливые религиозные темы, даже на такую, есть ли бог, не обижаясь, когда мы спорили с ними, противоречили им, а только сострадательно покачивали головами.

Но нашему счастью вскоре пришел конец. В монастыре появился конвой из строевых солдат-пехотинцев, которые отвели нас на станцию и отвезли – в пассажирском вагоне! – в лагерь, в город Иваново-Вознесенск (теперь просто Иваново). Лагерь этот был с нормальными, более или менее сносными порядками. Здесь отыскались и книги и русские газеты, мы читали, занимались. Из газет мы предпочитали кадетское «Русское слово», а в нем фельетоны Дорошевича. На манер восточных сказок, подражая «Тысяче и одной ночи», он резко критически изображал порядки царского двора, с развратом Распутина, царицы Марии Федоровны, продажных министров. Намеки были прозрачны. И мы с Натаном удивлялись, как же это царская цензура допускает такую крамолу.

Мы тогда не понимали двух вещей: что даже среди таких царских чиновников, как цензоры, могут встретиться отдельные, либерально настроенные, люди, и что иные считают такую критику безвредным «зубоскальством», отдушиной, которая

неспособна повредить режиму, поскольку она не доходит до широких масс. Ведь даже при тоталитарном режиме, когда цензура бесчинствует намного развязнее, чем при царском самовластие, по тем же причинам иногда удается проскочить в журнал, на театральную сцену или в фильм, радио и телевидение критическому сочинению.

Нам не было суждено долго пробыть в этом лагере. Вскоре нам объявили, что мы должны работать. Многие обрадовались, полагая, что нас направят на сельскохозяйственные работы к помещикам или в крестьянские хозяйства, где пленным жилось в общем неплохо, а иногда даже отлично. Но нас послали за город, в поле, рыть учебные окопы для новобранцев. «Но это ведь опять работа на войну, и вы не имеете права заставлять нас выполнять ее», заявили некоторые из нас.

Последствия нашего отказа сказались немедленно. Нас, правда, на этот раз не побили, но чтобы мы не заразили других, тут же перевели в штрафной лагерь, благо такой имелся в городе, в помещении близкого кинотеатра, в так называемом «доме Бегина». Условия в этом лагере были крайне тяжелые. Нары не в два, а в три этажа, причем одни голые доски. Личные одеяла, которые были теперь уже у многих из нас, полученные через Шведский Красный крест или из дома, у нас отобрали. Мы были здесь напиханы, как сельди в бочке, в помещении духота, вонь, дворик маленький, в него пускали «на прогулку» партиями, редко, одним словом – тюрьма, да и только. Кормили прескверно, лишили сахара, последней порции мяса. Щи – препостные, одна вода, все чаще заменялись еще более постным жидким рыбным супом. Охрана обращалась с нами сурово, за малейший проступок наказывали, сажали в карцер, на один хлеб и воду, о каких-либо умственных занятиях в этих условиях нечего было и думать.

Не знаю, долго бы я выдержал этот режим. Меня выручило то, что, по-видимому, вследствие всей негигиенической обстановки, моя рана на животе снова начала гноиться, и возобновились сильные боли в спине. Вдобавок у меня началась цинга, расшатывались и кровоточили зубы, на ногах стали появляться черные пятна. В лагерном околотке пленному врачу удалось уговорить своего начальника русского фельдшера, что я крайне нуждаюсь в стационарном больничном уходе и, вероятно, чтобы не возиться здесь со мной, меня отправили в городскую больницу. На ее фронтоне было выведено золотыми буквами: «Больница мастеровых и чернорабочих фабрики Ивана Гарелина».

В больнице после нескольких перевязок рана перестала гноиться. Цинга не прогрессировала – мне давали лук и селедку. Меня можно было отправить обратно в лагерь. Но старший врач

Мирон Миронович не отпускал меня. Ему нужен был переводчик, так как в больницу, заполненную в основном русскими рабочими и работницами, текстильщиками, теперь попадали и пленные. Переводить требовалось на русский и с русского, не только со всех языков национальностей Австро-Венгрии, но и с турецкого – среди больных пленных встречались и турки. Большого запаса слов не требовалось: всего лишь простейшие вопросы анкеты о состоянии здоровья. С немецким и всеми славянскими языками у меня не было трудностей, с мадьярским и румынским я кое-как справлялся, так как за полтора года пребывания в плену я приобрел небольшой запас их слов. Но как быть с турецким? Однако удачно в больнице лежал и один младший турецкий офицер, который знал сносно по-французски. С его помощью я составил себе разговорник самых необходимых вопросов и ответов, и тогда все обходилось более или менее хорошо. Так я совершал вместе с врачом или фельдшером обход больных пленных, а если нужно было, меня будили ночью, и я переводил для сестры, сиделки или санитара.

А в остальное время я читал книги, которые одалживал мне фельдшер, Федор Федорович. Все это были русские классики, в большей части в приложениях к «Ниве»; именно благодаря этому чтению я быстро пополнил свой словарный состав, и хотя я не избавился от неправильного ударения и произношения, а также от трудностей русского правописания, я стал и писать довольно грамотно.

Бури революции

Кончился 1916 и начался 1917 год, в феврале пало самодержавие. Поражения русской армии, разруха, голод, вся эта ненавистная, несправедливая война, вся реакционная политика царского правительства переполнили, как говорится, чашу терпения народа. По стране прокатились все усиливающиеся волны забастовок, демонстраций, бунты крестьян, и, наконец, и солдат, приведшие к победе буржуазно-демократической революции.

В нашей больнице революция отозвалась слабо. Собственно лишь тем, что санитары и сиделки организовались, вступили в профессиональный союз и захотели ликвидировать свою неграмотность или малограмотность. Тут сказалась особенность города Иванова-Вознесенска. Его рабочим классом были преимущественно текстильщики, о классовой сознательности и революционности которых принято полагать, что они уступают в ней рабочим тяжелой промышленности. Но именно здесь-то, а не в Петрограде с его Путиловским заводом, где тем не менее установилось двоевластие, и где советами заправляли меньшевики и эсеры, – здесь вся фактическая власть перешла в руки Советов, в которых большевики имели перевес.

Этот небольшой общеобразовательный кружок низших больничных служащих – собирались человек десять-пятнадцать, не больше – и попросил меня заниматься с ними. Разумеется, я стал обучать их арифметике и сообщал им также сведения из естествознания, географии и истории, стараясь создать у них нечто вроде основы материалистического, атеистического мировоззрения и хотя бы примитивного понимания классовой природы общества. Все это имело особое значение, так как в больнице имелась своя домашняя церковь или часовня, где происходили богослужения с проповедями. Я сам раз или два побывал на них, должен сказать, что церковное пение, эти вновь и вновь повторяющиеся «Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй нас!», весь этот минорный, заунывный тон производили удручающее впечатление.

Однако мое учительствование длилось недолго. Без всякой мотивировки, без малейшего предупреждения, мне одним апрельским утром выдали на цейхгаузе мой австрийский мундир (в больнице я, как больные, ходил в халате и тапочках), за мной явился солдат с винтовкой, и, не дав ни с кем проститься, отвел меня обратно в штрафной лагерь, в дом Бегина. Но объяснений и не требовалось. Мне было совершенно ясно, что старшему врачу

Мирону Мироновичу не нравилось мое общение с этими «плебеями», да и просветительская деятельность «врага» претила этому холеному барину, кадету, стоявшему за войну «до победного конца».

В лагере я застал еще более ужасные условия, чем те, прежние. Правительство Керенского приставило к нам охрану из Союза солдат, бежавших из плена. Понятно, что эти люди, вытерпевшие столько мучений в австро-венгерских и особенно германских лагерях, а также на работах у прусских помещиков-юнкеров, и по возвращении на родину еще натравляемые шовинистической пропагандой, относились к нам зачастую зверски, мстили, вымещали на нас, ни в чем неповинных, свои обиды. Режим стал просто тюремным.

И все же какой-то крохотный просвет свободы для меня существовал: возможность читать газеты, узнавать, пусть в препарированном виде о том, что происходит в мире, и таким образом не быть все же полностью отрезанным от него. Мы покупали «Русское слово», и по вечерам я читал вслух – переводя на немецкий тут же с листа – при тусклом свете маломощной лампочки, интересовавшие всех сообщения, прежде всего, «С театра военных действий» (хорош «театр», нечего сказать), а также о событиях, происходивших в России. Из сообщений о борьбе политических партий, мы получили некоторое представление о большевиках, познакомились с именем Ленина, и кривое зеркало кадетской газеты не могло помешать тому, что большевистские лозунги «Долой войну!», «Да здравствует пролетарская революция во всем мире!», стали нам близки, особенно теперь, когда и здесь в плену, далеко от фронта, условия нашей жизни стали невыносимыми.

В этом положении было для нас настоящим приятным большим сюрпризом, когда нам объявили, что Иваново-Вознесенский Союз рабочих, крестьянских и солдатских депутатов добился у военных властей того, чтобы мы, под честное слово, что будем соблюдать порядок, и что не будет попыток к бегству, приняли участие в первомайской манифестации. И действительно, сомкнутыми рядами, весь наш лагерь, как и другие лагеря пленных, имевшихся в городе, вышел, вместе с русскими рабочими и работницами, с русскими военными частями, на просторную городскую площадь. Я посмотрел на блестевшие на солнце трехгранные штыки наших конвойных, прислушался к страстным речам чередующихся на импровизированной трибуне ораторов. Шел митинг. Выступали представители всех партий, прерываемые шумными возгласами демонстрантов. Наряду с призывами немедленно кончить войну,

дать крестьянам землю, рабочим хлеб, трудящемуся народу полноту власти и свободы, слышались и заклинания продолжать войну до победы, остаться верными союзникам, разгромить Вильгельма, бороться за «порядок», против анархии большевиков, против продавшихся немцам.

И тут я не выдержал. Я вырвался вперед, не обращая внимание на окрик караульных, вскочил на эту самодельную трибуну, и обратился к своим. Я сказал – по-немецки – что мы, военнопленные, должны взять пример с русских, и, вернувшись домой, поднять у себя революцию, и что мы уже сейчас, как это сделали русские солдаты, должны перестать рабски повиноваться своим офицерам. Я перевел эту краткую речь на свой корявый русский язык, закончил по-русски возгласом: «Да здравствует мировая революция!», и по-немецки, и по-мадьярски, «Es lebe die Wiltrevolution!», «Eljen a vilag forradalom!» и под оглушительные крики, в большинстве восторженные, – но были, конечно, и негодующие, – всей многотысячной толпы, заполнившей площадь, спрыгнул с трибуны и втиснулся обратно в наши ряды.

Возмездие не замедлило себя ждать. На следующий же день делегация пленных офицеров пришла из лагеря к прапорщику Рябцеву, начальнику лагеря, с просьбой наказать меня, изолировать за разлагающее политическое влияние. И в тот же день вечером, когда мы, как всегда, читали газету, появился этот начальник в сопровождении двух солдат и старшины и протиснувшись через тесный проход между нарами, подошел вплотную ко мне. «Встать!» – рявкнул прапорщик. Мы, конечно, все вскочили и стали навытяжку. «Давай сюда германскую газету! Откуда достал ее, шпион!» Я объяснил, что германской газеты у нас нет, что, вот, я просто читал «Русское слово», переводя на немецкий. Но прапорщик заревел: «Молчать!», с добавлением непечатной брани, и ударил меня своим большим кулаком – у него была волосатая медвежья рука, с большим перстнем, – я ее и сейчас вижу, – причем так сильно, что выбил мне сразу два передних зуба, шатких после цинги. Тут же два конвоира «нежно» подхватили меня и повели. При этом произошла маленькая задержка, даже в этих обстоятельствах – я плевался кровью – показавшаяся мне комичной. Когда мы уже вышли из лагеря, прапорщик почему-то спохватился, что одет я не по форме – без кепи и шинели – и мы всей процессией вернулись, я оделся, и мы снова пошли на окраину города, в пересыльную тюрьму.

Здесь меня уже ждали, без лишних церемоний записали в книгу и отвели в камеру-одиночку, в которой я без предъявления обвинений и без каких бы то ни было допросов пробыл целых полгода. Но как это ни странно, эта перемена, задуманная как

кара, во многих отношениях улучшила мое положение. Конечно, я лишился общения с людьми, но и то не полностью. Были все же тюремные надзиратели – их было двое, они чередовались – и у меня с ними вскоре установились вполне сносные отношения. Они были уже пожилые. Один из них в первое время был груб и зол, но я сумел сагитировать его, и он стал, как и второй, подолгу мирно беседовать со мной о войне и жизни вообще, охотно рассказывать ужасы о заключенных, убийцах и ворах, а также о политических. Да и баня была, и на прогулку выводили изредка в тюремный двор, и питание лучше, чем в лагере.

Конечно, одиночка была с непривычки тягостна, порой находило отчаянье. Но я находил способ отгонять мрачные мысли. В камере была полукруглая, черная, высокая до потолка, жестяная печка, а со стен камеры легко было сколупнуть кусок белой штукатурки. Вот я и придумывал себе математические задачки, а при экономнейшем пользовании этой «доской» и этим «мелом», затем пытался решить их. Мои старания наблюдали через «волчок» мои сторожа, удивлялись, а я объяснил им, что я учитель, и вот упражняюсь, чтобы не забыть свою профессию, и они успокоились. Но ведь здесь были даже передачи, целых три за эти шесть месяцев. Товарищи из лагеря послали мне белье – по меткам на нем я понял, что оно было из посылки шведского Красного креста – непременно завернутое в свежий номер «Русского слова». Оттуда я всякий раз узнавал о все более бурных событиях в стране.

Однако наступил, наконец, один из самых счастливых дней моей жизни. Но так как у меня не было календаря, не ручаюсь, было ли это 27 или 28 октября (9 или 10 ноября). Во всяком случае, этот столь памятный для меня день начался с того, что не было утреннего чая с раздачей пайка хлеба, хотелось есть. Я стучался в дверь, но в коридоре не было стражи, никто не подошел. Слышался доходивший откуда-то гул, – не бунт ли это в тюрьме? Я страшно волновался. И вдруг с грохотом открывается дверь моей камеры, и входит штатский в сопровождении одного надзирателя. Я сразу заметил, что мой «приятель»-надзиратель без пояса и револьвера, что он расстроен, и что у него та самая книга, вроде гроссбуха, в которую, при приеме в тюрьму, меня записали.

А штатский, высокий худющий брюнет, с впалыми щеками и горящими глазами, как раз и был вооружен. Удостоверившись по книге, кто я таков, он переспросил меня еще раз, для верности, за что меня посадили, и не дождавшись, когда я, взволнованный, окончу свой рассказ, тут же обнял меня, в нескольких словах сообщил, что в Петрограде победила пролетарская революция,

правительство капиталистов и помещиков арестовано, Керенский бежал, что власть в руках Советов рабочих, крестьян и солдат, с большевиками и левыми эсерами во главе, и что я, как и другие политические заключенные, теперь свободен, и сейчас пойду с ним к нему домой. Он назвался Самойловым, руководителем Иваново-Вознесенской большевистской партийной организации. И мы пошли с ним, с трудом продираясь сквозь группки рабочих с винтовками за плечом, то и дело обращавшихся к товарищу Самойлову с каким-нибудь вопросом. Да, и я теперь товарищ, какое это замечательное слово (и как оно ныне опошлено!) – тюрьма, надзиратель, с его книгой и связкой ключей, остались навсегда позади… Но навсегда ли?

Не то перенесенный нервный шок, вызванный пусть и благоприятной, но крайне крутой ломкой в моем положении, не то необычно долгое пребывание на свежем воздухе, причем на пустой желудок, не то все это вместе взятое, вызвало у меня приступ внезапной слабости, такой, что я был близок к обмороку, ноги стали подкашиваться. Заметив это, товарищ Самойлов нанял извозчика и отвез меня к себе в рабочую слободку, где он жил в небольшом деревянном домике. Все было теперь для меня впервые: и поездка на извозчике, и впервые я очутился в русской семье, причем в семье рабочего, профессионального революционера-большевика, исключительно душевного, дружелюбного человека.

Я побывал с товарищем Самойловым, который, как правило, целыми днями до поздней ночи пропадал в помещении партийного комитета, где висел довольно неудачный портрет Карла Маркса. Товарищ Самойлов, должно быть для проверки, спросил меня, знаю ли я, кто это, и остался очень доволен моим ответом. Он предложил мне жить у него, но я решительно отказался, заявил, что вернусь в лагерь, чтобы вести политическую работу среди военнопленных. И он как нельзя более одобрил это. Так мы с ним и расстались, но затем встретились снова в Москве, когда он был членом ЦК, а я членом МКК. К сожалению, этот замечательный человек рано умер, скошенный полученным в царских тюрьмах туберкулезом.

Итак, я вернулся в «дом Бегина». Здесь теперь установились новые порядки, военнопленные в лагере создали свою организацию, которая если и не полностью сама управляла лагерем, то оказывала на его управление решающее влияние. Охраны в лагере теперь никакой не было, но никто и не думал бежать, все понимали бессмысленность такой затеи при существовавшей в стране полной разрухе транспорта и царящем голоде. Но вместе с тем все, или почти все, жили одной только

мыслью: что большевики немедленно заключат мир и поскорей отпустят пленных, эти миллионы людей, к себе на родину. «Nachhause!», «Haza meny!», «Domu!» – этот многоязычный клич «Домой!» – в то время заполнял бараки лагерей.

Лишь единицы из этой измученной, опустившейся, отупевшей солдатской массы, разбросанной по многочисленным лагерям европейской России и Сибири, вплоть до Тихого океана, понимали тогда, что большевистская власть несет не только скорое свидание с родными и с оставленным штатским костюмом, возврат к привычной кружке пива в привычном кабачке или к стакану вина в знакомом винном погребке. Но зато те, кто поняли, те бросились со всей, скованной за годы плена, энергией, организовывать эту борьбу. Еще в октябре 1916 года Ленин призывал к тому – чего мы, и я в том числе, конечно, тогда не знали, – чтобы трудящиеся не разоружались, не бросали винтовки, а повернули штыки, чтобы они боролись «против буржуазии собственной страны, чтобы положить конец эксплуатации, нищете и войнам не путем добреньких пожеланий, а путем победы над буржуазией и обезоруживанием ее». Таковы были и наши намерения.

У нас, в Иваново-Вознесснске, как и во многих других городах, наша организация, подражая русским, назвала себя Комитетом военнопленных революционных социал-демократов-интернационалистов. Она перешла от слов к делу: мы сорвали у пленных офицеров их звезды и нашивки, отняли у них их денщиков и заставили их работать по лагерю наравне с солдатами; в доме Бегина сняли третий ярус нар и переселили часть солдат в более благоустроенный офицерский лагерь, уравняли офицеров с солдатами в питании и создали комиссию для справедливого распределения посылок – больным и наиболее нуждавшимся в первую очередь – получаемых от шведского Красного креста, посылок, которые до сих пор доставались преимущественно лишь офицерам.

Состав нашего Комитета, членом которого был и я, был смешанный. Далеко не все были членами отечественных социалистических партий. И хотя из офицеров входили в него лишь немногие, зато тем большую роль они в нем играли. К таким офицерам принадлежал и Фенрих Аради, венгр, года на три старше меня, человек образованный и весьма энергичный, с которым мы быстро подружились.

Наш Комитет решил встретить канун Нового года (по новому стилю) торжественным митингом. Помещение украсили по традиции самодельными лампиньонами и елкой, а ораторами были назначены я и Аради. Однако на этом вечере присутствовал

также прибывший из Москвы в город начальник Московского военного округа, Муралов, старый большевик. Ему оба наши выступления, пламенные и торжественные, настолько понравились, хотя он мог судить о них разве только по бурной реакции слушателей, что он пригласил нас в Москву работать в создающемся Всероссийском комитете бывших военнопленных. Его решение было для нас приказом, и мы уехали в Москву.

В Москве наш Комитет, в который меня и Аради кооптировали (меня утвердили заместителем председателя, некоего Эбенгольца, австрийского немца, кельнера по профессии), помещался в бывшей гостинице «Дрезден» на Скобелевской, ныне Советской площади, в доме, где теперь находится ресторан «Арагви». Хотя Комитет располагался этажом выше, все же он существовал под крылышком Московского комитета большевиков, секретарем которого была тогда огненная и твердокаменная Землячка.

Борьба за мир

31 декабря 1917 года (по старому стилю, значит, на 13 дней после того, как мы отпраздновали его в Иваново-Вознесенске), был для нашей организации днем смотра. В этот день московские большевики собрались встречать 1918 год в тогда самом вместительном помещении города, в манеже бывшего Алексеевского офицерского училища в Лефортове. Наш Комитет решил привести на эту встречу военнопленных из Кожуховского лагеря, придать ей интернациональный характер. Но вытащить этих голодных, полураздетых, мечтавших лишь о скорейшем возвращении на родину, людей, заставить их пройти по морозу много верст, было трудно, как трудна была и вся работа нашего Комитета. Я только что вернулся из одной агитационной поездки, был в Павлово-Посадском лагере и еще раз смог убедиться в этих трудностях. Прежде всего, на меня, и на товарища сопровождавшего меня, накинулся русский писарь, который там был фактически заправилой. «Чего надо? Что, митинг устраивать? А где ваши мандаты? Не признаю! В лагерь вас обоих, в лагерь под арест посажу!»

Вот такова была, знакомая нам уже по другим местам, встреча. Пришлось взяться за наганы, чтобы, угрожая ими, вернуть драгоценные мандаты, добиться доступа во двор лагеря и собрать митинг. Но сами военнопленные встретили нас ничуть не лучше. Они не дали нам говорить «о текущем моменте». Подзуживаемые несколькими крикунами, прихвостнями пленных офицеров, они осыпали нас бранью: «подкупленные русскими», «шкурники – большевикам продались», «нас снова на фронт гнать хотят», «обманщики, чего домой не пускаете», «бей их!» – и стали напирать на нас. Мы едва ноги унесли.

И это нас-то обвиняли в шкурничестве. Нас, которые ходили в тех же рваных, полуистлевших австрийских шинелях, ездили на подножках и буферах вагонов, – в ту пору не помогал даже выданный нам Мураловым мандат на право проезда по всем железным дорогам, – не получали ни копейки, жили вместе с другими пленными в лагере около казарм за Спасской заставой и отличались от них разве лишь тем, что с утра и до поздней ночи работали в «Дрездене», после чего, голодные, пешком, возвращались в лагерь, где нас ожидали холодные, почти несъедобные остатки скудного обеда и крохотный кусочек хлеба.

При всем этом было особенно тяжело сознавать, что товарищи из Московского Комитета большевиков нам далеко не полностью доверяют, что они относятся к нам настороженно. Как

позднее выяснилось, такая их осторожность, основанная на долголетнем опыте работы в подполье и в эмиграции, когда в ряды партии проникали провокаторы, была вполне оправдана. Но этого мы тогда не понимали, для нас такое отношение, а прежде всего то, что нас не принимали в партию, было смертельно обидным. И вот, если мы добьемся массового участия военнопленных в новогодней встрече, то это должно будет, так мы полагали, рассеять все сомнения русских товарищей.

И нам действительно удалось привести стройными рядами свыше тысячи человек в голубых и серых шинелях на этот митинг. Восьмитысячная толпа в манеже, куда влилась целая дюжина национальностей «центральных держав», в самом деле получила тем самым интернациональный характер. После открытия митинга звонкой речью Землячки, приветствия солдат 85 пехотного полка, бравшего в октябрьские дни это училище-крепость контрреволюции, и рассказа товарища, вернувшегося из якутской ссылки, на трибуну поднялся я. Все это собрание было настолько необыкновенным, что оно вдохновило пролетарского писателя Серафимовича написать о нем художественный рассказ «Море» – взволнованное человеческое море – опубликованный в ближайшем номере «Известий». Вот как он описал мое выступление: …«Выходит небольшого роста в гимнастерке защитного цвета военнопленный и говорит изломанным таким странным для уха русским языком, и в глазах его печаль: «Я плохо говорю по-русски, но я этому не виноват. – Ничего, ничего, говорите, слушаем… – несется из зала. – Вы, рюсские, весело встречаете ваш революционный Новый год, а мы… мы не имеем права… у наших братьев там темнота… У вас праздник… Вы сделали свое дело, мы нет, и мы печальны…» Что это? Не вздох ли пронесся над тысячами людей? Нет, это печаль стала, как темно опустившееся покрывало. И я увидел мутно сереющее, громадное пятно среди людскою моря – военнопленные, их тут свыше тысячи. И сквозь эту печаль, сквозь этот вздох молчания раздался голос нашего солдатика: «Ничего, не тужите, у нас то же будет». И разом просветлело, а Кольман улыбнулся. «Да, борьба, только борьба несет счастье. Есть легенда, очень красивая легенда, и я вам ее скажу. Когда Христа распяли, и он умирал на кресте, лицо его было светло – он проповедовал любовь, и всепрощение, и непротивление. И прилетел к нему сатана, черный и мрачный, и сказал: «Я тебя искушал два раза, а ты не поддался. А теперь я тебя не буду искушать, я скажу тебе правду. Слюшай же. Ты всю жизнь учил только любить, только прощать, только подчиняться, гнуть свою шею – это рабам. А я учил – жизнь борьба, счастье борьба, свобода борьба. Хочешь рабом –

прощай всех, хочешь свободы и счастья – борись». И отлетел сатана, и умер Христос, а на лице его было отчаянье». Он замолчал и секунду стояло молчание, и взрыв аплодисментов покрыл его. К товарищу Кольману наклонился председатель и сказал ему: «Скажите вашим товарищам на родном языке, ведь они не понимают по-русски». И Кольман свободно и страстно заговорил по-немецки. И что блестит в глазах людей? Может быть, слезы, я не знаю. Он бросает жаркие и страстные слова, повитые темной печалью, и вдруг среди тишины грянуло в ответ на непонятном языке: «Wir schwören zu sterben!» – «Клянемся умереть!»… Клянемся умереть у себя на родине за то, за что вы умирали у себя в России».

И когда из конца в конец по манежу понеслись немецкие, мадьярские, чешские, сербо-хорватские, болгарские призывы «Сделать там у себя то же, что сделали здесь русские товарищи», тогда всем показалось, что движение среди военнопленных – это предвестник революционных бурь, которые вот-вот грянут на Западе и поддержат русскую революцию. Мы, военнопленные, которых все теперь стали называть «интернационалистами», стали героями дня.

В работе нашего Комитета, в отношении к нему МК, наступил перелом. Финансовая поддержка, а с ней и издание газеты (в редакцию которой входил и я) на немецком и мадьярском языках – под названием «Факел», а затем «Мировая революция» – наладилось. МК прикрепил к нам своего представителя товарища Гребельскую, а ЦК РСДРП(б) – Бухарина, да и положение наше, «комитетчиков», стало прочнее. Правда, нас не сравняли с русскими товарищами, работавшими в «Дрездене» – а тогда все они, от уборщицы до секретаря МК, получали одинаковое жалование, 200 рублей в месяц, одинаковые продовольственные пайки (восьмушку, то есть 50 гр хлеба) и все они питались одинаково в той же столовой в Брюсовском переулке – но нам все же в эту столовую выдали на целый месяц обеденные талоны, и этого нам было вполне достаточно. Миска супа – горячей воды, в которой плавало несколько зернышек чечевицы, четыре ложки просяной каши с каплей прогорклого масла, и даже чашка кирпичного чая с сахарином, – это было настоящее блаженство.

Наша лихорадочная, бессистемная агитация среди военнопленных, не имевшая достаточно четкого содержания, стала постепенно более ясной, и главное – более конкретной. Наряду с призывом к социалистической революции после возврата в Австро-Венгрию и Германию, мы звали их к активному участию в революционной войне русских рабочих и крестьян с германским империализмом и российской контрреволюцией,

агитировали за вступление в Красную гвардию. Но насколько холодно встретила этот призыв общая масса военнопленных, можно судить по тому факту, что даже далеко не все члены нашего Комитета, насчитывавшего всего одиннадцать человек, записались в Красную гвардию.

Московский штаб Красной гвардии находился под командованием латышского товарища Пече, в черной кожанке с маузером, человека легендарного мужества. Помещение штаба располагалось на Арбатской площади, в одноэтажном домике, там, где во время Отечественной войны помещался 7-й отдел Политуправления Советской армии, занимавшийся разложением войск противника, в котором я тоже работал. В штабе мне выдали кофейного цвета не по росту длиннющую кавалерийскую шинель и включили в группу, которой командовал сам товарищ Пече. Она состояла главным образом из латышей и «интернационалистов». Мы охраняли штаб, патрулировали по ночам в городе, в котором было тогда еще много стрельбы, и устраивали облавы на белогвардейских офицеров.

Однако я не успел еще как следует привыкнуть к этому новому волнующему образу жизни, так как наша организация военнопленных избрала меня делегатом на 3-й съезд Советов, который проходил в Петрограде. И я поехал туда вместе с нашей «тетушкой», товарищем Гребельской, как мы, не без оттенка оскорбленного самолюбия – зачем к нам, мол, приставили гувернантку! – ее меж собой называли. Кроме участия в работе съезда на нас была возложена еще другая, весьма ответственная задача. В то время у нас в Комитете шли горячие споры. Часть его, к которой принадлежал и я, считала, что нельзя допустить массового вооружения военнопленных, поскольку нельзя ручаться за то, каковы истинные мотивы, побуждающие известную, правда, количественно немногочисленную, часть военнопленных, рваться на фронт. Между тем, проекты поголовного вооружения пленных и посылки их на фронт для борьбы, а также для братания с наступающей германской армией, носились в воздухе. Сторонники этой идеи обвиняли нас, остальных, в трусости, в осторожничаньи, в том, что Москва отстает от Петрограда, где все военнопленные целиком вошли в Красную гвардию. Нам было поручено обсудить этот вопрос с народным комиссаром по военным делам, которым был Троцкий (он же возглавлял и Наркоминдел), тогда, после Ленина, второй человек в стране. Как Маркса и Энгельса, так и Ленина и Троцкого, все называли тогда всегда вместе.

В Петроград мы ехали сказочно удобно, в международном вагоне, вместе с вернувшимся из Соединенных Штатов товарищем

Рейнштейном и прибывшим оттуда же Биллом Хейвудом, шахтером, основателем и руководителем профсоюзной организации Индустриальные рабочие мира. Возможно, потому нас поместили в Инженерном замке, где проживали эмигранты различных политических направлений, вернувшиеся в это время из заграницы, а также несколько иностранцев, преимущественно журналистов. Среди них был и Джон Рид.

И вот здесь ежедневно после шумного потока впечатлений от заседаний съезда в Таврическом дворце, я, возвращаясь поздно вечером, встречал не менее шумную перебранку вечно спорящих анархистов, эсеров, меньшевиков и большевиков. Для меня, тогда далеко еще не большевика, эти споры были крайне поучительны. Я жадно прислушивался, просиживал до утра. Я старался, кроме того, извлечь пользу из бесед с товарищем Рейнштейном. Одну из них, о национальном вопросе, где-то ночью, в районе Марсова поля, я особенно ярко запомнил. У него получалось так, будто подлинный интернационализм несовместим с чувством национальной принадлежности. И при всем моем уважении к этому товарищу, с этим я никак не мог согласиться. И я тяжело переживал свои сомнения, упрекал себя в пережитках мелкобуржуазного национализма.

Конечно, наиболее глубокое впечатление сохранилось у меня от самого съезда Советов, потому что в эти дни я впервые увидел и услышал Ленина. Тогда, в начале января 1918 года, мне было всего двадцать пять лет, не хватало основательной марксистской подготовки, а главное, практического политического опыта. Именно усилия Ленина положить конец кровавой бойне, в которой за чужие интересы капиталистов и помещиков гибли миллионы трудящихся, привлекали меня, вкусившего все варварство войны. Меня, выходца из Австро-Венгрии, с ее вечно ссорившимися многочисленными национальностями, угнетающими и угнетенными, особенно притягивала борьба Ленина и большевиков за осуществление принципа равноправия наций, согласно которому каждая нация сама, без насильственного вмешательства извне, должна определить свое общественное устройство, принципа, являющегося необходимым условием свободы трудящихся собственной нации. Ибо, как писали Маркс и Энгельс, «Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы».

В глубине колодца – а таким с высоты галереи, где я сидел, мне казался слабо освещенный зал Таврического дворца – 8 января шло заседание Центрального Комитета партии совместно с фракцией большевиков Съезда. Я тогда еще не был членом партии, но мне разрешили присутствовать в качестве гостя на

этом историческом заседании. Оно было крайне волнующим. В партии боролись тогда три взгляда: большинство партийных работников, возглавляемых Бухариным, стояло за продолжение войны против вильгельмовской Германии, за объявление ее революционной войной. Другие, во главе с Троцким, предлагали войну хотя и прекратить и армию демобилизовать, но мир не подписывать. И только меньшинство шло за Лениным, настаивавшим на немедленном заключении сепаратного, анексионистского мира.

Непоседливый Бухарин в яркой косоворотке, подпоясанной ремешком, в высоких сапогах, взволнованно жестикулируя, бегал взад и вперед по сцене. Стройный Троцкий, только что прибывший из Бреста, не сбросив даже черную крылатку, все время становился в позу, и казалось, что он, со своими театральными движениями рук и ораторским пафосом, играет роль чернокрылого Демона. И только неприметный, плотный, коренастый Ленин в мешковатом пиджаке, не ораторствовал, а собственно разговаривал с аудиторией. Он говорил о том, что большинство партийных работников не понимают, что марксизм требует учитывать всякий раз конкретную ситуацию, что молодая, пока еще слабая Советская республика вынуждена заключить этот похабный, несчастный, грабительский мир. Получив, пусть лишь короткую, передышку, она накопит силы, и единственно так удастся сохранить власть Советов, власть рабочих и крестьян. Именно этим будет оказана самая лучшая поддержка пролетариату других стран в его борьбе за социалистическую революцию.

В Наркомвоене на Дворцовой площади прямо против Зимнего дворца, в громадном подковообразном здании, на фронтоне которого красовался большой красный плакат «Война Войне», товарища Гребельскую и меня ожидали два пренеприятных сюрприза. Здесь, в архиве бывшего министерства иностранных дел работали Бела Кун и Руднянски, руководители петроградской организации военнопленных. Я хорошо помню наш разговор, который мы вели стоя, опираясь на перила разгораживающей комнату архива перегородки. Помню, как Бела Кун спросил меня, что я читал из сочинений Ленина, и каким-то особым голосом, немного важничая, дал мне понять, как необходимо ознакомиться с ними. В то время я знал мало о ленинских сочинениях, прочитал единственно то немногое, что мне в Иваново-Вознесенске дал товарищ Самойлов, да еще несколько ленинских статей в «Правде». Однако я должен сказать, что большинство членов московской партийной организации – «мартовские большевики», как их прозвали, не могли бы похвастаться

большим.

Беседа свернула на наш московский комитет. Я назвал имена его членов – среди них и венгров Тибора Самуэли и Матиаша Ракоши – подробно рассказал о наших дискуссиях, о цели нашей поездки. И я прямо вижу, как Руднянски, когда я назвал имя еще одного члена нашего Комитета, Аради, горячего сторонника вооружения пленных, подошел к одной из полок и взял оттуда папку с надписью «Дело Аради». Писатель, прапорщик австро-венгерской армии, служил шпионом царского правительства. В его деле имелись карты карпатских перевалов, его личные донесения о румынофильском движении в Венгрии, записи разговоров с заключенными Петропавловской крепости, к которым охранка его подсаживала в качестве провокатора. Это был тяжелый удар для нашего Комитета, а в особенности для меня. С Аради я был знаком целых полгода, он производил на меня впечатление чуткого вдумчивого человека, со страстным политическим темпераментом, мы дружили. И вдруг, оказывается, он предатель, служил царю, а теперь, наверное, служит австрийскому монарху. Это ужасная вещь – разочаровываться в человеке, потерять доверие к людям, особенно в молодости.

Всю ночь я ворочался, не спал, мысленно перебирал одного члена нашего Комитета за другим, и задавался мучительным вопросом – кто из них окажется еще предателем и провокатором – и понял омерзительную неизбежность того, что и меня могут, да и должны подозревать.

Немедленно мы с товарищем Гребельской послали в Москву телеграмму. Аради был арестован ЧК. Чтобы мне больше не пришлось возвращаться к этому позже, скажу сразу, что Аради оказался не единственным предателем среди членов нашего Комитета. Сам его председатель Эбенгольц не оправдал себя. Когда он позже уехал по поручению Коминтерна на нелегальную работу в свою родную Вену, то вместо этого, присвоив себе полученную валюту, он направился в Швейцарию, где открыл ресторан.

Мы должны были еще встретиться с Троцким. И тут нас ожидала вторая тягостная неприятность. Он принял нас в своем просторном кабинете и – хотя я пытался докладывать по-русски – упрямо переходил на немецкий язык, не очень чистый, с неизгладимыми следами идиш. Я изложил ему наше дело, и для подкрепления своей точки зрения привел случай Аради, описал настроение пленных в лагере, которое я так хорошо знал. Но на Троцкого все это не подействовало. «На фронт! Вооружить! Пусть пробьют себе дорогу домой с оружием в руках!», говорил он,

собственно кричал, выкрикивая лозунги. Он попросту выгнал нас из своего кабинета.

Товарища Гребельскую этот прием довел почти до слез, да и я был не менее, чем она, удручен таким проявлением деспотизма и самодурства, унизительным и оскорбительным для нас, этим нежеланием прислушаться к нашим предостерегающим голосам, к нашим тревогам за судьбу революции. Обратно ехал с нами товарищ Гольдич и швейцарский товарищ Фритц Платтен с перевязанной рукой, легко раненный во время покушения на Ленина, с которым он находился в открытом автомобиле. Он спас Ленину жизнь, столкнув его с сиденья ко дну машины. А в 37 году он был репрессирован и погиб в сталинской тюрьме.

В Москве, в дни нашего отсутствия, произошли кровавые события. Во время демонстрации 9 января, белогвардейские офицеры обстреляли ее с чердаков из пулеметов. Среди жертв были и шедшие в первых рядах наши военнопленные. Атмосфера в городе была накалена, шли постоянные обыски, аресты, по ночам не умолкала перестрелка. В штабе на Арбатской площади теперь у нас было работы по горло. Наружные и внутренние посты, патрули по темным, молчаливым, притаившимся закоулкам, перевозка оружия, арестованных. Запомнилась предпринятая нами настоящая военная экспедиция в один из дачных пригородных районов. Ночью мы окружили эту местность, чтобы ликвидировать обосновавшееся там контрреволюционное гнездо. Засевшие в нескольких дачах белогвардейцы оказали сопротивление, с нашей стороны имелось несколько раненых и двое убитых. Борьба продолжалась до самого утра, но и наш «улов» был значителен: мы не дали никому уйти и захватили немалое число врагов, среди них и видных, оружие, золото.

Товарищ Пече не знал усталости, сна, бледный, спокойный, тихим голосом давал команды. Землячка, Пече, были для меня примером подлинных воинствующих большевиков, воплощением самой идеи партийности. В те революционные времена я воспринимал еще партию как живых людей, как личности выдающихся моральных качеств, как закаленных борцов за великие идеалы коммунизма, бескорыстных и скромных служителей народа, хотя я и видел, что каждый из них имеет, естественно, и свои слабые стороны. Я тогда еще не фетишизировал партию, как какую-то сверхчеловеческую или внечеловеческую непогрешимую силу, как мы все позже, при Сталине, привыкли.

В роли парламентера

В штабе я проработал недолго. Наступление германских войск заставило бросить на фронт красногвардейские части на защиту Петрограда. В казармах за Спасской заставой из 85 пехотного полка формировался 1-й московский красногвардейский полк. На скорую руку отбирали людей, вливали добровольцев, доставали снаряжение. Среди добровольцев было и три дюжины военнопленных, главным образом мадьяр, австрийских и германских немцев, несколько сербов, работавших в казармах в качестве чернорабочих по двору и в конюшнях. На заседании нашего Комитета в Алексеевском училище, где нам дал гостеприимный приют его комендант Демидов, и куда часть наших комитетчиков переехала на постоянное жительство, я поставил вопрос о необходимости отправки на фронт членов Комитета. Мне казалось само собой разумеющимся, что мы, агитирующие наших товарищей идти воевать, должны первые показать им пример.

К моему удивлению, члены Комитета по очереди стали высказываться против моего предложения. Они подчеркивали, что именно теперь нам крайне необходимо оставаться в Москве, чтобы широко развернуть агитацию, и что в связи с эвакуацией из Петрограда правительства, его переездом в Москву, надо готовиться к слиянию Московского и Петроградского комитетов, начать подготовку всероссийского съезда военнопленных. Проголосовали. Мое предложение было отвергнуто. Уходя, я заявил, что все же на фронт поеду, на что председатель Комитета Эбенгольц угрожающе крикнул мне вдогонку: «Это нарушение дисциплины!»

Тогда же, поздно вечером, я побежал в казармы к товарищу Ананьеву, руководившему отправкой, и он зачислил меня в полк. Однако по дороге в казармы произошла любопытная встреча. Какой-то молодой человек окликнул меня по фамилии. Это оказался некий Фантл, член Поалей-Цион, сионистской партии, называющей себя рабочей, социалистической, которого я знал по Праге, как одного из моих учеников иврита, попавший в Россию, как и я, в плен. Одетый в новенький штатский костюм, упитанный, розовенький, он не преминул сообщить мне, что живет у богатых родственников. Но тут же, спохватившись при виде моей шинели и нагана, он набросился на меня. Упрекал меня за то, что я «служу» большевикам, русским, что забыл про «еврейское дело». Я, конечно, дал ему как следует сдачи, заявил, что он не социалист, а прихвостень буржуазии, и что мне с ним

разговаривать не о чем.

Отправка нашего полка на фронт происходила назавтра. Отъезд с Николаевского (ныне Ленинградского) вокзала. В зале первого класса состоялся митинг, я выступил с речью по-русски и по-немецки. Вдруг сзади подбегает ко мне кто-то грузный, обнял и стал целовать. Оказалось, это Бела Кун, только что прибывший из Петрограда. Тут же он произнес речь на мадьярском языке. Настроение было боевое. С песнями, криками «Да здравствует мировая революция!» на нескольких языках, тронулся наш эшелон.

Мы продвигались быстро вперед. На станции Бологое к нашему эшелону, состоявшему из одних теплушек, прицепили классный вагон. В сопровождении нескольких товарищей, я, которого в дороге бывшие военнопленные избрали командиром своего взвода, направился туда, чтобы проверить, в чем дело. В первом же купе мы увидели двух военных, элегантно, по-офицерски одетых, склонившихся над картой. Мои товарищи, как все военнопленные-красногвардейцы, были настроены крайне левацки, чуяли везде измену революции, требовали абсолютного равенства во всем, а тут сразу заподозрили шпионаж. Началась ссора, угрозы оружием, я должен был успокаивать их. Наконец, оба «шпиона» предъявили свои документы. Один из них оказался товарищем Литвином, членом ВЦИКа, комиссаром Чрезвычайного штаба обороны Петрограда, а другой – товарищем Хаханьяном, членом именно того Штаба в Великих Луках, в распоряжение которого наш эшелон как раз и направлялся!

Когда мы прибыли в Великие Луки, товарищу Литвину было поручено командование Себежским участком фронта. А меня избрали его помощником, начальником оперативного управления. Избрали, потому что в то время даже в армии руководителей на все ведущие должности избирали, что, конечно, было нецелесообразным, лжедемократическим, левацким перегибом, неправильным и вредным, как и антидемократический перегиб с обратным знаком, укоренившийся у нас начиная с власти Сталина, когда во все советские организации не избирают, а только голосуют.

Приказ, который мы получили, был «простой». Во что бы то ни стало удержать Себеж. Однако в Великих Луках (около 140 км от Себежа) никто не знал толком, где, собственно, находятся германцы. Поэтому той же ночью на паровозе тендером вперед с погашенными фонарями мы выехали – товарищ Литвин, я и несколько наиболее надежных красногвардейцев – с двумя пулеметами по направлению к Себежу. До станции Себеж мы доехали беспрепятственно и узнали, что германцы приостановили

несколько дней назад свое наступление на ближайшей станции Разиновской, находящейся за рекой того же названия, и что железнодорожный мост через эту реку разрушен.

Кроме нашего Московского пехотного полка, в нашем распоряжении были два эскадрона кавалерии и бронепоезд, вооруженный легкими орудиями, находившийся под командой петроградского моряка Цицерона. Однако я должен пояснить, что «полк», «эскадрон», «бронепоезд» – все это были лишь условные названия, количество штыков и сабель далеко не соответствовало им, а что касается «бронепоезда», то он состоял из так называемых «американских» длинных платформ с пушками и мешками с песком, и только паровоз и два вагона имели нечто похожее на броню. Но хуже всего было то, что за исключением наших пленных и небольшого количества солдат, служивших в старой царской армии, большинство наших красногвардейцев состояло из рабочей молодежи, никогда не принимавшей участия в боях, необстрелянной. Мы ограничились рекогносцировкой, установлением связи с нашими соседями, слева и справа, выставили дозоры. Своих красногвардейцев мы расквартировали в пустующих дачах, а сами с товарищем Литвином поселились прямо на станции, в вагоне службы пути.

Несмотря на отсутствие боев, или как раз поэтому, жизнь на станции Себеж была чрезвычайно напряженна, тяжела. Это было сплошное ожидание, непрерывное дежурство на железнодорожном телеграфе, днем и ночью, бессонница. Сохранить боевую готовность и дисциплину наших красногвардейцев не было легким делом. Под боком, всего в верстах трех от станции, было расположено местечко Себеж с еврейскими и литовскими лавченками, со сладкими медовыми коврижками и другими, еще более сладкими, соблазнами.

Наиболее выдержанными оказались красногвардейцы бронепоезда товарища Цицерона, – питерские рабочие, а также большинство наших военнопленных, а среди последних опять-таки выделялись своей сознательностью мадьяры и германцы. Но когда все это тянулось неделю за неделей, когда пайки все больше и больше сокращались, и жалованья все не было и не было, – красногвардейцы стали все чаще митинговать и притом все более бурно. И в то же время неприятель начал шевелиться. Его патрули неоднократно стали появляться на нашем берегу, а однажды германский разъезд показался в самом местечке. Завязалась перестрелка. Мы заключили, что германцы готовят новое наступление. Решили, что в таком случае мы нашими пушками разобьем лед на ближайших озерах, чтобы германцы не смогли обойти нас с тыла, и что также попытаемся взорвать их

артиллерийский склад в Разиновской.

Общее собрание красногвардейцев делегировало меня в Петроград за деньгами и боеприпасами, которых у нас было маловато. Я захватил с собой помощника. После разных мытарств в дороге, мне удалось получить и то, и другое необычайно скоро, всего в два-три дня, у товарища Мехоношина в Генеральном штабе. Не дожидаясь, пока будут погружены все эти шрапнели и гранаты – проследить за этим я поручил своему помощнику – я поспешил вернуться обратно, чтобы привезти столь желаемые деньги. В тогдашней валюте это была головокружительная, подлинно астрономическая цифра, и я получил эту сумму в новеньких, хрустящих, красно-оранжевых сорокарублевках, «керенках», большими листами. Как в безопасности доставить их? С большой предосторожностью, в уборной общежития, я обмотал этими листами под рубашкой грудь, туго перевязал веревкой.

Ехал обратно в теплушке, в жаре и тесноте, вокруг спали вповалку, а я с трепетом прислушивался, как мой своеобразный панцирь при каждом толчке шуршит и ломается, вздрагивал, просыпаясь, когда начинал дремать, и не переставал держать руку на нагане. После возвращения я узнал, что стычки на фронте участились, и что в одной из них двое наших красногвардейцев – оба австрийские немцы – были ранены и попали в плен к германцам. Те опознали их, зверски замучили и повесили на нашем берегу реки их изуродованные трупы.

А стрельба все учащалась. Приближалась весна, а с ней и оттепель, и мы пришли к выводу, что германцы не станут дожидаться, пока разнесет все дороги, и начнут новое наступление. Поэтому мы решили немедленно осуществить свой план, разбить пушками нашего бронепоезда лед на озерах. Однако как раз накануне назначенного дня канонады, в три часа ночи была получена телеграмма из Петрограда за подписью В. Д. Бонч-Бруевича о том, что заключен мир. Нам приказывалось немедленно приступать к переговорам с германцами о прекращении военных действий и об установлении демаркационной линии на нашем участке фронта.

Как только мне заспанная дежурная телеграфистка вручила эту депешу, я поднял товарищей Цицерона и Деева, члена Московского Совета. В приказе было ведь сказано «немедленно», следовательно, надо действовать. Товарища Литвина как раз не было, он уехал в Великие Луки. И поэтому я, как его заместитель, должен был взять на себя ответственность. Я решил, что в помощь возьму товарища Деева, ведь полагается, чтобы парламентеров было двое. Но такое дело не может обойтись без мандата. Однако у нас не было ни пишущей машинки, ни печати, которую товарищ

Литвин носил всегда при себе, в кармане. Что же делать?

Мы втроем вскочили на коней и, в сопровождении еще нескольких красногвардейцев-кавалеристов поскакали в город. Для меня, не привыкшего к езде верхом, эти три версты были мучительны. Здесь мы с трудом разыскали председателя городского Совета, захудалого портного Голуба, крепко спавшего в своей бедной хибарке. Мы разбудили его, потащили в канцелярию в Совете, где на четвертушке плохой серой бумаги, с большим трудом, одним пальцем, я выстукал мандат для себя (под псевдонимом Арношт) и для товарища Деева. Подпись Литвина на мандате вывел Цицерон, затем шла подпись председателя городского Совета, который к этому липовому документу приложил свою круглую печать.

Привожу здесь этот мандат, столь характерный для того времени. Его копия сохранилась у меня, а как – это тоже показательно. Когда в 1948 году меня в Праге арестовали, то, как водится, органы безопасности забрали буквально все, что нашли у меня на квартире, – не только мои рукописи, документы и библиотеку, но и одежду. После того, как отсидев три с половиной года в московских тюрьмах, я был реабилитирован, я обратился в ЦК КПЧ с просьбой вернуть мне мою библиотеку. И в самом деле получил назад хотя бы часть ее (с печатями ряда пражских библиотек на моих книгах), а также часть документов, среди которых находилась и эта копия. Впрочем, она воспроизведена и в книжке «Повернувшие штыки (Воспоминания военнопленного)», вышедшей в 1927 году в издательстве «Московский рабочий» (под фамилией К. Арношт), которым я тогда заведовал.

«Комиссар
Чрезв. Штаба Револ.
Обор. Чл. Всерос. ЦИК
И. Литвин
№ 123
5 марта 1918 года
Действ. Армия
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие предъявителям солдатам 85 пехотн. Запасн. полка Арношту и Дееву в том, что они являются парламентерами и уполномочены с германским командованием войсками, стоящими в направлении Себеж-Рожица, установить, так как состоялось подписание мирного договора, прекращение военных действий в данном участке обеих армий, что подписями с приложением печати удостоверяется.

Комиссар Чрезв. Штаба И. Литвин Председатель Совета И. Голуб»

С Цицероном мы договорились, что в случае, если мы не вернемся через 48 часов, он взорвет артиллерийский склад в Разиновской. В сопровождении горниста с белым флагом, мы вдвоем взобрались на паровоз. Поехали мы медленно в направлении Разиновской. За полверсты до разрушенного моста мы слезли с паровоза и пошли пешком прямо на германский пост, который был хорошо виден, потому что уже совсем рассвело. Против ожидания, ни горнист, ни белый флаг нам не понадобились. Стоявший на посту солдат нас даже не окликнул, нарушив правила устава. Он позволил подойти к нему совсем близко. И когда я заявил (товарищ Деев, не знавший немецкий язык, был все время осужден на молчание), что война кончилась, заключен мир, объявил, кто мы такие и зачем явились, то он, без разрешения своего разводящего, покинул пост и повел нас (наш горнист вернулся обратно) на станцию Разиновская.

По дороге этот немец, уже пожилой человек (по произношению я узнал в нем саксонца) по-дружески болтал со мной, прославленной германской муштры в нем не чувствовалось. Зато она имелась в полной мере у фельдфебеля, его начальника, вышедшего к нам на полотно навстречу. Он зыкнул на нашего добродушного саксонца: «Как ты, скотина, смел уйти с поста! Кого ведешь? Пленных, что ли, этих проклятых свиней-красногвардейцев!» И он толкнул товарища Деева. Но тут я резко обрушился на него, тем офицерским тоном, который был мне так хорошо знаком: «Вы! Как вы смеете! Где ваш начальник? Разве не видите? Мы парламентеры русской армии!» Это ошарашило фельдфебеля, и он вежливо пригласил нас войти в здание станции, где оставил нас даже без охраны.

Мы уселись. И шепотом договорились, что станем держаться гордо, даже надменно. Вошел какой-то офицер, старик, опиравшийся на палку, и вместе с ним наш фельдфебель. «Они, что ли, по-немецки говорят?», спросил он, обращаясь не то к нам, не то к фельдфебелю. А мы сидели, не двигаясь, словно не слышали, не заметили его присутствия. «Вы что… грабить… красногвардейцы… попались!», – крикнул офицер, стукнув палкой об пол. Я медленно поднялся, смерил его с ног до головы взглядом и спокойно сказал: «Во-первых, мы не попались, нас никто не поймал в плен, мы парламентеры. Во-вторых, мы не красногвардейцы, а пришли от имени русской армии. В-третьих, ни Красная гвардия, ни Красная армия не грабят, а защищают от грабежа русский народ».

Молчание. Наконец, офицер спросил у нас, собственно, у меня: «Вы – офицеры?» Я объяснил ему, что в нашей Красной армии никаких офицеров не существует, что имеются командиры частей, причем они избираются. «Ага, значит, вы все-таки красногвардейцы!», начал он снова кричать. «Нет! – прервал я его, повысив голос. – Ведь я вам уже пояснил, что мы парламентеры Красной армии, которая образовалась с января этого года. Заключен мир. Война кончилась, и мы пришли вести переговоры о демаркационной линии на этом отрезке фронта с вашим командованием. Вы обязаны доставить нас к нему».

Офицер в замешательстве заявил, что о заключении мира ему ничего не известно. «А вы проинформируйтесь, – сказал я, – вот наши документы». И я протянул ему наш мандат. Удивительное дело. Как только он увидел этот жалкий клочок бумаги, содержание которого – ведь по-русски он не понимал – оставалось для него неизвестным, офицера словно подменили. Не круглая ли печать имела это магическое воздействие? Почтительно вернул нам бумажку и пошел звонить в город Режицу (по-литовски Резекне), но вскоре вернулся. Извинившись, что придется немного подождать, пока будет подан паровоз (что мы приняли снисходительно), он пригласил нас позавтракать, от чего мы гордо отказались.

Одни в пустом вокзале, мы ждали долго. Наконец, офицер появился снова, попросил в пути не разговаривать, извинялся, потому что вынужден исполнить полагающиеся в таких случаях формальности. Фельдфебель принес повязки, завязал нам глаза, нас под руки вывели на перрон и усадили в вагон. Поезд тотчас тронулся. Когда повязки сняли, мы, двое безоружных, увидели, что находимся в обществе уже знакомого офицера и почти десятка вооруженных до зубов германских солдат. Трудно нам было не рассмеяться.

В Режице, перед тем, как нас высадили из вагона, нам опять надели повязки на глаза. Потом посадили в автомобиль вместе со штабным офицером-переводчиком, судя по всему, русским. Тут я почувствовал себя скверно. Говорить по-русски означало выдать себя. Каждый, хорошо знающий русский язык, смог бы немедленно узнать во мне иностранца. А говорить по-немецки тоже было негоже. Образованный немец мог легко уловить, что у меня тот особый акцент, с которым говорят в Праге. Поэтому я начал разговаривать с нашим любезным переводчиком по-французски. Тем не менее, я был вынужден ответить на его прямой вопрос, откуда я знаю так хорошо немецкий язык и почему говорю столь странно по-русски. Я сказал, что я астраханский еврей, и что я был в эмиграции в Швейцарии, в

Цюрихе, где изучал электротехнику.

Переговоры в штабе протекали без особых трудностей, потому что имелась налицо естественная демаркационная линия – река Разиновская. Однако эти деловые разговоры то и дело перемежались политическими, на которые нас вызывали сами германские офицеры, а за обедом политическая беседа развернулась вовсю. Я, разыгрывая из себя наивного, удивлялся тому, как этот превосходный обед в офицерском собрании вяжется с голодом, царящим в Германии. И когда нам разъяснили, что, конечно, солдаты получают другой обед, мы попросили, чтобы нас питали с ними, потому что в Красной армии командиры и красноармейцы питаются одинаково. Это наше заявление, равно как и высказанное мной убеждение, что революция – вещь заразительная, и что в Германии народ прогонит кайзера точно так же, как народ прогнал в России царя, крайне не понравилось господам офицерам. Лицо беседовавшего со мной генерала (кажется, его звали Штейнгардт) все перекосилось. «Этого никогда не будет! Германский народ любит своего кайзера!», произнес он громко, имея в виду прислуживавших за столом денщиков и стоявших в дверях часовых, к которым-то и была обращена наша агитация. Но добряк генерал ошибся. Это подтвердил не только ход дальнейшей истории, но уже тогда говорили об этом лица тех же солдат и ослабление дисциплины, которое мы наблюдали.

Нам отвели ночлег на квартире какого-то купца. К дверям, «для охраны», приставили двух часовых. Однако как только эти двое убедились, что нас никто не слышит, они начали жадно расспрашивать про русскую революцию, и хотели знать когда, по нашему мнению, война окончательно прекратится. Разумеется, я не жалел слов, а товарищ Деев постоянно перебивал меня, просил перевести ему о чем говорят и выражал свое сочувствие жестами. Всю ночь просидели мы так, беседуя за огромным пузатым самоваром. Один из наших часовых оказался рабочим из Хемница (ныне Карл-Маркс-штадт), членом профсоюза, слышал про Либкнехта. И сообщил нам по секрету, что как-то недавно ему попался в руки номер газеты «die Weltrevolution». Это наши красногвардейцы изыскивали способы, чтобы подкидывать ее германцам. Какой это меня наполнило гордостью!

А на другой день, когда мы обедали, на этот раз уже в городской комендатуре, и ели солдатский обед, какую-то странную бурду, саксонский Eintopf, солдаты то и дело старались показать нам свою симпатию, корчили рожи за спиной своего начальства, шептали нам вслед, как привет, слово Bolschewisten. Здесь, в Режице, я наблюдал еще одну сцену: под сильным

конвоем вели австрийцев и германцев, бежавших из плена, но не для того, чтобы вернуть домой, а на фронт, куда-нибудь во Францию. И тогда я вспомнил пленных из Павлово-Посадского лагеря. Представил, каким холодным душем подействовала бы эта картина на их грезы о возвращении домой.

Договор был подписан обеими сторонами. Один его экземпляр мы взяли себе, к нему в качестве приложения имелась карта с нанесенной на ней демаркационной линией. В договоре также торжественно заявлялось о прекращении военных действий обеими сторонами, что, как известно, германцы нарушили, начав весной и летом 1918 года новое наступление. Сегодня по этой демаркационной линии проходит граница между РСФСР и Литовской ССР. А договор, на котором красуется и моя подпись, «Арношт», хранится, возможно, где-то в архиве. После этого мы вернулись поездом на станцию Разиновская (опять нам завязывали глаза), а оттуда, на санях, по льду озера (зима стояла тогда крутая) на станцию Себеж.

Однако вскоре я должен был проститься со всеми и поспешить в Москву на Всероссийский съезд бывших военнопленных революционных социал-демократов интернационалистов. В Москве товарищи из нашего Комитета приветствовали меня более дружелюбно, чем они со мной прощались. Радовались и удивлялись тому, что я жив и здоров, потому что в газете «Беднота» было напечатано, будто германцы меня повесили. Но подлинная причина приветливой встречи состояла в другом. Перед съездом шла борьба между московским и петроградским комитетами за руководство организацией. Важен был каждый отдельный голос, имелись свои «правые» и «левые».

Я – советский гражданин

Началась систематическая эвакуация военнопленных, все думали лишь об одном – как попасть в первую очередь. Однажды ночью нас, членов Комитета, живших тогда в роскошном особняке Лихтенштейна на Поварской, срочно вызвали в Наркоминдел. Здесь заместитель Чичерина товарищ Иоффе показал нам телеграмму германского генерала Гоффманна, ультимативно требовавшего, чтобы члены нашего Комитета – в телеграмме мы все были названы поименно – были выданы германскому и австро-венгерскому правительствам. Для того, чтобы не возникли лишние осложнения, мы все в тот же день, 5 апреля 1918 года, получили советское гражданство. В Московском Совете товарищ Будзинский устроил так, что это гражданство нам было официально зачислено еще с 18 февраля, то есть с того дня, когда германская армия, нарушив перемирие, начала свое наступление. И соответствующее сообщение о том, что наш Комитет состоит из советских граждан, было послано генералу Гоффманну. В вопиющем контрасте с этим находится поступок Сталина, который в угоду Гитлеру в 1939 году выдал немецких коммунистов, заключенных в сталинских лагерях, в руки гестапо.

Съезд военнопленных интернационалистов, на который съехались представители со всех концов России, происходил в голубом зале Дома союзов. От имени ЦК РКП(б) выступил с приветствием Бухарин, стоявший во главе оппозиции «левых коммунистов», а в вопросе о вооружении военнопленных, который нас столь волновал, тоже занимал для меня лично неприемлемую позицию. И тогда, и позже я мною раз спорил с ним по различным вопросам. Это был типичный интеллигент старой русской чеканки, человек необычайно разносторонне эрудированный, с большим творческим дарованием, однако одновременно удивительно путанный своей собственной ученостью. А в личном общении – я бывал у него дома в гостинице «Националь» – он бывал мягким, искренне человечным, остроумным, – нельзя было не полюбить его.

Я несколько раз был свидетелем того, как Ленин, несмотря на то, что он ни на волос не отступал от своей идейной принципиальности (которая, в других случаях, часто переходила в нетерпимость), несмотря на то, что речь шла о жизни или смерти Советской Республики, ругал «Бухарчика» (так, любя, называл его он и вся партия), как проказничающего сынка. Бухарина, который, конечно, был преданнейшим коммунистом, а отнюдь не «врагом народа», но который тяжело заблуждался – как

и неисчислимо много других борцов старой партийной гвардии – Сталин злодейски убил, гнусно оплевал, оклеветал их память.

Съезд проходил чрезвычайно бурно и кончился расколом. Большинство, во главе с Бела Куном, который также был «левым коммунистом», голосовало за то, чтобы вести агитацию за массовое немедленное возвращение пленных на родину и превращение местных социалистических партий в коммунистические. Меньшинство съезда, к которым принадлежал и я, стремилось доказать нереальность этой политики, указывая на то, что в большинстве случаев из подобного превращения ничего другого, кроме формального переименования не получится. Мы предлагали вести агитацию за помощь советским коммунистам в гражданской войне, а на Запад посылать лишь проверенных товарищей.

Наш московский Комитет перестал существовать. Я перешел на работу в Штаб Интернационального Легиона, находившийся в Лесном переулке. Легион состоял как из бывших военнопленных, так и из китайцев (самых дисциплинированных и бесстрашных), но в нем было и несколько шведов и американцев. Землячка и Бухарин, несмотря на то, что я не был, как они, «левым коммунистом», дали мне рекомендацию, и в апреле 1918 года я стал членом РКП (б). Тогда я окончательно отошел от работы среди военнопленных и стал работать в Военном комиссариате Хамовнического района города Москвы. Занимался я формированием полков Красной Армии.

Главным образом, я обучал рабочих обращению с пулеметом «максим». А когда 6 июля левый эсер Блюмкин убил германского посла графа Мирбаха, в расчете вызвать этим войну с Германией, и эсеры подняли мятеж, я, вместе со всеми работниками комиссариата и райкома партии, принял участие в подавлении мятежа.

Итак, во многих отношениях в моей жизни наступил новый, решительный перелом. Прежде всего, я стал теперь членом партии и, тем самым, не только должен был подчиняться ее дисциплине, но начал разделять ответственность за ее политику. В то время это не было лишь формальным делом, лишь пустой фразой, как это стало позже. Тогда еще рядовой член партии в самом деле участвовал в формировании партийной политики. И каким бы я ни был тогда еще политически незрелым, неопытным и теоретически слабо обученным, я все-таки понимал это. Однако я не уяснил себе (не только тогда, но и в течении многих последующих лет), что партия, с которой я связал себя, меняется, причем, на беду, не к лучшему.

Я не только не предвидел, но и не видел, не желал видеть то,

что проникновенно высказал не ученый, не марксист, а выдающийся писатель Франц Кафка, идеалист, гениально предугадавший ужасы нашего тюремного века, века насилия и лжи, повсюду поработившего человеческую личность. «Чем дальше распространяется наводнение, тем более мелкой и мутной становится вода. Революция испаряется, и остается только тина новой бюрократии. Оковы истерзанного человечества состоят из канцелярской бумаги… В конце всякого подлинно революционного развития появляется Наполеон Бонапарт…». И по поводу наблюдаемой им рабочей демонстрации: «Эти люди столь самоуверенны, самонадеянны и в хорошем настроении. Они владеют улицей и поэтому полагают, что владеют миром. В действительности они, однако, ошибаются. Позади них имеются уже секретари, чиновники, профессиональные политики, все те современные султаны, которым они подготовляют путь к власти».

В самом деле, такова до сих пор историческая судьба всех социальных революций, всех революционных партий, начиная с французской конца XVIII века, и кончая китайской, кубинской или югославской. В КПСС этот процесс доведен до конца: партия превратилась в своего рода иезуитский орден. Человек может быть принят в нее, но он не может из нее добровольно выйти, а должен – хотя и не приемлет больше ее политику – лгать, лицемерить, будто он одобряет ее, если только не желает навлечь на себя и на членов своей семьи тяжелые репрессии. Да, не предвидел я это тогда, в 1918 году.

Затем, в силу сложившихся условий, я не мог даже помышлять о том, чтобы вернуться домой в Прагу, разве только нелегально, но и это означало бы попасть с большой вероятностью прямо в лапы австро-венгерских властей, которые судили бы меня как изменника. Поэтому мне пришлось остаться в России, не говоря уже о том, что я искренне желал помочь русской социалистической революции. Надо было остаться здесь до наступления революции на Западе, во что мы все, вслед за Лениным, свято верили.

Однако мировая революция, как одновременный, стремительный акт – как мы тогда наивно представляли ее себе – не наступила. Она растянулась на целый, многолетний, неопределенно долгий период войн и революций. Причем, хотя это и привело к крушению монопольной гегемонии капитализма, нигде это не принесло победу социализма, а установило лишь новый вид порабощения народа привилегированной кастой. А на моей родине, ставшей с 28 октября 1918 года самостоятельной, но буржуазной республикой, революция вовсе не дала коренных социальных перемен, хотя и установила некоторые

демократические свободы.

Иногда меня спрашивают, скучаю ли я по своей родине, не жалею ли, что сменил Прагу на Москву. На этот вопрос трудно ответить. Конечно, за столько лет я свыкся с Москвой, с Россией, с Советским Союзом, с его природой, с образом жизни, узнал многих замечательных людей и сдружился с некоторыми из них, мне нравится ряд черт характера русского и советского человека и, наконец, мне, понятно, дорого то, что я сам вложил кое-что в здешнюю жизнь, не говоря уже о том, что здесь у меня родились сыновья, дочь, внуки. Когда я с 1945 по 1948, а затем с 1959 по 1962 годы жил в Праге, то не мог привыкнуть к известной мелочности, расчетливости и мещанству иных западных людей. Однако в то же время я скучаю по Праге, по Чехословакии, глубоко люблю чешский народ, его культуру и с невыразимой болью думаю о его нынешней незавидной судьбе. И как бы мне ни была мила Россия, Москва, я все же ощущаю ее быт и уклад как евразийский, – еще не европейский, но уже не азиатский, как причудливую помесь обоих.

Всего четверть года спустя после того, как я вступил в партию, она стала единственной правящей партией в стране. Этим было положено начало перерождению диктатуры пролетариата сначала в диктатуру партии, которая превратилась затем в диктатуру партийной бюрократии, и, наконец, в диктатуру единственной, причем порочной, преступной личности. При этом, по мере концентрации власти ее террористический характер чудовищно усиливался. Ленин в своей холеричности допустил в июле 1918 года непоправимую ошибку. На авантюру левых эсеров он ответил изгнанием их всех из органов советской власти. И это несмотря на то, что часть ЦК левых эсеров осудила убийство Мирбаха и мятеж и заявила о своей готовности продолжать сотрудничать с большевиками.

Став монопольной партией, РКП(б), а затем тем более ВКП(б) и еще больше КПСС фактически наглухо закрыли возможность всякой критики своих ошибок. Всякая критика стала считаться враждебной, призывы к критике и самокритике (если она не затрагивала лишь «стрелочников») лицемерны. Конечно, многопартийная система, существующая в капиталистических странах, тоже не обеспечивает демократии, а тем более та фиктивно-многопартийная система в так называемых социалистических странах. Более того, она создает видимость ее, служит маскировкой и отдушиной. Но все же она является тормозом худших проявлений тоталитарного режима.

Секретарем Хамовничсского районного комитета партии была Мария Ивановна Иванова. В те годы секретарь не являлся,

как сейчас, политическим руководителем районной организации, а техническим помощником ее председателя. Маруся, как ее все звали, была примерно одного возраста со мной, невысокого роста миловидная, белокурая девушка. Она окончила высшие женские курсы, была простым, сердечным, очень чутким человеком. Ее отец работал мастером на заводе швейных машин Зингера в Подольске. Старший ее брат, Владимир Иванович, не закончивший университета студент-медик, был профессиональным революционером, видным партийным работником. Его жена. Катя Белая, еврейка, как и он, член партии с дореволюционным стажем, прежде работница-швея, а потом партийный работник, была прекрасным агитатором. Другой Марусин брат, Василий, моложе Володи, имел, как и она, склонность к писательству. А Марусина сестра Лидия, на два года моложе ее, окончила Тимирязевскую сельскохозяйственную академию по животноводству, однако работала не агрономом, а в комсомоле.

Мы с Марусей полюбили друг друга и поженились. Я стал бывать довольно часто в Подольске, в бревенчатом, уютном домике ее родителей, очень полюбил Марусину мать, сердечную простую женщину. Меня влекла туда и библиотека Володи, хранившаяся у него здесь с дореволюционного времени. Я одолжил у него сначала работу Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», а затем стал брать одно марксистское сочинение за другим и зачитываться ими.

Весной 1918 года в стране разразился тяжелый продовольственный кризис. В таких городах, как Москва, царил подлинный голод. Вследствие отказа кулаков продавать государству зерно по твердым ценам, не хватало самого необходимого – хлеба. Развелась спекуляция, мешочничество, партия была вынуждена организовать продовольственные отряды для того, чтобы хоть частично улучшить положение рабочих. Один такой немногочисленный рабочий продотряд в богатую хлебом Саратовскую губернию, снаряженный Хамовническим райкомом, мне пришлось возглавить. Должно быть потому, что он направлялся в тогдашнюю республику немцев Поволжья, – товарищи решили, что с немцами я смогу легко договориться. Вот мы с Марусей и поехали летом в это своеобразное свадебное путешествие.

В Марксштадте было нетрудно найти применение моему знанию немецкого языка, поскольку партийные и советские работники владели литературным языком. Но в деревнях, на хуторах мне было не так уж легко договариваться с крестьянами, говорившими на швабском диалекте. Это кратковременное

пребывание здесь увенчалось успехом – хлеб мы привезли, вагон или два, что, понятно, было лишь каплей в море.

Осенью 1918 года мы записались добровольно на фронт против «атамана войска Донского» генерала Краснова. На фронте, проходившем недалеко к югу от города Лиски, важного железнодорожного узла на Дону, меня назначили секретарем городского Ревкома. В этой богатой хлебом области казаков и зажиточных крестьян наше положение было очень трудным. Большая часть населения сочувствовала не нам, а белым. Вскоре стало ясно, что нашим слабым силам, недостаточно вооруженным и неопытным в боях, против которых сражалась не только белая армия, но и многочисленные местные разбойничьи банды, не удастся удержать Лиски, несмотря на мужество и революционный энтузиазм наших бойцов, в немалой степени рекрутировавшихся из рабочей и деревенской бедноты. К тому же сама линия фронта была здесь неудачной: она каким-то языком чересчур выпирала вперед. Однако командование нашей армии под начальством Троцкого вело авантюристическую игру.

Троцкий прибыл к нам на фронт, велел созвать митинг и выступил с речью. Оратор он был блестящий, французского склада. Он требовал, чтобы мы удержали Лиски «во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило». И он обещал, что немедленно вышлет подкрепления и боеприпасы. В беседе, последовавшей затем с членами Ревкома, он только повторил то же самое. А на высказанные мной сомнения, реагировал лишь знакомым мне по первой встрече криком. После беседы Троцкий, не задерживаясь больше, уехал на своем личном поезде в Воронеж. А через сутки нас отрезали. Воронеж пал, фронт передвинулся на сотни и больше километров на север. С тяжелыми боями мы были вынуждены отступать на Северный Оскол никуда не годными дорогами, при плохой погоде начинающейся зимы. Мы несли большие потери, которых можно было избежать, не будь вздорного самодурства властолюбивого Троцкого.

Да, Троцкий был такой же деспот, как Сталин, и если бы вместо Сталина он пришел к власти, то разница состояла бы разве только в том, что он проводил бы свою террористическую диктатуру менее азиатскими, с виду более европейскими «цивилизованными» методами. Но весь вопрос в том, всплывают ли такие «сильные личности» как Троцкий и Сталин случайно, или же всякая революция закономерно кончается своим термидором, неизбежно порождает их. А еще более важен вопрос, сможет ли вообще человечество добиться когда-нибудь в будущем подлинной и прочной демократии, истинной власти народа, обеспечивающей каждому человеку соблюдение его прав, и как

этого достичь.

Здесь же я упомяну сразу о третьем случае, когда мне пришлось иметь дело с Троцким. В 1927 году, как член ЦК МКК, на совместном заседании МКК и ЦКК, я голосовал за исключение Троцкого, вместе с другими членами троцкистско-зиновьевской оппозиции, из партии. Но тогда я не видел его, так как на заседание он не явился. Разумеется, я не представлял себе тогда, что Троцкий и другие действительные, равно как и мнимые, оппозиционеры, будет Сталиным ликвидирован физически, злодейски убит из-за угла.

Из описанной выше невеселой Лискинской эпопеи мне ярко запомнился один эпизод, вероятно, вследствие своей жуткой драматичности. Во время нашего отступления, которое правильнее было бы назвать бегством, в селе Репьевке, через которое мы проходили, и где остановились для короткого отдыха, произошло следующее. На площади появился один из наших красноармейцев, бывший военнопленный австриец Браун, который вел перед собой старика, с виду не то попа, не то пономаря. Вдруг Браун выхватил наган и, не обращая внимания на мой окрик «Остановись!», выстрелил в него в упор. Как Браун потом утверждал, он, якобы, застал попа, когда тот, с колокольни, подавал полотенцем сигналы преследующим нас казакам. Проверить, так ли это было на самом деле, или же Браун поддался шпиономании, или был просто садистом, для которого убить человека – наслаждение, было невозможно. Мы отняли у Брауна оружие, приставили к нему караульного, объявив его арестованным, и собирались судить его за самосуд. Но осуществить это мы не смогли, так как пока мы добирались до Старого Оскола, где наш фронт снова стабилизировался, Браун скрылся. А я все еще вижу перед собой этого убитого старика, лежащего на дороге в снегу и крови, его длинные седые космы.

Разговор с Лениным

Мы вернулись с Южного фронта и начали снова работать в Москве, на этот раз в Басманном райкоме партии. Меня избрали его членом и одновременно на районной конференции членом Московского Комитета партии. И тогда я пережил самую незабываемую встречу в своей жизни. Было 1 мая 1919 года. Во главе традиционной демонстрации шагали мы, члены МК, неся красное знамя. А потом остановились на Красной площади, там, где сегодня находится мавзолей. Стены кремля были расписаны пестрыми красками и лозунгами на разных языках. Здесь стояли члены ЦК и среди них Ленин, который оживленно беседовал то с одним, то с другим товарищем. Секретарь Краснопресненского райкома Гриша Беленький, внезапно схватил меня за рукав моей длинной кавалерийской шинели и потащил меня, сопротивлявшегося, к Ленину. «Владимир Ильич, вот товарищ Кольман, член МК, первый член МК – интернационалист!» – сказал он Ленину, с которым находился в близких отношениях со времен подпольной работы.

Я был ошеломлен, ужасно стеснялся. А Ленин немедленно прекратил разговор с каким-то товарищем и повернулся ко мне. По своей привычке, он сразу взял меня за отворот шинели и вроде притянул к себе. Сначала, когда он узнал от меня, что сравнительно недавно я прибыл с Южного фронта, он начал расспрашивать про фронт. При этом его наиболее интересовало настроение красноармейцев. Посмотрев на меня с улыбкой, он спросил, на каком участке фронта я воевал, и что там произошло. Я ответил, что на Воронежском, что мы потерпели поражение, потеряли Лиски.

Ленин наклонил голову, задумался, прищурив глаза, и начал расспрашивать о причинах. Он настаивал, чтобы я без прикрас описал полную правду, и я рассказал о недостатке живой силы и боеприпасов, о хаосе в командовании, о нерациональной линии фронта, о личном вмешательстве Троцкого. Ленин реагировал на это лишь несколькими секундами хмурого молчания.

И, торопясь, – ведь начиналась демонстрация! – Ленин перешел к другой теме. Прага! Его лицо прояснилось, как будто он вновь увидел наш прекрасный город, снова переживал январь 1912 года, партийную конференцию на Гибернской улице. Он назвал чешских социал-демократов старой Австро-Венгрии. Был хорошо осведомлен о том, что происходит в Чехословацкой республике. Называл имена Модрачека, Антонина Немеца, Соукупа, Шмераля. Он не высказывался ни об одном из них с

особой похвалой. При этом он употреблял неоднократно такие нелестные эпитеты, как «оппортунисты», «шовинисты».

Третьей темой этой беседы, которая длилась свыше двадцати минут, была наука, просвещение. Ленин осведомился о моей профессии, чему и где я учился. И когда услышал, что я математик и учился в Карловом чешском университете и в Чешском высшем техническом училище, повернулся к своей жене Надежде Константиновне Крупской, стоявшей тут же неподалеку: «Вам в Наркомпросе (в Народном Комиссариате Просвещения, членом коллегии которого она являлась) следовало бы использовать этого товарища, – сказал он скороговоркой. – Он математик, имеет европейское университетское образование, знает несколько языков. И он член МК».

Но я собрался с духом и выпалил то, что было мной уже много раз обдумано: «Идет гражданская война, враг силен, надо сражаться, революции нужны солдаты. А у меня хоть и неважная, австрийская, но все же какая-то офицерская подготовка и известный опыт войны». Но Ленин пылко возразил: «Разве просвещение, образование, наука – не тот же фронт? Разве мы, коммунисты, не везде солдаты революции?» Он произнес это без малейшего пафоса, не как красивую фразу, а совершенно естественно, и одновременно с упреком.

Между тем, Надежда Константиновна подошла ко мне и начала спокойно, по-учительски тихим голосом, но настойчиво объяснять, почему фронт просвещения так важен. И попросила меня дать ей мой номер телефона – сама записала его себе в книжечку – и обещала, что позвонит мне. В это время мимо проехало несколько грузовиков с детьми-сиротами из детдомов. Они махали красными флажками, а Ленин кепкой отвечал им, и про все остальное забыл. Я воспользовался этим и незаметно ретировался. А через много лет несколько снимков этого утра подарил мне товарищ Сорин, тогда директор института Маркса-Энгельса-Ленина. Среди этих снимков был один, на котором Ленин держит меня за отворот шинели, но когда в 1948 году меня посадили, этот снимок и сам негатив в институте уничтожили – точно по Оруэллу. Подумаешь, снимок! Был уничтожен и сам директор института Сорин.

Но вот что произошло дальше. Чуть ли не на следующий день Надежда Константиновна позвонила – причем сама, не через своего секретаря – и пригласила меня к себе. Не на работу в Наркомпрос, а на квартиру! Идя в Кремль, я страшно волновался, в самом деле, как же так, представьте только, я иду домой к Ленину! Вождю мировой революции! Но стоило мне войти к ним и увидеть, как скромно они живут, ощутить сердечное, теплое,

человеческое отношение, как я почувствовал себя так, будто знаю их уже давным-давно. О простоте и скромности говорили многие, да говорят и сейчас. Но если присмотреться поближе, то окажется, что слишком часто способ жизни и поведение говорящих это расходится с их словами. Они сановники, давно живут при коммунизме, их не трогает, что вокруг миллионы людей все еще прозябают в бедности. Но Владимир Ильич и Надежда Константиновна были подлинно непритворно скромны и просты, иначе они вообще и не представляли свою жизнь. Их демократизм не был поддельным, фальшивым, наигранным, не был только жестом напоказ.

Ленина я застал в жилетке, поглощенного работой. Что-то писал, подал мне только руку и снова склонил голову над круглым столом. Надежда Константиновна беседовала со мной во второй комнате, из тех двух единственных небольших, в которых они жили. Хорошо помнится, что она говорила о громадных трудностях, возникших от того, что старая дореволюционная интеллигенция в своем большинстве не желает служить пролетарской власти (многие предпочитали продавать на улице спички), а часть ее, если бы даже хотела, не умеет передавать свои знания народу. А ведь потребность в знаниях огромна. Нужно ликвидировать неграмотность десятков миллионов, научить их читать, писать и считать. Одновременно надо из рабочей и крестьянской среды воспитать учителей, врачей, инженеров, агрономов, специалистов всех областей знания и всех уровней, вплоть до самых высоких. Однако мне, зеленому юнцу, понимавшему политику лишь весьма поверхностно, с моими романтическими настроениями, казалось немыслимым засесть в канцелярии, заниматься там в такое время мирным, как я считал, «бумажным делом».

В Басманном районе я был членом «тройки» ЧК. Мы производили ночные обыски на квартирах буржуазии, искали золото и драгоценности, которые, согласно изданному декрету, полагалось сдавать государству. И довольно часто мы находили их спрятанными в самых неожиданных местах, но почему-то чаще всего их прятали в цветочных горшках. Но мы обнаруживали и нелегально проживающих личностей, например, белых офицеров, политических контрреволюционеров, спекулянтов и подозрительных иностранцев. Их мы арестовывали, предварительно в нашем Штабе допрашивали (тут пригодились мои знания языков), и отправляли в ВЧК на Лубянку, к товарищу Дзержинскому. Так я получил возможность узнать этого выдающегося революционера, который объединял в себе беспощадную ненависть к классовым врагам с подлинным

гуманизмом.

Это мое положительное суждение о Феликсе Дзержинском основано на моих личных наблюдениях и впечатлениях. Оно не просто воспроизводит тот образ, который нам рисует советская пропаганда, хотя, в основном, и совпадает с ним, поскольку эта пропаганда, которая почти всегда распространяет ложь и полуправду, иногда – как в данном случае – как мне кажется, все же не врет. Разумеется, я могу ошибаться, и, кроме того, моя нынешняя оценка не субъективных свойств Дзержинского, а объективных последствий его деятельности совершенно другая, чем тогда, более чем полвека назад.

Однако, оценивая его так, я оставляю в стороне, что он, наряду со своей работой по борьбе с контрреволюцией, основной работой, широко организовал спасение беспризорных подростков, этих несчастных жертв времени гражданской войны и разрухи, пытаясь вернуть их к нормальной честной жизни. Я исхожу из того, чему был сам свидетелем: как Дзержинский требовал от сотрудников ЧК обращаться с арестованными человечно, как строго наказывал и беспощадно изгонял из ЧК тех, – и, нечего скрывать, такие, разумеется, были из-за царившей крайней озлобленности и белых и красных, низкого интеллектуального уровня части чекистов, а также потому, что в ЧК проникли примазавшиеся к революции авантюристы, корыстные и уголовные элементы, которые допускали жестокости, пытки на допросах и т. п. Сравнивать Дзержинского (а также и Менжинского) с такими палачами, как Ягода, Ежов и Берия может только преднамеренный лжец, либо ослепленный фанатик.

Конечно, как я понимаю теперь, и чего не понимал тогда, красный террор, а в особенности расстрелы заложников, подготовили всю ту страшную полосу десятилетий, когда погибли десятки (два или три?) миллионов людей. И хотя и верно, – в этом я не сомневаюсь, – что Дзержинский, не в пример Сталину, действовал bona fide, в убеждении, что единственно так можно спасти дело социалистической революции – это не снимает с него вину. Тем не менее это не значит, что он был изувером, как это рисует предвзятая литература антикоммунизма. Вот почему я не могу не сокрушаться над тем, что гениальный писатель и несгибаемый защитник человечности А. И. Солженицын, некритически доверившись подобным писаниям, в «Архипелаге ГУЛаге» необъективно охарактеризовал Дзержинского. Подлинной трагедией, вредно отзывающейся на деле борьбы за человеческие права, я считаю односторонность, исступленность обличителя, которая лишь на руку тиранам, а также приводит к тому, что от него отходят многие, в остальном с ним

единомышленники и «однополчане», и это в то время, когда так нужно сплочение всех сил, борющихся против тоталитаризма.

Но хотя все это, как я уже отметил, соответствовало больше, чем просветительская деятельность, моим тогдашним представлениям о революции, я все-таки – по-видимому, благодаря увещеваниям Ленина и Крупской – не отказался полностью хотя бы от кое-какой популяризаторской работы. Я составил программу лекций по естественнонаучным основам марксистского мировоззрения и начал по ней читать лекции для партийных работников нашего района, а также на обувной фабрике Швейпрома и для рабочих Лефортовского трамвайного парка. Конспект этих лекций был позже, в 1925 году, издан Агитпропом МК РКП (б) в виде брошюры. Это была одна из первых моих публикаций на русском языке. Теперь я уже не переставал заниматься партийным просвещением, философией и методологическими проблемами и историей естествознания и математики.

В середине мая 1919 года, когда генерал Юденич, при поддержке английского флота и авиации, начал свое первое наступление на Петроград, Московская партийная организация обратилась к рабочим, чтобы те пришли на помощь находившемуся в опасности городу. В каждом московском районе записывались добровольно на фронт тысячи рабочих. Разумеется, и я вызвался, и меня назначили начальником нашего Басманного районного военного отряда. Все происходило в такой спешке, что только уже в поезде я установил, что у некоторых из добровольцев слишком плохое состояние здоровья, чтобы выдержать фронтовые тяготы, а многие никогда не держали винтовку в руках.

Я доложил об этом начальнику нашего эшелона и предложил отправить обратно домой всех, кто не подходит для боя. Мое предложение было отвергнуто. В Петрограде нас в Смольном пламенной речью приветствовал блестящий оратор товарищ Зиновьев. Когда он кончил, я подошел к нему с тем же предложением, но никакого понимания не встретил.

Весь наш московский отряд принял участие в боях Береговой группы Красной армии вместе с кронштадскими моряками, близ Ораниенбаума (ныне Ломоносов). Мы несли тяжелые потери. Непригодные для фронта люди стали для нас только обузой. Однако при поддержке Балтийской эскадры, эти бои окончились в конце июня падением фортов Красная Горка и Серая Лошадь, сданных мятежниками белым, а затем и полным разгромом врага. В этих боях приняли участие также и бывшие наши военнопленные, а среди них и чехи, и словаки, и они сражались

героически.

14 месяцев Восточного фронта

Летом 1919 года мы с Марусей заявили о своем желании отправиться на Восточный фронт, на борьбу против «верховного правителя» адмирала Колчака и чехословацких легионеров. Штаб Востфронта находился в то время в Симбирске (ныне Ульяновск). Сразу после прибытия туда меня назначили инспектором Политотдела Востфронта, а Марусе поручили работу в Политотделе по журналистской части.

Тут же я получил трудное задание. Мне следовало выяснить, что происходит в городе Воткинске, откуда доходили тревожные известия. Воткинск, расположенный на реке Каме, притоке Волги, на расстоянии свыше 400 км по прямой линии на северо-восток от Симбирска, город, известный своим металлообрабатывающим заводом, находился на левом фланге нашего фронта. Товарищ Викторов, начальник Политотдела Востфронта, напутствуя меня, советовал быть осторожным. «Из Воткинска уже один наш инспектор, которого я послал туда разобраться в тамошнем положении, так и не вернулся. Связь с Воткинском прервана, начальник нашего отдела тыла Воробьев, который был назначен в Воткинск, не дает о себе знать. Может быть, Воткинск находится в руках какой-нибудь банды. Впрочем, тут имеется лагерь военнопленных, и от них вы, наверное, сможете многое узнать».

Но я узнал все существенное уже в дороге. Чем ближе к Воткинску, тем эти сведения становились хуже. Оказалось, что как только Воробьев появился в Воткинске, он объявил себя анархо-коммунистом. С группой бандитов, которую он собрал вокруг себя, он уничтожил партийные и советские органы, красное знамя сменил на черное и начал грабить и насиловать. В город его заставы впускали всех беспрепятственно, но из города никого не выпускали. Время от времени они проводили нападения на соседние деревни, «снабжались». Воткинский завод прекратил работу (если не считать изготовление зажигалок, самогонных аппаратов и тому подобного «ширпотреба»), зато было организовано массовое производство самогона.

Во всем этом я убедился в Воткинске собственными глазами. У меня хватило ума понять, что было бы сумасшествием явиться к Воробьеву и начать увещевать его. Поэтому я ограничился только собиранием информации о силах и вооружении, которыми он располагает.

Но при этом я допустил ошибку, которая чуть не стоила мне жизни. А именно, я направился было в лагерь бывших военнопленных, находившийся тут же, на окраине города, – хотел

проверить с помощью пленных подробности дислокации воробьевской банды. Но лагерь крепко охранялся, я в него так и не попал, и мне удалось уйти от двух, изрыгавших ругательства субъектов, еле державшихся на ногах, а потом спрятаться в угольной барже, с которой я счастливо и вернулся в Симбирск. Так прямо с баржи, черный, как трубочист, доложил я товарищу Викторову о положении в Воткинске и рассказал о моих злоключениях. Туда послали бригаду, которая быстро покончила с воробьевской «коммуной» и вновь установила советскую власть.

Меня и Марусю из Симбирска направили в 5 армию, в ее политотдел. В течение 14 месяцев вместе с армией мы прошли весь путь наступления против Колчака и чехословацких легионеров до Иркутска и еще дальше до Верхнеудинска (ныне Улан-Удэ, столица Бурят-Монгольской Автономной Республики) против барона Унгерна. Об этом походе, проходившем в направлении Великой Сибирской магистрали, в котором наша армия разбила наголову сильного врага, щедро снабжавшегося «союзниками», державами Антанты (сами белогвардейцы иронически пели: 'Табак английский, мундир японский, правитель омский!»), я в состоянии привести лишь немногое. Один за другим мы освобождали города: Самару (ныне Куйбышев), где я, как уже описал это, побывал раньше, Уфу, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск, Новониколаевск (теперь Новосибирск), Ачинск, Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск. В армии я занимал различные посты. В качестве пропагандиста политотдела армии я принял участие в бою за Челябинск. Этот эпизод помнится мне довольно отчетливо.

Мы захватили город, однако линия фронта все еще проходила недалеко на восток от него. Я направился проводить политзанятие в железнодорожное депо, расположенное в стороне от города. Приехал туда на извозчике, но в дороге где-то начали стрелять, и извозчик отказывался ехать дальше, он довез меня в депо лишь под угрозой моего парабеллума. В самый разгар занятий на горизонте появилась группа неприятельской конницы, вскачь несшейся к нам. Значит, белые на каком-то участке прорвали фронт.

В депо началась паника, но у некоторых рабочих, не больше, чем у двадцати, были винтовки, и здесь же имелся и пулемет, мой знакомый «максим», к счастью исправный. Были и патроны, правда, не больше одного ящика. Моментально я расставил всех вооруженных рабочих, другим велел укрыться, а сам залег за пулемет, приказав стрелять не раньше, пока не начну я, причем целиться в лошадей.

Подпустив – как нас учили в будейовицкой школе –

бесприцельно стрелявшую кавалерию противника на близкое расстояние, мы внезапно угостили ее настолько здорово, – немало лошадей и ездоков было убито или ранено, многие лошади взбесились, – что она поспешно повернула и уехала обратно. За это меня представили к ордену Боевого Красного Знамени. Но, как я, так и позже начальник политотдела армии Литкенс, от награды отказались, – в то время среди части коммунистов было распространено настроение, что мы сражаемся за революцию, а не ради почестей.

Долгое время я был начальником армейской советско-партийной школы. Вместе с Поармом-5 наша школа продвигалась от города к городу по мере того, как они освобождались, все дальше на восток. В эту школу мы набирали молодых, способных, более или менее грамотных красноармейцев, изучавших здесь в течение двух-трех месяцев основы нашего мировоззрения, а также партийного и советского строительства. Мы готовили их для работы в партийном и советском аппарате освобожденных от Колчака областей Сибири. Жили они вместе в общежитии, а так как их общеобразовательный уровень был невысок, то проходили кое-что и по географии, истории, естествознанию и литературе.

Метод обучения был также приспособлен к степени их подготовки. Кроме лекций, важнейшие занятия были групповые, проходившие здесь же в общежитии. Курсанты были разбиты на небольшие группы с руководителем во главе, прорабатывавшим с ними прочитанный лектором материал и основательно знавшим каждого курсанта в отдельности. Штат руководителей был постоянный, между тем как в качестве лекторов, кроме двух-трех также штатных работников школы, мы привлекали работников советских и партийных учреждений того города, где школа как раз находилась, а также и Сибревкома и Поарма.

Из тех многих выдающихся товарищей, с которыми я близко познакомился во время моей работы в 5 армии, я прежде всего помню председателя Сибревкома Ивана Никитича Смирнова, седого, высокого, худощавого человека, начальника сибирских партизан, вероятно самого храброго из людей, которых я когда-либо знал, старого большевика, прошедшего через царскую каторгу, всесторонне образованного, с большим кругозором – и, конечно, погибшего в сталинской мясорубке. Помню и командовавшего 5 армией замечательного полководца Тухачевского (как известно, также погибшего в 37 году по приказу Сталина), с которым я хотя и не был близко знаком, но чьи всегда сжатые, деловые, строго логические и всегда творчески-оригинальные выступления на заседаниях Реввоенсовета меня восхищали. Могу назвать еще имена членов Сибревкома –

Гончарова и латыша Спундэ, выдающегося экономиста, впоследствии директора Госбанка, а затем смещенного на «пост» одного из многочисленных кассиров ГУМа, где он имел возможность на денежных знаках любоваться своей подписью.

В конце июля или начале августа 1919 года, вскоре после занятия нами Челябинска, туда вместе с Поармом перебралась и наша Совпартшкола, и именно здесь мы впервые встретились с Валентином Ивановичем Хотимским. Он руководил тогда Агитпропом только что организованного Челябинского парткома, пользовался славой хорошего докладчика по «текущему моменту». Естественно, что наша школа часто приглашала его выступать у нас.

Однако мое близкое знакомство с Хотимским началось гораздо позже. В 1929 году, работая в Агитпропе ЦК партии, я, как помощник заведующего этим отделом, занимался проблемами естественных наук. Хотимский был тогда научным сотрудником Коммунистической академии. Комакадемия представляла собой научно-исследовательское учреждение при ВЦИКе, созданное для того, чтобы развивать на диалектико-материалистической основе общественные и естественные науки. Этим она должна была противостоять Академии Наук, от которой при тогдашнем ее составе нечего было ожидать. Поскольку Хотимский с 1927 года руководил в Комакадемии секцией математики, к которой у меня был особый личный интерес, у нас с ним не могли не завязаться контакты.

Вполне конкретный характер мои воспоминания о Хотимском приобретают лишь с 1931 года. Тогда ЦК партии принял известное постановление о журнале «Под знаменем марксизма». Оно было направлено против двух распространившихся тогда среди части философов и естественников-партийцев извращений марксизма – против гегельянского «меньшевиствующего идеализма» и против механицизма. Конечно, мы, противники этих «уклонов» и не подозревали тогда, что весь этот поход является лишь частью коварного плана Сталина приучить партию и вообще страну к мысли, что допускать ошибку даже в философии и естествознании – это преступление, «уклон», после чего объявить делавших ошибки в политике «врагами народа» и ликвидировать их. Редакция журнала, а также Комакадемия были реорганизованы, я вошел в состав Президиума последней и стал вместо «меньшевиствующего идеалиста» Отто Юльевича Шмидта руководить Ассоциацией естествознания, объединявшей ее естественнонаучные, технические и математические секции.

Хотимский был подлинным ученым, творческой личностью, борцом, беззаветно любившим науку и добивавшимся истины,

критикуя ошибочные, по его убеждению, идеи. Он не боялся восстановить против себя лиц, занимавших тогда командные места. Поэтому он имел не только много искренних друзей, но также и немало врагов и завистников, не брезгавших никакими средствами, чтобы оклеветать и погубить его. Еще в 1931 году шарлатаны от статистики, которых мы критиковали, в анонимном доносе «разоблачали» его и всю группу статистиков-марксистов, возглавляемую им (в нее входили Ястремский, Боярский, Старовский), как «белополяков».

Доносчики аргументировали это тем, что фамилии этих товарищей, наподобие польских, имеют окончание «ский»! Тогда в соответствующих инстанциях над этим просто посмеялись, но в 1937 году по наветам, столь же «обоснованным», Хотимский был арестован, и вскоре его не стало. Его жена Тенихина и дочка-школьница Галя, хотя и не были репрессированы, но настрадались немало. Я же воспринял арест Хотимского, как «ошибку», по принципу «лес рубят, щепки летят».

В своих работах Хотимский выступал против ошибочной концепции некоторых советских статистиков, будто в планируемом хозяйстве неприменим закон больших чисел. Из-за того, что приверженцы этой концепции занимали ведущие места, советская статистика и экономические науки вообще на долгое время сильно отстали в применении современных прогрессивных математических методов.

Вспоминаются наши нечастые из-за вечной занятости встречи дома, у меня или у него. Начинался вечер. Шли споры не только по волнующим всех проблемам политической жизни, но и по прочитанной книге, увиденному спектаклю. Внезапно хозяин отходил к письменному столу и незаметным кивком подзывал меня. Мгновенье – и на листке бумаги зарождалась очередная математическая задача, какой-нибудь интересный парадокс, который потом будет мучить нас обоих, пока не зазвучит в тиши ночной телефонный звонок с радостным сообщением одного из нас: «Эврика, нашел, наконец, решение! И все так просто!» Но ведь до этого простого надо было так долго добираться! И без глубочайшей любви к этим поискам ничего бы не вышло.

В дни, когда наша школа готовилась к переброске из Кургана в Омск, я почувствовал себя нездоровым, и как раз на самой платформе вокзала свалился. По-видимому, все дни до этого я только силой воли держался на ногах, я заболел сыпняком.

В конце декабря 1919 года, примерно через месяц после освобождения города сибирскими красными партизанами и нашей 5 армией, я, вместе со школой, прибыл в Омск, где на улицах то и дело попадались сани, груженые трупами умерших от

сыпняка. Но, после перенесенной тяжелой болезни, все еще очень хилый, я вовсе не «вступил» туда (как напыщенно пишут в военных реляциях), а въехал туда, лежа, прикрытый кожухом, в крестьянских розвальнях. Меня перевезли по замерзшему Иртышу, мост был взорван. В помещении Поарма-5, в подвальном этаже находился лазарет, куда меня на несколько дней положили. Я был истощен, и, как это бывает после сыпняка, голод не оставлял меня даже ночью, не давал спать. Мои курсанты раздобыли на омском вокзале крупного жирного гуся, запекли его с перловой крупой и горохом и поставили солдатский медный котелок, снаружи красный, а внутри белый, оцинкованный, блестевший, полный этого настоящего еврейского «шоулета» на тумбочку возле моей койки.

Автор «Швейка» в Красной Армии

Я только-только взялся за еду, медленно отщипывая от соблазнительного гуся маленькие кусочки, чередуя их с пропитанной жиром кашей. Вероятно, до утра я бы такими темпами благополучно добрался до самого дна чудодейственного котелка. Но не тут-то было. Внезапно в дверях этого длинного, слабо освещенного помещения, где кроме меня лежало еще несколько человек, появилась грузная фигура в солдатской шинели. Вошедший спросил о чем-то первого, лежавшего с края, красноармейца, и тут же направился прямо ко мне. «Вот и я! Я – Гашек!», произнес он по-чешски и уселся ко мне на койку. Я недоумевал. Это имя красноармейца не сразу ассоциировалось с тем Ярославом Гашеком, пражским фельетонистом-юмористом, анархистом, председателем «партии мирного прогресса», которого я увидел впервые на Виноградах в трактире «Кравин» в 1911 году, с тем Гашеком, о проделках которого, например, о том, как он прикидывался «историческим идиотом», рассказывали по вечерам, лежа на койках в Будейовицких казармах солдаты, хохоча до изнеможения.

Но Гашек сразу принялся повествовать, что был в Киеве, что разошелся там с легионерами, что стал коммунистом, вступил в партию. А теперь он приехал из Бугульмы, где вел политическую работу в 3 армии. Все это он рассказывал с множеством комических подробностей, но его добродушное лицо оставалось при этом словно застывшим, а только глазки иногда хитро прищуривались. Трудно было угадать, потешается он над всем или говорит серьезно. С таким же выражением, не то иронии, не то почтения, он закончил: «Ты тут большой начальник, устраивай земляка». Нет необходимости добавлять, что в течение этой ночной беседы от моего гуся осталось немного, и от каши тоже. Неожиданный гость не ждал приглашения к трапезе, разделываясь с редкостной пищей, он только с видом знатока констатировал: «Вот это гусь!»

Я зачислил Гашека в интернациональное подотделение политотдела, руководство которым мне только что поручили. Это подотделение было организовано потому, что наша армия, изгоняя колчаковцев и чехословацких легионеров, везде встречала лагеря военнопленных, состоявших главным образом из немцев и мадьяр. Задачей этого подотделения была работа среди пленных, равно как и среди национальных меньшинств нашего тыла. Мы издавали для них газеты и брошюры, а из политически надежных добровольцев формировали

интернациональные части Красной Армии. Гашек принялся писать фельетоны на международные темы для еженедельного журнала, который мы издавали на немецком и мадьярском языках. Успех этих фельетонов был громадный. Он писал их по-чешски. Его немецкий и русский язык, а тем более мадьярский, были лишь «кухонными», хотя в литературе о Гашеке можно прочитать, будто он знал в совершенстве много языков, однако все это относится к легендам, которые выдумывают многие авторы о героях своих сочинений. С чешского эти фельетоны переводились на немецкий и русский, а с русского затем на мадьярский язык.

Этим способом Гашек сочинил и театральную пьесу, комедию «Хотим домой!», которую поставили военнопленные венгры в городском театре в Красноярске. На мадьярский язык ее перевел (опять тем же способом) Матэ Залка, военнопленный красноярского лагеря, позже известный писатель, а еще позже славный генерал, который под именем Лукач боролся за свободу испанского народа и героически погиб там в 1937 году. Эта комедия Гашека высмеивала тех военнопленных, которые сторонились политики, не желали ничего слышать о революции, страстно мечтали о штатском костюме, висевшем дома в платяном шкафу.

С Гашеком мы сдружились. В Красноярске мы жили с ним в одном доме-срубе, построенном, как и все срубы, из которых этот город в то время по преимуществу состоял, из толстых бревен. Свою новую русскую жену, блондиночку Шурочку, полуграмотную белошвейку, с которой он познакомился в Бугульме, где она работала упаковщицей в типографии, Гашек приучал к чешским обычаям, а главное – к чешской кухне. Он сбрасывал гимнастерку, засучивал рукава рубашки, катал тесто, показывая, как готовить хлебные «кнедлики», как их варить в пару. А про Шурочку говорил: «Только бы она научилась этому, это самое главное. А когда я с ней приеду в Прагу, буду всем рассказывать, что она русская княгиня. Вот это будет импонировать нашим филистерам!» И, как свидетельствует Франтишек Лангер в своих воспоминаниях, Гашек в самом деле после его приезда в Прагу, представлял Шурочку как «русскую княгиню». Да и если не княгиней, то дворянкой и миллионершей Шурочка действительно стала. После смерти Гашека (в 1923 году), она, наследница головокружительных гонораров за многочисленные издания и переводы «Швейка» на иностранные языки, за его театральные инсценировки и экранизацию, вышла вторично замуж за русского белоэмигранта-дворянина.

Случалось, что мы с Гашеком вечером прохаживались по

прямым, проведенным в шахматном порядке, занесенным сугробами, улицам Красноярска, и он вслух раздумывал о своем возвращении на родину, о том, что он там встретит, о будущей социалистической Чехии. «У нас слишком много обывателей, мелкой буржуазии, много лавочников и много мелкособственнического, деревенского, отсталого «барачницкого духа», – с горечью повторял он и добавлял, вздыхая: «Много, очень много нам придется бороться». Однако в таком меланхолическом состоянии этот бодрый, оптимистический человек находился не часто. Он освобождался от подобных настроений ядовитыми сатирическими рассказами.

Мне удалось издать впервые русский перевод первой части «Швейка». Он появился в одном из первых номеров «Романа-газеты», которую я основал в 1927 году, будучи тогда заведующим издательством Московского комитета партии «Московский рабочий». Скажу здесь сразу, что идея издавать лучшие образцы русской, советской и мировой художественной литературы для народа массовыми тиражами, дешево, печатать их в виде газеты, я взял у Ленина, из одной из его статей. Тем не менее, стоило большого труда осуществить ее. В отделе печати ЦК партии нашлись консерваторы, возражавшие против этой «затеи», не хотели отпускать газетную бумагу.

Перевод «Швейка» не был, правда, особенно блестящий. Переводчик, некий Скачков, побывавший в качестве военнопленного где-то в лагере в Чехии, воображал, что знает отлично по-чешски. Но он путал чешские и русские слова, одинаково звучащие, но имеющие различный смысл, и к намеренному юмору Гашека прибавился еще ненамеренный переводчика. В оправдание Скачкова должен заметить, что в его распоряжении не было чешско-русского словаря. Да и я был виноват – из-за загруженности всякой другой работой, не проверил качество перевода. Впрочем, когда я недавно просматривал новое русское издание юмористических рассказов Гашека, то установил, что их переводчик попался на ту же удочку, приняв созвучные в чешском и русском языках слова за тождественные по смыслу. Так, из чешских «taliáni» (род колбасы) стали итальянцы.

Красноярск памятен мне тем, что там в апреле 20 года родился мой старший сын. По моде, распространенной среди партийцев того времени, мы назвали его Эрмар, в честь Эры Революционного Марксизма, и присвоили ему двойную фамилию (чтобы ни мне, ни Марусе обидно не было) – Кольман-Иванов. Не знаю – я не спрашиваю его – возможно, что он проклинает меня за это хоть и благозвучное, но вычурное имя.

Когда наш Поарм перебрался в Иркутск, где мы разместились в бывшем институте благородных девиц, было принято решение издавать газету для бурят, живущих в этой области. Это было поручено моему Интернациональному подотделу, в котором работал Гашек. И он сам вызвался редактировать эту газету. Я сначала подумал, что он шутит, но когда увидел, что он это серьезно, стал убеждать его, что это невозможно. Ведь так же, как все мы, он не знал ни одного слова по-бурятски. Кроме того, как это вообще издавать бурятскую газету, если не существует никакой бурятской письменности, если у бурят нет даже своего алфавита! (Лишь позднее я узнал, что это не так. В XIX веке православные миссионеры перевели на бурятский язык евангелие и издали его, причем использовали русскую азбуку с диакритическими знаками. Кроме того, существовали бурятские книжки, напечатанные монгольским шрифтом).

Однако Гашек настаивал на своем: «Я это уж как-нибудь устрою». А так как другого выхода не было, я должен был в конце концов согласиться на этот эксперимент. И в самом деле, Гашек это устроил. Он откопал где-то двух бурятских студентов (тогда огромная редкость) и составил с ними бурятский алфавит на основе русской азбуки. Втроем они за несколько часов проделали, таким образом, труд, которым обыкновенно в течение нескольких лет занимается целая академическая комиссия, составленная из специалистов филологов.

А газета писалась так: от первой до последней, четвертой, страницы малого тетрадного формата каждый номер по всем русским газетам составлял сам Гашек. Он пользовался почти исключительно самыми важными инструментами газетчиков – ножницами и клеем – но иногда и сам писал ту или другую статейку, конечно, по-русски (точнее, по-чешско-русски). Затем усаживал студентов в разные комнаты и велел им переводить. Когда они заканчивали, он начинал сличать с ними тексты обоих переводов, совпадают ли они (что, конечно, было исключено), и укорял их за то, что тексты расходились. Он считал этих студентов политически не вполне надежными. Но газета выходила довольно регулярно, раз в неделю. Теперь дело оставалось только за «мелочью»: откуда взять «читательские массы», раз громадное большинство бурят неграмотны. Эту проблему не мог решить даже Гашек.

Все это время Гашек полностью жил жизнью нашей армии, радовался каждому успеху и печалился, когда что-нибудь у нас не удавалось. Помню как в Иркутске по поводу какого-то революционного праздника мы устроили в армейском клубе вечеринку. После официальной части началась художественная

самодеятельность – музыка, пение, чтение стихов. Внезапно Гашек поднялся на сцену и заявил, что он сейчас наглядно продемонстрирует как эсер борется сам с собой: обещает дать деревенской бедноте землю, но в то же время не желает отнять ее у помещика и кулака. К величайшему удивлению собравшихся, Гашек быстро сбросил с себя одежду и остался в одних трусиках. А потом начал сам с собой классическую борьбу. Да так, что через несколько мгновений весь зал корчился от смеха.

О том, что происходит в Чехословакии нам было известно лишь по отрывочным сообщениям в советской печати. Они не были особенно утешительны. Зато о событиях в чехословацких легионах информации у нас было более, чем достаточно. Разведслужба нашей армии, которой помогали местные жители и перебежчики, – их количество возрастало, чем дальше на восток мы теснили белых, – регулярно поставляли нам свежие новости. Нам были известны фамилии всех командиров – так я узнал, что по ту сторону баррикады воюет и мой кузен Франтишек Лангер, в качестве дивизионного врача. Знали мы также, что настроение легионеров все ухудшается. Это показывала и их печать, в особенности издаваемый ими сатирический журнал «Ноирайсу» («Качели»). Мы реагировали на это листовками, которые нам удавалось забрасывать контрабандой в легии. Гашек принимал активное участие в их написании.

Однако Гашека тянуло домой. В беседах со мной он все чаще возвращался к этой теме. Но я решительно возражал. Я опасался, что в Праге Гашек вновь попадет в богемную среду и его одолеет его страшная болезнь – алкоголизм. Ведь он сам рассказывал мне, что отягощен этой ужасной наследственностью, и сам иногда сомневался, стоит ли ему возвращаться. Я ведь наблюдал, какого напряжения воли стоило ему не пить. И к его чести могу заверить, что он в самом деле не прикасался тогда даже к пиву, которое в Сибири варили пивовары-чехи, а тем более к самогону, продававшемуся из-под полы. Свой взгляд о нежелательности отъезда Гашека домой я высказал руководящим советским товарищам в Иркутске, писал об этом в Москву, однако понимания нигде не встретил. Особенно увлекалась мыслью, что Гашек, после возвращения в Прагу, совершит там коммунистическую революцию, товарищ Гончарская, партийный работник довольно истерического склада.

Гашек с Шурочкой уехали в Москву, откуда их федерация заграничных коммунистических групп при ЦК партии послала в Прагу. Здесь, в одном из рассказов, которые он стал печатать без особого разбора и в довольно «желтой» прессе, Гашек вспомнил обо мне. Возможно, что с умыслом добродушно «отомстить» мне

за то, что я отговаривал его вернуться в Прагу. В рассказе он писал, будто встретил меня, пьяного, в пражском винном погребке, и за то, что я, якобы, опубликовал о нем в советской печати некролог, выманил меня на кладбище Ольшаны, где явился мне – облаченный в белые простыни – как дух покойного Гашека. Этот рассказ обрадовал меня, как свидетельство, что Гашек меня не забыл. А потом прошло всего два года, и Гашек скончался от белой горячки.

Этот рассказ о Ярославе Гашеке я хочу закончить двумя замечаниями. Намерение написать трилогию – роман про бравого солдата Швейка – зрело у Гашека давно, и он делился со мной своими замыслами. Фигуры Биглера, фельдкурата Катца, оберлейтенанта Лукача и другие Гашек списал прямо с натуры, даже не изменив их фамилии, а сам Швейк и вольноопределяющийся Марек являются в значительной мере воплощением самого Гашека. Однако распространено мнение, будто Гашек безоговорочно симпатизировал герою своего романа. Это не совсем так. Помнится, он иронизировал над «швейковиной», над этим лукавым методом сопротивления, который, – хотя он при определенных условиях может быть и эффективен, – связан с довольно неприглядными чертами маленького, нереволюционного человека, наполовину деклассированного обывателя.

Жизнь Гашека в Праге до Первой мировой войны и во время нее в Киеве описал правдиво, причем любовно, глубоко проникновенно и художественно друживший с ним Франтишек Лангер, в своих автобиографических воспоминаниях «Были и было». Мы с женой перевели эту часть книги, я добавил свои воспоминания о советском периоде жизни Гашека, а жена – коротенький очерк о Липнице, последнем пристанище великого юмориста. Мы понесли все это в «Новый мир» Твардовскому. Прочитав, он сказал, что ему все понравилось, но что «Новый мир» не сможет опубликовать это. «У советского читателя создался уже другой образ Гашека», – сказал Твардовский. «Но ведь этот правдивый», – заметил я. «Но правда не всегда хороша», – возразил он. Этот мужественный борец, с таким трудом бившийся за существование редактируемого им единственного прогрессивного журнала (эта борьба свела его преждевременно в могилу) не хотел рисковать им из-за разоблачения ложного ореола «святого», стопятидесятипроцентного коммуниста, созданного вокруг Гашека.

Не то в феврале, не то в марте 1920 года, после того, как по приговору Иркутского Военно-революционного комитета был

расстрелян Колчак, наша армия направилась в Забайкалье для ликвидации ставленников японских и американских империалистов, белогвардейских банд атамана Семенова и барона Унгерна. Я принял участие в рейде в Верхнеудинск (Улан-Удэ). Проделать туда около 500 км верхом (обратный путь в Иркутск я совершил по уже восстановленной железной дороге) для меня, некавалериста, вовсе не было шуткой, даже на самой покладистой лошадке. Сознаюсь, что и экзотические красоты Саянских гор и южного берега Байкала, не смягчили пыток, которые я испытывал, сидя в седле. Но природа там была изумительная. Сильное впечатление производили и обитатели этих мест, сойоты (теперь их называют тувинцы), охотники, с их тогда полудиким образом жизни, пользующиеся еще луками и стрелами, жившие в нищете, отсталости, мучимые трахомой и бытовым сифилисом, но одетые в живописные национальные костюмы. Осенью меня отозвали в Москву, и, таким образом, эта операция была моей последней на Восточном фронте.

«Агент Коминтерна»

На нас, уезжавших, Марусю и меня, бескрайние, однообразные, уже слегка запорошенные снегом просторы Сибири, по которым медленно полз наш поезд, почему-то наводили безотчетную тоску. В Москве, на Воздвиженке, где тогда помещался ЦК партии (в большом доме, напротив нынешнего Военторга), секретарь ЦК Елена Дмитриевна Стасова, обстоятельно побеседовав со мной, послала меня для переговоров о работе в Наркоминдел, который, по ее словам, нуждался в укреплении партийными работниками. Замнаркома Сокольников явно не шибко обрадовался моему приходу. Он предложил мне на выбор или работу в шифровальном отделе, по-видимому, исходя из того, что я математик, либо в советском представительстве в китайской провинции Синьцзяне, в ее столице городе Урумчи, что при моем знании западноевропейских, а отнюдь не китайского и уйгурского языков, мне показалось вовсе несообразным. Предложения Сокольникова меня не устраивали, и я вернулся в ЦК к Стасовой. А та ничуть не удивилась и направила меня в Коминтерн. Важно было лишь то, чтобы я стал работать по международной линии – ведь для этого меня отозвали в Москву.

В Коминтерне, его секретарь товарищ Куусинен принял меня совершенно иначе. Я тут же был назначен референтом Агитпропотделом ИККИ, которым он ведал, причем по странам с немецким языком – Германией, Австрией, немецкой частью Швейцарии и Судетами. Таким образом, я стал работать бок-о-бок с Емельяном Ярославским, старым большевиком, блестящим пропагандистом, который тогда был референтом того же отдела по странам со славянскими языками. Работа в Коминтерне была для меня крайне интересна. Не говоря уж о том, что я получил возможность перечитывать кучу иностранной литературы, познакомился лично с множеством деятелей международного коммунистического движения. Влияние Коминтерна, который возглавлял тогда Зиновьев, усиливалось, росла численность рядов коммунистических партий, возникали новые партии. Но в то же время усилились в них и различные «уклоны», прежде всего «левый». В Коминтерне шли горячие дискуссии вокруг проблемы единого фронта, между Зиновьевым и Куусиненом существовали принципиальные разногласия. Для меня все это было большой политической школой, а живое общение с товарищами, говорившими по-английски, давало мне, вдобавок, впервые возможность активно приобщиться к этому языку, который я знал до сих пор лишь пассивно.

И все же, как бы ни было приятно личное общение с товарищем Куусиненом, работать под его руководством я, со своим нетерпеливым, торопливым темпераментом, вовсе не был способен. Куусинену была свойственна необычная медлительность, не только типично, но прямо-таки карикатурно-типично финская, которая просто физически меня раздражала.

Но вот однажды он поручил мне срочно написать коротенькое обращение к бастующим лионским рабочим. Я написал его в тот же вечер и принес Куусинену для утверждения. Он взял его с собой домой. Прошел день, другой, я напоминал ему о срочности, но напрасно. Он все взвешивал, обдумывал. Наконец, он утвердил мой проект, не внеся в него никаких существенных изменений… когда эта забастовка давно уже окончилась. Это послужило последней каплей – я подал заявление с просьбой отправить меня на работу в Германию и откровенно сказал Куусинену причину. Он не стал возражать и вовсе не обозлился на меня, как на его месте сделали бы многие.

Не встретив со стороны Куусинена возражения, я с Марусей направился в Денежный переулок к Бухарину, который тогда в ИККИ ведал такими делами (рабочие же отделы Коминтерна помещались в другом месте, в большом угловом доме против Манежа). Бухарин одобрил нашу просьбу послать нас вместе, заметив, что поездка всей семьей с годовалым ребенком надежно замаскирует подлинную цель нашего появления там. Мы получили паспорта – я ехал в качестве инженера, работника советского торгпредства в Берлине, и в конце лета 1921 года мы должны были выехать. Но прежде нас «экипировали», по тем временам шикарно одели – помнится мешковатое черное каракулевое пальто, которое выдали Марусе, и огромный кожаный чемодан-сундук, из тех, которыми пользуются в заокеанских плаваниях.

Я должен отметить, что, как ни странно, мы не получили тогда от Бухарина, да и вообще от Коминтерна, никаких инструкций и никаких поручений или заданий, а ехали просто в распоряжение ЦК КПГ.

Выехали мы сначала поездом до Риги (в то время столицы буржуазной Латвии), а оттуда пароходом в Штетин. Море было совершенно спокойным, переезд оказался приятным. Тем же пароходом ехала Клара Цеткин, которая с нами тут же «познакомилась» (на деле я знал ее уже до этого). Сразу же после прибытия я сдал наши паспорта советскому послу Крестинскому, а затем в ЦК КПГ на Александерплатц получил «липу» на имя журналиста Бройера.

Оставив Марусю (мою русскую жену из белоэмигрантов,

такой она числилась) вместе с Эрмаром на квартире в рабочем районе Берлина, Нойкельне, я поехал в Иену, чтобы принять участие в съезде КПГ. Здесь я выступил, передав приветствие от МК партии. Но в тот же день немецкие товарищи предупредили меня, равно как и товарища, выступившего с приветствием от Компартии Голландии, что нас, как иностранцев, собирается арестовать полиция. Что же делать? Надо скрыться. Не дождавшись окончания съезда, на котором меня избрали в Центральный Комитет, товарищи нарядили нас обоих тут же в уборной в костюмы студентов-туристов (короткие до колен штаны «пумпки», шляпки с перышком, рюкзаки, палки), и когда стемнело, выпустили черным ходом в сад, а оттуда благополучно провели на шоссе, ведущее в Лейпциг. По дороге мы, не зная, разумеется, фамилии друг друга, оживленно беседовали. Выяснилось, что он моложе меня, и что по совпадению мы оба математики, и даже что обоих нас интересуют методологические проблемы этой науки и ее история. За ночь мы добрались до Наумбурга, там сели на местный поезд, доставивший нас в Лейпциг, где мы и простились – я поехал в Берлин, а мой спутник к себе в Голландию.

Казалось, на этом наше знакомство оборвется. Однако вышло иначе. В начале тридцатых годов, я прочитал в Москве в американском прогрессивном журнале «Наука и общество» статью по философским проблемам математики, поразительно напомнившую мне нашу ночную беседу с незнакомцем по дороге Иена-Лейпциг. Статья была подписана Дэрк Стройк, автором с явно голландским именем и фамилией. Я тут же через редакцию журнала запросил этого автора, не помнит ли он такой разговор. И как я обрадовался – это оказался он! С тех пор мы стали регулярно переписываться. Выяснилось, что Стройк в 1925 году эмигрировал из Голландии в США, где стал профессором Массачусетского Технологического Института в Кембридже, специализировался на тензорной дифференциальной геометрии и на истории математики.

До 1948 года Стройк был членом Коммунистической партии США, но потом перешел в образовавшуюся тогда Прогрессивную партию, оставаясь при этом марксистом. Одной из причин выхода его из Компартии были бесчинства, творимые Сталиным, в том числе волна антисемитизма, поднятая им в Советском Союзе – жена Стройка, Рут, еврейка, происходит из Судетской области Чехии. Стройк был долгое время руководителем Общества друзей СССР и членом редакции журнала «Наука и общество». Его старший брат был первым секретарем голландской компартии; нацисты убили его, – вместе с сотнями других антифашистов, его

вывезли на барже в море, а там баржу потопили. А во время маккартизма Стройк был лишен профессуры, изгнан из института, и лишь после поднявшейся кампании протеста, был восстановлен. В 1934 году Стройк принимал участие в международной конференции по топологии и дифференциальной геометрии в Москве и целую неделю жил у меня (тогда еще такое было возможно). Затем мы виделись с ним снова в 1960 году, когда я был в Америке – два или три дня я гостил в его коттедже в Бельмонте. И, наконец, мы снова встретились, на этот раз в Польше во время международного конгресса по истории естествознания и техники в 1966 году в Варшаве и Кракове, где – о, ужас! – я даже разделял вместе с этим американцем, вышедшим из партии, один номер в отеле.

Вернувшись в Берлин, я убедился, что Маруся, знавшая немного по-немецки, начала помаленьку – так сказать, под руководством нашей квартирной хозяйки, жены рабочего – приспособляться к непривычной заграничной жизни. А я получил в ЦК назначение в город Дюссельдорф, в Рейнскую область, на редакционную работу в нашей газете «Свобода», главным редактором которой был Пауль Фрелих, член ЦК ИККИ и депутат германского парламента, – я назначался его заместителем.

Но прежде чем выехать на новое место, мне предстояло выполнить еще одно поручение. Товарищи в ЦК дали его именно мне, потому что я знал русский, французский и английский языки, а может быть также и потому, что им понравилось, как я в Иене улизнул от полиции. Мне поручалось доставить одну русскую, направляющуюся на партийную работу в США, знающую только английский, в Люксембург, откуда ее тамошние товарищи перебросят во Францию, где она, в Гавре, сядет на пароход. Ехала она с детьми, двумя девочками 6 и 8 лет, а документы у нее были не высшего качества надежности. Вместе с моим фальшивым немецким паспортом, получалась чистейшая авантюра, в какие тогда, нужно прямо сказать. Коминтерн нередко пускался, и к каким и я легкомысленно был склонен. Поехали мы первым классом, ночным поездом, в спальном вагоне, на родину Маркса в Трир.

Ночью в Кельне, находившемся тогда в оккупированной английскими войсками «демилитаризованной» зоне, в наше «семейное» купе постучался патруль, но офицер, увидев спящих девочек и даму, лишь бегло, галантно взглянул на наши документы, приложил печать и двинулся дальше. В Трире, оккупированном американцами, имея явку, я связался с местными товарищами. Они отвезли нас на машине в городок Конц, где нас сдали на руки рыбаку-контрабандисту, а может

быть и коммунисту. Тот перевез нас ночью на своей лодке по Мозели через границу (это длилось несколько тревожных часов) в люксембургский городок Гревенмахер, где передал моих подопечных местному партийцу. На этом моя миссия, собственно, кончилась. Мы с товарищем Галиной Петровной – так она назвалась – и ее дочурками трогательно простились, и я тем же небезопасным путем удачно вернулся в Берлин.

Хотя в Берлине я пробыл в общей сложности всего немногим больше двух месяцев, к этому времени относится событие, которое нельзя здесь упустить. Я снова встретился с Эйнштейном. Как известно, в 1921 году Поволжье из-за небывалой засухи постиг ужасающий голод, унесший с собой несметное количество жизней. Прогрессивные люди во всем мире образовали организацию помощи голодающим. В Германии это был комитет «Arbeiterhilfe für Sowiet Russland» («Рабочая помощь Советской России»), который возглавлял Эйнштейн. В комитет входили представители различных партий – социал-демократов, независимых, христианских социалистов и коммунистов. Одним из представителей КПГ был и я. Заседания комитета происходили в городской ратуше. Для меня было, понятно, исключительно приятным сюрпризом встретить здесь, спустя 11 лет, своего бывшего профессора, Ньютона нашего времени, и встретить его именно в такой роли! Он поздоровался со мной, и мне показалось, что туманно припомнил меня.

Итак, я с семьей переехал в Дюссельдорф, находившийся во французской зоне оккупации. По совету местных товарищей, мы сняли комнату на окраине этого красивого, благоустроенного, расположенного на Рейне города миллионеров – владельцев металлургических трестов. Жили мы у рабочего-коммуниста, некоего Шультгейса, однако, неудачно. Он оказался пьяницей и болтуном, что в конце концов привело к тому, что нами начала интересоваться полиция, и мы должны были поскорее убраться из Дюссельдорфа.

Все же я поработал здесь в газете около полугода, освоился с методами газетной работы. Наша работа облегчалась тем, что мы ежедневно получали из Берлина, из центрального коммунистического бюро печати, бюллетени, содержавшие не только факты, но и указания на желательный способ их освещения. Конечно, все это мы приспособляли к местным условиям. Многому я научился у своего старшего товарища Фрелиха. Однако трудность была в том, что партия не была идейно едина, в самом ее руководстве сменялись то ультралевые, то правооппортунистические руководители. В апреле 1921 года из нее был исключен левак Пауль Леви за предательство: сначала

он выдвинул лозунг выступления во что бы то ни стало, а когда рабочие в ряде мест средней Германии подняли под руководством партии восстание, он объявил его «путчем». Однако, после этого руководство партией очутилось в руках правых Брандлера и Тайгеймера, и кроме того в партии имелась сильная группа троцкистов во главе с Масловым и Рут Фишер. Ко всему этому добавлялось то, что в вопросах стратегии и тактики точки зрения советских руководителей Коминтерна – Ленина, Зиновьева, Радека – довольно часто расходились.

Что же касается линии нашей газеты, то Фрелих, которого в Москве считали «центристом», осторожно старался избегать обсуждения вопросов, вызывающих в партии наиболее острые разногласия. Вообще же он был умным, искренним, покладистым, жизнерадостным человеком, «тертым калачом» в политике. Помню, что позже, в 1935 году, во время 7-го конгресса Коминтерна, на котором я присутствовал с гостевым билетом, я виделся с Фрелихом в Москве. Был я у него в Кремле, где его поселили во Дворце. Я поразился перемене, происшедшей с Фрелихом. Только лишь одно покуривание коротенькой трубочки осталось от прежнего Пауля. Он был мрачен, и как я понимаю сейчас, полон каких-то тяжелых предчувствий. Намекал на явления перерождения, происходившие в коммунистическом движении и грозившие всем нам большими бедствиями. Но тогда я еще ничего не понимал.

Второй причиной того, что в Дюссельдорфе за мной появилась «тень», могло послужить то, что я занимался пропагандой среди французских солдат-оккупантов. Некоторые из них появлялись в кабачках, с удовольствием попивали местное рейнское вино и пиво. Я завел знакомство с несколькими молодыми парнями. Выдал себя за эльзасца, благодаря чему мое французское произношение не вызывало у них подозрения. Постепенно я сблизился с двумя из них настолько, что нащупал их далеко не милитаристское настроение. Тогда я отважился вручить им листовку, изданную на французском языке нашей партией, и научил, как ее, избегая опасности для себя, распространять среди других солдат. Как можно поручиться, что все же не напали на ее след ищейки?

Из Дюссельдорфа я вместе со Штеккером, секретарем парторганизации Рейнланд-Вестфальской области, в том же 1922 году ездил в Марсель на конференцию (разумеется, нелегальную) западноевропейских компартий. Вся эта поездка, пребывание в этом чудесном средиземноморском городе, сама двухдневная, шумная, напряженная конференция, а затем возвращение через Париж, где мы остановились также на два дня – все это мне

сегодня представляется лишь как сон.

В каторжной тюрьме

Свой сказ о дюссельдорфском периоде я закончу, как и полагается, наиболее эффектным происшествием. От имени местного комитета помощи голодающим России, я написал Альберту Эйнштейну письмо с просьбой выступить в Дюссельдорфе с публичным докладом о теории относительности, с тем, чтобы весь сбор пошел в пользу голодающих. С подобными докладами Эйнштейн уже раза два или три выступал в других городах и, разумеется, с огромным успехом. Ведь после того, как экспериментальная проверка общей теории относительности дала положительные результаты, слава Эйнштейна стала всемирной. И сбылось то, что остроумно предвидел сам Эйнштейн, заметивший как-то не без сарказма: «Если моя теория подтвердится, то немцы станут говорить обо мне как о немецком физике, а французы – как о еврее. А если она не подтвердится, то наоборот». Во всех салонах Германии дамы-жеманницы вели теперь «умные» разговоры о теории относительности и ее авторе.

Эйнштейн дал согласие сделать доклад. Дюссельдорфский оперный театр был переполнен. Собрался весь «высший свет» не только Дюссельдорфа, но и других городов области. Билеты, продававшиеся по повышенным ценам, нельзя было достать, разве только у спекулянтов. Эйнштейн, против своего обычая, явился в вечернем костюме, одетый как и вся собравшаяся здесь богатая публика. Но свой доклад он вовсе не стал приспосабливать к ее уровню – вряд ли больше одного процента присутствовавших смогло понять его, но им было важно, что они увидели и услышали того, кто стал сенсацией дня. И Эйнштейн, тонко иронизируя, начал с этого свой доклад, который, тем не менее, закончился бурными аплодисментами этих снобов.

После доклада я попросил Эйнштейна написать статью для нашей коммунистической газеты, популярную, для рабочих. Он обещал и в самом деле сдержал свое слово, статью мы напечатали. А после этого нашлись советские философы, вроде Максимова, и физики, вроде Тимирязева, провозгласившие Эйнштейна реакционером! Да, находятся вновь и сейчас в СССР такие «ученые», погромщики-антиэйнштейнианцы, которые недвусмысленно намекают на ненашенский (читай жидовский) характер теории относительности.

Из Дюссельдорфа ЦК КПГ перевел меня в Хемниц, в Саксонию, опять-таки на работу в нашей партийной газете в качестве заместителя ее главного редактора. В Хемнице я проработал недолго, потому что в Бреслау (теперь польский

город Вроцлав), в Силезии, наша газета «Schlesische Arbeiter zeitung» («Силезская рабочая газета»), не имела главного редактора, и меня назначили руководить ею. Кроме меня там было еще двое редакторов: один, мой зам. Охль, опытный журналист, пожилой, бывший спартаковец, и другой – совсем юнец, Фред Эльснер, репортер по городу, сын секретаря областной партийной организации, члена ЦК и депутата парламента Альфреда Эльснера.

Наш небольшой коллектив работал дружно, но напряженно. Для того, чтобы газета сразу попадала в провинцию, она должна была поспевать к утренним поездам, к 4 часам утра, поэтому нам приходилось работать до поздней ночи. Я часто диктовал передовицу в типографию прямо в линотип. Кроме редакционной работы, я вел и агитационно-пропагандистскую – доклады в кружках, выступления на митингах – как в самом городе, так и разъезжая по Силезии. Помнится, 1 мая 1922 года я выступал на митинге в Лангбилау, в этом горном селении, одном из центров текстильной промышленности, где в 1844 году вспыхнуло известное восстание ткачей, воспетое Гейне и запечатленное Гауптманом в его драме. Этот митинг происходил в набитом битком большом длинном саду при ресторане. В одном конце сада выступал социал-демократический оратор, а в другом я, так сказать, кто кого перекричит. Но с моим голосом было тогда трудно соперничать. Да и при существовавшем экономическом кризисе, который после версальского договора переживала Германия, большинство рабочих и работниц было благоприятно настроено к нам, коммунистам. Вскоре социал-демократический конец сада стал заметно редеть, посетители перебирались со своими пивными кружками за столики на другой полюс.

Теперь я вижу, какую большую ошибку КПГ тогда допускала – мы почти не обращали внимания на национальные меньшинства, на их освободительное движение, крайне слабо работали с ними. В Саксонии это были лужиане, сорбы (по-немецки Wenden), здесь в Силезии – поляки. Гуляя по городу, по живописным берегам Одера, с Марусей и с Эрмаром в его колясочке, я рассуждал о том, что Бреслау отчасти польский город, что следовало бы издавать, особенно для польских рабочих, коммунистическую газету на польском языке, но добиться этого я не сумел.

Здесь же в Бреслау я встретился – после 7 лет разлуки – со своим братом Рудольфом. С мамой и сестрой я постоянно переписывался, письма я получал от них «до востребования», на имя Эрнста Крафта, под которым я здесь проживал. От них я узнал адрес Рудольфа, работавшего в то время в Эссене (в Рурской области), списался с ним и выслал ему денег на дорогу.

Встретились мы с ним в одном из городских садов. Он мало изменился, такой же молодой, курчавый «черный барашек» (perzian – «каракуль»), как он сам себя называл, веселый, любящий пошутить. Мы посидели часок на скамейке, рассказали друг другу свои истории. Потом, не заходя ко мне, Рудольф вернулся в Эссен. Он увидел и Марусю с Эрмаром – они гуляли тут же в парке. А его история была такова. В 1916 году, когда его призвали в армию, он прикинулся ненормальным. Его таскали по тюремным психиатрическим лечебницам, но, наконец, отпустили. Он стал работать среди социалистической шахтерской молодежи в Кладно, был одним из основателей Союза коммунистической молодежи Чехословакии. В декабре 1920 года он принял там участие в стачке, был арестован, осужден, сидел в Праге в Панкрацкой тюрьме. А когда его оттуда перевозили в другую тюрьму, куда-то в Моравию, сбежал, на ходу выпрыгнул из поезда. Перебрался через границу в Германию и стал вести партийную работу среди шахтеров каменноугольных копей Рура.

Скажу еще, что материально мы жили в Бреслау весьма стесненно. Небольшая зарплата обесценивалась лавинообразно растущей инфляцией. Наша партия призывала к образованию единого фронта всех рабочих партий – начались переговоры с социал-демократами, ИЗРВ, (независимыми) и христианскими социалистами. В этих переговорах, происходивших в городской ратуше (в муниципалитете социал-демократы имели большинство) принимал участие и я. Но недолго. Ибо тут-то как раз кто-то из наших партнеров, заподозрив во мне иностранца, «агента Москвы», (которым, собственно, я и в самом деле являлся), донес на меня полиции.

По своему обычаю, они явились к нам под утро. Ни дать ни взять Пат и Паташон, персонажи популярного тогда комического фильма – один долговязый, другой недоросток. Потребовали у нас документы, осмотрев мой паспорт, объявили его поддельным. Произвели весьма поверхностный обыск. Ничего не нашли, кроме Московского свидетельства о рождении Эрмара на имя Кольман-Иванов (этот документ и послужил уликой против меня) и несколько сочинений русских классиков. Все это, вместе со мной, они забрали и крайне вежливо отвели меня в городскую следственную тюрьму. При всем этом Маруся вела себя, по крайней мере, внешне, как и подобает, совершенно спокойно. Зато домашняя хозяйка рыдала, причитала, вероятно, не столько из-за жалости к нам, сколько о своей репутации – ее жильца арестовали!

В тюрьме (красном кирпичном здании) после того как на меня надели полосатый арестантский костюм, меня поместили в

просторную общую камеру, где уже находилось с десяток заключенных, осужденных на долгие сроки и пожизненно, тяжких преступников, – воров-рецидивистов, грабителей и даже убийц. Этим хотели воздействовать на мою волю, и, вероятно, среди них имелся лягавый. Второе оказалось верным.

В тюрьму явился наш партийный адвокат, предложил мне свои услуги защитника на предстоящем суде, но я отказался – буду защищать себя сам. В «Роте фане» дважды появлялись статьи по поводу моего ареста, а в рейхстаге наши коммунистические депутаты обратились с интерполяцией к министру внутренних дел – при рейхсканцлере Вирте он был социал-демократом. Они указывали на то, что даже при Вильгельме не преследовались ведшие политическую работу социал-демократы-иностранцы, вроде австрийца Каутского, и что не преследуется австриец Гитлер, организующий в Германии фашистские банды против веймарской демократии.

Все эти протесты не имели никаких реальных последствий.

Мне было предъявлено обвинение – я получил, согласно закону, обвинительный акт вместе со сводом законов, заранее – сразу в четырех преступлениях: в незаконном переходе границы, в подделке паспорта, в нелегальном проживании по нему, а главное – в подрывной деятельности против германского государства. О моей наиважнейшей вине – о том, что я коммунист – ни прокурор, ни судьи (их было трое) не обмолвились ни словом, но зато говорил об этом я в предоставленном мне слове защиты и в заключительном. Судья перебивал меня, грозил вывести из зала и очистить зал от нарушающей тишину публики. Все было аккуратно подготовлено и меня приговорили к пяти годам каторжной тюрьмы.

Дав мне проститься с Марусей, с сынишкой и с товарищами, меня тут же отвезли в «черном вороне» (по-немецки его почему-то называют Schwarze Marie – «Черная Мария») в каторжную тюрьму Клетчкау, недалеко от Бреслау. Как я позже узнал, здесь одно время сидела Роза Люксембург и написала свои замечательные письма. Режим в тюрьме был типично прусско-казарменный, идеальная чистота и преувеличенно строгий, доведенный до абсурда, порядок.

Все делалось по инструкциям. Они висели на стене камеры, среди них и одна о перекладывании трех занумерованных с обеих сторон матрасов железной койки, поднимавшейся на день, которые нужно было (чтобы они меньше изнашивались) менять местами каждую ночь в другом порядке – таких возможностей имелось 24, и все они были указаны на схеме. Питание было прескверное, и это объяснялось все более ухудшавшимся общим

положением в стране. Зато разрешалось – конечно, тем, кто имел средства – покупать себе еду, а главное читать, причем не только книги из тюремной библиотеки, но и свои, а также и писать, получать передачи и иметь свидание раз в месяц, в определенные, назначенные для этого дни и часы, причем ко мне приезжали не только жена с сынишкой, но и товарищи. Хотя в этой тюрьме, как каторжной, полагалось работать по восемь часов в имеющихся в ней мастерских, меня этим пока не донимали и даже не заставляли клеить мешочки, и я достал книгу Г. Вейля «Reum, Zeit, Materie» («Пространство, время, материя»), в которой этот немецкий математик попытался – но безуспешно – создать единую теорию поля, – и всю ее проконспектировал.

Навещавшие меня товарищи утешали меня, что сидеть придется недолго – ведутся, мол, переговоры о том, чтобы меня и еще двух арестованных в Германии иностранных коммунистов обменять на каких-то немецких шпионов, которых схватили в Советской России. Что ж, прекрасно, ведь какой бы она ни была «комфортабельной», тюрьма есть тюрьма. Но просидеть мне все же пришлось до декабря 1922 года, то есть полгода с момента моего ареста. Наконец, мне объявили, что меня, вместе с семьей, высылают из Германии и… устроили настоящую комедию. Вернули мне мою одежду, чистую и выглаженную, выпустили из тюрьмы, торжественно открыв передо мной ее тяжелые двери, но как только я сделал три шага от ворот, чтобы направиться на вокзал и ехать в Бреслу, – поджидавший тут же полицейский арестовал меня, посадил в такой же «черный ворон» и отвез бесплатно в каталажку при полицейском городском управлении. В отличие от подследственной и от каторжной тюрьмы, это был вонючий грязный клоповник, в котором меня предполагали держать неопределенный срок, так долго, пока меня не вышлют. Я протестовал, требовал адвоката, но надо мной только издевались.

Тогда я объявил голодовку – выливал приносимую мне обжигающую баланду в парашу и туда же бросал и порции хлеба. Первые два дня требовалось усилие воли, чтобы не соблазняться поесть (от питья воды из стоявшего в камере бачка я не отказался), но на третий день я почувствовал себя легко, воздушно, и к еде больше не тянуло. Вместе с тем я ухитрился через одного подростка-карманника, которого освобождали, передать записку Марусе, где сообщал о моем положении и просил дать парню несколько марок. На следующий день в нашей газете появилась статья о моем незаконном заключении, а на судостроительных верфях, где имелась сильная коммунистическая организация, и где я несколько раз выступал,

рабочие требовали освободить меня и пригрозили забастовкой.

Одним словом, моя голодовка окончилась на пятый день – меня выпустили, приставив сыщика, чтобы я не скрылся до завтра, когда мы должны были покинуть страну. Выйдя из кутузки, я, зная как опасно наброситься после голодовки на еду, выпил сначала только стакан теплого молока и лишь постепенно стал привыкать к более солидной пище. Мы быстро уложили свои немногочисленные пожитки в наш громоздкий «заморский» чемоданище, и на второй день, в сопровождении наших знакомых сыщиков. Пата и Паташона, уехали через Литву (там этих двоих сменили двое литовских полицейских в штатском) в Москву.

Уже в Бреслау, в последнее время, у Маруси стали все чаще проявляться признаки сильного нервного расстройства. После возвращения Марусе пришлось лечь в специальную лечебницу за городом. Эрмара мы временно отправили к бабушке в Подольск. Меня ЦК направил в распоряжение МК, где я заведывал отделом партийного самообразования, а затем руководил домом партийного образования, находившимся в Звенигороде, в бывшей помещичьей усадьбе.

Здесь я пробыл до июля 1923 года, но бурно развивавшиеся в то время события в Германии не давали мне покоя. Ситуация там стала революционной и, полагая, что обязан принять участие в предстоящих боях, я рвался туда. Я обратился в Коминтерн с просьбой послать меня снова в Германию. Мою просьбу охотно удовлетворили. В то время в Москве открылась Всероссийская сельскохозяйственная выставка. Ведавший в Орготделе Коминтерна снаряжением товарищей на подпольную работу некий Лоренц, выправил мне чехословацкий паспорт пражского агронома, якобы посетившего эту выставку и теперь возвращавшегося на родину. Мне, конечно, дали и явку, и в подкладку брюк зашили командировочное удостоверение Коминтерна, напечатанное на лоскутке тонкой шелковой ткани. Но кроме того, в нарушение правил конспирации, Лоренц попросил меня о личном одолжении. У него в Берлине была девушка Хильда, работавшая в аппарате ЦК, сам он был не то швед, не то норвежец или датчанин – и он попросил передать ей привет, для чего снабдил меня отдельной явкой.

На сей раз я поехал в Берлин один. Выписавшись из лечебницы, Маруся решила жить одна и перебралась с Эрмаром к своим двум братьям и сестре. Под видом интуриста я выехал в Петроград, где несколько дней пришлось прожить, как интуристу положено, в шикарной гостинице «Астория», дожидаясь германского парохода. Уже в петроградской таможне, демонстративно на глазах у других пассажиров, я «познакомился»

с одним русским, оказавшимся специалистом по керамике, с которым нас поместили в трехместную каюту – третьим соседом оказался инженер-путеец, поляк, репатриировавшийся, согласно недавно заключенному договору между Советской Россией и Польшей. Такие репатрианты составляли большинство пассажиров нашего парохода. Сцену с этим «спецом» мы разыграли здесь после того, как нас в Орготделе Коминтерна его заведующий Пятницкий, познакомил. Этот товарищ Мойсеенко направлялся, как и я, на нелегальную работу, но только не в Германию, а во Францию, где он до революции проживал как эмигрант. Он не знал немецкий язык, и мне было поручено оказывать ему в Берлине помощь.

На этот раз переезд в Штетин по Балтийскому морю оказался нелегким. Наш небольшой пароходишка после того, как мы вышли из Петрограда, попал в шторм. На траверзе Аландских островов из-за повреждения руля мы были вынуждены бросить якорь и пережидать целых двое суток в море. Уже на второй день после того, как мы покинули Петроград, началась жуткая качка, и почти всех пассажиров укачало. Но ни я, ни мой новый «знакомый» не страдали морской болезнью, а аккуратно, по гонгу, выходили к табльдоту, где в компании чуть ли не одних только судовых офицеров наслаждались невиданной в Москве богатой разнообразной едой. Здесь за столом мы беседовали, по-французски, но когда мы вдвоем гуляли по палубе, то не без злорадства потешались над этими репатриантами. Ведь как только наш пароход покинул советские территориальные воды, и советский лоцман сошел с него, вся эта публика, выехавшая из Петрограда, весьма скромно одетой, теперь высыпала на палубу разодетая, как на праздник, а женщины нацепили на себя всякую мишуру. Испортила им погода этот праздник!

Но всласть мы посмеялись над одной из пассажирок, русской кокетливой старухой – теперь лежавшей плашмя в своей каюте – но в первый день нашего плаванья успевшей «исповедаться» моему товарищу. По ее словам, она дворянка, тамбовская помещица, в свое время вышедшая замуж за поляка. Ей разрешили уехать к сыну, и ей удалось надуть советских пограничников и провезти с собой спрятанные драгоценности. Советскую власть она поносила, не стесняясь в выражениях. А товарищ Мойсеенко только и делал, что поддакивал ей. В дороге судовое радио приносило все более и более волнующие вести. Бюллетень вывешивался регулярно и сообщал, что в Германии столь же неспокойно, как и здесь на море. Удиравшие из Советской России, явно поникли, задумывались над тем, не придется ли им пережить революцию вновь.

Прибыв в Берлин на Ангальтский вокзал, мы вдвоем сняли номер в одном из близких к вокзалу отелей. В городе было тревожно, по улицам прохаживались усиленные полицейские патрули. Нам с нашими подложными документами незачем было попусту показываться, и мы, поужинав в буфете отеля, благоразумно легли спать. Мне что-то показалось чудным в этом роскошно обставленном отеле, цена за номер выглядела уж слишком высокой, да и странно было слышать назойливые заверения администратора, что нас никто не станет беспокоить. Но все объяснилось просто, этот отель был местом свиданий гомосексуалистов, полиция была в сговоре с его хозяевами и не досаждала его богатым посетителям. Таким образом, мы случайно превосходно устроились. На следующий день я проводил товарища Мойсеенко на вокзал и посадил в экспресс, уходящий в Париж. Перед уходом поезда мы на прощанье выпили по чашке черного кофе с рюмочкой горько-сладкого зеленого ликера бенедиктина, пожелали друг другу удачи и призадумались над тем, встретимся ли мы еще когда-либо.

Оставив свой чемодан в камере хранения, я направился к месту явки, в район вилл Целендорф, в одну книжную лавку. Уже издали я заметил, что шторы опущены, лавка заперта. Понятно, я не стал допытываться, чем это объяснить. Но куда мне теперь обратиться? Я решил наведаться на ту квартиру, где мы с Марусей и Эрмаром прожили месяца два. В большом жилом доме, в который, как в голубятню, то входят, то выходят люди, появление чужого человека не должно вызвать подозрение. Я поднялся на третий этаж, позвонил и несказанно обрадовался, увидев фрау Кениг сквозь клубы пара – был четверг, день большой стирки – нашу квартирную хозяйку.

Но ведь заиметь пристанище не было главным. Как мне связаться с ЦК? Хотя КПГ была еще легальной, я не мог, понятно, пойти туда или в редакцию «Роте фане» – ведь так я немедленно навлек бы на себя полицейских ищеек. Не оставалось ничего другого, как рисковать. Зная, что умерший муж фрау Кениг, рабочий-фрезеровщик, был коммунистом, я прямо попросил ее познакомить меня с кем-нибудь из его друзей. В тот же день, вечером, за кружкой пива в ближайшем трактире, я увиделся с каким-то Карлом, который без лишних слов взялся связать меня с нойкельнским районным партийным руководством и быстро сделал это. Встретившись с этим товарищем, я через него добрался до одного из работников городского комитета партии, а уже через того установил связь с ЦК. Но на всем этом пути по этапу мне пришлось распарывать брюки, чтобы предъявлять свое коминтерновское удостоверение. Мне верили, – а ведь я мог быть

провокатором!

Из ЦК я получил указание ждать, со мной встретится уполномоченный Коминтерна. Мне следовало ежедневно, от 4 до 5 часов пополудни, сидеть в известном берлинском кафе Кранцлерекке. Что ж, ждать, так ждать, хотя, как сказано в поговорке, в жизни нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Вот я и просиживал эти часы в Кранцлере за чашкой «капуцина» со сливками и пирожным, перечитывал все имеющиеся там немецкие и иностранные газеты и журналы, одним словом, вел себя как настоящий богемный журналист, писатель, художник или биржевый спекулянт, совершающий здесь свои сделки. Но проходили дни, прошла уже целая неделя, а я все ждал и ждал, все с большим нетерпением и нарастающим беспокойством.

И в самом деле, у меня были причины беспокоиться. У фрау Кениг я хоть и устроился «по-королевски», но не был прописан, и тем самым ставил ее под удар, о чем она напоминала мне ежедневно. А прописаться со своим фальшивым паспортом чехословацкого агронома я, конечно, не мог.

Но, наконец, в один прекрасный день, за мой столик в кафе подсел высокий плотный шатен, показавшийся мне знакомым. Это был товарищ Вомпе, латыш, которого я, видимо, мимолетно видел в Орготделе у Пятницкого. Он выдал мне новую толику долларов, взял у меня фотокарточку, пригодную для паспорта, подробно расспросил о моем образовании и профессии и велел явиться сюда же снова через два дня. При второй встрече я отдал ему свой чехословацкий паспорт, а он вручил мне германский, заверив, что он вполне надежен, и я, ничего не опасаясь, могу по нему прописаться. И приказал, чтобы я продолжал высиживать в кафе – через пару дней он явится снова и определит меня на работу.

Вомпе явился в третий раз и послал меня на Ambi Werke, крупный берлинский завод сельскохозяйственных машин, здесь мне следовало явиться к одному определенному инженеру и попроситься на вакантное место чертежника. Вомпе снабдил меня для этой цели дипломом чертежника и пояснил, что хотя инженер, к которому я направляюсь, свой человек, член партии и в курсе дела, мне все же придется сдавать пробу. Но, понятно, моя постоянная работа на заводе будет не чертежная – я буду руководить военным обучением пролетарских красных сотен, proletarische Hundertschaften. На заводе все обошлось более, чем удовлетворительно. Диплом даже не стали оспаривать, испытание я сдал, меня зачислили, определив невысокое, но довольно приличное жалование, и инженер посадил меня не в общую чертежную, где работало несколько десятков человек, а в свой

кабинет, в качестве «порученца» – сам он был выдающимся проектировщиком. Это давало мне возможность не уходить с завода со всеми моими коллегами после окончания работы, а оставаться до позднего вечера и даже до ночи, когда я с помощью Ганса – мастера-коммуниста, бывшего старшего унтер-офицера и прекрасного знатока германского оружия – руководил военными учениями трехсот с лишним рабочих.

Занимались мы или тут же во дворе завода или на большом пустыре, прилегавшем к заводу. Винтовки и пулеметы, а также холостые патроны у нас имелись, впрочем, был и запас боевых, но их мы, понятно, в ход не пускали. Очевидно, что заводская администрация, а вероятно и полиция, были обо всем осведомлены, но до поры до времени закрывали на это глаза, выжидая, как сложится общее положение дел в стране. А сложилось оно так. В конце октября в Гамбурге вспыхнуло восстание, но через три дня восставших жестоко подавили. Такая же судьба постигла взявшихся за оружие рабочих и в других местах. А в ноябре Компартию запретили, она ушла в подполье. Это было тяжелейшее поражение не только КПГ, но и ИККИ и всей ленинской концепции близкой победы мировой революции, концепции, в которой главная ставка делалась именно на Германию.

Партийная работа в Москве. Надежда Константиновна

После запрещения деятельности КПГ и ее перехода на нелегальное положение, ИККИ отозвал всех коммунистов-иностранцев, работавших в Германии, и меня в том числе.

Прибыв в декабре 1923 года в Москву, я поступил вновь в распоряжение Агитпропа Коминтерна и получил комнату в его общежитии, на втором этаже гостиницы «Люкс» на Тверской. Здесь, в том же коридоре, проживали товарищи Эрколи (Тольятти) и Сен Катаяма, с которыми я познакомился. С последним – ему было тогда чуть больше 60 лет, но из-за морщинистого лица он казался мне древним стариком – мы часто беседовали на обоюдно плохом английском языке, по утрам, когда мы в общей умывальне обтирались до пояса. С Эрколи, почему-то всегда спешившим, мы обменивались лишь сердечными приветствиями.

Но здесь же, в «Люксе», произошло событие, нанесшее мне тяжелое моральное потрясение. В Москву из Дюссельдорфа (я знал его там) прибыл товарищ Лейтнер, симпатичный молодой рабочий, член ЦК и обкома партии, пользовавшийся большим влиянием в рабочих массах. Его вызвали для наставления и внушения – видите ли, он стал резко критиковать партийных «бонз», оторвавшуюся от масс, обюрократившуюся верхушку «вождей». И вот свидетелем какого разговора я стал. Работая утром в своей комнате, я услышал из соседней комнаты знакомый голос (слух у меня в те годы был отличный). Это говорил заведовавший Орготделом Коминтерна Пятницкий, которого я просто обожал, он был моим идеалом подлинного большевика. И вот он возбужденно говорил об этом «негодяе», «анархисте» Лейтнере, который «не желает слушать никаких увещеваний». Особенно теперь, в условиях нелегальности, нужна беспрекословная, железная дисциплина. Такие типы, как он, «мешают нашему делу». И я ясно разобрал, что Пятницкий, обращаясь к своему собеседнику, который лишь поддакивал ему, употребил выражение «ликвидировать» (это я понял так, что надо ликвидировать влияние Лейтнера), а также сообщил ему, что Лейтнер сегодня вечером должен выступать на заводе «Динамо».

И действительно, всякое влияние Лейтнера было чрезвычайно быстро «ликвидировано» – вместе с самим Лейтнером. На второй день стало известно, что по дороге на завод товарища Лейтнера убили. Рассказывали, что он, вместе с сопровождавшим его

товарищем, проходил по незастроенному, пустынному месту, когда на них напали «грабители». Спутник Лейтнера спасся, подняв стрельбу, а Лейтнеру убийцы проломили череп, после чего сбежали. На третий день Лейтнеру устроили парадные похороны. На протяжении многих лет – держа в абсолютной тайне этот страшный секрет – я вновь и вновь возвращался к мучившему меня вопросу: было ли это случайным совпадением, или Пятницкий, этот мой кумир, злодейски, из-за угла, дал директиву убить «критикана» Лейтнера, руководствуясь иезуитской моралью «для высокой цели все средства хороши»? Если так, то в 1939 году сам Пятницкий заслуженно пал жертвой этой подлой «морали». Но признание самой возможности этого пришло ко мне, увы, лишь после того, как был разоблачен Сталин, – даже то, что я сам просидел в сталинских застенках три с половиной года, не смогло разрушить фетишизацию партии, которой я, как почти все мы, коммунисты, страдал.

Во второй половине января 1924 года я заболел гриппом. Болезнь протекала очень тяжело, возможно потому, что мой организм был ослаблен нервным шоком, вызванным убийством Лейтнера из-за угла. И вот, в самый разгар болезни, поздно вечером, на следующий день после смерти Ленина, мне позвонили. Секретарь МК Коган сообщила, что я назначен заведующим Агитпропом Замоскворецкого райкома. И было сказано, что я должен явиться туда немедленно. Там недавно скончался заведующий, а в связи со смертью Ленина предстоит огромная работа. Приказ есть приказ. Трамваи не ходили, холод был ужасающий, и я с величайшим трудом доплелся на Пятницкую улицу, где помещался райком. Еле способный говорить, я предстал перед его первым секретарем Михайловым, бывшим рабочим-печатником. Меня познакомили с только что назначенным моим замом Лазьяном, как в дальнейшем выяснилось, обладающим если не всеми, то многими достоинствами восточного коварства.

Здесь, в Замоскворечье, я проработал до осени 1924 года. Эта работа требовала исключительно много энергии. Я вертелся тогда постоянно в карусели кампаний, докладов, занятий в сети партпросвещения, инструктажей, отчетов, проверок. И не было времени, да, по-видимому, и не приходило на ум, задуматься над смыслом всей этой суеты, над ее содержанием. Крайне ленивый и порядком невежественный, но претендующий на руководство и любящий внешний шик и блеск Лазьян, при любом подходящем случае напоминал о своем дореволюционном партийном стаже, а главное – прозрачно намекал, что у него имеется покровитель, родственник на самом высоком месте. Интриги, которые он плел,

имели, однако, сомнительный успех. Правда, в конце 1924 года я ушел из Замоскворечья, как я был убежден, не без его старания, получив назначение «с повышением» – заведующим Московским Губполитпросветом, и Лазьян стал зав. Агитпропом РК. Но эту работу он вскоре провалил, и его направили учиться на дипломатические курсы, а затем назначили культурным атташе в Англии… Трудно представить, чтобы этот человек, говоривший на русском языке тбилисских базаров, сумел в этой краткосрочной школе восполнить пробелы своего образования и воспитания. Но, конечно, печально то, что его высокий покровитель не смог или не захотел спасти его от репрессии – в 1937 году он бесследно исчез.

Среди агитаторов, которых приходилось направлять с выступлениями на фабрики, заводы и учреждения района, был и Лазарь Моисеевич Каганович. Бывший рабочий-кожевник (закройщик), он работал тогда в профсоюзе кожевников, помещавшемся в нашем районе. Но хотя он слыл хорошим агитатором, посылать его с докладами приходилось с разбором – говорил он тогда по-русски еще с заметной примесью еврейско-украинской местечковой «говирки». Когда мне позднее пришлось встречаться с ним и работать вместе, Каганович сам вспоминал об этом.

На партийной конференции меня избрали членом МКК (Московской комиссии партийного контроля). В этом качестве мне приходилось разбирать различные проступки членов партии, как бытовые, так и внутрипартийные, идеологические, и, как члену тройки, выносить им приговоры. Субъективно я старался быть справедливым, беспристрастным, но объективно – как я это теперь понимаю – не принимал во внимание, что многие из этих проступков, в особенности относящиеся к «уклонам» от так называемой «генеральной линии» были вызваны тем, что сама политика партии начала все больше и больше уклоняться от коммунистического идеала.

Членом МКК я был в течение нескольких лет, до 1929 года. Был избран также членом Моссовета, но здесь моя деятельность совпала с работой по просвещению. Если не ошибаюсь, то именно во время моей работы в Замоскворечье я познакомился с Ворошиловым и Горьким. Ворошилов был тогда командующим Московского военного округа, являлся и председателем Московского Осоавиахима. Мне казалось тогда, что он душевный, но довольно ограниченный человек, типичный вояка.

Знакомство с Максимом Горьким относилось к основанию Московского Дома ученых, значит, к концу 1922 года. Вероятно, это произошло сразу после моего возвращения из Германии. МК

партии создал комиссию, в которую входил и я, и душой которой был Горький. Помнится, как мы с Алексеем Максимовичем ходили сначала по Остоженке и осматривали особняки, предложенные для Дома ученых, и, наконец, остановились на нынешнем, на улице Кропоткина. Горькому больше всего понравилась стена, состоящая из громадного цельного стекла в нынешней столовой Дома ученых. Когда мы так прохаживались, – высоченный Горький в своей традиционной крылатке, а я в своем зеленом френче – никто не обращал на нас внимания, и мы оживленно беседовали о возможностях популяризации науки в художественной форме, особенно абстрактных учений – тема, которая очень занимала Горького.

Запомнилось лишь, что Горький особенно заинтересовался тем, возможно ли достаточно понятно, увлекательно и вместе с тем не вульгаризируя, довести до неподготовленного читателя такую сложную абстрактную теорию, как теория относительности. Я пытался рассеять его сомнения, высказал утверждение, что нет такой абстрактной мысли, которую нельзя было бы популяризировать, не впадая при этом в упрощенчество, потребуется на это лишь побольше времени. И я добавил, что в этом деле может оказаться весьма полезным кино. Впоследствии, в 30-х годах я и сам в качестве консультанта принял участие в создании фильма о теории относительности, а в начале 40-х годов читал об этой теории популярные лекции в рабочих аудиториях и намеревался издать их, чему, однако, – как об этом еще скажу – помешали «высшие силы».

В начале 1924 года я женился на Лиде, сестре Маруси, а в конце этого года у нас родился сын, которого мы назвали Пиолен (Пионер Ленинизма), сокращенно Леник.

Мосгубполитпросвет, которым я стал заведовать с осени 1924 года и до конца 1925 года, был не партийным учреждением, а советским, часть МОНО (Московского отдела народного образования). Задачи политпросветов были очень, пожалуй, даже чересчур разнообразны. Ликвидация неграмотности, школы и курсы для взрослых, рабочие клубы, публичные библиотеки, и даже партийное просвещение – комвузы и советско-партийные школы разных степеней.

Аппарат Губполитпросвета был большой, и его работники – партийные и беспартийные – в подавляющем большинстве были преданные делу идейные энтузиасты, не «служившие», а работавшие не за страх, а за совесть. Приведу только один пример. Сима Бердичевская, занимавшаяся у нас рабочими клубами, горевшая на работе, полная инициативы, большая спорщица, не без некоторой склонности к анархическим

поступкам, чуть ли не единственный человек, кто чудом сохранился и стал моим большим другом. После работы в Губполитпросвете она окончила исторический ИКП (Институт красной профессуры), работала в ТАССе и, конечно, прошла через кальварию сталинских лагерей. Поэт Есенин, говоря о своей жизни, написал:

Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…

Вот этими словами хочется говорить о Симе Бердичевской (которая и в самом деле была когда-то кавалеристом Красной Армии). Сейчас ей уже за седьмой десяток, а она все скачет и скачет на своем розовом коне. Пылкое доброе сердце рвется к людям в желании помочь, понять их. Есть такая ходячая фраза: «Что, мне больше всех нужно, что ли?» Так вот, Симе как раз больше всех нужно, но не вещей, денег, положения, о, нет! Ей нужно больше всех – жизни, участия в ее сложной, невыносимой подчас борьбе.

Но в своем рассказе о Мосгубполитпросвете я хочу сосредоточиться на воспоминаниях о Надежде Константиновне Крупской. Передо мной и моими заместителями Иваном Кузьминым и Ниной Мосиной – молодыми, способными, верными товарищами – оба они после 37 года погибли – стояли нелегкие задачи. Опыта и педагогических знаний у нас не было, приобрести их было негде, кроме как на ошибках, которые мы допускали. Тут Надежда Константиновна и привлеченные ею в Главполитпросвст, имевшие большой опыт дореволюционной просветительной работы, товарищи, всегда охотно приходили к нам на помощь своими советами. Однако наряду с ними в Главполитпросвете нашло себе приют некоторое количество престарелых деятельниц просвещения, которые совершенно не понимали советскую действительность, производили впечатление классных дам, и их «советы» были мало пригодны.

Так же как Ленин, Крупская говорила всегда правду, полную правду, как бы она ни была горька. И как раз это создало ей тот огромный авторитет, которым она пользовалась среди работников просвещения и молодежи. Как раз из-за этого ее так неподдельно уважали и искренне любили все, кто хоть раз имел возможность услышать ее. Мне по работе часто приходилось бывать в избах-читальнях. На телегах, на санях я изъездил и пешком исходил многие – особенно далекие – уезды нашей обширной Московской губернии, и мне врезалось в память, как избачи, преимущественно комсомольцы и комсомолки, всякий

раз допытывались, примут ли в очередном совещании участие Надежда Константиновна и Михаил Иванович Калинин (которого я также знал).

Расскажу о том, как я вторично побывал на квартире Ленина, а теперь Надежды Константиновны в Кремле. Это было вскоре после того, как я начал работать в Мосгубполитпросвете, спустя год после смерти Ленина. Надежда Константиновна вспомнила, как еще в 1919 году она приглашала меня на работу по просвещению, и мягко укорила за то, что я тогда Владимира Ильича и ее ослушался. Беседа шла о моей предстоящей работе, о том, что должно в ней стать самым главным. Во время этой беседы ко мне на колени вскочил большущий, пушистый, серый, с каким-то необыкновенным голубоватым оттенком, кот, которого Ленину подарил, еще в 21 году, Камо, легендарный кавказский революционер-большевик. Надежда Константиновна с неописуемой грустью в голосе сказала: «Вот, Владимира Ильича нет, а кот жив».

Было у меня и одно расхождение во взглядах с Надеждой Константиновной. В то время, в 1926 году, профсоюзы настаивали на том, чтобы фабричные и заводские клубы перешли в их ведение. Зная непосредственно положение в этих клубах по Москве, и ознакомившись с их состоянием в Николаеве, куда мы с Кузьминым ездили для изучения опыта, так как Николаев славился хорошей постановкой политпросветработы, я стал на сторону профсоюзов. В ходе дискуссии по этому вопросу, я выступил в печати, в «Известиях». Я указывал на то, что профсоюз, лучше, чем органы народного образования, понимает запросы рабочих данной профессии, что он лучше, чем они, может материально обеспечить клуб, что фактическое положение вещей уже таково, как его требуют узаконить профсоюзы.

Надежда Константиновна в защиту своей точки зрения выдвигала как соображение о необходимости государственной централизации и единства всего дела просвещения, так и опасения, что переход клубной работы к профсоюзам может повлечь за собой односторонность, узость подхода к ней и оскудение ее содержания. Я вспомнил теперь этот конфликт не для того, чтобы решить, кто был и в чем тогда прав или неправ, а только для того, чтобы подчеркнуть, как свободно мы тогда, не взирая на лица и служебную иерархию, публично обсуждали спорные вопросы. Эта внутренняя свобода, свобода мнений, которая потом грубо попиралась, свобода, без которой никакое творчество ни в науке, ни в искусстве, ни в общественной жизни невозможно, тогда еще существовала и разумелась сама собой.

После того, как я перешел на другую работу, мне мало

приходилось видеть Надежду Константиновну, разве только с 1928 года, на заседаниях ГУСа (Государственного ученого совета), членом которого я был, и как-то еще в Академии коммунистического воспитания. Последний раз я встретил ее в начале 1937 года на каком-то совещании. Я в то время заведовал отделом науки Московского горкома партии и входил в президиум этого совещания. Надежду Константиновну с трудом заставили усесться на трибуну. Она производила впечатление тяжело больного и удрученного человека. Была неважно одета, я заметил ее плохую обувь. И жила она уже не в прежней квартирке в Кремле, а занимала одну комнату в большом доме в Шереметьевском переулке.

В перерыве она рассказала мне про одного молодого талантливого изобретателя, который безуспешно бьется, чтобы продвинуть свое изобретение, имеющее оборонное значение, и просила помочь ему. Я обещал немедленно заняться этим делом, но в то же время выразил свое удивление тем, что Надежда Константиновна сама ничего не предприняла: «Ведь вам стоит только позвонить по вертушке, и этим займутся», сказал я ей. Надежда Константиновна внимательно посмотрела на меня и со значением сказала: «Мне нельзя, товарищ Кольман, мое вмешательство только повредило бы ему». Я так и не понял ее тогда. Делом этим я занялся, изобретателя вызвал и, убедившись, что его изобретение – новый вид вполне надежно раскрывающегося парашюта – стоящее, пытался продвинуть его. Я написал прямо Тухачевскому, но того вскоре арестовали. А через неделю-другую сам изобретатель куда-то исчез.

В 1939 году Надежды Константиновны не стало. Ее подломила не только тяжелая болезнь, но и не менее тяжелые переживания тех лет, сознание, что беспощадно истребляются лучшие кадры партии, старая большевистская гвардия, честные революционеры – герои гражданской войны и даже молодая смена, равно как и многие представители беспартийной передовой творческой интеллигенции. Как немногие другие, она понимала мрачную суть всего этого периода, террористической сталинской диктатуры, роковую ошибку, которую допустил 13-й съезд партии, не послушавшись ленинского завещания, рекомендовавшего сместить Сталина с поста генерального секретаря партии.

Оппозиционная борьба

Весной 1925 года Московский комитет перевел меня на новую работу – заведующего своим издательством «Московский рабочий». Это было крупное предприятие, издававшее не только политическую, но и художественную литературу, а за время, пока я руководил им, до августа 1929 года, оно стало вторым после Госиздата издательством страны. Главным редактором издательства был старый большевик Барков, типичный дореволюционный интеллигент, с хорошим художественным вкусом, прекрасно знавший русскую и мировую классическую литературу.

Стоит рассказать о его дальнейшей судьбе. После «Московского рабочего» он был культурным атташе во Франции, а потом заведовал протокольным отделом Министерства иностранных дел, когда министром был Молотов, с которым они были близко знакомы. Но это не спасло его от ареста и многолетнего пребывания в одном из тяжелейших лагерей на берегу Ледовитого океана. Оттуда он вернулся хотя и физически относительно здоровым, но морально-политически сломленным. Ему дали хорошую персональную пенсию, спецстоловую, отдельную однокомнатную квартиру в новом доме на Ленинских горах. Как и многие, подобные ему старые большевики, прошедшие через весь сталинский ад, он стал аллилуйщиком. Когда после 1956 года Барков вернулся в Москву, он разыскал меня. Но затем у нас полностью прекратились всякие отношения, у нас не могло быть единомыслия.

В коллективе издательства было вообще много хороших работников и товарищей, работали мы дружно и в общем успешно. Назову хотя бы Левицкую, вдову известного революционера-подпольщика, немного старозаветную в ее борьбе за чистоту русского литературного языка, педантично искоренявшую из сочинений писателей даже самые невинные современные словечки. В то время шла оживленная борьба между литературными течениями, и не легко было нам соблюдать всегда «правильный» курс между этими подводными камнями ЛЕФа, РАППа и другими. На этой работе я, естественно, получил возможность познакомиться лично с рядом писателей, в том числе из советских с Маяковским и Шолоховым, а из иностранных с Анри Барбюсом и Беллой Иллешом. Маяковский издавал у нас книжку детских стихов, и мне приходилось вести с ним раза два или три не очень приятные беседы по поводу гонорара, и он обращался со мной как с настоящим живодером.

Шолохов, тогда никому не известный двадцатитрехлетний парень, принес нам рукопись первой части «Тихого Дона». Несмотря на то, что сам Шолохов мне, да и не только мне, показался каким-то неверным, ненастоящим, мы, после окончательного редактирования Барковым – исправления многих шероховатостей стиля и языка – опубликовали его работу в «Роман-газете». Неверность Шолохова в самом деле проявилась: он перебежал к нашему «конкуренту» Халатову, издав весь роман в Госиздате, где гонорары были выше. А позже этот нобелевский лауреат и миллионер проявил себя неоднократно как заядлый реакционер, черносотенец, выступивший в печати с требованием, чтобы были раскрыты псевдонимы, под которыми печатали (на русском языке) свои произведения еврейские писатели. И это в период антисемитской травли, которую под видом борьбы против «космополитизма» разжег Сталин, травли, которая для всякого разоблаченного «космополита» кончалась лагерем и смертью. Что же касается первой части «Тихого Дона», спора о том, был ли Шолохов единственным автором или заимствовал – и насколько – у кого-то другого, погибшего, его материалы, а, возможно, и целые пассажи, я должен сказать следующее. Тогда, когда мы: я, Барков, Левицкая и молодой способный редактор Грудская (жена впоследствии погибшего выдающегося философа Карева) прочли эту рукопись, то у всех четверых возникли сомнения. Нам показались странными неоднородность стиля, неравномерность языка, – местами гладко литературного, местами же с грубыми грамматическими и орфографическими ошибками и неуклюжими оборотами некультурного человека, как раз соответствующими той разговорной речи, которой говорил с нами автор, устроившийся тогда в Москве, если не ошибаюсь, делопроизводителем какой-то конторы. Мы поделились нашими сомнениями в МК с Коган, но она рекомендовала книгу издать, принимая во внимание ее революционное содержание, особенно ее воспитательное значение для казачества. Теперь же, после той большой редакционной работы, которую проделал Барков (а не была ли подобная работа проделана над следующими томами и в Госиздате, мне неизвестно), сгладив все шероховатости и неровности стиля и языка, вряд ли даже кибернетическое устройство способно установить истину – является ли этот труд плагиатом или нет.

Когда Барбюс был в Москве, я посетил его, больного, в гостинице, принес ему гонорар за изданный нами перевод его романа «Огонь». Мы беседовали с ним довольно продолжительно. С Беллой Иллешем я познакомился не только потому, что издал его роман «Тисса горит», но и потому, что стал издавать на

мадьярском языке литературно-художественный журнал венгерского землячества «Sarlo es kalapacs» («Серп и молот»). Мы дружили с Иллешем в течение всех лет, пока он и его жена, австрийская художница Купке, жили в Москве. Через него я сблизился с некоторыми другими членами этого венгерского землячества, в том числе с Гидашем и Шомоди. Последний как-то устроил мне «экзамен» и поразился тому, что я смог написать свыше сотни мадьярских слов, которые я когда-то узнал в лагерях от военнопленных. А когда летом 1928 года Бела Кун был освобожден из Хортистской тюрьмы и прибыл в Москву, венгры устроили ему торжественный прием, пирушку, наивысшим достижением которой был настоящий гуляш.

Все собрались на даче в Серебряном Бору, пригласили и меня (как издателя их журнала) – единственного невенгра, вдобавок чеха, в нарушение исконной вражды между чехами и мадьярами, подлинный интернационализм на практике! Они раскопали где-то огромный чугунный котел, на базаре купили чуть ли не половину коровьей туши, уйму красного перца, чеснока, в самом крупном московском магазине, бывшем Елисеева, несколько ящиков кахетинского вина (тогда оно еще было в продаже) и, что меня особенно поразило, – достали где-то даже майоран, эту пряность, без которой настоящий венгерский гуляш вообще немыслим.

Да, это был самый подлинный венгерский гуляш, не чета тому из собачины, которым меня как-то угостили венгры в Астраханском лагере, хотя они и заверяли, что собака была жирная, и я тогда в самом деле считал его деликатесом. Но сейчас в глотке стояло сплошное пламя, и, за неимением поблизости пожарной команды пришлось заливать огонь вином. Было весело, мадьяры и мадьярки пели свои удалые песни и танцевали чардаш, веселился и Бела Кун. В 1939 году он пал жертвой сталинской гильотины.

Не помню уже, было ли это прямое указание партии, или, возможно, партийной печати, или же личная инициатива Бухарина, которому тогда была поручена забота об идейном руководстве комсомолом (на 13-м партсъезде он докладывал о нем), но так или иначе, в то время был поставлен вопрос о создании советского приключенческого жанра – детективных, научно-фантастических, утопических романов, рассказов и повестей. Мариэтта Шагинян, которая всегда спешила выслужиться, написала роман «Месс-Менд», и наш «Московский рабочий» решил не ударить лицом в грязь и дать также писателям вполне конкретный «социальный заказ» – за чаем с бутербродами.

Я пригласил на совещание крупнейших московских

романистов и поставил перед ними две задачи: во-первых, изобразить борьбу советских чекистов с иностранной разведкой, во-вторых, дать примерную картину будущего полного коммунистического общества, причем не только его научно-технические достижения, но и попытаться нарисовать черты живого человека этого общества с его новой психологией и моралью. На первую тему вскоре откликнулся Всеволод Иванов, я устроил ему доступ к архиву ЧК, и он написал роман, напечатанный в «Роман-газете» и имевший громадный успех. Но второе предложение – создание марксистской утопии будущего общества – так осуществить и не удалось. Вместо романа вышла лишь довольно объемистая научно-популярная книга «Жизнь и техника будущего» большого коллектива авторов, под моей редакцией.

Пожалуй, больше всего забот доставляла мне в издательстве финансово-коммерческая сторона дела. Ведь я, не научившийся к стыду своему в каждодневной жизни считать деньги, реально плохо представляющий цену самых ходовых вещей, теперь ворочал буквально миллионами рублей! К счастью, в издательстве имелся блестящий финансист, старший бухгалтер Вульфсон, пунктуальнейший, честнейший и осторожнейший человек, но я все равно дрожал при мысли, что вдруг мы прогорим, или что при ревизии обнаружатся какие-нибудь неполадки, а то и мошенничество. Поэтому я потихоньку занялся изучением бухгалтерии и довольно быстро стал разбираться в ней. Значительно легче мне было с чисто технической, производственно-типографской стороной дела, поскольку тут у меня имелся кое-какой опыт по моей прежней работе в трех редакциях наших газет в Германии.

Будучи партийным издательством, «Московский рабочий» не был, понятно, коммерческим предприятием, в том смысле, что главной его задачей было бы наживать прибыли. Политическая, пропагандистская, агитационная партийная литература, издаваемая массовыми тиражами, во-первых, калькулировалась нами занижено, и, во-вторых, немалая часть ее тиражей не находила сбыта. Это было время сплошных острых внутрипартийных дискуссий, борьбы против троцкистско-зиновьевской оппозиции, и одна брошюра, посвященная этой борьбе, следовала за другой. Громадное большинство членов партии, как сторонники ЦК, так и оппозиционеры, были вполне искренни, по-совести убеждены, что эта борьба чисто идейная, за генеральную линию партии, не подозревая, что это в первую очередь борьба за власть, борьба личностей, двух одинаково закоснелых, неистовых бонапартистов, как Сталин-Джугашвили и

Троцкий-Бронштейн. Помнится, книга «Логика фракционной борьбы», талантливый автор которой старый большевик Мандельштам, также как и тысячи других, не подозревал, что стал податливым инструментом Сталина, и клеймил внутрипартийные разногласия как антисоветские, антинародные выступления, заблуждения – как намеренные вражеские диверсии, нагнетал атмосферу ненависти, жертвой которой он, в конце концов, стал сам. Одним словом, «за что боролись, на то и напоролись», как однажды сказала Лиза Драбкина.

В этой внутрипартийной борьбе с левым и правым уклонами я принимал самое активное участие. В сражениях с троцкистами иногда доходило до настоящих драк, до argumenti ad baculi – до палочных «доказательств», что я испытал на себе лично. Как-то меня МК послал на собрание коммунистов-немцев в их клуб (в котором, замечу попутно, я как-то читал лекции по политэкономии; в результате этих лекций я пытался применить математические методы к схемам Маркса простого и расширенного воспроизводства). Это было собрание троцкистов; какая-то истерическая обывательница построила значительную часть своего «критического» выступления на том факте, что в гостинице «Люкс», куда ее поместили, нет плечиков, чтобы вешать на них платье, а это ведь в столице, вот какой низкий уровень культуры в этой стране! Я взял слово, но где там! Зал заревел, и меня стащили с трибуны и, сопровождая тумаками, вытолкали из зала.

Что же касается содержания борьбы против троцкизма, то оно было направлено против идей перманентной революции и сверхиндустриализации, которые затем Сталин перенял у Троцкого и стал осуществлять на практике, не брезгая никакими методами. Но ведь и Ленин перенял у эсеров те их идеи в аграрном вопросе, против которых он годами ожесточенно боролся.

В августе 1929 года я перешел на работу в ЦК ВКП(б), как помощник заведующего агитпропом. Но прежде, чем перейти к этому периоду своей жизни, отмечу еще, что я не только заведовал издательством, но изредка печатал в нем и свои собственные произведения, например, брошюру «Враги ли нам евреи?», затем брошюру к Октябрьской годовщине, книжку «Повернувшие штыки», об участии военнопленных в гражданской войне. К ней я даже сам предложил эскиз обложки. К этому времени относится и важное событие в моей семейной жизни: в 1926 году у нас с Лидой родился второй сын, которого мы назвали Электрий, ласкательно Элик.

Заведующим агитпропом ЦК был Кнорин, латыш, старый

партиец с европейским образованием, перешедший на эту работу из Коминтерна. Работать с ним было легко, мне было поручено следить за идеологическими проблемами естественных наук и техники, за работой соответствующих институтов и обществ. Моим напарником – по части общественных наук – был Борис Маркович Таль. С ним мы вскоре близко сошлись, стали неразлучными друзьями.

В агитпропе ЦК я проработал до марта 31 года, и за эти два года в должности завотделом сменилось трое товарищей и все трое, так же как и мой друг Таль, да и почти все ответственные работники агитпропа, и многие второстепенные тоже, вскоре были палачом Сталиным уничтожены.

После «европейца», изысканного Кнорина, пришел мужлан Криницкий, – грубый, неотесанный, невежественный, больше подходивший для заведования скобяным складом, чем агитацией и пропагандой.

При Криницком мне было неприятно работать. Воспользовавшись тем, что ЦК обратился с призывом к членам партии укрепить организационную и пропагандистскую работу на заводах, я вызвался поехать на Урал, на Карабашский завод, прежде бывший концессией английского промышленника Уркарта, в то время самый крупный медеплавильный завод на европейском континенте. На мое решение временно резко переменить обстановку повлияли и личные мотивы – желание уйти от постепенно сложившейся за последний год неблагополучной семейной жизни. Мы с Лидой, хотя и жили вместе на одной квартире, фактически уже разошлись. Она сблизилась с другим человеком. Было ясно, что нам надо расстаться.

Три встречи со Сталиным

В здании ЦК партии на Старой площади агитпроп помещался на четвертом этаже. Секретариат на пятом, а в подвале находился книжный склад, куда поступали все печатные издания страны. Я регулярно заходил туда, чтобы отобрать те из них, с которыми по характеру моей работы мне следовало знакомиться. Вот так однажды я набрал себе целую охапку свежих книг по математике, физике и т. п., поднялся на первый этаж и вошел в лифт. Но только я захлопнул дверцы, как они снова открылись, и в лифт вошел Сталин. Впервые я увидел его не стоящим издали на трибуне, а совсем близко. Незаметно я стал внимательно разглядывать его. Кроме величайшего уважения, никакое другое чувство у меня тогда не возникало при виде его, хотя он и разочаровал меня. Как всегда, Сталин был в сапогах и френче, но, пожалуй, только этим он и был похож на того, каким его изображали. С серым цветом френча сочетался какой-то сероватый цвет лица этого человека. Ростом он был не выше меня и довольно сутуловат, а не высок и строен, каким его изображали на портретах, которые уже тогда красовались повсюду. Мало помогало то, что, как я заметил, каблуки его сапог были непомерно высоки. Лицо его не было гладким, как его ретушировали, а грубо рябым, все изрытое большими оспинами. Глаза вовсе не большие, а скорее маленькие, прятавшиеся в узкие щелочки. Волосы и усы блестели, были неестественно черного цвета, и хотя ему тогда было всего 50 лет, он явно красил их.

Сталин пристально рассматривал меня и отрывисто спросил: «Здесь работаете?», я подтвердил, сказал кем. Он, не спросясь, взял из моей охапки первую попавшуюся книгу, затем другую, бегло полистал, вернул и бросил с подчеркнутым презрением: «Все математика!» И больше ни слова. Я на четвертом этаже вышел из лифта, он поднялся на пятый. И у меня от этой встречи остался странный, неприятный осадок какого-то разочарования, хотя в чем оно состояло я тогда не смог бы сформулировать.

Вторая моя встреча со Сталиным произошла во время 16-го партийного съезда, летом 1930 года. Я только что вернулся из отпуска, который провел в Крыму, в санатории ЦК в Дюльбере. Возвращение состоялось не без неприятного приключения. На подходах к Москве наш поезд столкнулся с другим поездом, к счастью, не сильно, человеческих жертв не было. Я в этот момент как раз находился на верхней полке, упаковывал свой чемодан, меня сбросило вниз, и я загнал себе щепку под ноготь указательного пальца левой руки. Этим, если не считать испуга,

последовавшего панариция и небольшой, но болезненной операции удаления ногтя, я счастливо отделался.

Как ответственный работник аппарата ЦК, я поспешил на съезд, на котором присутствовал не только как гость, но был назначен в редакционную комиссию, председателем которой был литературовед, старый большевик Лебедев-Полянский. Мы, члены редакционной комиссии, поочередно дежурили, и мне выпало дежурить утром, на второй день съезда. Еще до начала заседания я взял у стенографисток запись отчета, прочитанного Сталиным накануне. Сразу же, в самом начале его речи, мне бросилось в глаза предложение, звучавшее странно. Хоть я никогда не изучал ни в школе, ни самоучкой синтаксис и грамматику русского языка, какое-то языковое чутье благодаря чтению художественной литературы, у меня все же выработалось. Так, как написано, нельзя сказать по-русски. Этого я не мог не уловить.

Подойдя к Лебедеву-Полянскому, я обратил его внимание на это неудачное место, и он согласился со мной. Тогда я сказал ему: «Надо показать это товарищу Сталину, пусть выправит». Но Лебедев-Полянский испуганно замахал на меня руками: «Что вы, что вы, никуда не ходите!» Я недоумевал. «Почему? Ведь, возможно, стенографистка перепутала. Ведь так издавать нельзя». И как только Сталин появился в зале, я поднялся к нему на трибуну и сказал, примерно, следующее: «Вот, товарищ Сталин, здесь в стенограмме вашего выступления, с точки зрения языка, есть одно неправильно построенное место… Вероятно, стенографистка перепутала. Возьмите, пожалуйста, посмотрите. Если разрешите, я завтра утром возьму у вас стенограмму обратно». Сталин посмотрел на меня пристально, испытующе, взял стенограмму и процедил: «Хорошо».

На следующий день, опять перед началом заседания поднявшись на трибуну, я подошел к Сталину и спросил: «Просмотрели, товарищ Сталин?» Протянув мне стенограмму, он бросил: «Так оставить!» И вот так, с этой по-русски неграмотной, возможно, по построению грузинской фразой, и напечатан в стенографическом отчете доклад Сталина. В то время я не распознал в этом поступке Сталина типичное для него самодурство, личный произвол тирана, оскорбительный и унизительный для других, а счел его лишь причудой, минутным капризом этого великого кавказца.

Забегая вперед, скажу сразу о моем третьем соприкосновении со Сталиным. В 1933 или 1934 году Л. М. Каганович пригласил меня – как математика принять участие в возглавляемой им комиссии по составлению Генерального плана реконструкции города Москвы. Задачей этой немногочисленной комиссии, в

которую входили архитекторы, например, талантливый армянин Алабян, и экономисты, в том числе Модест Рубинштейн, с которым мы были в приятельских отношениях (его жену, Наташу Кузнецову, бывшую левую эсерку, я знал еще с 1918 года по Хамовническому райкому) – было окончательно сверстать план, над которым уже много времени трудились сотни специалистов. Нам нужно было выработать на основе несметной кучи материалов компактный документ и представить его на утверждение Политбюро.

Наша комиссия работала в буквальном смысле днем и ночью. Мы заседали чаще всего до трех часов утра, а то и до рассвета, – таков был в те годы и до самой смерти Сталина стиль работы во всех партийных, советских и прочих учреждениях. Там, в Кремле, «хозяин» не спит, всю ночь напролет отец наш родной работает за своим письменным столом. От него могут позвонить за какой-нибудь справкой, и тогда, не дай бог, что только будет, если ты не окажешься на месте? Трудоспособность нашей комиссии и ее председателя была в самом деле неимоверна. На окончательном этапе нашей работы, Каганович поселил пятерых из нас за городом, на одной из дач МК, где мы, отрезанные от отвлекающих телефонных звонков, быстро завершили всю работу, составили проект постановления Политбюро.

Нас пригласили на его заседание, на обсуждение плана. В громадной продолговатой комнате, за длиннющим столом в виде буквы Т сидели члены Политбюро и секретари ЦК, а мы, члены комиссии, разместились на стульях вдоль стен. В верхней, более короткой стороне буквы Т, восседал в центре один только Сталин, а сбоку его помощник Поскребышев. Собственно говоря, там было лишь место Сталина, а он безостановочно, как во время доклада, так и после него, прохаживался взад и вперед вдоль обеих сторон длинного стола, покуривая свою короткую трубку и изредка искоса поглядывая на сидящих за столом. На нас он не обращал внимания. Так как наш проект решения был заранее роздан, Каганович лишь очень сжато доложил об основных принципах плана и упомянул о большой работе, проделанной комиссией. После этого Сталин спросил, есть ли вопросы, но никаких вопросов не последовало. Всем было все ясно, что было удивительно, так как при громадной сложности проблем, нам, членам комиссии, проработавшим не один месяц, далеко не все было ясно. «Кто желает высказаться?», спросил Сталин. Все молчали, уткнувшись в свои бумаги. Мне казалось, что никто из этих известных всей стране политических деятелей не отваживается высказываться – из уважения к авторитету Сталина, прежде, чем выскажется он, – тогда мне бы и в голову не могла

закрасться мысль, что ими руководит страх перед ним. Молчание, все более тягостное, неловкое, длилось долго.

Сталин все прохаживался, и мне почудилось, что он ухмыляется в свои усы. Наконец, он подошел к столу, взял проект постановления в красной обложке, полистал и, обращаясь к Кагановичу, заметил: «Тут предлагается ликвидировать в Москве подвальные помещения. Сколько их имеется?» Мы, понятно, были во всеоружии, и один из помощников Кагановича, кажется, Финкель (способнейший, образованный и вернейший работяга, души не чаявший в своем начальнике, но погибший, как и большинство работников МК, в тридцать седьмом году, причем Каганович не сделал ничего, – не смог, или, вернее, не захотел, – чтобы спасти его), тут же подскочил к Кагановичу и вручил ему нужную цифру. Она оказалась внушительной, в подвалах, ниже уровня тротуара, теснились (и продолжают и поныне тесниться, несмотря на большой размах жилищного строительства) тысячи квартир и учреждений.

Услышав эти данные, Сталин вынул трубку изо рта, остановился и изрек: «Предложение ликвидировать подвалы – это демагогия. Но в целом план, по-видимому, придется утвердить. Как вы думаете, товарищи?» После этих слов все начали высказываться, сжато и одобрительно, план был принят с небольшими поправками, и Сталин предложил вынести нам, составителям, каждому персонально, благодарность за проделанную работу. В заключение, Каганович взял слово, чтобы извиниться за подвалы. Этот пункт, дескать, вошел в проект постановления по оплошности. Это, мол, действительно, было чье-то предложение, но как нереальное комиссия отвергла его. Лживая эта увертка была настолько неуклюжа и прозрачна, что никто из присутствующих, хорошо знающих царившие здесь порядки, а тем более Сталин, не могли не раскусить ее. Ведь каждый понимал, что перед тем, как подписать столь ответственный документ, Каганович несколько раз внимательнейшим образом перечитал его, что десятки раз читали и перечитывали его все другие члены комиссии.

А на деле все обстояло так. Предложение о подвальных помещениях квартир, мастерских, учреждений (за исключением домовых прачечных), о постепенной плановой ликвидации существующих и запрете создавать их в будущем, внес в комиссию как раз я, и оно встретило всеобщее одобрение, в том числе самого Кагановича. Но ведь Сталин назвал его демагогией! Сам Сталин! Хорошо еще, что Каганович не указал пальцем на меня, и на этом спасибо. Увы, проходя по сегодняшней Москве, я часто вижу ребятишек за окнами подвальных квартир, куда не

доходят солнечные лучи, но зато в изобилии просачивается сырость. А в большом доме, в котором я живу, построенном в пятидесятых годах, в десятке учреждений, в том числе в домоуправлении и в партбюро ЖЭКа, служащие работают в подвале. Но в то же время наши «совбуры» – так назвал их Ленин, советская буржуазия, бюрократическая знать, партийные и прочие сановники имеют шестикомнатные квартиры и вдобавок к ним роскошные поместья под Москвой, в Крыму и на Кавказе.

Поделюсь еще впечатлениями о трех лицах, чьи имена вошли так или иначе в историю, с которыми мне пришлось столкнуться во время моей работы в ЦК. Как-то ко мне явилась целая делегация членов партийного комитета Института Маркса-Энгельса с секретарем во главе. У них произошел серьезный конфликт с директором Рязановым, старым революционером, бывшим меньшевиком, человеком большой учености, но вместе с тем нетерпимым к малейшей критике и весьма вздорным. Когда в стенной газете появилась довольно безобидная карикатура и статья о финансовой практике дирекции, нарушающей советские порядки, нежелании считаться с профсоюзной организацией, Рязанов сорвал газету со стены. Я поехал в институт, чтобы выслушать обе стороны и уладить этот инцидент на месте. Но не тут-то было. Рязанов не пожелал спокойно обсудить создавшееся ненормальное положение, он кричал, напирал на то, что за работу института отвечает перед ЦК только он.

Я в то время как раз временно замещал заболевшего зав. агитпропом Криницкого, и поэтому мне пришлось обо всем этом досадном деле докладывать секретарю ЦК Молотову. Каково же было мое удивление, когда он, столь много писавший тогда о руководящей роли партийных организаций, в данном случае встал на сторону Рязанова. Он не нашел ни слова порицания его дикой выходки, но зато обозвал секретаря парторганизации, которого он не знал, да и всю ее «леваками», «анархистами» и приказал мне «поставить их на место». «Эту игру в демократию надо немедленно прекратить. Не надо мешать Рязанову работать», – говорил он. Мои возражения, что таким образом мы плохо воспитываем партийную организацию, Молотов и слушать не хотел. Я чувствовал, что очень не понравился ему. Ну, а что касается меня, то я ушел от него с тяжелым чувством, с впечатлением, что имею дело с тупым, ограниченным, упрямым бюрократом-педантом. А ведь этот человек возглавлял позже советское правительство, а также руководил советской внешней политикой! А через год Рязанов был арестован. Говорили, что он был членом нелегального меньшевистского бюро ЦК и что финансировал его из средств института. Я тогда, конечно, верил,

что это в самом деле было так, однако, как я знаю теперь, все это «дело» было сфабриковано Ягодой, доверенным Сталина.

Секретариат, Оргбюро и Политбюро то и дело создавали комиссии по составлению проектов решений по тем или иным вопросам, или, например, по отбору кандидатов для поступления в Высшую партийную школу и т. п. В такие комиссии, как правило, входили работники тех или других отделов аппарата ЦК, в том числе орготдела и агитпропа.

Так случилось, что мне пришлось участвовать в работе этих комиссий вместе с Ежовым или Маленковым, занимавшими в разное время в орготделе аналогичную должность, как я в агитпропе. Просиживали мы за этой работой, выпивая несметное количество стаканов чаю с лимоном, не одну ночь, иногда спорили, и имели возможность узнать друг друга.

Ежов производил на меня впечатление хилого, жалкого, невзрачного человечка, какого-то худого недоросля, плюгавого на вид парнишки, весьма и весьма ограниченного, недалекого и притом легко раздражающегося, нервозного. И уж во всяком случае нельзя было представить себе, что именно он возглавит когда-нибудь НКВД, станет страшным оружием сталинского террора, «ежовыми рукавицами». Другое дело, Маленков. С виду солидный, осанистый, инженер по образованию, спокойный и рассудительный, он казался мне вполне положительной личностью. Я и до сих пор думаю, что Хрущев устранил его, опасаясь, что тот вытеснит его.

На Урале и в Средней Азии

Однако, пора, после всех этих отступлений, рассказать и про Карабаш. Как в таких случаях положено, я сначала остановился в Свердловске, где зашел к первому секретарю Обкома Кабакову, чтобы представиться, заручиться поддержкой и получить основные сведения о месте и задачах моей новой работы. Из Свердловска, города, который расположил меня к себе рекой и прудами, я поехал в Киштым, а оттуда узкоколейка отвезла меня в Карабаш.

В Карабаше, жалком рабочем поселке, основанном в начале века и к тому времени вряд ли изменившимся к лучшему, но находящемся в живописнейшей горной местности (само название Кара-Баш означает по-татарски Черная Голова), среди невысоких юго-западных уральских гор-холмов, поросших лиственными лесами, и множеством прелестных озер (я где-то читал, что их 1111), по преимуществу небольших, но имеются и большие, из которых некоторые находятся на вершинах гор, – должно быть, все они остатки доисторического моря, – я снял комнату в деревянном домишке в русской рабочей семье, и столовался тут же. Здешние рабочие – русские, татары, удмурты, марийцы – все рабочие медеплавильного завода, или медных копей, были тогда одновременно и крестьянами. Почти поголовно у каждого из них имелся свой небольшой земельный участок, лошадка, огород, козы, а то и корова и свиньи, а, следовательно, и своя собственническая психология. Завод был запущен, техника самая отсталая, быт рабочих совершенно не устроен.

Директор завода и секретарь партийной организации, оба толковые, симпатичные, выбивались из сил. Наркомтяжпром, которому завод подчинялся, все обещал помочь, начать строительство столовой, общежития, детского сада, новой школы, клуба, приличного магазина – ничего этого там не было – обновить технику, прислать квалифицированных технических работников, но все ограничивалось «завтраками». Обком партии неоднократно обследовал завод и принимал дельные решения, обращался в ЦК, но положение оставалось по-прежнему безутешным. А ведь медь нужна была стране, которая электрифицировалась, во все возрастающих количествах!

Хозяин, у которого я жил, уже пожилой рабочий, был страстным рыбаком, и раз или два, по моей просьбе, брал меня с собой на рыбалку. Поздно вечером мы поднимались с ним на близкую гору, к озеру, где у него стояла лодка-плоскодонка. Уже темно, он зажигает фонарь, налегает на весла, и мы потихоньку

плывем туда, где по его, одному ему известному расчету, водится побольше рыбы. Немедленно на свет слетаются несметные тучи белых, как снег, поденок, залепляют стекла фонаря, которые мне непрестанно приходится от них очищать. А в это время он сидит, нагнувшись над бортом лодки, и зорко всматривается в темную воду. Он весь напрягся, с острогой в руке. И вдруг без промаха бьет подплывшую большую рыбину: щуку, нельму, хариуса. А вокруг зачарованная тишина, которую подчеркивает едва слышный всплеск весел, а над нами звездное небо, как купол над окружающими наше озеро соседними холмами.

То, что я попал именно на Карабаш, а не на какой-нибудь другой завод, не было простой случайностью. Перед самым моим отъездом Таль, как бы невзначай, сообщил мне, что в карабашской средней школе стажирует учительницей литературы двоюродная сестра его жены Мери Завельская и он попросил меня разыскать ее и передать небольшую посылку. Разумеется, я выполнил просьбу. Мери оказалась довольно высокого роста веселой брюнеткой, она жила при школе со своей подругой. Так мы и познакомились, стали иногда втроем совершать прогулки по окрестностям Карабаша, а когда Мери вернулась в Москву, то близко сошлись с ней. Когда я получил комнату в коммунальной квартире в Головановском переулке, где среди прочих жильцов проживал старик – отпрыск князей Голицыных, мы с Мери стали жить вместе.

В то время я работал в комиссии по плану реконструкции Москвы. Однажды, развозя нас под утро домой, Каганович расспросил меня о моих жилищных условиях. Узнав, что я живу в одной комнате в общей квартире, он пошептался со своим секретарем, а дня через три мне вручили ордер на трехкомнатную квартиру в Хлебном переулке. Это было в 1934 году. С Мери Завельской мы к тому времени расстались, она уехала учительствовать в провинцию.

Мне хочется рассказать еще о своей интересной поездке в Среднюю Азию. Политбюро ЦК образовало комиссию для обследования работы среднеазиатской партийной организации. Мне было поручено руководить обследованием агитационно-пропагандистской работы. Руководителем комиссии был назначен работник орготдела Меерсон. Отмечу, что в то время антисемитизм в партийном и советском аппарате еще не давал себя знать. Евреи, принимавшие при царизме самое активное участие в революционной борьбе, занимали после революции многие ведущие посты. И это, понятно, могло – благодаря свойственной всем нам, людям, зависти – подготовить почву для антисемитских настроений, особенно когда антисемитизм стал

Сталиным насаждаться сверху. Чрезвычайно благоприятными условиями для широкого распространения антисемитизма в СССР были следующие: давнишние традиции черной сотни погромов, служившие при царизме громоотводом народного гнева; крушение расчетов Сталина, полагавшего, что, поддержав вместе с США образование государства Израиль, как удар против Великобритании, он вместе с тем получит на Ближнем Востоке политическую опору и доступ к нефти, между тем как израильское правительство, ища материальной помощи (которую СССР дать ему не был в состоянии) не стало вести даже нейтральную политику, а полностью подпало под влияние США, в зависимость от них.

Однако, я увлекся, благодаря Меерсону, тезке Голды Меир, носившей до 1948 года ту же фамилию.

Из самой поездки в Ташкент, места пребывания Средазбюро ЦК, которая из-за состояния железных дорог занимала тогда пятеро суток, неизгладимое впечатление оставили бескрайние пространства оренбургских ковыльных степей и дали туркестанских пустынь.

В Ташкенте я познакомился с первым секретарем Средазбюро ЦК Бауманом, а также с первым секретарем ЦК Узбекистана Икрамовым, и встретился с другим секретарем узбекского ЦК – Зеленским, которого хорошо знал по Москве. Ташкент, точнее, его азиатская часть, Старый город, и все то, что я увидел тогда в Узбекистане, Таджикистане и Туркмении, казалось мне чуть ли не исполнением моих мечтаний юношества – побывать в экзотических странах. Познакомившись в Ташкенте с постановкой агитпропработы выборочно в нескольких партийных организациях, я, конечно, не преминул осмотреть и немногие сохранившиеся достопримечательности – школы (медресе) и мазары (мавзолеи).

Нас, членов комиссии, поселили в горах за городом, на даче ЦК, где по выходным дням отдыхали руководящие работники. Эта система подкупа партийных работников – вот такими однодневными домами отдыха, так называемыми «пакетами», специальным снабжением и тому подобным – стала при Сталине практиковаться все шире. Поселив нас в прохладных горах, вне раскаленного летом города, в почти что царской обстановке, преследовали с подлинно восточной хитростью двойную цель: отнять у нас побольше времени (на поездки в город и обратно его уходило немало), и создать у нас хорошее настроение, при котором мы невольно не сможем слишком придирчиво относиться к обнаруженным нами недостаткам в работе. Но разве я тогда понимал это? Для меня латыш Бауман, Зеленский,

Икрамов были просто воплощением большевистской партийности, что, впрочем, в известном смысле подтвердилось тем, что все трое в 37 году были как «враги народа» уничтожены.

В Узбекистане я побывал в городах Самарканде, Катта-Кургане, Бухаре, Маргелани, Коканде, Андижане и Фергане, а также в ряде кишлаков. Но вся красочность восточной архитектуры, вся разноцветность одежды и пестрота шумных базаров, не могли скрыть нищету и грязь кривых узких улочек, покрытых зеленой плесенью арыков (я сам наблюдал, как из них пили верблюды и люди, как в них купались и в них же мочились).

В Андижане я пережил несравнимое ни с чем ощущение: небольшое землетрясение, точнее, несколько подземных толчков. Я стоял в этот момент у кассы железнодорожной станции, чтобы взять билет в Фергану, как вдруг пол подо мной пошатнулся, показалось, что он уходит из под ног, стекла в окнах задребезжали, стоявшие в очереди женщины взвизгнули, где-то заскулила собака, и в промежутке одной минуты это повторилось, сначала с нарастающей, а потом с затухающей силой. Меня охватила какая-то жуть, я поскорее выбрался из здания на волю, ожидая, что начнут рушиться стены. Но все прошло, по-прежнему безмятежно сияло солнце, и я вспомнил об этом лишь для того, чтобы пополнить коллекцию пережитых ЧП: войны, пожар, наводнение, столкновение поездов, тюрьмы, наконец, вот это землетрясение.

И еще одно приключение. По дороге в Бухару наш поезд внезапно остановился, послышалась беспорядочная стрельба. «Не иначе, как басмачи напали», – подумал я (остатки басмаческих банд были тогда еще не редки в Средней Азии, они нападали из заграницы, зверски вырезали целые деревни). Выхватив из кобуры свой крупнокалиберный маузер, я выскочил на площадку вагона. Но это стреляли четверо милиционеров-узбеков, преследуя соскочившего с поезда арестанта-басмача. Они бежали за ним, стреляли неумело на бегу, а он, сбросив мешавший ему длинный халат, прытко мчался к недалекой роще, на опушке которой (как в романе!), поджидало его двое всадников с лошадью, тоже бесприцельно стрелявшие в нашу сторону. Прицелившись, я, метя беглецу в ноги, выстрелил несколько раз и попал. Он вскрикнул, свалился, милиционеры схватили его, – это был молодой парень свирепого вида, в чалме, которую носили тогда только басмачи, дружки его поскакали прочь. В Бухаре меня за мой «подвиг» наградили тремя изящными басмаческими кинжалами из дамасской стали, которые я долго хранил, пока их не отобрали при обыске нашей пражской квартиры после моего ареста.

Случилось так, что в Бухаре я очутился 1 Мая, и мне

пришлось выступить на митинге на площади Эль-Регистан. Конечно, свое приветствие я произнес по-русски, но несколько лозунгов все же по-узбекски, тщательно заучив их. В то время там даже многие руководящие работники неважно знали русский язык, и в общении с ними приходилось пользоваться переводчиком. Ими, как правило, были приезжие казанские или крымские татары, бывшие там тогда вообще самым культурным, передовым элементом. Должен заметить, что за три или четыре месяца пребывания в Средней Азии я уже кое-как стал объясняться по-узбекски. Ведь я мог читать арабский шрифт, которым узбеки тогда пользовались, и находил в их речи немало чисто семитских слов.

После митинга согласно местным традициям состоялся праздничный обед, на который было приглашено все партийное и советское начальство города. Обед состоял лишь из одного плова с бараниной и сушеными фруктами, огромное количество которого громоздилось на величайших размеров блюдах. Каждый накладывал себе с блюда в свою пиалу, затем ел прямо пригоршней, и только мне, как приезжему гостю-европейцу, хотя и наряженному в дарственный шелковый почетный халат и тюбетейку, дали ложку. Конечно, это жирное кушанье пришлось заливать вином, не придерживаясь строгих запрещений корана.

Из Узбекистана я направился в Таджикистан, в его утопающую в зелени красивую столицу Душанбе, позже переименованную в Сталинабад, но затем вновь вернувшуюся к своему прежнему имени. Таджики понравились мне. Многие из них – рослые красавцы и красавицы, а язык певуч, благозвучен – «французский язык» Ближнего Востока, так его, также как и близкий ему персидский, прозвали. Понравился особенно приятный национальный характер.

В Душанбе я познакомился с руководителем таджикского правительства Файзулой Ходжаевым, это был интересный человек, высокообразованный, знающий как восточные, так и европейские языки, он читал мне по памяти стихи Фирдоуси и моего любимого Омара Хайяма. Нечего и говорить, что такой выдающийся общественный деятель, как Файзула Ходжаев, был в 1937 году уничтожен.

Наконец, я направился в третью средне-азиатскую республику, в Туркменистан. Ехал я на машине через Гармскую горную область. Ночью, на привале, я услышал громкий вой шакалов, завывание и отвратительно хохочущие крики гиен. В Туркмении, кроме столицы Ашхабада, я побывал в Чарджоу, славящемся, своими дынями, и на границе с Персией (Ираном), напротив иранского города Мешхед, на погранзаставе. Затем

ездил в пустыню Каракумы, чтобы познакомиться с агитационной работой, ведущейся среди кочевников. Ездил верхом на одногорбом верблюде-дромедаре, и хотя мы с моими провожатыми, местными партийными работниками, не отважились углубляться в эту пустыню, я был весь разбит и чуть было не заболел морской болезнью от постоянного раскачивания верблюда. Побывал я и в Кушке, самом южном городе Советского Союза, и в дравидском колхозе чернокожего племени, в давние времена эмигрировавшего сюда из южной оконечности Индии. Жара стояла невыносимая, 50°С, у меня была тогда черная шевелюра и бородка клинышком, но я ходил с непокрытой головой.

В Москву я привез с собой массу разнородных впечатлений и воспоминаний, не только один бумажный отчет об обследовании, ведь я старался знакомиться с живыми людьми, и, несмотря на замкнутость уклада этих восточных народов, превосходящий пресловутый «домострой» русских и my house is my castle англичан, мне все же удалось побывать в нескольких домах узбеков, как-то ближе прикоснуться к их быту.

Возврат к науке

В марте 1931 года был арестован Рязанов, директор ИМЭЛ, и был назначен Адоратский, старый большевик, ученый-марксист. Я был послан туда как член дирекции института. Адоратский поручил мне заведование кабинетом Маркса. С первого же дня работники института обратились в дирекцию с утверждением, что Рязанов публиковал далеко не все документы, которыми он располагал, что часть из них он, якобы, прятал не в несгораемых шкафах, а в каком-то личном тайнике. И в самом деле, с помощью специалиста, вызванного из Угрозыска, этот тайник был обнаружен в стене кабинета Рязанова. В нем хранились фотокопии нескольких писем Маркса и Энгельса, а также математических тетрадей Маркса и его же записей по вопросам естествознания.

Среди писем особо выделялось одно, адресованное в 1888 году Марксом Энгельсу, содержащее довольно нелестную характеристику тридцатичетырехлетнего Каутского, Я принялся за расшифровку этого небольшого письма. Это была нелегкая задача, так как почерк Маркса, писавшего, вдобавок, готическим шрифтом, с его схожими между собой буквами, был очень неразборчив. Однако мне удалось довольно быстро полностью разобраться в нем, и мой перевод был опубликован в журнале «Большевик». Маркс писал о Каутском: «Посредственный, недалекий человек, самонадеянный, всезнайка, в известном смысле прилежен, очень много возится со статистикой, но толку от этого мало; принадлежит от природы к племени филистеров». Надо полагать, что Рязанов, который приобрел фотокопии рукописей Маркса у германского социал-демократического руководства, был связан данным им обещанием не публиковать ничего порочащего одного из старейших вождей социал-демократии Каутского, или он сам считал бестактным сделать это, по крайней мере, при его жизни (Каутский скончался в 1938 году, в возрасте 84 лет). Понятно, что я тогда, как все, был убежден, что Рязанов скрыл правду о Каутском, руководствуясь своими антибольшевистскими симпатиями.

Что же касается математических трудов Маркса, то, по-видимому, как я понимаю теперь, Рязанов потому тянул с работой над ними, с их расшифровкой и опубликованием, что не был уверен в их научной ценности, боялся повредить авторитету Маркса. Немецкий посредственный математик Гумбель, которому Рязанов дал их на отзыв, не понял их методологического значения и не советовал издавать их. Здесь произошло нечто

подобное тому, что и с «Диалектикой природы» Энгельса. Эйнштейн, которого Рязанов попросил ознакомиться с рукописью, не понял громадного философского значения этих набросков (что объяснялось тем, что Эйнштейн вообще не понимал диалектики), и указал – совершенно правильно – что с чисто физической стороны они устарели, а поэтому рекомендовал воздержаться от их издания.

К чести Рязанова надо отметить, что тогда он не послушался совета гениального физика, и «Диалектика природы» была в 1929 году издана. Но в случае с математическими рукописями получилось иначе. Я немедленно подсказал Адоратскому создать бригаду для их расшифровки – были приглашены Яновская и ее ученики Райков и Нахимовская, усердно взявшиеся за это каторжное дело. Львиную долю работы над рукописями проделала сама Яновская, давшая ценный комментарий к ним; они были фактически полностью подготовлены ею к печати. Но в ИМЭЛе после смерти Адоратского менялись директора, и все они в вопросе об издании Марксовых математических рукописей занимали одинаково нерешительную, колеблющуюся позицию перестраховщиков. Потребовались десятки лет, пока рукописи были опубликованы, причем включившимся в это дело позже бездарным, но ловким карьеристом Рыбниковым, одним из многочисленных учеников уже скончавшейся Яновской, присвоившим себе всю заслугу и получившим за это ученое звание доктора.

Летом 1931 года я побывал в Лондоне, куда ездил как член советской делегации на 2-й международный конгресс по истории естествознания и техники. Это было одно из первых, если не вообще первое участие советских ученых в международных конгрессах. Состав делегации формировался Политбюро, возглавлял ее Бухарин, тогда член Политбюро, я числился ее секретарем, в нее входили крупнейший ботаник и генетик Николай Иванович Вавилов, с которым разрешили поехать его сынишке, пионеру с красным галстуком, физик Гессен, экономист и историк техники Модест Рубинштейн, электротехник Миткевич, биолог Завадовский, – все они, за исключением Рубинштейна и меня, трагически погибли от рук Сталина. В Лондон мы добирались сложным путем. Сначала самолетом германской «Люфтганзы» в Кенигсберг (Калининград).

В этом самолете я позабыл свою шляпу, которую вместе с другим «европейским» обмундированием я, как и другие делегаты, приобрел в специальном магазине Наркоминдела, и был очень расстроен. Но оказалось, что в Лондоне hatless «безшляпные» – самый последний крик моды.

Лондон встретил нас не слишком дружелюбно. Несмотря на разгар лета (был июнь или июль) в воздухе висел «смог», насыщенный черным дымом, угольной пылью. Бывало, что видимость не превышала нескольких шагов. Воротник рубашки уже к обеду становился грязным. Но неприветливой была не только погода. На нас обрушилась желтая пресса. Ее фоторепортеры ухитрились заснять нас, в газетах появились наши снимки, сопровождаемые подстрекательскими статьями, в одной из газет под названием: «They prefer bombs» («Они предпочитают бомбы») с помощью подстановки другого слова в название популярного тогда фильма «They prefer blonds» («Они предпочитают блондинок»). На самом конгрессе многие относились к нам также с подозрением, – мол, не ученые прибыли, а большевики устраивать коммунистический переворот в доброй старой Англии. И, понятно, главной мишенью был член Политбюро Бухарин, вряд ли в условиях того времени он был подходящей главой советской научной делегации.

Но так к нам относились не все делегаты конгресса. Среди них был и Бернал, который много лет спустя, выступая перед советскими историками науки, говорил о том, что именно наши – в особенности Гессена и мои – доклады на лондонском конгрессе содействовали тому, что он стал знакомиться с марксизмом, стал его сторонником. Позднее Бернал возглавил Всемирный Совет Мира, но потом, поняв, что политика правителей Советского Союза резко расходится с идеалами коммунизма, а Всемирный Совет Мира стал просто ее послушным инструментом, – стал критически относиться к ней, не пожелал служить ей, и эти переживания несомненно ускорили его тяжелую болезнь и смерть.

Да и сам президент конгресса, немолодой уже профессор Зингер, был с нами не только отменно вежлив, но даже пригласил нас – Бухарина, Вавилова, Гессена, Рубинштейна и меня – к себе домой, в свой коттедж на чай, за которым мы с ним и его супругой очень мило и непринужденно беседовали.

Неблагоприятная атмосфера на конгрессе значительно рассеялась, после того, как члены нашей делегации выступили с докладами, большей частью содержательными, доказав, что приехали не политики, а ученые. Конечно, методологическая, философская сторона некоторых советских докладов была чужда собравшимся, своим материализмом и диалектикой была неприемлемой для них, но они проявляли больше, чем мы, марксисты, терпимости к чужим убеждениям, да им просто интересно было слушать эту диковинку.

Бухарин сделал доклад о «праксеологии», науке о законах

результативности практической деятельности людей, одного из модных тогда увлечений буржуазной философии, до которых Бухарин, милейший человек какого-то детски-наивного духа, исключительно эрудированный, но философски путанный, был чрезвычайно падок. Однако наибольшее впечатление из всех советских докладов произвел невзрачный на вид Гессен своим докладом о Ньютоне. Здесь они впервые ознакомились с методом исторического материализма, причем не в абстракции, а конкретно в применении к научной биографии величайшего ученого. Вдобавок Гессен, окончивший Эдинбургский университет, говорил на превосходном английском языке, не то что Рубинштейн со своим «матросским», я с «пиджин-инглиш», а тем более Бухарин, знавший превосходно французский и немецкий, но плохо знавший английский.

Кроме уже упомянутого сообщения о математических работах Маркса, я сделал два доклада: о кризисе философско-логических основ современной математики, и о динамической и статистической закономерности в физике. Все доклады советской делегации мы тут же издали уже упомянутой отдельной книжкой «Наука на распутье», с изданием которой у меня, как у секретаря, было немало хлопот. Книжка имела большой успех. После 37 года я, также как делали все, опасаясь обыска, уничтожил имевшийся у меня экземпляр этой книжки, поскольку в ней имелись статьи «врагов народа».

Мы были в финансовом отношении прилично обеспечены, но я, экономии ради, жил не в отеле, а в пансионе, где-то рядом с Бейкер-стрит, уличке, памятной по Шерлоку Холмсу. Пансион был сплошь заселен одними стариками, а главное, старухами, одинокими старыми девами. Я встречался с ними за общим завтраком, наблюдая их диккенсовские нравы. Они были чопорны, почти не разговаривали друг с другом, а тем более со мной, все это было необычно, крайне консервативно, так же как и то, что такси в Лондоне имели допотопную внешность кубических черных ящиков, но мотор был вполне современный! А для того, чтобы растопить газовый камин в комнате, надо было бросить особый жетон (для разных районов разный; газ принадлежал различным частным компаниям), в автомат. Почтальон развозил почту на мотоцикле не в сумках, а в старозаветных холщовых мешках. Было странным и то, – но с другой стороны, – что бидоны с молоком и продукты привозят жителям коттеджей из лавок прямо домой, и рано утром оставляют стоять на тротуаре, не опасаясь, что все это добро кто-нибудь стащит…

Нашу делегацию попросили посетить палату общин, во время ее заседания. Устроил это некий Коутс, член парламента,

лейборист, возглавлявший комитет англо-советской дружбы. Собственно, этот комитет, или его бюро, был своего рода бизнесом мистера Коутса. Он состоял из него, его жены и взрослой дочери, которые втроем, в одной комнате, заправляли этим «делом», что мне казалось крайне странным. Но еще более странным было посещение парламента. Нас туда повел Коутс, не предъявляя пропуска, привратник обязан знать их всех в лицо. Шло заседание. Спикер в традиционном белом парике – представление, да и только! И нам повезло. Какой-то консерватор подал интерпелляцию. Спрашивал премьера Мак-Дональда, как долго будет терпеть правительство, чтобы в Кембридже, недалеко от Лондона, лорд Резерфорд занимался разбиением атомов, что может привести к взрыву, который, не дай бог, уничтожит все христианское человечество. Мак-Дональд отделался шуткой.

Однако этот инцидент, вызванный с одной стороны весьма популярной тогда фантастической литературой, распространявшей атомные ужасы, а с другой – желанием консерваторов «насолить» лейбористам, настроить обывателей против правительства, – поднимал весьма серьезные как физические, так и моральные проблемы, проблемы ответственности ученых. По состоянию атомной физики того времени в самом деле нельзя было поручиться, что расщепление атомного ядра не вызовет цепную реакцию гигантской энергетической мощи.

Ведь и позже, как об этом в своих воспоминаниях пишет Гейзенберг, ни он, ни Бор, ни Эйнштейн, ни сам Резерфорд не допускали и мысли о возможности использования ядерной энергии ни для мирных, созидательных, ни тем более для военных, разрушительных целей. И если все кончилось «благополучно» тем, что были «лишь» Хиросима и Нагасаки, и что теперь накопленные по обе стороны запасы атомных и водородных бомб, способные многократно уничтожить все человечество, а, возможно, всю жизнь на Земле, – пока – не пущены в ход, то где гарантия, что они не будут пущены в ход в будущем, что не развяжется, пусть и не «естественная», цепная реакция, а намеренная, вследствие безумия алчных, властолюбивых людей? И далее, где гарантия, что опыты по расщеплению элементарных частиц, электронов и других, в самом деле не приведут к цепной реакции, которая в один миг превратит вещество Земли, да, возможно, всей Солнечной системы, в излучение, к реакции, подобной тем, которые рождают новые звезды? Не зная «структуру» элементарных частиц (ее как раз надо узнать их расщеплением), мы этого не знаем, и даже не в состоянии оценить количества риска, связанного с подобными

экспериментами, и не можем принять какие бы то ни было меры предосторожности. В таком случае, имеет ли ученый право рисковать?

Но с другой стороны, без риска не было бы не только науки, но и жизни вообще, ведь буквально каждый наш шаг связан с риском поскользнуться и сломать себе шею. Запрет экспериментировать, пусть лишь в одной ограниченной области, вскоре послужил бы прецедентом и привел бы не только к остановке развития прогресса, но и к регрессу, к всеобщему упадку… Вот вам одна, и немаловажная, из неразрешенных, и, возможно, неразрешимых дилемм.

Упомяну еще, что после посещения заседания парламента, нас тут же пригласил на ленч Артур Гендерсон, видный лейбористский политик. Мы сидели с ним на террасе ресторана парламента над Темзой, вели душеспасительные разговоры, и чуть ли не давясь, ели кровавый ростбиф, которым нас почти каждый день непременно угощали.

В честь нашей делегации советским посольством был устроен прием. На нем меня поразила жена посла Сокольникова, Серебрякова, безвкусицей пышного наряда, обвешанная блестящими драгоценностями, да и всем своим нескромным поведением. Позднее, попав, как жена репрессированного, в лагерь, она отличалась стукачеством, сожительством с лагерным начальством, с которым прижила отпрыска. А выйдя из лагеря, имела нахальство написать роман о жизни… Маркса! А советское издательство не постеснялось издать компиляционное сочинение этой особы. Но, собственно, чему же удивляться, ведь это в стране, где существует полный разрыв между политикой и моральными принципами.

Кроме Лондона я побывал еще и в Кембридже, причем с особой целью. Перед нашим отъездом из Москвы, завагитпропом Стецкий вызвал Бухарина и меня для конфиденциального разговора, и передал нам поручение Сталина, попытаться уговорить талантливого молодого физика Капицу, выехавшего в 1921 году из Петрограда в Англию, вернуться на родину, где ему будут созданы самые благоприятные условия для работы.

В Кембридж мы поехали поездом втроем – Бухарин, Модест и я – физика Гессена, которому было бы наиболее интересно посетить Резерфорда, мы не решились взять с собой, поскольку он был учеником Тамма, а с ним Капица как будто не ладил. Предварительно Бухарин списался с Капицей, просил устроить нам посещение Кевендишской лаборатории Резерфорда. Поездка, к сожалению короткая, произвела на меня чарующее впечатление красотой английского ландшафта с его живописными хуторами,

рощицами, заборами из живого кустарника, лужайками с пасущимися на них овечками. Сам Кембридж, небольшой городок, и университет с его двухэтажными зданиями, расположенными в прекрасном тенистом саду, мне также очень понравился.

Побывал я и в комнате студента и подумал: дай бог нашим профессорам в Москве так жить. Интересны были студенты сами, и их профессора, которые расхаживали в мантиях. В лаборатории, размещенной в бывшем монастырском здании, с его низкими потолками и мрачными сводами, нас встретили Капица и Резерфорд, провели по ней. Поразила крайняя простота оборудования, – Резерфорд как бы даже кичился тем, что он сам создает аппаратуру из стеклянных трубок, проволочек, сургуча. Единственным продуктом современной индустрии был находившийся в подвале мощный генератор электрического тока.

Капица пригласил нас на обед в свой коттедж, где мы и познакомились с его женой Анной, дочерью известного кораблестроителя и математика, академика Крылова, выступления которого мне пришлось раза два услышать на собраниях Академии. Адмирал Крылов был большой чудак. Почти в семидесятилетнем возрасте он являлся на собрания Академии в высоких сапогах, какой-то домашней куртке и пересыпал свои выступления матросской матерной многоэтажной бранью в адрес бюрократов, мешавших его работе. Зато его дочь производила впечатление утонченной аристократки, недаром воспитывавшейся во Франции.

После обеда Бухарин, без обиняков, поставил перед Капицей вопрос о возвращении, обещал ему золотые горы. Капица уклонился от прямого ответа, и потом – по-видимому, его жена оказывала большое сопротивление – еще долго колебался.

Вернулись они лишь в 1934 году, однако вовсе не добровольно. Приехали в отпуск, и его не пустили обратно. Но обещания, данные Капице, были выполнены. Для него был создан специальный институт с богатейшим научным оборудованием, где были выполнены замечательные работы по температурам, близким к абсолютному нулю, по сверхтекучести. Подбор работников в этом институте, в отличие от прочих советских учреждений, находился почти целиком в руках его директора, Капицы, без вмешательства отдела кадров. Парторгом института была жена Стецкого, избежавшая репрессий и после ареста своего мужа, очень милая женщина, сумевшая сработаться с Капицей. Тем не менее, думаю, что у Капицы были не отдельные моменты, а целые годы, когда он сожалел, что вернулся. В 1942 году он уклонился от участия в работе над созданием ядерного оружия, и

хотя в 1945 году ему и присвоили звание Героя социалистического труда, он за свой отказ находился в опале до самой смерти Сталина, да и после ее, и лишь чудом избежал худшей судьбы.

По окончании конгресса все члены нашей делегации бросились в магазины закупать вещи и подарки. Помню, купил себе и своим сыновьям по шерстяному свитеру, а с Бухариным мы пошли в обувной магазин (я помогал ему объясняться). Мои покупки обошлись мне дорого. Не деньгами, а нервами, тем, что, во-первых, по приезде в Москву советские таможенники не хотели пропускать детские свитеры, заподозрив во мне спекулянта, и во-вторых, в тюрьме следователь на полном серьезе расценил тот факт, что я «покупал Бухарину обувь», как «политическую связь с врагом народа».

Мы с Модестом Рубинштейном решили воспользоваться тем, что у нас имеется транзитная виза через Голландию, вернуться через нее, побывать хотя бы два дня в этой интересной стране. Так мы и сделали. Потом мы уехали в Берлин, где расстались. Модест направился в Цоппот, а я, через Дрезден, в так называемую Чешско-Саксонскую Швейцарию, на самую границу Чехословакии, где мы с мамой и сестрой назначили встречу. Конечно, мне очень хотелось побывать в родной Праге, увидеть бабушку Иоганну, но я вряд ли получил бы чехословацкую визу, да меня, того и гляди, могли даже схватить как «изменника», поскольку я воевал против легионеров.

Свидание, длившееся всего пару часов, было, конечно, очень трогательным, но и мучительным. После 16 лет мы вновь встретились! Не хватало Рудольфа; что с ним, где он, – мы тогда не знали. Как это в подобных случаях после продолжительной разлуки всегда бывает, разговор как-то не клеился, хотелось сказать чересчур много, но не хватало слов. Ведь у каждого из нас сложилась своя обособленная жизнь, со своими интересами. Так мы больше смотрели друг на друга, умиленно молчали. Я расспрашивал маму о бабушке, о знакомых, родственниках и друзьях. Рассказывал в самых общих чертах о себе. А Марта поведала о том, что развелась с мужем, Бертлем Цукром, вернулась к маме в Прагу из Палестины, где не смогла приспособиться к тяжелой жизни пионеров.

Встреча с Мартичкой

В 1932 году, когда я уже работал в Комакадемии, был членом ее президиума и руководил Ассоциацией естествознания, я опять побывал заграницей, на сей раз в качестве делегата на Международном конгрессе математиков в Цюрихе. Должен сказать, что я чувствовал себя не совсем ловко: ведь я не принадлежал к сколь-нибудь выдающимся математикам; было много других несравненно более заслуживающих быть включенными в делегацию, подбор которой вообще был весьма случаен. Собственно, мне нужно было честно так и заявить, но мне, понятно, было лестно, а главное не хватало сил отказаться от поездки в Швейцарию.

На конгрессе я сделал два секционных сообщения: «О новом обосновании дифференциального исчисления Карлом Марксом» и «О функциях кватерниональных переменного». Оба они не остались без внимания. Первое, конечно, из-за имени Маркса, причем бывшие на конгрессе русские эмигранты не преминули устроить во время этого моего сообщения небольшую обструкцию, подняли шум в аудитории, но их вежливо уняли, а второе потому, что случайно этой же проблемой занимался сам президент конгресса, швейцарский математик Фуэтер.

Конгресс происходил в новом здании Политехнического института, а частично и в университете. Так как мне приходилось сильно экономить, я жил в студенческом общежитии и питался в студенческой столовой. Я принял участие в двух, организованных конгрессом, экскурсиях: по Цюрихскому озеру и на гору Юнгфрау.

Во время конгресса у меня было много интересных встреч, но одна была совсем особая. Ко мне подошел профессор Рихард Курант, известный сотрудник самого выдающегося математика нашего времени Давида Гильберта, и заявил, что он желал бы побеседовать со мной, по секрету, посоветоваться по важному для него жизненному вопросу. Я был удивлен, услышав такое от него, человека несомненно опытного, старше меня, но, конечно, я согласился. Мы уселись за столик в летнем кафе, и он начал с того, что я, должно быть, хорошо разбираюсь в политике, могу с большой вероятностью предвидеть, куда будут в ближайшее время развиваться события в Европе. Я спросил, почему он так интересуется этим. Он ответил, что не знает, стоит ли ему, как еврею, оставаться в Геттингене, или эмигрировать в США или в Советский Союз. Он ведь читал «Mein Kampf».

Курант поставил меня в довольно затруднительное положение. Ведь я тоже прочитал этот жуткий пасквиль, с его

человеконенавистнической программой власти над миром, истребления евреев, цыган, цветных, превращения славян в водовозов и лесорубов, и вовсе не был склонен – как многие другие – лишь посмеиваться над всем этим, недооценивать эти угрозы маньяка. Слышал же я и только что речь Гитлера в «Спорт-паласте», а при проезде через Берлин наблюдал, как по берлинским центральным улицам вышагивали отряды нацистских головорезов в коричневых рубашках, стальных касках с паучьим крестом и черно-красно-белыми лентами, орущие:

Свастика на стальном шлеме,
Черно-белая-красная лента —
Бригадой Эбергардта
Так нас зовут…

И у меня был горький опыт провалившейся попытки революции 1923 года. Нет, я не имел права успокаивать этого видного ученого, сказать ему: «Не волнуйтесь, коллега, оставайтесь, все уладится». Но что же я мог ему посоветовать? Поехать в Советский Союз, а не в США? Ведь у него имелось приглашение в Нью-Йоркский университет, обещаны прекрасные условия, между тем, как я ничего не мог ему обещать, не был уполномочен, не знал его, и не знал, как в Москве к этому отнесутся. Разумеется, я не стал отговаривать Куранта перебраться в Советский Союз, но все же осторожно предупредил его, что в таком случае ему придется приспособляться к непривычному для него укладу жизни. Через год Курант благополучно уехал в США. И я счастлив, что тогда поступил именно так, возможно, этим сохранив Куранту жизнь.

На обратном пути в Берлине я встретился с Мартичкой. Мама в этот раз не приехала, не могла оставить хворавшую девяностолетнюю бабушку. Мы пообедали в китайском ресторане, а затем я покатал Марту на самолетике, показывавшем город с птичьей высоты. Но это двойное угощение оказалось неудачным – от непривычных китайских блюд в сочетании с полетом Марте стало дурно. На прощанье у меня с сестрой был серьезнейший разговор. Я стал уговаривать ее переехать поскорей ко мне в Москву, где она, как певица и художница, сможет найти себе применение, старался внушить ей представление о фашистской опасности, которая нависла над Европой. Но она и слушать не хотела о том, чтобы оставить маму, да и не верила в серьезность моих страхов, твердила, что немцы – народ культурный, не способный ни на какие дикие выходки, а тем более зверства, что только немногочисленные подонки, уголовники, которые

имеются в любой стране, могут последовать за Гитлером. Эти настроения были характерны для большинства западно-европейских евреев-ассимиляторов. Они считали себя стопроцентными немцами или чехами. Какой страшной ценой они заплатили за свое заблуждение! Мартичка погибла в 1943 году, сорока трех лет, в газовой печи в лагере уничтожения Равенсбрюкке. Конечно, я не могу поручиться, что если бы тогда она послушалась меня (и если бы мне удалось добиться ее переезда, что тоже не было столь легко), она не попала бы в когти Сталина, вместо когтей Гитлера.

До 1932 года я работал в институте Маркса-Энгельса-Ленина. Но когда я вот так пишу эти свои записки, то иногда замечаю, что не упомянул о каком-либо интересном эпизоде или встрече. Например, когда я работал в «Московском рабочем», меня вызвал председатель Крестинтерна Домбаль, польский коммунист, позднее репрессированный, и предложил поехать на нелегальную работу в Китай, в город Чанша. Я, конечно, охотно согласился. Меня поселили на одной из дач ЦК, в Морозовке, снабдили уймой трудно воспринимаемого материала, который я начал прилежно изучать. В Морозовке тогда отдыхал один только председатель Совнаркома Рыков с женой, – мы виделись ежедневно за общим столом. Он оказался веселым товарищем, образованным, любящим пропустить за столом по рюмочке «рыковки», а его жена, врач, интересовалась методологическими проблемами биологии. Разумеется, эту близость с «врагами народа» мне не преминули вспомнить на допросах. Ведь Рыков возглавлял в 1928 году «правый уклон», а в 1938 году его казнили. Из Морозовки я вернулся в свое издательство – поездка в Чанша не состоялась, в 1927 году Чанкайши произвел свой контрреволюционный переворот.

В Морозовке я побывал во второй раз в 1930 году (сочинял какой-то проект постановления Оргбюро ЦК о реформе вузов), когда там отдыхал великий индийский писатель и поэт Рабиндранат Тагор (несколько его вещей я читал еще юношей в Праге), с ним я познакомился лишь бегло. И еще: начальник охраны Морозовки, сильно выпив, как-то расхвастался мне, что он-де, давно, побывал в Париже, где организовал похищение белогвардейского генерала Кутепова, рассказал все подробности, как его самолетом доставили в Москву, где он был повешен.

Недолюбливая санатории и дома отдыха, я как-то (было это в 20-х годах), решился провести свой летний отпуск, как теперь принято говорить, «дикарем». Буквально ткнул пальцем в карту и избрал Марийскую область, деревеньку на Волге. Туда я поехал пароходом из Горького до Чебоксар, а оттуда на лодке. Здесь

поселился у крестьян, причем не в их хате, а в беседке в саду. Сами марийцы мне очень понравились, а их соседи чуваши показались мне более суровыми. И марийский язык, который я, понятно, не понимал, показался мне благозвучнее. Через местный комитет партии я раздобыл хлебные карточки (за это пришлось прочитать пару докладов), а в остальном питался у хозяев, бродил по лесам, собирал ягоды, а главное, ежедневно ездил на рыбную ловлю.

Нет, не подумайте, что это я сам рыбачил – никогда в жизни ни рыбной ловлей, ни охотой не приходилось заниматься. Просто я познакомился с одним старичком, бакенщиком, отставным матросом, с ним и ездил ловить рыбу. У него была своя простенькая, прочная лодка, он проверит бакены, умело, уверенно наловит стерлядей, которых тогда было в Волге хоть отбавляй, затем мы высаживаемся на отмели, он разжигает костер и варит в котелке уху. Конечно, я к этой ухе, вкуснее которой никогда больше не едал, приносил свой хлеб, и перец, и лавровый лист, а главное – косушку. Мой матрос был большой мастер рассказывать о своей жизни, о купцах-богачах, о дальних плаваньях, а я слушал, развесив уши, купался, загорал, стал чернее негра. Это был простой русский человек, необразованный, но мудрый, такой, какие встречаются в рассказах Льва Толстого.

«Идеологическая» подготовка репрессий

В 1932 году я был назначен директором Института Красной Профессуры Естествознания. Институты красной профессуры – сначала был один общий, а в дальнейшем их было организовано несколько: экономический, исторический, философский, естествознания – должны были готовить преподавателей высшей школы – марксистов – из слушателей, уже имеющих законченное высшее образование. Однако эти институты просуществовали недолго, так как вскоре стали рассадниками всяческих партийных «уклонов», идеологической базой не столько партии, – на что были рассчитаны, – сколько оппозиции.

Характерно, что теперь о них стараются молчать; во втором издании БСЭ даже нет упоминания об этом учреждении, игравшем тогда, в тридцатых годах, в период ожесточенной политической борьбы, значительную роль. Я не только директорствовал, но и читал курс лекций по философским проблемам математики и ее истории. В институте было немало хороших, способных слушателей, впоследствии выдвинувшихся на крупную работу, как, например, Кедров, ставший академиком, Саркисов – директором института мозга, Шворин и Лобова – членами коллегии министерства здравоохранения, и много других, хотя еще большее число их сгноили в тюрьмах и лагерях.

У меня было два заместителя – Максимов специализировался на методологии физики, хотя знания этой науки у него были еще значительно более слабые, чем знания философии, а дарования никакого, и невропатолог Новинский, занимавшийся методологией биологических наук, честный, порядочный товарищ (чего о Максимове нельзя было сказать). Максимов немедленно объединился с Суртой, секретарем парторганизации, тупицей и склочником, и началась свистопляска. Институт перманентно лихорадило. Сурта и камарилья, которую он подобрал вокруг себя, занимались не учебой, а только одним: выискиванием механистов и меньшевиствующих идеалистов, ловлей «ошибок» преподавателей на лекциях, слова, сказанного слушателем на семинарах, рытьем в старых статьях. Так они рассчитывали сделать партийную карьеру, расчет вполне реальный в той общей обстановке, которая тогда готовила 1937 год. В институте постоянно происходили заседания, собрания, совещания комиссий, людей заставляли каяться в совершенных ими «грехах». Хотя я тогда, да еще на протяжении многих лет спустя, не понимал всю отвратительность этой игры, но все же уже тогда проводил различие между объективными ошибками,

допущенными кем-то, и его субъективными намерениями.

Но допускать такие различия считалось (а советскими философами-догматиками считается и поныне) чуть ли не преступлением, и я едва не поплатился за это. Помнится, на каком-то политзанятии я, говоря об австрийском «социал-предателе Отто Бауэре», высказался так, что не следует думать, будто большинство подобных людей в буквальном смысле куплено капиталистами, Я сравнивал их с попами, среди которых большинство вовсе не намеренно обманывают народ, а искренне верят в бога, почему и их проповеди, их воздействие на людей тем более убедительно.

Конечно, тут же нашлась одна «бдительная» особа, которая подняла целое дело, мне пришлось даже давать объяснения, и без «постановки на вид» дело не обошлось. Оно и понятно, ведь «агентами буржуазии» и еще худшими словами клеймил оппортунистов и буржуазных профессоров «ученых лакеев поповщины» сам Ленин, нигде и никогда не разъясняя, что такими они являются объективно, но что субъективно они могут быть самыми благожелательными людьми, также, как наоборот, среди марксистов (по их высказываемым взглядам) могут встретиться настоящие подлецы. Любопытно, что как раз наиболее рьяные «ортодоксы», вроде этой доносчицы и Сурты, не избежали плохой доли – она исчезла, а Сурта, проработавший после ИКП в Белоруссии на партийной работе, затеял там очередную склоку, но видно, не сориентировался, избрал ошибочное направление и был расстрелян.

В ИКП Максимов, выжидая, пока не выступал прямо, а был идейным вдохновителем всей этой, пытавшейся подкопаться под меня, банды. Но такое же положение было и в других институтах красной профессуры, и когда они сделали свое дело, подготовили разгром идеологических кадров, их закрыли. Должно быть, Сталин счел их уже не только лишними, но и опасными. Право на идеологические дискуссии должно было отныне оставаться только его монополией.

В случаях, когда дело касалось философии или истории, прямым зачинщиком «проработок» являлся сам Сталин, в других они проводились либо по его указаниям, либо по инициативе усердствующих доброхотов. К последним принадлежал и я, искренне глубоко убежденный, что моя пропаганда положений «Анти-Дюринга» и «Диалектики природы» Энгельса, «Материализма и эмпириокритицизма» и «Философских тетрадей» Ленина, не приносит ничего другого, кроме большой пользы физико-математическим наукам. И я не задумывался над тем, что моя критика механистических и идеалистических

ошибок того или другого советского научного работника может иметь для него роковые последствия. Между тем, в только что названных трудах Энгельса и Ленина, наряду с действительно блестящими, порою гениально опередившими свое время идеями по философским проблемам естествознания и математики, имеются положения явно ошибочные.

Это отчасти потому, что они уже тогда, когда их писали, не соответствовали уровню, которого наука достигла. Ведь ни Энгельс, ни Ленин не имели естественно-научного образования, у них не было достаточно компетентных советников, и не всегда они пользовались лучшими литературными источниками своего времени. Впрочем, как я уже отметил, в таком же положении находился и Маркс, когда он занимался вопросом обоснования математического анализа. Но ошибочность ряда высказываний Энгельса и Ленина по физике и т. п. объясняется, конечно, тем, что за время, прошедшее с написания этих трудов, в науке свершилась подлинная революция.

Так, например, у Энгельса имеется немало просто вздорных высказываний по математике, высказываний, притянутых за волосы с тем, чтобы оправдать столь же вздорные «диалектические» высказывания Гегеля. А определение математики, данное Энгельсом, в известном смысле уже устарело. Обо всем этом мне удалось опубликовать довольно развернутую критику в сборнике «Естествознание и марксизм», вышедшем в конце тридцатых годов. Характерно, что ИМЭЛ упорно не желает подготовить подлинно научное издание этих сочинений Энгельса, снабженное историко-критическим комментарием.

Примерами неправильных формулировок «Материализма и эмпириокритицизма» могут служить хотя бы следующие: Ленин пишет о существовании материи в пространстве и во времени, то есть в 1908 году, уже после открытия теории относительности, придерживается ньютоновской концепции пространства как пустого вместилища материи и т. д.; он объявляет утверждение о превращении массы в энергию идеализмом, придерживаясь устаревшего понимания энергии лишь как меры превращения одного вида материального движения в другой его вид, между тем как уже в 1874 году Н. А. Умов, а в 1884 году Дж. Г. Пойнтинг показали, что энергия, так же как и масса вещества, локализована, переносится полем, ее поток обладает плотностью. Ленин не разграничивает онтологический и гносеологический аспект проблем бесконечности, утверждая, что электрон неисчерпаем, что материя бесконечна вглубь.

Со всем этим я не только тогда не выступал (уже потому, что

осознание этого приходило крайне медленно), но не имею возможности выступить и теперь. Ведь на критику хотя бы одной буквы сочинений Ленина наложено строжайшее табу.

Так или иначе, более или менее активно, я, однако, принимал участие чуть ли не во всех этих кампаниях, считая себя (по примеру Сталина, который потом стал этим примером и для Хрущева), так же как и мои коллеги, компетентным судить по всем вопросам во всех областях знания. Так я включился в критику «немарксистских» и «антимарксистских» высказываний в биологии, в психических и медицинских науках, хотя мои сведения здесь были лишь крайне поверхностными. В результате, мы наломали немало дров, нанесли несправедливые обиды не одному ценному научному работнику, из которых многие были потом репрессированы и погибли (чего, конечно, не было в наших намерениях), и повредили развитию советской науки, равно и ее престижу в глазах иностранной интеллигенции, да и социализму и коммунизму в целом нами был причинен громадный ущерб.

Так обстояло, например, дело с психотехникой и педологией, в результате резкого осуждения которых, постановлением ЦК от 1936 года, подготовленным при участии Ассоциации естествознания Комакадемии, впоследствии погиб ученый-психолог Шпильрейн. Правда, не все было неверно в этом постановлении, советские психотехники и педологи в самом деле некритически увлекались, подражая Западу, где эти прикладные науки, особенно метод тестов, зачастую служили эксплуататорским и расистским целям. Но порочность постановления ЦК состояла в том, что оно «с грязной водой выкидывало и ребенка» – методы определения профессиональной пригодности и одаренности – но еще больше в – том, что оно исходило из типичного тезиса: работники этих наук злонамеренные вредители! Хотя в настоящее время все разумное, что имелось в психотехнике и педологии внедрено в жизнь, никакого пересмотра постановления ЦК, разумеется, не последовало. Лженаукой была тогда объявлена и евгеника, – наука об улучшении человеческой породы, – вместо того, чтобы осудить лишь злоупотребление ею в человеконенавистнических целях. А в сороковых-пятидесятых годах появились дальнейшие «лженауки» – теория относительности, квантовая физика, генетика, математическая логика, кибернетика – но об этом позже.

Не хочется, чтобы меня поняли так, будто я, каясь в своих ошибках, зачеркиваю все, что мной было сделано. Я часто выступал с докладами, с лекциями не только в Москве, но любил выезжать в Ленинград и другие города, много писал, главным

образом по философским вопросам физико-математических наук, по их истории, и из этих работ некоторые были также изданы в переводах на разные иностранные языки. Не от всего в этих моих работах мне теперь приходится отказываться, есть в них и положительное, и для развития марксистской философии естествознания мной все-таки кое-что сделано.

У Комакадемии имелось в Ленинграде свое отделение, и я время от времени ездил туда, не только с лекциями, но и по организационным делам, как член президиума. В один из этих приездов меня принял Киров в Смольном. Примерно с полчаса мы беседовали, и у меня осталось от него сильное впечатление: я увидел простого, сердечного, умного человека, прирожденного вожака масс. Понятно, что по одной лишь непродолжительной встрече невозможно составить себе правильное представление о человеке; не исключено, что смени Киров Сталина, власть бы также испортила его. Но до этого ведь не дошло. Сталин «вовремя» убрал Кирова, как заслуженно пользовавшегося чересчур большим авторитетом и любовью, видя в нем своего потенциального соперника. И это злодейское убийство послужило Сталину как нажим на спусковой курок для взрыва – всеобщего истребления самых лучших партийных кадров, объявленных «троцкистско-зиновьевско-каменевско-бухаринско-рыковской бандой врагов народа», «агентами империализма».

Бывало и так…

В 1932 году происходила всесоюзная проверка и обмен партийных документов (фактически лишь другое название чистки партии), и из членов президиума Комакадемии нас двоих – Дзениса и меня – ЦК включил в комиссию Политбюро, председателем которой был Мануильский. Нам предстояло провести эту кампанию на Украине, где я тогда побывал во второй раз, еще раньше мы ездили с моим заместителем по Мосгубполитпросвету Кузьминым в Полтаву и Ново-Николаевск, чтобы изучить местный опыт.

Работать с Дзенисом и Мануильским было крайне приятно. Освальда Дзениса я любил больше всех членов президиума, этот бывший комсомольский работник, моложе меня лет на десять, был милым, умным товарищем, таким, о котором говорят с основанием: «светлая личность». Он был международником, изучал фашизм, ему удалось побывать в Италии (для того времени заграничная научная командировка составляла большую редкость и была небезопасной – человека сразу подозревали в том, что его «завербовали»). Конечно, Дзенис погиб, но погиб и Пашуканис, юрист, тоже милый человек, любивший, не знаю, в шутку ли, всерьез, говорить, что он перед всяким докладом пропускает «для храбрости» по рюмочке.

Дмитрий Захарович Мануильский был необыкновенно симпатичный, образованный (он окончил, как юрист, Сорбонну, но ничего сухого, характерного для многих правовиков, не было в нем), человечный, веселый старый большевик, державшийся с нами, молокососами, запросто как с равными, любитель рассказывать всяческие истории (возможно, что он и выдумывал их) и анекдоты, что он умел делать не хуже многих актеров-юмористов. Помнится, как он по памяти пересказывал Бабеля и Шолом-Алейхема – мы с Освальдом хохотали до упада – а один раз рассказывал нам про Сталина, как тот коварно зло подшутил над Серго Орджоникидзе; событие происходило во время какой-то поездки, в поезде, Мануильский блестяще подражал произношению обоих кавказцев. К сожалению, я быстро забываю анекдоты, и подробностей этой «милой» проделки, довольно дурно характеризовавшей «великого вождя» (каким я тогда искренне считал Сталина) не осталось у меня в голове. Но самый факт, что Мануильский не побоялся поделиться с нами, мало знакомыми ему людьми, столь опасной темой, очень характерен для него. Мне пришлось поработать с ним еще раз, во время Второй мировой войны.

Наша комиссия обосновалась в Киеве, где я прожил три или четыре месяца в третьеразрядной гостинице. На Украине тогда свирепствовал страшный голод, вызванный как засухой, так и разорением сельского хозяйства сталинской политикой раскулачивания, лишением крестьян стимулов для работы, разорением, повторявшимся потом не раз, и настолько глубоким и прочным, что оно дает себя чувствовать и поныне: в колхозах не хватает, несмотря на всю механизацию, рабочей силы, которая ушла и продолжает уходить в город, вопреки даже тому, что у колхозников нет паспортов, а значит, и права на жительство в городе – но для чего существуют взятки? – и страна, всегда считавшаяся «житницей Европы», вынуждена при недороде – закупать – это на 56 году советской власти! – хлеб, мясо, яйца и даже картошку и лук в США, Канаде, Бразилии, Польше и Чехословакии.

На улицах Киева, Чернигова и других городов, где я тогда побывал, встречалось множество нищих крестьян и беспризорных детей, оборванных, тощих, умирающих с голоду. Именно на этом фоне происходила чистка партии. Мне было поручено проверить парторганизации Украинской академии наук и университетов Киева и Чернигова, кроме того, я побывал еще в нескольких городах, где имелись пединституты. Так как проверочные комиссии работали по вечерам, проводя общие собрания парторганизаций, то днем у меня оказывалось достаточно свободного времени (надо было лишь предварительно знакомиться с «делами» некоторых членов партии, имевших партийные взыскания, которые частично поставлялись ГПУ) и я смог как следует ознакомиться с классической украинской художественной литературой. Я одалживал ее в университетской библиотеке, с наслаждением читал произведения Шевченко, Франко, Леси Украинки, Коцюбинского и других, недурно понимал их. Вообще же украинский язык мне очень нравится, он кажется мне более благозвучным, более мягким, чем русский.

Чистку я проводил, строго придерживаясь полученных директив: вычищать украинских националистов, скрытых троцкистов и прочих врагов партии. Я не свирепствовал, но и не давал никому поблажки, и – как думаю теперь – как и вся наша комиссия, вычистил не мало ни в чем не повинных хороших людей, искренних коммунистов.

От самого города Киева с его великолепным Днепром у меня осталось неизгладимое впечатление, но почему-то особенно помнится одна смешная мелочь, показывающая, что в свои сорок лет я был в чем-то каким-то детским. В витрине комиссионного магазина на Крещатике была выставлена великолепная высокая

светло-красная фетровая феска, с черной длинной шелковой кистью, марокканская, об этом говорила золотая арабская надпись на ее внутренней стороне, возможно, попавшая сюда из театрального реквизита. Мне страх как захотелось купить ее себе, всякий раз, когда я проходил мимо, я подолгу останавливался перед этой витриной, заваленной разным хламом, но войти в магазин и спросить о цене, а тем более купить эту феску, я стеснялся.

Я упоминаю об этой экстравагантной мелочи не зря. Как я теперь понимаю, то, что я мог тогда, со спокойной совестью думать о таких пустяках, в то время, как наша чистка ставила под удар судьбу людей, и когда в украинских деревнях люди гибли с голоду, говорит о том, до чего я был тогда слеп. Я мог бы, конечно, умолчать об этом, далеко не украшающем меня эпизоде, но я не желаю рисовать себя лучшим, чем я был на самом деле.

Комакадемия иногда устраивала выездные сессии, на двух из которых я здесь остановлюсь. С Островитяновым, добродушным человеком, но порядочной «шляпой» (а нашего председателя Савельева мы с Дзенисом прозвали «шляпным магазином», хотя вообще он был весьма порядочным человеком, но почему-то рано ставшим сенильным, ведь он и умер в возрасте 55 лет) – я ездил в Свердловск, где прочитал какие-то доклады, в том числе, помнится, о «триумфе марксизма», доклад, в котором я, – конечно, абсолютно искренне, – превозносил гений Сталина, как великого ученого-марксиста.

Жили мы вдвоем в одном номере гостиницы, и как-то вечером у нас зашел разговор о театре, вероятно, после того, как мы посмотрели какую-то пьесу в Свердловске. И тут я высказал свои сомнения, правильно ли тратить огромные средства на все новые и все более роскошные постановки старых опер и балетов в московском Большом театре, в то время, когда столько людей недоедает, а в деревнях буквально мрут с голоду.

Островитянов очень удивился тому, как я ставлю вопрос, и стал спорить со мной, хотя и не очень решительно. Но вот что интересно. Когда я сидел в тюрьме в пятидесятых годах, один из следователей припомнил мне, что я «выступал против политики партии в области культуры», и в доказательство привел почти буквально то, что я тогда говорил Островитянову.

Отсюда, и из других подобных случаев, я сделал вывод, что уже в то время, в начале тридцатых годов, за мной, как и за мало-мальски ответственными работниками вообще, велась систематическая слежка. На каждого из нас имелось досье, куда заносились сделанные на нас доносы, копии наших частных писем и подписываемых нами служебных документов, записи

подслушанных наших разговоров. На всякий случай! До поры до времени человека не трогали, но копили, копили материал, чтобы, когда им вздумается, схватить. На подозрении был каждый, без исключения. Так было при Сталине (при Ежове и Берии), при Хрущеве (при Семичастном), так оно есть и сейчас (при Андропове).

Одним словом, жандармерия есть, как и была, жандармерией, только с той разницей, что после публичного разоблачения злодейств Сталина, масштабы ее бесчинств количественно сократились, и что – с другой стороны – электроника дает возможность значительно усовершенствовать методы подслушивания. Но как узнали тогда «органы» о нашем разговоре? Вероятнее всего, Константин Васильевич по простоте душевной рассказал кому-нибудь, тот другому, третьему, пока кто-то не донес на меня (я и мысли не допускаю, чтобы сам Константин Васильевич оказался фискалом). А, возможно, что рядом с нашим номером находился «осведомитель» – мы переговаривались громко, лежа на своих кроватях…

Вот каков наш «советский образ жизни», и никто не приходит в негодование от этого, разве только иногда мы наивно досадуем над всеобщим равнодушием людей, ничем не возмущающихся, не критикующих и даже оправдывающих безобразия, от которых им самим ежедневно приходится страдать. Однако еще 85 лет назад Чехов писал в рассказе «Холодная кровь»; удивительно, как царская цензура пропустила это, теперь попробуй напечатай такое, дудки, нынешние редактора страх как бдительны: «Никто не возмущается, никто не критикует! А почему? Очень просто. Мерзость возмущает и режет глаза только там, где она случайна, где она нарушает порядок. Здесь же, где она составляет давно заведенную программу и входит в основу самого порядка, она слишком скоро входит в привычку».

Интересной была выездная сессия Комакадемии в Закавказье – в Тбилиси, Ереване и Баку – куда мы поехали на этот раз вчетвером – Пашуканис, Дзенис, Островитянов и я – каждый с несколькими докладами по своей специальности. Для меня эти три города и страны – Грузия, Армения и Азербайджан – были раньше незнакомы, и я с жадностью окунулся во все новое, в этот быт восточных людей, отличных от нас. Тбилиси – тогда еще Тифлис – мне очень понравился своей быстротечной Курой, древними Сионским и Мехстским замками, архитектурой грузинских жилых домов, с их длинными балконами, а также и новых зданий – театра имени Руставели, правительства и ЦК партии, университета, музеев.

Но национальный характер грузин мне рисовался через тех

немногих, с которыми мне пришлось встречаться, и у которых часто чувствовалось что-то вероломное. А теперь, после всего того, что стало известно про «великого грузина», мне уже подавно нелегко подавить в себе чувство неприязни к этой нации; конечно, я сознаю, что это нехорошо, несправедливо, что среди грузин, как и в любой другой нации и народности, имеются дурные и прекрасные люди, – но, желая честно, самокритично отнестись к себе, сознаюсь в этом низменном чувстве.

Такое же отвратительное, заслуживающее всяческого осуждения националистическое чувство, ничуть не лучшее антисемитизма, появилось у меня во время войны к немцам. Я помню такой случай. В 1943 году в Алма-Ате я встретил на улице находившуюся там в эвакуации академика-филолога Лину Штерн, с которой был знаком. Она заговорила со мной на своем родном языке, по-немецки. А я попросил ее перейти на русский язык – немецкая речь была мне просто физиологически невыносима. Лина Штерн укоряла меня – мол, как же я, коммунист, интернационалист, могу так. Ведь немецкий язык это вовсе не язык Гитлера и Геббельса, а Гете, Гейне, Бетховена. Я разъяснил ей, что разумом я все это, конечно, понимаю, но чувством не в силах ничего с собой поделать.

Как всегда, когда я нахожусь в чужом городе, я в свободное время (наши доклады читались по вечерам для партийного актива и научных работников) скитаюсь не столько по музеям и прочим достопримечательностям, сколько просто брожу по улицам, заглядывая во дворы, в магазины, шляюсь по базарам, стремясь питаться не в ресторане шикарного отеля Интурист, где нас поселили, а в самых простых народных корчмах, в винных погребках, которых тогда в Тбилиси было хоть отбавляй. Так я узнал привлекательные черты грузин – их радушное гостеприимство, любовь к песне, музыке, пляске.

Но беспредельное, как мне казалось, гостеприимство этой нации раскрылось перед нами, москвичами, когда ЦК Грузинской компартии устроил для нас прощальный банкет. О том, что на этот Лукуллов пир ушло не мало народных средств, я тогда и не подумал. Торжество устроили в нашем отеле, в большом зале на первом этаже, присутствовала вся верхушка ЦК и правительства, все эти люди преждевременно погибли.

Пировать мы начали в 8 вечера, а закончили в 8 утра. Одно острое восточное блюдо следовало за другим, за одним сортом превосходного вина появлялся другой, еще более хороший, и все это чередовалось тостами, цветистыми, длинными, лирическими, из которых каждый представлял собой настоящий художественный рассказ или даже поэму, иногда серьезный, но

чаще всего шуточный. Когда уже было выпито вполне достаточно, хозяева заставили нас пить из больших рогов, и нельзя было отказаться, ведь пили за здоровье Сталина! И, странное дело, все это время я как бы наблюдал себя со стороны и гадал – опьянел ли я по-настоящему или нет.

Чтобы убедиться в этом, я потихоньку под столом в своей записной книжке стал решать уравнение Риккати (случай, приводящий к элементарным квадратурам) – оба мои соседа, справа и слева, находились уже в таком состоянии, что не замечали моего странного поведения. Ну, и что же? Когда кончился банкет, то я, правда, еле доплелся до своего номера, на втором этаже, ноги отказывались идти, но, отоспавшись, я проверил свои вычисления, и оказалось, что решение правильное.

Из Тбилиси мы направились в Ереван (тогда Эривань). Ехали ночью поездом, в специальном правительственном салон-вагоне, с громадными окнами, в которые – как раз было полнолуние – виднелись дивные очертания кавказских гор. Ереван со снежным Араратом, высящимся над городом, с широкими, густо озелененными улицами, с множеством новых зданий-дворцов, построенных в национальном армянском стиле, с террасообразными высящимися друг над другом жилыми домами из розового туфа, с плоскими восточными крышами, – все это показалось мне сказкой. И сами армяне мне чрезвычайно понравились, показались мне симпатичными, мягкими и при этом деловыми.

На этот раз мы жили не в гостинице, а в гостях у председателя Совнаркома, в настоящем дворце. В столице, где мы прочитали ту же серию докладов, как и в Тбилиси, нам показали «библиотеку» – хранилище старых, выдержанных виноградных вин. В подвале стояли ряды громадных бочек, и сопровождавший нас ученый специалист-винодел не только рассказывал историю каждого из сортов, содержавшихся здесь, не только разъяснял технологию их производства, но и заставлял нас дегустировать их. Каждому из нас дали по крохотной рюмочке и из каждой бочки нацеживали по нескольку капель. В итоге, хотя в типах вина, в их букете и вкусе мы после этого урока не стали лучше разбираться, но зато нас разобрало как следует.

Однако не подумайте, будто мы всецело посвятили себя только изучению этой «библиотеки». Нет, мы побывали и в настоящем книгохранилище, совершенно изумительном своими древними сокровищами. Нас возили в город Эчмиадзин, в монастырь, местопребывание католикоса, главы армянской православной церкви, и мы удостоились даже узреть этого седовласого достойного патриарха. В этой библиотеке мы

осмотрели древнегреческие списки сочинений Аристотеля и их старинные армянские переводы, множество изумительно художественных древних армянских изданий, уникальные сокровища армянской культуры. Побывали мы и в крупном промышленном центре Ленинакане, где прочитали каждый несколько публичных лекций, возили нас и на реку Аракс, на самую границу с Турцией в необыкновенно своеобразную живописную долину.

Но перед тем, как покинуть эту прекрасную страну, армянские руководители устроили прощальный банкет. А поскольку издавна известно, что между грузинами и армянами существуют отношения, которые лишь при советской власти перестали быть откровенно враждебными, то, понятно, что армянское партийное руководство не пожелало ударить лицом в грязь, а, наоборот, постаралось переплюнуть своих соседей по части роскоши угощений. Скажу только, что я выдержал и это.

Из работы в Комакадемии упомяну еще, что, руководя Ассоциацией естествознания, я сменил О. Ю. Шмидта. Помнится, что как-то мы вдвоем обсуждали проект экспедиции в южную часть Тихого океана, но осуществить ее не удалось, и вместо нее, как известно, Отто Юльевич возглавлял легендарный поход «Челюскина». Помимо научных интересов, его привлекала надежда избавиться в Арктике от мучившего его туберкулеза легких. После его триумфального возвращения в 1934 году, он пригласил нас с женой к себе на дачу на Николиной горе, где мы вместе пили чай с шоколадным «Челюскиным» – громадным тортом-пароходом, подарком работниц фабрики «Большевик». Отто Юльевич был человеком разносторонне одаренным, блестящим организатором, хорошим математиком, специалистом по теории групп, оригинальным космологом, и если он, как и многие другие, в том числе такие выдающиеся философы, как Карев, Луппол или Стэн, и допускали гегельянские ошибки, то пришивать ему, как и им, кличку «меньшевиствующих идеалистов» мог только Сталин. Отто Юльевич умер в возрасте 65 лет в 1956 году и, надо полагать, только всемирная известность полярника спасла его – немца – от репрессий тридцатых и сороковых годов.

Часть третья. Без передышки

«Ежовы рукавицы»

В Комакадемии я был одно время секретарем партийной организации, и тогда (в 1933 году) мне естественно приходилось часто беседовать с секретарем комсомола Катей Концевой, литературным работником отдела пропаганды при президиуме. На 17 лет моложе меня, двадцатичетырехлетняя мать трехлетнего сынишки Вячека, она разошлась в 1930 году со своим мужем Петей Стороженко, студентом-историком. В 29 году с новорожденным на руках Катя носила Пете в Бутырку передачу. Его арестовали на месяц, якобы, как троцкиста. Когда они в 1930 году развелись, потому что были очень разными по характеру, Петя уехал к родным в Сухуми. Позднее Катя виделась с ним еще пару раз, но затем он исчез и никогда больше не давал о себе знать.

Катя – Екатерина Концевая – окончила литературный факультет МГУ, работала редактором в Сельхозгизе, в Гослитиздате, и сама проявляла склонность к литературному творчеству, издала уже в 31 году книжку «Завоюем солнце», об использовании солнечной энергии и солнечной экспериментальной станции под Самаркандом, куда специально ездила. Вот мы. Катя и я, оба разведенные, поженились.

Новоселье мы с Катей справляли вдвоем. Когда мне в Моссовете вручили ордер и дали ключи, я купил плитку шоколада и бутылку шампанского, и мы, расстелив в одной из комнат на полу газету и сидя так, все это добро уничтожили. Наша квартира, далеко не идеальная, на первом этаже, с дровяным отоплением, казалась нам тогда пределом счастья. Несмотря на все невзгоды, которые принесло нам то тяжелое время, мы счастливо прожили здесь целых двенадцать лет. Счастливо, так сказать, в личном плане. Здесь же у нас родилась в 1939 году дочка Ада.

С ликвидацией Комакадемии с самого начала 1936 года я стал работать завотделом науки Московского городского комитета партии, первым секретарем которого был Каганович, но вскоре его сменил Хрущев, бывший до того вторым секретарем. Работа в МК была интересная, но крайне трудная, сложная. У меня, правда, было двое помощников: зам. инженер Каплун, хороший, умный, рассудительный товарищ, занимавшийся главным образом изобретательскими делами, и Крапивинцев, только что окончивший врач-дерматолог, на которого я старался перекладывать все биолого-медицинские вопросы. Непонятно почему, Крапивинцева, честного, но порядком ограниченного,

малокультурного парня, никогда не соприкасавшегося с международными проблемами, внезапно направили на дипломатическую работу в буржуазную Литву.

Но отдел не имел ни одного инструктора или референта, и справляться с огромным объемом работы – с сотнями научно-исследовательских институтов, с научной работой вузов столицы, с научными обществами и издательствами – а ведь все это (за исключением центральных, которыми ведал отдел науки ЦК) подлежало нашему руководству – было просто физически невозможно. Я даже не говорю о том, что для того, чтобы разбираться в бесчисленных специальных конфликтах, которые в институтах постоянно возникали, нужны были поистине энциклопедические знания, такие, какими никто из нас не обладал, да в наше время никто обладать и не может. Как и всюду тогда работали мы не только днем, но и по ночам, до рассвета, но я убежден, что не с большой пользой, а отчасти даже с вредом для дела.

В партийных отделах науки, в центре и на местах, в редакциях издательств, в Главлите, – человек решает судьбу научной работы только потому, что он сидит в данном кресле. Чаще всего он бездарен, невежественен, но угоден начальству, с темой работы, а то и со всей специальной областью он знакомится впервые, когда работа попадает к нему. Понятно, что такая система, а впридачу к ней цензура научной информации, – все это вызванное тем, что принцип «диктатуры пролетариата» распространен на всю духовную область – приводит к отставанию советской науки, к торможению ее развития. Чиновники аппарата страхуют себя, перекладывают ответственность друг на друга, все «непринятое», нестандартное подозревают в крамоле, стараются устранить. Вместе с тем, при такой системе процветает блат, прямое взяточничество, а также широкая возможность «примазаться» к науке всяким посторонним людям, ловкачам, авантюристам, чиновникам от науки, и просто ненормальным «чудакам», совершающим «переворот в науке».

Из секретарей нашим отделом руководил Каганович, а потом Хрущев, и поэтому я имел возможность, еженедельно докладывая им, ближе узнать их, не говоря уже о том, что я наблюдал их поведение на заседаниях секретариата и бюро ЦК, как и на многочисленных совещаниях. Я помню их обоих очень хорошо. Оба они перекипали жизнерадостностью и энергией, эти два таких разных человека, которых, тем не менее, сближало многое. Особенно у Кагановича была прямо сверхчеловеческая работоспособность. Оба восполняли (не всегда удачно) пробелы в своем образовании и общекультурном развитии интуицией,

импровизацией, смекалкой, большим природным дарованием. Каганович был склонен к систематичности и даже к теоретизированию, Хрущев же к практицизму, к техницизму.

Помнится, как мы с Хрущевым посетили в Политехническом музее выставку новейших советских изобретений, когда он, как ребенок, восхищался «говорящей бумагой» – подобием магнитофонной ленты, на которую мы оба что-то наговорили, а пришедшая с нами Катя пропела какую-то песенку. И оба они, Каганович и Хрущев, – тогда еще не успели испортиться властью, – были по-товарищески просты, доступны, особенно Никита Сергеевич, эта «русская душа на распашку», не стыдившийся учиться, спрашивать у меня, своего подчиненного, разъяснений непонятных им научных премудростей. Но и Каганович, более сухой в общении, был тогда не крут, даже мягок, и уж конечно не позволял себе тех выходок, крика и мата, которые – по крайней мере такая о нем пошла дурная слава, – он, в подражание Сталину, приобрел впоследствии.

С Хрущевым, с другими секретарями и руководящими и работниками МК, я имел возможность встречаться не только на работе, но и по выходным дням в однодневных домах отдыха МК – Чайке, Ватрушке и Осинке. Эти три дачи расположены рядом недалеко от города на Москва-реке, в районе нынешнего канала Москва-Волга. Работники МК не ниже завотделом, имеющие прикрепленную машину, могли приобретать талоны для себя и своей семьи, причем по смехотворно низкой цене, дающие право пребывания на одной из этих дач по выбору, ночлега и полного питания, начиная с конца субботы и до понедельника, а также в праздники. Дачи были обставлены уютно, а питание просто царское. Стол ломился от вин и всевозможных изысканных закусок, каждый ел не порциями, а сколько мог и хотел.

Вообще же я питался тогда более чем отлично. Ежедневно нас, «ответственных», бесплатно не только сколь угодно раз поили чаем с лимоном и печеньем, но и кормили отличными завтраками. Уборщица в красном платочке приносила в кабинет на большом подносе бедрышко курочки, компот, – все это накрыто туго накрахмаленной салфеткой, а обедал я тогда в кремлевской столовой, являвшейся лучшим из всех московских ресторанов; в выходные дни она не работала, и тогда, накануне, выдавала с собой громадных размеров высококачественные пайки. Я, конечно, приносил домой часть обеда, чтобы подкармливать Катю и Вячека.

Катя и Вячек питались скверно. На работе Катя перекусит на скорую руку в убогом буфете Гослитиздата, а вернувшись домой, что-нибудь незатейливое состряпает на обед. Повариха она не

ахти какая, да и откуда же ей быть? Родилась она в Херсоне, в семье бедняка – мелкого служащего, как седьмой ребенок (у нее было четверо братьев и еще двое сестер). Отец умер, когда ей было три месяца. После переезда с матерью в Москву в 1921 году к сестре Мане, только что вернувшейся с гражданской войны, одиннадцатилетнюю Катю устроили в детский дом, где она и воспитывалась и училась до 1926 года. Ее старшая сестра Ада, именем которой мы назвали свою дочку, была художницей, училась во ВХУТЕМАСе, и умерла в Москве в 21 году. Катя была привязана больше всех к этой красивой, талантливой, доброй и такой несчастливой своей сестре. Ее братья – добровольцы – вернувшись с гражданской войны, все четверо оставались в армии. А после детдома Катя поступила в МГУ, вкусив всю неустроенность быта студенческой жизни того времени.

На Чайку мы ездили не только с Вячеком. Я частенько забирал с собой и Эрмара, а в особенности младших сыновей, Леника и Элика. Мы считали тогда все это само собой разумеющимся, не требующим никакого оправдания, никакие угрызения совести нас не тревожили. Раз мы так напряженно работаем, то, естественно, имеем право хорошо отдохнуть. Над тем, что миллионы советских людей, работавших не только так же напряженно, но многие из них в несравненно более трудных условиях, ни малейшими привилегиями не пользуются, над тем, что вся эта наша роскошь оплачивается их же тяжелым трудом, мы не задумывались.

Да, это было время, когда руководящей верхушкой широко стал применяться подкуп партийной и государственной бюрократии вместе с репрессиями в широких масштабах.

Из полосы работы в МК приведу случай, положительно характеризующий Хрущева того времени. Как-то я в беседе с ним мимоходом упомянул статью Ленина о подземной газификации угля. Никита Сергеевич, происходивший из шахтерской семьи, и, как о нем писали, сам работавший в молодости слесарем на шахте (правда, неизвестно, сколько присочинили ему биографы, старавшиеся приукрасить общественных деятелей «пролетарским происхождением»), загорелся этой идеей.

Он решил направить меня в Донбасс, чтобы я ознакомился там с ведущимися опытами по газификации, с тем, чтобы перенести их в Подмосковье. Хотя я протестовал, предлагал, чтобы этим занялся специалист-горняк, Хрущев настоял, и я, взяв с собой Катю, вылетел в Горловку. Катя собиралась написать об этой поездке очерк. Все это было, конечно, интересно, для Кати вдвойне, это был ее первый полет. В Горловке мы спускались в глубокую шахту, в «Кочегарку», что-то более тысячи метров,

потом осмотрели опыты, собрали всевозможные сведения по подземной газификации, но помнится, особенно утешительного ничего не было. В Подмосковье затем были начаты такие же опыты.

Однажды смотрели мы также выставку, посвященную применению электричества в сельском хозяйстве. Однако особое, потрясающее впечатление произвел на меня смотр изобретения совсем другого рода. В том же, 1936 году, я ездил с Хрущевым и двумя высокими военными чинами куда-то в окрестности Можайска. Запрятанный глубоко в лесу на сильно охраняемом отгороженном участке, стоял деревянный сарай в 30 или 40 метров длины, без окон, но ярко освещенный. В одном его конце, куда нас усадили, находилась громоздкая аппаратура, а в другом – клетка, в которой резвилась крупная крыса. Изобретатель – штатский, по указанию военных нажал на рычажок, и в тот же миг на другом конце бедная крыса свалилась на бок и, вытянув лапки, навсегда замерла. Изобретатель пояснил довольно невнятно, что это подействовал какой-то дзета-луч на сердце животного. На пристрастные вопросы Никиты Сергеевича он признал, что для того, чтобы радиус лучей увеличить до трех-четырех километров, потребовалось бы затратить в десять тысяч раз больше энергии, а следовательно, для военных целей они пока не пригодны.

Не исключено, что все это был обман, что крысу убили не лучом, а током. Но как бы там ни было, я не сомневаюсь, что «научные» работы, подобные этой, сорокалетней давности, продолжают вести генеральные штабы, по крайней мере всех трех сверхдержав, затрачивая головокружительные средства, чтобы под прикрытием фраз о «разрядке» создать оружие, способное уничтожить человечество с еще большей надежностью, чем водородная и атомная бомбы.

В 1930 году у нас появился мой брат Рудольф. После участия в восстании рабочих в Эссене, он просидел несколько лет в германской каторжной тюрьме (Цухтгаус), нажил там туберкулез. Благодаря Вильгельму Пику, который работал в Москве (а я знал его по своей работе в Германии), мне удалось добиться, чтобы Рудольфа обменяли через МОПР (Международная Организация Помощи Революционерам). В Москве этому политэмигранту дали жалкую комнату на Красной Пресне, в районе, где тогда в домах не было водопровода – воду ему приходилось носить из уличной колонки. На работу его устроили в редакции издававшейся тогда в Москве газеты на немецком языке.

Он, бывало, приходит к нам, со своей скрипкой (в германской тюрьме у него ее не отобрали!), и с воодушевлением импровизирует сочиненное им же, полон энтузиазма, ни на что

не жалуется. Но видно было, что для него, полного кипучей революционной энергией, сухая, второразрядная, техническая работа в газете была мало интересна. Вскоре он добровольно уехал на Дальний Восток, в район Благовещенска, чтобы работать среди живых людей, немецких колонистов, партийным организатором в колхозах. Оттуда с группой колхозников он однажды приехал в Москву, к министру земледелия Чернову, – они привезли с собой коллективную жалобу на беспорядки, на местные власти. И тогда я видел его, курчавого «барашка», в последний раз. Вскоре после этого – уже в конце 1938 года, был репрессирован Чернов, а затем от жены Рудольфа (он там, на Востоке, женился на учительнице, и у них, в 1934 году, родился сын Эрик), мы узнали, что Рудольф арестован[3]. Он погиб в лагере, но, конечно, был «реабилитирован посмертно». Так Сталин убил у меня брата, а спустя 4 года – Гитлер сестру.

Да, ужасная Варфоломеевская ночь, опустившаяся на всю страну, надвинулась и на нас.

Когда в 37 году появились первые массовые жертвы среди знакомых товарищей, мне и в голову не приходило, что это как-то сможет дойти и до меня. Настолько я был твердокаменным партийцем, всегда боровшимся против всякого рода «уклонов» от генеральной линии партии, никогда не критиковавший ни одного руководителя, просто обожавший Сталина, не участвовавший в слушании, а тем более в распространении политических анекдотов и внутрипартийных сплетен, – что никак не мог допустить мысли, чтобы меня заподозрили в нелояльности. Партия была для меня фетишем, которому я поклонялся. В каждом отдельном случае репрессии знакомого, я объяснял ее либо тем, что данный человек в самом деле был замешан в какое-то оппозиционное «дело», и настолько «искусно» скрывал свое подлинное лицо, что я не сумел разгадать его, или же – в таких случаях, как арест Рудольфа или моего самого близкого друга Валентина Хотимского – ошибкой ГПУ, допущенной по принципу «лес рубят – щепки летят», недоразумением, которое несомненно будет выяснено, исправлено.

Но когда все чаще слетали головы направо и налево, стало жутко, все стало непонятно. Чем старше партийный стаж товарища, чем выше в партийной пирамиде он стоял, тем больше он должен был опасаться, что подручные Ежова-Сталина его схватят. Мне помнится, как позже вдова старого большевика Емельяна Ярославского – Кирсанова рассказывала мне, как они с мужем всякую ночь были готовы, что, как водится, под утро, за ними явятся. Позвонят: «Вам телеграмма!», по тому же трафарету, как, бывало, приходили за ними жандармы в царское время, и она

говорила, что у них на этот случай были уже наготове чемоданчики с бельишком. На личном опыте я убедился, что они заблуждались: если бы их арестовали (этого не случилось), то никаких личных вещей не оставили бы им. Наивные, они не знали, что ГПУ значительно «усовершенствовало» методы царской охранки.

«Ежовы рукавицы» вскоре стали сжимать горло Катиной семьи. Первым был арестован Катин старший брат Сеня, преподававший политэкономию в Военно-медицинской академии в Ленинграде. Он просидел в тюрьме недолго, а затем его сослали в северный Казахстан, в какой-то кишлак. Здесь он жил в землянке, зимой ему приходилось откапываться из-под снега; позднее к нему приехали жена и сынишка. После нескольких лет такой жизни ему, наконец, разрешили жить в Акмолинске. Он сделал еще сам попытку перебраться в Ульяновск, но его вернули обратно в Казахстан. Теперь он, реабилитированный, проживает в Алма-Ате[4].

В том же 37 году другой брат Кати – Борис, работавший в органах госбезопасности на Украине, был, вместе с маршалом Якиром, арестован и расстрелян. Понятно, что другие два ее брата, Матвей и Зиновий, также военные, и ее сестра Маня, за «отсутствие бдительности» исключались из партии, но они отделались сравнительно «легко», были в конце концов восстановлены. И «только» жена Зиновия, из-за страха за мужа, сошла с ума и вскоре скончалась, а Манин муж, инженер, Григорий Львович Жигалин, по той же причине получил инфаркт и умер во время занятий со студентами. Катю же в Гослитиздате исключили из комсомола и уволили с работы. Все эти удары отозвались, понятно, и на старушке, Катиной матери, Лие Абрамовне. Больная глаукомой, она вскоре совершенно ослепла.

При сложившихся обстоятельствах Хрущев предложил мне подать заявление об уходе с партийной работы. При этом Хрущев выражал сожаление, приняв мою отставку. Он сердечно простился со мной, но на другую работу меня не направили, я стал безработным. Я должен добавить, что ко всему этому присоединились еще два неприятных для меня происшествия. Во-первых, я выпустил незадолго до этого книгу «Предмет и метод современной математики», в которой попытался с марксистских позиций осветить методологические проблемы этой науки. Литературную редакцию этого произведения, как и всего, что я писал и пишу, провела Катя, в особенности устраняя многочисленные мои чехизмы. И вот я решил посвятить ей эту книгу, причем таким путем, что первые буквы глав книги составляли акростих – строку «Моей Катинке» (на мягкий знак,

понятно, слова не нашлось), и написал посвящение ей на титульном листе.

Когда книга вышла, я имел неосторожность обмолвиться об этом нашем «секрете» другу, а тот рассказал об этом еще кому-то. Так это дело дошло и до Максимова, который злорадно построил на этом акростихе «уничтожающую» меня рецензию. Если бы Максимов разбирался в существе дела (но этот, ставший потом членом-корреспондентом АН человек, совсем невинен по части математики, то он легко мог бы раскритиковать многочисленные частные ошибки, содержащиеся в моей книге, несмотря на то, что ее рукопись предварительно читали такие крупнейшие математики, как Колмогоров и П. С. Александров. Но Максимов, обрушившись на «пошлость», не сознавая этого, сделал книге, мне и моей Катеньке, буквально всемирную известность. Желаемого для Максимова эффекта – по тому времени его статья в «Правде' была равносильна доносу – однако не получилось, Хрущев только добродушно посмеялся над всем этим, друзья же откровенно потешались над Максимовым.

Второе, более серьезное мое «прегрешение» состояло в том, что на московской партийной конференции я покритиковал отдел науки ЦК. Тем самым я нарушил принятые нормы: критиковать по партийной линии можно вниз, но отнюдь не вверх. Вдобавок мое выступление по своей форме вызвало взрыв смеха – я сорвал голос и пищал фальцетом. В результате меня не избрали в члены МК.

Безработным я проходил почти целый год. Я пытался устроиться рабочим, в том числе, помнится, в городском садоводстве, но как только отдел кадров узнавал из моей анкеты, где я до этого работал и почему вынужден был уйти, мне отказывали, несмотря на то, что я оставался членом партии и не имел никакого взыскания. На какие средства мы тогда жили, трудно сказать, продавали что могли из своих вещей, а ведь как раз тогда Катя была беременна.

Жуткая предвоенная полоса

Когда, наконец, нам с Катей и Вячеком стало жить невмоготу, продавать уже было нечего, я, скрепя сердце, обратился с письмом к Хрущеву, прося его направить меня на какую бы то ни было работу. И неожиданно быстро, буквально через пару-другую дней, меня назначили инспектором при председателе только что организованного ВКВШ – Всесоюзного Комитета по Высшей Школе, – которым тогда был Межлаук, брат известного руководителя ВСНХ. Но не успел я пробыть на этом месте неделю, как оба Межлаука были арестованы, а с ними в обоих учреждениях исчезли целые группы руководящих работников. Новым председателем ВКВШ был назначен Кафтанов.

К выдвижению Кафтанова я, собственно, имел некоторое отношение. Когда в период работы в отделе науки МК по требованию Молотова мне нужно было сформировать комиссию для обследования какого-то научно-исследовательского института, я предложил сделать ее председателем Кафтанова, молодого химика, бывшего тогда секретарем партийной организации института им. Карпова. Чем мне приглянулся Кафтанов, не знаю, вероятно, своей покладистостью. Молотову, с которым Кафтанову пришлось познакомиться в процессе обследования, он, по-видимому, очень понравился, и с тех пор пошло его выдвижение.

Обрадовавшись, что я смогу работать с ним, он предложил мне сочинять для него тексты его выступлений, однако от этого я наотрез отказался. Он смирился с этим и легко нашел себе другого «негра». А я стал заниматься настоящим инспектированием вузов, причем не столько по бумагам, сколько с обязательным выездом на место.

Живо вспоминается поездка в Томский университет. Мне пришлось расследовать какую-то склоку среди профессуры, заодно познакомиться с общей постановкой учебного процесса, с материальным положением студентов. Скажу сразу, что преподавание велось на хорошем уровне, для склоки не было никаких оснований. В Томск я летел весной, и наш самолет попал в грозу. Прекрасно, но и страшно было видеть ослепительные разряды молний и слушать оглушительные раскаты грома рядом с нами в облаках, особенно сильно ощущая могущество техники, а вместе с тем и беспомощность человека перед разбушевавшимися стихиями природы.

В Томске меня поразила близость тайги, – ректор университета повез меня туда на своей машине, – затем

уникальная коллекция пауков всего мира у одного старенького профессора-энтузиаста пауковедения, но больше всего то, что на главной улице я встретил Карла Радека. С ним мы были знакомы по Коминтерну. Он узнал меня и предупредительно поднял бровь – мол, делай вид, что не знаешь меня, за мной следует «тень». Я так и сделал. К Радеку у меня двойственное отношение. Мне нравилось его сверкающее остроумие, его способность экспромтом сочинять веселые анекдоты, очень острые, – и отталкивал его цинизм. Но теперь Томск, как и при царизме, был местом ссылки, и Карлхен не мог вызвать во мне никакого другого чувства, кроме жалости.

В 30-х годах я сделал и чисто математическую работу «О разбиении круга», доложил о ней на топологическом семинаре в МГУ, руководимом Понтрягиным, а затем напечатал в математическом журнале АН. Однако надо заметить, что это незаконченная работа. Понтрягин предупредил, что из-за сложности проблемы ее вряд ли удастся закончить, и он – слепой! – оказался прав. Еще в 20-е годы я стал заниматься приложением математического метода к схемам воспроизводства Маркса при учете образования цен производства. Математические методы я пытался применить и к конкретной экономике. Написал работу о планировании развития советской экономики (и о балансе показателей различных ее укладов), и другую об оптимальной сети железных дорог. В то время, в 30-е годы, да еще и долго после этого, пожалуй, вплоть до признания в СССР кибернетики, большинство советских специалистов относилось к внедрению математических методов в экономические науки крайне отрицательно, чтобы не сказать враждебно, и мои работы в журнале «Плановое хозяйство» прошли незаметно. Такое отношение экономистов к математике объяснялось несколькими причинами. Во-первых, ее названием; экономисты, так же как и философы, имели исключительно гуманитарное образование. Во-вторых, «математизация» экономики считалась «буржуазной модой», «поклонением Западу». В-третьих, много беды принесли тут статистики во главе со Струмилиным, выступавшим против применения закона больших чисел к советской экономике. Наконец, в то время появилось не мало случаев шарлатанского или какого-то бредового злоупотребления математикой, против которого я как раз публично выступил.

Я забыл отметить, что в 1934 году мне была присвоена ученая степень доктора философских наук, а затем и звание профессора математики, и что курс философии математики я читал, помимо ИКП, также и в МГУ.

Однако годы 1936, 1937, 1938 кончились. В одобренном ЦК

ВКП(б) в 1938 году «Кратком курсе» истории партии красочно описана «ликвидация бухаринско-троцкистских шпионов, вредителей, изменников родины» и т. д.

Все это не мешает напомнить теперь, когда молодежь знает об этом лишь понаслышке, точнее, не знает ничего, когда в «Истории КПСС», изданной в 1960 году, по которой молодежи преподают, говорится только о «массовых репрессиях против политически разгромленных противников партии», репрессиях, которым подверглись «такие многие честные коммунисты и беспартийные, которые ни в чем не были виновны». Вся вина за кровавый террор, охватывающий всю страну на протяжении 30 лет и захлестнувший и страны-сателлиты, свалена здесь на «пробравшегося на ответственные посты в государстве проходимца, политического авантюриста Берию, который в своих преступных целях не останавливался ни перед какими злодеяниями и, используя личные недостатки Сталина, оклеветал и истребил многих честных, преданных партии и народу людей», а также на «сыгравшего позорную роль, находившегося на посту народного комиссара внутренних дел Ежова». За Сталиным же числится лишь слабость поощрения собственного «культа личности» и выдвижения неверной формулы об усилении классовой борьбы с приближением к коммунизму!

Палача, черного кобеля, постарались обелить добела. Ни у Хрущева, а тем более у Брежнева, не хватало честности, мужества, а главное – не было желания сказать, что было репрессировано не менее чем 20 миллионов человек, т. е. 10 процентов всего населения, что из репрессированных более одной трети погибло, что все процессы были инсценированы, фальсифицированы, «признания» на них ложны, что погибли не только коммунисты, но и миллионы беспартийных. Вместо этого вопиющая ложь продолжается, сказано, что «подвергшиеся необоснованным репрессиям люди были в 1954–1955 годах полностью реабилитированы». Но ни Зиновьев, ни Каменев, ни Рыков, ни Бухарин, ни сотни других, объявленных «врагами народа», на деле же расходившиеся с политикой Сталина по тому или иному вопросу, возможно, и заблуждавшиеся, но при этом преданные, честные революционеры, никогда не были реабилитированы!

И это вполне закономерно. Сталинизм продолжается и без Сталина. После непродолжительной «оттепели», наступившей тогда, когда большие массы политических «преступников», страдающих в лагерях, – иногда по 19 лет! – были освобождены, когда был разоблачен «культ личности» и в художественную литературу просочилось небольшое число (в научно-историческую и философскую и того меньше) сочинений,

рисовавших и анализировавших жизнь того смутного времени, вскоре все начало возвращаться в старую колею. Почему? Дело, понятно, не в одних лишь личных свойствах Хрущева и Брежнева, хотя и их неправильно бы было сбрасывать со счетов: ведь общество, как правило, выдвигает таких вождей, которые так или иначе нужны господствующему в нем классу или слою.

А дело в том, что та уродливая, искаженная форма, которую принял «социализм» при советской власти – не той идеальной, о которой мечтал Ленин (хотя сам он неоднократно отходил от нее), а той реальной, в которую она, увы, без социалистической демократии выродилась, – другого, чем террора, быть не может. «Социализм» СССР и всех «социалистических» стран Европы, Азии и Америки – общим счетом, кажется, 14-ти – это социализм хромой, одноногий, буквально ковыляющий на одной только ноге необходимых, т. е. экономически-юридических условий (причем не обобществление, а огосударствление средств производства, без участия трудящихся в их управлении), но лишенный второй – условий достаточных – демократических прав человека.

Конечно, в обществе, так же как и в природе, вполне обратимых процессов не бывает. Сейчас в советских тюрьмах, лагерях и домах умалишенных находятся «только» десятки тысяч репрессированных. Но тот же страх, ложь и лицемерие, которые при Сталине отравляли атмосферу советского общества, отравляют ее – пусть в разреженном виде – и теперь. И «культ личности» усердно насаждается в прессе, по радио, по телевидению: формула «благодаря лично Леониду Ильичу» не сходит с уст доярок, слесарей, учительниц, и «его» портрет красуется то и дело на первых страницах газет.

В процессе «левых» «признался» в своей «провокаторской деятельности» как «агент царской охранки» и Владимир Иванович Иванов, старший брат Маруси, моей первой жены, расстрелянный и посмертно реабилитированный. Погиб также ее младший брат Василий. Мой брат Рудольф, как я уже писал, двое Катиных братьев, мой близкий друг Хотимский – все они были репрессированы. В МК – разумеется, без малейшего сопротивления Кагановича и Хрущева, а с их согласия, были арестованы секретари МК Евгения Коган и Марголин, зав. орготделом Крымский, помощники Кагановича и Хрущева Финкель и Смоленский, и многие, многие другие.

1939 год был годом финской войны, спровоцированной Сталиным (в официальной истории, которой я тогда верил, понятно, сказано наоборот), с целью не только отодвинуть границы от Ленинграда, – но главное «освободить» Финляндию, навязать финнам советскую модель «социализма», сталинский

режим так же, как царь навязывал им свой. Ведь держали уже в запасе президента финской советской республики, Куусинена. Эта политика экспорта революции, которую теоретически осуждал Ленин, хотя он сам, в случае Польши и Германии, на практике стал проводить ее, была типична для мании величия Сталина, для его великодержавных замашек.

Война с Финляндией, в которой принимал участие и младший Катин брат Матвей, проходила в очень тяжелых условиях и стоила многих жертв. Другое политическое событие этого же 1939 года, заключение пакта с гитлеровской Германией и последовавшее тут же прекращение всякой антифашистской пропаганды, вызвало у нас возмущение. Советский Союз начал экономически активно помогать Гитлеру в его войне против Франции, Англии, в захвате Чехословакии, Австрии, Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Польши, Югославии. Мы недоумевали над этим «непонятным» поведением Сталина, официально оправдывавшемся (и оправдываемым и ныне – за разоблачение этой лжи честных историков, вроде Некрича, Снегова исключили из партии), что, якобы, Сталин рассчитывал получить этим «передышку».

Но на деле ее получил только Гитлер, развязавший себе руки на Западе, прежде чем напасть на СССР, а Сталину пакт был нужен для того, чтобы получить возможность принять участие в позорном разделе Польши и хотя бы частично восстановить то, что для России было потеряно с падением царизма. Дружбу с родственным по духу Гитлером, Сталин оплатил ему сотнями лучших немецких коммунистов, томившихся в советских лагерях, которых он – как это описала в своей потрясающей книге «Революция пожирает своих детей» вдова одного из них, выдающегося работника Коминтерна Неймана – передал на мосту в Бресте прямо в лапы гестапо…

В марте 1939 года я перешел на работу в Институт философии АН, сначала в качестве старшего научного сотрудника, а затем зав. отделом диалектического материализма. Директором института был тогда Юдин, совмещавший эту работу с директорством в ОГИЗе.

Не то в сороковом, не то в начале сорок первого года, Сталин, вероятно вспомнив свою семинарскую учебу, решил, что в советской средней школе следует ввести преподавание логики. Он вызвал к себе Юдина и Митина, этих придворных философов-академиков (третьего философа-академика, Деборина, как «меньшевиствующего идеалиста», Сталин к себе не подпускал), и поставил перед ними задачу создать учебник логики. Можно себе представить изумление этой «пары благородных братьев»! Ведь

речь шла отнюдь не о диалектической логике, единственной, которая до того времени признавалась научной, а о презренной формальной логике! До тех пор прилагательное «формальный» употреблялось нами философами как ругательное: метафизический, антидиалектический, пустой. А тут сам Сталин, великий диалектик, гениальный продолжатель Ленина, требует внедрения формальной логики!

Вернувшись из Кремля, Юдин сделал у нас в институте доклад об этой «исторической беседе», и тут же, в одно мгновение, все мы перестроились, стали ратовать за формальную логику. Беда была лишь в том, что почти никто из нас ее не знал, а в лучшем случае имел о ней весьма туманное представление. Буквально только двое или трое – люди старшего поколения – когда-то ее учили (бывший кантианец, прекрасно эрудированный Асмус, затем Попов, ну и я).

Нам троим и поручили написать учебник логики для десятых классов средней школы, с тем, что из трех представленных будет избран один, лучший. Вот я и взялся за эту работу, и обдумывал, как решить трудную задачу: сочетать диалектико-материалистический подход с традиционной формальной логикой, с популярным изложением, и хотя бы немногими простейшими элементами современной математической логики.

Заведуя отделом диалектического материализма, и работая над учебником логики, я одновременно вел и педагогическую работу: начал преподавать логику в Московском юридическом институте, а затем в Педагогическом институте имени Ленина, где возглавлял даже кафедру логики, а также читал стандартный двухгодичный курс математического анализа, плюс спецкурсы: теорию вероятностей в применении к термодинамике и операторный анализ в Энергетическом институте им. Молотова, где у меня было и несколько аспирантов, в том числе и Кириллин, нынешний зам. председателя Совета министров, глава советской техники. Учебник логики я закончил уже во время войны, он был по-русски издан на правах рукописи, а после войны по-чешски в Праге и по-словенски в Любляне.

Война началась

Весной 1941 года мы с Катей, Вячеком и Адюшей поехали снимать дачу в Кратове и действительно сняли. В воскресенье 22 июня, в прекрасное солнечное утро, я сидел в саду за столиком, писал свой учебник логики. Двенадцатилетний Вячек и Адюша, каждый по-своему, тут же играли. Но вот прибежала Катя (готовившая воскресный обед, мы ждали в гости ее подругу) и сообщила, будто только что диктор объявил взволнованным голосом, что будет передаваться по радио чрезвычайно важное правительственное сообщение. Почему-то волнение диктора сразу же передалось нам. Выступил Молотов: немцы коварно, без объявления войны, внезапно напали на нас, бои идут по всей западной границе, бомбили ранним утром Киев и ряд других городов. Итак, началась война…

Но как же это? Ведь в августе 1939 года Сталин заключил с Гитлером пакт о ненападении! Не потому ли теперь выступил не он, а Молотов, что Сталин не смог смириться с мыслью, что его, этого мудрейшего из мудрых, этого провидца, Гитлер надул, перехитрил? Да, Сталин не мог выдержать этот шок, этот удар по самолюбию, он заперся на своей даче и только через две недели, 3 июля, пришел в себя и выступил с обращением к народу, оправдывая понесенное им политическое поражение, которое стоило советским людям неисчислимых страданий, потери 20 миллионов человек.

Известие о войне мы с Катей восприняли как страшный удар, однако не одинаково. Она верила в скорую победу, – война кончится в несколько недель, или, на худой конец, месяцев, и, как хвастливо заверил совсем недавно Ворошилов, «малой кровью», «ни одной пяди своей земли мы не отдадим никому». А я предсказывал, что война, подобно первой мировой, затянется на долгие годы…

К нам зашел Горохов, снимавший дачу по соседству, истматчик, сотрудник нашего института, и, посоветовавшись, мы решили немедленно поехать в город, чтобы явиться в распоряжение парторганизации. Так мы и сделали, но встретили там лишь растерянность, – никаких директив у секретаря не было, никаких указаний, что делать мы от него не получили. Не прошло и недели после начала войны, как сильно расстроилось снабжение населения продовольствием (паническая скупка продуктов, да и вообще любых товаров обывателями началась с первого дня), и хотя в Москве еще не было налетов авиации, повсюду на дачах начали рыть щели – рыли и мы эти

смехотворные «бомбоубежища». Но мы решили сняться с дачи, вернуться в город, что осуществить было нелегко. Достать транспорт было невозможно, пришлось все тащить на себе, и часть вещей так и осталась на даче хозяйке, которая отказалась вернуть нам хотя бы немного из денег, уплаченных нами за весь летний сезон вперед. Но и в городе нельзя было оставаться на нашей квартире в Хлебном переулке, где не было поблизости бомбоубежища, и некому было помогать Кате. Катя с детьми перебралась на Арбат, к матери и сестре Мане.

На этом первом этапе войны, продолжавшемся до осени 1942 года, сводки с фронта становились что ни день все более и более угрожающими. С нарастающей скоростью в них появлялись названия городов, все более близких к Москве, к Ленинграду, к Киеву. «Активная оборона Красной Армии», по сравнению с гитлеровской совершенно недостаточно технически оснащенной, особенно танками и авиацией, и после пакта, заключенного в 1939 году Сталиным с Гитлером, политически деморализованной (всякая антифашистская пропаганда прекратилась), слишком уж смахивала на паническое бегство. Принесли свои ядовитые плоды истребление начсостава Красной Армии и уже упомянутая сталинская стратегия «отодвигания границ» – попросту насильственного захвата территорий соседних суверенных малых государств, под предлогом «помощи» революционному движению в них.

Неизвестно, руководствовался ли Сталин примером кайзера Вильгельма, чьи войска вторглись в самом начале Первой мировой войны в мирную Бельгию, или вдохновился «аншлюссом» Австрии, осуществленным Гитлером; однако как бы там ни было, в результате этой сталинской стратегии, советские войска встретились на оккупированных землях Прибалтики, Польши, Финляндии, а также и Молдавии с ненавистью местных жителей ко всему советскому, русскому, ненавистью, которая не исчезла вполне и до сих пор.

Впрочем, этот урок истории не помешал Брежневу и его присным применить в 1968 году сталинскую стратегию в Чехословакии. Этого же разбойничьего метода «отодвигания границ» придерживается и правительство Голды Меир, относительно Египта, Иордании и Сирии.

Ровно через месяц после начала войны, в ночь на пятницу 22 июля, немцы впервые бомбили Москву. На эту же пятницу утром был назначен сбор эвакуирующихся в глубинные районы страны семей сотрудников институтов АН, в том числе и нашего. Сбор состоялся во дворе здания бывшей Комакадемии, на Волхонке 14. И вот когда мы, нагруженные чемоданами и узлами, Катя, ее

престарелая мать Лия Абрамовна, Вячек и Ада дотащились туда, – пешком, транспорта ведь не было, – нам открылось жуткое зрелище.

Впервые мы воочию столкнулись с картиной ужасов войны; до этого они доносились к нам лишь со зловещим воем сирен и из сводок. Прижавшись к забору, теснилась толпа женщин и детей и провожавших их сотрудников института, толпа, сразу же приобретшая вид беженцев, погорельцев или потерпевших кораблекрушение людей, с искаженными горем, ужасом и предстоящей разлукой лицами, почерневшими от сыпавшегося на них дождя сажи и носившихся в смрадном воздухе клочьев обгоревшей бумаги.

Это догорал верхний, четвертый этаж здания, именно тот этаж, в котором помещался наш институт философии – в него ночью попали зажигательные бомбы. Там сгорела и рукопись – второй экземпляр – моей книги о теории относительности. Это было изложение научно-популярных лекций, которые я тогда читал в различных аудиториях, в том числе и рабочих, и где излагалась не только физическая суть этой теории, но и ее философское значение. Предисловие к ней написал физик Сергей Иванович Вавилов, президент АН. Конечно, мне было жаль, что единственная копия книжки пропала, но какое ничтожное значение имела эта потеря по сравнению с общим, вызванным войной, горем! Да я особенно и не волновался, первый экземпляр работы находился в типографии, книжка была уже набрана и даже сматрицирована. Настоящий удар последовал лишь назавтра, когда я узнал, что в ту же ночь бомбы попали в здание типографии, находившейся в другом районе города, и что вместе с типографией сгорела и вся моя работа. Роковая случайность, кажущаяся неправдоподобной, с точки зрения теории вероятностей!

Наших милых отвезли на грузовиках на Казанский вокзал, здесь их посадили в теплушки эшелона, который под начавшуюся воздушную тревогу, одну из многочисленных в тот день, повез их на Восток. А мы, провожавшие, которым по непонятной причине ни за что не разрешили поехать с нашими женами и детьми на грузовиках, поспешили туда же, на вокзал, пешком. Я пошел вместе с сотрудником нашего института Белецким, с которым мы дружили. На вокзале мы эшелон уже не застали, но мы вскочили на площадку вагона первого, уходившего в том же направлении, пассажирского поезда и догнали наш эшелон в Раменском. Позже мы узнали – строго засекреченное – место эвакуации: башкирское село Дюртюли, расположенное на реке Белой, в полутораста километрах на северо-запад от Уфы. Непонятно, по каким

соображениям направили эвакуированных именно туда, где они не имели возможности найти работу, устроиться иначе, чем нахлебниками у крестьян, которые и без этих незваных гостей жили крайне бедно.

Четко помнится мне, что в тот же печальный день, когда я не стал возвращаться в город в пустующую квартиру в Хлебном переулке, а по приглашению Белецкого заночевал с ним вместе на его даче – он, под уханье зениток, треск пулеметов и отдаленные взрывы, при внезапно освещавшемся красными и зелеными ракетами и прожекторами виде недалекой Москвы с заревом пожаров в ней, излагал мне, лежавшему с ним рядом, свои подлинные пораженческие взгляды. У него выходило, что в мире существуют два вида наций: нации-капиталисты, как США, и нации-пролетарии, как Германия, и что наступило историческое время, когда эти обойденные судьбой нации возьмут свое, добьются справедливости.

Хотя мы с Белецким, расходясь и по различным другим философским вопросам, часто упорно спорили, наши дружеские отношения от этого не страдали, а сошли на-нет, лишь когда у нас выявились острые политические разногласия, к чему прибавилось еще одно обстоятельство, о котором я скажу в своем месте. В 1940 году мы совместно сняли дачу, где-то под Звенигородом, по выбору Белецкого, на самой опушке глубокого леса, полного грибов и ягод – Белецкий, как крестьянский сын, имел какое-то особое проникновенное отношение к природе, знал каждое растение. Жили мы там словно одной семьей.

После пожара от бомбежки Президиум АН отвел нашему институту временное пристанище в здании института энергетики, что было легко сделать, поскольку и там и у нас значительная часть сотрудников ушла по мобилизации в армию. Я близко знал директора института энергетики Г. М. Кржижановского и одного из сотрудников – венгерского инженера Ракоши. С Глебом Максимилиановичем я познакомился через Бухарина. С этим «врагом народа» их связывала сердечная дружба, они были на «ты». Помнится, на какое-то совещание, кажется, связанное с издававшимся Бухариным журналом «Сорена», Кржижановский явился в щегольских брючках в полоску, и Бухарин все время подтрунивал над ним.

Я, понятно, восхищался и преклонялся перед этим чуть ли не старейшим большевиком-ученым, чей замечательный доклад в Большом театре на Съезде Советов о плане ГОЭЛРО мне пришлось в 1920 году слышать. Он был на целых 20 лет старше меня и относился ко мне сердечно, по-отечески. Это была настоящая личность, поэт. Он чрезвычайно тяжело переживал

злодейства сталинского террора, трагедию массовых убийств старой большевистской гвардии. Он автор «Варшавянки», ставшей самой распространенной маршевой песней русского революционного народа.

Кржижановский, несказанно больно чувствуя всю жуткую глубину падения, не хотел, не мог, – на 89-м году своей жизни, – расстаться с надеждой своего 25-летнего пламенного сердца, не мог распрощаться с уверенностью, что неискаженные идеалы когда-то в конечном счете победят и очищенные от скверны лжи и лицемерия, от бесправия человека, будут реять высоко.

Знамя борьбы за рабочее дело…

И эту уверенность я – несмотря ни на что – несмотря на испытания всех трех диктатур: Сталина, Хрущева и Брежнева – я разделяю и ныне с этим замечательным революционером и ученым.

А с Ракоши нас связывало то, что он был младшим братом Матиаса, моего однолетки, который, как и я, был в 1918 году членом Всероссийского комитета бывших военнопленных социал-демократов-интернационалистов, о деятельности которого я уже писал. Позднее, в 1919 году, Матиас Ракоши активно участвовал в установлении Венгерской советской республики, после падения которой был заключен в хортиевскую тюрьму, а с 1945 года возглавлял компартию и правительство Венгрии, где ретиво осуществлял сталинский террористический режим. Ему, исключенному в 1956 году из венгерской партии, советские сталинцы предоставили уютный приют: на даче под Адлером, там он проживал до своей смерти в 1962 году.

Как и многие другие, я пошел в райвоенкомат проситься, чтобы меня зачислили в народное ополчение, но мне в этом отказали из-за моей докторской степени, а также из-за возраста. Вот я и продолжал писать свой учебник логики, и конечно, как и все оставшиеся сотрудники института, посменно дежурил по ночам на крыше энергетического института, в часы воздушных тревог, которые теперь повторялись много раз ежедневно и еженощно, а в промежутках между тревогами, на чердаке, где имелись примитивные орудия противовоздушной обороны, главными из которых были кадки с песком и щипцы для подхватывания бомб «зажигалок».

В одну из ночей моего дежурства на крыше, произошел такой случай. Я заметил, что в одном из домов на дальней улице, на верхнем этаже, в нарушение приказа о затемнении, на непродолжительное время зажегся свет. Присмотревшись пристальнее, я обнаружил, что свет то исчезал, то снова

появлялся, причем в интервалах, то коротких, то более длинных. Все это напоминало мне морзянку, сигнализацию, и я поспешил сообщить об этом подозрительном явлении по телефону в районное командование воздушной обороны. Оттуда приехали, уточнили по плану Москвы место этого происшествия и направились туда, – но чем кончилось все это мне неизвестно. Возможно, что это была в самом деле диверсия, но не исключено также, что невинная случайность, например, плохо замаскированное окно и неисправное освещение. Шпиономания была тогда общераспространена, и кто знает, не повлияла ли она на мое восприятие. Ведь о случае чрезмерной «бдительности» рассказал мне тогда Зденек Неедлы, который в 1939 году спасся от гитлеровцев в Советском Союзе. (По его рассказу, советское посольство в Праге отправило его, завернутого в большой ковер, в Москву на самолете.) Он работал профессором в МГУ, и мы дружили. Как-то в начале войны, он и его милая жена поехали в метро и заговорили меж собой по-чешски, а может быть и по-русски, но с чешским акцентом, от которого и я, живущий в СССР столько лет, никак не могу избавиться. Их приняли за немцев-фашистов и они едва спаслись от самосуда.

В эвакуации

Кате с мамой и детьми жилось в Дюртюлях тяжко. Работы не было, если не считать случайную помощь, оказываемую крестьянам в поле, и, несмотря на сердечность хозяйки-татарки, бытовые условия были мучительные. И вот Катя решилась на отчаянный шаг. Она списалась со своим братом Сеней, старшим в их семье, находившимся в сталинской ссылке в Северном Казахстане, в Акмолинске, и в сентябре двинулась к нему в дальний путь, имея на руках двоих детей и старую мать. Полторы тысячи километров пришлось им проехать за четверо суток, с трудной пересадкой в Петропавловске. Поезда и вокзалы были переполнены мобилизованными и беженцами, везде грязь, тифозные вши. Попасть на поезд, а также не заразиться тифом или дизентерией было настоящим чудом. Но Катя сумела преодолеть все препятствия и добраться до цели. И хотя Акмолинск уже одним своим названием (Ак-Мола по-казахски значит Белая Могила) не обещал ничего хорошего, все-таки это был город, и Катя устроилась тут же ночным корректором в областной русской газете «Акмолинская правда». Жили они у брата, – их четверо прибавилось к троим, – к Сене, его жене Фире и двенадцатилетнему их сынишке Володе, ровеснику Вячека, – переполнив и без того тесное пространство их жалкой хибарки…

Фронт придвигался все ближе и ближе к Москве, и ей угрожало окружение. Тогда, 19 октября, город был объявлен на осадном положении и учреждениям, не имевшим непосредственного отношения к обороне, было приказано немедленно эвакуироваться. Эвакуировались – в Куйбышев – и правительственные, и многие партийные учреждения. Ночью ко мне на квартиру позвонил директор нашего института Юдин и приказал завтра же, 20-го, явиться к 12 часам дня с вещами на Казанский вокзал, чтобы вместе со всем институтом уехать на Восток. Подобные приказы по телефону от своего начальства получили в эту ночь многие, причем некоторые из них, послушавшиеся приказа, впоследствии поплатились за это. Так, например, директору Московского энергетического института, где я преподавал математику, Дудкину, который, получив такой телефонный приказ, не то из МК партии, не то из наркомата, которому подчинялся втуз, уехал 20-го на институтской машине из Москвы, – было впоследствии предъявлено обвинение, что он «трусливо драпанул», и его исключили из партии. На его место директора была назначена аспирантка института Голубцова, жена Маленкова!

Мне не хотелось уезжать, так как я как раз хлопотал об использовании моих знаний немецкого языка для работы в 7-ом отделе Политуправления РККА, занимавшимся разложением войск противника. Но «приказ есть приказ», и я уложил два чемодана, чтобы назавтра уехать, причем решил, что сначала зайду к Лиде, работавшей на оборону, а потому не эвакуировавшейся, и возьму с собой своих сыновей, Леника и Элика. В ту же ночь было несколько воздушных тревог, и мне следовало побежать в ближайшее бомбоубежище, находившееся на улице Воровского, в подвале дома с аптекой. Но я остался дома, а поэтому сохранил свою жизнь. В один из этих налетов, в этот дом попала фугасная бомба, и все, оказавшиеся в убежище, погибли.

Ранним утром 20-го, я, еле волоча два тяжелых чемодана, направился сначала за сыновьями. Город производил жуткое впечатление. Магазины были закрыты, на улицах не было привычных пешеходов, зато то тут, то там шныряли какие-то подозрительные личности, двигался непрерывный поток машин, – грузовых, а главное легковых, переполненных седоками и груженных разным барахлом, и все в одном только восточном направлении. А в обратном шли воинские части и ополченцы – и те и другие не производили особо отрадного впечатления.

Где-то поблизости Театральной площади я уселся на один из своих чемоданов, чтобы немножко отдохнуть, а второй поставил тут же рядом. И вот откуда-то появился незнакомый верзила, повертелся около меня, а когда я на минуту отвернулся, один чемодан исчез. К счастью, в нем были «только» мои носильные вещи – два костюма и белье – а незаконченная рукопись учебника и книги оказались в том чемодане, на котором я сидел. Лида оставила при себе младшего Элика, а старшего, Леника, отпустила со мной. С ним, нагрузившимся рюкзаком с его вещичками, мы вовремя добрались до места сбора на вокзале, где уже ждал пассажирский поезд, отвозивший работников нашего и нескольких других общественных институтов Академии. Направлялся он в Алма-Ату, волочился туда долго. В дороге мы питались преимущественно чаем и сухим пайком – хлебом и колбасой – которым нас снабдили перед отъездом (в нашем вагоне мне поручили делить его), а лишь изредка горячими щами, раздававшимися в питательных пунктах на больших станциях. Но мы с Леником доехали только до Петропавловска, чтобы там пересесть на поезд, идущий в Акмолинск, – надо было захватить там Катю с детьми.

На узловой станции Петропавловск пассажирские поезда брали с боем. Так как я не мог, понятно, – как это догадалась там

же сделать Катя, имея на руках малышку Аду, – добиться через комнату матери и ребенка билетов, то пришлось пойти на риск. Мы просто вскочили на платформу товарного поезда, груженную какой-то рудой, и сидя на этих острозубых желтоватых камнях, отправились «зайцами» в путь, под то и дело накрапывавшим унылым осенним дождиком. За каких-нибудь 12 часов, хотя и промокшие насквозь, мы добрались целые и невредимые до Акмолинска.

Здесь нам пришлось пробыть до начала ноября, пока не удалось выхлопотать билеты на поезд в Алма-Ату. Акмолинск был переполнен поляками и корейцами, согнанными сюда в Казахстан, как потенциальные шпионы с Запада и Востока, нашим великим интернационалистом. Было жутко наблюдать этих несчастных, как они, продавая на базаре последние жалкие остатки своего имущества, оборванные и грязные, болеющие и голодающие, жадно набрасывались на кусок хлеба и кружку кислого молока. Здесь, как и повсюду в далеком от фронта тылу, лишь небольшая часть местного населения сердобольно, сострадательно, гостеприимно отнеслась к беженцам и невинно высланным из родных мест «инородцам», между тем как другие накинулись на них со звериной алчностью, грабили их, взвинчивая цены на продовольствие.

В живописно расположенной на склоне отрогов хребта Ала-Тау красивой столице Казахстана нам пятерым сначала отвели номер в гостинице, а потом две комнатки в одноэтажном домишке поближе к окраине города. Здесь проживали и двое других сотрудников нашего института.

Алма-Ата переводится как «отец яблок», тех громадных, сочных, неповторимого винного вкуса, красных яблок, которыми полны здесь сады (также как луга на ближайших к городу холмах – красными дикими тюльпанами), но которые своей ценой были недоступны нам, эвакуированным. Как-то, когда Адюша болела, я купил ей на базаре одно-единственное яблоко, но зато колоссальных размеров.

Жилось нам в материальном отношении не так уж плохо – ведь я, как доктор наук, пользовался карточками довольно высокой категории. Мы получали для того военного времени вполне приличный паек и вдобавок я обедал в закрытой столовой, да еще иногда приносил домой выдававшуюся нам изредка в институте на завтрак крохотную булочку. Тем не менее, всего этого едва хватало для трех растущих детей, и как мне недавно напомнила Катя, я часто мечтал о большом каравае, чтобы мы наелись досыта хлебом. Ведь когда, выстояв в очереди, мы приносили домой хлеб, то мы прямо-таки священнодействовали,

деля его. А дни выдачи пайка были настоящими праздниками, и как же он быстро таял, этот паек…

На почве авитаминоза у Адюши тогда болели глаза, и мы ежедневно носили ее к врачу, причем по дороге непременно встречались заиндевевшие верблюды, которых она с большим интересом рассматривала. Вячек и Леник учились в школе, Вячек в шестом классе, а Леник кончал последний, десятый. Он выделялся недюжинным математическим дарованием, большой логической смекалкой. Неразговорчивый, всегда улыбающийся, белобрысый, неповоротливый, добродушнейший медвежонок, при своих 17 годах все еще совсем детский, он часто уходил в себя, задумываясь над решением головоломных задач, нередко придуманных им самим. Несомненно, из Леника получился бы настоящий ученый-исследователь, но по окончании школы он был мобилизован, зачислен в рекрутировавшийся из малограмотных казахов – настоящего пушечного мяса – пехотный полк, в автоматчики, и в чине сержанта был убит в 43 году в боях за Крым, на Перекопе. Столь трагически исполнилась его мечта хотя бы раз в жизни увидеть море. А ведь у меня была возможность устроить его в офицерскую школу, но ни я, ни он не хотели пользоваться «блатом», привилегиями, которыми пользовались многие, вовсе не заслуживавшие их. А теперь, когда я вспоминаю о Ленике, меня грызет совесть: не будь этой неоправданной щепетильности, возможно, сохранилась бы жизнь человека, который стал бы выдающимся ученым…

Здесь, в Алма-Ате, я закончил писать свой учебник, и для его практической проверки начал, параллельно с работой в институте, преподавать по нему логику в местном университете. Одновременно, в качестве внештатного пропагандиста и агитатора ЦК компартии Казахстана, я непрерывно выступал с докладами о международном и внутреннем положении на предприятиях, в учреждениях и воинских частях, причем не только в городе, но и во многих, иногда далеких местах этой столь обширной республики. Так, например, я побывал в Актюбинске, где мне показали бредущего по улице одного из старейших большевиков. Петровского, отбывавшего здесь свою вторую – теперь не царскую, а сталинскую, – ссылку.

Живо вспоминаю одно небольшое приключение, связанное с моими докладами в двух военных госпиталях, расположенных в окрестностях города, в урочище Медео и в Алма-Арасан, в прелестной горной местности, где под ледниками и зимой не замерзает водопад. Сюда мы ездили с Катей и заночевали после доклада, а на второй день, когда мы утром возвращались в город, наш старенький «газик» забастовал, и нам пришлось оттопать до

вечера 35 км по, правда нетрудной, спускавшейся по склону все вниз и вниз, но далеко не безопасной в это зимнее и военное время дороге, где могли встретиться не только волки, но и прятавшиеся в лесах бандиты-дезертиры.

В эвакуации люди быстро сближались, образовывались новые дружеские знакомства.

Ближе познакомился я с Панкратовой, историком, позже избранной действительным членом АН как одна из немногих женщин-ученых. Я знал ее еще до Комакадемии. Помнится, что когда я поехал из Алма-Аты в Ташкент на какую-то научную конференцию, то Анна Михайловна попросила меня взять в дороге шефство над направлявшейся туда же ее дочерью-студенткой. Панкратова умерла рано, не выдержав незаслуженной, тенденциозной «проработки» со стороны чиновника от науки, ярого сталинца, секретаря ЦК Поспелова.

Раз уж зашел разговор о женщинах-академиках, отмечу, что я знал тогда единственную женщину-академика, физиолога Лину Соломоновну Штерн. Родившись в Либаве, в Латвии, она работала в Швейцарии, но в 1925 году перебралась в «страну свободы». Как я уже писал, мы встретились в Алма-Ате, где она находилась в эвакуации. Тот факт, что она, а позже и Панкратова, были единственными женщинами действительными членами АН и что сейчас о таких что-то не слышно, не случаен. Он вовсе не объясняется тем, будто среди женщин нет крупных ученых, а нежеланием мужчин-академиков допустить «баб» в свою ученую касту. И это вопреки всем прекраснодушным разговорам о «равенстве полов» при социализме. Когда я в Чехословацкой АН поставил вопрос о необходимости выдвинуть на очередных выборах кандидатуры женщин в академики, то натолкнулся на единодушный отпор членов Президиума, и прежде всего самого президента, историка Неедлы. Зато в Академию Наук СССР безропотно выбирают секретарей ЦК.

Но я вернусь еще раз к Лине Штерн, хотя этим и забегаю лет на десять вперед. Я имею в виду следующую мою «встречу» с ней, произошедшую при особых обстоятельствах. В 51-м или 52-м году, в одну из ночей на Лубянке, когда меня допрашивали, я услышал из соседнего кабинета следователя истошный крик. Сразу, по характерному для нее акценту, я с содроганием узнал ее. Это кричала Лина Штерн, это ее, семидесятилетнюю женщину, бил, пытал следователь. За что? Тогда я, понятно, не мог догадаться, но позже узнал, что она, как и многие другие выдающиеся деятели культуры-евреи, как почти все писатели, как Лозовский, как Михоэлс, попала в сталинскую мясорубку, но, в отличие от большинства из них, выжила.

Образовались у меня знакомства и среди казахов – геолог Сатпаев, возглавлявший казахский филиал АН, писатель Муканов, молодой историк Жиреншин. Пользуясь их поддержкой, а также ЦК партии Казахстана, я написал тогда и издал в Алма-Ате в 1942 году небольшую книжку «Великие достижения среднеазиатской культуры, и как фашизм тужится их себе присвоить».

Еще несколько слов о Жиреншине. Этот представитель новой, послереволюционной интеллигенции, кандидат исторических наук, коммунист, читающий по-французски, не утерял тем не менее типичные черты казахского национального характера кочевников. Мы с Катей посетили его на квартире в новом доме. И что же? Хотя она была обставлена вполне современной мебелью, но, как он сам рассказал, он, также как и его родители, предпочитает есть сидя, скрестив ноги на полу, и спать на ковре, и только ради нас, гостей, мы ужинали за столом. Более того, с подкупающей откровенностью, он «сознался» нам, что его неодолимо влечет из города в степь, и что каждое лето они живут там в своей кибитке… И я подумал: до чего сильны эти национальные свойства человеческой натуры. Как легко мы, марксисты, на бумаге, рассчитываемся с этими «пережитками в сознании людей»!

Смерть нацизму!

Оставив Катю с детьми, Вячеком и Адюшей, в Алма-Ате, где она закончила писать начатый ею еще в Дюртюлях роман «Эвакуация» (он, как и многие другие правдивые сочинения советских литераторов, не увидел свет), и стала работать безвозмездно чтицей в госпитале для военнослепших, я вернулся в Москву в декабре 1942 года. Продолжая формально оставаться в штате института философии, я фактически перестал в нем работать, и целиком перешел на внештатную, неоплачиваемую работу в 7 отдел политуправления РККА.

Так была, наконец, удовлетворена моя просьба, поданная еще в самом начале войны, использовать мое знание немецкого языка и Германии. Начальником 7 отдела был сперва Мехлис, бывший до того редактором «Правды». При нем отдел работал вхолостую, приносил больше вреда, чем пользы. Совершенно игнорируя психологию гитлеровских солдат, упоенных шовинизмом и легкими победами в Западной Европе, а также своим быстрым продвижением по советской территории, Мехлис велел в разрабатываемых листовках и по радио вести коммунистическую пропаганду, апеллировать к классовому сознанию, к интернационализму этих распропагандированных фашизмом немцев. Вместе с тем, он не чурался и таких методов, как оскорбительное унижении личности «фюрера» – мне помнится сфабрикованный фотоснимок голого фюрера, похабная порнография, долженствующая обличать его половое бессилие, – методов, которые в условиях гитлеровских побед были способны лишь подбавить ненависти ко всему советскому.

К счастью, Мехлис вскоре уехал в действующую армию с новым назначением, и его место занял Мануильский, подошедший к трудной задаче идеологического воздействия на немецкие войска весьма вдумчиво. Было налажено систематическое изучение писем, получаемых немецкими солдатами и офицерами из тыла, и отправляемых ими в тыл, которые находили у убитых, раненых и попавших в плен. Известную трудность представляло то, что наши сотрудники, хотя и знавшие немецкий, не разбирали, как правило, готического шрифта, которым было написано большинство этих писем. По этим письмам удавалось – несмотря на военную цензуру – судить о становившихся все более мрачными – хотя и крайне медленно – настроениях гражданского населения и самих солдат, о растущем их беспокойстве, вызываемом участившимися налетами, бомбежками их родных мест, постепенно усиливающимися

потерями и начавшимися трудностями снабжения.

Только используя эти факты и опираясь на знание психологии «среднего немца», мог заметно повыситься КПД нашей пропаганды. И он в самом деле стал медленно повышаться, в условиях наступившего в 43 году коренного перелома в войне, когда советские войска, получая существенную поддержку военной техникой со стороны США, развеяли легенду о непобедимости гитлеровцев, стали громить их, гнать на Запад. Наши листовки и разбрасываемые на фронте «пропуска» для пленных не оставались без воздействия; множилось – хотя все еще не особенно сильно – число добровольно сдающихся в плен. Особое значение имели, верно, лишь весьма редкие случаи, когда попавшие к нам в плен германские офицеры-антифашисты обращались по радио или в листовках к своим солдатам.

Первый, и долгое время единственный такой случай – был случай попавшего в плен тяжелораненым, а затем исцелившимся, капитана запаса Габермана, бывшего до войны преподавателем гимназии в Кельне. Как член немецко-национальной партии, он, как и многие германские интеллигенты, презирал выскочку, полуграмотного ефрейтора Гитлера, осуждал чинимые гитлеровцами массовые зверства, был убежден, что военная авантюра, в которой германский народ поставил себя против России и западных держав, неминуемо кончится крахом и неисчислимыми бедствиями для германского народа, что она запятнает его высокие исторические достижения культуры и гуманизма несмываемым позором. И хотя в Германии остались его жена и дети, которым угрожала расправа гестапо, этот мужественный, принципиальный человек – вовсе не сочувствовавший коммунизму, а просто немецкий патриот – не побоялся призывать от своего имени немцев покончить с гитлеризмом и войной. Постепенно именно подобных ему мы привлекли к участию в редакции газеты «Нейес Дойчланд», чье название впоследствии в ГДР унаследовал центральный орган СЕПГ.

Пленным немецким офицерам, находившимся в лагере близ Химок под Москвой, я стал читать лекции по диалектическому и историческому материализму. Ездил я туда на «виллисе», два раза в неделю. Были это главным образом оберофицеры, полковники, генералы, полевые пасторы и ксендзы (фельдмаршала Паулюса среди них не было, его держали отдельно). Они слушали внимательно, многие стенографировали, дискутировали. А вид у меня, советского профессора, был далеко не презентабельный. Коричневый костюм, теперь, после ограбления, единственный, порядком износился, загрязнился,

кое-как залатанные штаны, порвавшиеся на самом неприличном месте, смущали. А по моему лицу, наверное, нетрудно было догадаться, что я вовсе не объедаюсь, особенно это было заметно, когда ко мне доносились запахи обеда, готовившегося для моих слушателей рядом со столовой, где происходили лекции. Но я не заговаривал ни о том, ни о другом ни с Мануильским, ни со своими товарищами по 7 отделу (сами же они ни о чем не догадывались), а предлагавшим мне пообедать с ними немцам я, понятно, вежливо благодаря их, отказывал.

В 7 отделе работало несколько военнообязанных, в том числе зам. Мануильского Брагинский и сын А. А. Жданова, совсем еще молодой Юрий, оба они владели неплохо немецким языком. С Брагинским, талантливым специалистом-ирановедом, у нас быстро установились приятельские отношения. Не думал я тогда, что он себя проявит как низменный карьерист, иуда, который под видом борьбы с сионизмом, станет в «Правде» прикрывать антисемитизм. А Юрий просто привязался ко мне. По образованию химик, он работал над кандидатской диссертацией по методологии этой науки, и я с радостью оказывал ему помощь в этом. Позже он женился на дочери Сталина, Светлане, стал зав. отделом науки ЦК, и мне пришлось, – о чем я еще расскажу, – вновь встретиться с ним.

В 7 отделе я знал его как очень симпатичного молодого человека. Позже мне понравилось, что он посмел, будучи зав. отделом науки, выступить с критикой Лысенко, и это в то время, когда тот пользовался безграничной поддержкой Сталина. Правда, тут же Сталин заставил Жданова публично в своей дерзости раскаяться, но при существовавших порядках, никто не мог упрекнуть за это Юрия в проявлении малодушия. В конечном счете он все же поплатился за свою смелость: уже после смерти Сталина, Хрущев, также безусловно поддерживавший Лысенко, снял Жданова, убрал его из Москвы, назначил его ректором Ростовского университета, и это несмотря на то, что он – не знаю по чьей, его или ее инициативе – развелся со Светланой.

Назвав только что фамилию Т. Д. Лысенко, я вспомнил, что не рассказал о моем знакомстве с ним. Поэтому, снова нарушая последовательность во времени, я вынужден вернуться к 30-м годам. Мои симпатии были тогда на стороне Лысенко. Меня возмущало, что долгое время его противники – официальная вавиловская школа в сельскохозяйственной АН – не давала ему возможности практически доказать свои новаторские идеи, третировала его за то, что он, провинциальный агроном-селекционер, не имевший высшего образования, вторгается в святая святых этих жрецов науки. И я восторгался энтузиазмом, с

которым он развивал свои концепции.

Но если Лысенко вначале искренне верил в свою правоту и с величайшим жаром отстаивал ее, невольно перегибая, то потом он, получив власть и почувствовав свою силу, не стал брезговать административными, насильственными методами борьбы со своими идейными противниками и, кто знает, не сам ли он неоднократно приложил руку, чтобы сжить их со свету, а также, чтобы «поправлять» эксперименты, если они не подтверждали его теорию. Вслед за этой «теоретической» битвой последовало практическое избиение кадров «менделистов-морганистов», гонение на таких ученых как Дубинин, репрессирование Николая Ивановича Вавилова, вскоре погибшего в лагере.

Возвращаюсь еще раз к 7 отделу. Кроме меня, нештатными сотрудниками там работали искусствовед Курелла, немец из Прибалтики, и участвовали в работе, но появлялись нерегулярно, немецкие писатели Иоганес Бехер и Вилли Бредель. С Кureллой мы дружили, и когда в 1960 году как член чехословацкой делегации на праздновании столетнего юбилея университета Гумбольдта, я вновь встретил его в Берлине (в ГДР он играл тогда важную роль на культурном фронте), мы за рюмкой вина рады были вспомнить о былых днях. А Бехер и Бредель просто увеличили мое знакомство с живыми представителями немецкой художественной литературы; до них я знал лично только Макса Брода и Людвига Ренна, дружившего с моим братом Рудольфом.

После разгрома гитлеровских армий под Сталинградом и на Курской дуге, поздним летом 43 года, когда немцы начали откатываться на Запад, часть эвакуировавшихся правительственных и партийных учреждений вернулись из Куйбышева в Москву. С ними вместе вернулись и иностранные посольства, а также чехословацкие коммунисты, находившиеся в Советском Союзе со времени захвата Чехословакии фашистами. Вернулся в Москву и Неедлы, чуть ли не единственный из чехов, которого я знал. Но теперь он познакомил меня с чехословацким послом Фирлингером, с первым секретарем КПЧ Готвальдом, с Швермой, Сланским, Копецким и другими членами заграничного чехословацкого партийного руководства. В августе начала выходить газета «Чехословацкие листы», и я стал сотрудничать в ней, регулярно принимать участие в работе ее редакции, которая собиралась раз в неделю в помещении чехословацкого посольства на Малой Никитской, а также печататься в этой газете.

Эти заседания, начинавшиеся с вечера, на которых мы обсуждали план будущего номера и поступившие статьи, написанные почти без исключения нами же, членами редакции, и которые горячо обсуждались, – затягивались, как правило, до

поздней ночи. Бодрое состояние в нас поддерживало нескончаемое количество чашек крепкого черного кофе, которое из получаемых посольством американских пайков варила жена главного редактора газеты Борка, бывшего анархиста.

В газете, распространявшейся среди чехословацких войск, сражавшихся на советском фронте, печатались статьи, в которых вырабатывались принципиальные установки освободительной борьбы и будущего социально-политического устройства Чехословакии после победы. Прения по таким статьям служили недурной школой для тех членов редакции, которые еще не избавились от представления, что послевоенная Чехословакия станет какой-то идеальной народно-демократической республикой, вроде той, какой должна была стать Испания. Я не забуду, как Фирлингер, с которым мои отношения становились все более и более дружескими, носился еще в 1944 году с утопической идеей «соединенных штатов Европы». Только благодаря тому, что он послушался моих настойчивых уговоров – я ссылался на Ленина, доказывавшего в 1915 году, что этот лозунг неосуществим при капитализме – и, к счастью для себя, не выступил с ней публично.

Часто случается, по крайней мере со мной, что впечатление от первой встречи с человеком определяет все дальнейшие отношения с ним. Так получилось и с моими новыми чешскими знакомыми, с Густавом Барешом, Оутратой и его женой, и с Копецким. Партийный публицист Бареш нравился мне своим острым умом и остроумием, но вместе с тем вызывал чувство какой-то неловкости излишне часто проявляемым сарказмом; юрист Оутрата и его жена журналистка, оба талантливые, привлекали своей жизнерадостностью. А член политбюро Вацлав Копецкий вызывал во мне недоумение не столько своей необдуманной импульсивностью, сколько показной, наигранной несерьезностью, кривляньем, тем, что он, один из основателей КПЧ, ее член с 21 года, не то в шутку, не то всерьез, любил выдавать себя за потомка Матея Копецкого, известного чешского комика-кукольника – просветителя первой половины прошлого века; свою личную антипатию ко мне – как позднее выяснилось, он был скрытым антисемитом – Копецкий маскировал шуточным покровительственным отношением старшего человека к младшему, хотя на деле я был на 5 лет старше него, и эдаким классовым пролетарским превосходством (но он был просто недоучившийся студент!) над «заучившимся» интеллигентом.

Наконец, здесь бывал и Ян Шверма, хотя он еще реже, чем Готвальд, появлялся на заседаниях редакции, он сразу же произвел на меня наиболее сильное и прочное впечатление –

собранного, вдумчивого, выдержанного борца, всем своим существом предназначенного стать первым секретарем партии, – таким председатель партии Готвальд его в самом деле намечал; но, как известно, во время словацкого восстания, в ноябре 1944 года при отступлении в горы жизнь тяжело больного Швермы оборвалась.

Добавлю еще кое-что о Неедлы. Самой сильной стороной этого ученого был – по общему признанию – его оригинальный вклад в историю и теорию музыки – гуситской, Сметаны, Фибиха и др. Неедлы считал себя марксистским историком и политиком. Он страдал чрезмерным честолюбием, часто рассуждал и действовал пристрастно, вдобавок проявляя нетерпимость к критике. Особенно эти черты его характера, странным образом уживавшиеся с общим добродушием, желанием быть демократичным, усилились в последние преклонные годы, стимулируемые тем, что ЦК КПЧ создал вокруг него ореол стопроцентного марксиста. В БСЭ (т. 29, изд. 54 г.) в статье «Неедлы Зденек» содержится утверждение, будто он «за свою прогрессивную деятельность подвергался преследованиям со стороны буржуазного чехословацкого правительства», но умалчивается, что с 1909 по 1939 годы он был профессором Карлова университета и автором – среди прочих работ – идеалистических монографий о Т. Г. Масарике (1930–37) и В. И. Ленине (1937–38). В чешской «Настольной научной энциклопедии» (т. 3, 1966) эти данные предусмотрительно не указаны. Неедлы прогрессивно выступил с критикой реакционных идей историка профессора Пекаржа, восхвалявшего господство Габсбургов в послебелогорскую эпоху, и принижавшего гуситское движение; он сотрудничал, уже в буржуазной Чехословакии, с КПЧ в области культуры, являлся другом Советского Союза, выступал за передовые идеи в литературе и искусстве.

Однако Неедлы не был марксистом, а оставался до конца своих дней последователем идеалистической, метафизической философии гербартизма, правда в ее чешской разновидности, т. е. с некоторыми эклектическими материалистическими элементами, дарвинизмом и антиклерикализмом, сторонником которой был проф. эстетики Карлова университета О. Гостинский, учитель Неедлы; последний систематически изложил эстетическое учение своего учителя и опубликовал ряд очерков о нем. Неедлы не переставал защищать свою идеалистическую концепцию «исторического монизма» – какого-то особого имманентного «смысла истории» данного народа (конкретно, чешского), его специфической «исторической миссии».

Все это я знал не только по сочинениям Неедлы, но и по

беседам, которые происходили у нас с ним в его бытность в Советском Союзе, т. е. тогда, когда он был профессором МГУ, но я возражал ему мягко, принимая во внимание как разницу в возрасте (он был на 14 лет старше меня), так и его положение гостя-эмигранта.

Не раз Неедлы, в разговоре со мной, упоминал о том, что после победы над фашизмом и возвращения в Чехословакию, он займет пост президента республики, что, по его словам, обещал ему Готвальд, и что, мол, вполне соответствовало чехословацким традициям: первый президент Масарик был профессором философии, а Бенеш доцентом социологии. Но, как известно, это не осуществилось.

В первый период моей послевоенной работы в Чехословакии (1945–48 гг.) наши дружеские отношения сохранились, хотя из-за обоюдоострой крайней занятости, мы побывали у него дома всего один-два раза. Но Неедлы, будучи министром просвещения, прибыл на мою вступительную лекцию на философском факультете, и очень тепло отрекомендовал меня.

Во второй период Неедлы с самого начала явно избегал меня (1959–62). Должно быть, ему не очень приятно было вспомнить, как на заседании президиума ЦК в сентябре 1948 года, где Сланский – но это было понятно, поскольку я выступил с его резкой публичной критикой – а особенно злостно Копецкий, шельмовали меня как «троцкиста», и он, Неедлы, друживший со мной с 1939 года, не только не раскрыл рта в мою защиту, но послушно проголосовал за мой противозаконный арест и за депортацию меня и Кати с дочкой в руки сталинских палачей. Точь в точь также повел себя на этом заседании и другой мой приятель, Фирлингер, но после моей реабилитации откровенно рассказал мне все, объяснив этот свой неприглядный поступок той общей обстановкой террора, которая царила тогда. И я не стал винить ни того, ни другого, представив себе, что будучи на их месте, вряд ли сумел бы поступить иначе, тем более, что вероятнее всего засомневался бы, не проглядел ли я в самом деле «врага народа» – таково было давление общественного мнения.

Еще несколько эпизодов того же времени перед самым окончанием войны. В связи с начавшимся словацким национальным восстанием, осенью 1944 года, собралась вся московская чехословацкая колония в чехословацком посольстве для импровизированного праздника, чтобы отметить достигнутую восставшими частичную победу. Настроение было приподнятое, радостное, все размечтались о скором теперь уже возвращении на родину. Пили кофе, был даже редкостный деликатес, «бухтички в шодо» (пирожки в подливе из вина, желтков и сахара). Пели

хором чешские, словацкие и русские песни, танцевали. Неедлы сел за рояль, аккомпанировал, и вдруг почему-то сыграл грустную любимую словацкую песню Масарика «Тече вода, тече». Никто из нас тогда не предчувствовал, что восстание вскоре будет подавлено, и что погибнет участвовавший в нем Шверма.

В марте 1945 года в Москве состоялись трудные переговоры о принципиальных основах, на которых должна будет строиться послевоенная Чехословакия, переговоры между руководством московской эмиграции, возглавляемой Готвальдом, отстаивавшим «народную демократию», и руководством лондонской эмиграции, во главе с президентом Бенешем, который стремился сохранить уклад довоенной буржуазной демократии. В честь Бенеша чехословацкое посольство устроило торжественный прием, на который были приглашены и мы. Я уже не помню, как мы тогда выбрались из затруднительного положения, где раздобыли полагавшиеся для подобных случаев темный мужской костюм и вечерний дамский туалет, а также приличествующую обувь.

Это была наша первая вылазка на подобные «рецепции», в этот непривычный для нас дипломатический мир, так сказать, «высший свет», свет сплошной фальши, притворства и лицемерия. В сравнительно небольшом зале толпилось много народу. В полном составе присутствовали члены Московского и Лондонского эмигрантского руководства.

Но в центре внимания был, понятно, сам Бенеш. Невысокого роста, худощавый, с холеным продолговатым лицом, крайне изысканно одетый, он произвел на меня скорее впечатление английского лорда, чем чехословацкого государственного деятеля. Нас представил ему Фирлингер, и он пожал нам руку, приторно улыбаясь.

Примерно в это же время Фирлингер подарил мне изданную в Лондоне по-чешски книгу моего двоюродного брата Франтишека Лангера «Дети и кинжал» – антифашистскую повесть – ее привез Фирлингеру, который вместе с Лангером, во время Первой мировой войны, участвовал в чехословацких легионах в Сибири, кто-то из приехавших – кажется, словак Вало, тот самый, который прикрепил к лацкану моего пиджака изящный миниатюрный серебряный значок – двухвостого чешского орла.

Русский перевод книжки Лангера мне удалось удивительно быстро издать в Гослитиздате. Кроме нее, по-русски и на ряде других национальных языков, в СССР вышла еще его детская книжка «Братство Белого Ключа», однако не переведены многие другие, более значительные его сочинения.

После того, как советская армия освободила восточные районы Чехословакии, не дожидаясь полного окончания войны, в

конце марта или в первые дни апреля 45 года, сформировавшееся в Москве новое чехословацкое правительство национального фронта, во главе которого стоял левый социал-демократ Фирлингер (Готвальд был одним из его заместителей), выехало в Словакию, в Кошице, а с ним вместе и значительная часть Московской чехословацкой колонии. В состоянии раздвоенных чувств, я отправился на Киевский вокзал, чтобы проводить отъезжавших. Несказанно счастливый тем, что народ Чехословакии теперь заживет свободно, я не смог в то же время не испытывать досаду и горечь от того, что не вступлю на чехословацкую землю вместе с этими уезжающими счастливцами, что не смогу именно в это, наиболее важное время, сейчас, когда крайне нужно оказать посильную помощь чехословацкой компартии. Ведь прошел уже целый год, как мы договорились с товарищем Швермой, что он обратится в ЦК ВКП(б) с просьбой направить меня в распоряжение ЦК КПЧ, в аппарате которого я стану руководить агитационно-пропагандистской работой. И он так и сделал.

После того, как в ноябре 1944 года Шверма погиб, и место первого секретаря занял Сланский, тот должен был продвигать этот вопрос. От меня потребовали, чтобы я написал заявление на имя Готвальда, просил о переводе на работу с ним, что я сделал не очень охотно, зная, что найдутся такие советские товарищи, которые станут толковать это чуть ли не как «измену», но мне объяснили, что все это лишь требуемая формальность. «Но почему так затянулось мое оформление?», «Неужто здесь, в ЦК, не понимают, что, как говорится, дорого яичко к Христову дню», – недоуменные вопросы, на которые я получил ответ лишь спустя три года, не давали мне покоя. Сейчас, за день до своего отъезда, председатель КПЧ Готвальд, ничуть не сомневаясь в том, что затяжка с моим отъездом вызвана одними только формальностями, и что я буквально в самые ближайшие дни стану работать в Чехословакии, рекомендовал мне держать связь с Виктором Штерном, который будет теперь здесь, так сказать, полпредом ЦК КПЧ, и которому поручено позаботиться об ускорении решения моего личного дела.

Канцелярия Штерна была закамуфлирована под частную квартиру (где он, однако, сам не проживал), в одном из жилых домов в Аксаковском переулке, и Готвальд дал мне ее адрес и телефон. Кстати, о секретности. Подобная, нелепая, не имеющая никакого смысла конспирация продолжает процветать до сих пор. Так, в доме, где я живу, на улице Алабяна 10, имеется корреспондентский пункт «Юманите» под видом частной квартиры №192. Невозможно купить план города Москвы, на

котором были бы обозначены даже самые общедоступные учреждения, нельзя приобрести списка абонементов телефона, а номера иностранных посольств, причем и «социалистических» стран, телефонная справочная не сообщает. Мне, являющемуся членом Кибернетического совета АН СССР, для того, чтобы попасть в вычислительный центр АН, требуется получить особый пропуск. Между тем, как я имел в этом возможность убедиться, при пребывании в США, в 1961 году, в Вашингтоне любой человек может купить телефонную книгу, в которой указан и номер телефона личной квартиры президента, а также план города с обозначением всех учреждений. Без всякого пропуска я осмотрел не только Вычислительный центр Массачусетского Политехнического института, но и завод электронных вычислительных устройств ИБМ в Нью-Йорке, и везде мне, прибывшему «из-за железного занавеса» давали любезно пояснения.

На Киевский вокзал я прибыл за полчаса до отправления поезда, и смог проститься со всеми друзьями и знакомыми. Провожавший отъезжавших Вышинский, этот теоретик зверских «правовых» методов сталинского террора, знавший меня по 1925–28 годам, когда он еще был ректором МГУ, а я читал там лекции по истории и философии математики, почему-то счел нужным расхваливать меня Неедлы, Конецкому и другим. Но вскоре все расселись по вагонам, поезд тронулся, и я стоял и глядел с тоской, как он удаляется на Запад.

А через месяц война кончилась. Как и многие другие москвичи, мы отправились всей семьей на Красную Площадь, чтобы участвовать во всеобщем ликовании, омрачаемой, правда, печалью из-за невозвратимых потерь в нашей семье: моего сынишки сержанта-автоматчика Леника, Катиного брата подполковника Матвея, павшего близ Белостока в первые часы войны, и 18-летнего сына Катиной сестры Мани, десантника-парашютиста Левушки, пропавшего без вести (как потом выяснилось, он попал в плен к гитлеровцам и был заживо сожжен вместе с группой партизан в крестьянской избе). Вернувшись домой после салюта, мы за победу выпили бутылку шампанского, хранившуюся для этого случая у нас с самого начала войны.

Наступило лето, а Штерн не мог меня ничем порадовать. По его словам, справлялись и из Праги, но постановление о передаче меня в распоряжение ЦК КПЧ все задерживалось. Оно последовало только в начале сентября.

Возвращение в Прагу

Итак, открывается новый отрезок жизни, жизнь за границей, в совершенно других, чем советские, условиях, в чужой среде, особенно для Кати, не знавшей, вдобавок, языка, да и для меня непривычной после трех десятков лет отсутствия. Помнится, на мой предстоящий отъезд реагирование товарищей по работе было разноречивым: одни поздравляли меня, другие же сомневались в правильности моего поступка. Так, учившийся когда-то у меня в институте красной профессуры естествознания научный сотрудник института философии Кедров предостерегал меня от опасностей возможных контрреволюционных покушений, советовал быть крайне осторожным. А Белецкий просто настойчиво отговаривал ехать, выдвигая (как я тогда считал, но, увы, как не считаю больше теперь) циничный аргумент: политика это борьба за личную власть, за положение, за посты; в Чехословакии я столкнусь с местными людьми, претендующими на мое место, и они будут всячески стараться сжить меня со света. Но я меньше всего думал о себе. Ничто не могло умалить тот энтузиазм, с которым я нетерпеливо рвался на борьбу за превращение Чехословакии в социалистическую страну. Глубоко, не только в мозгу, но и в сердце, укоренилась наивная иллюзия ленинского времени, будто еще при нашей жизни мы добьемся победы мировой революции.

Мы с Катей решили, что сначала я отправлюсь в Прагу один, вроде как бы квартирьера, и лишь после того, как все будет подготовлено, прибудет она с детьми. Так мы и сделали. Улетел я с Внуковского аэродрома на «Дугласе». Этот транспортный самолет, который во время войны поставлял из США в СССР танки, был теперь переоборудован в пассажирский, но лишь на скорую руку: в его вместительном трюме стояли только скамьи вдоль стен. Летела большая группа, в том числе семья Пексы, жена Борека, Соня Шмералова – вдова Богумира Шмерала.

Когда наш самолет подлетал к Чехословакии, я узнал Шарку – романтическую долину, где, согласно старинным чешским легендам, якобы, происходила решающая битва в «девичьей войне» (легенда, отражающая смену матриархата патриархатом). С аэродрома меня отвезли прямо в ЦК, откуда какой-то хозяйственник направил меня в третьеразрядную гостиницу, где я оставил свои вещи и тут же пошел пешком на бывшую нашу квартиру в Вршовицах, чтобы справиться о судьбе мамы и сестры. По дороге я узнавал не только каждую улицу, площадь, сквер, не только находил, что мне знакомы многие магазины и их витрины,

но и типичные узоры плиток тротуаров.

Войдя в дом, из которого я тридцать лет назад отправился на фронт, я встретил старика, спросившего меня, кого я ищу. Он оказался владельцем этого дома, и узнав, кто я, попросил меня зайти к нему. Там была его жена, старушка, которая сразу расплакалась. Они рассказали мне, что мои мать и сестра попали в концлагерь в Терезине и погибли. Они предлагали мне взять какие-то мелочи, оставшиеся после них, но я отказался. Узнав, что я только что прибыл из Москвы, хозяин заговорил о бесчинствах, насилии и грабежах, якобы чинимых советской армией, а в особенности о том, что советские солдаты отнимают у населения ручные часы.

Я пристыдил его за клевету на армию-освободительницу, объяснил, что эти злостные лживые слухи распространяют притаившиеся коллаборанты – сторонники гитлеровцев, что они раздувают отдельные, возможные во время любой войны случаи мародерства, которые советским командованием наказываются расстрелом. Хотя я и приготовился к тому, что не застану в живых своих родных, а также и к тому, что придется встретиться с вражеской пропагандой, нашедшей благоприятную почву среди мелкой буржуазии и обывателей, я все же с тяжелым чувством поплелся в холодный номер своей гостиницы, где лег спать не евши, – у меня ведь не было ни чехословацких денег, ни продовольственных карточек. Забыл заявить, когда был в хозотделе ЦК, а сами они не догадались спросить.

На следующее утро, понятно, опять на пустой желудок, я пошел к секретарю ЦК Сланскому, чтобы получить направление на работу. Тот повторил, что мне предстоит работать в агитпропе, но – говорил он – там уже имеется заведующий, Чиврный, поэт, совершенно неприспособленный для этого дела. Но он из подпольщиков, работавших во время оккупации, и поэтому неудобно снимать его. Ты, как человек опытный, сумеешь быстро занять его место. Не оставалось сомнения, что Сланский предлагает мне заняться подсиживанием Чиврного. Это был удар для меня. Я растерялся, никак не ожидал такого от руководящего партийного работника. Не находя сразу как перевести на чешский слово «подсиживать», да и не желая с первого момента быть резким, я сказал, что стану просто работать, независимо от того, буду ли я завом или замом, и что надеюсь, мы с Чиврным сработаемся. И я попросил Сланского проинформировать меня вкратце о политическом положении в стране.

Сланский рассказал о борьбе между партиями национального фронта – чешской коммунистической, социал-демократической, национал-социалистической, и народной в чешских землях, плюс

еще словацкой коммунистической и демократической партии в Словакии, борьбе за направление дальнейшего развития Чехословакии. И тут я получил второй удар. Сланский заявил, что для нашей партии это затрудняется дурным поведением Советской армии, широким жестом раскрыл ящик своего письменного стола со словами: «Вот, сколько жалоб мы получаем на то, что советские солдаты отнимают силой у наших людей ручные часы!» – т. е. первый секретарь ЦК КПЧ повторил то же, что я слышал вчера от этого домовладельца, и мне пришлось Сланскому читать элементарную политграмоту, так же, как и тому. С этой же встречи я стал относиться к Сланскому с недоверием, невзлюбил этого высокого рыжего детину с бледным лицом и с какой-то смесью вкрадчивости и самоуверенности в его способе говорить и даже двигаться. И я чувствовал, что эта антипатия взаимна. Но я должен здесь добавить, что, как я знаю теперь, жалобы чехов на поведение освободителей вовсе не были выдумкой.

Поэт Лумир Чиврный, известный его переводами с испанского, оказался очень симпатичным товарищем (на 23 года моложе меня), сердечным и бесхитростным, совершенно лишенным того карьеризма, претензий на руководящую партийную работу, на которые довольно прозрачно намекал Сланский. Как только Чиврный ввел меня в курс немудреных дел агитпропа, с его прямо-таки ограниченной, не отвечающей требованиям момента деятельностью, он взмолился, чтобы его освободили от работы в аппарате, и когда ЦК удовлетворил его просьбу, был счастлив, что сможет теперь вполне отдаться литературному труду. А мне буквально на второй или третий день моего прибытия в Прагу поручили прочитать двухчасовую лекцию для городского партийного актива, о мировоззрении диалектического материализма.

Я понимал, что это своего рода экзамен, который мне устроило партийное руководство. Лекция состоялась в самом большом зале в Праге, в «Люцерне», который оказался битком набитым. Я читал о нашем мировоззрении без бумажки, конспект лекции умещался на клочке величиной с ладонь. И, как мне говорили, я удивил всех тем, что за исключением пары русизмов, говорил на чистом чешском языке. Меня стали посылать с докладами во все концы страны, все чаще направлять туда, где требовалось сражаться с наиболее опасными, наиболее изощренными политическими идейными противниками.

«Руде право» сообщило о моем прибытии в Прагу, и поэтому на лекции в «Люцерне» ко мне подошло немало товарищей, которые знали меня раньше, еще до войны. Во время оккупации

некоторые из них оставались в Чехословакии, в подполье, и чудом сохранились, другие были в эмиграции в Англии. Среди первых была Роза Роллова, активный партийный работник, старый член партии, учившаяся в 30-е годы в Москве в Международной ленинской школе на улице Воровского, где я преподавал, работая на основной работе в Комакадемии, диалектический и исторический материализм, причем не только для чехословацкой группы, но и для ряда других национальных групп.

С Розой, очень деятельной, жизнерадостной, непритворной, мы с Катей крепко подружились, бывали в ее семье, она бывала у нас. Мать двух дочерей, парикмахерши и продавщицы, она души не чаяла в Кате и очень полюбила нашу Адюшу. При фашистах Розу схватили, гестапо держало ее некоторое время в своем логове во дворце Печека, ее допрашивали с пристрастием, но она сумела разыграть малограмотную дурочку и ее отпустили.

Среди моих бывших учеников была и Годинова-Спурна, и ее муж Спурный. Она член КПЧ с 1921 года, с ее основания, член эмигрантского Лондонского правительства, председатель Комитета чехословацких женщин, и прочая и прочая, а он – замминистра внутренних дел, вели себя как типичные представители партийной аристократии.

Был здесь и работавший в Международной ленинской школе литературовед Павел Рейман, жена которого Шура была советской гражданкой, а сын Миша учился вместе с Вячеком в Пражской советской школе.

Катя дружила с Шурой, Вячек с Мишей. У меня с Павлом Рейманом (все звали его по-немецки «Поли»; он немецкий еврей из Судет, так и не научился как следует говорить по-чешски), одаренным, чудаковатым, богемистым (то, что немцы называют «кафегаусменш») были приятельские отношения. Однако в 1948 году, после того, как я выступил с критикой Сланского, Швермовой и Бареша, за что и был арестован, Павел Рейман сказал, будто он уже в Москве знал, что я троцкист.

Наконец, в первых числах октября прибыла Катя с детьми. В Праге стояли еще теплые, солнечные дни, деревья все еще зеленели, между тем как в Москве уже было по-осеннему холодно, пасмурно. Встретив своих на аэродроме, я едва узнал их, увидев в каких маскарадных нарядах они сходят по трапу самолета. На Кате была темно-коричневая шляпа с широчайшими полями, смахивающая на сомбреро, и светло-коричневое пальто какого-то необычного покроя, а Вячек и Ада тоже были одеты в костюмы, призванные изображать собой «европейские». Оказалось, что когда Кате выдавали выездные документы, то посоветовали одеться «по-заграничному»… Вот она и приобрела в

комиссионном магазине (а ведь больше негде было достать) эти смешные, давно вышедшие из моды вещи. На это ушли у нее все деньги, вырученные от продажи по-дешевке части более чем скромной обстановки нашей квартиры в Хлебном переулке.

С аэродрома я отвез своих на полученную мной квартиру, не говоря ни слова, желая, чтобы уже первое впечатление от Праги оказалось для них приятным сюрпризом. Квартира занимала целый второй этаж в трехэтажном особняке на улице Под Боржиславкой, в Дейвицах, в одном из фешенебельных, наиболее здоровых районов столицы. Квартира состояла из пяти (пяти!) комнат – одна из них для прислуги – зимнего сада, роскошной ванной, электрической кухни, двух (двух!) уборных – одна опять-таки для прислуги. Квартира была полностью обставлена мебелью, очень добротной, но грузной и мрачной – типичной истинно-германской: до нас, при немцах, здесь жил какой-то нацистский врач, – оберштурмгрюппенфюрер СС с семьей.

Помнится характерный штрих этого конца 45 и начала 46 года: как-то приехал из Польши товарищ и, зайдя к нам домой, увидел, как мы питаемся. Тогда он притащил громадный круг «краковской» колбасы, который, наслышавшись, что в Чехословакии неважно с продовольствием, он привез с собой из Польши. Мы на эту колбасу прямо-таки молились, растягивали время ее истребления так долго, что даже холодильник не помог: она начала портиться, и мы, горюя, вынуждены были выбросить остатки.

Конечно, я знал, что руководящие работники пользуются специальным снабжением, получают пайки в закрытой задней части лучшего в Праге магазина Липперта, и мог требовать того же. Но ведавший этими делами работник ЦК видно «забыл» включить меня в соответствующий список, также как и в список лечащихся в «Санопсе» (аналогии Кремлевской больницы), а я не стал заикаться об этом.

В отличие от того, как я относился к привилегиям, работая в МК, когда я принимал их как нечто должное, само собой разумеющееся, – я начал понемногу воспринимать их как недопустимые нарушения социалистической демократии, постепенно стал осознавать, какие разрушительные морально-политические последствия для всего общества они за собой неизбежно влекут. Вот почему я и не стал также настаивать, чтобы ко мне прикрепили полагающуюся персональную машину, а ездил на работу в центр Праги трамваем, на что уходило отсюда, с городской окраины, минут 40.

Несколько слов о Катце, порученце Неедлы, который помогал нам устраивать нашу пражскую жизнь. Этого образованного

человека, знатока и любителя литературы, искусства, а в особенности музыки, постигла совсем необычная трагическая участь. На протяжении всей нацистской оккупации, с 15 марта 1939 по 9 мая 1945 года его, еврея, скрывала чешка Ружена, и этим спасла ему жизнь. В ее комнате имелся альков – прикрытая ковром глубокая ниша – и там, не выходя все это время на улицу подышать свежим воздухом, почти не видя солнца, он провел все эти семь лет. Нам, не пережившим что-либо подобное, так же невозможно представить, как человеку, никогда не побывавшему в бою, в тюрьме или в лагере не представить душевное состояние людей, испытавших это на себе – что пережил Катц в течение 2247 дней, а в особенности стольких же бессонных ночей. Подумайте только, какой нечеловеческой пыткой были для этого чуткого человека 54 тысячи часов, когда каждую минуту он мог ожидать, что нагрянет гестапо, и тогда конец не только ему, но и Ружене, и тем жильцам дома, которые знали и не донесли. И никто не донес, несмотря на то, что повсюду в Праге было расклеено грозное объявление немецкой комендатуры, гласившее, что скрывшего евреев ждет смертная казнь.

Не припомню уже, какими путями я внезапно узнал, что версия, будто моя мать погибла, ложна, что она жива, недавно вернулась из Терезинского концлагеря, и находится здесь, в Праге, в приюте для престарелых евреев. После стольких лет – и каких! – после того, как я мысленно уже похоронил ее, а она тоже считала меня пропавшим, какая это была трогательная встреча! Плакали столпившиеся вокруг нас обитатели приюта, старушки и старики. Несмотря на свои 82 года и на всю тяжесть пережитого, мама сохранила громадную жизненную энергию, свежесть интеллекта, она толково не без доли горького юмора описывала жизнь в лагере и здесь в приюте, расспрашивала о моей жизни, о Кате и детях, о Рудольфе (но я скрыл от нее, что, и тем более как, он погиб, не только, чтобы пощадить ее, но в то время я приукрашивал советскую действительность, скрывал все уродливое в ней перед иностранцами, считая искренне, что таков долг коммуниста).

Она рассказала про Марту, как ее любили в Терезине, как она пела для заключенных, и как в 43 году, из-за того, что она усыновила, надеясь спасти ему этим жизнь, еврейского мальчика-сироту, нацисты отправили обоих в лагерь смерти в Равенсбрюк, и там сожгли мальчика и ее. Я стал настаивать, чтобы мама немедленно рассталась с этим приютом и переехала жить с нами. Но она согласилась только условно: попробует, мол, сумеет ли, так как уже привыкла к жизни со стариками.

И она переехала к нам, но прожила с нами всего полгода. Она

жаловалась, что ей скучно, не с кем поговорить, ведь Катя еще не знала языка, а она не понимала по-русски, я же целые дни пропадал на работе, к тому же мы с Катей часто разъезжали, оставляя детей на попечение друзей. Непривычна для мамы была и русская кухня, недоставало ей и врачебного наблюдения, под которым она находилась в приюте.

Итак, мама вернулась в приют, который из Праги переехал в Подебрады, на кардиологический курорт, и мы с Катей ездили туда проведать ее. Позже приют снова вернулся в Прагу, его поместили в особняке, у мамы там была отдельная комната. Мама скончалась весной 48 года, проболев всего несколько дней.

Мы понемногу стали привыкать к новым условиям жизни. Быстрее всех усвоила чешский язык шестилетняя Ада, она стала говорить как заправская пражская девчонка, на характерном для пражан певучем арго.

В пражской советской средней школе работали молодые преподаватели Юрий Дмитриевич Карпов и его жена Ганна Петровна Серцова, философы-истматчики, бывшие фронтовики: он – работник СМЕРШ («Смерть шпионам», армейский орган госбезопасности, для борьбы с вражескими шпионами и… с инакомыслием среди своих), а она – медсестра, перенесшая тяжелую контузию; здесь, на фронте они и поженились. С Юрием и Ганной мы дружили близко в течение 23 лет, вплоть до рокового августа 68 года. Они были нашими прямо-таки неразлучными друзьями, с которыми мы, а они с нами, несмотря на возрастную разницу, делились переживаниями, мыслями, обсуждали волнующие нас политические и идеологические проблемы. Мы искренне любили их, они были привязаны к нам, я помогал им советами в их научной работе (Ганна писала диссертацию на чехословацком материале).

Привести здесь хотя бы один голый перечень тех многочисленных городов в чешских землях, а отчасти и в Словакии, в которых я за эти три года моего первого послевоенного пребывания в Чехословакии выступал с докладами и лекциями на различнейшие темы, я, разумеется, не в состоянии. Часто мы бывали в Доксах, в северной Чехии, в местности, где раньше жили немцы, а поэтому все строения в деревнях и в городках здесь типично немецкие, какие-то тяжеловесные, словно крепости. На берегу романтического Махова озера, где поблизости невысокая гора Бездез, с развалинами старинного замка (мы, конечно, взобрались туда), имелась центральная партийная школа. Она была сначала краткосрочной, и мне стоило немало нервов, чтобы добиться превращения ее в долгосрочную, а также улучшения материального положения курсантов. Сланский,

как и другие ответственные работники, не проявлял к этому вопросу должного внимания.

Когда я сейчас, спустя три десятка лет, размышляю о партийном просвещении, о том, какие всходы дали те зерна, которые мы тогда сеяли, то прихожу к тому неизбежному выводу, что лишь в самой незначительной мере они помогли сформировать убежденных, искренних, самоотверженных борцов за справедливый общественный строй. Для громадного большинства наших слушателей марксизм и социализм стали теперь пустым звуком, а для некоторых, вероятно, не малочисленных, ценнейшим средством для достижения и укрепления своей карьеры.

Я тогда поместил в «Руде право» статью о теоретической подготовке руководящих партийных кадров, содержащую неприкрашенное описание неудовлетворительного состояния этого дела у нас, в КПЧ, и сравнение с положением политпросвещения в Болгарии (где я только что побывал), а также требование издавать теоретический партийный журнал. Это была довольно-таки неприкрытая критика Сланского. За публикацию этой статьи без согласования с Секретариатом ЦК, редакции газеты попало на орехи, на меня Сланский затаил злобу, но обучение в школе сразу же было увеличено, сначала с трехмесячного до шестимесячного, затем до годичного и, наконец, до двухгодичного, и питание курсантов значительно улучшилось. Стал выходить и журнал «Новая мысль» («Nová mysl»).

Заведовала школой ее бывшая курсантка, миниатюрная женщина Эрика Кадлецова, талантливая, честная, среди прочих преподавал там ее муж, экономист Кадлец, а также другой экономист Олива, все трое по чехословацким масштабам старые члены партии. Скажу сразу о их дальнейшей судьбе. В мое второе пребывание в Праге, когда я был директором Философского института Чехословацкой Академии наук, Эрика работала там научным сотрудником, активнейшим образом поддерживала мою борьбу против культа Новотного, затем одно время она возглавляла Государственный комитет по делам церквей, ездила в Китай для знакомства с постановкой там работы среди нацменьшинств. А теперь, так же, как и ее муж, за поддержку Дубчека, она исключена из партии и работает бухгалтером в одной ремесленной артели, а их дочку, окончившую начальную школу, не приняли в среднюю. Зато Олива, бездарный, консерватор, выступивший даже в 60-х годах со статьей против применения математических методов в политэкономии, стал академиком и удостоен золотой плакетой «за заслуги (!) перед

человечеством и наукой», так как он «лижет спину, лижет ниже», поддерживая нынешний режим. Во время одного из моих последних посещений Праги, в 1971 году, он подошел ко мне в ресторане на Кубинской площади, где мы с Катей обедали, радушно протягивая руку. Я произнес: «Я вас не знаю», и отвернулся.

Дипломатическая миссия

Кроме частых агитационных и пропагандистских поездок по стране (причем я побывал и в западной части Чехии, в том числе и в Пльзене, где находились американские войска, которые, одновременно с советскими, ушли из страны только в ноябре 1945 года), мне уже с самого начала моего пребывания в Праге пришлось три раза съездить за границу; вообще-то у меня был паспорт с надписью: «Для всех государств мира», но теперь меня снабдили дипломатическим паспортом. В ноябре 45 года, меня, а со мной Гайду, низкорослого, плотного, смуглого словака, работника министерства иностранных дел, ЦК КПЧ назначил для участия в учредительном собрании ЮНЕСКО, состоявшемся в Лондоне, куда мы и вылетели. Через знакомых из компартии Великобритании я устроился жить не в отеле или пансионе, а в семье квалифицированного рабочего-докера; поступил я так не столько ради экономии, а потому, что интересно было поближе познакомиться с бытом английской семьи.

Здесь ничего не изменилось, все осталось таким же, как 14 лет назад, когда я впервые побывал в Лондоне. Но нет, далеко не все. Изменилось самое главное – национальный характер англичан, он приобрел другие черты. Куда девалась их пресловутая stiffness, primness, respectability – чопорность, натянутость, респектабельность? Меня поразило, что совершенно незнакомые друг другу пассажиры начинают в вагоне метро, автобусах, поезде переговариваться, и беседуют даже с нами, иностранцами, чего в 31 году нельзя было и представить. И я как-то прямо спросил, – откуда такая перемена? Не задумываясь, мне объяснили, что в войну во время частых налетов люди сблизились, сдружились в бомбоубежищах, и традиционная замкнутость узкого круга своей семьи, выраженная в поговорке «my house is my castle» невозвратимо канула в прошлое.

Все эти десять дней, которые я провел в Лондоне, я в этой квартире рабочей семьи не только ночевал, но и завтракал с ними, каждый день одно и то же. С хозяином я побывал на месте его работы в Попларе, в доках, в порту на Темзе, куда свободно заходят даже океанские суда, а в воскресенье наблюдал, как он в своем садике со своими товарищами – все в одной жилетке, не расставаясь с коротенькой трубкой – играл в регби, попивал джиндер-бир, обжигающее глотку имбирное пиво.

Когда мы с Гайду прибыли в Лондон, то направились сразу с Уимблдонского аэродрома в наше посольство. Тогда послом народно-демократической Чехословакии был князь Лобковиц,

потомок старинного дворянского рода, владевшего обширными имениями в северной Чехии. Он принял нас, коммунистов, весьма прохладно, но чуть потеплел, узнав, что я профессор университета, и даже устроил для нас коктейль, во время которого проявил себя приятным собеседником. Не думал я раньше, когда воевал против белых, что стану когда-нибудь чокаться с князем!

Заседания учредительного собрания ЮНЕСКО происходили в правительственном дворце Уайтхолле в непринужденной обстановке. Мы, делегаты разных стран, – нас было немного – заседали за одним столом (я сидел рядом с китайцем-чанкайшистом), обсуждали структуру будущей организации, имеющей своей целью сближение наций при помощи распространения просвещения, образования, науки и культуры, проект ее устава.

Почему-то отсутствовала делегация Советского Союза, и русский язык не был предусмотрен в качестве одного из официальных языков организации. Сговорившись предварительно с поляками и югославами, единственными кроме нас, чехословаков, представителями стран народной демократии, я внес предложение, чтобы русский язык на равных правах как английский, французский, испанский и китайский, был утвержден уставом как официальный язык, мотивируя это тем, что на нем говорит наибольшее количество славян, и что он близок и другим славянским народам. После короткого обсуждения, сводившегося, собственно, к вопросу, почему же это советская делегация не прибыла – вопросу, на который мы, недоумевая, также не знали ответа, – мое предложение было принято единогласно. Вообще достаточно демократичный и гибкий устав организации, как и ее структура, нас устраивали.

Но меня смущала одна неприятная мысль: в отличие от Гайду, у меня не было смокинга, обязательного для участия в торжественном приеме, который был намечен в конце работы нашего учредительного собрания у министра просвещения. Я решил ради одного лишь вечера не покупать его, а взять напрокат, и обратился к английскому коммунисту Винтерницу за советом, имеется ли такой прокатный пункт. Спасшийся из гитлеровской Германии ученый-экономист Винтерниц, оказывается, знал меня по литературе. Услышав о смокинге, Винтерниц предложил мне одолжить для этого приема его собственный, а после ни за что не захотел взять его обратно. Так я и отвез его в Прагу и стал надевать для приемов, устраиваемых чехословацким правительством или советским посольством.

В Лондоне я познакомился еще с двумя другими учеными-

коммунистами – с Дж. Б. С. Холдейном и с Хайманом Леви. Профессор Лондонского университета биометрик Холдейн, автор книги «Марксистская философия и естествознание», в то время относился положительно к идеям Лысенко. Это, понятно, содействовало тому, что АН СССР, членом президиума которой Лысенко тогда состоял, избрала Холдейна своим почетным заграничным членом. Я организовал приезд Холдейна в Прагу, полагая, что его лекции и дискуссия с тогдашним ректором Карлова университета, генетиком, правым социал-демократом, профессором Велеградеком, непримиримым противником Лысенко, окажутся полезными.

Однако к тому времени, когда Холдейн появился в Праге, он уже убедился, что Лысенко не в состоянии подкрепить свою критику менделизма-морганизма такими экспериментальными доказательствами, которые другие ученые могли бы проверить их воспроизведением. И Холдейн усвоил достигнутые новейшие знания наследственности в цитологии и биохимии, в особенности о роли нуклеиновых кислот, а поэтому сам стал переходить на позиции противников Лысенко, на позиции генетики. А в 48 году во время второго тура сталинского террора Холдейн, оставаясь марксистом и коммунистом, в знак протеста против политики британской компартии, защищавшей или по меньшей мере прикрывавшей сталинизм, вышел из партии. Одновременно, демонстрируя свое возмущение колониалистской империалистической антииндийской политикой английского правительства, он эмигрировал в Индию.

Профессор математики Лондонского Империал Колледж, специалист по теории дифференциальных уравнений, Хайман Леви, руководил отделом пропаганды ЦК. Мы, таким образом, были коллегами с ним.

В 1949 году Хайман Леви вместе с другими членами ЦК компартии Великобритании посетил Москву, как в таких случаях пишут «по приглашению ЦК КПСС, для обмена опытом», на деле же для того, чтобы им, недоумевающим над тем, что творится в Советском Союзе «вправили мозги». Эту благородную задачу Сталин поручил Суслову, который считается ведущим теоретиком марксизма-ленинизма и пользуется репутацией (как при Сталине, при Хрущеве, так и ныне) «серой эминенции» – доверенного лица диктатора. Суслов принял делегатов, и его беседа с ними, в частности по еврейскому вопросу, носила такой характер, что ряд делегатов, и Хайман Леви в том числе, вернувшись в Англию, положили свои партийные билеты.

Вторая моя заграничная поездка состоялась в декабре, в том же 45 году. Меня пригласил для чтения лекций в Софии

болгарский философ и видный общественный деятель (одно время он даже был регентом Болгарии) академик Тодор Павлов. Мы с ним были знакомы в Москве, где он под фамилией Досев находился в тридцатых годах в эмиграции. Тогда он написал книгу «Теория отражения» – хорошую работу по диалектико-материалистической гносеологии, которую, однако, Митии и Юдин из-за ее нестандартности отказывались издать под маркой Института философии. И тогда, после того, как я настоял на этом, ее наконец все-таки издали, но со своим предисловием, снимавшим с института ответственность за ее содержание.

В Софии я сделал несколько докладов в университете, а в академии наук прочитал пару-другую лекций, как по философским проблемам математики и физики, так и направленные против ремкеанства, этой разновидности субъективно-идеалистической имманентной философии, которая имела своих последователей в Софийском университете и в болгарской академии наук. В то время в Софии было холодно и голодно. Мне удалось ознакомиться с некоторыми историческими достопримечательностями этого старинного красивого города – с античными, времен римлян, со средневековыми, далее времен турецкого завоевания, наконец нового времени, а также съездить в ближайшие окрестности столицы.

В канун нового, 1946 года, Правительство Отечественного фронта устроило прием во дворце, на который и я был приглашен. В большом зале кишмя кишело людьми, блестели пышные мундиры военных и дипломатов, выделялись наряды дам и одежда высших иерархов. Здесь я встретился с Коларовым, председателем Национального собрания, которого знал по Коминтерну, поздоровался с ним. И меня познакомили с героическим Димитровым. С ним мне удалось увидеться еще раз, в 48 году, за год до его преждевременной смерти (несомненно, ускоренной сталинской проработкой за попытку Димитрова добиться некоторой самостоятельности в балканской политике), на приеме, устроенном в его честь, когда он посетил Прагу.

Третья заграничная поездка того времени состоялась в Вену. Капитан Юрий Карпов, хотя и преподавал в советской школе, куда являлся в штатской одежде, не порвал свои связи со СМЕРШем и, надо полагать, выполнял какие-то особые разведывательные задания. По этим делам он находился в Вене, и по его инициативе Политуправление советских оккупационных войск в Австрии пригласило меня прочитать командному составу доклад о положении в Чехословакии. Для Кати эта поездка представляла особый интерес – ведь это было ее первое знакомство с капиталистической страной.

В Вену мы поехали экспрессом «Виндобона», названным так по имени ее кельтского поселения, перенятого затем римлянами для их военного лагеря, стоявшего на том месте, где теперь находится Вена. Доклад я делал в бывшем императорском дворце, в тронном зале самого Франца Иосифа – мог ли я думать, что когда-нибудь моя нога ступит сюда? Поселились мы там же, где снимал комнату Карпов, у одинокой старушки австрийки в рабочем квартале Фаворитен. Для основательного осмотра города у нас не хватало времени, мы не побывали даже ни в одном из многих музеев, да возможно, что они даже не были открыты, ведь театры не работали – город не смог еще оправиться от тяжелых последствий войны. Разрушенные здания; советские, американские, британские солдаты и офицеры толкались и разъезжали по улицам; множество закрытых магазинов, ресторанов и прославленных венских кафе; унылый вид прежде «йовиальных», то есть добродушно-веселых венцев – все это красноречиво говорило за себя.

Покушения

Вскоре после прибытия из Москвы в Прагу я попытался разыскать своего двоюродного брата Франтишека Лангера, как я ошибочно полагал, единственного, кроме мамы, родственника, оставшегося в живых. В военном министерстве мне сообщили, что генерал медицинской службы Лангер недавно вернулся в Прагу из Лондона. Когда я связался с ним, он предложил встретиться утром на следующий день, но не у него дома, – он еще только устраивался, – а в кафе перед пражским Репрезентационным домом. Это была невеселая встреча. Нас разделяли не столько те 30 лет, в которые мы не виделись, и не столько те 6 лет, на которые Франтишек был старше меня, сколько – так я по крайней мере остро чувствовал тогда – та совершенно отличная, вернее прямо противоположная духовная атмосфера, характерная теперь для жизни каждого из нас. «Правда, нас объединяет одно – антифашизм, но этого мало», – думал я, глядя на Франтишека. А Франтишек, наверное, в это же время думал обо мне, как о нарушителе желанного им покоя, тишины, как о слепом автоматическом исполнителе партийных постановлений и лозунгов. Как выяснилось в дальнейшем, оба мы тогда – в разной мере, он в меньшей, я в большей – упрощали наши представления друг о друге. Когда я теперь, в ноябре 1976 года, в капиталистической Швеции, элементарная честность требует, чтобы я во всеуслышанье признал, что хотя я по-прежнему непримиримый противник капиталистического строя, и как и раньше считаю буржуазную демократию не только не идеальной, а в значительной степени лишь отдушиной, и не теряю надежды, что с победой социализма ее сменит подлинная социалистическая демократия, которая не на словах, а на деле обеспечит для всех без исключения возможность активно участвовать в решении своей судьбы, – я, разумеется, предпочитаю эту куцую буржуазную демократию той лжесоциалистической, являющейся лишь прикрытием беспардонного удушения человеческих прав.

Понятно, что я не мог забыть о том, что мы с Франтишеком во время гражданской войны в Сибири воевали друг против друга. Он, впрочем, так же как и Людвиг Свобода, как и первый после освобождения Чехословакии в 45 году председатель ее Совета Министров Зденек Фирлингер, занимал руководящее место в пресловутом Чехословацком корпусе, поднявшем весной 1918 года мятеж против Советской власти, а затем, вплоть до 1920 года активнейшим образом участвовал в иностранной военной интервенции Антанты и в русской белогвардейской

контрреволюции. Чехословаки оккупировали Среднее Поволжье, Урал и Сибирь, захватили Сибирскую железнодорожную магистраль от Пензы до Владивостока, похитили в Казани золотой запас республики и передали его Колчаку, арестовывали, расстреливали, вешали коммунистов, работников советских учреждений, активистов из рабочей и крестьянской бедноты, помогли создать в Самаре (теперь Куйбышев), в Екатеринбурге (теперь Свердловск), в Омске белогвардейские правительства. Конечно, будучи дивизионным врачом, Франтишек не участвовал непосредственно ни в боях против Красной Армии, ни в зверских репрессиях против коммунистов.

Верно, что эти трое – Лангер, Свобода и Фирлингер – каждый по-своему, искупили в дальнейшем эту свою деятельность. Лангер своими блестящими, и поныне актуальными, социально-прогрессивными, гуманными сочинениями; Свобода – как военачальник, победоносно руководивший осенью 44 года наступательными операциями Первого чехословацкого армейского корпуса на Дукельском перевале; заслугой Фирлингера, состоявшего с 1924 года членом чехословацкой социал-демократической партии, явилось прежде всего то, что он сумел добиться в 48 году исключения из своей партии правых, сторонников капиталистической реставрации, и слияния ее левого крыла, которое он тогда возглавлял, с коммунистической партией.

Франтишек Лангер скончался в августе 1965 года, за три года до брежневской оккупации Чехословакии. Зная его, скажу, что если бы он дожил до этой катастрофы, он переживал бы ее как величайшую трагедию своей жизни, никогда бы не смирился с ней. Что же касается Свободы и Фирлингера, то они в самые роковые часы проявили мужество: Свобода поставил, будучи вывезен в Москву, ультиматум, что он без Дубчека, Смрковского и Кригла, которые фактически находились здесь под арестом, не вернется в Прагу живым. А Фирлингер, в то время председатель Общества чехословакцко-советской дружбы, ходил с протестом против оккупации к советскому послу Червоненко. Но храбрости и честности этим двоим надолго не хватило. По карьеристским соображениям, они позволили себя быстро «убедить». Они оба стали активными проводниками оккупационного террора. Возможно, что Фирлингер оправдывал эту двойную измену – как социализму, так и своему народу – тем, что он лишь по-прежнему придерживается тактики «меньшего зла». Не знаю, так ли он рассуждал, так как я полностью порвал с ним. Но если таковы были его расчеты, то они не оправдались. Его «колебания» в критический момент ему не простили, списали его с

политической сцены.

Разумеется, при этой же первой встрече с Франтишеком, мы рассказывали друг другу о наших семьях и поделились своими горестями. Франтишек рассказал мне, что его родители мирно скончались, а его оба младших брата – Пепик (Иосиф) и Йиржик погибли при трагических обстоятельствах, а также что в Злине (теперь Готвальдов) проживает еще один наш родственник – мой дядя Франтишек Пахнер.

Ощутимая первоначально между нами излишняя сдержанность и даже некоторая натянутость, по мере того, как мы ближе стали узнавать друг друга, постепенно рассеялась. Этому способствовало то, что я – одолжив их у Франтишека – прочитал прежде мне незнакомые его сочинения, что мы при всяком подходящем случае обменивались с ним взглядами по самым различным научным и общекультурным проблемам, и в немалой мере тем, что он познакомился с Катей, Вячеком и Адюшей (она ему очень понравилась), а я с его милой женой Анечкой.

Нам у них дома всегда бывало хорошо, уютно, не смущало ни то, что по многим злободневным политическим вопросам мы с ними расходились, спорили, ни то, что кабинет Франтишека, где мы сиживали, скорее напоминал литературный музей, чем жилую комнату.

Но хаживали мы в гости и принимали у себя дома гостей не слишком-то часто. Я был очень занят, причем не одной лишь работой в аппарате ЦК. И не только на философском факультете Карлова университета, профессором которого меня – согласно чехословацкому закону – назначил декретом президент республики. Здесь, в большой аудитории, где сидело и несколько монашек в больших белых накрахмаленных чепцах и стенографировали каждое слово (чтобы у себя, с каким-нибудь ученым-теологом выискивать аргументы против марксизма), я читал сразу исторический материализм, логику, этику.

Аудитория бывала всегда битком набита, что объяснялось не моим красноречием, а естественной тягой молодежи в это революционное время к марксизму, так и просто тем, что такие лекции представляли тут сенсацию. Так как тогда студенты могли по собственному желанию свободно выбирать, у кого из профессоров слушать лекции, то их «голосование ногами», когда они бросали посещать лекции маститых философов-идеалистов И. Крала и И. Б. Козака, говорило само за себя. Кроме того, мне приходилось уделять много внимания и Чехословацкому антифашистскому обществу, председателем которого я был избран. Я также участвовал в периодических заседаниях Государственного комитета по науке и технике. Наконец, я был

еще членом межпартийной комиссии по укреплению дружбы и культурных связей между братскими народами – чехами и словаками – известный антагонизм между которыми, все еще давал себя знать. Вторым членом-коммунистом с чешской стороны был известный юрист-теоретик В. Прохазка, с которым мы стали дружить, а от словацких коммунистов выдающийся поэт и общественный деятель Новомеский, позднее, в годы 51–56 незаконно репрессированный и реабилитированный лишь в 63 году. И, конечно, я в это же время публиковал статьи в газетах «Rudé Právo» и «Literární Noviny» и партийном теоретическом журнале «Nová Mysl» и в журнале «Tvorba» и издал целый ряд брошюр и книжек.

Несмотря на занятость, я все же раза два или три по просьбе Арзамасцева проводил в советской школе занятия с учениками старших классов – любителями математики. Из той же советской школы стал захаживать к нам домой четырнадцатилетний парнишка, Франтишек, сын врача Франтишека Яноуха, председателя чехословацкого Красного Креста, старого партийца, узника фашистского концлагеря. Франтишека привел ко мне Вячек, так как Франтишек открыл, мол, общие признаки делимости чисел. Правда, эти признаки были довольно хорошо известны, но у парнишки оказалась склонность к математике, и я охотно стал заниматься с ним, задавал ему разные головоломки, развивающие логическую смекалку, математическое мышление.

В марте 46 года состоялся 8-й съезд КПЧ. На нем Готвальд дал оценку достигнутых успехов народной демократии; несмотря на яростное сопротивление буржуазных элементов в парламенте (Национальное Собрание) и президента Бенеша, было национализировано все банковское дело и большинство промышленных предприятий. Ставилась задача дальнейшего мирного перерастания народно-демократической революции в социалистическую. Нужно было завершить возрождение экономики, добиться того, чтобы было узаконено страхование для всех трудящихся, передать все культурные учреждения под управление государства, открыть трудящимся доступ к образованию, создав единую государственную школьную систему, основать Академию Наук. Было также подчеркнуто ведущее значение марксистской идеологии.

Все это было вполне по Марксу и Ленину. Но только не было на съезде никаких прений по существу, никакой критики допущенных ошибок, никаких предложений, видоизменяющих или хотя бы дополняющих те, которые были заранее предрешены ЦК, точнее, Политбюро, а еще точнее, секретариатом, и содержались в докладе. Иначе говоря, съезд носил торжественно-

демонстрационный характер, агитационный. Он проходил по образцу и подобию советских партийных съездов, где уже давно все выступления были наперед расписаны, и любые попытки обосновать какие бы то ни было коррективы, пусть и самые деловые, к заготовленной заблаговременно резолюции, рассматривались, как «оппозиция», «уклон от генеральной линии», посягательство на непогрешимость вождя, как «вылазка классового врага».

Но как же это так? Ведь истина рождается в споре! Да, все это я стал понимать гораздо позже. А тогда слепо упивался победоносным парадным ходом съезда, хорошо организованным спектаклем прибывших сюда делегаций профсоюзов горняков, мясников, сапожников – все в своих живописных формах и со своими эмблемами средневековых цехов – зажженными шахтерскими лампочками, колоссальными секирами, колодками – крестьян и крестьянок в пестрых национальных костюмах разных областей Чехии, Моравии, Силезии и Словакии, пришедших не только воздать почести, но и передать президиуму съезда гигантский «koláč» – сдобный сладкий пирог с творогом, изюмом, маком и повидлом. И, конечно, умилялся обязательным приветствием детей-школьников (пионеров в Чехословакии тогда еще не было).

И этому моему восторженно-телячьему настроению не мешало то, что я не был делегатом съезда, а присутствовал на нем лишь как гость, а затем не был съездом избран в ЦК, хоть руководил таким ответственным делом, как партийная агитация и пропаганда. Объяснял я это себе прежде всего тем, что я был здесь «outsider-ом» – посторонним человеком, пришедшим извне, не «своим», вдобавок меня откровенно с самого начала невзлюбил Сланский, и скрыто не выносил антисемит Копецкий.

Относительно много времени отнимали у меня публичные лекции, доклады и выступления на митингах, собраниях и диспутах, которые, как в самой Праге, так и в провинции, с течением времени устраивались все чаще и чаще, поскольку на конец мая 48 года были назначены выборы в Национальное Собрание. Четыре партии Национального фронта (в чешских землях; в Словакии к ним прибавлялось еще две) – наша коммунистическая, социал-демократы, национал-социалисты (партия Бенеша, хотя, как президент, он официально считался беспартийным), и «лидовцы» («народная» клерикальная католическая партия) развили длительную бурную предвыборную кампанию.

Ее особенностью были устраиваемые диспуты и вечера вопросов и ответов, на которых в самых больших аудиториях

города совместно выступали представители всех этих четырех партий. Эти выступления превращались прямо-таки в спортивные состязания. Участники, за недостатком сидячих мест в зале, сидели и на подоконниках, и на трибуне, и даже на полу, а то простаивали часами, пока длилось собрание. Обстановка накалялась, аудитория реагировала шумно, зачастую сыпались провокационные вопросы, я отвечал на любую записку, представители партий не скупились на демагогические приемы, на аргументы ad hominem[5].

Меня посылали сражаться с наиболее напористыми и ловкими полемистами – национал-социалистами историком Славиком и моим коллегой профессором философии Козаком, с лидовцем Тигридом, с правым социал-демократом, ректором Карлова университета Белеградеком. И – не стану скромничать – я выходил из этих словесных стычек победителем и чувствовал себя словно матадор в бою быков. Я был убежден, что в выборах на карту была поставлена судьба Чехословакии, – вернуться ли ей к буржуазно-демократической до-мюнхенской республике, или развиваться к социализму, к подлинной власти свободного народа, трудящихся, как я всегда искренне и наивно верил, что и придавало мне силу убеждения.

И вот, в одно прекрасное, солнечное, весеннее, воскресное утро, когда я после завтрака сидел дома за своим письменным столом лицом к широкому окну и что-то сочинял, вдруг раздался резкий звук треснувшего стекла (я тогда еще хорошо слышал, тугим на ухо я стал лишь после тюрьмы 48–52 годов), в окне передо мной и сзади, в стеклянной стенке сервировочного столика, оказались, пробитые винтовочной пулей, отверстия, а сама пуля застряла на дне столика. Она пролетела всего в нескольких сантиметрах от Адюши, которая в это время как раз зашла в комнату. Не нужно было особых знаний баллистики, чтобы точно установить, что террорист стрелял с крыши особняка, находящегося на противоположной стороне улицы. Я вызвал работников госбезопасности, и они установили, что пуля выпущена из армейской винтовки, осмотрели крышу противоположного особняка, бегло допросили его жителей, но не сумели найти преступника.

Приблизительно в то же время случилось со мной еще одно, довольно загадочное происшествие. За мной домой однажды утром – по моему телефонному заказу – заехала машина ЦК, чтобы отвезти меня в Марианске Лазне, где должен был состояться мой доклад. Я сидел рядом с водителем, каким-то новым, его мне прежде не приходилось встречать, хотя в то предвыборное время я особенно часто совершал дальние поездки.

Приближался полдень. Где-то, километров за 30 до нашей цели, в лесу, на крутом повороте машина внезапно забуксовала, очутилась возле самой обочины, резко накренилась в мою правую сторону, дверца внезапно открылась, и я оказался выброшенным в кювет.

Чудом я совершенно не пострадал, отделался мгновенным испугом. «Видно, дверца неисправна, раз она при этом броске сама открылась, ведь я помню, что хорошо закрыл ее», – подумал я, но каково было мое изумление, когда, встав и выбравшись из кювета, я обнаружил, что моей машины и след простыл. «Может быть, он только в первый момент просто испугался и удрал, но вот сейчас вернется», – сказал я себе. Но машина не возвращалась, и я, естественно, заподозрил недоброе. «Сейчас меня хлопнут из засады». С этой мыслью, настороженно озираясь по сторонам, я быстро пошел вперед, по направлению к Марианским Лазням. К счастью, вскоре я услышал за собой тарахтенье едущего туда же мотоцикла, «проголосовал», и в первый и единственный раз в своей жизни поехал на мотоцикле, на заднем сиденье, обнимая сидевшего передо мной молодого человека.

Как только мы прибыли на место, я позвонил в хозотдел ЦК, доложил о случившемся. Но там заявили, что никакая машина ЦК в этот день в Марианске Лазне не ездила, что моего заказа они не получали, и что такой водитель, как я его описал, в гараже ЦК не работает и никогда не работал. В то же время секретарь городского партийного комитета вызывал начальника местной госбезопасности, но так как я не смог указать номер машины, то на этом дело кончилось.

Долой абстракционизм!

Из всех поездок по стране нужно выделить наши посещения Злина (Готвальдова), этого южноморавского города с 50 тысячами жителей, центра обувной промышленности, основанной чехословацким Фордом – Батей. Мы побывали там несколько раз, в разное время года. Я делал доклады и читал лекции, мы осмотрели обувную фабрику, колонию стандартных семейных домиков, построенных Батей для своих рабочих, познакомились с мэром города Морысом, очень приятным, честным и умным товарищем, который погиб в автомобильной катастрофе (ходили слухи, что подстроенной; как известно, в сталинское время это был один из приемов устранить своего потенциального политического конкурента). Когда нам приходилось бывать в Злине, иногда и по нескольку суток, мы жили либо в гостинице, либо у моего дяди Франтишека Пахнера.

Франтишек Пахнер, бывший уже давно на пенсии, приближался к 80 годам. Когда-то выдающийся гинеколог, он основал в свое время институт для искусственного выращивания недоношенных детей. Его жена Мария, медсестра, была чешкой-арийкой. Лишь благодаря такому смешанному браку, Пахнер не погиб при гитлеровцах, а «только» носил желтую звезду. Двое их детей – дочь Ева и сын Петр – были тоже врачами.

Франтишек Пахнер был автором научных трудов по гинекологии и популярной книжки о пионере борьбы против лихорадки у родильниц венгерском гинекологе Земельвейсе, которого травили при жизни. Русский перевод этой книги издал в Москве Медгиз. Когда Мария скончалась, Франтишек, этот полный жизненной силы и оптимизма человек, не выдержал такого удара, покончил жизнь самоубийством, приняв лишнюю дозу снотворного…

Однажды мы посетили в Злине любительскую картинную выставку-музей. Она была составной частью целой системы: школ живописи, танца, пения, физкультуры и спорта, основанных и содержавшихся Батей. Все эти учреждения, также как и семейные рабочие домики, не были, конечно, бескорыстно филантропическими, а служили Бате лукавым инструментом «батизма», методом приручения верной хозяину рабочей аристократии, отваживания рабочих, в особенности молодых, от классовой борьбы, от участия в профсоюзах, в политике.

Картины, которые мы здесь увидели, сплошь принадлежали к направлению сюрреализма, они явно находились под влиянием известной чешской художницы Тоайен (Черминовой), живущей в

Париже. Репродукции ее сюрреалистических произведений продавались в виде открыток в Праге. И я, и Катя стояли тогда в вопросах эстетики и этики, уклада жизни, быта, так же как и социологии, политики на «твердокаменных», непримиримых догматических позициях, тех, которых придерживались, и которые предписывала официальная партийная и советская доктрина, причем мы придерживались их, конечно, в искреннем убеждении их научной незыблемости и единственной совместимости с делом социалистической революции и победы коммунизма. Так, например, ношение женщинами всех украшений, вроде серег, брошек, колец, мы клеймили не только как мещанство, но и как возврат к периоду дикости, как нечто несовместимое с передовыми взглядами (подобно относились в комсомоле к ношению галстуков). Такие левацко-сектантские, отдающие казарменным монастырским «коммунизмом» идеи, я проповедовал публично на вечерах вопросов и ответов, изданных даже брошюркой.

Мы категорически осуждали сюрреализм, как и все другие направления модернизма, абстрактного изобразительного искусства. Приемлемым тогда был для нас только «социалистический реализм», под именем которого слишком уж часто скрывался бездушный, ремесленный, фотографирующий натурализм, или же тенденциозная, халтурная лубочная агитка. Мы даже нескромно выступили со статьей на эту тему в газете «Literárni Noviny» (совместных статей и на другие темы мы напечатали несколько).

К модернизму мы подходили крайне односторонне. Мы не замечали в нем поиски нового, без которых невозможно никакое движение вперед, и которые во все века – как в науке, так и в искусстве, равно как и в политике – встречали непониманием, презрением, насмешками, преследованием.

Бороться против абстракционизма окриком – все равно как бороться против религиозности запретом. Довод против модернизма, что это искусство, мол, непонятно массам, что оно разве только для избранных, для элиты, неоснователен. Ведь невоспитанному к художественному пониманию, как рабочему и крестьянину, так и интеллигенту, «понятна» чаще всего ярмарочная халтура, модная песенка «труляля», но до него не доходит симфоническая музыка Бетховена.

К этому толерантному, терпимому отношению к абстрактному искусству мы пришли не сразу. «Мыслить – болит», – говаривал Масарик. Катя, более эмоциональная, пришла к этому новому, положительному восприятию модернизма раньше. Но уже в 1960 году, в Париже, в музее современного

искусства, многие из картин Шагала, одного из величайших художников нашего времени, не удостоившегося, однако, даже упоминания в БСЭ второго издания, произвели на меня сильнейшее впечатление, я подошел к ним уже лишенный своих прежних предрассудков.

Я соблазнился на это отступление для того, чтобы окончательно рассчитаться со своей давнишней ошибкой. Впрочем, в 66 году, в «Лит. газете», я в том же духе, уже заступаясь за модернизм, полемизировал с эстетиком, историком искусства Лифшицем, таким же «придворным раввином» в искусствоведении, какими являются Дымшиц для правительства в целом, генерал Драгунский для армии, Ми-тин для философии, Чаковский для журналистики, Брагинский для национального вопроса.

Мирная конференция в Париже

Июль 1946 года клонился к концу. В один из понедельников, утром я читал какую-то двухчасовую лекцию. Только я начал, как мне подали записку: «За вами пришла машина, вас вызывает Готвальд». Пришлось лекцию немедленно прервать, поехать в здание правительства. В приемной председателя Совета министров уже ожидал мой друг, сотрудник «Руде право», известный журналист Андре Симон. Его, как и меня, вызвали, не говоря зачем. Но долго нам догадываться не пришлось. Как только я прибыл, Готвальд нас принял.

Он объяснил, что правительство решило включить в состав делегации на Парижскую мирную конференцию в дополнение к представителям Министерства иностранных дел еще и представителей от партий Национального фронта – по одному от каждой. Кроме того, послать туда группу журналистов, по одному от ведущих газет каждой партии. Этими представителями от компартии ЦК КПЧ назначены мы двое. Чехословацкую делегацию в целом возглавляет беспартийный, министр Ян Масарик, его заместитель – коммунист Клементис. Они уже находятся в Париже. Конференция открылась сегодня, а поэтому нам нужно вылетать завтра же. Затем Готвальд крайне сжато информировал нас о задачах конференции, об интересах Чехословакии, которые на ней нужно будет отстаивать. Он подчеркнул, что так как там столкнутся два лагеря, – империалистический и демократический, – то можно ожидать, что кое-кто из представителей других партий Национального фронта, вопреки интересам наших народов, станет на сторону Запада. Нам же надо действовать в тесном контакте с делегациями Польши и Югославии, и прежде всего, конечно, СССР, Белоруссии и Украины. Мы должны защищать не только свои права, но и права Албании, Болгарии, Венгрии и Румынии.

На весь этот инструктаж ушло едва 15 минут. Готвальд простился с нами, пожелал счастливого пути и успеха. Я заехал домой, ошарашив Катю этой неожиданной новостью, с трудом мы отыскали две, завалявшиеся в письменном столе, фотокарточки, а потом я умчался в Чернинский дворец, в МИД. Здесь нас уже ждали, и не прошло и получаса, как нам выдали дипломатические паспорта, мандаты, валюту, билеты на самолет и адрес чехословацкого посольства в Париже. И я подумал: «Вот каковы темпы, когда это нужно не тебе, а власти: неудивительно, даже никаких анкет не пришлось заполнять». На следующий день с утра мы уже были в Париже.

Из посольства нас направили в скромную гостиницу, расположенную недалеко от площади Гранд Опера, выдали пропуска на конференцию. В ее работе участвовали представители 21 государства с решающим, и еще 7 с совещательным голосом. Советскую делегацию возглавлял Молотов, американскую Бирнс, английскую – Эттли, французскую Бидо. Кроме Молотова и Вышинского, я знал еще члена белорусской делегации – латыша Валескална, философа-биолога, учившегося в тридцатые годы в возглавляемом мной Институте красной профессуры, и познакомился с югославским представителем Карделем.

Конференция, длившаяся два с половиной месяца, должна была утвердить мирные договоры стран-победительниц с бывшими европейскими союзниками фашистской Германии – с Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией и Финляндией. Проекты этих договоров были подготовлены тремя совещаниями министров иностранных дел четырех великих держав, состоявшихся в 45 и 46 годах в Москве, Лондоне и Париже. Однако ряд важных вопросов на этих совещаниях решить не удалось. Заседания конференции, как пленарные, так и ее многочисленных комиссий, происходили в монументальном Люксембургском дворце. Официальными языками были русский, английский и французский.

Сразу же с первых заседаний дали себя знать глубокие разногласия между Западом и Востоком. Делегации США, Англии и Франции стремились к тому, чтобы при поддержке зависящих от них государств, навязать конференции свою волю. Они желали передать Италии и Греции некоторые территории Албании и Болгарии, взять под свой контроль район Дуная, – одним словом, восстановить свое политическое господство в тех странах Юго-Восточной Европы, которые перешли в демократический лагерь.

Интересы нашей чехословацкой делегации, кроме поддержки прав других стран, были скромные. Они сводились к вопросу о размерах вознаграждения нашим пострадавшим гражданам и о незначительном выравнивании границ с Венгрией. Это обсуждалось на двух специальных комиссиях, в заседаниях которых и я принимал участие. Здесь выступали Вышинский, всегда лощеный, со своим «французским» блеском, и сухо-деловитый Громыко, – оба, конечно, поддерживали наши предложения. Чтобы информироваться о положении дел, и чтобы согласовать свои действия, наша делегация собиралась в полном составе ежедневно по утрам в апартаментах первоклассного отеля, которые занимал министр Масарик. Этот шестидесятилетний жизнерадостный бонвиван и поклонник

Бахуса, завзятый холостяк, остроумный балагур, непринужденно перемешивавший весьма серьезный политический разговор шутками, представлялся нам обоим, мне и Андре Симону, неразгаданной личностью.

С Симоном, который был на три года моложе меня, мы здесь очень сблизились. Он, родившийся в Чехии немецкий еврей, бывший спартаковец, работавший как журналист-международник в 20–30-х годах в Германии, затем в Советском Союзе, в Париже, Лондоне и Мексике, очень понравился мне своей неподдельной искренностью, шириной кругозора, безбоязненной критичностью, острым метким политическим анализом. Мы обменивались с ним нашими сомнениями относительно истинного политического лица Яна Масарика. Выросший в буржуазной семье будущего президента, преуспевающего профессора университета, философа-идеалиста, политика-реформиста, и его супруги американки Шарлотты Герике, Ян, будучи подростком, сбежал в США. Там он работал физически, и как self-made man собственным трудом пробил себе дорогу. Не имея высшего образования, он стал дипломатом, послом капиталистической Чехословакии в Вашингтоне и Лондоне, министром иностранных дел эмигрантского правительства Бенеша, и остался на этом посту и после освобождения Чехословакии.

Мы задавали себе вопрос, может ли Масарик, имея многочисленные, давнишние прочные личные связи с западным «джентльменским» светским обществом, – а мы знали, что он и здесь, в Париже, немало времени проводит в веселой компании своих англо-американских друзей – недвулично осуществлять политику новой Чехословакии. Вдобавок у нас не было особого доверия и к его заместителю коммунисту Клементису. Этот словак в 1939 году был исключен из партии как троцкист (на деле – но это нам тогда не было известно – из-за того, что он был против пакта Сталина с Гитлером). Лишь в 1945 году он был снова принят в партию. На собраниях у Масарика, где, бывало, доходило до пикировок, до перебранки между нами, коммунистами, и представителями других партий, Клементис, как правило, дипломатически отмалчивался.

Участие в работе конференции – пленарные собрания, заседания комиссий и подготовка к ним, изучение разного рода материалов, – все это отнимало много времени, но все же у меня оставалась возможность знакомиться и с самим Парижем. Свой досуг я тратил не столько на посещение музеев, сколько на то, чтобы бродить по бульварам, по площадям, улицам и улочкам, заглядывать на набережных Сены в ларьки букинистов, усесться в каком-нибудь парке и наблюдать за парижанами, за их жизнью, за

прелестными играющими детьми. Питался я исключительно в бистро – небольших дешевых трактирах, но иногда заглядывал и в ресторанчики, с какой-нибудь специфической национальной кухней: эльзасской, испанской, алжирской или индокитайской, которых здесь было великое множество.

В конце первой недели работы конференции французское правительство устроило пышный прием для нас, ее делегатов. Он состоялся в Версале. Французы обставили этот прием необыкновенно торжественно, в стиле построившего Версаль «короля солнца» Людовика XIV. Стража, охраняющая вход во дворец, пешие гвардейцы и конные кирасиры, лакеи, расставленные на знаменитой «посольской лестнице», перегруженной позолотой, зеркалами, лепными украшениями, официанты, разносившие по залам коктейли и угощение, все разодетые в цветистые мундиры и ливреи, в белых париках, были одеты так, как одевались при Бурбонах, в XVII веке. И оркестр исполнял лютневые мелодии того времени. Я невольно искал белый напудренный парик на голове Жоржа Бидо, который, как и положено хозяину, вместе с супругой встречал гостей у входа в зал.

На следующий день все парижские газеты напечатали сообщение об этом приеме, причем, наряду с описанием туалетов наиболее знаменитых дам, отметили, что «только представители России, Польши, Чехословакии и Югославии явились без своих супруг». Это было в самом деле так, только Молотов пришел с какой-то машинисткой, в виде «эрзаца». После этого, через несколько дней, нам сообщили, что чехословацкое правительство решило «дослать» за нами наших жен, им предложили чуть ли не в обязательном порядке (как говорят, добровольно-принудительно) отправиться к нам. По команде, оно поступило так же, как и в СССР, Польше и Югославии.

И вот Катя, зная с десяток французских слов и не имея ни одного сантима, прилетела в Париж. На аэродроме Ле Бурже она нашла русского шофера такси – белоэмигранта, – и он отвез ее ко мне в гостиницу, «сдал» ее в мой крохотный номер. После того как Кате в посольстве выдали полагавшийся журналистам пропуск на конференцию, я стал знакомить ее с городом.

Посетили мы в Колледж де Франс выдающегося физика, диалектического материалиста Поля Ланжевена. Я долго беседовал с ним о волновавших нас обоих философских проблемах теории относительности и квантовой теории, и он, ничуть не устав, – ему было тогда около 75, – с увлечением рассказал о реформе преподавания физики, над которой он тогда работал. Но больше всего он увлекался тогда идеей создания

«Новой Энциклопедии», которая должна была – 200 лет спустя после Дидро и д'Аламбера – продолжить их славные материалистические традиции, однако не на механистической, а на диалектической основе.

Побывали мы и в одном из рабочих пригородов Парижа, в Сен-Дени, зашли на толкучку, или, как говорят французы, marché aux puces («блошиный рынок») и удивлялись тому, что продаваемые здесь по дешевизне платья, по крайней мере по внешнему виду, могли бы украсить прилавки московского ГУМа. Мы присутствовали также на собрании коммунистической ячейки этого района, где, чтобы раздобыть средства на партийную работу, товарищи устроили лотерею, – разыгрывали с небольшой надбавкой партийную литературу.

Мой старый знакомый по переписке Поль Лаберен, преподаватель математики в гимназии, астроном, член редколлегии журнала компартии «La Pensee» («Мысль»), в котором иногда печатались мои статьи, автор популярной книги «Происхождение миров» (1953), русский и чешский переводы которой вышли при моем содействии, пригласил нас к себе в гости. Вот так мы побывали и во французской семье, познакомились с женой Лаберена, эльзаской, и их двумя дочерями-школьницами. Лаберен, участвовавший, как и Лалжевен, в движении Сопротивления, и как и тот подвергшийся репрессии, рассказал нам о своей жизни в нацистском лагере, в котором находился и старший сын Сталина Яков. По словам Лаберена, он вел себя достойно и погиб. Сталин, которому немцы предложили обменять его на какого-то пленного генерала, отказался принять это предложение. Ведь также он бросил всех советских солдат и офицеров, попавших в плен к гитлеровцам. Им, «изменникам», не оказывали никакой помощи посредством Красного Креста, они погибали от голода и холода. А когда война кончилась, то эти несчастные пленные попали в лагерь снова – советский.

Мне передали, что меня просят заглянуть в редакцию «Юманите». Зайдя к ее директору, коммунистическому сенатору Кашену, которого мне приходилось встречать в Коминтерне, я узнал от него, что ко мне имеется какое-то важное дело, правда, не у него, а у ведающего пропагандой члена политбюро Дюкло. Оказалось, что ЦК намеревается издать работу убитого в 42 году гитлеровцами, члена ЦК КПФ, венгерского еврея-эмигранта Жоржа Политцера «Элементарные основы философии». Отдавая мне рукопись, Дюкло попросил дать о ней отзыв.

Через несколько дней я принес его. Изложение было живое, доходчивое, и в основном верное, научное. Однако оно содержало

и ряд ошибочных положений и неудачных формулировок по части исторического материализма. Я не только указал на эти ошибочные места, но и предложил свою, исправляющую их редакцию. Дюкло во всем согласился со мной, поблагодарил, и книга вышла в том же 46 году, с этими моими исправлениями, равно как и с указанием на мою долю в ней.

Но на этом дело не кончилось, последовал еще трагикомический эпилог. Словацкое партийное издательство опубликовало перевод этой книги. И вот, когда в 48-м меня упрятали за решетку, то ЦК словацкой компартии поспешил исключить из партии редактора Грегрову за то, что она (вдобавок еврейка) издала книгу с благодарностью французского ЦК «врагу».

Август приближался к концу. И хотя конференция все еще продолжалась, мне следовало возвращаться. Торопился я потому, что в ЦК мою работу выполнял мой зам. Цисарж, молодой человек 26 лет, образованный и способный, но с явно карьеристскими замашками, склонный к легкомысленным решениям. Кроме того, в сентябре начинались занятия в университете, и я должен был приступить к чтению курса лекций. И, конечно, то, что Адюша в Праге одна, побуждало нас ускорить свое возвращение.

Наш друг, югославский партизан

Весной 1947 года я получил приглашение прочитать ряд лекций в трех югославских университетах – в Белграде, Загребе и Любляне – на мои темы по философским проблемам естествознания и математики, и мы поехали туда с Катей.

Из хорватского министерства просвещения к нам прикрепили одного из его сотрудников с тем, чтобы он сопровождал нас во время всего турне по стране, Зорана Палчока. Коммунист, бывший партизан, сражавшийся против фашистов на своей родине, а затем в Северной Африке, по профессии учитель французского языка, а по призванию музыкант и фольклорист. С этим прекрасным сердечным человеком мы быстро нашли общий язык не только потому, что он неплохо говорил по-русски, выучив его от советских партизан. Мы крепко подружились с ним, без преувеличения он стал нам настоящим «побратимом», родным братом. И вот уже тридцать лет продолжается наша дружба, и хотя в годы рокового разрыва между Югославией и Советским Союзом и странами народной демократии с 1948 по 1953 год, мы не смогли переписываться, от этого разрыва между правительствами, но вовсе не между народами, между простыми людьми – наша дружба ничуть не ослабла.

Нас привлекли прямота, бесхитростность, мужественность, кипучая жизнерадостность, гостеприимство югославов, та первозданность, которую до известной степени под влиянием немецкой цивилизации, потеряли мои чехи, а болгары – под игом турок.

Хотя столица Хорватии Загреб и лежит на довольно широкой реке Саве, но эта река проходит как-то в стороне, и город оставил у меня скучное впечатление все того же бывшего немецко-австрийского, чиновничьего Аграма. Но когда я кончил читать здесь свои лекции, Зоран повез нас на машине на берег Адриатического моря, в знаменитый фешенебельный далматинский курорт Опатию (по-итальянски Абация).

Следующим городом, куда мы направились, была столица Словении – Любляна, понравившаяся нам своей живописностью, какой-то мягкостью линий и красок. Но если в Загребе я свои лекции мог читать по-русски, то здесь университетская аудитория лучше понимала чешский язык, многие словенцы когда-то учились в Праге.

Последней целью этой нашей поездки по Югославии была ее столица Белград, он же и столица Сербии. Здесь, на холме, стоят могучие гранитные фигуры женщин сверхчеловеческой высоты, в

национальных одеяниях шести республик федерации, образуя кольцо вокруг неугасаемого пламени. Этот вдохновенный, впечатляющий патриотический монумент создал в величественном античном стиле знаменитый скульптор Мештрович, который, однако, вскоре после этого сам эмигрировал в США.

Узнав об этом от Зорана, я негодовал вместе с ним, но прежде всего я не мог понять, как же этот замечательный скульптор мог покинуть свою родину и предать ее этим своим поступком. Неужто его соблазнил высокий материальный уровень американской жизни? Я не понимал тогда, и еще многие годы спустя, что как раз именно благородного человека, того, кто всем своим существом чувствует, что «не хлебом единым жив человек» (и даже не одним хлебом с зернистой икрой, которую выдают старым большевикам) могут заставить эмигрировать такие «прелести», как топтание правителями «социалистического» общества демократических свобод, самых элементарных прав человека.

В Белграде я познакомился с профессором университета Душа-ном Недельковичем, философом, получившим образование в Парижской Сорбонне, публиковавшим работы о знаменном югославском мыслителе 18-го века Бошковиче, которым интересовался и я. Неделькович, бывший партизан, воевавший в Сутеске, занимал пост председателя комиссии по расследованию деятельности коллаборантов. С ним вместе я посетил высшую партийную школу, законспирированную, как тогда весь Союз Коммунистов Югославии (СКЮ). Эта конспирация – члены партии не имели права объявлять себя коммунистами – казалась мне нелепой комедией, и я прямо заявил об этом Недельковичу, и так и не понял его объяснений, для чего же это нужно, раз власть фактически осуществляет СКЮ, возглавляя народный фронт. Его оправдания показались мне тогда неискренними, а он сам, принадлежа к руководству, некритическим. Надо полагать, что и меня за такого многие считали в Чехословакии, ведь я тоже с пеной у рта защищал, хотя и убежденно, вещи, которые защищать не следовало. Скажу еще в скобках, что знакомство с Недельковичем мне, среди прочих моих «преступлений», следователь, обзывавший его «американским агентом», поставил в «дебет», в одну из многочисленных бессонных ночей, проведенных мной на Лубянке.

Осенью того же 47 года Сталин создал Информбюро компартий, которое с начала 48 года стало выпускать в Белграде, на десятке языков, свой печатный орган «За прочный мир, за народную демократию». Его главным редактором был назначен

советский горе-философ Юдин (академик, который за всю свою жизнь издал пару-другую популярных брошюрок и статей, обретший, однако, бессмертные заслуги на международном поприще, сначала в Югославии, а потом – в Китае). Юдин доносил Сталину о самовольничании Тито, который сопротивлялся вмешательству советского великодержавного тирана в югославские дела. Тито желал, конечно, сохранить независимость своей страны, но также и неограниченность своей собственной власти.

Сталин, уязвленный в своем самолюбии «великого вождя», вызвал весной 48 года Тито, которого он считал своим вассалом, в Москву, как чехи говорят, «на коберечек» («на коврик», т. е. для головомойки). Но нашла коса на камень, переговоры произошли далеко не в «обстановке дружбы и взаимопонимания». Удивительно, что бериевские архангелы не схватили Тито, что он сумел вернуться к себе. Вернувшись в Югославию как национальный герой – ведь это он спас ее как от Муссолини и Гитлера, так и от Сталина – пользуясь громадным авторитетом, Тито прежде всего стал расправляться со сталинцами, сажал их в тюрьмы, расстрелял генерала Иовановича, бывшего с 41 года вплоть до победы над фашизмом начальником Верховного штаба освободительной армии, но теперь солидаризировавшегося с решением Информбюро. Тито мобилизовал все средства, чтобы отразить советские, болгарские, венгерские и румынские войска, стоявшие наготове, чтобы оккупировать строптивую Югославию. С каким рвением и поспешностью, надо полагать, стирали надписи «Ziveli drugavi Stalin i Tito», выведенные неумелой рукой на стенах рыбацких домов, которые мы видели в Говеджарах.

Но международная обстановка, а также послевоенная экономическая и военно-техническая маломощность Советского Союза и его сателлитов, не позволили Сталину осуществить этот план. Пришлось ему ограничиться «отлучением Югославии от церкви», объявлением, что в ней «обманным путем захватили власть фашисты, изменники, давно продавшаяся англо-американским империалистам преступная клика Тито-Ранковича-Джиласа». Понятно, что в этих условиях всякая связь между нами и Зораном прекратилась. Мы смогли снова навязать ее лишь после смерти Сталина, когда возобновились нормальные отношения с Югославией.

Разумеется, тогда я свято верил каждому слову резолюции совещания Информбюро, состоявшегося в конце июня 48 года в Румынии. Еще весной, когда в Праге заседал Славянский комитет, в котором я участвовал как один из представителей Чехословакии, я высказал там свое мнение о поведении Тито. Я

говорил, что он своими анархо-синдикалистскими и националистическими взглядами, несовместимыми с марксизмом-ленинизмом, противопоставляет себя и свою партию всем другим коммунистическим партиям и Советскому Союзу, что он изменяет делу интернациональной солидарности трудящихся.

Понятно, что мои страстные обличения я почерпнул из односторонних советских документов – ознакомиться с тем, что говорит другая сторона, я не мог, да мне это даже не приходило в голову. Мое выступление вызвало, естественно, еще более страстный отклик со стороны югославского представителя, мне (по встрече в Белграде в 45 году) уже знакомого генерала Масларича. Заступаясь за честь обожаемого Тито, он выхватил из кобуры револьвер, и не бросься к нему советский полковник Мочалов и болгарская представительница Благоева (вдова основателя революционной социал-демократической партии «тесняков», позже она стала послом в СССР) – мне бы несдобровать.

Не для самооправдания, а для объяснения моего тогдашнего состояния ума, скажу, что я, как и громадное большинство коммунистов, как даже и Пальмиро Тольятти, поддался своего рода массовому психозу, поверил, что «титовцы» – это агенты империалистов, поджигатели войны, раскольники рабочего класса. Призывы Информбюро к «повышению революционной бдительности в своих рядах» я принял всерьез, заразился подозрительностью, той самой манией выискивания вольных или невольных врагов народа, которая вскоре, в 49 году, привела к инсценированным по единому плану и трафарету, преступным репрессиям, монстр-процессам и судебным убийствам десятков руководящих преданнейших коммунистов, таких как: Костова в Болгарии, Райка в Венгрии, Гомулки в Польше, Анны Паукер в Румынии, а в Чехословакии, с опозданием на три года, к процессу Сланского. Меня же мое рвение – я полез непрошеный, преждевременно, «поперед батьки в пекло» – довело до тюрьмы, третьей и самой тяжелой в моей жизни.

Бескровный переворот

Как известно, 1948 год был переломным годом в жизни послевоенной Чехословакии. После того, как в 1947 году были распределены между бедняками и середняками все земельные участки свыше 50 га, чехословацкое правительство, в которое входило 9 коммунистов, сначала было согласилось, но потом, по требованию Сталина, отказалось участвовать в плане Маршалла, заключило с Советским Союзом договор о получении от него экономической помощи, а не от США, чем была предопределена политическая зависимость Чехословакии от Советского Союза. Чехословацкая буржуазия, боясь потерять оставшиеся у нее позиции в легкой промышленности и торговле (коммунисты предложили национализацию всех предприятий с более чем пятьюдесятью рабочими и служащими, оптовую и внешнюю торговлю), пользуясь затруднениями, возникшими вследствие засухи 1947 года, перешла к открытой борьбе: в парламенте срывали утверждение новой конституции и законов. Поводом послужило нарушение коммунистами договоренности о паритете (равноправии) партий национального фронта. Министр внутренних дел Носек уволил из аппарата министерства руководящих работников некоммунистов, превратив органы госбезопасности в послушный инструмент компартии.

20 февраля министры трех партий – национал-социалистов, лидовцев и словацких демократов – подали в отставку. В сговоре с президентом Бенешем, они рассчитывали на то, что будет образовано чиновничье правительство без коммунистов, а затем власть перейдет в их руки. Однако на второй же день, на стотысячном митинге на Староместской площади, где демонстрировали отряды вооруженной рабочей милиции, образованной еще до февраля, Готвальд заявил, что подавших в отставку реакционных министров коммунисты не пустят обратно в правительство. Он призвал создать новое правительство обновленного Национального фронта, образовать везде на местах Комитеты действия для проведения чистки.

Вместе с Готвальдом, с коммунистическими министрами, секретарями и членами ЦК, я тоже стоял на балконе Кинского дворца, расположенного против старой ратуши, перед памятником Яну Гусу, над этим бурным, волнующимся человеческим морем. На следующий же день по всей стране прокатились организованные партией массовые демонстрации в поддержку этих требований. Их поддержал состоявшийся тут же съезд заводских советов и однодневная всеобщая забастовка. На

заводах была мобилизована вооруженная рабочая милиция, на собрании Центрального Комитета Действия за эти требования высказались и представители армии. Таким образом, Бенеш был вынужден 25-го, на пятый день после их отставки, принять эту отставку министров и назначить новое правительство, предложенное коммунистами. А через четверть года он сам отказался от своего поста. В сентябре того же года он скончался.

Разумеется, подобно тому, как это произошло только что во Франции и Италии, где из правительства были изгнаны коммунисты под давлением США и Великобритании, так в Чехословакии «февральская победа», достигнутая без единой капли крови, не обошлась без давления Советского Союза. Но я не просто радовался, я ликовал тогда, думая, что теперь-то окончательно буржуазия не сможет вернуться к власти, что страна бесповоротно стала членом мировой социалистической системы, возглавляемой Советским Союзом.

Прошло ровно 26 лет, и сейчас, в эти февральские дни 1974 года, когда я в Москве пишу эти строки, советская страна вступает в новый период своего существования. Лишение советского гражданства гениального советского писателя Солженицына, сочинения которого – перефразируя слова Ленина, сказанные о Льве Толстом – являются зеркалом положения советского общества – выдворение его из страны, и все это без суда, без предоставления ему возможности защитить себя – это не только подлейшее злодейство, но и акт вопиющего беззакония. Оно было совершено открыто, цинично перед всем миром, а при этом утверждалось, будто восстановлены «ленинские нормы» (которые, кстати сказать, и при Ленине нарушались).

Если в гнусную, грязную, клеветническую кампанию против великого обличителя порочной системы, которая раковой опухолью разъедала (и продолжает разъедать) советский строй, включились рабочие и доярки, то их, доверчивых и обманутых, никогда не прочитавших из сочинений Солженицына ни одного слова, можно только пожалеть. Если эту кампанию возглавляют такие подонки, как продажные писатели Чаковский и Симонов, то это вполне естественно (но и академик Кедров, который в тридцатые годы учился у меня в ИКП, которого я любил за научную добросовестность и смелость, Кедров, отца и дядю которого – старых большевиков – ликвидировал Сталин, и который сам одно время находился в опале, Кедров, который какое-то время делал то немногое, что было в его силах как директора института, чтобы помогать преследуемым прогрессивным научным работникам, но потом загоревшийся желанием подняться на самое небо – в президиум АН и в ЦК –

один из первых подписал пасквильное заявление на Солженицына в «Правде»). И когда такие писатели, как Айтматов и Катаев, такие крупнейшие ученые, как математики П. С. Александров и Колмогоров поют в унисон со всей этой шайкой, и когда буквально на пальцах одной руки можно сосчитать тех писателей и ученых, которые вслух отважились заступиться за Солженицына, то это яснее ясного показывает, до какого предела дошел маразм советского общества.

Спрашивается, почему же тогда я не вместе с такими славными храбрыми «безумцами» как Сахаров, которые протестуют против творимых властью вопиющих беззаконий? Неужто из трусости? Почему я принадлежу к той довольно многочисленной группе партийных и беспартийных, кто лишь не выступает ни устно, ни письменно с одобрением этой политики гонения на инакомыслящих, но и не против нее?

Этот вопрос преследует меня тяжелыми угрызениями совести. И я ищу «оправдания» в моем возрасте, якобы лишающем меня способности бороться активно, и в том, что, дескать, выступив, лишу себя, Катю и Аду последней надежды свидеться, и что это тяжело отразится на жизни моих сыновей и их семей.

Но своим молчанием, которым я невольно поддерживаю деспотов, я вряд ли добьюсь того, что нас пустят к дочери – и я, и зять все равно занесены в «черный список». И, наконец, вот я молчу, молчу, а вдруг – а это может произойти в любой момент – так или иначе потребуют «одобрить политику ЦК» – что же, я опущусь так низко, что стану голосовать «за»? – никогда! – тут-то все равно все выйдет наружу. Вот те тяжелые размышления, которые неизбежно приходят в связи с годовщиной победоносного 25 февраля 1948 года, того дня, которым, к несчастью, было предопределено 21 августа 1968 года.

А ведь к этой, тогдашней, пирровой победе я, грешный, тоже приложил руку. Не говоря о том, что своими статьями в «Руде право» и многочисленными выступлениями я боролся против реакции, я взялся за выполнение полученного от секретаря ЦК Бареша поручения, попытаться в личной беседе повлиять на трех выдающихся политических противников, чтобы они изменили свое отношение к нам. Это был прежде всего национал-социалист Славик, известный журналист, выступавший в газете «Ческе слово» с хлесткими ядовитыми статьями против коммунистов, в том числе и против меня лично. Я позвонил Славику и пригласил его встретиться в кафе «Саварин». Он согласился, но наша беседа, как, впрочем, я и ожидал, никаких положительных результатов не дала. Такой же безуспешной оказалась моя попытка «обработать» правого социал-демократа генетика профессора Карлова

университета Белеградека. Оба они, Славик и Белеградек, вскоре после февраля перебрались на Запад.

Только третий мой демарш оказался успешным. Давнишнего члена национал-социалистической партии, философа-идеалиста профессора Яна Б. Козака, с которым мы часто выступали друг против друга на публичных диспутах, мне удалось убедить, что поддержка левых сил в интересах чешского народа. Козак, придерживавшийся интересной социологической теории, будто «равенство» и «свобода» подчиняются принципу дополнительности квантовой механики (в США, мол, мало первой и много второго, в СССР – наоборот) примкнул к той части своей партии, которая порвала с ее реакционным руководством и на состоявшемся в эти февральские дни активе работников культуры поддержал будущий новый режим. Как и я, не предполагал он тогда, что этот новый режим вскоре лишит его права преподавания, принудительно заставит его уйти на пенсию, и что только из милости станут печатать его ценные переводы первоисточников классической европейской философии. В 1970 году (в предпоследний раз, когда меня пустили заграницу) в пражской глазной клинике ко мне подошел ее доцент, племянник Козака, рассказал, что тот болеет. Я попросил его передать ему мой привет, а также, что после всего, что произошло, думаю, что тогда, в дискуссиях с ним, во многом прав был именно он.

Конфликт с Расселом

В середине августа того же года в Амстердаме состоялся 10-й международный конгресс философов, в котором приняло участие около 900 членов – из них около половины из Голландии, а остальные из 30 разных стран. Состав конгресса был весьма пестрый в смысле философских школ и направлений; кроме настоящих философов в нем участвовало столько католических богословов, что из-за множества черных сутан мне иногда казалось, что я заблудился и попал на конгресс церковников, проходивший в Амстердаме как раз в то же время.

Основная тема конгресса звучала так: «Человек, человечество, гуманизм». Кроме пленарных заседаний, работало параллельно 20 секций.

Председателем конгресса был профессор Амстердамского университета Пос, человек прогрессивный, пригласивший на конгресс марксистов. Он также вспомнил во вступительной речи профессора Полака, который по решению предыдущего Парижского конгресса должен был председательствовать здесь, но как еврей и антифашист погиб в лагере Заксенхаузен. Пос выразил сожаление, что советские философы «по неизвестным причинам» не приехали, и возмущение тем, что полякам голландское правительство отказалось выдать визы. За все это голландское радио начало Поса поливать грязью, а на конгрессе распространили слух, будто он – на деле умеренный либерал и идеалист – является замаскированным коммунистом и марксистом. На состоявшихся выборах председателя Международной философской федерации попытались провалить его кандидатуру.

Наша чехословацкая делегация состояла из 8 человек, из них четверо – марксисты, Ригер, Свобода, Тарды и я, возглавлявший делегацию. Все выступали с докладами. На заседании ЮНЕСКО был поставлен мой доклад «Задачи современной философии в борьбе за новый гуманизм». В нем я призывал прогрессивных философов, чтобы они, независимо от своих специальных гносеологических установок, боролись против империализма, за прочный мир, подлинную демократию и социальный прогресс.

Здесь выступил с прекрасным докладом о «коперниансском человеке» миланский профессор Антонио Банфи, с которым мы сразу подружились. О единстве и борьбе противоположностей говорил знакомый мне по Москве будапештский профессор Фогараши. Выступления марксистов по логике или методологии математики идеалистические философы встречали вообще

довольно спокойно, однако как только в докладе обнаруживалось, что марксизм – это философия, ставящая задачу революционного преобразования общества, буржуазные философы становились на дыбы. Против докладов Банфи, Ригера («Человек и общество с точки зрения марксизма») и моего объединились английские лорды и швейцарские «социалисты», правые лейбористы и ватиканские прелаты, арийско-германские профессора, американские бизнесмены и русские эмигранты-белогвардейцы. Куда девалась хладнокровная «философская» рассудительность – ими овладела бешеная ненависть!

Мне выпало удовольствие – на меня накинулись самые крайние реакционеры. Председатель Британского философского общества виконт Семьюэль начал с того, что объявил марксизм на сто лет устаревшим, а Советский Союз – царским режимом (увы, при Сталине этот режим был во многом хуже царского), классовую борьбу – вымыслом марксистов. Закончил он тем, что образцом свободы и человечности является британская демократия. Бедняжка, видно, давно он так не волновался, разве только в 1926 году во время всеобщей забастовки, которая с его помощью (как тогдашнего министра) была задушена, или еще в Палестине, где он, как комиссар, организовал, во имя «свободы» и «человечности» еврейские погромы.

Следующим оратором был лорд Бертран Рассел. Бывший во время первой империалистической войны пацифистом, он, однако, в 48 году разъезжал по Европе с требованием предупредительной атомной войны против Советского Союза (но как только выяснилось, что СССР тоже имеет атомную бомбу, Рассел стал активно выступать за мир, – должно быть он все-таки предпочел существование тоталитарного советского государства возможности гибели западной цивилизации в атомной войне). Этот выдающийся математический логик, однако ошибочно поставивший задачей своей жизни сведение математики к логике (чего он не достиг, и чего достичь принципиально нельзя), не нашел в дискуссии других аргументов, чем грубые оскорбления, перенятые им из черчиллевской печати, адресованные мне, как «нанятому своим работодателем НКВД».

Достойным дополнением были выступления известного американского антикоммуниста Сидни Хука, лондонского социолога Поппера, швейцарского «социалиста» Вальтера, двух католических священников, старушки-белогвардейки Добровольской-Завадской и, наконец, одного немца, сначала категорически заявившего, что нет смысла опровергать марксизм, так как он давным-давно опровергнут, и тут же начавшего «опровергать» его.

В своем заключительном слове я, между прочим, признал, что хотя и прибыл сюда не как агент НКВД, а от Пражского университета, как и немарксисты, члены нашей делегации, я в известном смысле считаю, что имею «работодателя» – трудовой народ, борющийся против империализма, но, служа ему, я не получал от этого «работодателя» и не желаю получать никаких лордовских титулов.

Атмосфера на конгрессе соответствовала тем общим настроениям, с которыми мы встретились тогда в Голландии. После возвращения в Прагу, Катя поместила написанные ею путевые очерки в «Литерарных новинах», которые успели их напечатать, хотя Катя уже находилась под «домашним арестом». Профессора университетов, так же, как и продавцы магазинов или случайные пассажиры в трамвае, узнав, что мы из Чехословакии, непременно спрашивали нас: «Должно быть, вы сильно страдаете от русской армии? Как только вам удалось вырваться оттуда? А не расстреляют вас, когда вернетесь? Много народу там умирает с голоду?» Тогда мы считали, что все это результат антикоммунистической пропаганды, желтой печати и радио, и не сознавали, что самую обильную пищу для нее поставляем мы сами сталинским террором внутри и великодержавной агрессией вовне.

Но пока я и другие члены нашей, а также и венгерской делегации, на вечере, устроенном амстердамским объединением прогрессивной интеллигенции «Де фрие катедер», в котором приняло участие около 500 человек, сделали короткие сообщения, убедительно показавшие, что в народно-демократических республиках наука и культура развиваются свободно. Пока! Теперь, когда в одной только Праге имеется 20 тысяч работников науки и культуры, которые, исключенные из партии после 1968 года за протесты против оккупации, работают на черной работе – истопниками в котельных жилых домов, сторожами на складах и т. п. – нам было бы трудненько хвастаться свободой человека при том «социализме», каким он стал, вместо того, каким он должен быть.

Здесь, на этом вечере, состоявшемся в переполненном до отказа громадном пивном зале, обставленном по вкусам его завсегдатаев – богемы – в стиле подземных погребков – мы познакомились с выдающимися голландскими товарищами: генеральным секретарем голландской компартии Паулом де Гроотом, писателем Теин де Фризом и четой Рутгерсов. Член нижней палаты парламента де Гроот, бывший рабочий гранильщик алмазов (им был и Спиноза), произвел на нас неизгладимое впечатление полным отсутствием того чванства и

бездушия, с которым в большей или меньшей мере нам часто приходилось встречаться у партийных бонз в странах, где коммунисты пришли к власти. Де Гроот пригласил нас к себе домой. Там мы познакомились с его женой, столь же радушной, приятной, как и он. За обедом де Гроот по моей просьбе рассказал вкратце о своей жизни: он вступил в партию, основанную в 1918 году, будучи 19-летним юношей; во время нацистской оккупации редактировал подпольную газету «Де Ваархейд», а сейчас, несмотря на свой иммунитет члена парламента, он подвергается преследованиям властей. И он жадно расспрашивал о жизни в Москве, где бывал не раз, а также и в Праге. И, конечно, не потому, что мы намеревались обманывать его, – но таков был телячий восторг, в котором мы тогда пребывали, – рисовали ему все исключительно в розовом свете.

С сорокалетним романистом-реалистом де Фризом, производившим впечатление восторженного юноши-поэта, мы беседовали о литературе, и я, к своему стыду, должен был сознаться, что из голландских писателей мне знакомы всего лишь двое – Фредерик Ван Эден и Мультатули. Но зато лирическими рассказами первого, сказочно идеализирующими жизнь этой страны ветряных мельниц и каналов, я буквально зачитывался в детстве. А роман Мультатули «Макс Хавелаар», изображающий бесчеловечную эксплуатацию индонезийского народа нидерландскими «кофейными» торгашами-колонизаторами и местными феодалами, и трагедию одиночки голландца, борющегося за права угнетенных, сыграл в моем юношеском возрасте немалую роль в формировании моего мировоззрения. В связи с Мультатули беседа с де Фризом естественно перекинулась на современную Индонезию, и тут мы узнали, что чуть ли не завтра в городе состоится праздник прогрессивной молодежи – голландцев и учившихся здесь студентов-индонезийцев, посвященный трехлетию самостоятельности Индонезии. И мы, конечно, решили, что ни за что не пропустим эту исключительную возможность соприкосновения хоть издали с этой экзотической островной страной, с Явой, Суматрой, Борнео и Целебесом, о которых я давно мечтал, зная их дивные виды по лекциям с цветными диапозитивами чешского путешественника Браза.

Мердека (Свобода) – насколько чудесной показалась нам эта фата-моргана индонезийской свободы, настолько жутким было наше пробуждение от этого призрачного видения – кровавая резня, устроенная в 1965 году фанатиками националистами и мусульманами, в которой погибли десятки, а то и сотни тысяч коммунистов и других прогрессивных деятелей. Вместе с тем, это

был еще один удар по советской доктрине о якобы марксистской закономерности, согласно которой освободившиеся от колониализма страны переходят – минуя капиталистическое развитие – прямо к социализму. В «социалистические» были ведь зачислены такие страны, как Гана, Египет, Ирак и Сирия, ставшие в действительности в экономическом отношении на путь государственного капитализма, а в политическом – крайне нетерпимого национализма и исступленной религиозности. Колоссальные материальные средства, которые советское правительство под видом «бескорыстной помощи», лишая их советского народа, из года в год бросает в эти и подобные им страны в расчете заиметь в них свои военные базы и опору в своем соперничестве с США и их союзниками, в большинстве случаев не достигает своей цели – эти страны играют двойную игру – а то и поворачиваются против него.

Инженер Рутгерс был одним из тех западных специалистов, которые в первые годы после Октябрьской революции поспешили в молодую, нищую тогда страну Советов, чтобы помочь строить ее хозяйство, полагая, что в ней, наконец, человечество обрело то справедливое общество, о котором лучшие люди всех народов мечтали во все века, и за создание которого было пролито столь много крови. Рутгерс работал в Москве в Народном комиссариате путей сообщения, познакомился лично с Лениным. Мы посетили этого уже постаревшего, милейшего человека, не забывшего русский язык. Ему в жизни определенно повезло. Он вернулся вовремя в родную Голландию, не успев разочароваться в своих идеалах, не вкусив прелестей системы, которая столь часто воздавала чистосердечно симпатизирующим коммунизму специалистам-иностранцам, которые пришли сюда, чтобы отдать ей свои знания, способности и энергию, – тем, что обвиняла их во «вредительстве» и «шпионаже» и гноила в тюрьмах и лагерях.

Амстердамский конгресс окончился 18 августа. После возвращения в Прагу, я стал готовиться к новому конгрессу, – на сей раз не только как его участник, но и как один из его организаторов – к конгрессу Мировой федерации научных работников – международной организации с местопребыванием в Лондоне. Его членами являлись национальные объединения в отдельных государствах. Эта организация, во главе которой стоял известный французский физик Фредерик Жолио-Кюри, и заместителем которого был знакомый мне по 31 году Джон Десмонд Бернал, ставила себе три основные цели: обеспечить труд и свободу исследований научных работников; добиваться исключительно только гуманного применения науки; осуществить международное сотрудничество ученых, прежде всего в

планировании научных исследований. Конкретно конгресс должен был принять хартию, нормализующую труд научных работников, высказаться по вопросу о том, как сделать науку доступной широким слоям народа, и выступить против того, чтобы результаты науки становились орудием политики войны.

Конгресс проходил с 20 по 23 сентября не в самой Праге, а в Доброжише, местечке, расположенном в 40 км от столицы, в лесистой местности, в отданном, в виде дома творчества, Союзу чехословацких писателей замке барокко XVIII века с громадным редкостным парком. В конгрессе приняли участие по одному, по два, или по три представителя научных организаций Великобритании, Франции, США, Канады, Австрии, Дании, Китая и Греции, а также Болгарии, Венгрии, Польши, был и представитель ЮНЕСКО, а от Чехословакии Белеградек, химик Барта и я. Из Франции в качестве гостей присутствовали поэт Луи Арагон и его жена Эльза Триоле.

Жолио Кюри я встречал на главном пражском вокзале и сразу узнал его по схожести с портретами. Это был типичный южный француз, живой, бойкий, черноглазый брюнет, ничуть не важничавший, приятный собеседник, пожалуй, больше похожий на «маки», каким он во время гитлеровской оккупации в самом деле являлся, чем на нобелевского лауреата. Жаль, что этот выдающийся ученый, неутомимый борец за мир, так скоро (в 1958 году) скончался, пав жертвой науки, пораженный радиоактивным излучением.

Заседания комитета не проходили столь гладко, как можно было думать: на нем ведь были представлены только прогрессивные организации научных работников, имевшие в своих уставах борьбу за мир. Некоторая часть делегатов была настроена соглашательски. Они старались сглаживать острые углы, провести обтекаемые формулировки, возражали против того, чтобы вещи назывались своими именами, империализм империализмом, агрессия агрессией. Тем не менее нам удалось добиться того, что конгресс принял обращение к научным работникам всего мира, резко осуждавшее атомное оружие, гонку вооружений, колониализм, военные союзы. В этом, кроме авторитета Жолио Кюри и Бернала, сыграла немалую роль и агитационная работа, которую коммунистические члены конгресса проводили с отдельными его членами в беседах за чашкой кофе или на прогулке по парку.

После окончания конгресса в самом большом пражском зале «Люцерне» 14 сентября состоялся митинг, на котором председательствовал Неедлы, в то время министр просвещения, и где выступали члены конгресса, я в том числе. Затем

правительство устроило для членов конгресса прием, но рассказ о нем входит уже в следующую главу.

Часть четвертая. Лубянка

Роковой шаг

В месячный промежуток между амстердамским и добрижским конгрессами в чехословацкой компартии начала развертываться кампания проверки партийных документов, означавшая на деле чистку партии. Ознакомившись с положениями, по которым следовало проводить эту «проверку», я решил, что не смогу больше молчать. Дело в том, что эти положения, разработанные орготделом ЦК, которым заведовала Мария Швермова, и утвержденные президиумом ЦК, были направлены не на укрепление партии, как авангарда рабочего класса, а только лишь на очищение ее от морально разложившихся элементов, совершенно оставляя в стороне как вопрос о классовом составе партии, так и об идеологии ее членов. Таким образом, «проверка» закрепляла ту линию, которая на деле давно уже практически проводилась в КПЧ.

Я решил выступить теперь в полный голос, так как отдельные нешуточные публичные критические замечания в адрес фактического руководства партии мною делались и раньше. Я уже писал в «Руде право» по поводу «пасынкового» отношения Сланского и вообще Секретариата ЦК к пропагандистской работе, к высшей партийной школе, а также нежелания заиметь свой теоретический партийный журнал. Затем в январе того же 48 года на конференции идеологических работников-коммунистов в своем докладе я критиковал отношение КПЧ к вопросу о религии, отношение типично социал-демократическое. Согласно ему, быть или не быть верующим – это частное дело не только любого гражданина, но и коммуниста. Партии безразлично, принадлежат ли ее члены к церкви или нет. Однако очевидно, что раз Маркс считал религию «опиумом для народа», а Ленин «величайшей на свете мерзостью», то партия, преспокойно терпящая в своих рядах верующих, в том числе священников и даже профессоров богословия, не может претендовать на то, чтобы считаться марксистско-ленинской партией. (Я и сам как-то не отказался дать рекомендацию при вступлении в партию одному старенькому профессору теологического факультета им. Яна Гуса Карлова университета, что, конечно, не свидетельствовало о моей принципиальности.) Хотя в докладе я высказал это более деликатно, мой доклад, – без предупреждения, – не был включен в материалы конференции, вышедшие в апреле. И когда я обратился с протестом к Готвальду, то на свое письмо не получил ответа.

Мне также помнится, что когда я в феврале 48 года в связи со

столетием выхода в свет «Коммунистического Манифеста» выступил с докладом в Социалистической академии, которой я руководил (ее председателем был Неедлы), то в прениях выступил Поль Рейман, утверждавший, что учение о революционной диктатуре пролетариата как о неизбежном виде государства переходного периода от капиталистического к коммунистическому обществу, содержавшееся в работе Маркса «Критика Готской программы», теперь устарело. «Народная демократия» будто бы не является особой формой диктатуры пролетариата, как утверждал я. Рейман несомненно выражал взгляды партийного «идеолога», секретаря ЦК Б. Келлера, державшегося в тени, с которым он был близок. Мой доклад, якобы по техническим причинам, так и не был опубликован.

Все это вместе взятое явилось одной из причин, почему я в апреле попросил освободить меня от заведования отделом пропаганды ЦК. Не имея возможности изменить политику, которую я считал неправильной, оппортунистической, я не желал разделять ответственность за нее. Густав Бареш с нескрываемой радостью пошел мне навстречу, и по его предложению президиум ЦК тут же удовлетворил мою просьбу.

Мое место занял мой зам. Честмир Цисарж. Освободившись от работы в ЦК, я закончил давно задуманную книгу «Критическое изложение символического метода современной логики» (300 страниц), которая и вышла тогда же, в государственном издательстве «Орбис». В целом же за время этого периода пребывания в Чехословакии мною там опубликовано свыше 50 статей и 20 книжек и брошюр, среди последних большинство в партийном издательстве, служившие для партийной учебы.

Одновременно с нападками на Тито, появилась в советской печати резкая критика «правого оппортунизма» в ПОРП. Я тогда свято верил в обоснованность всех этих обвинений.

На борьбу, на этот шаг, оказавшийся роковым для меня, я решился, находясь в Высшей партийной школе в Доксах. Являясь здесь по решению Секретариата ЦК членом преподавательского коллектива, руководителем кафедры диалектического и исторического материализма, я приехал сюда дня на два для чтения очередных лекций.

Прогуливаясь с Катей по тихому осеннему берегу романтического Махова озера, я советовался с ней об этом, и она, сознавая как и я, что мой шаг может пагубно отозваться для нас, считала, что я обязан выступать, и не глухо, а называя фамилии. Однако при этом мы оба надеялись, что мое критическое выступление встретит понимание со стороны Готвальда и

поддержку советских товарищей. Единственное, в чем я сомневался, не поздно ли я решился, не должен ли я был уже раньше высказаться открыто.

Будучи до щепетильности дисциплинированным членом партии, никогда не участвовавшим в какой бы то ни было оппозиционной деятельности, я, само собой разумеется, стал и тут действовать, строго соблюдая требования внутрипартийной демократии, избегая всякой фракционности, не пытаясь опереться на широкую партийную общественность, хотя имел для этого все возможности. Ведь поскольку я непрерывно активно выступал в идейных и теоретико-политических дискуссиях того времени, я пользовался признанием как в кругу прогрессивной части студенчества и интеллигенции, так и среди многих рядовых членов партии и партийных работников, в особенности же тех, и таких было не мало, кто высказывался за бескомпромиссный, более решительный курс социалистического развития. Поэтому мне тогда было бы нетрудно получить для своей критики массовую аудиторию, которая бы поддержала меня.

Я мог выступить с ней не только на большом собрании Соцакадемии или перед коммунистами-студентами университета, но и перед рабочими в партийной организации какого-нибудь крупного пражского завода, например ЧКД-Прага. Но даже мысль о подобном «фракционном поступке» не приходила и не могла прийти мне в голову. С поразительной наивностью я выбрал абсолютно легальный, разрешаемый уставом партии и – самый неразумный – путь действия.

12 сентября я направил в журнал «Творба», редактором которого был Бареш, статью «За большевистскую критику в нашей КПЧ». В ней говорилось о том, что в связи с югославским «националистическим предательством» и польским «правым оппортунизмом» нужно провести последовательную самокритику и в собственных рядах. КПЧ до сих пор не отвечает многим требованиям марксистско-ленинской партии. Ее «практическое руководство» – Сланский, Швермова и Бареш – неясно поняли эту цель. Формула Ленина о коммунистической партии как авангарде рабочего класса подменена формулой КПЧ – авангард трудящихся, народа или даже нации. КПЧ в своем организационном построении до сих пор не избавилась от социал-демократического наследства, строится не по производственному принципу, а по месту жительства.

Я писал, что «практическое руководство» партии допустило, что ее рабочее ядро в значительной мере оттеснено на задний план мелкобуржуазными элементами. Поставленная Готвальдом задача завоевать большинство нации была неправильно понята

как увеличение числа членов партии чего бы то ни стоило, в том числе и за счет идеологических отхода от ленинских принципов. От любой критики отделываются общими указаниями на наш «специфический путь» к социализму, на то, что не следует механически переносить к нам советский опыт. Однако наш путь не означает, будто основа учения Ленина о классовой борьбе, партии и государстве устарели.

Далее я писал, что отклонение от революционной теории неизбежно приведет к тяжелым последствиям в политической практике КПЧ. Партия, воспитываемая в общенациональном, а не в классовом духе, не была мобилизована к бдительности. В промышленности обосновалось немало вредителей, в сельском хозяйстве часть реформ подкрепила не деревенскую бедноту, а кулака. В области культуры мало сделано для воспитания новой квалифицированной интеллигенции. В КПЧ начал распространяться антисемитизм, бытовое разложение – мною адресно назывались некоторые секретари обкомов КПЧ, в том числе Кроснарж, секретарь пражского обкома. Я высказал убеждение, что для того, чтобы осуществить необходимую широкую и глубокую самокритику в своих рядах, КПЧ имеет все условия: здоровое рабочее ядро, опытные кадры партработников и возглавляющего ее Клемента Готвальда.

На третий день Бареш сообщил мне, что мою статью, из-за ее значения, он передал Президиуму ЦК. И в тот же день, 15 сентября, состоялось собрание парторганизации аппарата ЦК, членом которой я продолжал состоять. На нем Швермова сделала доклад о предстоящей «проверке».

Считая, что было бы нечестно, если бы я скрыл перед своей парторганизацией то, что написал в статье, я выступил, в основном повторив те же критические замечания. Подавляющее большинство собрания аплодисментами, а ряд товарищей своими выступлениями, поддержали меня.

Тогда, по предложению Швермовой, решили продолжить собрание на следующий день, должно быть, чтобы обработать часть коммунистов. Эти люди не нашли однако ничего, чем опровергнуть мою критику, а поэтому укоряли меня в том, будто я хотел продемонстрировать свою храбрость, будто выступил слишком рано, будто хотел опередить события. Неожиданно для меня – мы с ним и в Москве и здесь, в Праге, поддерживали хорошие отношения – было выступление Поля Реймана, он кричал: «Ты за это поплатишься!», и назвал мое выступление «троцкистским».

Сам факт, что я выступил со своей критикой перед парторганизацией аппарата ЦК, «перед шоферами, секретаршами

и машинистками», вызвал крайнее возмущение партийных бонз. Они были также сильно обеспокоены тем, что оно совпало с отъездом Готвальда в Советский Союз (о чем я не знал и знать не мог, но мне приписывали, будто я нарочно выбрал это время). На созванном срочно узком совещании (Сланский, Швермова, Бареш, Копецкий, Доланский, Запотоцкий) они осудили мою статью и выступление на собрании как «неправильные и фракционные», решили ничего не публиковать и запретить мне выступать где бы то ни было с этим. Обо всем этом Сланский сообщил на второй же день в письме Готвальду. Все это стало мне известно лишь в 1968 году, когда при Дубчеке стал доступен архив ЦК КПЧ.

Сланский в тот же день вызвал меня. Не предложив сесть, и не желая выслушать меня, он, повысив голос, с крайним раздражением заявил, что я, перешагнув рамки критики и самокритики, хочу втянуть партию в открытую дискуссию о необходимости сменить руководство партией, для чего использовал время, когда в момент обостряющейся классовой борьбы разрабатывается ряд тактических вопросов. И все это для того, чтобы напасть на линию партии в целом. Поэтому мне запрещается выступать с этими взглядами впредь до возвращения Готвальда, когда будут обозначены дальнейшие шаги.

Видя такую озлобленную реакцию со стороны Сланского, я написал два письма – одно Готвальду, а другое Сталину – в которых изложил создавшуюся в КПЧ ситуацию, свои опасения, как бы мы не скатились на югославский или польский путь. Первое письмо я передал в руки личного секретаря Готвальда. Но им была жена Келлера, и она, нарушив свой долг, вскрыла его, и вместо Готвальда отдала Сланскому.

Второе письмо я передал советскому послу Силину с просьбой срочно переслать его Сталину, что он обещал сделать. Я, конечно, допустил на своем веку не одну глупость, но эта, пожалуй, одна из самых больших.

И что же? Силин, как я узнал только десять лет спустя, сразу же после своего прибытия в Прагу, сблизился со Сланским, они стали закадычными друзьями, и мое письмо он тут же вручил Сланскому.

Ко всему этому прибавилось еще одно обстоятельство, значительно отягчавшее мое «преступление». Как раз в это критическое время состоялось заседание «нострификационной» комиссии философского факультета Карлова университета, одним из трех членов которой я являлся. Ее задачей было рассмотреть, утвердить или же не признать силу ученых степеней, полученных в заграничных университетах. Среди других, к нам поступило заявление дочери Готвальда, Марты, требовавшей,

чтобы ей было присуждено звание доктора философии, на том основании, что она окончила МГУ, хотя и не получила диплома.

Другие два члена комиссии, всемирно известный тюрколог и ирановед Ян Рыпка, а также беспартийный профессор чешской истории Ян Чапек, растерялись и перепугались. Требование надо было отклонить, как незаконное, оно противоречило положению министерства просвещения. Но ведь это было требование дочери президента республики, председателя всесильной КПЧ, заведовавшей советским отделом министерства иностранных дел, и, что важнее всего – жены Чепички, министра юстиции, успевшего за полгода функционирования «прославиться» своей свирепостью! Как можно отклонить его!

Мои коллеги предложили отложить решение, и спросить у министра просвещения Неедлы, как поступить. Но я возражал: инструкция ясна, и законы не только должны быть одинаковы для всех, но чем выше общественное положение человека, тем строже он обязан соблюдать их, показывая пример другим. Если мы не отклоним это притязание, то дадим повод врагам нашего нового строя заговорить о семейственности, и создадим к тому же недопустимый прецедент. Тогда эти двое, не без колебаний, все же решились отказать Марте Готвальдовой. Однако с тем, что уведомлю ее я.

Во время перерыва заседания я заехал к ней в министерство и объяснил ей, что если бы наша комиссия сделала для нее исключение, то это бросило бы тень на ее отца и супруга. Мои разъяснения эта молодая особа приняла весьма кисло. А через час мне позвонил сам грозный Чепичка и стал угрожать, орал, что в университете засела контрреволюция, что мы не приняли диплом его жены потому, что он советский, что мой поступок антипартийный, и стал требовать, чтобы я отменил решение комиссии. И это происходило в присутствии обоих беспартийных! Разумеется, я как следует ответил этому министру «правосудия» и положил трубку. Но, как я узнал после, Неедлы, нарушив им же изданное положение, утвердил для Марты Готвальдовой титул доктора.

Для того, чтобы читатель ясно представил себе обстановку, скажу, что после февраля 48 года в Чехословакии стали все заметнее распространяться два отвратительных явления, характерных для загнивания общества при «культе личности» (и сопутствуемые другими, не менее омерзительными и вредными): это, во-первых, скопление в одном лице нескольких командных должностей, и, во-вторых, раздача постов родственникам, также как и другие виды протекционизма.

Примером первого был я сам. Сначала меня уговаривали, что,

мол, именно только я подхожу для данной работы, и, немного поломавшись, я под конец соглашался – честолюбие брало свое – и брал на себя еще одну лишнюю «нагрузку». С работой в ЦК я стал совмещать профессуру в университете, заведование кафедрой и преподавание в Высшей партийной школе, работу в Соцакадемии, был председателем Антифашистского общества, членом Государственного совета по науке и технике, и бог знает скольких еще разных обществ и комиссий. Значит, если и не у власти, то в области идеологии я обладал значительным, недопустимым монопольным положением.

Но возможность почти неограниченно подчинять других своей воле, бесконтрольно произвольно распоряжаться человеческими судьбами – а в чем другом состоит власть? – сосредоточил в себе Рудольф Сланский. Номинально оставив министром внутренних дел по-прежнему Носека, Сланский на самом деле самовластно распоряжался госбезопасностью. Постепенно роль Президиума ЦК становилась лишь одной только видимостью, свелась к штамповке предрешенных Секретариатом ЦК (то есть Сланским) постановлений. И как мне сознался в 1960 году Фирлингер, он и некоторые другие члены Президиума отдавали себе в этом отчет, но поневоле им пришлось мириться с этим.

Под предлогом, что нужно щадить, оберегать болеющего Готвальда (подобно тому, как Сталин «оберегал» Ленина) – Сланский устранил его от дел, превратив президента в нечто вроде английского короля, обладателя почестей, но предельно ограничив его возможности самостоятельных решений и действий, влияния на ход событий. А ведь эта ограниченность была двоякой: не только этой внутренней, но в еще большей степени внешней – полной зависимости вассала от сюзерена, от Москвы, от Сталина. А что до болезни Готвальда, то она стимулировалась тем, что он стал все чаще и все больше выпивать.

Рудольф Сланский, как я уже отметил, с первой же встречи невзлюбивший меня, однако почему-то вдруг захотел привязать меня к себе, и однажды пригласил на семейную вечеринку. Ее устроили, не знаю уж по какому поводу, но не у него дома, а в вилле его брата Рихарда. Невежливо было отказаться, не было у меня для этого причины, и даже интересно было посмотреть жизнь в этих «высших кругах». Я пошел и просто ужаснулся. Мне показалось, что я попал в самое что ни есть дореволюционное буржуазное общество, как его изображают в пьесах Горького. Пошлая крикливая роскошь обстановки этой квартиры, ломящийся от яств и импортных напитков стол, пустейшие

разговоры и скабрезные анекдоты, и я, не скрывая отвращения и презрения к ним, постарался поскорее покинуть это сборище.

24 сентября Сланский получил ответ на свою информацию. Готвальд требовал, чтобы я был немедленно отозван от участия в международном конгрессе и таким образом был лишен возможности распространять антипартийную фракционную агитацию заграницей. При этом он подчеркивал, что по отношению ко мне следует действовать со всей строгостью. Указание пришло, однако, поздно, уже после окончания добрижского конгресса, в день, когда в Праге состоялся заключительный митинг, на котором я выступил. И оно было совершенно лишним. При моем тогдашнем настроении, я ни в коем случае не стал бы «выносить сор из избы», не стал бы делиться нашими внутрипартийными делами с посторонними, а тем более с иностранцами. По-видимому, в тот же день в ЦК была получена следующая записка – без даты и подписи – на русском языке: «Кольман, выступивший под флагом самокритики, не заслуживает доверия. Советское правительство требует, чтобы Кольман был предварительно арестован и передан в СССР. У нас имеются основания для важных обвинений против Кольмана, для чего необходимо осуществить соответствующее следствие, как только Кольман будет отправлен в Москву». Но эта директива не была выполнена сразу.

На следующий день состоялся правительственный прием делегатов конгресса, и мне не помешали принять в нем участие. Сюда явился Копецкий (он был тогда министром информации), подошел к нам с Катей, раскричался на меня, неприлично ругался и стал даже топать ногами, так что мне пришлось указать ему на то, что на эту сцену обращают внимание наши иностранные гости. А назавтра, 26 сентября 1948 года, утром меня арестовали. Скажу сразу, в заключении я находился по 22 марта 1952 года, то есть 1274 суток, из них первые три года почти сплошь в одиночке. Но весь этот период моей жизни заслуживает того, чтобы описать его более подробно.

Во время моего второго пребывания в Чехословакии, я узнал от Фирлингера, что когда Готвальд вернулся из Москвы, то на расширенном заседании Президиума ЦК, состоявшемся 4 октября, он рассказал, как там отнеслись к моему выступлению. Когда он вместе с Геминдером (тот сопровождал его в поездке) были на приеме у Сталина, и он доложил ему о случившемся, Сталин проронил: «Должно быть, троцкист». А присутствующий здесь же Берия добавил: «Да, он старый троцкист». И моя участь была решена. На том же расширенном заседании Президиума рассматривали изданные в Чехословакии мои работы, в том числе

и только что вышедшую книгу о символической логике, искали в них крамолу. В качестве эксперта вызвали Поля Реймана. Я не знаю, нашел ли он в формулах символической логики троцкизм, но во всяком случае он заявил, будто бы еще в Москве знал, что я бывший троцкист! Было решено провести исключение меня из партии, согласно устава, моей первичной организацией, для чего направить туда с докладом Копецкого.

Еще раньше, 29 сентября, Секретариат ЦК по предложению Сланского постановил изъять все мои печатные работы из обращения. Было также поручено Барешу написать для «Творбы» статью, разоблачающую меня как троцкиста. Такую статью Бареш действительно написал, но она хранится в архиве ЦК КПЧ, а свет не увидела. Решили, что мудрее будет скрыть от широкой общественности все «дело Кольмана», и распространили слух, будто я по собственному желанию просто вернулся в Советский Союз и преподаю математику в Тбилиси. Позднее к этому добавили, что я, якобы, погиб в автомобильной катастрофе. Ну что ж, если верить приметам, то эти слухи о моей смерти (уже во второй раз; во время гражданской войны газета «Беднота» родила утку, будто в республике немцев Поволжья меня убили кулаки), сулят мне необыкновенное долголетие.

На собрании моей первичной организации Копецкий не поскупился на деготь, чтобы очернить меня. Он оценил мое выступления как «нападение из-за угла на линию партии и на партийное руководство в духе троцкистско-сектантских взглядов, политически-развратных, противных духу нашего движения». Мое выступление было – так, якобы, заявили Готвальду в Москве – лишь продолжением моей вредной деятельности в Советском Союзе. И Копецкий обрушился на парторганизацию с угрозами за то, что она не только не помешала мне выступить, но что многие даже соглашались со мной. Понятно, что меня тут же исключили, и что это исключение утвердил обком в нарушение устава партии в мое отсутствие, без предварительного расследования и без сообщения мне об этом, – я тогда уже находился на Лубянке.

Понятно также, что за сочувствие (действительное или мнимое) к моему выступлению, были в разной степени дискриминированы многочисленные мои сотрудники, личные друзья или просто лишь знакомые, особенно из рядов чехословацкой интеллигенции. Пострадали работники партийного аппарата, Соцакадемии, университета. Института экономических и социальных исследований, и ряд других. Одним словом, повторилось – в Чехословакии впервые – то же самое, что в подобных «политических делах» давно происходило в СССР (и с некоторыми видоизменениями происходит и сейчас).

Таким образом, можно не преувеличивая сказать, что «Дело Кольмана»[6] стало в Чехословакии своего рода репетицией к монстр-процессам пятидесятых годов, к систематическому применению сталинских принципов решения внутрипартийных противоречий, конфликтов власти, и ради отвлечения от встречающихся очередных экономических трудностей и политических неудач. На нем были испытаны – конечно, далеко не в полностью развернутом виде – методы грубого насилия, характерные для начинавшегося периода шпиономании, преступного нарушения внутрипартийной демократии, законности, самой элементарной человечности. На протяжении многих лет моим именем укоряли работников культуры и науки, студентов и преподавателей высшей школы.

Именно моим «делом» пользовались для «доказательства» классовой и политической неустойчивости интеллигенции вообще. Общественное последствие моего «дела» состояло в том, что оно на продолжительное время отравило идейную атмосферу чехословацких коммунистов, содействовало распространению среди них недоверия, страха и приспособленчества. Парадоксальным в нем может показаться то, что не только мои преследователи, но и я сам, каждый по-своему, были идейными носителями сталинизма и его проводниками в Чехословакии, и что вместе с тем, не только я, но через небольшой промежуток времени и они, были – в разной степени – поражены его же механизмом.

Я постарался осмыслить мое «дело» не только с личной, но и с общественной, по возможности наиболее общей точки зрения, как одного из звеньев того трагического явления, которое охватило, то бурно вспыхивая, то затухая, все без исключения «социалистические» страны. Когда оно началось? Его зачатки имелись уже при Ленине, не только в «красном терроре», оправдываемом, как мера возмездия против контрреволюционного «белого террора», но и в ненужных актах массовых репрессий, таких, как расстрелы заложников, борьба против казачества, настигавших не только виновных, но еще больше невиновных, и приведших лишь к затягиванию гражданской войны, в жестоких гонениях на инакомыслящую интеллигенцию.

Хотя Ленин, очевидно, искренне считал, что эти меры необходимы для защиты революции, они стали прецедентом и послужили оправданием злодейства Сталина и его наследников.

Корни деформаций социализма

Приведу еще свои размышления о тех глубоких корнях, из которых, по моему мнению, с неизбежностью выросла деформация социализма в теории и на практике.

Я не считаю, будто Октябрьская революция не была нужна и принесла одни только страдания человеку, будто всецело виновен в ужасах сталинизма и неосталинизма Ленин, будто марксизм в корне ошибочен и устарел, будто его следует заменить каким-то подобием религии или идеалистического мировоззрения. По всем этим пунктам я полностью расхожусь с Солженицыным, что, однако, не ущемляет моего глубокого уважения и преклонения перед его гениальностью как писателя и героическим мужеством как человека и гражданина.

Не входя пока что в более обстоятельный анализ, скажу лишь, что буржуазная демократия отличается от нашей тем, что она дает людям хотя бы иллюзорное сознание свободы, служа на деле в основном отдушиной. К ее Никсонам, одинаково как и к нашим, можно без колебаний отнести заключительные строки знаменитого стихотворения Гейне, схоластического «диспута» между капуцином и раввином о том, чья религия истинна – христианская или иудейская, – Королева Бланка вынесла такой подлинно справедливый приговор:

Ничего не поняла
Я ни в той, ни в этой вере,
Но мне кажется, что оба
Портят воздух в равной мере.

(Перевод О. Мандельштама)

И еще скажу, что считаю крайне необъективным, несправедливым, когда умаляют, а тем более скидывают со счетов, как это делает Солженицын, всемирно-историческое значение Октябрьской революции. Разве можно оспаривать, что она, ликвидировав монопольное господство капиталистического строя, открыла новую эру человеческой истории? Ведь сам факт существования советского государства – какие бы изъяны ни были у него, какими своекорыстными, великодержавными побуждениями ни руководствовались бы его правители в своей политике – служил и служит мощным фактором, сдерживающим эксплуататорские и агрессивные аппетиты империалистов,

оказался решающим в победе над фашизмом, стимулировал и стимулирует (хотя теперь, увы, не столь сильно) трудящихся капиталистических стран в их повседневных сражениях с капиталом, и народы колоний и полуколоний в их борьбе за национальное освобождение.

Разве можно отрицать, что именно при советской власти нищая и убогая аграрная царская Россия превратилась в мощную индустриальную державу, что в деревне исчезли лапти, рубища, тюря и лебеда, что ликвидирована безработица, что рабочие из бараков-клоповников и трущоб все в большем количестве вселяются в благоустроенные квартиры, что один из наиболее высоких в Европе процентов неграмотности сменился высоким процентом людей со средним и высшим образованием, что народности прежде диких окраин поднялись до уровня современной цивилизации?

Конечно, все это произошло отчасти как составная слагаемая всеобщего прогресса, экономического и технического, совершившегося за последние полвека повсеместно во всем мире. И произошло это ценой десятков миллионов несчастных жертв, убитых, а также физически и морально искалеченных, жертв, длившейся три десятка лет Варфоломеевской ночи, равно как и той тяжелейшей войны, которую можно было бы избежать. Но как бы там ни было, какой бы ужасной ценой не досталась нам наша современная жизнь, в какой бы тюрьме она ни проходила, как бы она ни отставала экономически от жизни наиболее развитых капиталистических стран, ее разительный подъем по сравнению с прошлым отрицать никак нельзя.

Взять к примеру Катю, дочь херсонского еврейского мелкого торгового служащего. Она родилась после смерти отца, как самая младшая в крайне бедной семье, где были еще две сестры и четыре брата. Кем бы стала она и все они, не будь Октябрьской революции и советской власти? Прозябали бы в нищете и невежестве, в услужении у разных хозяйчиков. Но все они получили высшее образование. Братья, пройдя гражданскую войну, остались военными, занимали офицерские должности (один – генерал-майор, Герой Советского Союза). Сестры, пройдя высшую школу, работали в области искусства и просвещения. Катя стала литератором.

Конечно, и на этой семье, в которой, как в капле воды, отражается в миниатюре образ всего советского общества, в полной мере сказались последствия так называемого «культа личности». Одного из братьев Сталин убил, другого сослал, а третий погиб в первый же день войны на оголенной Сталиным границе. Одна сестра преждевременно умерла, подточенная горем

о погибшем в войну единственном сыне, парашютисте; ее муж еще раньше скончался, живя, как и многие другие, в страхе нависшей над ним угрозы репрессий.

Почему так получилось, что социализм превратился в тиранию? Ленин советовал «смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого развития смотреть, чем данная вещь стала теперь. Придерживаясь этого указания, я хочу рассмотреть зарождение этого урода-чудовища, но должен сначала сказать несколько слов о самом существе тоталитарного режима, этой новой социально-политической структуры, ранее не существовавшей (хотя известные ее подобия имелись и при рабовладельческом строе, и при феодализме), и во всех своих прелестях непредвиденной, которой облагодетельствовал человечество двадцатый век.

Тоталитарный режим – это централизованная иерархическая система антидемократической диктатуры, возглавляемая привилегированной кастой, замкнутой олигархической общественной группой, отстаивающей свои эксплуататорские групповые интересы средствами массового насилия, политического и идеологического террора и шантажа. В своей внутренней политике тоталитарный режим неимоверно усиливает эксплуатацию рабочего класса путем разных видов принудительного труда, использования многомиллионной армии рабов-заключенных как средства давления на его жизненный уровень, и вместе с тем растлевает его подачками; крестьянские массы он доводит до нищеты государственными повинностями; интеллигенцию – работников науки и искусства – лишает свободы творчества, превращает их в своих платных контролируемых чиновников, цинично заставляет их служить его тоталитарным целям даже в концентрационных лагерях. Внешняя государственная деятельность этого режима – это империалистическая политика захватов, навязывание другим странам и народам собственных порядков, непрестанное нагнетание в мире военной напряженности, с тем, чтобы народ, опасаясь войны и установления чужой власти, поддерживал существующее «свое» тоталитарное правительство.

Важнейшим рычагом тоталитарного режима является партия-гегемон, поглотившая все формы государственного управления, профессиональные, молодежные и другие массовые организации. Члены этой партии, в которую можно входить, но из которой нельзя безнаказанно выйти, будучи так или иначе морально соучастниками действий правящей касты (включая и самое зверское истребление целых групп населения) в то же время

никакого влияния на принимаемые ею решения не оказывают. Возглавляющую тоталитарный режим касту сплачивает стремление сохранить свои экономические и социальные привилегии. Ее объединяет властолюбие, фанатический догматизм, нетерпимость, подозрительность и страх перед «вождем». А вместе с тем, ее раздирают внутренние противоречия в борьбе за власть, за посты, зачастую кончающиеся дворцовыми переворотами, насильственной, а иногда и кровавой сменой одного вождя и его камарильи другими.

При тоталитарном режиме ликвидирована гласность, свобода критики, всякая открытая политическая борьба, выборность представителей, разделение законодательной, исполнительной и судебной властей, но зато предельно раздут чиновничий бюрократический аппарат и государственный и полицейско-жандармские организации. Массовые репрессии проводятся при помощи специальных средств тайной полиции (органов безопасности), сети осведомителей, цензоров, отделов кадров, аппаратуры подслушивания, закрытых судебных процессов. При этом карательные меры – в виде увольнения с работы по специальности, невозможности учиться, лишения средств существования, заключения в тюрьмы, концлагеря, психлечебницы, ссылки в «места не столь отдаленные», выдворение из страны и лишение гражданства, – распространяется не только на неугодных режиму, но и на их семьи.

Идеологический террор осуществляется через все каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение), образования и культуры (школа, литература, кино, театр), как непрестанная пропаганда лжи и полуправды, маскируемая лицемерными лозунгами «социализма» и «патриотизма», использующая самые низменные инстинкты масс – шовинизм, антисемитизм, милитаризм, культ личности – и наглухо закрывающая народу доступ к другой информации (недопущение неконтролируемой иностранной прессы и литературы, глушение радиопередач, просмотр частной почтовой корреспонденции, жесткое ограничение заграничных поездок).

Тоталитарный режим осуществился в двух различных вариантах. Один – это порожденный монополистическим капиталом фашизм, появившийся в 20–30 годах в нескольких разновидностях: в Италии, Германии, в Испании, Португалии, в Польше, на Балканах, затем в некоторых латино-американских, азиатских и африканских странах, известные элементы которого имеются и ныне в США. Второй – это результат подмены социализма, существующий опять-таки в двух разновидностях: с одной стороны в Советском Союзе и «союзных» с ним странах –

ГДР, Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, но также и в Югославии и на Кубе, а с другой стороны в Китае, Албании, Северной Корее и Вьетнаме.

В то время как возникновению фашизма и вскрытию его сущности посвящено не мало научных исследований, «социалистический» тоталитаризм освещался главным образом антикоммунистами, антимарксистами, явными или прикрытыми апологетами капитализма. Будучи безусловным сторонником научного социализма, несмотря на утрату многих иллюзий, не потерявшим уверенность в возможности и необходимости осуществления великих идеалов коммунизма, причем не в далеком будущем, а чем скорее, тем лучше, я хочу попытаться поделиться здесь, пусть лишь в конспективном виде, своими мыслями о причинах одной из величайших исторических катастроф – вырождения, приведшего к тому, что вместо реализации этих подлинно человечных, социально справедливых идеалов, общественный строй, клянущийся ими, грубо и жестоко повернулся против человека.

В 1902 году Ленин опубликовал брошюру «Что делать?», излагавшую его взгляды на характер и способ деятельности революционной социал-демократической партии в России. Принципиальное положение, содержащееся в ней, положение, по своему значению выходящее далеко за рамки узких потребностей времени и места, оказало гибельное влияние на судьбы выпестованной им большевистской партии и всего международного коммунистического движения. Оно гласит: «История всех стран свидетельствует, что исключительно своими силами рабочий класс в состоянии выработать лишь… убеждение в необходимости объединиться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п.… социал-демократического сознания у рабочих и не может быть. Оно могло быть принесено только извне… оно выросло из тех философских, исторических экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией». И отсюда вывод: социалистическую революцию должна осуществить сравнительно небольшая организация профессиональных революционеров-конспираторов, партия, о которой Ленин сказал: «Дайте мне организацию революционеров, – и мы перевернем Россию!»

Таким образом, с самого начала для Ленина «партия нового типа» не была авангардом рабочего класса (ибо авангард – это часть войск, двигающаяся лишь впереди главных сил, но неразрывно связанная с ними), а обособленная, извне пришедшая

к нему, поучавшая его группа, причем это относилось ко «всем странам», не только к отсталой неграмотной России. Предоставим специалистам исследовать, насколько эта идея о стихийности масс и осуществлении революции узкой организацией профессионалов возникла у тридцатилетнего Ленина под влиянием учения Луи Бланки или даже С. Г. Нечаева. Несомненно одно: с отступом во времени, она является нам как крупнейшая, роковая теоретическая ошибка Ленина.

Если рабочий класс, как это подробно развил Ленин, неспособен самостоятельно прийти к революционному сознанию, а представляет собой стихию, в определенных условиях лишь поддающуюся агитации и пропаганде профессионалов-революционеров, то эта же масса, в других условиях, может столь же легко поддаться любой реакционной демагогии. И в самом деле, исторические факты подтверждают это. За зубатовцами, за «Союзом русского народа», за «Союзом Михаила Архангела» шло немало рабочих. Германский рабочий класс, политическую зрелость и организованность которого сам Ленин неоднократно приводил в пример, дал себя одурачить в своем большинстве и кайзеровским военным угаром, и нацистской пропагандой, позволил вырезать лучших своих представителей. Российский рабочий класс, свергнувший капитализм, не сумел устоять перед сталинизмом, не смог сохранить самых выдающихся своих сыновей и дочерей от его кровавой бойни. Это положение социальной психологии и стихийности масс, отмеченное вскользь Лениным, не было, однако, своевременно всесторонне учтено им, а стало, возможно, вполне ясным для него лишь непоправимо поздно, в самые последние дни его жизни.

Хуже всего то, что эта ошибка Ленина сочеталась с другой, не менее тяжелой, тоже берущей начало в недоучете социальной психологии – недостатке, которым страдал и Маркс. Ленин не придавал значения тому, что образование замкнутой, жестко централизованной, подчиненной суровой дисциплине организации профессионалов-революционеров-конспираторов, организации, ставшей фактически над массами, неизбежно ведет к подавлению демократии в ней. Эти возражения, делавшиеся ему уже тогда, он просто отметал ссылками на революционную, конспиративную целесообразность. Но более того, он вовсе не учел, что в случае победы революции, когда партия станет правящей партией, такая ее организация должна будет неминуемо привести к превращению ее, а в особенности ее верхушки, в привилегированную, господствующую над всем обществом любыми мерами, вплоть до физического уничтожения идейных противников, утверждающую свою власть – страшную

силу.

Удивительно, что Ленин, наблюдавший, особенно будучи в эмиграции, многочисленные склоки в партии, вызываемые не принципиальными идейными расхождениями, а мелочным тщеславием и властолюбием, не задумался над судьбой, грозящей замкнутой организации профессиональных революционеров. Но уже в 17 году в работе «Государство и революция», он категорически требовал «сведение платы всем должностным лицам в государстве до уровня заработной платы рабочего». Он и позднее не переставал твердить, что в выравнивании высших и низших ставок «всего нагляднее проявляется перелом – от демократии буржуазной к демократии пролетарской».

При Ленине этот принцип в самом деле начал осуществляться. Однако после его смерти он был «забыт» как теоретически, так тем более практически. Вместо сближения высоких и низких жизненных уровней, происходило систематическое их расхождение. Сталин пользовался все большим расширением этих ножниц, чтобы укрепить социальную базу своей террористической диктатуры, и возникшая и неимоверно разросшаяся иерархическая правящая каста продолжала и неуклонно продолжает эту сталинскую политику. В настоящее время отношение между высшей и низшей зарплатой (не учитывая даже нижнего порога нищенских пенсий) намного превосходит дореволюционное, несмотря на то, что после 24-го съезда некоторым категориям, наиболее низкооплачиваемым, зарплата была увеличена. При этом для партийных и государственных руководителей всех уровней денежная оплата не является решающей. Они и их семьи, вплоть до дальних родственников, пользуются закрытыми распределителями с недоступным для рядовых граждан ассортиментом продуктов и ширпотреба, прежде всего импортного, особыми столовыми, богатыми квартирами и дачами, обслуживаются штатами прислуги, не говоря уже о телохранителях, транспортом, специальным лечением, и все это бесплатно или за заниженную, лишь символическую плату, и, конечно, в строгом секрете от народа.

Нужно ли распространяться о том, что это привилегированное положение – распределенное по рангам от районных до центральных властей – создало у членов этой касты и у их семей психологию, не только совершенно чуждую пониманию потребностей народа, но и враждебную ему. Не ясно ли, что это подражание положению бывших господствующих классов не может не приводить к тем же буржуазно-помещичьим нравам (но только, зачастую, вдобавок еще на несравненно более

низком культурном уровне), в частности, к возникновению слоя советской «золотой молодежи», барских сынков, развращенных и преступных. В этих условиях появляющиеся время от времени в газетах разоблачительные статьи против бюрократов, казнокрадов, взяточников, пьяниц, тунеядцев, ударяют, разумеется, по «стрелочникам». Эти статьи – чистейшей воды фарисейство, «отдушины» народного негодования (ибо, как ни прячь их от него, народ знает – хотя далеко не о всех – о существовании привилегий), для сохранения материальной основы правящей касты.

Прогрессирующее перерождение партии и советской власти, идущее от самой верхушки («рыба с головы гниет»), началось уже при жизни Ленина. Хотя сам Ленин, еще с конца 17 года, постоянно призывал к борьбе с бюрократизмом, однако под «бюрократизмом» он долгое время понимал лишь канцелярщину, волокиту, отписки, бумажность, формалистику, рутину, он считал, что это лишь старое царское, буржуазно-помещичье чиновничество в условиях блокады и некультурности России, с ее распыленной мелкобуржуазной крестьянской стихией – воссоздает бюрократизм. И средства борьбы с ним он усматривал в поголовной грамотности, в поголовном приобщении к культуре, в поголовном участии в управлении рабоче-крестьянской массы, равно как и в организационных мероприятиях: пересоздании Госконтроля, РАБКРИНа, освоении научной организации труда, особенно управленческого, сокращении и отборе аппарата, проверке исполнения, ревизии жалоб и т. п.

Однако уже с конца 1920 года, а особенно в 23 году Ленин характеризовал сам советский строй как «рабоче-крестьянское государство с бюрократическим извращением». Он заговорил о «сановниках», о «болячке в верхушечном аппарате», о «бюрократической язве», о «несчастных гражданах, кои вынуждены иметь дело с нашим никуда не годным советским аппаратом», и, наконец, о бюрократизме, как в профсоюзах, так и в партийных учреждениях, о бюрократизме как «партийной болезни», о «комбюрократии», комчванстве, самомнении, самодурстве советских и партийных чиновников, о «развращенных и избалованных верхушечных людях», об отношении к нерусским национальностям советского «типично русского бюрократа», когда он, этот истинно русский человек (а тем более, усердствующий, обрусевший) оказывается «великороссом-шовинистом», «в сущности подлецом и насильником», «держимордой».

Таким образом, в споре Ленина с Каутским, утверждавшим, что социализм не исключает бюрократизма, на беду оказался

прав Каутский. Ведь совокупность условий, которые по Ленину (и Марксу) должны были исключить его, а именно, выборность, сменяемость и отсутствие привилегированности всех должностных лиц, – не была осуществлена. Эти условия и не могли быть осуществлены, потому что бюрократизм при существующем строе не был и вовсе не является случайным, привходящим явлением, не простым «извращением» этого строя (но он является извращением социализма, а этот существующий строй – вовсе не социализм!), а способом существования особой общественной группы (или слоя, касты, «элиты», «нового класса», олигархии, – этот более или менее терминологический вопрос мы здесь обсуждать не намерены), специализировавшейся на управлении (государственном, партийном и др.), в чьих руках находится власть в обществе, группы, насквозь пропитанной антидемократическим духом, занимающей привилегированное положение по сравнению с народом, оберегающей всеми средствами свои групповые интересы, являющейся не слугой, а беспощадным господином народа.

Различие между прежней и нынешней бюрократией состоит, во-первых, в том, что состав нынешней комплектуется преимущественно не из бывших господствующих классов, а из выходцев из «народа». Во-вторых, разница в том, что прежняя бюрократия (рабочая бюрократия в том числе), будучи лишь орудием, частью механизма власти буржуазии и помещиков, получала от них свое казенное жалованье, участвовала тем самым в дележе прибыли, процентов, ренты. Между тем, при советском подобии государственного капитализма (который, лишь если бы в самом деле существовало государство, революционно разрушившее всякие привилегии, как об этом мечтал Ленин, стал бы последним материальным преддверием к социализму), нынешняя бюрократия автономна. Она никому, кроме самой себе, не служит, сама определяет для себя ту часть (и не малую!) национального дохода, которую она съедает. Благодаря этому, ее представители, как и прежние бюрократы, оторваны от масс, стоят над массами, обольщают себя ложью (приписки) и распространяют ложь. Не меньше, чем прежде, среди них имеется всевластных, безответственных, подкупных, развращенных, невежественных, заскорузлых, бесчеловечных карьеристов, чинопочитателей, руководимых одним лишь принципом – своей кастовой и личной выгоды.

Осознал ли Ленин под конец или хотя бы смутно, неясно и тревожно догадывался, что именно создав партию как обособленную организацию профессиональных революционеров-конспираторов, он тем самым – меньше всего желая этого, – с

неизбежностью предопределил возникновение после победы революции нового эксплуататорского общественного слоя – советской бюрократической касты? Трудно сказать. Но как бы там ни было, уже в 20-м году – о чем я уже писал – в день своего 50-летия, он с величайшей тревогой говорил о будущем партии, которой угрожает опасность зазнаться. А все его последние статьи «Странички из дневника», «О кооперации», «О нашей революции», «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», равно как и продиктованные им незадолго перед смертью «Письмо к съезду», «О придании законодательных функций Госплану», «К вопросу о национальностях или автономизации» проникнуты чувством крайнего беспокойства, смятения.

Лиза Драбкина, работавшая в секретариате Ленина, в художественной форме описала эти его настроения, которые она имела возможность лично наблюдать, во второй части своего «Зимнего перевала», понятно, не увидевшей свет. В поисках выхода из грозящей опасности раскола партии, гибели советского государства от перерождения, Ленин то предлагал организационно-административные реформы, то надеялся на дополнение системы государственного капитализма кооперированием крестьянских хозяйств (это, по его замыслу, добровольное кооперирование, к которому крестьянство должно было прийти постепенно, убедившись на примере совхозов в его выгодности, было подменено Сталиным насильственной всеобщей коллективизацией), то рекомендовал кадровые изменения в руководстве партии (однако все его рекомендации были только отрицательные; ни одного из своих многолетних ближайших соратников он не нашел достойным в замену себе, и к его рекомендации снять Сталина 13-ый съезд не прислушался).

Все эти попытки Ленина приостановить – точнее, повернуть вспять – исторический процесс были обречены на провал. Даже если бы Ленин не был болен, и если бы Сталин, под предлогом оберегать его, не старался всячески изолировать его, если бы стал действительно осуществляться ленинский план кооперации и реорганизации Рабкрина, даже если бы съезд поставил вместо Сталина генсеком кого-то другого из членов ЦК, например, Кирова или Фрунзе, все равно, самое существо партии и советского строя (не того идеального, каким он должен быть, а того, каков он уже стал и есть на деле) от всего этого не изменилось бы. Разумеется, в деталях многое могло бы сложиться иначе, не обязательно должны были бы свершаться те зверские преступления, жертвами которых пали миллионы честнейших советских людей. Однако правящая каста уже успела прочно сложиться, и не могло быть и речи, чтобы она поступилась своим

привилегированным положением, своей абсолютной властью. Ленинские предложения члены ЦК встретили как причуды отставшего от практической жизни «старика», как они между собой покровительственно-развязно называли его.

И все стало развиваться с железной закономерностью. Диктатура пролетариата была подменена диктатурой партии, собственно, диктатурой даже не ЦК, а Политбюро, а вскоре – единственного диктатора. Она осуществлялась все более тотально вышеуказанными методами массового террора. Демократический централизм превратился в централизм бюрократический. Лозунг Октябрьской революции «Вся власть Советам!» давно стал пустой фразой. Советы – от сельских, городских, районных до Верховного Совета, не имеют никакой власти, ничего самостоятельно не только не решают, но и не предлагают, вся власть в руках партии. Также и профсоюзы давно перестали защищать интересы рабочих и служащих, а стали «приводными ремнями» партии, беспрекословными исполнителями получаемых от нее сверху директив.

Сама же партия превратилась в фетиш. Она – «общество содействия» выполнения решений центральных органов, на принятие или непринятие которых ее членская масса не имеет решительно никакого влияния. Рядовым членам партии дано лишь «право» голосованием одобрять эти решения. Сами партийные съезды и конференции также не являются ареной свободного обсуждения. Их состав, выступления на них, выборы руководящих органов – все предрешено заранее партаппаратом. Всякое решение партии непогрешимо. Любое указание партработника (в том числе невежды, тупицы или негодяя) – непререкаемый закон. Никакие дискуссии по вопросам партийной и государственной политики (так называемой «партийной линии») недопустимы. Даже мало-мальски критические выступления на закрытых партсобраниях (если критика выходит за пределы узкоместных недостатков или задевает поддерживаемого высшими инстанциями начальника, и то и другое встречается довольно редко) ставят выступавшего в число сомнительных, неблагонадежных. Устраиваемые крайне редко «всенародные обсуждения» каких-либо предложений парадны, фиктивны, все ведь предрешено заранее.

Осужденные партией политические и идеологические взгляды, как «антимарксистские», «право– и лево-ревизионистские», «антикоммунистические» и «антисоветские», равно как и расходящиеся с официально апробированными научные положения и теории (особенно в общественных науках, но не только в них одних) «опровергаются» в печати и в научных

обсуждениях не столько вхождением в аргументацию противника (что и невозможно, ибо вся нонконформистская литература, включая и беллетристику, находится в библиотеках в спецхранении, доступна лишь немногим по особым разрешениям), сколько методом наклеивания ярлыков и бранью. Как известно, пример этому подал Ленин, оскорблявший зачастую своих идейных противников неблаговидным опорочиванием их умыслов, не допуская, по-видимому, мысли, что они могут столь же искренне, как и он, быть убежденными в правоте своих взглядов, и их пользе революции, и просто заблуждаться.

Однако, как ни ругал Ленин тех руководящих партработников, которые расходились с ним и большинством партии по тому или по другому вопросу (забывая, кстати, что, бывало, и он сам шел против большинства), – а форма этой ругани (как и ругани критикуемых им философов) была далеко не салонной, – он не был злопамятен, и уж, конечно, не кровожадный садист. При Ленине Троцкий, Зиновьев, Каменев, Рыков, Бухарин и многие другие главари и активнейшие члены разных оппозиций и фракций, повторно осуждавшихся партией, не только не исключались из партии, а тем более не преследовались и не расстреливались, а по-прежнему оставались на самых ответственных руководящих постах в партии, в правительстве, в армии, в международном коммунистическом движении.

Сталин же упразднил ленинский принцип разрешать политические и идеологические споры в партии свободной дискуссией (после чего меньшинство должно подчиниться большинству), – и это упразднение, вразрез с торжественным заявлением о «восстановлении ленинских норм партийной жизни», остается в силе и поныне, – малейшие разногласия с ним, или даже высказанные кем-либо сомнения, превращались в «антипартийные» и «антисоветские» взгляды, искусственно создавая оппозицию, якобы устраивающую заговоры, готовящую в сговоре с иностранной разведкой «реставрацию капитализма», организующую вредительство и т. д.

Когда проверенные долголетней подпольной работой революционеры признавались на суде в своих тяжелых политических преступлениях, мы охали над тем, до чего мы, мол, были близоруки, веря, что они честные, преданные большевики. А когда исчезал близкий друг или даже брат, мы, твердо зная, что он не «враг народа», говорили себе: это просто случайная ошибка, «лес рубят, щепки летят». Мы верили, что партия и Сталин, в котором она воплощалась в нашем одураченном, одурманенном

сознании – всегда правы. И мы оправдывали, выгораживали допущенные «промахи», вроде разгула «ежовщины», – происками «пятой колонны». Мы прятались за удобную ложь: «чем ближе к коммунизму, тем острее классовая борьба», и наша советь была чиста, спокойна. Многие из нас верили во все это, находясь в тюрьмах и лагерях. Иные на суде клеветали на себя и на своих товарищей не только потому, что поверили обещаниям палачей, что этим они спасут себе жизнь и облегчат участь своих семей, но и потому, что верили, что так нужно для партии. А немалое количество из тех, кто невинно провел свыше полутора десятков лет в концентрационных лагерях, и теперь еще считает, что в общем и целом все, что тогда творилось, и что сейчас творится, – правильно, что иначе нельзя.

И все это протекало, в сущности, более или менее одинаково в партиях и странах с различной традицией, с неодинаковым экономическим и культурным, с непохожим политическим опытом, с разными навыками общественной жизни. Кто посмеет после этого утверждать, будто здесь налицо простое случайное совпадение обстоятельств, будто только злонамеренные антикоммунисты могут во всех этих «случаях» находить какую-то закономерность!

Упрямые факты опровергли лживую теорию, будто «нарушение ленинских норм партийной и общественной жизни» (этой вежливой академической завуалированной формулировкой прикрываются ни с чем не сравнимые чудовищные преступления) было единичным, случайным явлением, якобы вытекающим из исторических особенностей развития России. Будто это самодержавие, крепостничество, византизм, неграмотность и забитость народа, отсутствие самых элементарных демократических привычек, стали той питательной почвой, на которой неизбежно вырос «культ личности Сталина».

Но террористическая диктатура правящей касты не сводилась (и не сводится) к тирании «вождя» – сильной преступной личности, а представляла (и представляет) сложную иерархическую систему организованного насилия и идеологического принуждения. Утверждение, будто эти специфические российские условия были решающими, а не только облегчили происшедший процесс «извращения» социализма (на деле подменив его) и будто «культ личности» был сутью этого процесса, а не только сопровождал его, не только был производным от него, – это утверждение просто смешно. Ведь «извращения» не меньше, чем в Советском Союзе, а порой даже еще более вопиющие, проводимые с еще большим усердием (в цивилизованной Чехословакии к политзаключенным применяли

настоящие средневековые пытки – их заковывали в железо, поднимали на дыбу, их не расстреливали, а вешали), происходили и там, где не имелось никакой «сильной личности» да и вообще никакой «личности». Но зато везде действовала общая причина: существовала правящая привилегированная бюрократическая каста, – это порождение «партии нового типа», с ее аппаратом должностных лиц политиков-профессионалов.

Конечно, особая обстановка, при которой зародилась и развилась эта уродливая общественная формация, неправомерно присвоившая себе название «социалистической», действовала как катализатор. Нахождение советских войск после Второй мировой войны на территории ряда стран центральной и восточной Европы, несомненно, предопределило режим, образовавшийся в них. Бесспорно, содействовало возникновению и закреплению в них тоталитарных порядков также и монопольное положение коммунистических партий, однако сама эта монополия была также лишь производным явлением.

Когда Ленин в июле 1918 года после лево-эсеровского мятежа отверг предложение части эсеровского ЦК продолжать сотрудничество, он допустил, конечно, новую крупнейшую ошибку. Однопартийная система в СССР (или, что то же, система «национального фронта» с лишь фиктивно самостоятельными, наряду с коммунистической, другими партиями, во всех остальных «социалистических» странах) полностью ликвидировала возможность легальной политической критики руководства. Это, впрочем, позднее признал сам Ленин, призывая к «самокритике», конечно, тщетно. Тем самым ускорилось и усугубилось господство тоталитаризма.

Однако при всем этом заблуждаются те, кто усматривают в многопартийности панацею от социального неравенства и несвободы. Как показывает многолетний опыт Англии, Франции, США и других стран, существование нескольких политических партий, безразлично коалиционно-правительственных или оппозиционных, хотя и служит известным тормозом перехода к тоталитаризму, – не препятствует тому, чтобы в каждой из них верхушка не разлагалась, не стала возносить свои корыстные интересы выше интересов народа.

Итак, если люди вообще в состоянии осуществить справедливый социальный порядок, то единственно при условии, что при нем не будет больше существовать экономически и политически привилегированной группы управляющих, для которой политическая деятельность является профессией, постоянным пожизненным занятием, материальным источником существования.

Признаюсь, жгут меня эти вопросы. Я слышу их все время, даже сейчас, когда сижу один в комнате.

А нам как жить сейчас?

Но что делать? Я ведь не собираюсь выступать в роли мессии. Все эти «спасители», все без исключения, не смогли принести уничтожения зла на земле и торжество «царства божьего». Все они оказались так или иначе лжепророками. Зачем мне умножать их число? Я могу сказать разве только что, по моему мнению, должно быть, но не смог придумать, как этого добиться. И к этому я в состоянии добавить только одно.

Если тебе не хватает сил активно бороться, противиться, то, по крайней мере, не поддерживай, не подпирай своими плечами этих сталинских последышей. Пробуди в себе, найди в себе силы хотя бы не помогать им. Пускай не гласно, не открыто, если не можешь. Хотя бы внутренне. И хотя, конечно, наше с тобой молчание тоже опора лжи и подлости, но ты оставайся хоть самим собой, не сдавайся внутренне, не продавай своей души дьяволу. И уже это будет твоим положительным, пусть и маленьким делом, твоим крохотным вкладом в то Сопротивление, которое непременно в конце концов победит.

Вражище

Давно пора продолжить повествование о происшествиях. Итак, об инсценировке моего ареста. Утром 26 сентября, когда мы еще сидели за завтраком, раздался телефонный звонок. Женский голос сказал, что это говорит секретарь Копрживы, председателя комиссии партийного контроля ЦК. Он, дескать, просит меня заехать к нему, за мной сейчас придет его машина. Меня, правда, удивила такая спешка, – ведь было воскресенье, – но никакие подозрения у меня не возникли. И действительно, скоро пришла машина, к нам зашел незнакомый человек, я захватил с собой портфель с копией моей злополучной статьи, и мы поехали.

Остановились в нашем же дейвицком районе перед какой-то виллой, зашли в нее. И тут сопровождавший меня заявил, что он сотрудник госбезопасности (никакого удостоверения не предъявил), и объявил (опять-таки без предъявления ордера), что я «задержан» (не арестован). Я должен буду оставаться здесь, чтобы я не смог распространять свои взгляды, впредь до возвращения Готвальда. Вилла эта до недавнего времени принадлежала сбежавшему национал-социалистскому министру Рипке, мне здесь будет хорошо. Да, он спросил еще, нет ли у меня с собой оружия. И поверил моему отрицательному ответу, не стал обыскивать. Сторожить меня он поручил двум довольно сонным молодцам в штатском. Я попросил бумаги и написал записку, с тем, чтобы он передал ее Кате. Это он сделал. В ней я сообщал Кате, что произошло недоразумение, я временно задержан, но все в ближайшее время выяснится, а Адюше пусть скажет, что я в командировке. И тут же я написал письмо в ЦК, в котором просил выслушать меня, но на него, понятно, не реагировали.

В тот же день изолировали и Катю вместе с девятилетней Адюшей, применив также наглый обман. Спустя какой-нибудь час после того, как увезли меня, к ним на квартиру явились два человека, «деликатно» оповестили Катю, будто с моей машиной случилась авария, но я отделался только легкими ушибами, нахожусь в больнице и прошу Катю и Адюшу прибыть ко мне. Они, конечно, тут же с ними поехали (не трудно догадаться, в какой тревоге), и они отвезли их на загородную дачу, оставив стеречь их, кроме вооруженного штатского у двери, еще и «опекавшей» их женщине, настоящей фурии. А через 16 дней их отправили на машине в Вену, а оттуда специальным самолетом в Москву, без вещей, так, в чем они были взяты из дому. Но тут уже начинается Катина мучительная эпопея, о которой расскажу в дальнейшем.

Не будь волнующей мысли, что Катя беспокоится обо мне (моя судьба меня не волновала, так как я питал иллюзию, что с приездом Готвальда мой необоснованный «домашний арест» кончится), я не мог быть особенно недовольным своим пребыванием в этой вилле. Они приносили мне из ресторана хорошую пищу, к обеду даже кружку пива. Причем я только первые два дня оплачивал это, а потом у меня иссякли деньги. Сразу же постелили мне свежее белье и купили мыло, зубную щетку и пасту. В моем распоряжении была библиотека министра с множеством прекрасных книг, чешских и иностранных. Я свободно гулял в саду виллы, и меня так небрежно стерегли, что если бы я только захотел, то смог бы сбежать, причем сразу в американское посольство, расположенное напротив, на противоположной стороне улицы.

На пятый или шестой день появился тот же сотрудник госбезопасности и заявил, что Готвальд вернулся и вызывает меня. Я опять захватил с собой свой портфель со статьей, и мы поехали, но не в резиденцию президента, а за город. Как только мы выехали за пределы города, мой провожатый велел мне пересесть в другую машину, которая нас тут ждала. В ней сидели двое советских военных (это были сотрудники НКВД, но я не знал, что это им присвоен голубой цвет петлиц и околыша фуражки, точь-в-точь как было у царских жандармов). Мы поехали в Рузынь на аэродром, и там они сели вместе со мной в готовый к отлету самолет «дуглас». В нем уже находился какой-то арестованный советский офицер в наручниках, и другой, стерегший его. Но меня везли без наручников, и вначале даже позволили заглянуть в имевшийся у них свежий номер «Руде право», но тут же опомнились и отняли его у меня. Из него я все же узнал, что Готвальд в самом деле уже вернулся. Не думал я тогда, что отныне долго не увижу печатного слова.

В Москве мы приземлились на Ходынке. Меня встретил полковник, представившийся как Россыпинский, и сказал, что мы поедем в ЦКК. И я поверил ему! Он усадил меня рядом с собой в машину, отличавшуюся от других лишь тем, что на ее окнах были занавески. Сквозь них я с любопытством следил за знакомыми улицами, за снующими по ним в привычной спешке, типично, то есть некрасиво, одетыми москвичами. Я поразился, увидев милиционеров в новой, мрачной форме, черной с красным. Как две капли воды она была похожа на ту, которую я видел когда-то до революции на городовых. У меня даже мелькнула безумная мысль, не произошел ли здесь контрреволюционный, фашистский переворот? Тогда было бы понятно, что я арестован… Но, вот мы уже на Театральной площади, поднимаемся к площади

Дзержинского. Но не сворачиваем вправо на Старую площадь, где ЦК и ЦКК, а въезжаем во двор страшного здания. Черные железные ворота с шумом закрываются за нами. И, не говоря ни слова, меня куда-то вталкивают.

Куда это я попал? Высоко надо мной ослепительно светится забранная в проволочный колпак лампа. Я в каком-то металлическом ящике, выкрашенном в серый цвет, вроде наглухо закрытой кабины лифта, с глазком в дверях. Она настолько тесна, что удается только стоять в ней или сесть на пол на корточки. Нестерпимо воняет карболкой. Дверь открылась, в проеме стоит солдат и кричит: «Раздевайся!» Снимаю пальто. Но он требует: «Скидай все, догола, быстрей!», и матюкается. Я раздеваюсь, и он уносит все мои вещи, конечно, и часы, и портфель.

И тут появляется второй солдат, и начинает осматривать меня, под мышками, заглядывает в промежности, между пальцами ног, приказывает нагнуться вперед и раскорячиться, руками самому раздвинуть ягодицы, и смотрит в задний проход. Потом он велит раскрыть рот и лезет в него своими пальцами, требует, чтобы я вынул протез. Я объясняю ему, что этого сделать нельзя, – у меня он был тогда намертво вставлен в альвеолы десен. Но он, конечно, не верит, пытается насильно вырвать его, и безобразно ругается.

Наконец, он все же уходит, оставив меня, голого, в покое. Через какое-то время мне возвращают мою одежду, но в каком состоянии! Вся она скомкана, пропахла дезинфекцией, все швы вспороты, пальто, галстук и пояс отсутствуют. На чем будут штаны держаться? А еще позже сунули в руки 200 грамм черного хлеба, похожего на замазку, и солдатский котелок с теплой мутной водой, должно быть, представляющей чай! Вот в этом «боксе» (почему-то, как я позже узнал, это гуманное помещение так называли по-английски «box», то есть коробка, ящик, сундук) я простоял до следующего дня, спал, скорчившись, опираясь на стену.

Все это время я пребывал в каком-то полузабытьи. То впадал в тяжелую дрему от усталости, не столько физической, сколько психической, то мучился страшными мыслями, вопросами, на которые не находил ответа. Что станет со мной, с Катей, с моими детьми? Зачем этот обыск? Чего они искали – напильник, что ли, капсулу с ядом, какую-то записку? Не для того ли все это, чтобы унизить человека, заставить его сразу же понять, что он червь, полностью в их власти? Это была моя третья тюрьма, и я не мог не сравнивать. Ни в той, пересыльной, Керенского, ни в германской, каторжной, ничего подобного не было. Возможно, что так обращались с узниками Шлиссельбургской крепости или с

каторжниками Нерчинска. Но я иногда почитывал издававшийся в Москве в двадцатых-тридцатых годах журнал «Каторга и ссылка», там писали об истязаниях, избиениях и даже убийствах заключенных, но я что-то не мог припомнить, чтобы к ним применяли изощренные методы втаптывания в грязь человеческого достоинства. И даже если так и было, то ведь это были царские застенки, но я-то в советской тюрьме, и вдобавок еще и не осужден! Подлыми клеветниками считал я всегда тех, кто как Андре Жид в своей книге «Возвращение в СССР» твердили о бесчеловечности советского правосудия. И что же выходит? Как же это так?

Назавтра (но, возможно, что прошло больше времени, ведь часов у меня уже не было, я не мог заметить смену дня и ночи, то и дело впадая в беспамятство, да и вообще, умея неплохо ориентироваться в пространстве, я зато не обладаю чувством времени), меня повели из бокса в камеру. В двух шагах позади меня шел стрелок с винтовкой, с примкнутым штыком наготове. Я должен был держать руки заложенными за спиной. Так мы сначала поднялись на третий этаж на лифте, а потом зашагали по извилистым, казавшимися мне нескончаемым лабиринтом, коридорам. Мой конвоир то и дело громко пощелкивал пальцами, для того, чтобы не допустить встречу с другими заключенными. Заключенный не должен знать, кто содержится в тюрьме. Поэтому во всех коридорах, на некотором расстоянии друг от друга, имелись боксы. Туда конвоир запихивал своего заключенного, на время, пока не прошел другой.

Вот и камера. Несмотря на то, что ее единственное окно высоко, и что оно в густой решетке, и еще больше чем наполовину закрыто металлическим щитом, «намордником», в ней довольно светло. Дневной свет проникает сюда, по-видимому, камера выходит на южную или восточную сторону. В ней две койки, привинченный к полу столик, два стула. Молодой человек интеллигентного вида, в приличном, хотя и помятом, как и у меня, костюме, назвался по имени-отчеству, которые я не запомнил. Он очень словоохотлив и любознателен. С готовностью, без спроса, рассказывает о себе. Он финансист, его посадили потому, что накануне предстоящей денежной реформы выдал эту государственную тайну жене. А та разболтала своей подруге, которая поспешила выбрать все свои вклады из сберкассы и начала в комиссионных и ювелирных магазинах скупать разные ценности. И он ищет у меня сочувствия, и то и дело задает мне вопросы, пытаясь «прощупать» меня. Но делает он это аляповато, и я или угрюмо отмалчиваюсь, или отвечаю ничего не значащими фразами. Наученный опытом из Бреслау,

знаю, что в тюрьмах, к новичку, подсаживают «кукушку», провокатора.

Здесь меня держали двое или трое суток, не вызывая на допрос, между тем, как моего компаньона тревожили каждую ночь. За это время я усвоил кое-какие здешние порядки. Узнал, что днем не разрешается ложиться (а некоторые надзиратели не позволяют даже и сидеть на койке), стал вновь привыкать к яркому ночнику, светившему всю ночь, к периодическому позвякиванию заслонкой «волчка» (глазка), открываемой наблюдающей за нами из коридора стражей, учился спать с руками поверх одеяла (прятать их не разрешалось). Эта камера, как я понял позже, была какого-то высшего класса. На койке имелся хоть и тонкий, но все же матрасик, простыня, пододеяльник и наволочка, пусть и застиранные, но не до предела, сама подушка, правда, жиденькая, но все же перьевая, легкое одеяльце, не рваное. Вообще оказалось, что даже здесь в тюрьме действует существующая во всем советском обществе иерархическая система. Имелись даже камеры «люкс». В одной из них я провел свою последнюю тюремную ночь. А еще раньше мне кто-то из моих кратковременных сокамерников рассказал, будто в такой «роскошной» камере содержат монгольского бодогэгэна (теократического императора). Некоторых особо привилегированных арестантов кормили из столовой своих сотрудников, а другим разрешали выписывать за свои деньги булки, масло, колбасу, сыр и сахар, для улучшения питания.

А питание было просто отвратительное. Утром выдавали двестиграммовую пайку черного хлеба-замазки с тремя кусками сахара – все это на весь день, и еще жестяную кружку уже описанного «чая». На обед котелок кислых щей или супа из камсы – мелкой рыбешки. На крышке котелка лежала каша, чаще всего просяная, «сдобренная» каплей прогорклого масла, но иногда попадались в ней обрезки жил, и даже мяса. Ко всему этому полагалась жестяная ложка, которую вместе с посудой после обеда, конечно, отбирали. Вечером был такой же «чай», как и утром. В углу камеры стояла параша. Ее мы вечером вдвоем уносили выливать в уборную, которая служила также и умывальней. Туда нас пускали умываться по утрам. И еще ежедневно нас водили на прогулку. Для этого выдавали бушлат, поднимали на лифте на самый верх. Она происходила на плоской крыше, со всех сторон обнесенной высокими жестяными стенами, между трубами, из которых валил черный дым и вырывалась сажа. А снизу, с площади, доносились сюда веселые автомобильные гудки. Кроме нас, двоих заключенных, молча гуськом вышагивающих на этой площадке, руки за спиной, здесь с

нами ходили также двое солдат с винтовками, ощетинившимися штыками, прогулка длилась минут двадцать-тридцать и происходила при любой погоде.

Но вот однажды ночью, едва я начал засыпать, меня разбудил надзиратель окриком: «На допрос!» И я с облегчением подумал, что, наконец, узнаю, какое мне предъявляют обвинение. Опять эта процессия по лабиринту коридоров, но теперь в кабинет следователя. Он сидит за письменным столом, позади него несгораемый шкаф, здесь еще маленький столик и стул, как видно, для допрашиваемого. Следователем оказался тот же полковник Россыпинский. Хотя, не тот же, словно его подменили. Тогда, на аэродроме, он вел себя прилично, а теперь, что ни слово, то мат. Я вначале назвал его «товарищ полковник», а он: «Я тебе, сволочь, вражище, не товарищ!», и тут и пошло. Он не предложил мне сесть, и начал «допрос», конечно, с анкетных данных. Когда дошло до национальности, и я сказал, что я чех, то он заявил: «Врешь, еврейчик, какой же ты чех. Ты, Авраамово отродье, забыл, что сам в одной анкете написал, что твоя мать была еврейка». (На столе перед ним лежала целая кипа документов, каких-то моих «дел»). Я пытался объяснить ему, что по сталинскому определению нации, я, чей отец был чех, и чьи родной язык и образование чешские, должен считаться чехом, да где там! Иначе как отборной руганью он не реагировал. А ведь на груди он, кроме орденских колодок, носил ромб, значок окончания военной академии.

Я стоял, ноги подкашивались, а он неспеша, с большими паузами, записывал мои «показания», велел принести себе чай с бутербродами, всласть ругался и издевался надо мной. Только к утру он дал мне подписать протокол, и меня увели, но в другую камеру. По-видимому, он убедился, что его «кукушке» из меня ничего не вытянуть.

Это была одиночка, в которую настолько мало снаружи проникало света, что яркая лампа освещала ее с утра до вечера. Как водится у всех узников, я, редко присаживаясь, целыми днями вышагивал взад и вперед, как тигр в клетке, по своей небольшой камере, и все думал, думал.

Может быть, я совершил ошибку, чего-то не понял, не учел, рассуждал чересчур отвлеченно? Но ведь я был убежден, что действую исключительно только в интересах партии! Неужто, если я заблуждался, то должен так тяжело поплатиться за это? Но тут мне вспомнились все эти многочисленные «уклонисты», оппозиционеры правые и левые. Ведь они тоже субъективно были убеждены, что действуют в интересах партии или, по крайней мере, твердили это, – а оказались «врагами народа» и понесли за

это самое суровое наказание. И я содрогался – что же будет со мной, что с Катей, Адой, Вячеком, Эрмаром, Эликом? На мои попытки узнать от следователя, что с Катей, а также в чем меня обвиняют, он только обложил меня отборной площадной бранью и заявил, что здесь лишь он имеет право задавать вопросы.

Но я твердо решил не поддаваться отчаянию, прибегнуть к тому же методу, который уже дважды спасал меня в одиночке: придумывать различные математические задачи, а затем пытаться решить их. Правда, поступать так здесь было значительно труднее, чем там. В германской тюрьме в моем распоряжении находились бумага и карандаш, а в иваново-вознесенской хотя бы черная стена печки и обломки штукатурки. Между тем как теперь я должен буду все вычисления проводить только в голове. Но, пожалуй, так еще лучше. Это потребует большего напряжения, а потому и станет отвлекать меня от навязчивых дурных размышлений. Хуже, намного хуже другое. Тогда я знал, что мое «преступление» – это борьба против классового врага, против империалистической войны в первом случае, против германского капитализма во втором. Сознание того, что я борюсь за справедливое дело, крепко поддерживало меня, я даже гордился собой. А сейчас? Меня держат в тюрьме свои же, считают врагом, не хотят верить в мою искренность, в мою преданность партии, в мои лучшие намерения. Сознание этого снедает, грызет меня.

Так нескончаемой вереницей тянулись дни, ничем не отличаясь друг от друга. Теперь, ночь что ночь меня вызывали на допрос, я до самого утра должен был стоять перед этим извергом-садистом, и подробнейшим образом рассказывать свою биографию, начиная чуть ли не с детства. В этом состоял весь «допрос». Никаких обвинений следователь мне не предъявлял, про мое пражское выступление даже не заикнулся, но зато обзывал меня то троцкистом, то американским шпионом, то английским разведчиком, то даже агентом Ватикана! Все это показалось мне настолько глупым и забавным, что я не выдержал и заявил «гражданину следователю», что он ошибается. Моя настоящая фамилия не Кольман, а Шикльгрубер, я – двоюродный брат Адольфа Гитлера. Тут даже этот остолоп понял, что я издеваюсь над ним, и замахнулся кулаком на меня. Однако не ударил, а только стал угрожать карцером, то есть тюрьмой в тюрьме. Но в карцере я не побывал. И вообще должен сказать, что меня ни разу не били, а только угрожали битьем, и не пытали иначе, как «только» этой бессонницей, стоянием на ногах и психически.

Проходили недели, а, может быть, месяц или два. Их монотонность разнообразили только баня и борьба с клопами. В

баню, находившуюся в подвале, меня водили еженедельно, выдавали кусочек зеленого, мажущегося мыла. Мыться горячей водой было подлинным наслаждением, однако оно омрачалось тем, что приходилось потом надевать то же грязное белье. Что до клопов, то они были единственными живыми существами, кроме тюремщиков, которые здесь водились. Не только блох и вшей, как в лагерях военнопленных, но даже мух здесь не было. Хотя нет, раз я в одной из камер имел соседа – большого паука-крестовика, и с увлечением наблюдал за его повадками. Но зато эти клопы-монополисты как следует изводили заключенных.

Россыпинский все чаще и все властнее стал требовать, чтобы я, среди лиц, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться по работе, назвал ему тех, что вели антисоветские разговоры, занимались подрывной деятельностью, шпионажем или вредительством. Я, естественно, повторял лишь одно: что с такими людьми никогда и нигде знаком не был. Это мое упорное нежелание выдумывать ложные доносы, пусть и на давно умерших, доводило Россыпинского до белого каления. Но я сказал, что и за теми, кто были впоследствии разоблачены как враги, вроде Зиновьева, Рыкова, Радека или Бухарина, Угланова или Иванова, хотя мне довелось неоднократно беседовать с ними, я не замечал абсолютно ничего враждебного партии и советской власти.

Тут я, видимо, превысил всякую меру. На следующем допросе Россыпинский заявил, что я сам подписал свой смертный приговор. Если я немедленно не опомнюсь и не назову фамилии врагов, меня повесят. А так как я никого назвать не мог, он вызвал звонком стражу и мы спустились в подвал, он с нами. Здесь, в середине просторного, знакомого предбанника, на сей раз стояла виселица. Вполне настоящая, с болтающейся солидной веревкой, свисающей с перекладины. Но хотя тут же на табуретке сидел какой-то верзила, который прекрасно мог сойти за палача, хотя вся эта сцена в полумраке вызывала во мне ощущение кошмара, жути, все же она показалась мне слишком театральной. Мне не верилось в ее реальность, я все еще был убежден в силе советской законности, в том, что без суда меня не смогут казнить. И в данном случае я, как видите, оказался прав. Все обернулось пошлой комедией. Россыпинский орал, что он дает мне последний шанс, я упрямо молчал, и… меня увели обратно в камеру, а его я уже больше никогда не имел счастья увидеть.

Следователь был теперь другой, полковник Путинцев. Судя по значкам-ромбикам, он кроме военной, окончил юридическую академию, и не походил на того невежу и грубияна. Ко мне он обращался на «вы», не сквернословил, не заставлял меня стоять,

спрашивал о моем здоровье, и в первый раз, пока не узнал, что я некурящий, предложил мне папиросу. Я, понятно, понимал, что все это лишь другой, более «тонкий» подход, и задавался вопросом, какой из обоих следователей более типичен.

Допрос он начал с того, что дал мне бумагу, ручку и чернила, и велел составить список всех без исключения людей, советских и иностранцев, которых я когда-либо знал, не пропуская никого. На мое возражение, что это невозможная вещь, он требовал, чтобы я силился вспомнить, чтобы вспоминал, когда вернусь в камеру, что буду продолжать пополнять этот список в будущие разы. Что ж, я взялся за этот нелегкий труд, показавшийся мне, несмотря на свою абсурдность – кто в состоянии вспомнить всех людей, с которыми встречался на протяжении всей жизни? – даже увлекательной игрой, и поставил во главу списка… Ленина.

Кто только ни значился в этом списке, занявшем множество листов, на составление которого ушла уйма ночей! Я писал, мой следователь листал дела, а по временам начинал дремать, чем и я пользовался, чтобы малость прикорнуть. Наконец, я закончил этот список и не был в состоянии, как ни старался, выжать из своей памяти больше ни одного имени. Тогда Путинцев начал спрашивать по очереди про каждого в отдельности. Кто это, при каких обстоятельствах встречались, о чем вели беседы. Моя встреча с Лениным его, вероятно, заинтересовала, надеюсь, не как следователя. Мне помнится, что когда дошло до Троцкого, Путинцев предложил мне подробно изложить суть троцкизма, и я к своему удивлению убедился, что его, окончившего две академии, политические познания были довольно поверхностны. А когда встретилась фамилия Эйнштейна, я, по желанию Путинцева, охотно прочитал ему популярную лекцию о теории относительности.

Однако эти «мирные» отношения между нами не изменили ничего в том, что на мои настойчивые повторные вопросы о моей семье и моем будущем, я по-прежнему не получал ответа. В этот «спокойный» период, длившийся около полутора лет, допросы по нескольку ночей подряд прерывались на несколько суток, когда мне давали спать.

Однажды, может быть даже для того, чтобы я окончательно не захандрил в одиночке, меня на неделю перевели в двухместную камеру. В ней находился известный ленинградский профессор-геолог, дряхлый, больной старик, лет 75, беспартийный, аполитичный. По его словам, его посадили за «вредительство», за то, что где-то там, в северо-восточной Сибири, где он, по своей теории, предсказывал нефть, ее при бурении, обошедшемся в большие суммы, не оказалось. Он

утверждал, что нефть там, однако, обязательно должна быть, но что бурение прекратили слишком рано, и работы вообще велись недобросовестно. Он подозревал, что не обошлось без козней его научного противника, давно пытавшегося занять его место. С увлечением подлинного ученого, он излагал мне свою теорию, но хотя она казалась мне разумной, и сам он в здравом уме, я, не геолог, и не психиатр, не мог судить, не стал ли он просто жертвой мании.

Но меня перевели обратно в одиночку, и мы со следователем постепенно, шаг за шагом, прошлись по всему этому длинному списку. И на этом кончилась моя тюремная идиллия. Когда Путинцев, после очередной паузы, вызвал меня снова на допрос, он ошеломил меня совершенно неожиданным маневром. Не говоря ни слова, положил передо мной отпечатанный на машинке «протокол» моих «показаний». А потом сказал: «Прочтите и подпишите!» Это была всего одна страница, но какая! Я не верил своим глазам. Фантастический бред, в котором я уличал Молотова в заговоре против Сталина, в намерении захватить власть в свои руки. Я не мог сдерживать своего негодования: «Как вы могли приписать мне то, чего я никогда не говорил, и не мог говорить такого вздора, такой лжи!» На это он невозмутимо, своим обычным ровным голосом, стал уговаривать меня: «Успокойтесь, нам про Молотова все равно все давно известно, он сам уже во всем сознался, вам нужно только подтвердить это. Поставив свою подпись, вы поможете партии, и этим докажете, что вы в самом деле настоящий коммунист, как утверждаете. И тогда, возможно, вам простят ваши преступления. А если откажетесь, ну что же, тогда пеняйте на себя. Мы раздавим вас, как бог черепаху, сгноим вас и все ваше отродье. Примерно так он увещевал меня. Но как он ни грозил, как ни соблазнял меня, подписать это я наотрез отказался.

И такое теперь неизменно повторялось на каждом допросе, но только фигурировали все новые фамилии. Тут были Каганович, Ворошилов, Микоян, Хрущев, Пик, Куусинен, Готвальд, Дюкло, Тольятти, Фирлингер и Неедлы, но были и другие, вроде Гендриха и Коуцки, президента АН Вавилова, физиков Иоффе и Капицы, философов Митина и Юдина, из наших друзей – Виктор Колбановский, Арзамасцевы и Карповы, да разве всех упомнишь? Каждый из них оказывался «врагом» и обходился мне не меньше, чем в одну бессонную ночь. Одним приписывались заговорщические происки, преступная связь с заграницей, с иностранной разведкой, другим – распространение враждебной пропаганды, антисоветские анекдоты. И обо всем этом я, якобы, знал, и теперь, раскаявшись, сообщал.

Чтобы оказать на меня моральное давление, Путинцев выискивал в моих «делах» случаи, якобы компрометирующие меня. Такими были, например, мой разговор с Островитяновым, в номере свердловской гостиницы о Большом театре, или мое письмо Тухачевскому с просьбой оказать содействие одному военному изобретателю, где я упомянул о нашем знакомстве по 5 армии, и другие. В первом случае налицо была «вражеская критика культурной политики партии», во втором – «личная связь с врагом народа». Так я узнал, что даже у таких сравнительно второстепенных партийных работников, каким был я, систематически подслушивались их телефонные разговоры, к ним приставлялись «осведомители», на них было заведено «на всякий случай» досье, содержащее копии их служебной и частной переписки.

Нелепость домогательств Путинцева была очевидна. Но как же это он, юрист, не сообразил, что подписавшись, я признал бы себя соучастником этих «преступников», что я не могу не понимать этого. Или он считал меня круглым идиотом? Если даже не элементарная честность, то инстинкт самосохранения не мог позволить мне подписывать эти дикие, ложные доносы. Это я, наконец, высказал ему открыто. И, к моему удивлению, он не рассердился, а заявил, что я рассуждаю вполне логично, но что я большой хитрец! И, вероятно, решил в этом нашем поединке прибегнуть к другому, более действенному оружию.

На второй же день после этого нашего «милого» разговора, меня в «черном вороне» перевезли в другую тюрьму. Как мне впоследствии по моему описанию объяснили товарищи, это была военная тюрьма строгого режима в Лефортове, расположенная как раз напротив того военного училища, в чьем манеже я выступал в канун 1918 года. Тюрьма была построена по американскому образцу, внутри напоминала пароход. Коридоров в ней не было, их заменяли железные помосты, этажи соединялись железными открытыми лестницами, забранными проволочной сеткой, чтобы заключенные не могли, бросившись вниз, покончить с собой. Понятно, что эта тюрьма непрестанно так и гудела от гулких шагов караульных.

Меня поместили в крохотную камеру-одиночку на самом верхнем этаже. В ней пахло сыростью, стены, потолок и даже пол были выкрашены в черный цвет. Снаружи, через маленькое, находившееся под самым потолком окошко, свет почти не проникал сюда. Зато никогда, даже ночью, не гасла ярчайшая лампа над дверью.

В этой тюрьме надзиратель не входил в камеру и не открывал дверь даже при выдаче пищи (она была еще хуже, чем на

Лубянке), а просто совал котелок заключенному через большой волчок, как зверю. И ко мне обращались только рявкая. Прогулка происходила во дворе, где были построены своего рода «загоны», как для скота. Я пробыл в лефортовской тюрьме всего две-три недели, но заметил, что у меня явно начал ухудшаться слух. На допросах мне теперь часто приходилось переспрашивать, просить следователей повторить вопрос и, конечно, они на меня набрасывались: «Притворяешься!» Здесь меня допрашивали всегда два следователя сразу – какой-то полковник и капитан. Показывали фотографии сплошь неизвестных мне лиц, и требовали, чтобы я опознал их. И когда я заявлял, что не знаю их, грозились устроить очную ставку, но так никакую и не устроили.

Ворвань и воля

Когда меня вернули на Лубянку, все продолжалось по-прежнему. Я опять сидел в одиночке. Путинцев то многие ночи подряд изводил меня допросами, требуя, чтобы я клеветал на других, то оставлял меня целыми неделями в покое. Однако изменилось одно – питание. Теперь меня ежедневно стали угощать в обед жирнейшим супом, в котором плавали большие кубики желтоватого жира, сала. Запах и вкус этого супа были настолько омерзительны, что в первый раз меня чуть не стошнило даже от одной ложки. Я не стал его есть и вылил в парашу. Но постепенно голод взял свое, я привык и даже был рад этой горячей сытной пище.

Однако последствия – правда, не те, на которые рассчитывал следователь, не преминули сказаться. У меня начались невыносимые боли, спазмы, я заболел острым воспалением не то печени, не то желчного пузыря, не то желчепроточника. Диагноза никто не ставил, никто меня не лечил, и это вредное питание не отменили. Лишь в тех случаях, когда я, корчась от приступов боли, истошно кричал, в камеру приходил тюремный врач и впрыскивал мне дозу морфия, после которой я засыпал. Оказывается, это меня кормили ворванью – китовым, дельфиньим, моржовым или тюленьим жиром. Как мне потом объяснил один прекрасный профессор-токсиколог, в таком жире содержится вещество, которое, подобно пентоталу, применяемому американской криминалистикой, действует на мозг, ослабляет человеческую волю. Но у меня этот яд подействовал не на волю, а «засел в печенки».

Я проболел около года, и организм взял свое, сам, без лекарств, как-то скомпенсировался, и ни приманкам, ни устрашениям Путинцева я не поддался. Однако летом прошлого, 1973 года, я проболел 3 месяца печенью, из них 2 в больнице.

Только я успел поправиться, как Путинцев организовал для меня новую «экскурсию». Меня опять посадили в «черный ворон» и повезли, на сей раз ночью, куда-то далеко за город, в другую тюрьму (должно быть, Сухановскую), еще более суровую, чем Лефортовская.

Продержали меня здесь дней десять, и за это время ни на допрос, ни на прогулку не водили. А после того, как меня снова водворили «домой», на Лубянку, Путинцев вновь принялся за свои бесполезные домогательства. Признаюсь, я удивлялся его упорству, терпению и выдержке (он только один раз пригрозил, что побьет меня, и показал чем – обрезком шины, который

хранился у него в шкафу).

Не иначе как следственная часть МГБ выработала единый шаблон – стандартный репертуар, который надлежало следователям разыгрывать со своими подследственными. Придерживаясь этого предписания, Путинцев допустил, однако, ошибку. Он не проверил, не поторопился ли Россыпинский, не успел ли и он уже пойти на меня с психической атакой, одним из наиболее эффектных номеров этого репертуара. Одним словом, Путинцев водил меня в тот же предбанник к свисающей с виселицы петле, но, понятно, я теперь лишь посмеивался в душе над этой инсценировкой. А когда она кончилась, я не пощадил своего «приятеля» и обратил его внимание на допущенную им оплошность. Что ж, и в большом механизме случаются маленькие перебои…

А в конце лета или начале осени 1951 года меня вызвали на допрос днем. Через внутренний проход привели в здание министерства, и по его светлым, устланным коврами коридорам, в большой кабинет. Грузный, сидевший там дядя в штатском, как ни странно, представился – начальник следственной части Рюмин. Он рассматривал меня с любопытством, и что было вдвойне странно, велел принести для меня настоящего крепкого чаю с лимоном и бутербродами. Он выждал, пока я справился с этим царским угощением, после чего начал расспрашивать – вы подумайте, о чем – какая бывает в это время в Праге погода, принято ли там носить галоши, и разные бытовые пустяки.

Вскоре после этого моего приятного «визита» к столь высокому начальству, который показался мне нелепым – было понятно, что Рюмин собирался в Прагу, но разве он не мог получить метеорологическую информацию более надежную, чем от меня? – меня из одиночки перевели в общую, четырехместную камеру. Там уже сидело трое: дважды Герой Советского Союза, генерал армии Гордов, актер Еврейского театра Зускин и один подполковник-пилот.

Имя Гордова рядом с именем маршала Конева я прочитал на мемориальной доске, укрепленной на Старой Ратуше в Праге, – золотыми буквами они там значились ее освободителями. После войны Гордова назначили начальником всей пехоты Советской Армии. И посадили его за то, что по вопросу ее реконструкции он категорически возражал против, по его убеждению, несуразного проекта самого Сталина. Гордов произвел на меня впечатление человека непреклонной воли, упрямого и крутого. Он не сомневался, что его ожидает расстрел, но относился к этому абсолютно хладнокровно, шутил: «Надо ликвидировать недосып». Скоро его от нас увели «на допрос», и как мне стало позже

известно, здесь же в подвале расстреляли.

Зускина посадили как знавшего слишком много о том, до чего подло был убит его ближайший друг, гениальный актер Михоэлс. Предчувствуя свою скорую смерть, – у него то и дело повторялись тяжелые сердечные приступы, и он, как я потом узнал, действительно здесь же в тюрьме скончался, – Зускин рассказал нам, как в Минске, куда Михоэлс наведался, подстроили, чтобы он поздним вечером пешком возвращался к себе в гостиницу, и раздавили его грузовиком. Ведь Михоэлс был председателем Еврейского антифашистского комитета, из многочисленных членов которого уцелел только один Эренбург. Несмотря на то, что Зускин так тяжело болел, этот добросердечный и по своей природе веселый, общительный, очень подвижный человек, старался развлечь нас. Будучи блестящим мимом, он представлял различные миниатюрные сценки, изображая портного, «холодного сапожника», шофера навеселе, ловящего бабочку мальчика.

Наконец, третий мой сокамерник, пилот, сидел вот за что. Когда война окончилась, высокопоставленные советские военачальники сплошь да рядом стали вывозить из Германии, особенно из юнкерских поместий Восточной Пруссии, лично для себя богатую обстановку. Понятно, для этого они пользовались военным транспортом, вагонами, грузовиками, самолетами. Так, по словам пилота, поступил и его генерал, начальник большого подразделения тяжелых бомбардировщиков. Его, пилота, самолет, он велел нагрузить «своей» добротной мебелью – «но, правда, там было и несколько вещей для меня; как же мне было не воспользоваться, такую у нас ни за какие деньги не достать» – чистосердечно сознавался нам пилот. На это мародерство в Москве долгое время закрывали глаза, но потом, внезапно стали строго преследовать. И, как на грех, наш пилот попался именно в этот момент. А его генерал стал начисто отрицать, что давал ему приказ, благо устный, без свидетелей, и ему поверили.

«Свято место пусто не бывает». Как только от нас увели Гордова, сразу же его место занял 25-летний еврейский парень, уроженец той части Белоруссии, которую в 1939 году Сталин оторвал от Польши. Этакий забитый, робкий, совсем детский, огненно-рыжий, неуклюжий малый, с неизгладимыми местечковыми привычками, и неправильной, смешной русской речью. Уже больше трех лет его таскали по разным тюрьмам, обвиняли в национализме. В чем именно состоял этот национализм он, которого после окончания «хедера» сразу отдали в ученики к шорнику, и который совершенно не разбирался в политике, никак не смог объяснить. Зато он рассказал нам

красочно о тех невероятных бедствиях, которые терпело нищее еврейское население в панской Польше, потом при бегстве от поголовного истребления гитлеровцами, затем от Красной Армии, гонявшей беженцев обратно на Запад, и, наконец, о начавшихся в 48 году массовых репрессиях евреев. Он был религиозен, молился вставая и ложась, и перед каждой едой. Страдал от того, что вынужден был есть не кошерную, а «трейфе» еду, не отвечающую предписаниям еврейского ритуала. Вспоминал свою маму, двух сестер, маленького брата и невесту, переходил при этом на идиш, и, не стесняясь нас, горько всхлипывал. С этим юношей, которого, как на зло, звали Хаим (прекрасное имя, означающее на иврите «жизнь», но которым русские антисемиты глумятся над «жидами»), я упражнялся в своих знаниях ивритом. Он знал его хорошо, но в польско-литовском, ашкеназийском произношении, резко отличном от моего, звучного сфардийского.

От своих сокамерников я многому научился. В то время, как я понятия не имел о существующем законодательстве, о статьях Уголовного кодекса, предусматривающих те или иные тягчайшие кары за политические «преступления», и тем более ничего не знал о юридической практике, они были во всем этом сведущи. За годы, проведенные в общих камерах, их этому научили. И как больной человек всякий разговор сворачивает на свою болезнь, а голодающий – на кушанья, так и они возвращались снова и снова к теме о наказаниях. Им доставляло удовольствие (вовсе не из-за злорадства) прикидывать, что ждет меня. Они снисходительно улыбались моей наивности: мне до сих пор не предъявлен никакой обвинительный акт, никаких компрометирующих меня или кого-либо другого показаний я не давал, не было разговора о суде, о защитнике, – твердил я.

Мне объяснили, что это не имеет значения. Все решает ОСО, Особое Совещание (я не знал даже о существовании такого органа), часто заочно, и даже если меня вызовут на его заседание, то это будет пустой формальностью, приговор будет предрешен, и неподатливым поведением на заседании я смогу лишь сделать наказание более тяжелым. Но при всем этом они утверждали, что стараются руководствоваться девизом: «Быть готовым к худшему, но надеяться на лучшее». И я твердо решил усвоить этот умеренный оптимизм заключенных.

Недели через две (но, возможно, мне теперь только кажется, что так скоро) меня перевели из этой четырехместной камеры в двухместную, просторную и светлую. Ее я должен был разделить с Григорием Алексеевичем Ворожейкиным, маршалом авиации, во внешнем облике которого маршальского осталось только одно –

широкие красные лампасы. У этого дюжего здоровяка с покладистым характером и добрейшим сердцем белорусского крестьянина, однобоко, лишь в военном, специально авиационном деле, но зато основательно, образованном, имелся позади тернистый жизненный путь. Года на три моложе меня, он участвовал в Первой мировой войне унтер-офицером, в гражданской – командиром. И тут и там он побывал во многих сражениях, был неоднократно ранен. Его, способного и энергичного, сына трудового народа, послали учиться сначала в авиационную школу, а потом в академию Жуковского, он дослужился до полковника. В 1937 году он принял участие в «освободительном» походе в Монголию, был награжден, и вскоре… арестован. Как «изменника родины» его приговорили к расстрелу. Он дожидался его в камере смертников. Но за два дня до назначенного срока казни был смещен Ежов, и Ворожейкина сначала амнистировали, а потом и полностью реабилитировали.

Во Второй мировой войне Ворожейкин успешно руководил многими воздушными операциями и стал маршалом. А в 1948 году его арестовали, как и всю верхушку советской авиации с маршалом Советского Союза Новиковым во главе. Ворожейкин рассказал мне подробно о причинах этого разгрома, а также об обстоятельствах его ареста. Как и в случае Гордова, дело было в реорганизации армии, во вполне деловом расхождении между компетентными крупнейшими военными специалистами и Сталиным. Тот свои вздорные идеи, ставящие под удар обороноспособность страны, проводил методами физической расправы с несогласными с ним. Один из его приемов, где обсуждались эти сугубо технические вопросы, Сталин прервал и отпустил авиаторов со зловещими многозначительными словами: «Хватит, подумайте, у вас окажется для этого достаточно времени». А когда Ворожейкин вышел на площадь перед кремлевским дворцом, его машины не оказалось. Ему доложили, что мотор в неисправности, и предложили сесть в другую машину. Там уже дожидались двое сотрудников МГБ, которые отвезли его на Лубянку. Его следователем стал тот же Путинцев. А уличали его не больше, не меньше, как в «предательстве», в «сговоре с Пентагоном».

Наша камера была одной из привилегированных. Питание, правда, ничем не выделялось (но ворвани не было), однако на койках лежали матрацы, и время от времени, в некоторые из банных дней, нам выдавали казенное, чистое, хотя и поношенное, нижнее белье. В первое же посещение бани мы получили возможность полюбоваться друг другом. Тело Ворожейкина покрывала ярко-бурая экзема, не вызывающая постоянного зуда, а

возвращающееся нестерпимое жжение. Это хроническое заболевание, несомненно возникшее вследствие душевных потрясений, здесь никто не собирался лечить. И Ворожейкин, мучимый повторяющимися невыносимыми страданиями человека, заживо сжигаемого, то и дело возвращался к мысли о самоубийстве. Покончить с собой было, однако, почти невозможно: тюремщики зорко следили за тем, чтобы от них не ускользнула их жертва, не смогла повеситься или перерезать себе вены. Мой вид тоже был не из блестящих: кости да кожа, ребра можно было сосчитать, шея гусиная, руки, а в особенности ноги, как палки. Ворожейкин сказал: «Вылитый Ганди».

У Ворожейкина в момент ареста случайно оказались большие деньги – все месячное жалованье (он жалел, что не оставил его жене; не знал, что и ее содержит в лагере казна). Эти деньги лежали на его текущем счету здесь в тюрьме, и ему разрешали покупать себе для улучшения питания все, что имелось в буфете. Еженедельно в камеру приходил сержант и по списку этой роскоши ему потом приносили все сразу на неделю. Понятно, что булки и сыр под конец становились тверже камня, а сливочное масло прогорклым – в камерах топили, как в аду. Ворожейкин настойчиво предлагал мне по-братски разделять с ним эти его трапезы, но я так же настойчиво отказывался. Доходило до того, что мы разругивались, и, в конце концов, я вынужден был уступить, взять хотя бы немного из того, что он предлагал мне от чистого сердца.

Избранное положение, в котором я очутился теперь, после трех лет одиночки, не сводилось только к материальным благам, уже перечисленным, и другим, например, на койке разрешалось сидеть (но не лежать днем) и редко вызывали на допрос. Однако выспаться как следует мешали многочисленные, гнездившиеся где-то близко над нами голуби. Они начинали чуть свет свое воркованье. Но было и духовное благо: разрешалось читать книги из тюремной библиотеки! Сержант-парикмахер, регулярно приходивший стричь наши бороды и волосы машинкой, по совместительству выполнял обязанность библиотекаря и книгоноши, причем с одинаковым, весьма сомнительным, знанием дела.

Подбор литературы выдавал ее происхождение: все это были книги дореволюционного издания, с ятями, твердыми знаками, фитами и ижицами, конфискованные у арестованных в первые революционные годы. Мне как-то попались, наряду с громадным фолиантом, одним из томов русского перевода сочинений Шекспира, изданном в 80-х годах на плотной мелованной бумаге и богато иллюстрированным, такая гнусность, как

архиреакционная стряпня В. В. Крестовского, равно как и порнографическая биография Чайковского. Вот так заботились о «перековке» нас, политических. Но каково бы оно ни было, чтение давало возможность как-то отвлечься от своих тяжелых гложущих мыслей, у меня дополнительно к отвлечению занятиями математикой.

В это время меня занимала проблема так называемой «постоянной Эйлера» *C*. Это число было рассмотрено Эйлером в 1740 году. Однако несмотря на все усилия, до сих пор не удалось установить, является ли *C* рациональным или иррациональным, алгебраическим или трансцендентным числом. Понятно, что я не мечтал решить эту проблему, которую Гильберт, величайший математик нашего века, в 1910 году включил в список важнейших нерешенных математических проблем. Но я нашел ряд интересных соотношений, в которые входила постоянная *C*.

В то время все более и более редкие допросы сводились к тому, что я просиживал по несколько часов (но не до утра) у Путинцева. Он вяло спрашивал, не хочу ли я все же сообщить, что мне известно о контрреволюционной деятельности такого-то или такого-то, чтобы смягчить ожидающее меня наказание (но за какое преступление, об этом никогда не шла речь). А потом мы просто болтали о всяких пустяках, а еще чаще подолгу молчали. И вот, когда однажды Путинцев после такого молчания задал мне трафаретный в таких случаях вопрос: «О чем вы задумались?», я рассказал ему об этой проблеме. И на второй же день (по-видимому, он спрашивал для этого разрешения), он вновь вызвал меня, предложил все соотношения, которые я вывел, изложить на бумаге, но писать печатными буквами и не подписываться. Он даст все это проверить.

Я так и сделал, потрудился две ночи подряд. Мне это доставляло радость, ведь это не были те бессмысленные списки всех знакомых мне людей. А недели через три он показал мне напечатанный на машинке краткий отзыв о моем «мемуаре». В нем было сказано, что из десятка выведенных автором (то есть мной) соотношений, такие-то (около двух третей) известны, остальные же, по-видимому, новы и интересны, не тривиальны. Но окончание этого отзыва было отрезано. Я стал допытываться, кто рецензент, и Путинцев, после некоторого колебания, раскрыл этот секрет – профессор МГУ Курош. Мне было крайне приятно получить от этого известного алгебраиста такой отзыв.

Впрочем, это был не первый и не единственный «экзамен», который мне устроил Путинцев. Еще в начале нашего «знакомства», вероятно, чтобы проверить, не соврал ли я, указав, что активно знаю немецкий, французский и английский языки, он велел мне перевести на них около четверти страницы из романа Бабаевского «Кавалер золотой звезды», которые он мне тут же продиктовал. Какие «отметки» я получил за эти переводы,

которые Путинцев несомненно дал проверить, я так и не узнал. А когда, перечисляя, по его требованию, свои печатные работы, я указал в том числе мое предисловие к «Коммунистическому Манифесту», Путинцев, вспомнив, что Сталин назвал эту книгу «Песней песен коммунизма», предложил мне рассказать ему об этом библейском лирическом произведении, а затем захотел услышать, как звучит древнееврейский язык. Я охотно выполнил его желание. Но заявил, что вместо того, чтобы прочитать какой-нибудь отрывок из этого собрания древних народных любовных песен, я продекламирую ему 137 псалом «На реках вавилонских». Конечно, я выбрал именно его, дышащий тоской и жаждой мщения, не без умысла. О содержании этого псалма Путинцев промолчал, но благозвучность языка похвалил.

Состояние Ворожейкина, который не мог отвлекаться от своих тяжелых размышлений математикой, все ухудшалось. Попытки отвести его от них предложением поделиться своими воспоминаниями об интересных эпизодах своей жизни, или рассказать мне о том, как он представляет себе будущее военной авиации (вопрос, который его больше всего занимал), не приносили большой пользы. Так или иначе, от прошлого мы неизбежно вскоре переходили к настоящему, и что еще хуже, к нашему безотрадному будущему.

Тогда я предложил Ворожейкину заниматься с ним английским. Ворожейкин согласился заниматься. И он не только делал заметные успехи, но и его настроение немного улучшилось.

Однако, как бы по-братски мы ни жили (несмотря на разницу в общественном положении, которая, что там ни говори, не стирается, как правило, даже в тюрьме, с первого же дня мы были на «ты»), наши взаимоотношения оказались далеко не гармоничными. По политическому вопросу, но важнейшему, у нас с ним обнаружилось столь глубокое расхождение во взглядах, будто непроходимая пропасть разделяла нас. Причину всей той жесточайшей несправедливости, которая нас обоих постигла, того преступного истребления лучших военных, партийных, комсомольских, национальных, научных и культурных кадров, и просто рабочих и крестьян, того несказанного террора, который в течение десятилетий губил советскую страну, Ворожейкин видел в Сталине, а не в Ягоде, Ежове и Берии. Их он считал только подручными Сталина, а его он не называл иначе, как «палачом», «кровавым злодеем», «самодуром-деспотом» и «садистом», «маньяком своей власти», тем более опасным, что он умен. Ответственность за его преступления разделяют все члены Политбюро, все его товарищи, которые из-за страха за собственную шкуру поддерживают его. Только Орджоникидзе еще

в 1937 году предпочел застрелиться, чем быть в ответе за сталинские злодеяния, но на то, чтобы покончить с самим Сталиным и у Серго не хватило мужества.

Я пытался убедить Ворожейкина, что он глубоко ошибается. Его ослепляет вполне понятное чувство личной обиды, тем более сильной, чем больше его, Ворожейкина, заслуги. Он смотрит на все эти ужасные события субъективно, а не с единственно правильной точки зрения, как на исторический процесс, вызванный классовой борьбой. Не в личности Сталина дело. Сталин – гениальный теоретик и революционный вождь. Он такой же продолжатель дела Ленина, как Ленин был продолжателем дела Маркса и Энгельса. Но Сталин, так же как и мы, стал жертвой пятой колонны. Империалисты, убедившись в безуспешности своих попыток покончить с Советским Союзом извне, интервенцией и войной, стараются уничтожить его изнутри, через своих агентов, таких как Ягода, Ежов и Берия.

Но на Ворожейкина эти мои стереотипные, доктринерские фразы не действовали. У него, который в 1941–1946 годах был начальником штаба ВВС и представителем Ставки Верховного главнокомандующего, был богатейший опыт личного знакомства со Сталиным. Он просто смеялся надо мной, называл меня «аллилуйщиком», и даже, возможно, не верил, что я искренне убежден в том, что говорю, а просто боюсь высказывать свое настоящее мнение. Мы снова и снова страстно спорили, были крайне возбуждены, выходили из себя, прямо накидывались друг на друга, повышали голос. И один раз мы настолько раскричались, что дежуривший в коридоре стрелок сначала стал предупреждать нас, стуча заслонкой волчка, а потом вошел к нам в камеру и напомнил (конечно, на «чисто русском» языке), что нам не положено говорить иначе, как вполголоса.

Это была «ошибка»

Но вот, в один прекрасный день – собственно, в прекраснейшую субботнюю ночь, уже под утро – меня, после долгого перерыва, снова, который уже раз, разбудил окрик: «На допрос!» И повели так хорошо уже изученными закоулками коридоров, запрятали раз (пока не прошел встречный «крестный ход») в бокс, спустили в лифте во второй этаж. Затем провели в здание министерства, и здесь, прямо напротив парадной лестницы, в большой холл, где дожидался меня Путинцев. Тут я, впервые за три с половиной года, увидел часы, они показывали 2.30 – каждая мелочь этой ночи врезалась мне в память. Я предположил, что там, за массивной дверью, меня ждет это гибельное Особое Совещание. Но зная на опыте, что задавать вопросы бесполезно, я молчал, и уселся только, поскольку следователь, отпустив конвойного, предложил мне это.

Так мы оба молча ждали. Наконец, раздался, должно быть, звонок (я тогда уже плохо слышал и не услышал его), и мы направились к этой загадочной двери. Вошли. За ней оказался громадный зал, с длинным столом для заседаний и большим письменным столом. Сначала мне показалось, что в зале никого нет. Но вот из-за письменного стола поднялся низенького роста, щуплый человек в штатском. Быстрыми шагами он вышел к нам навстречу. Не обращая внимания на Путинцева, он протянул мне обе руки и сказал: «Здравствуйте, товарищ Кольман. Я министр госбезопасности Игнатьев. Произошло недоразумение. Вы оказались во всем правы. Мы против вас ничего не имеем. Вы свободны…» И пригласив сесть (в кожаное кресло, в котором я почти утонул), продолжал беседу.

Все это произошло неожиданно, без малейшей подготовки. Удивительно, что мой ослабевший организм не среагировал на такой «сюрприз», как бы он ни был расприятен, инфарктом. Не касаясь причин происшедшего со мной «недоразумения», и не расшифровав, в чем это я оказался прав, Игнатьев констатировал удивительную вещь – что вид у меня плохой, и предложил направить меня в санаторий. Я, поблагодарив, отказался. Заявил, что только что три с половиной года пробыл в «санатории», что хочу работать, но, прежде всего, если это возможно, свидеться с женой и дочкой. Я спросил, где они, что стало с ними и с моими сыновьями. Игнатьев с недоумением, как будто неподдельным, повернулся к Путинцеву: «Разве вы не сообщили товарищу Кольману?», и тот невозмутимо ответил, что «не успел». И тут же еще раз соврал, сказал, что Катя с дочкой находится в

Ульяновске, где хорошо устроена, работает в Пединституте. А сыновья по-прежнему работают. То, что Вячек уже третий год в лагере, он скрыл.

Тогда я попросил помочь мне выехать первым поездом в Ульяновск. Игнатьев поручил Путинцеву организовать это немедленно, и тот вышел. Мы остались с министром одни. Он предложил, чтобы я предупредил о своем приезде Катю телеграммой, и взялся составить ее текст вместе со мной. Катя сохранила ее, вот она: «УЛЬЯНОВСК ПЕДИНСТИТУТ ЛАБОРАНТКЕ КОНЦЕВОЙ КАТЕНЬКА АДЕНЬКА ВСЕ КОНЧИЛОСЬ ОТЛИЧНО ПРИЕЗЖАЮ 24 ПОЕЗД 78 ВАГОН 6 ЦЕЛУЮ КРЕПКО ЭРНЕСТ». И тут же Игнатьев заявил: «Она (то есть Катя) у вас настоящая беспартийная большевичка, все это время мужественно вела себя». И когда Путинцев вернулся и доложил, что все устроил, и я смогу в час дня выехать в Ульяновск, министр распорядился, чтобы меня «прилично» одели и выдали денег.

Затем пошел разговор о моем дальнейшем устройстве. «Вы, конечно, понимаете, что в Прагу вам нельзя вернуться (я ничего не понимал, ведь я вообще не знал, что там, да и во всем мире за это время произошло). Лучше всего вам вернуться в институт философии, где вы работали до отъезда», – говорил он. И он позвонил в ЦК заведующему отделом науки, которым оказался мой хороший знакомый Юрий Жданов, и попросил его устроить меня, когда я обращусь к нему. И тут же позвонил в ЦКК Шкирятову (я был с ним также знаком), чтобы мне вернули хранившийся в архиве мой старый партийный билет. Несмотря на столь поздний час, оба эти работника были на месте, и Игнатьев расхваливал меня им.

Казалось, что теперь все проблемы благополучно решены – но нет, оставался вопрос, где я проведу остаток ночи и время до отхода поезда. Игнатьев предложил, чтобы я переночевал у кого-нибудь из родных или друзей, но я решительно отверг эту идею. «Разве они не перепугаются насмерть, если я заявлюсь к ним в четыре часа ночи?», – спросил я не без намека. И попросил оставить меня здесь же в тюрьме. Он было возразил, что так нельзя, ведь я не заключенный (видите, какой блюститель законов!), но после небольшого препирательства, я убедил его, что не стоит обращать внимания на эту формальность, и Путинцев взялся устроить и это дело. Мы с Игнатьевым сердечно простились, и Путинцев отвел меня – без конвоя – в какую-то камеру-одиночку. Она оказалась незапертой, но он попросил – не приказал – не выходить из нее и, пожелав спокойной ночи, ушел.

Нечего и говорить, что от волнения я не смог ни на минуту сомкнуть глаз. Чего только я ни передумал в эти считанные часы,

пока мне не принесли завтрак – целый кофейник кофе, молоко, сахар, булочку с маслом – словно в ресторане. Потом появился какой-то майор и объяснил, что так как сегодня воскресенье и парикмахера нет на месте, он побреет меня. И, делая это, он то и дело спрашивал, не больно ли. Затем какой-то сержант снял с меня мерку и вскоре принес новый черный стандартный костюм, правда, оказавшийся немного тесноватым, сорочку с галстуком, новые ботинки.

Потом мне вернули мои вещи – демисезонное пальто, мой старый галстук, часы, портфель, записную книжку и авторучку, и я расписался в их получении. В портфеле оказалась и та копия моей роковой статьи, которую я тогда, в сентябре 1948 года, захватил с собой, когда мнил, что меня везут к Копрживе. Наконец, явился и Путинцев. Он вручил мне удостоверение личности и деньги, не помню уже сколько, но мне показалось, что не мало, и заодно велел мне расписаться на печатном бланке о том, что все то, что я узнал, находясь в тюрьме, я, под страхом наказания, сохраню как государственную тайну. Я, понятно, подписал, но с reservation mentalis – мысленной оговоркой, что это вынужденное обязательство меня ни к чему не обязывает.

Часов в одиннадцать вновь явился тот вежливый майор-парикмахер, чтобы спросить, стану ли я обедать здесь, или же в ресторане на Казанском вокзале. Ему поручено проводить меня, посадить в вагон. Понятно, что я предпочел поскорее выбраться отсюда. Майор ушел, но вскоре явился снова, переодетый в штатское. Я захватил с собой портфель, в который с трудом запихал мой почти уже сгнивший пражский костюм. Мы спустились во двор и уселись в машину – не в ту ли самую, которая привезла меня сюда с Ходынки? Черные ворота раскрылись как по волшебству перед нами, и мы поехали на Казанский вокзал. До отхода поезда оставалось еще много времени. Мы пообедали, и помню только, что я заказал мой любимый гороховый суп, и что выпил рюмку водки, которую вообще не выношу, за компанию с моим провожатым. Он расплатился за два обеда, давая понять, что не за свой личный счет. Наконец, объявили посадку. И мой провожатый чуть было не забыл вручить мне мой билет. Но он не ушел, пока не убедился, что поезд увозит меня.

У меня оказалось нижнее место в четырехместном купе жесткого вагона. Было сильно натоплено, и меня это устраивало. Одетый не по сезону, я в машине по дороге на вокзал порядком озяб. Кто были мои спутники, не знаю, я и не интересовался ими. Помню только, что один дядя, очень словоохотливый, пристал было ко мне с вопросами (не исключено, что Путинцев

«приставил» его ко мне). Но я раз и навсегда отделался от него, заявив, что только что из больницы и все еще нездоров. Попросив проводницу постелить мне, я, не раздеваясь, улегся на свое место. Мне бы, конечно, не помешало выспаться, но об этом не могло быть и речи.

Во-первых, я был страшно возбужден, взволнован предстоящим свиданием. Какими я найду их, и как они встретят меня? Почему это они очутились именно в Ульяновске, как они там жили все эти годы? Во-вторых, в купе, да и во всем вагоне, стоял невероятный шум, эти трое дядей, по-видимому, какие-то хозяйственники, зазвали еще четвертого из соседнего купе, и стали резаться в карты. Они хохотали, громко и смачно комментировали свои удачи и промахи. Но как бы они ни орали, они не могли перекричать поездное радио, которое, не уставая, передавало одну «популярную» песню за другой. Поезд тащился невозможно медленно, по крайней мере, мне, сгоравшему нетерпением встречи, так казалось. Но и объективно: расстояние в какие-то 800 км мы прошли за 28 часов. Неужто Путинцев не смог достать билет на скорый поезд? Мы часто останавливались, и на больших станциях вроде Рязани и Инзы стояли подолгу. В этих случаях, несмотря на холод, я выбегал из прокуренного купе, и в станционном ресторане жадно набрасывался на гороховый суп, благо именно он – как бы специально для меня – имелся повсюду.

Наконец – Ульяновск. Кате принесли вчера, в воскресенье, мою телеграмму в общежитие. Они с Адой, не зная от радости что и делать, старались, как только могли, чтобы подобающе, по-праздничному, встретить меня. На имеющиеся у них жалкие гроши (до получки было далеко) купили что-то на базаре, чуть ли не даже крупинку сливочного масла, конфеты «подушечки», а в магазине рыбные консервы, убрали свою «комнату». На станцию явились за три часа до прихода поезда. Тогда в Ульяновске вокзала не было, старое, еще дореволюционное здание развалилось от ветхости. Строили новое, но годами. Катя и Ада ждали в выбракованном, неотапливаемом пустом вагоне. Они успели насквозь промерзнуть, несмотря на то, что их согревала радость моего возвращения.

Едва поезд успел остановиться, как я увидел обеих моих страдалиц. Я выскочил из вагона первым (благо был без багажа, налегке) и бросился к ним. Выглядели они не ахти как хорошо, одеты были неважно, не то, что не по-пражски, но не по здешнему суровому климату. Ада, конечно, за эти годы вытянулась, – ведь теперь ей шел уже тринадцатый год, – но была худенькая, как щепка. От волнения мы, кроме междометий, не могли выговорить

ни слова, да и нельзя было при посторонних. Битком набитый автобус довез нас до общежития Пединститута.

Здесь они жили… В бывшей общей уборной. Два круглых отверстия в цементном полу не были даже прочно забиты, а только прикрыты досками. Холод и сырость здесь не выводились. Окно было все в щелях, и хотя имелась низенькая печурка, не было топлива. Только изредка Ада насобирает щепок и отбросов угля, этим они затопят, но теплело только на пару часов. Спят они вместе, койка одна, прикрываясь всем своим тряпьем. Удивительно, как они не схватили ревматизм, туберкулез.

Работала Катя лаборанткой кабинета русского языка и литературы, получала в месяц 413 рублей (41 рубль, 30 копеек на нынешние деньги), из которых еще платила за жилье, взносы в профсоюз, за обязательные займы и т. д. Уму непостижимо, как это они выжили. Ведь в Ульяновске – городе, где родился Ленин – кроме хлеба, соли, спичек и рыбных консервов тогда в магазинах ничего не было. А на базаре было все – молоко, масло, сахар, картофель, капуста, мясо – но все это втридорога. И вообще город был крайне запущен, стал несравненно хуже того Симбирска, каким я застал его в 1919 году.

Я не намерен пересказывать то, что мне поведала Катя о их жизни в Ульяновске. Приведу только важнейшие факты. Продержав их под домашним арестом шестнадцать дней на пригородной пражской даче, их затем отправили сначала в Вену, а затем специальным самолетом в Москву. Милостиво им дослали позже кое-что из носильных вещей – Катя, когда Ада болела, лучшее «спустила» на ульяновской толкучке за какой-нибудь фунт сала. В Москве перед ссылкой в Ульяновск они поселились у Вячека в общежитии, в том самом «Люксе» на улице Горького, где проживал я в 20-х годах, когда работал в Коминтерне. Вячеку дали здесь крохотную комнатушку, когда он приехал из Праги, чтобы не выселять семью, поселившуюся в нашей квартире в Хлебном переулке. Но побыли они у него здесь только недели две. Их сослали, приказали срочно выехать в Ульяновск (причем за свой счет, а денег-то у Кати не было, их дал ей ее брат Зиновий), по месту жительства ее старшего брата Сени.

Здесь, в холодной сырой комнатушке, но все-таки в семье, не голодая, они смогли, однако, прожить лишь месяца четыре. На Сеню, сосланного в ежовщину в Акмолинск, и выехавшего спустя десять лет оттуда в Ульяновск самовольно, донес его личный враг, и ему пришлось немедленно вернуться с семьей в «Белую могилу». Но Катя после мучительного скитания по учреждениям в поисках работы (все догадывались, что по своей воле она не очутилась бы здесь, в этом городе ссыльных), наконец все же

устроилась в Пединституте. Здесь она сразу зарекомендовала себя знанием, прилежностью и инициативой. И когда ей негде стало жить, ее «осчастливили» этой «комнатой» – бывшим санузлом.

Конечно, подавляющее большинство людей в моральном отношении нейтрально. Словно дистиллированная вода, они не окрашивают лакмусовую бумажку ни в синий, ни в красный цвет, не дают ни щелочной, ни кислой реакции, соприкасаясь с другими людьми. Но в любом обществе, при любом общественном строе, среди готтентотов и среди космонавтов, имеется некоторый процент (меняющийся с давлением, под которым общество находится) подлинно человечных, и некоторый – более или менее скотских людей. Эта закономерность проявилась и по отношению к Кате. На неизбежные вопросы любопытных о муже. Катя отвечала, что он бросил ее, и это, как водится, вызывало сочувствие.

Но многие подозревали, что не в этом дело, и по-разному стали относиться к Кате. Кстати сказать, удивительно, как это Ада ни разу не проговорилась, сумела выдержанно перед одноклассниками играть роль брошенного ребенка. Об этом вспоминает и вдова убитого Сталиным известного поэта О. Мандельштама в своих мемуарах. Она, как и Катя, была сослана в Ульяновск, жила с ней на том же этаже в общежитии Пединститута, где Надежда Мандельштам преподавала английский язык. Для того смутного времени характерно, что она не решилась перекинуться с Катей ни единым словом, но, как явствует из мемуаров, видела и понимала положение Кати и Ады.

Из старых друзей Ганна Серцова и Юрий Карпов не порвали с Катей. Они даже однажды прислали ей к Октябрю телеграмму, а перед отъездом в Ульяновск дали Кате немного денег и купили Аде школьные учебники. А ведь поддерживать дружеские отношения с женой и дочерью «врага народа» для каждого, а тем более для работника «органов», было крайне опасно.

И тут я должен сказать с грустью, что в этом отношении чересчур «осторожно» повел себя мой старший сын Эрмар, ни разу не предложивший Кате свою помощь. Должно быть, гибель его двух замечательных дядей, Владимира и Василия Ивановых, от рук сталинских катов, оказала на него определенное влияние. Он замкнулся в себе, очерствел и, скажу прямо, стал трусоват.

Не прошло и полгода с момента моего ареста, как забрали Вячека. Он только было начал учиться на втором курсе философского факультета МГУ. Здесь он познакомился с одной из студенток, Леной, и они поженились. Вскоре он был арестован за студенческую болтовню, и Особое Совещание приговорило его

к десяти годам лагерей, по статье 58–10. Он сидел в Каргопольлаге (Архангельская обл.), где должен был работать на заготовках строительного леса. Но он не выдержал тяжелых условий, заболел, и его назначили работать счетоводом. А ведь это был один из «легких» лагерей! Здесь заключенным разрешалось переписываться с ближайшими родственниками, а тем – раз в году – посещать их. Катя, прихватив с собой сушек (на другое не было средств) дважды воспользовалась правом посещения: в 1950 году и уже после моей реабилитации в 1953 году. Вячек просидел в лагере до смерти Сталина, впоследствии был реабилитирован.

Ясно, что репрессировали Вячека неспроста. В расчете на материнское чувство, хотели этим воспользоваться как средством давления на Катю. Вскоре после его ареста, о котором ей стало известно из письма Лены, Катю вызвали в ульяновское управление МГБ. Там следователь продержал ее до поздней ночи. Он требовал, чтобы она подтвердила, что я троцкист, в чем я будто бы сознался. Он утверждал, что у него лежит протокол моих показаний. Но, понятно, не показал его ей. Катя категорически отказалась дать такое показание. Она заявила, что я не мог сознаться в том, чего не было.

Тогда этот следователь стал запугивать ее. Сошлют на север, а Аду отправят в детский дом. Но если Катя подпишет, то освободят Вячека, да и ее хорошо устроят. Но Катя оказалась стойкой, не поддалась ни угрозам, ни посулам. Вероятно, именно это имел в виду министр Игнатьев, назвавший ее «беспартийной большевичкой», не подозревая, что в его устах в данном случае это верх цинизма. Разумеется, все это время Катя неоднократно обращалась во все инстанции, писала Сталину, Молотову, Кагановичу, Хрущеву, – но разумеется также, что хотя она наконец просила, чтобы ей сообщили только что со мной, где я – все эти ее вопросы оставались без ответа.

Я пробыл в Ульяновске недели три, пока Катя уволилась и сдавала дела. Но этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы наглядно ощутить, в каких условиях пришлось влачить Кате и Аде свое существование. Один раз мы пообедали в институтской студенческой столовой, один раз я сходил в баню. И там и тут качество ей-ей мало уступало тюремному. Но про тюрьму мы старались не говорить; поспешили избавиться от моих старых пражских вещей, прогнивших в тюрьме. Пошли гулять на «Венец», место над обрывом, откуда открывается чудесный вид на Волгу и на дальние просторы на противоположном берегу. Захватили с собой мой портфель с этими тряпками. Воровато оглядываясь, опасаясь, как бы какая-нибудь добрая душа не

заметила и не побежала за нами, чтобы вернуть нам «забытое», мы выбросили портфель в кусты.

Начало прозрения

Наконец, распрощавшись с ульяновскими друзьями, мы выехали в Москву, На вокзале нас встретил Виктор Колбановский, с которым мы предварительно списались. Он гостеприимно пригласил нас поселиться у него, пока не получим квартиру. Но мы побыли там не больше пары суток, не желая обременять его тяжелобольную жену. А потом перебрались к Катиному брату Зиновию, у которого доживала свой век их ослепшая мать Лия Абрамовна. Зиновий овдовел, его жена умерла, не выдержав нервного потрясения тридцатых годов, когда братья Зиновия – Семен и Борис – были репрессированы, и над ним самим нависла та же угроза. Понятно, что слепота Катиной матери тоже была следствием войны – погибли сын Матвей и внук Левушка, всех родственников в Херсоне уничтожили нацисты, а затем чашу переполнили все эти сталинские злодейства в Катиной семье – ссылка Сени, расстрел Бориса, арест мой и Вячека, бедственное положение Кати с Адой.

Я немедленно стал хлопотать о работе и квартире. Заведующий отделом науки ЦК Юрий Жданов предложил мне вернуться в институт философии. Но зная, что там директором является бывший зав. агитпропом ЦК Александров, человек нечестный и подлый, я отказался, сославшись на то, что за три с половиной года я отстал как от развития философии, так в особенности от прогресса естествознания. И попросил направить меня в какой-нибудь московский вуз, где смогу преподавать математику.

Жданов направил меня в автомеханический институт. Здесь кафедру математики возглавлял Н. Левин, хороший математик. Мы с ним написали вместе два сжатых конспекта – один по векторному и тензорному, другой по операторному исчислению. Кроме института, я преподавал еще анализ на вечерних курсах для рабочих автозавода имени Лихачева. Наша кафедра участвовала также в исследовательской работе института; я произвел расчет малых колхозных электростанций.

Не в пример устройства на работу, получение квартиры затягивалось. Хотя и имелось указание секретаря ЦК Маленкова, управделами ЦК всячески оттягивал выдачу ордера. Только в июле 52 года мы получили квартиру на улице Алабяна (тогда она называлась Левитана, и это была окраина, картофельные поля). И хотя она оказалась меньше той, на Хлебном, где мы жили до отъезда в Прагу, – две комнаты вместо трех, – мы были рады, что наконец перестанем быть обузой для Зиновия.

Позабыл я еще рассказать, что «недремлющее око» не выпустило меня из виду. Как-то весной 53-го года в автомеханический институт во время перерыва между лекциями заявился полковник Путинцев, конечно в штатском. И, как давнего друга, попросил составить список иностранных ученых, которых я знал. Что ж, я так и сделал. За списком к нам на квартиру зашел помощник Путинцева капитан Кочин, разумеется, тоже в штатском. И попросил меня посетить его. От подобного приглашения не откажешься.

Это была своего рода «конспиративная квартира» на Дмитровке, комната на третьем этаже была обставлена вполне прилично, как частная. Разыгрывая радушного хозяина, Кочин предложил мне вина, ликеру, чаю, но я отказался. И не смог также удовлетворить его просьбу, сообщить какие бы то ни было компрометирующие сведения об ученых, включенных мной в список. На этом визите наш флирт с госбезопасностью окончился, по крайней мере гласный. Но я не сомневаюсь, что под негласным надзором я продолжаю оставаться, и что и поныне мой телефон прослушивается, и – не исключено – подслушивающее устройство установлено где-то в нашей квартире. Какова судьба моих бывших следователей я не смог узнать. Правда, Юрий Карпов утверждает, будто Путинцева расстреляли вместе с Абакумовым.

В 53 году я решил перейти вновь с преподавательской работы на научно-исследовательскую. В ЦК тогда уже заведовал отделом науки не Юрий Жданов, а Румянцев.

Румянцев принял меня хорошо, и по моей просьбе направил в Институт истории естествознания и техники Академии Наук. Им тогда заведовал физиолог Коштоянц. Не желая, по-видимому, «засорять» институт бывшими репрессированными, вроде меня, а, возможно, наоборот, потому что он имел обо мне представление (не совсем без оснований!) как о философе-догматике, Коштоянц поерзал, поерзал, но потом все же согласился зачислить меня старшим научным сотрудником. Там я проработал с июня 53 вплоть до моего вторичного отъезда в Прагу в августе 59 года. За эти 6 лет я опубликовал кроме ряда научных статей, две книги по истории науки. Одну о выдающемся пражском философе, логике и математике, утописте Бернарде Больцано, которая затем вышла по-чешски и по-немецки, и вторую, «История математики в древности», вышедшую также в чешском, румынском и японском переводах.

С коллективом института я хорошо сработался. Вел философский семинар для младших научных сотрудников, многие из которых ко мне привязались. Им нравилось, что наши занятия не были стандартными, заставляли самостоятельно

мыслить. Одно время я входил в состав партбюро. Тогда партийным секретарем был некий Сотин, как немало работников научных институтов, бездельник, отсиживающийся на теплом месте.

Он поставил на заседание партбюро персональное дело старшего научного сотрудника биолога еврея Микулинского, который, попав в плен, выдал себя за русского, чтобы сохранить свою жизнь. И когда он, с окончанием войны был освобожден, в паспорте осталась запись, что он русский. И вот теперь, «за обман партии» его предлагали исключить. Часть членов бюро вместе с Сотиим высказывалась за это, другие колебались. Я тогда выступил в защиту Микулинского. Сослался на данное Сталиным определение национальности, согласно которому, как известно, расовый признак не играет никакой роли. Даже самый чернокожий негр имеет право считать себя русским. (Сейчас я считаю, что это определение ошибочно, но тогда я бы так и подумать не посмел!) И Микулинскому даже легкого порицания не вынесли. Содействовала ссылка на это магическое имя. Досадно, что в дальнейшем Микулинский проявил себя как карьерист.

Мне, понятно, никак нельзя опустить такое переломное событие в истории советской страны, как 5 марта 53 года, смерть Сталина. Еще в Ульяновске я взял из библиотеки Пединститута набор научных и политических журналов за эти тюремные годы, чтобы восполнить образовавшийся у меня пробел. Из них я узнал не только об организации НАТО, о войне в Корее или о создании двух германских государств, но и о процессе Сланского в Чехословакии. И как только я очутился в Москве, я записался в Ленинскую библиотеку и стал читать там комплект газеты «Руде право» за 1952 год. Там печатался подробный стенографический репортаж о процессе (а когда мы вновь приехали в Прагу, нам показали кинофильм этого жуткого судилища, разумеется, показали не стоявшие у власти правители – им-то не особенно приятно было вспоминать этот позор!) Читая, я испытал одно из самых тяжелых потрясений моей жизни. Я никак не мог поверить тому, что эти несчастные 11 человек-висельников наговорили на себя. Каким бы ни был Сланский, какие личные отрицательные и даже отталкивающие качества характера бы у него ни были, но он, конечно, не был империалистическим агентом!

А такой замечательный человек, как Андре Симон, тридцать лет боровшийся за дело коммунизма, как же это он мог сознаться, что был предателем. Я хорошо знал многих из этих людей, и не мог поверить, что ошибся в них. Тут снова повторилось то же, что было в тридцатых годах, когда я не мог поверить, что такие

прекрасные товарищи, как например, Владимир Иванов или Валентин Хотимский, были врагами. И потом: почему это из одиннадцати казненных оказалось восемь евреев? Почему прокурор и судьи выступали неприкрыто антисемитски, издеваясь, например, над акцентом Геминдера?

Я начал понимать – но это понимание приходило ко мне очень медленно, несмотря на все то, с чем я ознакомился на собственной шкуре – что не так уж неправ был Ворожейкин, считавший Сталина извергом, а весь его режим преступным. До меня стало доходить понимание того, что вовсе не все были злостными антисоветчиками и сторонниками капитализма, эти западные интеллигенты, которых мы до этого неизменно называли прогрессивными, кто в тридцатых годах резко осуждали политические процессы в Советском Союзе. И я начал осознавать, что случившееся в Чехословакии – это просто эхо происходящего в Советской стране. Одним словом, моя слепая, твердокаменная, прямо-таки религиозная вера в непогрешимого «великого вождя и учителя» пошатнулась.

Вот почему, когда Сталин скончался, и Катя, горько плача, причитала: «Что же теперь будет?», я был не только спокоен, но и чувствовал облегчение и надежду, что народу станет дышаться свободнее. Увы, эта надежда оправдалась далеко не так, как мечталось. Катя рвалась пойти на похороны Сталина, мне стоило больших усилий отговорить ее. К счастью, мне это все же удалось – ведь сколько народу там задавила падкая на зрелища толпа! Даже после своей смерти этот массовый душегуб поволок за собой в могилу ни в чем не повинные человеческие жертвы.

Несмотря на усиленные Катины хлопоты добиться освобождения Вячека, его выпустили из лагеря только в декабре 53 года, то есть, год спустя после моей реабилитации. При этом сначала лишь амнистировали (помиловали, простили ему не существовавшее «преступление»!), а год спустя реабилитировали. Вячек, который вернулся, понятно, с серьезно ослабленным здоровьем, рассказал, что у них в лагере была заключена жена Ворожейкина. Она работала там медсестрой и лечила Вячека.

Значит, у него, как и у меня, было желание разыскать Ворожейкина. Я надеялся, что Ворожейкин жив, что его спасла смерть Сталина, что не успели порешить его. Звонил в Министерство обороны, но ничего не узнал. И только генерал, Герой Советского Союза Катин брат Зиновий сумел узнать, что Ворожейкин жив, заведует кафедрой Военно-Воздушной Академии в Монино, и даже добыл его домашний телефон.

Я созвонился с Ворожейкиным. Он несказанно обрадовался, и мы все пришли к нему в гости, в его воистину маршальскую

квартиру в новом доме близ Таганской площади. Правда, сначала мы оба, Ворожейкин и я, всплакнули от счастья этой встречи, но потом мы и про тюрьму забыли, шутили, а я каялся в своей ослепленности, в своем рабском некритическом отношении к деспоту. А Ворожейкин тем временем угощал нас крепчайшими напитками своего собственного изготовления.

В феврале 56 года XX съезд КПСС осудил «культ личности» Сталина. На закрытом партсобрании нашего института читали вслух объемистую красную тетрадь с разоблачительной речью Хрущева, красочно расписывавшего бессчетные черные дела Сталина. В ней, однако, не было ни анализа причин, приведших партию и страну к этому, продолжавшемуся три десятилетия чудовищному состоянию, ни разбора тяжелых теоретических ошибок Сталина, ни тем более даже упоминания о его многочисленных, больших и малых, соратниках в злодеяниях (к ним ведь принадлежал и сам Хрущев), если не считать Берию. Им, как «козлом отпущения», как слишком много знавшим опаснейшим претендентом на роль преемника тирана, поспешили пожертвовать вскоре после кончины Сталина. И действовали сталинскими и его же собственными методами – без суда, с нагромождением нелепейших обвинений, вроде «предательской связи с американским агентом Тито».

Партийное собрание слушало хрущевский обвинительный акт в мертвой удручающей тишине. Никаких вопросов никто не задавал. Это был настоящий шок, падение идола, которому мы в течение тридцати лет поклонялись, на которого молились. После затянувшегося собрания один из аспирантов, самостоятельно мыслящий, стал провожать меня, чтобы поделиться своими сомнениями. Где гарантия, что нечто подобное не повторится в будущем? – спрашивал он, а я, наивный дурак, убеждал его: нет, это невозможно. Сама партия честно, начистоту, перед всем миром вскрыла грубые ошибки нарушения ленинских норм партийной жизни, советской демократии и законности, и взялась устранить их последствия. Поэтому, если бы кто-то и захотел, партия и народ, наученные горьким опытом, никогда больше не позволят ему повторить сталинские злодеяния!

Но прошло всего три года, как XXI съезд исключил из партии Кагановича, Маленкова, Молотова и «присоединившегося к ним» Шепилова, за фракционную деятельность, за сопротивление курсу на развенчание сталинизма. И тогда я не смог отделаться от подозрений, что Хрущев предпринял поход против «культа» не столько по благородным, гуманным мотивам, чтобы покончить с вопиющей несправедливостью, сколько с целью устранить соперников, утвердить свою единоличную власть. И вскоре он

стал в самом деле все больше проявлять замашки строптивого самодержца и вздорное вмешательство в науку и искусство. Коротенький период «оттепели» кончился, сменился если не новым «культом», то «культиком», пока 14 октября 1965 года Брежнев в «дворцовом перевороте» не сверг Хрущева, чтобы затем постепенно, но с нарастающими темпами, упрочить свой собственный «культ». И он сопровождается теперь всеми атрибутами попраний человеческих прав как при Сталине, но только, пока что в сокращенных масштабах, хотя и с новейшим «достижением» – заключением инакомыслящих в специальные психиатрические лечебницы. А народ ничему не научился, терпит и даже рукоплещет «нашему Ильичу». Но какие бы эгоистические побуждения ни были у Хрущева, не доведшего вдобавок ни одного из своих демократических начинаний до конца, объективно его заслуга состоит в том, что он вернул свободу сотням тысяч невинно страдавших в лагерях и тюрьмах политзаключенным, и снял проклятие отверженных с их семей.

После XX съезда я начал пересмотр своих ошибочных, догматических политических взглядов, непререкаемо выдающих фактическое состояние партии и советского общества, все больше погружающихся в трясину идейного разложения, полного упадка. Вместе с тем я стал проверять истинность теоретических, в частности, философских положений, в особенности относящихся к естествознанию, и прежде всего к физико-математическим наукам, положений, сформулированных Сталиным в пятой главе «Краткого курса истории КПСС» с популяризаторской целью. Однако мы, советские философы, принимали каждую их букву за высшее достижение марксизма-ленинизма, за непреложное священное письмо закона божьего.

В мае 56 года, на секции истории физико-математических наук Института истории естествознания и техники АН, я выступил с докладом «Новейшее развитие физики требует отказа от ряда философских предрассудков».

В этом докладе я говорил о том, что нам не следует связывать диалектический материализм по рукам и ногам обязательным признанием отдельных частных положений физики и естествознания вообще. Ведь в дальнейшем своем развитии оно само может от них отказаться. К ним я отнес положение о пространственной бесконечности вселенной. Я утверждал, что с логическим материализмом одинаково совместимы обе теории – финитистская, как и инфинитистская. Показательно, что я тогда еще отвергал возможность допущения конечности мира во времени, все еще разделял заблуждение, будто это допущение влечет за собой признание божественной сотворимости мира и

«светопреставления». Настолько глубоко въелись в нас известные затверженные философские штампы!

Я затронул также такой вопрос, как новая роль, которую играет математический метод в современной физике, в отличие от классической. Упомянул о распространенном некритическом применении некоторых положений «Материализма и эмпириокритицизма» Ленина, хотя сам Ленин требовал пересмотра отдельных утверждений марксизма, устаревших в связи с новейшим развитием естествознания и новыми общественными явлениями, указывая, что в таком честном открытом пересмотре нет никакого «ревизионизма». Говорил я и об упрощенном, нигилистическом отношении к требованию «простоты» физических теорий, о некоторых методологических сторонах истории науки (в частности, о погоне за приоритетом и борьбе против «космополитизма»), об общественных причинах отставания советской философии от развития естествознания и о путях укрепления союза между ними.

Несмотря на то, что мой доклад в столь многом шел вразрез с установившимися взглядами, он был принят хорошо. Возможно потому, что слушатели, как имеющие дело прежде всего с физико-математическими науками, а не с философией, не успели стать заядлыми доктринерами. А возможно также, что они приняли всерьез решение XX съезда по идеологическим вопросам. Ведь в них требовалось «покончить с чуждыми творческому духу марксизма-ленинизма догматизмом и начетничеством», требовалось «творчески развивать марксистско-ленинскую теорию на основе обобщения нового исторического опыта и фактов живой действительности». Когда я повторил тот же доклад на кафедре философии МГУ (о чем меня попросили, возможно, с провокационной целью), вся эта братия ополчилась на меня. Почему-то наибольшее раздражение и прямо озлобление вызвала моя критика примитивного понимания Сталиным «агностицизма».

Кто-то из присутствовавших здесь ученых мужей написал по горячим следам на меня донос в ЦК (о чем я, конечно, узнал, – шила в мешке не утаишь). Однако времена были уже не те (или пока еще снова не те), и этот дюже бдительный подвижник ничего не добился, хотя, вероятно, его рвение ему зачли в будущем.

Реабилитация кибернетики

В 53 году мы отдыхали на Северном Кавказе в милом приморском селении Архипо-Осиповке «дикарями». Избрали мы это место по рекомендации моего старого друга, порядочного и добрейшего человека, Колбановского. Он проводил здесь уже не одно лето. Мы сняли комнату у местных жителей. И вот однажды вечером, проходя мимо дома, в котором поселился Колбановский, я услышал оттуда характерный стук пишущей машинки. Встретив на следующий день Виктора Николаевича, я спросил его, над чем это он работает. Он принес мне свое произведение. Это был острый памфлет, направленный против «некой» новейшей «лженауки» американского происхождения. По его словам, дело шло о «дезинформации», сплошной «мистификации». Из этой статьи, предназначенной для «Вопросов философии», я впервые узнал о существовании этой дисциплины, названной «кибернетикой», созданной видным американским математиком Норбертом Винером в сотрудничестве с мексиканским неврофизиологом Артуром Розенблютом. Ее определили как «науку о способах приобретения, хранения, переработки и использования информации в саморегулирующихся системах: в технических автоматах, в живых организмах и в коллективах тех и других».

Прочитав эту статью, я сказал Колбановскому примерно следующее: «Виктор, как же ты написал такое? По образованию ты медик, психолог, и работу Винера не читал. И неужто ты серьезно думаешь, что американские дельцы стали бы тратить миллионы на создание электронных машин, являющихся одной лишь фальшивой бутафорией? А по существу: разве издревле не существовали счетные устройства – абак, счеты – а позднее не были изобретены Паскалем и Лейбницем механические арифмометры, а затем даже интеграторы? Ведь все они выполняют определенные логические функции! И разве еще в древности, в 1 веке нашей эры, александрийский математик и механик Герон не создал автоматы, подражавшие поведению человека?

Я, конечно, не хочу утверждать, будто я предвосхитил эту кибернетику. Но в моей, вышедшей в 48 году в Праге книге о символической логике, сказано, что и как можно процесс логического вывода возложить на техническое автоматическое устройство. Значит, по-твоему, я тоже занимался «дезинформацией»? Нет, дорогой Виктор, послушайся меня, не публикуй эту статью».

Но он не прислушался к моему предупреждению. Статью «Кому служит кибернетика?» он напечатал в «Вопросах философии», № 5 за 53 год, но все же, должно быть, осторожности ради, не поставил под ней свою подпись, а псевдоним «Материалист». А я, как только мы вернулись в Москву, захотел ознакомиться с книгой Винера. Но, увы, в Ленинской библиотеке ее не выдавали на руки, она находилась в «закрытом хранении», вместе с антисоветской литературой. И тут я ознакомился с другими советскими авторами, пригвоздившими кибернетику к позорному столбу антимарксизма и идеологической диверсии.

В «Литгазсте» проворный журналист Аграновский, еще раньше Колбановского, не менее хлестко расправился с ней. И не лучше обошелся с ней и «Краткий философский словарь», выходивший в эти годы многими изданиями под редакцией Юдина и Розенталя. Я обнаружил, что в Ленинской и других библиотеках засекречены все работы Эйнштейна (ведь советские философы во главе с Максимовым объявили в 50-х годах теорию относительности идеалистической!), и такая же судьба постигла и многие другие ценнейшие труды заграничных ученых. Тогда я написал письмо секретарю ЦК Поспелову, указал на вред, который эта практика Главлита наносит советской науке. И, зная, что собой представляет Поспелов, я, по правде сказать, не ожидал, что мое письмо будет принято положительно. Но, вопреки моему ожиданию, работы Винера, Эйнштейна, Бора, Гейзенберга и ряда других западных ученых были очень быстро рассекречены. «Кибернетику» Винера я стал внимательно изучать, и убедился в величайшей ценности, необыкновенной перспективности этой новой науки.

И тут подвернулся случай, давший мне возможность заступиться за нее. Кафедра философии Академии общественных наук при ЦК партии предложила мне прочитать у них лекцию для преподавателей и аспирантов на какую-нибудь тему по современным философским проблемам естествознания. Я назвал кибернетику. Они охотно согласились, полагая, что, как и другие, я стану браковать этот «гнилой идеологический товар». У них имелось для этого достаточное основание. Ведь статьи у нас послужили сигналом для философов-марксистов других стран. Так заушательством кибернетики занялся Андре Лантен в том же году во французском журнале «Ля Пансе», а в следующем, 54-м трое авторов – Богуславский, Грениевский и Шапиро – в польском «Мысль филозофична». Поэтому нетрудно себе представить, до чего вытянулись физиономии пригласивших меня ученых догматиков, когда в ноябре 55 года в двухчасовой лекции вместо

того, чтобы осыпать кибернетику ругательствами, я доказывал ее исключительную прогрессивность. Я говорил, что именно с ней «человечество вступило в век громадного культурно-технического переворота, в век саморегулирующихся машин, призванных взять на себя часть нашего умственного труда».

Это машины, по словам Маркса, которые не просто «продолжение наших рук», а «созданные человеческой рукой органы человеческого мозга». «Они – подчеркивал я – заменяют наше внимание, память, способности логического вывода». Все дружно обрушились на меня. Какие только эпитеты не полетели в мой адрес! И «механист», и «идеалист», и «поклонник буржуазной моды», и «противник Павловского учения» и бог весть что еще, И все это без представления о математической логике, теории информации, электротехнике, одна только идеологическая брань! Атмосфера была накалена до предела, удивительно, что не потащили меня, если не на костер, то снова на Лубянку. Обсуждение доклада кончилось не в один прием. Оно продолжалось на нескольких заседаниях кафедры, ведь каждый хотел высказаться, продемонстрировать свою высокую идейность, бдительность. И нашелся только один смельчак среди всей этой честной публики. Аспирант, по имени Шалютин. Он посмел – в присутствии своих профессоров – поддержать меня, рискуя, что за такую «дерзость» и «ересь» ему кандидатской степени не видать, как своих ушей.

Обработанную стенограмму этой лекции я отнес в «Вопросы философии». Но редакция, которую тогда возглавлял такой перестраховщик, как Каммари, и в которую входили такие обскуранты, как Максимов, Митин, Молодцов и Розенталь, понятно, отвергла ее. Но я упорно настаивал, обратился в ЦК, и тогда Каммари, чтобы застраховать себя, послал ее на отзыв математику-партийцу, академику Соболеву. И о ужас! Тот не только высказался о ней положительно, но вместе с Китовым и Ляпуновым сам написал статью «Основные черты кибернетики». После этого редакции поневоле пришлось опубликовать мою статью «Что такое кибернетика?» (№ 4, 1955). Но поскольку я не был тогда академиком, то, «естественно», на первом месте поместили статью этих трех авторов, и только после нее шла моя. Все же я добился того, что она была снабжена пометкой, что лекцию, лежащую в ее основе, я прочитал почти за год до выхода в свет журнала.

Появление этих статей вызвало среди интересующихся наукой и техникой широких кругов советских читателей значительный интерес к кибернетике. Но этим, однако, я не хочу сказать, будто у них сразу установилось к ней положительное

отношение. Наоборот. Философская отрицательная пропаганда не прошла бесследно. Так, когда я выступил на физическом факультете МГУ с докладом о кибернетике, то никто другой, как инженер Шестаков, прославившийся моделированием процессов логических умозаключений при помощи электрических сетей, весьма резко стал опровергать кибернетику как «лженауку». Он повторял в ее адрес измышления невинных по части точных наук наших «мудролюбов». Как известный мольеровский герой, не знавший, что он говорит прозой, Шестаков не знал, что он сам и есть кибернетик!

Более того. Еще в октябре 56 года на совещании АН по автоматике, академик Колмогоров высказался о кибернетике отрицательно. И только в апреле 57 года на заседании Московского математического общества, он сделал доклад, в котором заявил, что его прежние выступления против кибернетики объясняются тем, что он недостаточно знал ее. Но теперь, ознакомившись ближе с ней, он решительно признал свою бывшую позицию ошибочной. И для 51 тома БСЭ (второго издания), вышедшего в 58 году, статью «Кибернетика» написал он.

То, что такой крупнейший ученый публично покаялся в своей ошибке (не всякий человек, тем более знаменитый, способен на такое), характеризует его с лучшей стороны.

Отмечу также, что влияние философии на естественников (к сожалению, дурной, закостенелой философии догматического марксизма, а потому тлетворное) сказалось не только в вопросе о кибернетике, где оно привело к тому, что в Советском Союзе эту науку, ведущую, головную в научно-технической революции, стали развивать с опозданием чуть ли не на десять лет по сравнению с США. Также обстояло дело с педологией, психотехникой, теорией относительности, квантовой механикой, математической логикой, генетикой, евгеникой, теорией резонанса и мезомерией, с космологией. Так, только в 53 году редакция «Вопросов философии» решилась выступить против антиэйнштейнианцсв и поместить статьи ученика Эйнштейна, польского физика Инфельда, и мою, разъяснявшие величайшее значение этой теории для физики, и дающие ее материалистическо-диалектическую интерпретацию.

Но, несмотря на это, а главное – на блестящее подтверждение, которое частная теория относительности получила в атомной физике, в промышленности изотопов и других, даже сейчас процветают рецидивы ее мракобесного непризнания.

Еще более убедительный пример того, как при

террористической диктатуре официальная идеология неизбежно деформирует взгляды ученых, причем даже в вопросах крайне абстрактных, не находящихся ни в малейшей прямой связи с социальными проблемами и задачами практики, представляет грустное приключение с советской космологией. Как известно, Эйнштейн, после того как им, в 1916 году, была создана общая теория относительности, успешно применил ее к структуре и эволюции Вселенной. Однако выведенные им уравнения допускают не одно единственное, а множество решений. Согласно одним из них. Вселенная оказывается бесконечной в пространстве и во времени, а согласно другим – конечной (но не ограниченной).

Сообразно с одними решениями, ее пространственные размеры постоянны, между тем как соответственно другим – они переменны, она расширяется или же пульсирует: попеременно то расширяется, то сжимается. В 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл открыл, что спектральные линии внегалактических (т. е. не входящих в систему Млечного Пути) туманностей смещены в сторону красного конца спектра так, что это смещение пропорционально расстоянию между ними. И он высказал предположение, что это «красное смещение» вызвано продольным эффектом Доплера, свидетельствующим о том, что скопление туманностей, а значит вся наблюдаемая часть Вселенной (Метагалактика) расширяется. Эта модель конечной, расширяющейся Вселенной, из всех других моделей наиболее согласуется с наблюдаемыми фактами.

Тем не менее, против этой модели ополчилась официальная марксистская философия. Она объявила ее «идеалистической», «поповщиной». Во-первых, потому, что многие западные философы, а за ними и часть астрономов и физиков капиталистических стран, черпали из гипотезы конечной, расширяющейся Вселенной аргумент в пользу религии и идеализма. Во-вторых, потому, что конечное трехмерное пространство советские философы отождествляли с понятием мира, ограниченного чем-то нематериальным. Поэтому советские идеологи с порога отвергали саму эту гипотезу, объявили ее реакционной. Наиболее характерным в этом отношении было выступление (в 1947 году) А. А. Жданова. Этот идеологический оруженосец Сталина, еще раньше прославившийся своим грубым административным вмешательством в художественную литературу, изобразительное искусство и музыку, теперь преподал урок советской философии и естествознанию.

Сколько вреда принес он советской культуре, ее престижу, сколько талантов, вроде Зощенко, было им погублено.

Находясь под гипнозом идеологов, ряд советских астрономов, в том числе и таких крупных как Белопольский, Амбарцумян и Зельманов, в течение целого десятка лет отрицали факт разбегания скоплений туманностей, пытаясь приписать внегалактическое красное смещение не эффекту Доплера, а каким-то ad hoc (специально придуманным лишь для данного случая и никогда не обнаруженным) физическим факторам. Однако от всех этих домыслов, точнее вымыслов, пришлось отказаться. Модель расширяющейся пространственно конечной Вселенной ныне общепризнанна как первое лучшее приближение к действительности пространства Вселенной.

В то лето, когда Ада поступила в Университет, мы отдыхали – уже второй раз – под Москвой, в Баковке. Избрали мы это место по рекомендации Веры Дмитриевны, одно время нашей приходящей домработницы.

Несколько слов о Вере Дмитриевне и ее муже, Петре Николаевиче, складском работнике. Они ютились в крохотной душной конуре, в ветхом доме, во дворе на улице Горького. Лишь в 60-х годах они получили гарсоньеру в одном из новых районов Москвы. Но не успели они как следует насладиться этим более или менее человеческим жильем, как Петр Николаевич, болевший долгие годы, скончался. Эта супружеская пара была, можно сказать, показательным образцом простых русских людей, глубоко религиозных, набожных, и щепетильно честных, совестливых, скромных, доброжелательных. Наблюдая их, невольно приходилось задумываться над тем, к чему приводит антирелигиозная пропаганда (в которой и я активно участвовал своими статьями в редактируемом Ярославским журнале «Безбожник» и книжками «Есть ли бог?» и «Православие о вере и знании»).

Последний раз в Праге

В начале 1959 года проходил XXI съезд КПСС. На него прибыли делегаты братских компартий, чехословацкой в том числе. Их поместили в двухэтажном доме, который занимал Хрущев перед тем, как он переселился на Ленинские горы в один из коттеджей поселка, специально построенного для советской высшей аристократии, который народ ехидно прозвал «Заветы Ильича». В чехословацкую делегацию, возглавляемую первым секретарем (он же президент) Антонином Новотным, входили Гендрих и Доланский. Гендрих по телефону пригласил меня зайти, поговорить.

В этом доме, расположенном за высокой каменной стеной во дворе тихого переулка, выходящего на улицу Кропоткина, меня в гостиной на первом этаже встретили они оба – Гендрих и Доланский. Стоял вопрос о моем возвращении в Чехословакию, но не в аппарат ЦК, а для работы в Институте философии. Я без малейших колебаний выразил свое согласие. Потом мы еще беседовали о том, о сем, но только не о том, что случилось со мной в 1948 году, к чему, ведь как мне стало позже известно, Гендрих тогда тоже поспешил подбросить свое поленце в огонь, на котором меня поджаривали. Когда все было договорено, сверху спустился к нам «сам» Новотный, и богоравно шествуя, подошел, сделал вид, будто видит меня впервые, и снисходительно подал мне руку лодочкой. А ведь этот же Новотный, будучи секретарем Пражского горкома в 1947 году, в течение всей зимы прослушал целый курс моих лекций по диамату и истмату, причем оказался на редкость тупым учеником.

В сентябре Институт истории естествознания и техники устроил для меня прощальный ужин в ресторане «Прага», и я поехал снова в настоящую Прагу, на сей раз поездом через Брест. Ехал я сначала один, Катя должна была приехать лишь, когда нам дадут квартиру. А Ада, естественно, оставалась в Москве, жила она в нашей квартире на улице Алабяна, ей надо было заканчивать учебу.

На пражском вокзале меня встретил профессор Людвиг Свобода, исполнявший обязанности директора формирующегося института философии, вместе с несколькими его сотрудниками, которые в сороковые годы учились у меня в университете, а также какой-то жалкий шибздик, оказавшийся работником отдела пропаганды ЦК, прикрепленным к обществоведческим институтам АН. До того, как мне отвели квартиру, я устроился в академическом общежитии. Там проживали в основном

иностранные сотрудники различных институтов, в том числе и несколько китайцев. Наблюдая последних, я изумлялся их дисциплинированности, упорству, с которым они учились, способностям, прямо-таки аскетическому образу жизни. Вставали эти молодые люди чуть свет и зубрили чешский язык, записи прослушанных накануне лекций по их специальности. Хотя они лишь совсем недавно прибыли сюда, они уже недурно изъяснялись по-чешски. А питались они чуть ли не одним хлебом и чаем, на большее не хватало при грошовой стипендии, которую они получали от своего правительства. И я подумал тогда: «Какое счастье, что этот народ – почти одна треть населения Земли – если бы дошло до третьей мировой войны, будет с нами, а не против нас!»

Философ Людвиг Свобода, специалист по эстетике, переведший до войны «Философские тетради» Ленина, не желал обременять себя работой по руководству институтом. Директором назначили меня. А на ближайшем общем собрании Академии Наук в начале 1960 года, я был избран ее действительным членом. В институте философии насчитывалось около двух десятков научных сотрудников, работавших в трех секциях: диалектического материализма, исторического материализма и истории философии. Почти все они учились у профессоров-идеалистов Пражского университета, у Крала и Козака, хотя часть из них слушала мои лекции. За единичными исключениями, все они были славные ребята.

Самым талантливым, творческим, способным и не боявшимся сказать новое слово нашим сотрудником был Карел Косик. Именно за эту самостоятельность мышления, к нему уже тогда было отрицательное отношение в аппарате ЦК и, помнится, мне стоило большого труда добиться, чтобы именно он поехал со мной на конференцию по диалектике, которую организовал институт марксизма французской компартии, к чему я еще вернусь. Сразу скажу, что Косика, активно выступившего за новый курс Дубчека, исключили из партии и превратили в безработного. Его не взяли даже на работу кондуктором трамвая.

Впрочем, этот метод извести неугодного интеллигента, лишив его средств существования, начал применяться в Чехословакии задолго до 1968 года. Вот, например, беспартийный астроном Пахнер, известный своими оригинальными работами по космологии, публикуемыми в ряде научных журналов Запада. Он не поладил с начальством, и тогда пустили слух, будто он поддерживает связь с родственником, эмигрировавшим в 1948 году в США (а такого родственника у него вовсе и не было). И этого оказалось достаточно, чтобы его

уволили, после чего ему не удалось найти другую работу, кроме как нищенски оплачиваемую работу подметальщика пражских улиц. Лишь после того, как Фирлингер, по моей просьбе, вмешался в это позорное дело, которое произошло в 1960 году, Пахнера устроили по специальности. Не удивительно, что он после 68 года эмигрировал в Канаду.

Или еще, Гольдман, еврей, коммунист, видный экономист, автор чехословацких пятилеток, один из осужденных за «вредительство» по процессу Сланского, счастливо отделавшийся «только» двадцатилетним заключением. После вскрытия всей дутости обвинений, его, однако, не реабилитировали, а лишь амнистировали и велели работать подсобным рабочим в артели по мелкому ремонту автомашин. Здесь над ним, хилым от рождения и ослабевшим вдобавок за десять лет, проведенных в каторжной тюрьме, издевались, помыкали им. Я пытался устроить его переводчиком в нашем институте (он в совершенстве владел несколькими западными языками), но мне не разрешили. Обращался я в райком, в ЦК, лично к Новотному – все безрезультатно. И только с падением последнего, Гольдман был реабилитирован, восстановлен в партии, и стал работать по специальности. Но что стало с ним после 68 года, мне неизвестно, боюсь, что он, как тысячи других высококвалифицированных специалистов, исключен, или по меньшей мере вычеркнут из партии, и где-то прозябает на черной работе.

Вот, скажем, Гермах, по образованию инженер, занявшийся, однако, философскими проблемами техники и защитивший кандидатскую диссертацию, теперь, после исключения из партии, работает истопником в котельной дома, в котором он проживает.

Другим, хотя и не столь одаренным, как Косик, сотрудником нашего института, был Радован Рихта. Но его жизнь сложилась совсем иначе, чем у Косика. Больной туберкулезом легких, молодой Рихта проводил значительную часть года, лежа в санатории в Доброжише, куда я, бывало, ездил навещать его. Он находился в дружеских отношениях с секретарем ЦК Коуцким, учившимся до войны на философском факультете, но не окончившим его, переведшим на чешский язык «Диалектику природы». Врачи отлично подлечили Рихту, и после того, как я ушел на пенсию, и короткое время институтом заведовал Румл, Рихту назначили директором.

Рихта, не имея ни естественно-научного, ни технического образования, занялся, ставшей актуальной, темой научно-технической революции. Он сколотил коллектив специалистов, экономистов и инженеров, с которыми вместе издал книгу о

социальном значении этой революции. Однако эта работа, в которой собран заслуживающий внимания материал, страдает существеннейшим недостатком, превращающим ее из полезной во вредную. В ней научно-техническая революция представлена как панацея. В условиях так называемого социализма, то есть общества, осуществившего лишь обобществление средств производства и ликвидацию бывших эксплуататорских классов, но не реализовавшего социалистической демократии и породившего новую привилегированную касту, она, якобы, автоматически приводит к коммунизму. В краткий период «социализма с человеческим лицом», Рихта сумел войти в доверие к Дубчеку; он даже предложил мне, когда я весной 68 года гостил в Праге, свести меня с ним. Но когда войска СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии преступно вторглись в Чехословакию, Рихта мигом повернулся на 180°. Он стал идеологическим столпом Гусака, усердно очищал институт философии от «правых ревизионистов». Он является живым примером того, что талант и подлость вполне уживаются, как впрочем – вопреки мнению Пушкина – и гений со злодейством совместимы.

Имелись у нас в институте и несколько работников, с которыми у меня были трудности. Способный Зелены, занимавшийся гегелевской философией, во время очередной (второй уже по счету, на сей раз при Хрущеве) антититовской кампании, был обвинен в сношениях с работниками югославского посольства. Я спасал его, хотя, должен признаться, лично к нему, не отличавшемуся искренностью, не питал особой симпатии. Немало хлопот стоило мне, чтобы сохранить для института беспартийного Паточку, в отличие от других сотрудников уже пожилого человека, бывшего доцента кафедры профессора Крала. Паточка не был марксистом, а придерживался феноменолистической философии. Но он прекрасно знал древнегреческих и римских философов, и ему было поручено издание их переводов. От Свитака, несомненно талантливого и эрудированного, но великовозрастного озорника, издавшего за свой счет где-то на периферии непристойные стихи, нам пришлось освободиться.

Секретарем парторганизации института был Эмиль Свобода. Он, как говорится, был «вхож» в аппарат ЦК, его, покладистого (но не угодничавшего), с характером дипломата, мастера на обтекаемые формулировки и сглаживание острых углов, повторно избирали.

Нельзя не рассказать и о секретаре дирекции Хели Эрлиховой. Образованная, очень активная, инициативная,

владеющая несколькими языками, но холерического характера, она была дельным, исполнительным, энергичным работником, и хорошим психологом. Ее мужу, врачу, специалисту по болезням крови, обладавшему мировым именем (его, для консультации, как-то пригласила английская королевская семья), немецкому еврею, родственнику знаменитого бактериолога Пауля Эрлиха, открывшего средство против сифилиса сальварсан 606, постоянно чинили «препятствия в научной работе, все больше и больше мешали в развертывании его лаборатории. В результате, вся семья (у них было двое детей) поехала в 1963 году на своем фиате в туристское путешествие в Венгрию и больше не вернулась в Прагу, эмигрировав в США.

Как и наш институт, исследовательской работой в области философии занимался в Чехословакии институт Словацкой АН в Братиславе, а также философские кафедры Пражского, Братиславского и Оломоуцкого университетов.

На словах для координации планирования, а на деле для ограничения самостоятельности научно-исследовательских институтов, в ЦК надумали создать так называемые коллегии, состоящие из представителей данной специальности из всех институтов страны. Такая лишняя громоздкая бюрократическая надстройка, умножившая лишь заседательство, стала функционировать и для философии. Но, конечно, никакой пользы она не приносила. Однако организационная инициатива аппарата ЦК в области науки по принципу «держать и не пущать» этим не ограничилась. Когда наш институт в 1962 году предложил созвать общегосударственное совещание философов, и представил в ЦК его подробно разработанную программу, оттуда последовало решение: «считать нецелесообразным», – без всякой мотивировки. Также обстояло дело с защитой докторских диссертаций. Не было ни одного случая, чтобы аппарат ЦК не высказался против, не утруждая себя указанием других доводов, кроме как «этому товарищу пока еще рано». Ясно, что причиной всему этому было желание сохранить за собой монополию: настоящую марксистско-ленинскую философию, как и идеологию вообще, творит, дескать. Партия (обязательно с большой буквы), а Партия – это «Я», т. е. Секретарь (первый или генеральный) и его присные.

Наш институт, вместе с редакцией журнала «За прочный мир» (так тогда назывался нынешний журнал «Проблемы мира и социализма») организовал в Либлице международную конференцию по вопросу об антикоммунизме. Главным редактором журнала был тогда Румянцев. С ним у нас в Праге установилось хорошее взаимопонимание. Помнится, в 60-м году, в ленинскую годовщину, я выступил у них в редакции с

воспоминаниями о Ленине, и опубликовал в этом журнале две статьи, вышедшие, следовательно, на «двунадесяти языцех».

В конференции приняли участие представители не только многих компартий Европы, но даже нескольких стран Азии и Африки, Сенегала в том числе. Многие из выступлений были свежие, нестандартные.

Но я поторопился, забежал вперед, и должен сейчас исправить это, вернуться к началу 60-х годов. Когда для меня стало ясно, что дело с получением квартиры затягивается, – ведь теперь давно уже не было квартир, освободившихся в 45-м после нацистов, да и я уже не был работником ЦК, – я вызвал Катю, и она приехала в мою комнату в общежитии АН. Возможно, это подействовало, и нам, наконец, квартиру отвели.

Понятно, что у нас продолжались встречи с прежними друзьями. Образовались также новые знакомства. По странному свойству моей «топографической» памяти, я смог бы и сейчас найти квартиры знакомых – например, виллу архитектора в Дейвицах, где мы познакомились с известными писателями – Марией Майеровой, Глазаровой, с поэтами Грубиным и Незвалом, или же виллу Станислава Костки-Неймана. С Майеровой Катя подружилась, съездила с ней к шахтерам в Кладно, о жизни которых Майерова много писала.

Частенько бывали мы у Лангеров, Франтишека и Анечки. И всякий раз любовались его кабинетом, похожим на музей, увешанный оригинальными картинами брата писателя Карела Чапека, Йозефа Чапека, погибшего в фашистском концлагере. Франтишек дружил с обоими. Здесь была и коллекция верблюдов, подаренная Франтишеку по случаю его пьесы «Верблюд через игольное ушко». Франтишек не переставал работать, творить. За последние несколько лет жизни, Франтишек издал свои замечательные воспоминания «Былое и были», о Кареле Чапеке, Гашеке, своем младшем брате Йиржи, о писательском богемном мире довоенной (до 1914 года) Праги, драму в стихах «Бронзовая рапсодия» с глубоким философским освещением проблемы поколений, очерки об абстрактном искусстве, несколько новых рассказов и обновленных старых, в том числе «Филателистические рассказы», которые мы с Катей перевели, и они вышли в Москве с иллюстрациями выдающегося чешского графика Гоффмейстера. Хотя мы с Франтишеком расходились по общемировоззренческим и политическим вопросам – он был, пожалуй, в какой-то мере близок к своего рода толстовскому социализму – беседовать с этим мудрым, вдумчивым, талантливым писателем, полным любви к человеку, особенно мелкому, и заботы о будущем человечества – было всегда не только необычайно интересно, но и волнующе.

Франтишек Лангер скончался в 1965 году, на 77 году жизни. После его смерти, активной и толковой хранительницей его

большого литературного архива стала его жена Анечка. Благодаря ее боевому характеру, ей удалось, несмотря на трудности, добиться переиздания многих книг Франтишека Лангера, а также постановок его пьес. А добиться этого у нынешних заправил Союза чешских писателей, озабоченных прежде всего изданием собственной посредственной стряпни (после роспуска правления союза и назначения нового, последовавшего в 68-м году, все мало-мальски одаренные писатели либо сами вышли из союза, либо были исключены), – требует воистину сверхчеловеческой настойчивости. Но социальные драматические произведения Франтишека не утратили своей актуальности, вроде «Периферии» или «Верблюда». Они то и дело идут на известных сценах Запада, подтверждая верность пословицы: «В своем отечестве пророков нет». Но чего говорить: ведь и Карела Чапека и даже Гашека в «социалистической» Чехословакии старавшиеся показать себя стопятидесятипроцентными марксистами Копецкий и Штолл, предали забвению, пока не заметили, что в Москве высоко ценят этих блестящих, неповторимых авторов.

Продолжалась и наша дружба со Зденеком Фирлингером и его умной женой, француженкой Марией. Это был единственный сановник в моей жизни, с которым мы были на короткой ноге. Надо сказать, что несмотря на то, что он занимал высокие государственные посты, – посла в Москве, председателя Совета министров, председателя парламента – и был членом Политбюро, он не чванился. Был демократичен, прост в обращении, не только с нами, но с людьми вообще. С этим не вязалось то, что он не только в Праге жил в роскошной вилле, но имел в Южной Чехии, в Сезимове Усти, большое настоящее имение, с громадным, прилегающим к реке Лужнице участком. Фирлингер относился весьма критически к Новотному, этому тупому самодуру, ко всему режиму, который тот насаждал.

Но он остерегался проявить это публично, понимая, что тогда немедленно его песенка будет спета, его карьере наступит конец. И он оправдывал это свое поведение тем, что он имеет все же возможность сделать хоть какое-то доброе дело, между тем если его уйдут, то его место займет какой-нибудь реакционер.

В августе 68-го, в дни вторжения, он, – тогда председатель общества чехословацко-советской дружбы, – явился к послу СССР Червоненко с протестом против оккупации и даже опубликовал от имени Союза чехословацко-советской дружбы решительный протест против вторжения. Видно, в нем (так же как и в Свободе), как в бывшем легионере, сражавшемся за самостоятельность Чехословакии, на какие-то минуты заговорил голос патриота. Но вскоре он (и Свобода также) капитулировали перед силой, в этой

своей «слабости» раскаялись и полностью «приняли» и оккупацию и гусаковщину. Но если Свободе милостиво «простили» (его «легендарная» фигура оказалась самой удобной), то Фирлингеру дали просто пинок под зад. «Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти». И он сошел с политической сцены.

Но у нас – особенно у Кати – завязалась новая дружба, с Луизой Ландовой-Штиховой. Эта старая коммунистка была вдовой известного в Чехии астронома. А сама она, журналистка, посвятила всю свою жизнь освобождению женщины от домашнего рабства. За это она боролась, будучи при буржуазной республике анархо-коммунисткой, а затем депутатом парламента от коммунистов. В связи с этим она тогда посетила Америку. И сейчас, уже старушкой, неугомонно продолжала эту борьбу.

Это был ласковый, добрый человек, безгранично сердечный. Она тяжело переносила то, что в КПЧ, подражая КПСС, упразднили женотделы, страстно говорила и писала о том, что превращение женщины из домохозяйки в работницу или служащую, вовсе не освободило ее от пеленок и кухни, наоборот, оно прибавило к этому грузу еще и второй, еще больше сократило ее досуг, а значит и ее возможность умственно развиваться. Луиза не переставала носиться с планами домов-коммун, фабрик-кухонь, всеохватывающей сети общественных столовых. Партийные руководители относились к ней как к чудачке, хотя и на вид оказывали ей подобающие почести. И уже при Гусаке ей устроили парадные похороны. Однако ее воспоминания, очень интересные, так и не были изданы.

Хочется еще, хотя бы бегло, упомянуть о некоторых других знакомствах. Регулярно я встречался с академиком Владимиром Прохазкой, юристом, автором чехословацкой конституции, главным редактором Настольного Энциклопедического Словаря (в 4-х томах), издававшегося АН. Здесь я, вместе с Кнаппом, также юристом (директором института права) и академиком, составляли ее трехчленную главную редакцию. Прохазка опроверг мое предубеждение о юристах, как о сухарях, ходячих параграфах. Он был любителем детективов и сам перевел несколько известных с английского на чешский язык. А Кнапп написал было книгу, в которой оспаривал возможность применения кибернетики к юриспруденции. Но попросил меня предварительно прочитать ее в рукописи, и после того, как я раздраконил эту нелепость, признал свое заблуждение, и не только заново переделал всю работу, но и стал ратовать за то, чтобы кибернетические методы вводились в юридическую практику. Прохазка не дожил до 68 года, а Кнапп примирился с оккупацией. Но, по-видимому, он недостаточно

продемонстрировал свою преданность новому режиму, а потому его выгнали со всех постов.

В научных командировках я побывал на этот раз дважды во Франции, дважды в ГДР, затем в Польше, в Италии и США. Ездил два года подряд на конференции, устраиваемые французской компартией, – одну по диалектике, другую по вопросу «Какое будущее ожидает человечество». И оба раза я выступал там с докладами. Конференции происходили в Роямоне, средневековом монастыре, недалеко от Парижа, в очаровательной местности. Непосредственным организатором был Гароди, директор партийного института марксизма, бывший католик, примиренчески относящийся к религии. Поэтому, надо полагать, состав этих конференций был довольно странный. Кроме марксистов, причем не только французских, участвовали в них и идеалисты, однако по преимуществу одни лишь томисты, между тем, как, скажем, позитивисты, приглашены не были.

Я не мог не обратить на это внимания, и в частной беседе с первым тогда секретарем ФКП Вальдеком-Роше на приеме в чехословацком посольстве высказал ему свое недоумение, и, разумеется, не смолчал я об этом и в разговоре с самим Гароди. Гароди, который был при Торезе его идеологическим советником, стал теперь все больше сближаться с католиками. Если бы речь шла лишь о совместных действиях коммунистов и верующих против неофашистов, подобно тому, как во время Второй мировой войны объединились все подлинно патриотические французы без различия мировоззрения в движении сопротивления оккупантам, то, понятно, можно было бы лишь приветствовать начинание Гароди. Однако его «диалог» с богословами все явственнее превращался в прямое отрицание таких основных положений марксизма, как «вера и наука несовместимы». И как бы мне этого ни хотелось, – потому что я полностью солидарен с выступлением Гароди против сталинского культа, и уважаю его за это выступление, – я все же, точнее, именно поэтому, счел своей обязанностью, в статье, опубликованной в 1967 году в газете «Советская культура» покритиковать Гароди за это отступление от марксизма. Как известно, Гароди исключили из партии, но не за флирт с религией, а за его справедливую критику антидемократической политики руководства КПСС и ФКП. Настоящая ирония судьбы состоит в том, что в свое время Гароди защитил в московском институте философии докторскую диссертацию на тему о буржуазной и социалистической свободе.

В Роямоне я познакомился с канадским коммунистом, редактором теоретического журнала их партии «The Marxian Quarterly» Райерсоном. С их первым секретарем Кештаном мы

успели познакомиться на либлицкой конференции по антикоммунизму. Но в то время как тот показался нам типичным партийным бонзой, с Райерсоном, человеком широких взглядов, у меня сразу же установилось чувство взаимной близости. И я не ошибся. Поддерживал и в дальнейшем контакт с ним, опубликовал в его журнале статью против догматизма в нашей философии, на которую какая-то заядлая канадская догматичка раздраженно откликнулась. Райерсон вместе с женой посетил Москву, и они побывали у нас дома.

Позже я послал Райерсону свою статью, направленную против беспринципного сближения с религией. Но как раз к этому времени Райерсона отстранили от редактирования журнала, а затем и исключили из партии. Он оказался честным человеком, выступил против сталинских методов в партийном руководстве. Во время Всемирной выставки в Монреале, я получил приглашение побывать на симпозиуме, выступить с докладом. Доклад я подготовил, но меня туда не пустили, я был тогда уже на индексе. А Райерсону я писал два раза, но ответа не получил. Или мои, или его письма цензура не пропустила, либо он не стал отвечать, опасаясь, что, поддерживая связь со мной, он повредит мне.

Во время поездки в ГДР, в Берлине мы познакомились также с физико-химиком Хавеманом. Этот крупный ученый, коммунист, осужденный при Гитлере к смерти, но освобожденный советскими войсками, не поехал служить американцам, перебрался в восточный Берлин. Однако, увидев бесчинства, творимые при Ульбрихте, в особенности по отношению к высококвалифицированной интеллигенции, Хавеман свои лекции в университете «злоупотребил» для критики, в частности секретаря ЦК, держиморды Хагера. За это он, понятно, немедленно подвергся жесточайшей «проработке» и был снят с работы. Но тут-то он перегнул через край. Выпустил в ФРГ книжку «Marxismus ohne Dogma», в которой объявил о «склерозе марксизма». Я написал ему обстоятельное письмо, в котором доказывал ошибочность этого положения, следует говорить о застое, но отнюдь не о склерозе марксизма. Однако, хотя его жена, приехавшая к сыну, студенту физфака МГУ (его потом вскоре оттуда выгнали) и гостила у нас, наши отношения с Хавеманом, в общем весьма содержательным и милым человеком, на этом, к сожалению, оборвались.

В Берлине я разыскал также академика Фреда Эльснера, видного экономиста, бывшего члена Политбюро, впавшего в опалу. Но его все же не выселяли из виллы в Панкове, квартале партийной знати, специально охраняемом, куда можно было

попасть не иначе, как по особому пропуску. Фреда я знал по своей нелегальной работе в 1922 году, он, сын одного из основателей КПГ, тоже Фреда Эльснера, был тогда совсем молодым юнцом, стажером в редакции партийной газеты, которую я редактировал. Мы были теперь у него в гостях и констатировали, – уже не в первый раз, – что часто, стоит только высокопоставленному лицу, истому восхвалителю и охранителю режима, получить небольшой удар по голове от вышестоящего начальства, как в нем открываются необычайные способности к критике.

В Польшу для чтения нескольких лекций по методологическим вопросам физико-математических наук меня пригласил академик Адам Шафф, директор философского института. С Шаффом, как я уже писал, мы дружили давно. Я всегда симпатизировал этому очень независимо, глубоко и своеобразно мыслящему ученому. Мы не перестали дружить и тогда, когда я выступил с критикой его идеи о необходимости создания особой марксистской «философии человека» («антропологии»).

Мои лекции проходили в кичливо-парадном, довольно безвкусном здании, в котором помещалась Академия Наук, построенном в подарок Польше московскими архитекторами, здании, не гармонирующем с общим обликом города.

Не избежал преследований и Шафф: его, выступившего в своей замечательной книге об исторической истине против юдофобства, исключили из партии и «освободили» от работы. Но он почему-то остался академиком, возможно, что в Гомулке, с которым он был в хороших отношениях, все-таки заговорила совесть, и он осмелился замолвить словечко у «ястребов», жаждущих крови Шаффа. И в результате, у Шаффа жизнь сложилась не плохо. Сохранив польское гражданство (и даже свою варшавскую квартиру), он стал директором социологического центра ЮНЕСКО, находящегося в Вене. Из редакции журнала «Мысл филозофична», а затем, вероятно, из Польши, была изгнана Эльштейн, физик и философ. Эмигрировали способный социолог Бауман, выдающийся философ Колаковски, и многие, многие другие. Обо всем этом я пишу потому, что это явление типично для нашего времени, и не только для Польши. Вот как здорово мы способствуем «утечке мозгов», перекачке за океан лучших сил науки и искусства.

Самыми интересными оказались мои поездки в Италию (1961) и США (1962). В чехословацкой АН, как и во всей стране, проводился режим экономии, доходивший до абсурда. Так, например, когда мы с Косиком ездили на конференцию в Париж (где наше пребывание оплачивала французская компартия), в

Праге нам выдали настолько «щедро» карманные деньги, что у нас не хватило на оплату автобуса из аэропорта Ле Бурже в город. Как сейчас вижу, мы сидим с ним на скамейке перед зданием аэровокзала, по-братски делим пару бутербродов, которые Карелу положила его жена в портфель, запиваем их единственной бутылкой кока-колы и ломаем голову над тем, как нам быть дальше. Неужто тащиться пешком добрый десяток километров по жаре? Но нам повезло.

Подъехала «татра» с чехословацким флажком. Мы ринулись к ней. В ней оказался сам посол, приехавший встречать кого-то (не нас, конечно). Втроем мы посмеялись над нашим положением, и посол любезно отвез нас в город.

В Неаполе собрался международный конгресс кибернетической медицины, в котором приняла участие чехословацкая делегация, состоящая из трех человек. Хотя я и не медик, ее возглавлял я, поскольку в программе конгресса также стояли методологические вопросы. Выступал я на нем с докладом о мнимых и реальных опасностях, приносимых кибернетикой. Кроме того, мной была предложена резолюция против гонки вооружений и злоупотребления кибернетической медициной, наукой вообще, для военных, для человеконенавистнических целей. Хотя председатель, – якобы по формальным мотивам, мы, мол, здесь политикой не занимаемся, – и не поставил эту резолюцию на голосование, все же в опубликованный протокол конгресса ее включили.

Другими двумя членами нашей делегации были беспартийный профессор Шиллинг, директор Пражского эндокринологического института, и коммунист, физиолог, профессор Оломоуцкого университета Грбек. Шиллинг оказался располагающим к себе человеком, и я предложил ему попытаться применить кибернетику к диагностике болезней желез внутренней секреции, причем я даже набросал схему метода. И Шиллинг в самом деле вскоре осуществил это мое предложение.

Этим методом институт произвел обследование находящихся на учете пациентов с нарушением эндокринных функций, усовершенствовал диагностику и даже открыл два неизвестных до тех пор вида заболеваний. Что же касается Грбека, то он произвел впечатление человека самовлюбленного, с «вождистскими» замашками. В оценке Грбека я, увы, не ошибся. При Гусаке его назначили министром образования. На этом посту он быстро обессмертил себя, опубликовав приказ, требующий от преподавателей высшей школы доносить на неблагонадежных своих коллег и на студентов. Такая чрезмерная ретивость, такой слишком уж откровенное иезуитство, вызвали протесты

профессуры и волнение среди студенчества, а главное, не устраивали правящую верхушку.

Конгресс проходил в Academia navale, Военно-морской академии; чье здание стоит на самом берегу Неаполитанского залива, недалеко от того места, где свою раскидистую, мощную, вечно-зеленую крону вознесла высоко в небо гигантская итальянская сосна-пиния, та самая, которая является эмблемой города Неаполя. В конгрессе принимал участие сам Норберт Винер, справедливо прозванный «отцом кибернетики».

Винер всем своим обликом отнюдь не производил впечатления пророка нашей революционной эры автоматики. Удивительно, так же как и глашатай революции социальной, Ленин, с первого взгляда Винер казался отнюдь не каким-то необыкновенным гением, а рядовым, даже заурядным человеком, вроде мелкого конторщика или продавца, в крайнем случае, учителя, каких, не замечая, сотнями встречаешь на улицах больших городов. Одет он был небрежно (в этом он был сходен с Эйнштейном), в довольно-таки поношенный, какой-то рыжеватый костюм, а низ штанин был в растрепанной бахроме. И хотя он был на два года моложе меня, и, разумеется, не перенес столько, выглядел он старше меня, и дожил только до 70 лет.

В перерыве между заседаниями, я подошел к нему и представился. Рассказал, какое «недоразумение» получилось вначале с кибернетикой в Советском Союзе, и что я снабдил русский перевод его книги «Кибернетика и общество» своим предисловием, в котором отметил свое несогласие с его экзистенциалистскими философскими установками и с его неоправданной попыткой применить понятие энтропии к социальным системам. И он ничуть не обиделся и рассказал, что намеревается посетить Югославию, Прагу и Москву, и что он немного (это он прибеднялся) понимает славянские языки, поскольку его отец, выходец из России, был в Америке их профессором.

И вот так мы стали регулярно во время перерывов прогуливаться по набережной, беседуя о кибернетике, прерываемые многочисленными посетителями, а особенно посетительницами, которые совали Винеру свои блокноты, чтобы он оставил им свой автограф на память, что он раздосадовано исполнял. Вообще же настроение Винера, который, казалось, мог бы прямо купаться в лучах всемирной славы, было отнюдь не радостным. Он с первого же раза спросил меня, знаю ли я легенду про придворного раввина императора Рудольфа, пражского чудотворца Леи бен Безалела. Вкладывая записку с магическим именем божьим, «шем», в уста слепленной им фигуры робота-

Голема, он оживлял его. И тот выполнял для него все домашние черные работы, – дровосека, водовоза, истопника. Однако как-то, когда раввин, уходя, забыл вынуть записку, «Голем», своим автоматическим усердием, чуть было не погубил не только хозяйский дом, но и все пражское гетто. Я ответил, что, конечно, знаю еще с детства эту историю, имеющую свою аналогию в одной из сказок арабской «Тысячи и одной ночи». Это сказка про рыбака, выпустившего злого духа – «джина» из выловленной в море бутылки, куда его когда-то загнал и запечатал ее своей колдовской печатью царь Соломон.

«Вот, – говорил Винер, – также обстоит дело и с кибернетикой, с научными открытиями и техническими изобретениями вообще. Когда Эйнштейн вывел формулу превращения массы в энергию, ни он, ни Резерфорд, ни Бор и не подозревали, что атомная энергия будет использована для уничтожения Хиросимы и для создания еще более страшных водородных бомб. Также, когда мы с Розенблютом работали над созданием кибернетики, мы меньше всего думали о том, что ее можно будет повернуть против человека. Но теперь уже ее мирное использование порождает массовую безработицу. И я, понятно, бессилен воспрепятствовать тому, чтобы ее поставили на службу будущей мировой войны».

Я пытался убедить Винера, что не сами по себе величайшие достижения науки и техники, а общественный строй эксплуатации, наживы и насилия превращает их в средства массового уничтожения. Но мои слова как бы не доходили до него. Он снова и снова возвращался к этим гнетущим его думам.

«Массовое внедрение все более и более совершенных кибернетических устройств, – рассуждал он, – приведет к исчезновению сегодняшнего типа рабочего, этого бездушного придатка конвейера. Его заменит высококвалифицированный наладчик, со специальной инженерно-математической подготовкой. Но чем глубже образование человека, тем больше кристаллизуется и вся его индивидуальность. И значит, тем меньше он склонен подчиняться чужой воле. Но без подчинения индивида коллективу, без дисциплины, наступит анархия, человеческое общество распадется и погибнет». Эти мысли были как бы продолжением тех, которые Винер, уже тогда известный выдающийся математик, развивал в романе, который он написал еще в свой докибернетический период. Замечу, что прочитав это произведение, рисующее незавидную участь изобретателя в капиталистическом обществе, я рекомендовал одному из московских издательств перевести его и издать, однако, к своему удивлению, я не встретил сочувствия.

Прыжок в Новый Свет

Летом 1961 года в Вашингтоне состоялся международный социологический конгресс. Официальная советская марксистская доктрина долгие годы – при Ленине и Сталине, да и после – не признавала социологию, как науку. Считалось, что общие законы общественного развития изучает исторический материализм, и этого вполне достаточно. Однако постепенно, все-таки, и очень робко, пришли к мысли, что необходимо изучать и фактическое, конкретное состояние общества. Тогда в недрах Института философии АН образовалась небольшая группа социологических исследований. Но результаты таких исследований, как правило, не обнародовались, а были засекречены. Не хотелось ведь признаваться, что, скажем, религиозность населения выросла, или что состав и идеология рабочего класса вовсе не те, как их изображает официальная доктрина.

Аналогично обстояло дело и в странах-сателлитах, за исключением разве Польши, где социологию признавали, что явилось заслугой прежде всего этого «еретика» Шаффа. В этой ситуации на конгресс в Вашингтон из СССР была послана, тем не менее, количественно внушительная делегация, возглавляемая академиком Константиновым. Правда, в своем большинстве ее участники прибыли в порядке научного туризма, то есть за свой счет. Чехословацкая делегация состояла всего из трех человек: работника партийной «академии общественных наук» Сровнала, словацкого академика Сирацкого и меня, ее руководителя. Сровнал, молодой человек, пользовавшийся репутацией чудака, был себе на уме: относясь весьма критически к режиму Новотного и проявлениям сталинизма во всех «социалистических» странах, он маскировал свои подлинные взгляды развязностью, однако иногда они прорывались наружу, причиняя ему серьезные неприятности. О Сирацком, довольно серой личности, мне сказать нечего.

В Вашингтон мы полетели через Париж, где с чехословацкого самолета сразу же пересели на американский, специально зафрахтованный для съезжавшихся делегатов конгресса. С моим представлением об Америке не вязалось то, что в вашингтонском аэропорту паспортный и таможенный контроль происходили в каком-то жалком деревянном сарае, и совсем не с «американской деловитостью», а ненужно долго затянувшись.

Конгресс был очень многолюден, главным образом за счет американцев, причем не столько научных работников, сколько «практических социологов», в большинстве женщин. Так называют

в США лиц, чья профессия состоит в обслуживании частных фирм, страховых обществ, муниципалитетов, администрации отдельных штатов, бюро по учету общественного мнения выборочными социологическими опросами различных групп населения по самым разным вопросам, начиная от эффективности рекламы данного сорта мыла, успеха «бестселлера», и кончая популярностью президента США. Доклады и выступления в прениях передавались синхронно в переводах на все официальные языки конгресса – английский, французский и испанский – но русского не было среди них. Вследствие этого, советская делегация очутилась в довольно затруднительном положении.

На всем этом сказалось общее плачевное положение со знанием иностранных языков среди научных работников в СССР. За исключением ученых старого поколения, даже академики лишь редко владели активно иностранными языками, а в лучшем случае могли только читать на них литературу по своей специальности. Но чаще всего они пользовались переводами, изготовляемыми для них специальными штатными переводчиками. Причина была в том, что преподавание языков в средней школе и в вузах было поставлено из рук вон скверно. Сами преподаватели, не имея практики (за границу их ведь не пускали), знали язык по преимуществу лишь пассивно и могли научить в лучшем случае понимать печатный текст, но не разговорную живую речь, и тем более не могли помочь свободно ею пользоваться.

В связи с моим сообщением на конгрессе «Научно-техническая революция и социальный прогресс» со мной в кулуарах заговаривал Лазарсфельд, автор содержательного труда о применении математических методов в общественных науках. Эту книгу, а также остроумнейшую книжку англичанина Паркинсона «Закон Паркинсона» о бюрократизме, я купил здесь же в книжном ларьке конгресса.

Беседовал я, разумеется, с делегатами разных стран, но расскажу еще лишь о двух встречах с представителями американского ученого мира. Один молодой профессор Вашингтонского университета, с которым я вел переговоры о возможности устройства кого-нибудь из работников нашего пражского философского института на годичную стипендию в США, позвал меня к себе в гости. На своей машине-лилипуте он повез меня за город, где среди лугов, на берегу реки Потомак, на которой лежит Вашингтон, находился его двухэтажный дом. Кроме жены профессора и их двух прелестных дочек, пятилетних двойняшек, здесь присутствовали еще его, столь же молодой, как

и он, коллега, с женой и приемным сыном.

Для делегатов из соцстран советское посольство устроило прием, на который были приглашены также и некоторые прогрессивные социологи-немарксисты. Среди последних был и профессор Гарвардского университета Питирим Сорокин, тот самый, которого Ленин в 1922 году, как «современного крепостника» и «растлителя молодежи», выгнал из России. Из-за чего? Потому что тот в научной статье, опубликованной в журнале «Русского технического общества», озаглавленной «О влиянии войны», писал о большом росте количества разводов, о распаде старой семьи, о том, что многие новые браки бывают весьма недолговечны. Но ведь это было в самом деле так, об этом убедительно говорили цифры, данные записей загсов, это Сорокин не выдумал.

И многие видные большевики, как Александра Коллонтай, пытались даже подвести под отмену семьи «теоретическую базу» – «любви пчел трудовых». Конечно, Сорокин, как и громадное большинство российской интеллигенции, не «принял» Октябрьскую революцию. Более того, он был правым эсером, членом Учредительного Собрания, но только до 1918 года, когда он – в письме в «Правду»! – публично отказался от своей политической деятельности, признал ее вредность, заявил, что отныне станет заниматься только наукой – он был профессором Петроградского университета. И Ленин тогда в статье «Ценное признание», в той же «Правде», а также в своем выступлении на собрании работниц, положительно оценил этот шаг Сорокина. Однако в 1922 году Ленин позабыл все это, назвал профессора Сорокина «неким Сорокиным», выступил против него, невпопад указывая на ханжество брака в странах буржуазной демократии – но разве следует ссылаться на то, что там у них, мол, еще хуже, ведь у нас-то социализм! Надо ли было Ленину выказать к Сорокину столь злобную нетерпимость, не была ли она скорее проявлением слабости, чем силы? «Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ!»

И чего Ленин этим достиг? Питирим Сорокин обрел в США новую родину, стал признанным видным ученым, и счастливо избежал трагической участи, которая, без малейшею сомнения, постигла бы его при Сталине. К его чести будь сказано, что, несмотря на нанесенную ему тяжелую обиду, он сумел подняться выше своих обидчиков. Во время войны он встал на сторону сражающегося против фашизма советского народа и неоднократно выступал и после с признанием экономических, социальных и культурных достижений СССР. И здесь, на приеме, он с достоинством, хотя и не без легкой иронии, произнес

короткий тост, вполне благожелательный, в адрес советской делегации. Но к его трехтомному труду по социологии, ко всей его, по существу логистической, позитивистской, надуманной концепции, с ее моделями абстрактных «обществ», имеющих мало общего с реальностью, я относился отрицательно. И без обиняков я высказал ему это, подчеркнув, что социология, как и всякая другая наука, должна строиться, восходя от опыта. Ведь даже математика, хотя она и наука дедуктивная, имеет в своей основе систему аксиом, постулатов и дефиниций, которые являются вовсе не результатом «чистого разума», а опыта, бесчисленное количество раз повторявшегося.

Срок нашего пребывания в США был намечен на две недели. И пробыли мы там точно 15 с половиной суток. После окончания конгресса мы направились в Нью-Йорк. Но прежде чем расстаться с Вашингтоном, добавлю, что я как-то зашел в магазин самообслуживания, не какой-то исключительный, а рядовой. И глаза мои прямо-таки разбегались, глядя на это невиданное разнообразие пищевых продуктов, расфасованных в заманчивой упаковке. И я – не в первый раз – подумал: сколько еще должно пройти времени, чтобы советские люди, так много выстрадавшие, дожили хотя бы до четвертой части такого изобилия.

В Нью-Йорк мы поехали автобусом. Я обратил внимание на то, что никто из пассажиров не занял место рядом с единственной негритянкой, судя по изящной одноцветной одежде, из богатых. По прибытии на автобусную станцию нас ожидал неприятный сюрприз: наши чемоданы куда-то затерялись. Их, мол, отправили в другом направлении, но обещали ошибку быстро исправить. И действительно, в тот же вечер их доставили в гостиницу. Но нам показалось, что их вскрывали. Если так, то это было дело рук следившей за нами американской контрразведки.

Гостиницу мы выбрали рядом с автобусным вокзалом, дешевую. Заполнили карточки, – всего пару вопросов для статистики, – паспорта, а тем более сдачи их для прописки (как в СССР и ЧСР) у нас никто не потребовал. Переночевали мы здесь, а на утро разыскали чехословацкое представительство в ООН, в котором имелись комнаты для гостей, где нас и поместили.

Представителем Чехословакии в ООН был тогда Йиржи Гаек. Этого бывшего левого социал-демократа, вместе с Фирлингером перетащившим в 1948 году значительную, молодую часть своей партии в КПЧ, я знал по Соцакадемии, в работе которой он принимал активное участие. Это был эрудированный историк, владевший десятком европейских языков, милейший человек. Он рассказал нам много интересного, в том числе о сложности работы в ООН. И, между прочим, предупредил, что здесь в доме, а

также и в автомобилях, могут быть вмонтированы подслушивающие устройства, которые американцы прозвали «клопы», и что из окон противоположного здания следят за всем, что здесь у нас происходит.

В Нью-Йорке я посетил заводы IBM, крупнейшего предприятия, производящего электронные устройства, в том числе и компьютеры. А произошло это так. Захожу в магазин этой фирмы, чтобы купить транзистор, самый маленький и дешевый. И мимоходом замечаю, что мне, как занимающемуся кибернетикой, было бы крайне интересно посмотреть их заводы. И что же? Приказчик немедленно предложил мне показать их, записал мой адрес, и на следующий день за мной с утра приехала их машина и отвезла на завод, за город. Завод – это ряд одноэтажных длинных зданий без окон, с холодным светом и кондиционированным воздухом (о таких писал, как о сказке будущего, академик Иоффе). Здесь нет ни шума, ни зловония, все рабочие и работницы (их большинство) в светлой прозодежде, как в лаборатории или больнице. Меня провели по нескольким мастерским, давали подробные объяснения производственного процесса. Показали столовую, где угостили кока-колой, предложили пообедать, но я отказался. Был я и в медпункте, и в душевых. Рассказали и об экономических условиях труда, и о курсах повышения квалификации. Под конец – все длилось несколько часов, и я сильно устал – подарили кучу брошюр и отвезли домой, словно я какой-то министр или богатый заказчик. Конечно, я не сомневался, что свои секреты они мне не стали показывать, и что вся эта любезность запланирована, как часть рекламы. Но возможно ли подобное в Москве или в Праге?

В толстом фолианте телефонной книги штата Массачусетс, напечатанной на папиросной бумаге, в которой можно отыскать и номера телефонов всех министров США, и даже номер телефона квартиры президента, я нашел телефон моего друга Стройка. Мы сговорились с ним, что я приеду поездом в Бостон, где он будет ожидать меня на вокзале, чтобы довезти к себе домой, в Белмонт, поселок рядом с Кембриджем, где имеется знаменитый МТИ, Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет.

В Бостон, этот старинный, двухмиллионный торговый и портовый город, расположенный примерно в четырехстах километрах на северо-восток от Нью-Йорка, поезд шел всю ночь. Экономии ради, я ехал, конечно, не в спальном вагоне, а в жестком. Пассажиров было мало, и они часто менялись – это были жители сельской местности, ехавшие на короткие расстояния.

Несмотря на то, что мы со Стройком не виделись почти тридцать лет с тех пор, как он приезжал в Москву на конференцию по топологии и жил у нас на Хлебном, и несмотря на то, что я крайне плохо запоминаю лица людей, я сразу же приметил его высоченную фигуру в вокзальной толпе, и он меня тоже узнал. Мы обрадовались друг другу, и тотчас так, как будто мы только что прервали начатую беседу, стали осведомлять друг друга о том, что не удавалось сообщить в письмах, которыми мы в те годы довольно регулярно обменивались.

Стройк рассказал мне о своих злоключениях во времена маккартизма, когда его, как коммуниста и председателя общества американо-советской дружбы, изгнали из МТИ, лишили профессуры, но благодаря выступлению общественности, его пришлось восстановить. Он рассказал также, что затем из протеста против сталинизма и приспособленческой, подпевающей ему политики руководства американской компартии, он вышел из нее. Он вступил в новую, «прогрессивную партию», состоявшую главным образом из высококвалифицированной интеллигенции. Эта партия сотрудничает с компартией, и, как я думаю, она, собственно, была организована ею по тактическим соображениям. А я, понятно, рассказал Стройку о своих злоключениях…

Мы очень бегло осмотрели Бостон, и Стройк повез меня к себе на своей машине, весьма заслуженной старушке, в свой коттедж, довольно ветхое зданьице в небольшом запущенном саду. Как раз в эти дни Стройк хозяйничал здесь один. Его жена Руф, писательница, немецкая еврейка из Судет, находилась в санатории.

Стройк сразу вошел в роль радушного хозяина, взялся готовить на электрической плите в маленькой кухоньке обед из полуфабрикатов. Вообще же, в течение этих трех или четырех дней, пока я гостил у него, он старался изо всех сил «угощать» меня местными достопримечательностями. Мы ездили с ним по Новой Англии, по тем местам, где в 1620 году высадились первые колонисты, «инакомыслящие» того времени, бежавшие от религиозных и политических преследований, а также и по тем местам, где происходили сражения первых белых американцев с английскими королевскими войсками. Стройк показывал мне немногие дома, сохранившиеся с тех пор; мы любовались осенним ландшафтом, особенно яркими красками листвы кленов.

И я чувствовал, как дорого все это Стройку, который, хотя и вовсе не прирожденный американец, а эмигрант из Голландии, обрел здесь настоящую родину, и хотя американский империализм ему ненавистен, является настоящим американским патриотом. И я думал тогда о том, до чего относительны и

переменчивы все такие понятия, как «свобода» или «родина». Вот эти первые белые американцы, искавшие «свободу», нещадно истребляли индейцев и ввезли из Африки негров себе в рабы. И ведь немногим лучше отношение многих евреев в Израиле к арабам, хотя сами евреи, кажется, в достаточной мере испытали на себе национальное порабощение. А Стройка его новая родина преследовала за его взгляды, но и в старой он вовсе не нашел себе места. Как бы в подтверждение моих мыслей, Стройк обратил мое внимание на то, что за нами всякий раз следовала одна и та же машина, понятно, ЦРУ. Но пусть следят, нам-то что, такова уж их профессия, – подумал я.

Мы побывали в Кембридже, в Гарвардском университете и в МТИ. Зашли в вычислительный центр последнего, где никто не потребовал от нас пропуска, а его работники ознакомили нас со своей работой. На семи громадных электронных вычислительных машинах, занимавших колоссальную площадь (тогда еще не было достижений минимизации наших дней), производились эксперименты по переводам. При нас – с арабского на английский и обратно. Возможность практического использования машинного перевода в то время многими оспаривалась. Стройк привел меня также в библиотеку университета (мне очень понравилось, что университет, подобно Кембриджскому в Англии, состоит из ряда отдельных небольших зданий – по факультетам, – размещенных в прекрасном саду, а не представляет собой одно громадное здание, как старые университеты на континенте, – по их образцу построен, в основном, и Московский университет). Здесь, в библиотечной картотеке-каталоге были указаны и некоторые мои сочинения – этим Стройк хотел меня обрадовать.

И тут плохо, и там плохо…

Не так-то просто подытожить чувства, которые я привез с собой из Америки. Я говорю «чувства», потому что я провел там слишком мало времени для того, чтобы иметь право воображать, будто я эту страну в самом деле понял. Только краешком я зацепил часть ее восточного побережья, и словно душем – одновременно и обжигающим и ледяным – меня охватило американской высоко развитой техникой, богатством, сервисом, удобствами быта, нищетой трущоб, дискриминацией «цветных», изматывающим нервы шумом и непрестанной гонкой, своеобразной красочностью пейзажей. Я более или менее близко соприкоснулся всего с какой-нибудь дюжиной американцев. И они, надо полагать, открыли мне лишь лучшие стороны своего национального характера – подкупающую жизнерадостность, трудолюбие, организованность и умение, простоту и гостеприимство.

В заметке об этой поездке, которую я опубликовал в Праге тотчас после приезда, я решительно заявил, что «американский образ жизни» не создан для меня (или, вернее, я не создан для него). Жить в США, насколько я ознакомился с этой страной, я не хотел бы. Конечно, в то время я еще питал иллюзии насчет возможности устранения в скором времени «извращений социализма», всех тех уродств, которые не были искоренены ни в Советском Союзе, ни в странах «народной демократии» после смерти Сталина. Я был согласен с Гомулкой, писавшим, что речь идет о чем-то вроде насморка, но отнюдь не о раковой болезни. И тогда же я – по Ленину – американскую демократию считал лишь одним надувательством.

Но теперь-то доказано, в том числе примером самого Гомулки, что поставленный им диагноз был глубоко ошибочным. Болезнь эта тяжелая, повальная, разложение охватывает весь организм. Тут не помогут никакие полумеры, разве только операционное вмешательство. А случай смещения Никсона показал, что буржуазная демократия не просто показная. Как бы она ни была мало эффективна – смена одного президента другим, понятно, не отменяет власть капиталистических монополий, – как бы она ни служила инструментом в борьбе соперничающих групп империалистов, но все-таки она содержит элементы гласности. А при тоталитарной диктатуре, как фашистской, так и «коммунистической», всякая гласность исключена. Разумеется, можно спорить, что лучше; имеет ли гражданин отдушину в этой гласности, иллюзию в этом своем волеизъявлении, или же когда

этих иллюзий у него нет, и они заменены другими иллюзиями о якобы народной власти, о том, что «народ и партия едины» и т. п. (Впрочем, в известном смысле это верно: партийные массы также лишены влияния на судьбы страны, как и народ в целом).

Но я не намерен встать на точку зрения известного анекдота о вернувшемся из Израиля еврее, который снова хлопочет о разрешении поехать туда и объясняет это так: «И тут плохо, и там плохо, но зато дорога какая хорошая!» Да, не мало плохого имеется и там и тут, то есть в капиталистических странах и в Советском Союзе, и в странах «социалистических», и не мало имеется и там и тут хорошего. Однако это плохое (а также хорошее) имеется и там и тут в различных плоскостях, в различных сферах жизни. В сороковых годах я спорил со своим коллегой по Карлову университету профессором философии, «народным социалистом» И. В. Козаком, говорившим будто «свобода» и «равенство» – это комплементарные, дополнительные понятия.

Хотя я и сейчас не признаю допустимость распространения закономерностей физики на общество, я все же не стал бы столь категорически возражать против утверждения, что в Советском Союзе имеется относительно больше равенства в материальном положении людей, чем в США, но зато там относительно больше свободы слова, критики, терпимости к инакомыслящим, больше возможностей получить разностороннюю информацию, возможностей передвижения. Но все это только относительно. Правда, в СССР нет мультимиллионеров, нет частной собственности на средства производства, нет эксплуататорских классов, но тем не менее есть привилегированная бюрократия партийных и государственных чиновников, имеется иерархия чинов, укоренившая кнутом и пряником свою власть, свою идеологию во всех звеньях общественной жизни, во всех ее проявлениях.

А в Америке, хотя, как правило, и не сажают в тюрьму, в концлагеря и в сумасшедшие дома за критику правительства и пусть даже самого президента, за демонстрацию против официальной политики, за забастовки, хотя там легальна даже компартия, в чьей программе записано свержение капиталистического строя, несмотря на всю эту критику, на все эти протесты, правящие классы и их правительство продолжают по-прежнему осуществлять вовне и внутри свою политику.

О себе скажу, что и сейчас меня не привлекают США, несмотря на свою Калифорнию и Флориду, но учитывая евангельское «Не единым хлебом жив человек, но и словом божьим», я предпочел бы любую капиталистическую страну с

более или менее либеральным правлением, вроде Швейцарии, Италии, Австрии, Голландии, Скандинавских стран, или даже Израиля, а может быть и Португалии, Греции или Кипра – если там покончат с недавним мрачным прошлым – Советскому Союзу и Чехословакии, где проявляет себя террористическая диктатура.

Вот знакомый инженер. Ему постоянно напоминают, что он должен радоваться жизни, потому что у него есть новая квартира, машина, неплохой заработок, возможность отдыхать на курорте, не говоря уже о том, что у него хорошая семья, сын в вуз поступил. Но вот он не согласен с действиями главного инженера. Скажет ли он об этом на производственном совещании? Нет, он разве что поговорит об этом с друзьями. Боязнь? Может быть, даже и не боязнь, а укоренившееся убеждение, что все равно бесполезно. Главного инженера поддерживают вышестоящие начальники. А критические выступления – это значит, что обязательно начнутся неприятности.

Этот же инженер уже давно хочет прочесть книги Солженицына. Ведь о нем столько писали и говорили. Наш знакомый – коммунист, он сумел бы разобраться, в чем прав и в чем неправ Солженицын. Почему ему не дают прочесть его сочинения? Почему ему не доверяют? На художественных выставках он хотел бы увидеть работы абстракционистов, чтобы самому понять, как они рисуют. Ему их не показывают, должно быть, боятся, что он предпочтет абстракционизм «социалистическому реализму». Картины абстракционистов не только в переносном смысле, но и буквально, под охраной московской милиции, молодчики из госбезопасности, выступая под видом «комсомольцев», обливают грязью, специально поднятой бульдозерами, сжигают их на костре, давят валиками. А самих художников разгоняют напором воды из бранспойтов моечных машин, как это случилось вчера, 15 сентября 1974 года, когда группа абстракционистов из 27 человек, которым власти не давали зала, выставили свои картины прямо на пустыре. Значит, советского гражданина обкрадывают, лишают возможности читать все, смотреть все, говорить в полный голос обо всем, и все это для того, чтобы он не расширял, таким образом, свое представление о жизни, не стал бы умнее, глубже, не избавился бы от узости, ограниченности, серости, от стандартного мышления.

А поездки в другие страны? Советскому человеку в подавляющем большинстве они недоступны, и вовсе не только потому, что у него нет средств. Ездят немногие: в командировки, в туристские путешествия. Их капля, этих избранников. Опасно, дескать, если многие станут знакомиться с Западом, чего доброго,

они позарятся на тамошний уровень жизни и на буржуазную демократию, – рассуждают советские власти. Почему кто-то думает, что наш знакомый инженер, кровно привязанный к своей земле, на которой он родился и вырос, которую он защищал в войну, сразу же бросит ее, сменит на другую? Такое неуважение к человеку, такое вечное подозрение к нему, противоречащее всему, о чем все время так громко провозглашается, то есть, что советский человек полностью во всем свободен, – я и называю «обманом».

Но у преобладающего большинства даже самых честных советских коммунистов душа искалечена. Они не в состоянии мыслить иначе, чем заученными стереотипами, штампами, трафаретами, не могут избавиться от фетишизации таких «священных» понятий, как «родина», «партия», отождествления существующего в СССР мрачного строя с самой идеей советской власти. Раз здесь нет капитализма, значит, это социализм, – так «теоретически» обосновывают они свою позицию. Однако если нет названия этому строю, если Маркс и Ленин не изобрели его, то потому, что они не предвидели, что он возникнет. Ведь они также не предвидели фашизма, и тем не менее он утвердился и спорадически, то тут, то там возникает вновь. И также возник и существует и этот некапиталистический строй, который, как небо от земли отличается от социалистического строя, за который мы воевали. И если дело лишь в названии, то не так уж трудно придумать его. Выражаясь чрезвычайно мягко, можно этот уклад прозвать «квази-социалистическим», или «псевдо-социалистическим», стыдливо умалчивая при этом о жандармском характере его государства.

Сегодня, 16 сентября 1974 года, одна славная женщина, врач-пенсионерка, сказала Кате, встретившись с ней на лестнице, что сегодня еврейский праздник, Новый год, «рош хашана» 5735, и что только сейчас, – как она выразилась, – когда кругом столько антисемитизма, она стала обращать на такие вещи внимание. Да, и в подлинных интернационалистах, давно забывших о своей еврейской национальности, если они только не потеряли чувства человеческого достоинства, возрождается та «национальная гордость», которую Ленин одобрял, но только по отношению к великороссам.

Да, когда антисемитизм становится государственной политикой, политикой той партии, которая на словах проповедует «пролетарский интернационализм», тогда эта погромная политика заставляет и советских коммунистов-евреев стремиться уехать туда, где им чуждо и ненавистно многое. Они боролись за то, чтобы покончить навсегда с капитализмом и

империализмом, с властью богачей, униженностью нищеты, с бесправием малых наций, с их подавленностью. И все это польские и советские коммунисты-евреи встретят снова там, в Израиле, все то, против чего они начинали бороться у себя на родине, когда стали сознательными людьми.

И чувство гнева на то мерзкое, несправедливое, что они увидели в стране, за освобождение которой они сражались, чувство, что топчутся здесь все их идеалы, не покинет их и там, в капиталистическом мире. Ну что ж, – будут они рассуждать, – это ведь капитализм, так ему и положено. А вот там, где всему этому никак быть не положено, мы не можем больше жить, не можем переносить невыполнения обещанного и извращения достигнутого, не желаем быть обкраденными и сами содействовать обкрадыванию других. Но, собственно, здесь, в капиталистическом мире, эти уехавшие сюда коммунисты смогут только доживать свою жизнь, потому что их идеалы уже обмануты, а мысль, что после свержения капитализма здесь может повториться то же самое, что произошло в их стране, будет мучить, преследовать их неотступно.

Это я еще взял «лучший» пример, когда наш друг-инженер не сидел в сталинской тюрьме или лагере. А что же сказать о человеке, у которого костью в горле застряло страшное время, когда он был репрессирован, ни за что страдал, он и его семья. Если только он не презренный приспособленец, или же раздавленный пережитым, впавший в маразм жалкий осколок человека (а сколько таких!), то разочарование и горечь, ощущение страшной трагедии десятков миллионов, будут преследовать его уже до конца жизни.

Мое повествование затянулось. Хотя последний десяток с лишним лет вовсе не был беден интересными событиями, не только общественными, но и в моей личной жизни, и хотя я – как вижу – даже не упомянул об очень многих людях, мировая линия которых на некотором отрезке совпала с моей, людях, о которых не следовало бы умолчать, я скажу обо всем лишь суммарно, опуская множество подробностей. К тому же, чтобы читатель мог дать тот – по моему разумению, хотя я не желаю навязывать ему его – единственно правильный ответ на вопрос «Так ли мы жили?», а именно: «К сожалению, не так мы жили, не так должно было вести себя ваше (то есть, мое) революционное поколение!», а в этом ведь главный смысл всех этих моих писаний, – приведенных материалов более чем достаточно.

Запоздалая ересь

Я не стану вдаваться в детали даже таких событий, как «дворцовый переворот», сместивший Хрущева 14 октября 1964 года (вскоре триумвират будет праздновать десятилетие своей власти), или оккупации в 1956 году Венгрии и в 1968 году Чехословакии, и тем более не стану задерживаться на нашей туристской поездке в Египет после окончания Адой университета, на нашем с Катей трехмесячном пребывании в Триесте, где в течение года работал в Международном физическом институте наш зять Франтишек Яноух, на посещении, то на отдых, то на конгрессы, то на лекции – Болгарии, Югославии, ГДР и Польши, разъездах по самой Чехословакии и Советскому Союзу (в том числе и по Дальнему Востоку, включая Южный Сахалин), на лекционном турне в Израиль в 1967 году незадолго до шестидневной войны, и уж вовсе пройду мимо таких семейных дел, как женитьба детей и рождение внуков и внучек.

Теперь же я расскажу вкратце о том, что предшествовало моему, после Второй мировой войны вторичному, а вообще-то третьему по счету, и на сей раз должно быть окончательному, отъезду из Чехословакии. В 1962 году ЦК КПЧ в связи с подготовкой XII съезда партии предложил вместе с перспективным планом развития общества проект нового устава партии для публичного обсуждения этих документов. В связи с этим, я направил в «Руде право» коротенькую статью «Три важнейших условия». В ней я предлагал дополнить устав партии тремя пунктами: 1) для того, чтобы обеспечить подлинную внутрипартийную демократию, самокритику и критику – узаконить тайное голосование на выборах партийных органов всех ступеней; 2) ввести регулярную смену всех без исключения выборных партийных работников; 3) чтобы сделать невозможным отрыв партии от народа, добиться того, чтобы образ жизни коммунистов, всех без исключения, существенно не отличался от образа жизни прочих трудящихся.

Я указывал на то, что принцип тайного голосования всегда осуществлялся в большевистской партии, и что после ликвидации «культа личности», в новый устав КПСС были включены как этот принцип, так и принцип регулярного обновления выборных партийных работников (при Брежневе, уже успевшем раздуть культ для себя, последний принцип был вычеркнут). Регулярная смена выборных партийных, равно как и государственных должностных лиц, абсолютно необходима для того, чтобы воспрепятствовать бюрократизации партийного и

государственного аппарата, превращению политической функции в пожизненную профессию, в хорошо оплачиваемую должность, а также и для того, чтобы все более широкие круги членов партии приучились вести руководящую партийную работу.

Наконец, Ленин, который последовательно выступал против уравниловки, вместе с тем категорически требовал – в своем труде «Государство и революция» и в многочисленных выступлениях – чтобы коммунисты своим образом жизни не выделялись среди прочих трудящихся. И сам Ленин своей скромной жизнью подавал этому пример. Нельзя терпеть, чтобы отдельные коммунисты (высокие партийные, государственные, военные работники, работники культуры и т. д.) имели неумеренно высокие заработки, шикарные громадные квартиры, дачи и поместья, целые штаты прислуги, пользовались особым снабжением и т. д. Прежде всего, это недопустимо потому, что общественное сознание человека определяется его общественным бытием. Тот, кто живет «за высоким забором» материальных благ и привилегий, почти никогда не способен понимать нужды рядового человека. У таких людей, которых Ленин называл «совбурами» (то есть, советскими буржуями), своя кастовая идеология. Нужно это также и потому, что самая эффективная пропаганда коммунизма – это пропаганда действием, личным примером. Какова цена самым распрекрасным проповедям, если с ними расходится действительность? Коммунистом не может быть тот, кто своим образом жизни подражает бывшим господствующим классам, – это должно быть ясно сказано в уставе партии, – писал я.

Хотя я не особенно надеялся, что моя заметка будет напечатана, все же я тогда еще наивно верил в искренность намерения ЦК дать возможность членам партии свободно высказать свои предложения и обсудить их. Но, конечно, мои «Три условия», задевавшие за живое самые основы кастового господства, не только полетели в редакционную корзину, но главный редактор Швестка (тот самый, который является ныне одним из столпов гусаковского режима), доложил о них, конечно, в ЦК. А там, «охранители» режима Новотного, все эти Гендрихи и Коуцкие, у которых я ведь уже давно был на заметке, как «отпетый интеллигент с мелкобуржуазной, радикальной, левацкой, анархической, ревизионистской и прочая идеологией», подбавили, пока что втихомолку, на костер, предназначенный для сожжения еретика, еще одно увесистое поленце.

Еще раньше, в самом начале 1962 года, в лекции о коммунистической морали, которую я прочитал для партийных пропагандистов, я, упомянув о том, что над Прагой, в прекрасных

садах Летны, все еще высится гигантский аляповатый памятник Сталину, этому палачу миллионов трудящихся, заявил, что убежден, что не только он, наконец, будет снесен, но что партия полностью исправит те тяжелые несправедливости, которые были причинены многим прекрасным чешским и словацким товарищам. Для психологии членов партии того времени (и только ли того времени, и только ли в Чехословакии?) характерно, что после доклада ко мне подошла жена министра сельского хозяйства Дюриша и перепуганная спросила, выступал ли я по полученному указанию. Нужно отметить, что тогда, – а ведь прошло целых шесть лет после разоблачения злодейств сталинизма! – в чехословацких тюрьмах все еще томились многие десятки, если не сотни невинно осужденных, тяжело страдали их семьи. И даже тогда, когда XII съезд КПЧ принял решение о «ликвидации последствий культа», и многие его жертвы были реабилитированы (главные, повешенные, увы, посмертно), или амнистированы, этот процесс исправления допущенных величайших преступлений вовсе не был доведен до конца, а проходил опять-таки лживо и конъюнктурно.

Так же как в Советском Союзе, как и во всех других «социалистических» странах, где во время «культа» во имя торжества социализма и коммунизма вершились массовые убийства и истязания лучших членов партии, интеллигенции и вообще трудящихся, так и в Чехословакии никто и не думал привлечь к ответственности, поставить перед судом народа за эти злодеяния прокуроров, следователей, судей, тюремщиков, палачей, а тем более министров, членов ЦК и секретарей партии. Ведь в таком случае пришлось бы сесть на скамью подсудимых в первую очередь самому Новотному, который при Готвальде зарабатывал себе карьеру, выступая в роли главного стукача, подбрасывая сфабрикованные фальшивки, «обвинительные доказательства», на основании которых 11 «государственных преступников» получили веревку.

Об этих «похвальных подвигах» Новотного, тогда секретаря Пражского обкома, на общегосударственной партконференции в декабре 1952 года говорил министр госбезопасности Бацилек. И пришлось бы, тоже посмертно, но не амнистировать, а осудить самого Готвальда, который из-за страха потерять свое положение, предал, под нажимом Москвы, своего соратника Сланского, не оказал сопротивления его ликвидации. А ограничились только тем, что потихонечку вынесли тело Готвальда из жижковского мавзолея. И тем более надо было бы поставить перед судом (еще пока он был жив) Копецкого, который, опасаясь за собственную шкуру, самым активным образом содействовал уничтожению

Сланского, своего закадычного друга, с которым они вместе еще в студенческие годы вступали в партию, в которой тогда этих неуравновешенных, склонных к авантюризму студентов не называли иначе, как karlinští kluci («мальчики из Карлина»). Что же касается реабилитации самого Сланского, то ее осуществили в два приема: сначала сняли с него все обвинения в государственной измене, оставив в силе партийные; но потом сняли и те. Были и такие, кого, после десяти лет, проведенных в тюрьме в каторжных условиях, XII съезд помиловал, но они не смогли вернуться к своей прежней работе по профессии, а влачили жалкое существование.

Ясно, что все мое поведение, пожалуй, именно потому, что я боролся формально дозволенными средствами, партийными, особенно сильно раздражало не только партийное, но и академическое начальство. И вот меня «наказали». К моему 70-летию вначале предполагалось наградить меня Орденом Республики, но наградили более низким, дали Орден Труда. И когда мне торжественно вручал орден президент Академии Шорм, то я в ответной речи недвусмысленно дал понять, что для меня очевидна вся фальшь этой игры.

А четыре дня спустя после моего юбилея на общегосударственной конференции Союза чехословацких писателей, 10 декабря 1962 года, я, по их приглашению, выступил с докладом «Художественная литература и общественное сознание». У меня сохранилась стенограмма этого доклада, который я произнес по заранее написанному тексту, а поэтому я могу легко воспроизвести его содержание.

Я спрашивал, что общего имеет правда сегодняшнего человека, например, с правдой гуситов, и чем она отличается от нее? Общее – говорил я – в том, что и гуситы и мы боролись и боремся за справедливость, за то, чтобы всякому человеку жилось так в обществе, как он этого заслуживает. А разница в том, что современный человек не ждет, или не должен ждать этой истины свыше, а требует, чтобы при любых обстоятельствах эту справедливость он мог отвоевать не только лично для себя, но и для всех членов общества. Современное состояние общественного сознания, нездоровых явлений, встречающихся в нем в Чехословакии – это результат исторического развития, наследие трехсотлетнего владычества Габсбургов после Белой Горы, шестилетнего протектората в чешских землях и клерикалфашизма в Словакии, всего капиталистического наследства, и не в малой мере и отзвуки советского режима «культа личности», который – как об этом было сказано на только что окончившемся XII съезде КПЧ – пагубно повлиял и на всю

культурную жизнь Чехословакии. Сущность этого режима состоит в злоупотреблении властью, в подмене социалистических общественных отношений олигархическими.

Здесь не просто бюрократизм – это не просто канцелярщина, проволочки, формализм и бумажки вместо живого дела, а превращение общественных учреждений – партийных, государственных, профсоюзных, культурных – в самоцель. В искусстве, в литературе, так же как и в науке, бюрократизм проявил себя прежде всего тем, что подобно тому как в политике и экономике, в управлении вместо демократического централизма здесь занял место централизм бюрократический, – возникло замкнутое привилегированное чиновничье сословие, стремящееся (и в значительной мере преуспевшее в этом) осуществлять бесчувственную, казенную регламентацию всей культурной жизни. Это проявлялось в литературе в канонизации тех направлений и форм, которым симпатизировали сильные мира сего, взявшие на себя смелость быть третейскими судьями, хотя ровным счетом в литературе ничего не смыслили, и в преследовании всех других направлений, осуждаемых как еретические.

Так воспитывался упрямый догматизм, рутина, цепляние за стереотипы, за шаблоны и трафареты мышления, тупое сопротивление всякой новой творческой мысли. В условиях «культа» и его последствий, которые, к сожалению, слишком долго держатся, – ибо выскрести Сталина из его наследников совсем не легкое дело – искаженный вид принимают зачастую и мероприятия, сами по себе целесообразные. Так принципы единства науки и практики, служения искусства обществу, некоторые понимали и до сих пор понимают, как оправдание любой практики, даже самой подлой, и «социальный заказ» искусству часто понимался и понимается как «заказ», мало отличающийся от приказа, исходящего от работника аппарата автору сочинить стихи, рассказ или роман на определенную тему, и, конечно, с заданной тенденцией. (Грешным делом, руководя в свое время издательством «Московский рабочий», я, как мной уже было отмечено, тоже пытался навязывать писателям подобные задания.)

Особенно было распространено неправильное, упрощенное понимание «партийности литературы». Ведь писать по-партийному писатель должен по собственной убежденности, к которой он сам пробился, иногда в тяжелой длительной внутренней борьбе. Между тем, слишком часто требование партийности литературы и искусства (как и науки) сводилось к декретированию, несовместимому с творческим трудом.

Типичным примером является заушательское выступление А. А. Жданова по поводу творчества Ахматовой и Зощенко в Советском Союзе. Полагаю – говорил я – что вы припомните аналогичные случаи и из чехословацкой практики. Но вспомните их не со злорадством, а чтобы правда – как гласит лозунг на чехословацком гербе «Pravda vítězí!» («Правда побеждает!») – в самом деле победила, причем не когда-нибудь, а в ближайшее, в наше с вами время, чтобы было покончено со всем, что до сих пор осталось от «культа», и никогда больше не смело повториться. Нам нельзя забыть о невинно казненном замечательном журналисте-коммунисте, бывшем спартаковце Андре Симоне, о страдавшем без вины в застенке выдающемся словацком писателе Новомеском.

Я не стану воспроизводить здесь все содержание этого, почти двухчасового, доклада, но одно место, то, которое вызвало самую бурную реакцию «в верхах», повторю буквально, по стенограмме: «Часто бывает так, что замечательные достижения, которых мы добились благодаря громадному труду рабочих, крестьян и интеллигенции, содержат в себе, как в бочке меду, ложку дегтя. Вот конкретный пример. В Страшницах, в районе, где я живу, построено много домов, а также красивые школьные здания. На днях, прогуливаясь с женой, мы проходили мимо новой школы на Гутовой улице. Нас радовало это светлое, архитектурно приятное здание. Солнышко ярко светило, и вдруг, как будто какой-то ночной кошмар, как будто из какого-то видения Франца Кафки, мы увидели четыре этажа, на каждом этаже по пять классов, значит, двадцать классов с одной стороны, и еще двадцать с другой, и во всех классах, на одном и том же месте, слева от классной доски, над кафедрой в одинаковой рамочке один и тот же портрет! Конечно, все это сделано согласно предписанию. Кто-то хочет выслужиться, все должно быть как прежде, когда там, рядом с доской, висел образ Франца Иосифа, а потом – «татичка Масарика», а затем Бенеша. Зачем это нужно? Для того, чтобы мы с самого начала воспитывали из детей стадно, стандартно мыслящих людей? Ребенок переходит из одного класса в другой, следующий, так как это девятилетка, девять раз! Такая безвкусица, такой подхалимаж! Вот вам и ложка дегтя в бочке меду!»

Как был встречен этот мой доклад самими писателями видно из отзвуков прессы. «Литерарни новины» (№ 50, от 15.12.62) писали, что «все выступавшие в прениях подчеркивали необходимость смело, творчески рассчитаться с ошибками и пережитками прошлого, и выразили волю помогать всеми средствами науки и искусства партии в ленинском решении

стоящих перед нами проблем». А литературный журнал «Пламя» (№ 1, 63), заявил: «Благодаря открытому, страстному, темпераментному, в деталях иногда перебарщивающему (!?), однако в принципе серьезному и по-коммунистически честному вводному докладу академика Арношта Кольмана, развязались языки. Прения сосредоточились на вопросах, которые все присутствующие чувствовали под влиянием XII съезда КПЧ в отношениях между идеологией, общественными науками и искусством, как самые жгучие».

И председательствующий на конференции первый секретарь Союза писателей, член ЦК КПЧ Скала, в заключительном слове оценил мой доклад как «очень инициативный», а всю конференцию, как «хорошую, прежде всего ее откровенным тоном». К сожалению, – сказал он, – было мало тех, кто имели смелость говорить об этих вещах раньше.

Иначе восприняли мой доклад «в верхах». Сам Новотный послал личное письмо в мою партийную организацию института философии, требуя принятия по отношению ко мне строжайших мер. Членов партбюро института начали вызывать поодиночке в отдел пропаганды ЦК, где его заведующий Урбан угрожал им, что если парторганизация института не исключит меня из партии, то она будет разогнана, а сотрудники будут посланы на работу на урановые рудники.

Через неделю после моего доклада состоялось заседание партбюро для его обсуждения, после того, как членам партбюро, по их настойчивому требованию, дали ознакомиться с его стенограммой, в чем первоначально наотрез отказывали. На заседание я не был приглашен, зато в нем принимали участие специально делегированные на него Секретариатом ЦК зампрезидента АН член ЦК Штолл, директор института истории АН, кандидат ЦК академик Мацек, инструктор агитпропа ЦК Гулакова (племянница Новотного), и представитель пражского горкома. И вот результат – единогласно принятая резолюция на 10 страницах, в которой содержалось не только принципиальное согласие с содержанием моего доклада, но было сказано и много хороших, теплых слов о моей работе и обо мне лично. А ведь я к этому времени уже не был директором института и собирался покинуть Чехословакию. Значит, льстить им было мне ни к чему! Просто эти семь членов бюро повели себя мужественно, честно, как надлежит подлинным коммунистам. И я был больше всего счастлив именно сознанием, что три года моей работы директором института не прошли даром: ведь главное, чего я добивался, это чтобы у наших философов дело не расходилось со словом.

Чуть было не забыл отметить, что в то же время мое выступление обсудил (опять-таки в мое отсутствие) Президиум АН, после чего меня вызвали, и Шорм объявил мне приговор: Президиум осудил мое выступление как несовместимое со званием члена Академии. Как мне передали по секрету, в ЦК настаивали на моем исключении из Академии. Однако, учитывая, что такое решение пришлось бы проводить через общее собрание академиков (до оккупации 1968 года Академия все еще имела такой либеральный устав), Президиум не решился на это. Ведь и ЦК также не решился на то, чтобы в обход низовой партийной организации и в нарушение устава партии, исключить меня – на это не решился даже сам Новотный. Такие «мелкобуржуазные, лжедемократические предрассудки» в КПЧ тогда еще соблюдались[7].

Итак, из Чехословакии я уехал как академик ЧС АН и член КПЧ. Но вдогонку за мной Секретариат ЦК КПЧ послал в ЦК КПСС письмо, приуроченное к моменту, когда на заседании ЦКК решался вопрос о моем обратном переходе из чехословацкой в советскую компартию. Члены ЦКК даже не старались скрыть своего недоумения над тем, как же это, если я действительно, – как утверждалось в этом письме, – вел работу против партии, то не только не получил за это ни малейшего взыскания, но не был снят со столь важной идеологической работы, какой является руководство институтом философии, а был за нее даже награжден орденом. И когда я рассказал как все было по-правде, то они лишь высказали сомнение, что, может быть, мне не следовало ставить столь острые вопросы на беспартийном собрании, однако письму-кляузе не придали значения.

И вот я снова стал членом КПСС с прежним стажем. Из парторганизации чехословацкого посольства, где я только платил членские взносы, но за все время не присутствовал ни на одном партсобрании, я перешел в парторганизацию Института истории естествознания и техники АН, где числился неоплачиваемым старшим научным сотрудником на общественных началах. Когда директором института стал Кедров, он предложил мне оплачиваемую должность консультанта. От этого я отказался, так же как и от получения ежемесячных двух тысяч крон «за звание академика», кроме пенсии в 240 рублей в месяц. Президиум ЧС АН, которому я отправил этот отказ вместе с просьбой использовать эти средства для развития социологии в Чехословакии, первоначально ни за что не хотел принять его (ведь так создавался опасный в будущем для его членов прецедент), и лишь после моего вторичного категорического настояния, удовлетворил первую половину моей просьбы.

Чуть было не забыл: в Праге, после заседания партбюро состоялось общее партсобрание института философии для утверждения резолюции бюро. Оно превратилось в вечер прощания со мной. На нем присутствовали опять-таки все те же, делегированные ЦК, чтобы добиться моего исключения. И вот Штолл не только не посмел рта раскрыть, чтобы попытаться выполнить возложенную на него миссию, но как только он увидел великанский букет красных гвоздик, который собирались мне преподнести, он чуть не прослезился, и первый бросился обнимать и целовать меня!

Я знал, что в институте вырос ряд хороших научных работников, соединяющих в себе знания, творческую инициативу, прилежание и политическую честность. Было опубликовано несколько удачных работ, в том числе и коллективных. Знал, что имеется замечательный молодой философ Карел Косик, и другие. Мою просьбу без промедления удовлетворили – ведь хотя за все время не было произнесено ни одного критического замечания ни от партийного, ни от академического начальства в мой адрес относительно моей работы – я стоял у них поперек дороги, и они были рады избавиться от такого kverulanta («критикана»).

Не скрою, что ненормальные отношения между мной и руководством ЦК и АН, сыграли не малую роль для моего решения уйти. При встречах мне первые кланялись, пожимали руку, сладко улыбались, говорили комплименты, но делали все, чтобы мешать работе, и исподтишка дискриминировать меня. Наш институт ютился в неподходящем, совершенно недостаточном по площади помещении. Даже самые скромные бюджетные запросы резко урезывались. В институте не было ни одного вспомогательного научного работника. Наше предложение создать при институте если не целый социологический сектор, то хотя бы небольшую группу социологических исследований, было так же отклонено, как и предложение об установлении прочной связи с несколькими заводами и кооперативными сельскими хозяйствами. Нам не разрешили провести ни одной защиты докторской диссертации. Провалено было предложение о созыве общегосударственного философского съезда, о чем я сейчас расскажу подробнее. Что же касается моей особы, надо полагать, в то время коммуниста в Чехословакии с самым большим партстажем и опытом партработы, пожалуй, единственного, оставшегося в живых, кто лично знал Ленина, не говоря уже о том, что меня не только не избрали делегатом на XII съезд, но и не дали гостевого билета, и что на вечер, устроенный ЦК и Пражским горкомом 22 апреля 1960 года к 90-летию рождения Ленина, меня не пригласили. Меня перестали посылать с

докладами, лишив всякого контакта с массами (кроме студентов, поскольку я читал лекции в университете).

А теперь еще пара слов о съезде чехословацких философов. На его созыв было дано принципиальное согласие ЦК. Мы готовили его в течение целого года, были разработаны и обсуждены тезисы основных докладов, в том числе и моего о задачах дальнейшего развития нашей философии, доклады готовили работники с периферии. Мы представили тезисы в ЦК, и никаких критических замечаний не получили. И вдруг мне на квартиру присылают сообщение, что на чрезвычайном заседании Президиума АН было принято решение «отказаться от созыва этого съезда». Без всякой мотивировки! Посудите сами, можно ли мне было в таких условиях работать? А ведь я с болью покидал Прагу, которую люблю, и не строил уже себе никаких иллюзий, что в Москве будет намного лучше.

Наследники Сталина

После возвращения в Москву, я занялся завершением своей книги «Проблема бесконечности», объемом около 600 страниц, которую я писал одновременно по-русски и по-чешски. Ученый совет института истории естествознания и техники, после полученных нескольких положительных отзывов математиков, физиков и историков науки на книгу, единогласно одобрил ее издание под маркой института. Издательство «Наука» АН СССР включило ее к изданию в 1972 году, о чем было объявлено в печатной программе его изданий. Однако не тут-то было. Вмешательством из ЦК издание этой книги было приостановлено, и так она до сих пор не увидела свет.

Причиной «эмбарго», наложенного на мою книгу, явилось прежде всего не ее содержание, а личность автора, тайно «отлученного от церкви». Не печатают же и мою статью в «Вопросах философии» о философских проблемах теории относительности, содержащую и мои воспоминания об Эйнштейне, хотя в ней нет ничего «крамольного». Она была принята редакцией, была набрана, три раза включалась в очередной номер и три раза снималась по указанию свыше. И только «из-за маленьких недостатков большого механизма» удалось один раз прорвать блокаду: журнал «Философские науки» Министерства высшего образования (№ 6, 1973) напечатал мою статью о философской книге Гейзенберга.

Но почему я, собственно, подвергся анафеме, причем не публичной, а негласной? (С виду все хорошо, к 50-летию Октября мне дали Орден Трудового Красного Знамени, а к 100-летию рождения Ленина – медаль «За доблестный труд»). Для этого имеется несколько причин. Вот, например, в ноябре 1965 года на общем собрании АН Чехословакии (в то время я еще получал приглашения на эти собрания и мне разрешали приезжать на них) я выступил в прениях по предложенному плану работ Академии. То, что я сказал тогда, приведу здесь крайне сжато. План охватывает только естественные и технические науки, а не общественные. Но решение проблем одних обуславливает успехи развития других, и наоборот. Марксистские общественные науки не подвергались тому процессу революционного преобразования, который на переломе нашего века начался в естественных науках и технике, процессу, состоящему в переходе на новую высшую ступень абстракции. Одной из главных причин этого отставания марксистских общественных наук была террористическая диктатура Сталина, которая в течение трех десятилетий

парализовала их развитие. После того, как КПСС разоблачила преступную подмену социализма и исправила самые тяжелые ее последствия, необходимо, чтобы расширялась и укреплялась социалистическая демократия и на этой основе преодолевался застой всех общественных наук. Без этого немыслимо решить ни одну из трех основных задач, которые как я считаю – стоят перед нами.

Первая – это философское осмысление проблем современного естествознания, их обобщение, которое – согласно методологическому принципу, сформулированному Лениным еще в начале разразившейся в естествознании революции, однако до сих пор нами не примененному – должно строиться исключительно на общих достижениях естественных наук, а не на наших вымыслах, но вместе с тем и не дать себя связывать преходящими частными результатами отдельных наук, обусловленных преходящим уровнем, которого они в данный момент достигли.

Вторая кардинальная задача наших общественных наук – это максимальное содействие для перехода к подлинно научному управлению обществом. Прежде всего надо отказаться от иллюзии, будто для осуществления социализма, а тем более коммунизма, достаточно ликвидировать экономическое, политическое и культурное господство буржуазии, и тогда, якобы, все остальные черты нового строя появятся сами собой. Нет, кроме этого должна быть обеспечена такая тенденция общественного развития, которая приводит к полному социальному равенству всех, к уничтожению всякой привилегированности отдельных лиц, групп и слоев. Окончательно это наступит лишь с ликвидацией товарного хозяйства, купли и продажи, этого первоисточника всех социальных пороков, войн, несвободы и тирании, националистического, религиозного и прочего фанатизма, преследования инакомыслящих.

Однако диалектически как раз максимальное расширение рыночных, торговых связей, а с ними и обмена людьми и идеями, ускорит сроки, когда подлинный демократический социализм полностью и везде победит. И я привел высказывание Ленина об отмене привилегий всех должностных лиц, о том, что как раз в этом пункте учение Маркса наиболее «позабыто», что стало обычаем умалчивать о нем, как о «наивности». Я подчеркивал, что преодоление пропасти между высоким уровнем жизни одних и низким других не имеет ничего общего с уравниловкой. Для социалистического общества неприемлемо, когда в Советском Союзе директор института АН получает в 33 раза больше, чем

уборщица.

С этим главным принципом, исключающим привилегированность, связаны и дальнейшие: участие в общественно-полезном труде (причем и физическом) всех трудоспособных, полная избираемость всех должностных лиц без исключения (а не только голосование за них), их сменяемость в любое время и фактическая ответственность перед избирателями; отмена политической деятельности как пожизненной профессии ради заработка; преодоление авторитарного способа мышления; полная информированность народа, чтобы каждый знал неподдельную правду; честная, откровенная критика собственных ошибок; свобода выбора каждым страны для жительства, право на выезд из страны и возвращение в нее.

Я говорил, что, понятно, против принципа регулярной сменяемости политических руководителей, и еще более против того, чтобы политическая деятельность перестала быть пожизненной профессией, станут выдвигать «деловые» соображения, скажут, что сменяемость – враг преемственности, она привела бы, дескать, к потере накопленного опыта, к колебаниям и шатаниям, которые дорого бы обошлись обществу. Политическое управление – это сложная наука (или, точнее, оно должно стать наукой), которую нужно изучать, так же, как изучают физику, биологию или политэкономию. Однако из этого вовсе не следует, будто быть секретарем ЦК партии или министром должно быть такой же профессией, как быть физиком, биологом или экономистом. Тем более, что в том случае, когда общество подлинно социалистическое, когда в нем отсутствуют принципиальные помехи научному управлению им, то последнее в значительной мере может и должно осуществляться при помощи компьютеров – кибернетического (авторегулирующего, управляющего) устройства.

В-третьих – говорил я – марксистские общественные науки должны сегодня больше, чем когда-либо изучать способ мышления, настроения и поведения современного человека. Схематично говоря, основная типизация определяется с одной стороны тем, является ли данный человек социально активным или пассивным, а с другой стороны тем, живет ли он в обществе, построенном на принципах, благоприятных для большинства его членов, или же наоборот. Так, например, очевидно, что настроения коммуниста, живущего при социализме, управляемом глубоко принципиальными и компетентными людьми, резко отличается от настроения коммуниста в «социалистической» стране, где власть захватили люди, чья мораль и жизнь, как и проводимая ими политика, внутренняя и внешняя, далека от

идеалов этого строя.

На состоявшейся весной 1965 года в Москве всесоюзной философской конференции по диалектике, я выступил с социологическими рассуждениями о «словах и делах».

Я проанализировал известные мне «объяснения» – от Бакунина и Кропоткина, до Бертрана Рассела и Джиласа – даваемые явлению перерождения: что оно вызывается индивидуальными и национальными особенностями человека; что оно определено самой звериной, агрессивной, узурпаторской природой человека, неизменно проявляясь независимо от уровня цивилизации и от общественного уклада на протяжении всей истории человечества, от фараонов и Чингисхана до Гитлера и Сталина; что в порче власть имущих повинны льстецы, составляющие их ближайшее окружение; что в ней повинны мы сами, вовремя не щелкнувшие по носу такого Ваню, как только он начал задирать его, превращаясь из искреннего и простого в надменного, изолгавшегося Ивана Ивановича; что виновато «отчуждение» человека техникой, атмосфера, вызванная войной и опасностью новой войны; что вся вина в социализме, в диктатуре пролетариата, в коммунистической партии, в безбожном материализме, в марксистской идеологии.

Опровергая все эти «теории», указывая в частности, что в социалистической системе – если бы только принципы социалистической демократии последовательно соблюдались – нет ничего, что могло бы приводить к расхождению между словом и делом ее руководителей, между моралью и политикой, я доказывал, что вина не в социализме, а в отклонениях от него, в подмене его. Но – говорил я – хотя ни один из приведенных ответов не объясняет вопроса, в каждом из них – кроме последнего – имеется кое-что дельное. И я перечислил те принципы, осуществление которых необходимо, чтобы слова и дела в политике не расходились, принципы, указанные еще Марксом в «Гражданской войне во Франции», значит в 1871 году, и разработанные Лениным в 1917 году в книге «Государство и революция». Они никак не устарели, но в результате тяжелого опыта выяснилось, что их непременно следует дополнить дальнейшими. Я призвал товарищей-философов заняться этим анализом, но мое выступление было встречено молчанием. Выступавшие после меня сделали вид, будто не слушали меня. А в вышедшем отдельной книжкой протоколе конференции мое выступление было передано в столь «удачно» сокращенном виде, что все мало-мальски острые места исчезли.

В 1965 году, в самом конце его, группа старых членов КПСС (некоторые с дореволюционным стажем), и я в том числе,

обратились с письмом к членам Президиума ЦК КПСС. В нем мы выражали свою глубокую тревогу попытками так или иначе, хотя бы частично «реабилитировать» Сталина, тем, что при подготовке XXIII партсъезда предполагается создать документ, который должен «дополнить» и «исправить» постановление ЦК от 30 июня 1956 года «О преодолении культа личности и его последствий». Набросок этого письма, в который затем товарищи внесли ряд изменений, писал я, и считаю возможным привести здесь несколько выдержек из него. В нем говорилось: Такие попытки («реабилитации» Сталина), в частности делались в докладе на идеологическом совещании, проходившем с 13 по 18 ноября с.г. Они находят свое практическое выражение в программных указаниях по преподаванию истории партии и других общественных наук в вузах, в намерениях переиздать некоторые сталинские сочинения. Сталину приписываются «заслуги» в борьбе с оппозицией, в коллективизации сельского хозяйства, в индустриализации страны, в победном окончании войны, в развитии марксистской теории. Величайшие его преступления начали называть «ошибками».

Затем, пункт за пунктом, подробно мы разоблачили эти «заслуги» Сталина, обернувшиеся на деле ужасающими злодеяниями. Так, идейную борьбу с оппозицией Сталин превратил в физическое уничтожение соратников Ленина, избиение лучших кадров старых большевиков и беспартийной интеллигенции, рабочих и крестьян, комсомола, командного состава армии, ветеранов гражданской войны. Ленинский план добровольного кооперирования крестьянства он подменил раскулачиванием середняков, разорением деревни. Индустриализацию Сталин проводил на костях, крови и поте миллионов невинно заключенных. В результате политики Сталина, война, которую вовсе можно было избежать, встретила нас неподготовленными, и победа далась нам ценою свыше 20 миллионов жизней советских людей. Сталин не развивал марксизм, а искажал и грубо вульгаризировал его, оправдывая, в частности, чинимые им массовые репрессии своим «учением» об усилении классовой борьбы с приближением к коммунизму.

Далее в письме было сказано: «Разоблачение нами перед всем миром на XX и XXII съездах «культа личности» явилось свидетельством силы нашей партии… Понятно, это развенчание поколебало у неустойчивых людей веру в наше великое дело. Им воспользовались наши враги. Но вину за это всецело несут злодеяния Сталина, а не факт их разоблачения, которое было неизбежно. Мы считаем, что единственным эффективным средством борьбы с неверием, безразличием, цинизмом,

наблюдающимися среди части народа, особенно молодежи, как у нас, так и в других социалистических странах, состоит в том, чтобы довести начатое дело очищения, восстановления ленинских норм общественной жизни до конца. Если при разоблачении Сталина Хрущев и допустил преувеличения, говоря, например, будто Сталин руководил военными операциями по глобусу, то несравненно хуже то, что период сталинской власти не был охарактеризован правдиво как «террористическая диктатура Сталина», а лишь как «культ личности», в то время как этот культ, организованный самим Сталиным, был только производным явлением его кровавой диктатуры».

И еще: «Мы считаем, что необходимо обнародовать материалы о до сих пор не вскрытых перед общественностью преступлениях Сталина (подстроенными самим Сталиным убийства Кирова, гибели Куйбышева, Орджоникидзе и др.), завершить реабилитацию невинно осужденных в подложных процессах, исключить Сталина посмертно из рядов ленинской партии, убрать его могилу, а вместе с ней и могилы услужливых пособников его преступлений, с Красной площади, водрузить здесь памятник его жертвам, как было решено на XXII съезде».

Мы предлагали внести в программу и устав партии те важнейшие принципиальные положения, которые выдвинули Маркс и Ленин, и развить их дальше в применении к нашему времени, а также ликвидировать те ухудшения, которые внес Сталин в Конституцию. И мы заканчивали свое письмо с выражением уверенности, что партия не собьется на путь приукрашивания «культа», а восстановит не на словах, а на деле, без колебаний, лицемерия и лжи, полную неприкрытую правду.

Как реагировали в ЦК на наше письмо? Очень просто – подтвердили, что оно было получено, и только. Правда, от издания документа, реабилитирующего Сталина, все же благоразумно отказались, не иначе как учтя голоса возмущения, раздававшиеся в западных компартиях, в ответ на усиливающиеся в СССР признаки отхода от линии XX и XXII съездов. Но тихой сапой эта реабилитация усиленно проводилась, и что еще хуже, сталинизм, сталинские методы самовластия, тоталитаризма, внедрялись без Сталина с несравненно большей степенью и размахом, чем те, сравнительно робкие темпы, с которыми их начал осуществлять Хрущев в последний период своей власти.

Правители усердно старались вернуть страну к сталинским временам. Волна репрессий все нарастала, и к тюрьмам и лагерям прибавился дальнейший изощренный зверский метод: сумасшедшие дома, а также высылка из страны с лишением гражданства. Но в обществе нет обратимых процессов. Довести

репрессии до тех чудовищных размеров, которых они достигали при Сталине, никому не удастся. И как бы ни усиливались преследования за распространение «самиздата», «Хроники», блестящих по реализму, обличительству, гениальной художественности образов сочинений Солженицына, этого Толстого нашего времени (со всеми слабостями толстовства), гонения на «подписантов», демонстрантов и «выезженцев» снова и снова, то тут то там, повторяются эти выражения сугубо отрицательного отношения, в громадном большинстве вовсе не к советскому строю как таковому, не к социализму, каким он должен быть, а к извращающей идею советской власти и социализм политике правящей касты.

Конечно, этот процесс, при Сталине совершенно невозможный, вовсе не исходит от сколь-нибудь значительной части народа, а только от весьма небольшого его слоя. Причина этого, однако, кроется главным образом не столько в страхе перед репрессиями, сколько – что возможно хуже – в политической пассивности, в безразличии и равнодушии, в полной потере веры в то, что, добившись смены правителей, мы придем к лучшему, что не повторится то же самое, что уже повторялось несколько раз. И не на последнем месте причина бездействия народа в том, что отсутствует программа, лозунги, за которые люди решились бы бороться.

В 1905 и 1917 годах такие лозунги как «земля», «хлеб», «мир» были понятны, жизненно близки самым широким массам России. Теперь же требование осуществления Декларации прав человека (подписанной в 1948 году также и СССР, но никогда не соблюдавшейся здесь) о недопустимости преследования инакомыслящих, о свободе переезда в другие страны и выборе гражданства, о праве на правдивую информацию – требования, за которые борются Сахаров и Солженицын, волнуют лишь крайне узкие круги, главным образом известную часть наиболее квалифицированной интеллигенции. Подавляющему большинству рабочих, крестьян и служащих на все эти «высокие материи» наплевать с высокого дерева… У них другие интересы, значительно более земные. И только национальный вопрос (крайне обострившийся не только среди евреев и среди немцев, но острый для народов Прибалтики, Средней Азии и Кавказа, а также для украинцев) равно как и вопрос о свободе вероисповедания, особенно для сектантов, то и дело приводит к более или менее-массовым вспышкам недовольства.

Короткая Пражская Весна

Ко времени XXII съезда, к началу 1966 года, я наконец понял, что совершенно безнадежно надеяться, что у советских руководителей заговорит совесть, что они поддадутся увещеваниям и откажутся от насилия и лжи. Я понял, что только боязнь потерять свои позиции, только необходимость – вследствие перманентного тяжелого экономического положения – пользоваться иностранным хлебом и мясом и т. д. может заставить их пойти, и то лишь на частичные, уступки в сторону отказа от бесчеловечных, антигуманных, дикарских приемов, хотя бы от случая к случаю. При этом для меня было совершенно ясно, что эти требования прогрессивных западных ученых и писателей, подхватываются правящими кругами капиталистических стран отнюдь не из-за человеколюбия, а в расчете, что осуществление этих требований ослабит их соперника.

И вот, передо мной встал вопрос, выступать ли открыто – в тех крайне редких случаях, где у меня для этого еще остались возможности, то есть на партсобраниях, в докладах и лекциях – с критикой существующих порядков. И я вскоре рассудил, что первое же подобное мое выступление повлечет за собой как минимум исключение меня из партии и полное прекращение всякой возможности выступать и печататься, не говоря уже о посещениях дочери в Праге, а то и ссылку куда-нибудь в Тьму-Таракань, лишение пенсии, гонения на детей и внуков, если даже не арест. Так я решил, насколько это удастся, дольше сохранить возможности – пусть и совсем незначительные – сказать свое слово. Ведь я до сих пор верю, что «капля камень точит». Буду, как и держался, держаться на острие бритвы, но кроме того попробую кое-что написать сатирическим пером для «самиздата». Так я написал «Выступление Ленина на XXII съезде КПСС по первому пункту повестки дня».

К тому времени я все еще окончательно не расстался с наивной, сумасбродной идеей, будто заправилы могут внять голосу разума и человечности.

В 1967 году, после того, как казалось, что я уже излечился от своего телячьего оптимизма и доверчивости, у меня появился рецидив. Вернувшись в конце марта из Израиля, я послал записку, адресованную big three (большой тройке) плюс Суслову и Пономареву, в которой кратко изложил политическое положение в этой стране, таким, как я его видел, и писал: «Положение вещей таково, что при сравнительно небольшом изменении нашей политики, можно добиться значительного усиления левых,

просоветских элементов в стране, а в дальнейшем, – превращение Израиля в нейтральное демократическое государство на Ближнем Востоке. Это в интересах Советского Союза, а также в интересах как еврейских, так и арабских трудящихся, – в Израиле, равно как и в окружающих Израиль арабских государствах, – поскольку израильско-арабский конфликт представляет одинаково роковую трагедию для обоих родственных народов, и создает постоянную угрозу войны».

Я предлагал, чтобы Советский Союз выступил посредником между Израилем и арабскими государствами (подобно тому, как это имело место между Индией и Пакистаном на Ташкентской конференции). Одновременно нужно, – писал я, – чтобы в нашей пропаганде прекратилось отождествление реакционного израильского правительства с израильским народом, нужно возобновить торговые отношения с Израилем, заключить договор о культурных и научных связях, предоставить советским евреям, желающим эмигрировать в Израиль, это право без ограничений, организовать курсы для евреев, желающих изучать еврейский язык (идиш или иврит), издать учебники, создать еврейскую газету (не только для Биробиджана), восстановить еврейский театр, прекратить дискриминацию в приеме евреев в вузы и на работу.

Закончил свое письмо я так: «Как бы там ни было, в Израиле создается еврейская нация, и как всякая другая, она имеет право на существование. И наша коммунистическая политика по отношению к трудящимся Израиля, благодаря которой только и могло возникнуть это государство, не должна определяться тем, что там в настоящее время имеется реакционное правительство, и что евреев там всего 2, а арабов в соседних государствах 50 миллионов».

Ответ на мое письмо последовал ровно через год. Мне позвонили из ЦК и попросили зайти в отдел, курируемый Пономаревым. Молодой человек, инструктор, сообщил мне, что «товарищи ознакомились с письмом, но не согласны с ним». Он стал далее разъяснять, что в Советском Союзе антисемитизма нет, и что если изредка где-то встречаются отдельные случаи, то они спровоцированы сионизмом самих евреев. Я сказал, что согласен, что антисемитизма здесь нет, так как арабов, которые ведь тоже семиты, Советский Союз не обижает, а обильно снабжает танками и ракетами, теми самыми, которые, как трофейные, были выставлены после шестидневной войны в Иерусалиме.

Значит, нет антисемитизма, а есть только юдофобство, и я сказал, что мне очень жаль, что товарищи были – год тому назад – не согласны с моим письмом. Ведь если бы согласились, то, кто

знает, может быть, и не дошло бы до войны. И еще я добавил, что благодарю за то, что меня вызвали, чтобы все это мне сообщить, хотя понимаю, конечно, что сделано это только «для галочки». На этом мы мирно расстались, но я излечился, надеюсь, теперь уже навсегда, от иллюзии, будто партийные и государственные чиновники способны прислушаться к мнению неофициального лица, и в чем-то менять свою политику, о которой они мнят, будто именно только она укрепит и сохранит их власть.

Но нет, я все-таки не могу полностью умолчать о впечатлении, которое на меня, после посещения их, произвели эти две страны Ближнего Востока – Египет и Израиль, точнее, не сказать ни слова о раздумьях, вызванных ими. Я не собираюсь описывать здесь их экзотические красоты, а хочу поставить лишь один вопрос: неужто оба эти, столь одаренные, народа – арабы и евреи – с их древней культурой, давшей человечеству столь много духовных ценностей, не смогут выбраться из того удручающего положения, в котором они находятся? В Египте, который я посетил как турист, я видел столь ужасающее противоречие между богатством и нищетой, между мраморными дворцами знати и конурами бедняков, людей в отрепьях, спящих на набережной Александрии, множество детей-попрошаек, в болячках и струпьях. В Израиль меня приглашали еще в 1948 году, но тогда я попал не туда, а на Лубянку. Приглашение прочитать в Иерусалимском университете и в Академии наук лекции по философским проблемам физико-математических наук пришло снова в 1966 году. Однако прошел ровно год, пока в ЦК внезапно мне разрешили эту поездку, причем – невероятно! – вместе с Катей. В Израиле, где порядки средневекового гетто, правда, все еще сохранились в квартале Меа Шеарим в Иерусалиме, кибуцы представляют настоящие коммунистические общины, воплощение идеи Чернышевского или Ландауэра, причем с современной высокой агротехникой (однако эксплуатируемые капиталистическими скупщиками их продукции), еврейский народ живет на постоянном осадном положении, не нашел в этом «убежище» покоя от вековых гонений. Нельзя не удивляться и не преклоняться перед тем, как это евреи сотнями лет в «галуте» не привыкшие к таким профессиям, как земледелие, к работе каменщика, не говоря уже о военном и морском деле, сумели возделать эту каменистую и болотистую землю, воздвигнуть современные города, создать боеспособную армию, торговый и военный флот. Я беседовал там с руководителями обеих коммунистических и различных социалистических партий, а также с президентом страны Шазаром, и все время наводил своих собеседников на вопрос о

сближении обоих народов, в чьих интересах одинаково было бы достичь его, освободиться от далеко не бескорыстной «опеки» со стороны США – евреев, СССР – арабов. Какие громадные экономические, технические, научные, общекультурные выгоды получили бы окружающие Израиль арабские государства и сам Израиль от такого сближения, как высоко поднялся бы уровень жизни во всех этих странах!

В январе 1968 года, наконец, прогнали Новотного, и первым секретарем ЦК КПЧ стал словак Александр Дубчек, 47 лет от роду. В Чехословакии начался процесс возрождения. С полицейско-бюрократическим режимом было покончено, казалось, навсегда. Из общественного сознания людей исчез страх. Они перестали бояться писать и говорить правду. Волнующе было наблюдать по телевизору, как люди открыто рассказывали о своих недавних переживаниях, о том, как они все эти годы должны были молчать, хотя понимали, что в грязь втаптываются самые светлые идеи социализма.

Мы в эту весну были в Праге, и я опубликовал 14 мая в «Руде право» статью «Философия-политика-свобода. Научно-техническая революция нуждается в социалистической демократии. Как я это вижу». Статья занимала целую страницу газеты.

Я писал: «Причина, которая сделала возможным, что некоторые из тех, кто занимают господствующие позиции в партийном и государственном аппарате, а также в других общественных организациях и в науке и культуре, вырождаются (пример этого метко описан Ладиславом Мнячко в романе «Каков вкус власти»), единственно в том, что социалистическое общество, как мы его на практике начали строить, отличается от той модели, которая была научно обоснована классиками марксизма». Затем я довольно подробно излагал принципы, которые нужно осуществить, и под конец предупреждал: «Процесс демократизации пытаются затормозить, пугают «радикализмом», «мелкобуржуазностью либеральных интеллектуалов». Используют с одной стороны то, что некоторые враждебные социализму элементы хотели бы злоупотребить нашими честными устремлениями к оздоровлению общества, к просвещенному, очеловеченному социализму, а с другой стороны то, что иные с искренним желанием покончить с гибельными деформациями прошлого срываются к выходкам и недооценивают того, чего мы под руководством коммунистической партии достигли (несмотря на все деформации), и доходят до анархического отрицания роли коммунистической партии вообще.

Полагаю, что мы не должны закрывать глаза на эти явления,

представляющие несомненную опасность, но в то же время мы не должны позволять запугивать себя. Ибо самое важное сегодня – это не останавливаться на полпути под предлогом рассудительности, быть решительными, не ограничиваться одной лишь сменой людей, а непримиримо, до конца проводить социалистическую демократизацию всего общества, всех его организаций. Научно-техническая революция для нас – это не вещь в себе. Она должна служить человеку, причем человеку социалистическому, его всестороннему развитию, его духовному росту. И если социализм должен доказать свою жизнеспособность и перейти в свою высшую коммунистическую фазу, если он должен одолеть атаки империализма и победить во всем мире, он должен преодолеть реакционные силы тех, кто хотел бы возобновить политику «сильной руки», он должен завершить трудный и долговременный процесс очищения общественной жизни от всякой фальши – лиц, дел, идей».

Новый директор института философии Радован Рихта пригласил меня выступить на общем собрании сотрудников. Я сделал это с радостью тем большей, что приветствовал назначение Рихты, способного и творческого философа. Говорил я на этом собрании примерно то же, что содержалось в моей статье в «Руде право», но особо сильно подчеркивал необходимость политической и научной честности и гражданского мужества, без чего нет марксистских философов.

В то же время в партийном издательстве «Свобода» вышла моя книжка «Философские полусказки», написанная еще в декабре 1967 года в Москве. Книжка эта начинается словами: «Никакого предисловия я писать не стану, ибо всякий поймет, почему и зачем возникла эта книжка. А послесловие (pomluva, игра слов, то есть наговор) напишут те, кому она не понравится, несмотря на то, что я не имел возможности – по техническим причинам, как говорят в подобных случаях – поместить в ней для них, в виде приложения, карманное зеркальце».

В июне или июле 1968 года мы с Катей вернулись в Москву. Позже, в августе, прилетели погостить Ада с внучкой Катюлей, тогда четырех с половиной лет. В Чехословакии все шире стали восстанавливаться элементарные гражданские права – свобода слова и собраний – начало внедряться участие трудящихся в управлении производством. И соответственно этому все больше усиливалось раздражение и тревога советских руководителей. «Дурной пример заразителен», – того и гляди, и советские люди потребуют для себя того же! Но страшное беспокойство охватило не только Москву. Особенно сильно волновался Вальтер Ульбрихт, первый, кто потребовал применить к Чехословакии

санкции.

Но не мало встревожены были и в Варшаве, Будапеште и Софии. Появилось сразу несколько «объяснений» того, что происходит в Чехословакии: это, мол, левачество Дубчека; это его правый ревизионизм, он стремится к капиталистической реставрации; это происки недобитых чехословацких буржуазных и мелкобуржуазных партий; это дело рук американского империализма, Пентагона и ЦРУ; это подготовка к захвату Чехословакии аденауэровской Западной Германией, гитлеровскими реваншистами. В эти дни к нам зашел приехавший из Харькова знакомый инженер. Он рассказал, что там у них еще весной городских пропагандистов подготовляли к вести о занятии Чехословакии советскими войсками, якобы для предупреждения готовящейся ее оккупации со стороны ФРГ. А мы смеялись, считая все это просто бредом.

Но вот наступил август, затем он стал клониться к концу, атмосфера вокруг Чехословакии все больше становилась грозовой. И тут один мой знакомый советский журналист позвонил мне, настоятельно приглашая немедленно зайти к нему. Я пошел. В его холостяцкой квартире оказался один известный ученый, а также один английский корреспондент-коммунист. Последний рассказал нам, что, как ему известно, вчера, на заседании Политбюро, было принято решение оккупировать Чехословакию армиями СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии, и что только одна Румыния отказалась принять в этом участие. Ему был известен точный срок, день и час. Мы были потрясены. Это был какой-то кошмар. Не верилось, что нечто такое в самом деле возможно. Куда делись все клятвенные заверения о суверенитете, о дружбе? Не провокационный ли это слух? Но корреспондент знал такие подробности, что их не придумаешь. Что мне было делать? Как сообщить об этом в Прагу, предупредить чехословацких товарищей? Через посольство нельзя было: ведь послом был Коуцкий, бывший секретарь ЦК при Новотном, сталинец, назначенный на этот пост по мягкотелости Дубчеком, в котором я видел вообще что-то от Иисуса Христа. Я попытался намекнуть по телефону зятю Яноуху о готовящейся инвазии, но говорил эзоповым языком, и, должно быть, перестарался, не был понят. Да если бы и поняли, не поверили бы. А если бы и поверили, вряд ли решились бы на вооруженное сопротивление и хотя бы на всеобщую забастовку.

21 августа 1968 года

Итак, злодейство свершилось. Наступила черная среда, 21 августа 1968 года. Точно по расписанию, применив «нордическую хитрость», несколько сотен тысяч солдат – из них большинство советских войск, с танками, ракетами, пушками, бомбардировщиками, как «тать во тьме ночной», ворвались в Чехословакию сразу с нескольких сторон. Но они и не подумали подойти близко к границам ФРГ, а сосредоточились близ обеих столиц – Праги и Братиславы. Освободители 45 года теперь покончили с самостоятельностью республики, окончательно превратили ее в жалкий привесок СССР, разоблачили ложь о невмешательстве КПСС в дела «братских» компартий.

Советские руководители и чехословацкие квислинги твердили, понятно, лишь одно: СССР пришел просто на помощь чехословацкому народу, чтобы не допустить возврата к капитализму. Боже упаси, никакой оккупации не было и нет, и как только положение в стране нормализуется, советские войска покинут ее так же, как это уже сделали войска других четырех стран Варшавского договора. Однако прошло целых 6 лет, в ФРГ у власти не Аденауэр, а социал-демократы, с которыми Брежнев купается в Крыму, Гусак и другие снова и снова заявляют, что нормализация и консолидация в Чехословакии завершена, а СССР и не думает убирать свои войска.

В эти тяжелые августовские дни Ада прямо приросла к транзистору, слушала и слушала горестные вести, ловила каждое слово. Она очень беспокоилась за мужа. Зная, что он политически очень активный, коммунист и настоящий патриот, опасалась, как бы он не пострадал. Основания для опасения были у нее не малые. Дубчека, Смрковского, Кригеля и других держали же в ночь вторжения под дулами автоматов, а потом насильно отвезли в Москву, заставили подписать позорный для чехословацкого народа, покончивший с его свободой документ (только один председатель Национального фронта Кригель подписать наотрез отказался), и лишь на ультиматум президента Свободы выпустили этих «почетных пленников» домой.

Узнав, что Ганна Серцова только что вернулась из Чехословакии, Ада побежала к ней, чтобы узнать от очевидца о событиях. Но ее встретили не только с полным одобрением оккупации. Муж Ганны Юрий Карпов без обиняков угрожал ей, что она, советская гражданка, еще поплатится за свое сочувствие чехословацким предателям-дубчековцам. И на этом их разговоре с Адой у нас кончилось все с нашими бывшими близкими

долголетними друзьями – мы немедленно полностью порвали с ними. А стороной мы узнали, что они уехали в Прагу, не иначе, как вести там «идеологическую» работу, благо немного знали чешский язык.

Как отнеслись советские люди к этой интервенции? К нам прибежала знакомая русская актриса Люся, рыдая, приговаривала: «Мне стыдно, что я советская гражданка!» Приходила и Лиза, возмущалась, горевала об этом несчастии для всего мирового коммунистического движения. «За что боролись, на то и напоролись», – сказала она со свойственным ей мрачноватым юмором, имея в виду положение в стране в целом. Но большинство тех, кого мы встречали в эти дни, старались не касаться этой темы. Либо их эти события трогали не больше, чем нашествие саранчи где-нибудь в стране зулусов, либо они боялись сказать что-нибудь.

А одна большевичка с дореволюционным стажем, проведшая сначала пару-другую лет в царских тюрьмах, а потом просидевшая 15 лет в сталинском лагере, сказала мне: «А что мы можем поделать? Прикажете выйти мне с плакатом на Красную площадь, что ли?» И я не имел морального права ответить ей: «Зачем же? Поступите как Софья Перовская», ведь я сам протестовал всего лишь с «кляпом во рту, и с кукишем в кармане», не положил свой партбилет, а только избегал тех партсобраний, где принимались резолюции, одобрявшие политику ЦК. Были, конечно, и единицы, писавшие и подписывавшие письма протеста против вторжения. Их было немало, особенно среди студенческой молодежи, этих, по Горькому, чьему «безумству храбрых поем мы славу». Но не поэтически, а трезво оценили это «безумие» власти, и запрятали наиболее «опасных» из них в желтые дома, а остальных поисключали из партии и из комсомола, выгнали из вуза или с работы, сослали куда-нибудь в глушь.

А сколько было таких, кто, как попугаи, повторяли то, что прочитали в «Правде», веря, что «наши молодцы второй раз спасли Чехословакию от немцев и капитализма, а эти чехословаки еще неблагодарны, не встретили и теперь своих освободителей с цветами, с хлебом-солью». Но так вполне искренне мог рассуждать разве только тот, кто кроме официальной лживой информации не располагал никакой другой. Такие же как Ганна Серцова и Юрий Карпов, и сотни тысяч, слушавшие иностранные радиопередачи, знали, каково было истинное положение в Чехословакии, и что там произошло. Они знали, что в конце июля 1968 года там на улицах городов и сел был выставлен «Наказ» членам Президиума ЦК КПЧ, накануне

их встречи с Политбюро ЦК КПСС в Чьерне, «Наказ», который массами подписывали тут же чешские и словацкие граждане, и в нем говорилось: «Все, к чему мы стремимся, можно свести к четырем словам: СОЦИАЛИЗМ! СОЮЗНИЧЕСТВО! СУВЕРЕНИТЕТ! СВОБОДА! В социализме и союзничестве наша гарантия братским странам и партиям, что мы не допустим развития, которое подвергло бы опасности подлинные интересы народов, в союзе с которыми более двадцати лет мы честно боремся за общее дело. В суверенитете и свободе, напротив, гарантия нашей стране, что не будут повторяться тяжелые ошибки, еще недавно угрожавшие вылиться в кризис».

Далее было сказано: «Объясните своим партнерам, что голоса перегибщиков, то тут, то там звучащие в наших домашних дискуссиях, являются как раз продуктом полицейско-бюрократической системы, так долго душившей творческое мышление, пока она не загнала ряд людей во внутреннюю оппозицию. Убедите их бесчисленными примерами, показывающими, что авторитет партии и позиции социализма у нас как раз сегодня несравненно более сильны, чем когда-либо в прошлом». И в «Наказе» содержалось предостережение: «Над нами висит угроза несправедливого наказания, которое, какой бы вид оно ни приняло, попадет как бумеранг и в наших судей, уничтожит наши успехи, и прежде всего трагически осквернит идею социализма везде в мире на длинный ряд лет».

Как видно, тогда в Чехословакии еще не поняли того, что понял я, правда, всего лишь на один год раньше: что на советских руководителей не действуют аргументы разума и этики, а только одна лишь грубая сила, что их действиями руководит только животное чувство страха и корысти.

Я написал тут же в августе статью «Les couses et les consequances de la catastrophe» и попытался переправить ее на Запад. Как меня уверили, она в самом деле появилась, конечно, анонимно, в теоретическом журнале итальянской компартии «Rinascita», но мне так и не удалось увидеть ее. В ней я спрашивал, что же побудило советских руководителей пойти на эту безумную авантюру вторжения, превращения Чехословакии в советский протекторат? Почему они наплевали на предостережения наиболее влиятельных европейских компартий, на протесты известнейших гуманистов – ученых и писателей?

И я отвечал: «Их вовсе не побудило желание спасти Чехословакию от мнимой опасности «капиталистической реставрации», воспрепятствовать якобы готовящейся измене Варшавскому договору. Они действовали так потому, что боялись, что процесс установления социалистической демократии как

опасная инфекция может перебросится через границы, что их собственные граждане потребуют, чтобы не оправдавшие себя партийные и государственные деятели ушли, и виновные в преступлениях были наказаны, чтобы были установлены гражданские свободы не на словах, а на деле, чтобы соблюдались принципы Декларации прав человека, чтобы народ действительно выбирал своих представителей и контролировал их действия, в самом деле участвовал в управлении страной, экономикой, свободно мог развивать науку, искусство, литературу, был правдиво информирован о политических событиях.

Какой выход виделся мне из произошедшей катастрофы? Я писал, что некоторые «благожелатели» чехословацкого народа внушают ему, что сопротивление оккупантам бесполезно, что благоразумие требует сдаться на милость захватчиков. Но разве так поступали советские партизаны, борцы словацкого национального восстания, разве так поступает вьетнамский народ, – спрашивал я. Конечно, чехословацкие патриоты не могут не считаться с жестокой реальностью. Исходя из нее, они должны избрать методы своей борьбы. Но борьбу они должны продолжать так долго, пока последний непрошеный пришелец не уйдет с их родины. Чем упорнее будет оказываемое оккупантам сопротивление, и чем настойчивее будут трудящиеся всего мира поддерживать его, тем скорее станет невыносимым положение захватчиков и их приспешников, рано или поздно, но они вынуждены будут уступить место другим, ставящим подлинные интересы народа и социализма выше своих кастовых эгоистических интересов.

Сейчас, шесть лет спустя, я с болью должен констатировать, что все то, что я предвидел тогда о советских руководителях, сбылось в худшем виде. Я писал: «Они станут добиваться дискредитации Дубчека, Смрковского и Кригеля, и всех честных чехословацких коммунистов в глазах чехословацкого народа, заставляя их нарушать январские постановления о социалистической демократизации. Этим они будут подготовлять почву для нового съезда партии, в результате которого был бы избран ЦК, беспрекословно послушный советским руководителям. Они постараются, чтобы в правительстве и везде на местах в Чехословакии стояли неосталинисты. Они сделают все, чтобы в Чехословакии воцарилась идеология искаженного, приспособленного к конъюнктуре, к корыстным целям советской правящей касты и ее чехословацких вассалов «марксизма-ленинизма», окрестившего «левое» в «правое», идеология, на деле ничего общего не имеющая с революционным, освободительным учением Маркса и Ленина, та идеология, которая уже сорок с

лишним лет царит в СССР. Наконец, они поспешат закрыть границы Чехословакии и начать беспощадные репрессии по отношению ко всем неугодным».

Увы, суровая действительность превзошла мое воображение. Добрая треть всех коммунистов – причем самых честных – исключена или вычеркнута из партии (в КПЧ введены обе эти градации: по первой выгоняют с работы, а по второй «только» перемещают на низшую должность; детей исключенных не допускают в высшую школу). Сам Дубчек исключен и работает в лесном управлении. Немало ученых и других специалистов работают истопниками, продавцами, а иные представители интеллигенции либо сами эмигрировали, либо были выдворены из страны.

Но еще хуже – это моральное растление, вызванное оккупацией. Надо жить и кормить семью. Сотни тысяч чехов и словаков, затаив ненависть к существующему режиму, ненавидя и презирая его руководителей, ежечасно притворяются лояльными. Но многие из них работают усердно, лишь для вида, применяют испытанный метод сопротивления – «швейковину», доводят распоряжения начальства до абсурда. В атмосфере лжи и фарисейства вырастают новые молодые поколения.

Кажется, в 1971 году я побывал в семье академика, исключенного из партии. Звания его, правда, пока не лишили, он и зарплату получает как академик. Но в институт, которым он руководил, ему доступа нет, пропуск отобрали. А его жена, кандидат наук, просто без работы. Их сынишка, лет 12-ти, рассказал мне, как у них в школе ребята не желают изучать русский язык, «язык оккупантов», рвут учебники, и как госпожа учительница, которую они любят, со слезами на глазах упрашивала их не делать этого, чтобы не погубить ее.

Но имеется и немало таких, – их целая прослойка карьеристов и подхалимов, – кто не просто поддерживает гусаковский режим своим пассивным поведением, но кто активно лезет из кожи вон, чтобы показать свое верноподданничество, готовые шагать и через трупы. А сколько переметнувшихся!

К столетию рождения Ленина мне посчастливилось поместить в апрельском номере «Нового мира» свои воспоминания о Ленине. Я написал «посчастливилось», потому что этой удачей я был обязан чистой случайности. Получилось так, что я познакомился с одним из ведущих редакторов этого литературного журнала, Большовым. В статье «Вспоминаю Ленина», я писал, что меня «особенно привлекала борьба Ленина и большевиков за прекращение войны, равно как и за осуществление принципа, согласно которому каждая нация сама,

без насильственного вмешательства извне, должна определять свое общественное устройство, принципа, являющегося необходимым условием свободы трудящихся собственной нации. Ибо, как писали еще Маркс и Энгельс, «не может быть свободен народ, угнетающий другие народы».

Я рассказывал о выступлении Ленина 30 августа 1918 года на рабочем митинге в бывшей московской Хлебной бирже. В этот момент, когда положение Советской России, отрезанной от наиболее хлебных областей, от сырья, нефти и угля, было катастрофическое, когда в Москве по рабочим продовольственным карточкам выдавали по восьмушке (50 г) почти несъедобного хлеба, Ленин прямо говорил, что придется считаться с дальнейшим ухудшением положения. Он открыто признал, что неопытное советское правительство, большевистская партия, и он сам допускают много ошибок, и что критика рабочих справедлива. Далее я рассказывал, как в условиях военного коммунизма, чрезвычайно остро стоял вопрос о привлечении буржуазных специалистов, о высокой оплате их труда. Ленин открыто заявлял, что «такая мера есть компромисс, отступление от принципов Парижской Коммуны и всякой пролетарской власти». Он признавал, что эта мера означает не только приостановку наступления на капитал, но и шаг назад социалистической власти. И он подчеркивал, что скрывать это от масс «значило бы опускаться до уровня буржуазных политиканов и обманывать массы». Ленин указывал на временный характер этого мероприятия, и упирал на то, что если при капитализме отношение между наивысшим и наинизшим уровнем зарплаты составляло 20:1, то теперь, т. е. в 1919 году оно лишь 5:1, следовательно «чтобы выровнять низшие и высшие ставки мы сделали порядком, и будем дальше продолжать начатое».

Я отметил, что эта принципиальная установка, направленная как против уравниловки, так и на «постепенное выравнивание всех заработных плат и жалований во всех профессиях и категориях», была включена Лениным в программу партии, принятую на VIII съезде, и что в то время как «спецам» платили по 3 тысячи рублей в месяц и больше, Ленин получал партмаксимум – 500 рублей.

Наконец, я описал два особенно запечатлевшиеся выступления Ленина. На собрании партработников Москвы, организованном МК в честь 50-летия Ленина, где присутствующих угощали – по тому времени роскошно – ломтиком хлеба с селедочной икрой или одним кружком колбасы и стаканом сладкого чая, Ленин пожурил секретаря ЦК Мясникова за «разбазаривание продовольствия». А в коротком

ответном слове на приветствия, он высказался против всяких празднеств личных юбилеев. И в диссонанс с царившим на собрании приподнятым настроением, Ленин неожиданно высказал тревожную мысль, что «партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение – именно в положение человека, который зазнался». Это выступление Ленина вызвало у всех нас недоумение, не было нами понято. И только много лет спустя, после смерти Ленина, его предостережения становились понятными.

А вот второе выступление Ленина исключительной важности. Оно состоялось летом 21 года на 3-м конгрессе Коминтерна. Как работник Коминтерна, вдобавок готовивший себя для подпольной работы в Германии, я прямо-таки глотал все, что происходило на конгрессе. Вот тогда навсегда врезались мне в память слова Ленина: «Мы не должны скрывать наши ошибки перед врагом. Кто этого боится, тот не революционер. Наоборот, если мы открыто заявим рабочим: «Да, мы совершили ошибки», то это значит, что впредь они не будут повторяться».

И я заканчивал свою статью: «Ленину, как и многим революционерам, принадлежавшим к старой большевистской гвардии, не было дела до личной славы, до личного благополучия, почестей и постов. Их занимала лишь победа подлинной коммунистической идеи, ее осуществление в жизни трудящихся масс. Он страшился мысли о возможности повторения того, что – как он писал – «не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных народов и классов в их борьбе за освобождение», когда «после их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных классов и для одурачивания и, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его».

«Я убежден, – писал я, – что учение Ленина не поддастся этой опасности, а победит, потому что оно выражает подлинную правду жизни». И сейчас, в 1974 году, несмотря на все то кошмарное, что творится в стране, несмотря на «культ», находящийся в полном разгаре, несмотря на бесчеловечные истязания, постигшие столь многих, в том числе и нас с Катей, стариков, которым не дают свидеться с дочерью и внуками, и ударившие и нашего зятя, ученого-коммуниста, изгнанного из его многострадальной родины, – несмотря на то, что не печатают наших работ, несмотря на все это я непоколебимо уверен в окончательной – пусть и далеко не столь скорой, как мы думали раньше, – победе идей Маркса и Ленина в их неподдельном виде.

И что бы меня еще ни ожидало тяжелого, я никогда не откажусь от этой уверенности, основанной не столько на желании счастья измучившемуся человечеству, сколько на знании непреложных законов общественного развития.

Понятно, наиболее острые места моей статьи – ими оказались высказывания Ленина, а не мои комментарии к ним – Большов выкинул, деликатно заявив, что «они сегодня не звучат». Несмотря на это, мне кажется, известная часть читателей «Нового мира» обязательно проводила параллели с настоящим.

Зажимают рот

В том же ленинском юбилейном году у меня начались партийные неприятности. Марксистский югославский журнал «Диалектика» опубликовал (№ 1, 1969) хорватский перевод моей статьи из «Руде право». Редакция снабдила его коротким резюме на русском языке. Согласно ему, создавалось впечатление, будто я в своей статье утверждаю, что «социалистический строй закономерно, неизбежно должен деформироваться, вырождаться в диктатуру личности», то есть как раз прямо противоположное тому, что я писал, что думал и думаю до сих пор. Резюме было перепечатано в секретных «Информационных материалах» для руководящих работников КПСС. В отдел науки ЦК вызвали директора нашего института Кедрова и потребовали, чтобы парторганизация института истории естествознания и техники приняла по отношению ко мне строгие меры взыскания. Мне ставилось в вину, что я не послал в редакцию «Диалектики» опровержение, что статью в «Руде право» я не представил предварительно в Главлит, что я вообще написал ее. Ясно, что все это были лишь формальные придирки, зубров бесило то, что я в своей статье выступал за демократизацию, без которой нет и не может быть социализма, и прикрывался при этом цитатами из Маркса и Ленина!

В то время Кедров держался еще весьма прилично, приютил в институте несколько преследуемых инакомыслящих, не позволил тронуть партсекретаря Плоткина, облыжно обвинявшегося в «сионизме». Мое дело обсуждалось на бюро, тогда также приличного состава. Хотели ограничиться «принятием к сведению» моих объяснений, посланных мной в ЦК и содержавшихся и в моем письме в редакцию «Диалектики». Однако я сам порекомендовал бюро вынести мне выговор (без записи в личное дело) за допущенную мной оплошность, так как я знал, что в ЦК не успокоятся и «дело» будет передано в райком. Оплошность в самом деле с моей стороны имела место: когда я получил номер журнала (не помню в каком именно месяце 69 года), я не ознакомился с этим резюме, а потому и не написал опровержения. Бюро так и сделало, а через год выговор с меня сняли.

Но все это дело произошло в апреле. А в октябре того же года я выступил на второй Всесоюзной конференции по методологическим вопросам кибернетики с докладом «Кибернетика, научно-техническая революция, строительство коммунизма и человеческий прогресс». Конференция

происходила в большом зале московского Дома ученых, вместившего не менее 600 человек. Открывая ее, председатель Научного совета по кибернетике при Президиуме АН, академик А. И. Берг (по национальности швед, бывший адмирал царского флота, не утративший человечности), отметил, что я был первым в Советском Союзе, кто выступил в защиту кибернетики. Берг сослался при этом даже на вышедший в США (в 1966 г.) сборник «Social Impact of Cybernetics» («Социальное воздействие кибернетики»). Пользуясь случаем, отмечу, что мои работы по философии естественных наук довольно часто привлекали к себе внимание западных философов. Так, известный «советолог» неотомист Бохеньски, в своей классификации советских философов, зачислил меня в «аристотелики». А в книге прогрессивного автора Л. Р. Грахама «Естествознание и философия в Советском Союзе» (Нью-Йорк, 1972), обо мне пишут как о недогматическом ученом. Нечего и говорить, что в глазах официальных «блюстителей» типа Константинова и Митина, все это равносильно ордеру на арест.

В своем докладе я указал сначала на то, что термин «кибернетика», более чем за две тысячи лет до нашего времени, употребил Платон в смысле умения управлять не только кораблем, но и искусства управления вообще, и что в 1843 году к тому же термину обратился Ампер, рассматривавший кибернетику как политическую науку об управлении. Когда же в 1948 году Винер написал свою книгу «Кибернетика», то хотя он и предостерегал от чрезмерного оптимизма относительно возможности быстрых успехов в приложении кибернетики к обществу, однако сам тут же продемонстрировал ее применимость к нему.

Винер воздерживался от применения кибернетики к социальным наукам не столько из-за трудностей математического характера, сколько потому, что он – как он писал – опасался, что «в мире Бельзена и Хиросимы» польза от новой науки не сможет «предупредить и перевесить наше невольное содействие концентрации власти (которая всегда, по самим условиям своего существования, сосредотачивается в руках людей, наиболее неразборчивых в средствах)». Винер понимал, что «выход один – построить общество, основанное на человеческих ценностях, отличных от купли-продажи».

Я указывал далее, что хотя окончательные гарантии построения социализма будут созданы лишь с ликвидацией товарного хозяйства, но отсюда не следует, будто мы не должны уже сегодня бороться всеми средствами за социалистическую демократию, за это – наряду с уничтожением господства

эксплуататорских классов – второе необходимое условие создания социализма, за такую тенденцию общественного развития, которая приведет к полному равенству социального положения всех людей. При этом современная научно-техническая революция как раз и создает наиболее благоприятные условия для того, чтобы максимально автоматизированный труд стал трудом творческим, чтобы было материально и духовно обеспечено человеческое сообщество коммунизма.

Отмежевавшись как от крайнего скептицизма, так и от «телячьего оптимизма», я указывал на принципиальную осуществимость этого идеала, однако предупреждал и об опасности злоупотребления кибернетикой (как и наукой и техникой вообще) теми, кто, находясь у власти, в своих эгоистических целях не остановятся даже перед угрозой гибели человеческого рода, что возможно прежде всего при капитализме, но не исключено при деформированном социализме, например, маоистском.

Но именно кибернетика может послужить для устранения самого трагического противоречия нашей эпохи – противоречия между гигантски возросшей властью человеческого разума над силами природы и его неспособностью обуздать стихии собственного общества. Через нее оно сможет обеспечить – выражаясь словами Маркса – «победу социализма как самоспасение человечества».

Аудитория – научные работники и инженеры в области кибернетики и автоматики из всех концов Советского Союза – приняли доклад очень сочувственно, многократно прерывали его аплодисментами. После доклада ко мне стали подходить совсем незнакомые люди, жали руку, а некоторые выражали свое опасение, как бы я не пострадал за смелость. Вот почему председательствовавший на этом заседании Спиркин, взяв после доклада слово, не посмел напасть на меня, а расшаркавшись в мой адрес, заявил лишь, что все названные мной требования демократизации «относятся, конечно, к будущему», и тут же закрыл заседание, не открыв прений, не дав никому высказаться. Зато – как мне стало достоверно известно – этот доктор философских наук тут же настрочил на меня донос в ЦК. Мне, конечно, и на этот раз пришлось объясняться на бюро своей парторганизации. Но так как в докладе, при самом ревностном старании, никому не удалось обнаружить ни одной крамолы, в решении бюро было лишь дипломатично сказано, что некоторые места доклада кое-кто мог понять «превратно». И на этом мое «дело» как будто кончилось.

Однако это только с виду так. Санкции последовали немедленно. Мой доклад не был опубликован в печатном издании материалов конференции. Меня перестали с тех пор приглашать на заседания Кибернетического совета, хотя я и оставался его членом, и на любые, устраиваемые им мероприятия. Меня больше не стали привлекать для чтения курса лекций по философским проблемам физико-математических наук в университете марксизма-ленинизма научных работников институтов АН, курса, который я читал несколько лет подряд и который пользовался большим успехом. Мои работы перестали печататься. У нас начались трудности с поездками к дочери и внукам в Прагу, но все же, в 1971 году мы – правда, в последний раз – смогли посетить их. И, наконец, начался поход за перевод меня из парторганизации института в парторганизацию ЖЭКа по месту жительства. Вот так, как и положено во всякой благопристойной церкви, тайное судилище негласно отлучило меня, еретика.

В 1971 году мы прибыли в Прагу за день до открытия весенней сессии АН Чехословакии. Это была чистая случайность, так как меня с 1968 года перестали приглашать на эти собрания. Моя связь с академией ограничивалась теперь тем, что мне присылали официальный журнал Президиума, а я посылал им ежегодно отчеты о моей научной деятельности, которых никто от меня не требовал, и, надо полагать, не читал.

Узнав, что сессия открывается завтра, я заехал в общий отдел академии, чтобы уточнить место и время. Но когда я вернулся домой, меня ждало известие, что звонил зампредседателя академии Росицкий и просил, чтобы я немедленно связался с ним. Я это сделал, и он сообщил, что послал за мной машину, так как должен срочно переговорить со мной. И вот я приехал к нему. Этот не избранный, а назначенный академик, типичный чинуша (по профессии паразитолог), прежде всего стал допытываться, кто же это сообщил мне в Москву о сессии. Я объяснил, что узнал о ней из сегодняшней газеты, и что, раз уж нахожусь здесь, то считаю своей обязанностью как академик принять в ней участие. Он спросил, не намерен ли я выступить, и если да, то о чем. Я ответил – и это была сущая правда – что поскольку я оторван от жизни академии, то выступать не намерен.

И тогда Росицкий выложил самое главное: мне вовсе не следует являться на сессию, так как мое появление может вызвать «недоумение». Дело в том, что, согласно новому уставу академии, действительными ее членами могут быть только чехословацкие граждане. Я заметил, что если так, то они должны были исключить меня, а после такого приема, который я встретил

здесь, я и сам не желаю идти на сессию.

В этот момент из соседнего кабинета вошел к нам дожидавшийся там, явно подслушивавший нашу милую беседу франтоватый молодой человек, отрекомендовавшийся сотрудником ЦК КПЧ. Он сразу заявил, что поскольку я, по-видимому, не прошел после 1968 года pohovor («собеседование» – так деликатно была названа чистка, при которой, чтобы не быть исключенным или хотя бы вычеркнутым из партии, требовалось решительно заявить комиссии о своем одобрении «братской помощи» – за одно лишь слово «оккупация» исключали), то я должен пройти его немедленно, и предложил мне поехать с ним тут же в ЦК. Я объяснил ему, что он слегка заблуждается. Я давно уже не член КПЧ, а член КПСС, и выразил удивление, что они там об этом не знают. Тогда он, исключительно вежливо извинившись, раскланялся и уехал.

И тут-то Росицкий вытащил свой козырь. Сказал, что со мной желает поговорить атташе по культуре советского посольства. И – подумайте только! – сам услужливо тут же по телефону соединил меня с ним. Тот попросил меня заехать к нему завтра с утра, но непременно до начала сессии. При встрече, состоявшейся не в здании посольства, а рядом в консульстве, он стал было увещевать меня не ходить на сессию, явно затрудняясь, как мотивировать это свое вмешательство. Но я успокоил его, заявив, что и сам не намерен являться туда. А затем, сверившись с новым уставом академии, я убедился, что Росидкий просто солгал: там вовсе не сказано, что членами ЧСАН могут быть «только чехословацкие граждане», а сказано, что ими могут быть «чешские и словацкие ученые», одним из которых я был и остался. Об этом я написал в Президиум ЧСАН, присовокупив, что, конечно, в их власти исключить меня, но что это будет выглядеть по меньшей мере странно, поскольку они до сих пор исключали тех, кто выехал на Запад, а не – с разрешения чехословацкого правительства – на Восток, как я. Ответа на свое письмо я не получил, но из ЧСАН меня – пока – не исключили.

Эта трагикомическая история была – как мне конфиденциально сообщил перепуганный Кедров – передана в Москву в такой версии: Кольман специально приехал в Прагу, чтобы выступить с речью против тех, кто поддерживает оккупацию. Вот каких успехов в кибернетике достигли чехословацкие ученые типа Росицкого: прибор для чтения мыслей (в особенности опасных) «ментикаптор», о котором я написал лишь философскую полу-сказку, они в самом деле построили!

У Кедрова завязался затяжной поединок с Константиновым, ученым секретарем отделения философии и права. Этот

бездарный казенный философ-полузнайка, но интриган с обостренным нюхом, почуял в Кедрове опасного соперника, который сможет вытеснить его, и начал всячески под него подкапываться. «Кедров собрал у себя в институте целую свору неблагонадежных, он приютил Кольмана, этого затаенного антисоветчика», – заявил Константинов на одном из заседаний отделения философии и права, осенью 1971 года. И рассказал, что во время приема, устроенного болгарским посольством в честь находившегося в Москве члена Политбюро БКП, директора института философии БАН Тодора Павлова, принявшего участие в Международном конгрессе по истории науки, последний поделился с ним своим разговором со мной. Я будто заявил, что болгарские войска не должны были принимать участия в оккупации Чехословакии.

Разумеется, новое «дело» было налицо. Мне опять – уже в третий раз – пришлось объясняться на партбюро. Я сказал, что с Павловым я действительно перекинулся несколькими словами во время конгресса. Ни одного слова ни о вхождении болгарских войск, ни об оккупации вообще ни мной, ни им сказано не было, и мы дружески с ним расстались.

Было еще несколько попыток спровоцировать меня. Сотрудница иностранного отдела академии (туда я обратился с просьбой о содействии в поездке в Прагу, но мне отказали по формальному мотиву: я не в штате академии, а работаю на общественных началах), она же несомненно и сотрудница госбезопасности, пристала ко мне, чтобы я высказался о своем отношении к чехословацким событиям 1968 года. Я сказал, что, как старый и дисциплинированный член партии, хорошо знаю устав, а поэтому никогда не стану выступать против принятых партией решений, и она так и осталась ни с чем. А тогдашний главный ученый секретарь АН Пейве сначала начал меня «прорабатывать» за мою статью в «Руде право», обнаружив при этом знания слушателя курсов политграмоты первой ступени, а потом без обиняков заявил, что если я обещаю выступить в Праге устно или письменно против дубчековского ревизионизма, то смогу поехать туда по командировке АН. На то же самое прозрачно намекнул и академик Румянцев, которого я считал порядочным человеком. Я, понятно, отказался, заявив, – понимай, как хочешь, – что такое мое выступление только повредило бы нашему делу коммунизма.

А Кедров между тем поспешил избавиться от меня, такого беспокойного элемента. Состоялось новое заседание партбюро (в январе 1972 года), на которое были вызваны все стоявшие на учете пенсионеры – нештатные сотрудники института. Доложили

об указании свыше о том, что все они (а значит и я) должны быть откреплены и перейти в парторганизации ЖЭКов, и было принято такое решение. Но это была просто-напросто недостойная инсценировка – ведь открепили только меня одного!

Я обратился с протестом в партбюро, а также к секретарю ЦК Демичеву. Но, понятно, Демичев не соизволил ответить на мое письмо, и меня открепили. Номинально я и сейчас неплатный научный сотрудник института, но на деле у меня прекратились с ним все связи. Разумеется, я не перестал заниматься наукой. Имел трех аспирантов, одного по математической логике, другого по истории науки, и одного, подготовившего кандидатскую диссертацию по Бошковичу.

Ну, вот, теперь-то я в самом деле смогу вскоре поставить здесь последнюю точку. Я пишу, мучимый двумя основными заботами: как бы выбраться из этого застенка, и как сохранить эти записки от ищеек и обеспечить надежду на издание их в будущем, как и моих философских полу-сказок, которых набралась уже целая толстая книга. В 1972 году мы даже не могли подать заявление в ОВИР, чтобы получить разрешение посетить наших в Праге. Ведь требуется характеристика парторганизации, а ее я не мог получить, так как только перевелся в новую, ЖЭКовскую, где меня никто не знал.

Кстати, об этой организации. Это инвалидная команда немощных стариков, а главное старушек. Из них несколько активистов выбивают последние остатки былой энергии, при судорожном желании остаться общественно активными в обсуждении работы домкома, безобразий с ремонтом, хулиганства в подъездах и т. д. и в принятии сердитых резолюций, которые не дают и не могут дать никакого ощутимого эффекта, поскольку взяточничество, воровство, блат, пьянство и хулиганство не местные, а всеобщие явления. Мое «участие» в работе парторганизации сводится к аккуратной уплате членских взносов, отсиживанию на ежемесячных партсобраниях, в домовом «клубе» – подвальном сарае, с отсутствием акустики, где я в полудреме думаю о своем. И еще – в качестве «свадебного генерала» меня иногда просят выступить с воспоминаниями о Ленине. В этих случаях мне удается контрабандой бросить камешек в нынешние порядки, но спрашивается, на кого это я собираюсь воздействовать, ведь молодежь, которой, понятно, полно в таком громадном комплексе домов, как наш, эти «мероприятия» не посещает.

Итак, в 1972 году мы не смогли поехать в Прагу. Но зато прилетела Ада с детьми, и они гостили у нас два месяца в Голицыне на даче, где мы сняли две комнаты с террaской, и

брали питание в Доме творчества писателей. Это посещение Ады омрачалось тем, что Франтишеку у нас отказали в визе, он находился «под негласным надзором», и Ада жила здесь в страхе, что ее, советскую гражданку, могут не пустить обратно к мужу, исключенному из партии и безработному «тунеядцу».

Начиная с 1973 года, мы не смогли больше поехать в Прагу – ОВИР применил широко распространенный метод О-О – Отказ путем Отсрочки, поездку нам не оформили. А в этом, 1974 году, повторяется то же самое, лишь с некоторыми видоизменениями. На днях исполняется полгода, как мы подали в ОВИР все документы – анкеты, блестящую характеристику парторганизации, утвержденную райкомом – но нам не оформляют поездку, на сей раз в Копенгаген. Там теперь, с начала года, работает зять в Институте Нильса Бора. Чехословацкое правительство согласилось, наконец, после того как он четыре года оставался безработным, и был вынужден работать поденщиком-переводчиком любых статей не по своей специальности (а в последнее время, в нарушение всех законов, выбросили и Аду из Микробиологического института ЧСАН, где она работала, и она тоже стала безработной), отпустить его, приглашенного туда.

Я обращался уже к министру внутренних дел и в Политбюро с протестами против такой бесчеловечности – как может подняться рука не пускать старых родителей к детям! Указывал на несправедливость по отношению ко мне, ветерану революции, отметил, что эта дискриминация может вызвать нежелательные отклики за границей, в том числе и в западных компартиях, где меня знают старые коммунисты – но все напрасно. Уходят дни, недели, месяцы, а сердце у нас здесь и там у Ады разрывается от боли, причем вовсе не только от этого нашего личного горя, а от всей той изолгавшейся волчьей политики, чьей только частным, и далеко еще не худшим, случаем является то, как помыкают нами, а главное страдаем от того, что иногда теряешь надежду, что – я уже не говорю о нас и наших детях – наши внуки смогут отвоевать для себя и своего поколения свободную, счастливую жизнь.

Открытое письмо

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Л. И. Брежневу
МОСКВА – Кремль

Довожу до Вашего сведения, что выхожу из КПСС.

Мне 84 года, в коммунистической партии я состою 58 лет. Я вступил в нее, чтобы бороться за социальную справедливость, за счастливую жизнь людей. Теперь, после долгих и мучительных размышлений, я пришел к этому нелегкому для меня решению.

Я родился в Праге, в Россию попал в первую мировую войну как военнопленный. При Керенском я отбывал за антивоенную пропаганду полгода одиночного заключения и был освобожден Октябрьской революцией. В Красной армии я сражался на четырех фронтах за советскую власть. В 20-х годах работал нелегально в Германии, был членом ЦК КПГ, был осужден на 5 лет каторги, но после полугода одиночки меня обменяли. Я занимал ответственные идеологические должности в Коминтерне, в ЦК ВКП/б/, в Московском комитете партии, в Академии Наук СССР, избирался членом московского комитета партии, Московской контрольной комиссии и московских райкомов партии. Знал лично В. И. Ленина, работал с Н. К. Крупской и с Н. С. Хрущевым и др. Во время последней войны работал в Политуправлении армии по разложению войск противника. Именно в это время в концлагере Гитлером была сожжена моя сестра, а Сталиным был убит мой брат – один из основателей чехословацкого коммунистического союза молодежи.

С 1945 г. я в Праге три года заведовал отделом пропаганды ЦК КПЧ. В 1948 г. я был в Праге арестован, вывезен в Москву, где без суда просидел три с половиной года на Лубянке, первые три года из них – в одиночке. В это время моя жена и малолетняя дочка были сосланы в Ульяновск, где жили в ужасных условиях. После реабилитации я стал снова работать в Чехословакии директором Института философии ЧС АН. С 1963 г. я живу на пенсии в Москве.

Уже с разоблачения Хрущевым кровавых преступлений Сталина, вежливо прозванных «культом личности», я постепенно начал понимать, насколько глубоко переродились КПСС и советская власть, и что я, как член партии, несу долю ответственности за это.

Однако поворотным пунктом для меня явился 1968 год, когда я имел возможность собственными глазами наблюдать за

«пражской весной» и видел, с каким воодушевлением и единством чехословацкий народ поддерживал стремление КПЧ возродить социалистические идеалы и построить социализм с человеческим лицом. Когда же Ваши танки и армии оккупировали Чехословакию, подчинив ее своему политическому диктату и нещадному экономическому грабежу и превратив ее, фактически, в свою колонию, я полностью потерял всякие иллюзии о сущности Вашего режима.

Я понял, что КПСС давно перестала быть политической партией, а превратилась в общество содействия «досрочного выполнения пятилеток». Ее члены, съезды и даже ЦК не оказывают почти никакого влияния на политику КПСС, которую определяете Вы лично с горсткой правящей верхушки.

И о каком вообще социализме в СССР может быть речь, когда вместо прежних эксплуататорских классов капиталистов и помещиков появились привилегированные касты партийных и советских бюрократов, утопающих в достатке, обособленных от народа, стоящих над народом и презирающих его, и не способных и не желающих понимать его нужды и страдания?

О каком социализме может быть речь, когда Вы продолжаете сталинскую тоталитарную диктатуру внутри страны и его великодержавную политику вовне?

В СССР нет элементарных демократических прав: вместо выборов – голосование за навязанных сверху кандидатов; отсутствие гласности в политической жизни; запрещение забастовок и подчинение профсоюзов интересам государства; запрещены политические дискуссии, над всем властвует универсальная цензура, правдивая информация подменяется пропагандой лжи и полуправды. В СССР грубо нарушаются основные права человека: инакомыслящие жестоко преследуются, десятки тысяч из них томятся в тюрьмах, лагерях, психиатрических тюрьмах, в том числе из-за религиозных убеждений. В стране на шестидесятом году советской власти не существует элементарной интеллектуальной свободы и свободы творчества. Разве не позор, что лучшие деятели культуры СССР, как Солженицын, Растропович, Некрасов, Неизвестный и десятки других вынуждены эмигрировать за границу?

В области национальной политики вся история СССР – это непрерывная цепь территориальных аннексий, насильственных присоединений чужих земель, угнетений и дискриминации многих национальностей – крымских татар, немцев Поволжья, евреев, народов Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и др. Все это делает из СССР не меньшую тюрьму народов, чем когда-то была царская Россия.

Разглагольствуя о «разрядке международной напряженности» и о «мирном сосуществовании», СССР на самом деле усиленно накапливает ядерное и ракетное оружие, разрабатывает новые средства массового уничтожения и готовится к агрессивным войнам. СССР содержит многочисленные войска за своими пределами, создает все новые и новые военные базы в Европе, Азии и Африке, подготавливает оккупацию Румынии и Югославии, и под видом «бескорыстной помощи» национально-освободительным движениям и развивающимся странам совершает многочисленные попытки проникнуть и установить свое военное и политическое господство в самых разнообразных районах мира, поставляет оружие и поддерживает наиболее реакционные режимы и международных террористов.

Политические и социальные структуры в стране находятся в состоянии продолжительного застоя. СССР представляет собой один из самых консервативных режимов в мире с престарелым руководством.

Ваши претензии на гегемонию в международном коммунистическом движении, на его полное подчинение конъюнктурным интересам КПСС и советского правительства, привели, как это показало недавнее совещание коммунистических партий в Берлине, к тому, что ряд крупнейших коммунистических партий Западной Европы начал открыто отмежевываться от КПСС и от советской модели социализма.

Вполне закономерно, что при этих условиях и колоссальных, всевозрастающих затратах на содержание армии, огромного аппарата КГБ, а также – государственного и партийного аппаратов, экономическое положение в стране все ухудшается. Инфляция и дороговизна, официально отрицаемые, на деле все возрастают. Производительность труда в промышленности крайне низка, промышленная продукция плохого качества и значительно отстает по техническим параметрам от аналогичной продукции на Западе. Разве не трагедия, что на шестидесятом году после революции сельское хозяйство бывшей житницы Европы не в состоянии обеспечить население хлебом, мясом, рыбой и даже картофелем? Советская власть не способна наладить нормальное снабжение даже больших городов /о деревнях и малых городах нечего и говорить/ продовольствием, фруктами, овощами, одеждой, мебелью, промышленными товарами и даже медикаментами.

Разве все эти факты можно обойти молчанием и не сделать из них выводов?

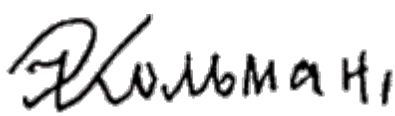
Я не собираюсь отрицать успехов, достигнутых СССР в области ликвидации неграмотности, образования, науки, техники,

улучшения жилищных условий у значительной части населения. Но не хлебом единым жив человек… Он должен иметь возможность сказать то, что он думает во всеуслышание, написать то, что он думает, прочесть то, что он желает, написать куда и что ему хочется, выбрать себе местожительство по собственному желанию и поехать, куда захочет, – но вот мы сегодня снова, как и при Сталине, боимся, прячем свои рукописи, перестаем доверять друг другу, пишем пустые письма, опасаясь цензуры, рвем отношения с друзьями… Разве не бесчеловечно отбирать у родителей детей, препятствовать воссоединению семей, отказывать в выездах за границу к родственникам, месяцами, а то и годами лишать родственников политических заключенных свиданий с ними и даже переписки? Что же это такое? И можно ли жить в таких условиях? И сколько можно жить так? Я не могу больше.

Мое решение выйти из коммунистической партии никак не означает, что я расхожусь с идеалами социализма, с которыми я ознакомился еще в 1910 году, и которые с тех пор составляли главное содержание моей длинной и бурной жизни.

Как раз наоборот. Я пришел к твердому убеждению, что мое дальнейшее пребывание в рядах КПСС означало бы предательство идеалов социальной справедливости, гуманизма и построения нового, более совершенного человеческого общества, к которым я, несмотря на все мои ошибки и заблуждения, стремился в течение всей своей жизни.

22.9.1976 г.



Арношт /Эрнест/ Кольман, действительный член Чехословацкой Академии Наук, профессор Московского и Пражского университетов, доктор философских наук

Диалог двух поколений

Стокгольм, Осень 1976 – весна 1977

Предисловие к русскому изданию «Диалога двух поколений»

Я возвращаюсь к «Диалогу», который мы начали вести с профессором Эрнестом Кольманом, моим тестем, 35 лет тому назад, после того, как я прочитал его мемуары. Рукопись мемуаров удалось нелегально вывезти из Москвы за границу в 1976 г. Хочу признаться сразу, что некоторые места в мемуарах были и остаются для меня загадкой. Я не могу понять, как Кольман, человек незаурядно интеллигентный, обладавший энциклопедическими знаниями во многих областях науки и истории, продолжал, вопреки всему своему жизненному опыту, оставаться столь фанатичным.

Однако, в те времена «железного занавеса» нельзя было вести полемику на расстоянии. Но вот, в сентябре 1976 года, Эрнест Кольман и его жена наконец (после 16 отказов!) получили разрешение посетить нас в Швеции. Не было ничего удивительного в том, что его первые слова на Стокгольмском вокзале – после всех поцелуев и объятий – были: «Не хочу возвращаться в СССР, в эту тюрьму».

Кольману было тогда уже почти 84 года.

У меня вдруг появилась редкостная возможность лично задать автору воспоминаний «Мы не должны были так жить» возникшие при их чтении и долго мучившие меня вопросы.

Через короткое время мы с Эрнестом договорились, каким образом я стану его «допрашивать». Поскольку он был глуховат, мы остановились на письменной форме. А что касается языка, то, с практической точки зрения, мы выбрали немецкий язык: я задавал Эрнесту вопросы в письменном виде, он редактировал мой немецкий текст, а потом отвечал, тоже письменно, по-немецки, то есть на языке, который он знал в совершенстве, так же, как и материнский чешский язык. Между прочим, когда рукопись нашего «Диалога» попала в руки опытных редакторов известного немецкого издательства во Франкфурте, S. Fischer Verlag, то они были потрясены: «Диалог» был написан на давно не существующем, «вымершем», пражском немецком языке. Это был язык, на котором писали Франц Кафка, Макс Брод, Рейнер Мария Рильке, Франц Верфель, Густав Мейринк и другие представители выдающейся немецкой литературы в период 1900–1930 годов.

Немецкий язык, сохранившийся у Эрнеста, восходил к 1910–1915 гг. Поэтому главный редактор издательства даже запретил что-либо менять в языке «Диалога».

Вполне естественно, что если бы наш с Кольманом разговор происходил сегодня, в начале третьего тысячелетия, то я формулировал бы многие вопросы по-другому. Наверное, ряд вопросов я поставил бы более остро; в других местах нашей беседы я бы лишь констатировал всем известные и сегодня уже почти никем не отрицаемые исторические факты. (Я тут пишу «никем», так как фанатиков можно найти в каждой эпохе и в каждом обществе). Но «Диалог» в наши дни – это исторический документ, и не мне его редактировать или как-либо приспособлять. Я хочу еще заметить, что «Диалог» вышел по-немецки и по-шведски, а в переводе на чешский язык ходил по рукам в пражском самиздате.

Я верю, что опубликование нашего «Диалога двух поколений» по-русски, в качестве эпилога к книге воспоминаний старого большевика Эрнеста Кольмана, пойдет на пользу русскому читателю. Более того, «Диалог» также может послужить материалом для размышлений о том, как Россия могла очутиться в теперешней, столь трудной ситуации.

Франтишек Яноух, Прага – Стокгольм, февраль – март 2011 г.

Как я пришел к социализму

ЯНОУХ: Арношт, что, собственно говоря, привело тебя к социализму? Ты же вырос в зажиточной семье, и в юности тебе не пришлось испытывать нужду…

КОЛЬМАН: Я считаю, что нельзя упрощённо интерпретировать – как это слишком часто делается – марксистский тезис «бытие определяет сознание». В истории социализма есть немало примеров, когда даже именитые социалисты происходили из богатых или, во всяком случае, обеспеченных семей – я могу назвать хотя бы Маркса, Энгельса, Ленина и ещё целый ряд утопистов.

Мой путь к социализму был немного сложным. Мой отец был чешским националистом, активным членом партии Крамаржа[8], так называемых младочехов[9]; моя мать и бабушка по материнской линии были приверженцами иудаизма. Начальная и средняя школы воспитывали меня в духе чешского национализма, привили мне симпатию к освободительной борьбе чехов против германизации и против порабощения австро-венгерской

монархией Габсбургов. Я любил чешскую литературу и до сегодняшнего дня помню немало стихотворений таких борцов за свободу, как Гавличек[10] или Безруч[11].

Но потом в 1899–1900 годах австрийская реакционная юстиция устроила антисемитский процесс, на котором бедный еврейский торговец Л. Хильснер был обвинен в «ритуальном убийстве», и это стало, насколько я помню, первым импульсом, разбудившим во мне еврейское национальное самосознание. Постепенно я пришел к пониманию того, что евреи несравненно более, чем чехи, угнетенный и повсюду преследуемый народ, и мой юношеский восторг романтикой освободительной борьбы теперь принадлежал не чешскому, а еврейскому народу. В то время среди евреев Богемии было популярным течение ассимиляции – считать себя чехами еврейской религии, и я презирал их, как ничтожных оппортунистов. Разумеется, тогда я, 16-летний юноша, не мог знать главный аргумент против ассимиляции (и, как я теперь считаю, не знали этого ни Маркс, ни Ленин, поэтому их позиция по еврейскому вопросу была ошибочной), а именно: для ассимиляции нужна добрая воля обеих сторон, не только тех, кто хотел ассимилироваться, но также и тех, с кем они хотели ассимилироваться. Это аргумент, получивший подтверждение в страшном факте уничтожения евреев Западной Европы, которые уже не считали себя евреями.

Такое колебание между двумя национальными самосознаниями – чешским и еврейским – позднее привело меня, как бы странно это не звучало, к интернационализму. Но сначала во мне укрепилось еврейское самосознание (национальное, ни в коем случае не религиозное, веру в Бога я потерял уже в раннем детстве). Я начал изучать иврит, проникся симпатией не только к сионистским идеям Герцля[12], но даже к пансемитским идеям единства обоих родственных народов, арабов и евреев, и начал изучать также арабский язык. Большое впечатление произвели на меня стихи Морриса Розенфельда[13], которые я сначала прочитал в переводе выдающегося чешского поэта Врхлицкий[14], а уже позднее в оригинале.

Как это бывает во многих семьях, у моих родителей не всегда было полное взаимопонимание. Бывали и ссоры, мелкие стычки, и я всегда принимал сторону матери. Это наверняка и привело к тому, что со временем еврейское самосознание перебороло во мне чешское.

Ну а теперь, дорогой Франта, ты должен учесть общую атмосферу в Праге того времени – перед Первой мировой войной. Не менее трети городского населения составляли немцы; часто дело доходило до потасовок между студентами немецкой и

чешской частей Карлова университета. Вообще говоря, в этом «лоскутном государстве», где дюжина национальностей жили, «как кошка с собакой», и регулярно дело доходило до провокаций, национальный вопрос вызывал в каждом более или менее порядочном человеке естественное сопротивление.

Примерно в 1910 году, когда я начал учёбу в высшей школе, а может быть немного раньше, я подружился с Йозефом Пиком, который был на год или два старше меня. Он был сыном бедной вдовы и, чтобы учиться, ему пришлось давать дополнительные уроки неуспевающим ученикам гимназии (я это тоже делал, потому что хотел быть независимым от моего отца). Пик был членом левого социал-демократического студенческого кружка и горячим приверженцем социалистических идей. От него я впервые услышал, что острая национальная проблема может быть мирным путем решена только при социализме, что в будущем будет полное равноправие больших и малых наций и что тогда не будет и речи об антисемитизме. Так от национализма я через интернационализм пришёл к социализму.

ЯНОУХ: Ты известный марксистский философ. Когда я читал твои мемуары, я не понял, когда же ты стал систематически изучать марксистскую философию. Может быть, ты, как писал Маяковский диалектику «учил не по Гегелю, а бряцанием боев она врывалась в стих…»

КОЛЬМАН: Ну, это, пожалуй, не диалектическая формулировка, а лишь принцип «или – или», в то время как в действительности я изучал марксизм как в теории, так и на практике.

Йозеф Пик давал мне социалистическую литературу – главным образом брошюры; я помню, что среди них были и «Коммунистический манифест» и «Заработная плата, цена и прибыль» Маркса. Тогда же я изучал «Этику» Спинозы, доматериалистический, пантеистический труд, который повлиял на всю мою последующую жизнь и подготовил меня к социалистическому мышлению. Тогда же я познакомился со Штрассером, известным социал-демократом из судетских немцев, который написал теоретический труд по национальному вопросу; он также давал мне читать марксистскую литературу. Затем я учился на математическом отделении философского факультета чешского Карлова университета Праги, где познакомился с немецкой классической философией, в том числе и с трудами Гегеля, причем нам их преподавали с критических позиций «масарикизма»[15].

Но систематически я стал изучать марксистскую литературу гораздо позднее, после того, как Первая мировая война,

Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война и интервенция войск Антанты преподали мне уроки классовой сущности общества. Владимир Иванович Иванов, старший брат моей рано умершей жены Маруси, большевик с дореволюционным стажем и образованный человек – он был врачом, но никогда не практиковал, потому что всегда был профессиональным революционером – у него была маленькая библиотека марксистской литературы. Так я познакомился с «Капиталом» Маркса, «Анти-Дюрингом» Энгельса, основными работами Плеханова и Ленина, включая «Материализм и эмпириокритицизм». Именно эта работа и мои знания математики и физических наук повлияли на мое решение и далее заниматься философией и историей. Разумеется, только после окончания Гражданской войны, в которой я активно участвовал в рядах Красной Армии. Когда я сегодня размышляю об этом, мне кажется, что, возможно, это обстоятельство – мои занятия таким безобидным предметом, а не социальными вопросами – помогло мне, иностранцу, в 30-ые годы избежать смертельной хватки «ежовых рукавиц», и я лишь в 1948 году попал в сталинско-бериевскую мясорубку. Во всяком случае я считаю настоящим чудом, что я легко отделался в 1937 году, ведь мой философский учитель Иванов на одном из тогдашних показательных процессов, которые потрясли весь мир, признался, что он агент-провокатор царской охранки и правый ревизионист, за что был приговорен к смертной казни и казнен; только после 1956 года, после разоблачения кровавых преступлений Сталина, он был посмертно реабилитирован.

Моё участие в русской революции, и что я сегодня об этом думаю

ЯНОУХ: В 1915 году ты, как австрийский доброволец, попал в русский плен. Почему ты решил остаться в России? Было ли это результатом долгих размышлений или может быть спонтанным решением?

КОЛЬМАН: Я затрудняюсь однозначно ответить на этот вопрос. Мне не хотелось бы что-то присочинять или выдумывать. После столь долгих лет действительно невозможно вспомнить – ведь речь идет не о событиях или фактах, а о моём тогдашнем психическом состоянии, о моём настроении. С определенной долей уверенности я могу сказать, что тогда в моей груди были две души. С одной стороны, я мечтал увидеть мою мать, моего младшего брата Рудольфа и сестру Марту; я думал о том, что,

когда я вернусь, найду работу, чтобы им помочь материально, но я уже несколько лет не знал, живы ли они. И я также скучал по моей любимой Праге, и по мирной, беззаботной довоенной жизни, которую так наивно надеялся продолжить в эти послевоенные годы.

С другой стороны, революция, требовавшая не мечтать, а действовать. Среди нас, недавно лишь бесправных военнопленных, (а после Октябрьской революции нас стали уважать как интернационалистов) имелись два направления. Одни говорили, что нужно возвращаться домой и там бороться за мировую социалистическую революцию. Другие утверждали, что наше место здесь, в России; теперь самое главное помочь русской революции одержать окончательную победу над её многочисленными внутренними и внешними врагами, так как именно здесь передний фронт мировой революции. Первое направление поддерживало Троцкого, который тогда был наркомом обороны и одновременно иностранных дел; второе, к которому относился и я, поддерживало Ленина. А большинство бывших военнопленных вообще не хотели никакой войны, ничего не хотели знать о революции и с нетерпением ожидали возвращения домой.

План Троцкого создать из бывших военнопленных воинские части и послать их на фронт против немецкой армии оказался полностью несостоятельным, в чём я его пытался убедить ещё задолго до принятого им решения в одной из наших с ним бесед. Однако все мои старания оказались напрасными, так как он был таким же властолюбивым диктатором, как и Сталин. Несколько сформированных им частей, прибыв на фронт, тут же перешли с оружием в руках к немцам. Война разрушает мораль миллионов людей, как на фронте, так и в тылу; и ненадежность, как политическая, так и моральная, бывших военнопленных, подтверждается нередкими случаями предательства. Президентом нашего Всероссийского революционного социал-демократического, интернационального комитета (так высокопарно мы себя называли), находившегося под началом большевистского Центрального Комитета партии, был некий Эбенхольц, бывший официант из Вены, выдававший себя за анархиста, перешедшего к коммунистам. Он поехал как агент Коминтерна в Австрию и присвоил себе все отпущенные ему для этой деятельности деньги, на которые потом открыл в Швейцарии ресторан. Или вот пример с венгерским румыном Аради, двойным агентом, работавшим и на Австро-Венгрию, и на Россию; позднее царская охранка направила его следить за политическими заключенными в Петропавловской крепости Петербурга; он сумел

втереться в доверие к нашим интернационалистам. Или пример офицера австрийского генерального штаба Димаса, который в лагере военнопленных в сибирском Красноярске выдавал себя за коммуниста, а потом был уличен в шпионаже в пользу японской оккупационной армии.

В соответствии с моими убеждениями в конце 1917 – начале 1918 г., я агитировал в лагерях военнопленных за то, чтобы они добровольно обязались участвовать в борьбе против контрреволюции; но со мной редко соглашались, иногда даже я с трудом избегал побоев. Потом я сам пошёл на фронт и воевал с немецкой императорской армией. На мирных переговорах в апреле в Брест-Литовске генерал Хоффман потребовал выдачи целого ряда немецких и австро-венгерских граждан, в том числе и меня. Советская сторона ответила, что все мы с января являемся советскими гражданами, и я получил соответствующее удостоверение (паспортов тогда не было) задним числом. В то время, если бы я даже захотел, я не смог бы вернуться в Прагу. Но я и не хотел, я был твердо убежден, что пройдёт немного времени и в Европе начнётся мировая революция, победит социализм и больше не будет границы (какие иллюзии!) между Советским Союзом и Чехословакией.

ЯНОУХ: Когда я читал твои воспоминания, я несколько раз встречал выражения: выдающийся большевик, настоящий большевик. Но не вызвана ли такая характеристика или такая терминология просто инертностью твоего мышления? Я считаю, что слово большевик сегодня должно иметь скорее уничижительное значение в историческом плане, так как именно большевизм привил рабочему движению неуважение к роли большинства, а именно рабочих; недемократические манеры; ввёл понятие «профессиональный революционер», лозунг «цель оправдывает средства» и т. д.

КОЛЬМАН: Эти критикуемые тобой выражения в первой версии моих воспоминаний я, чтобы избежать недоразумений и недоумения, заменил на – выдающийся, настоящий революционер. Я должен, однако, добавить, что тогда Коммунистическая партия называлась большевистской, и было бы анахронизмом, если бы я её членов называл по-другому, чем большевики. Было бы неверно, если бы я стал скрывать, что я многих из них высоко ценю. Большевистская партия была в то время почти единственной социалистической партией (наряду с «Союзом Спартака» в Германии и «Тесняками» в Болгарии), которая последовательно выступала против империалистической войны; и это было для меня решающим фактором, ведь я знал войну не понаслышке. О том, что большевики были партией

заговорщиков, я тогда вообще ничего не знал; и даже если бы я это знал, то из-за моей политической незрелости не смог бы даже представить себе эти ужасные последствия.

ЯНОУХ: У тебя была возможность встречаться с целым рядом выдающихся личностей, таких как Ленин, Троцкий, Сталин, Дзержинский, Бухарин и т. д. Настаиваешь ли ты и сегодня на их, я бы сказал, черно-белой оценке?

КОЛЬМАН: Я считаю, что редко встретишь людей, которые либо абсолютные ангелы, либо абсолютные черти. Каждый, или почти каждый, как и мы с тобой, имеет как добродетели, так и пороки, и это общеизвестная истина. Но есть люди, у которых перевешивают добрые качества и есть такие, у которых перевешивают плохие. Из этих пяти, названных тобою, к первым я даже сегодня причислил бы Ленина, Бухарина, а также Дзержинского, в то время, как Сталина и Троцкого надо отнести, по моему мнению, к последним.

ЯНОУХ: Твой ответ – это приглашение к дискуссии. Ты же теперь читаешь «Архипелаг Гулаг», в котором Солженицын достаточно убедительно доказывает, что запрограммированный и зачастую ненужный террор начался уже в первые дни революции. С этим террором связано имя Дзержинского. Неужели ты считаешь, что он был хорошим, справедливым человеком и что все эксцессы и преступления совершили его подчиненные без его ведома? А, может быть, твои оценки – это результат долголетней пропаганды – ведь ты же десятилетия прожил в Советском Союзе и каждый день слышал о том, какой Феликс кристально-чистый и честный? Каким же был Феликс кристально чистым и честным?

КОЛЬМАН: Я хочу быть честным сам с собой и поэтому не могу изменить мою оценку личности Дзержинского. Между ним и Сталиным глубокое принципиальное различие. Когда Дзержинский организовывал террор, он делал это в полной уверенности, что это было необходимо для революции; а вот массовые убийства по приказу Сталина были вызваны его звериным властолюбием. Конечно, жестокость в борьбе против врагов советского государства была ненужной и достойна осуждения; это сегодня легко говорить, но не тогда, во время революционных боёв, когда противник – белогвардейцы, войска Антанты – хотели задушить молодую республику и при этом совершали такие же зверства. Об этом Солженицын, к сожалению, умалчивает, отчего его картина ужасного господства, как из-за его некоторых односторонних и предвзятых характеристик (например, Бухарина и Зольца) теряет строгую объективность. Я имею в виду характер Дзержинского – я был свидетелем, как он предостерегал чекистов от жестокого обращения с

арестованными, а тех из них, кто так поступал, строго наказывал и выгонял из ЧК. Такие люди, конечно, были, потому что: во-первых, ненависть была жестокой как со стороны белых, так и красных; во-вторых, уровень развития части чекистов был низким; и, в третьих, среди них были авантюристичные, преступные и алчные элементы, которые затесались в ряды революционеров. Во всяком случае, у меня создалось впечатление, что Дзержинский, в противоположность Сталину, никак не мог быть садистом.

Конечно (но я это понимаю только сегодня) террор, и тем более расстрел заложников, объективно подготовил целый период террористической диктатуры, когда погибли миллионы невинных жертв, и был преступлением. Его нельзя ни извинить, ни оправдать тем, что этот красный террор был ответом на белый террор, что он был неизбежен в целях защиты социалистической революции.

ЯНОУХ: Ты пишешь в своих мемуарах, что сразу после революции проводил домашние обыски и что пойманных буржуев ты приводил в ЧК к Дзержинскому. Совсем нетрудно представить, какая судьба их там ожидала. Тогда ты был убежден, что действуешь правильно. Но теперь, когда ты смотришь назад с перспективы твоих 84 лет и нового жизненного опыта, не появились ли у тебя сомнения, не жалеешь ли ты о чём-нибудь?

КОЛЬМАН: В моих воспоминаниях я действительно пишу, что я проводил домашние обыски, чтобы найти золото и драгоценности, которые буржуи добровольно не стали сдавать. Но я же не пишу, что мы тех, кто прятал эти вещи и кого мы поймали на этом, увозили в ЧК. Мы этого не делали, это не было нашей задачей; и в то время, в начале 1918 г., насколько я сам это видел, с теми, кто не вёл активную борьбу с оружием в руках против советской власти, мы не были особо строги и, во всяком случае, не были жестокими.

ЯНОУХ: Твои взгляды приводят меня в некоторое замешательство. Я совсем не намерен выискивать какие-то негативные черты, например, у Ленина. Но нельзя же оспаривать, что на Ленине также лежит доля вины в том, что случилось в России и что последствия этого оказывают воздействие и сегодня на наши народы, и, в конце концов, даже на нас с тобой. Какими, ты считаешь, были персональные ошибки Ленина или ошибки в его политике, следствием которых стало сегодняшнее вырождение социализма?

КОЛЬМАН: Поскольку мы твои вопросы и мои ответы в этом диалоге внимательно записываем, то ты можешь легко убедиться в том, что я не утверждал, что Ленин не совершал персональных ошибок или что он не содействовал вырождению социализма. В

качестве примера назову три главные ошибки его политики: 1) попытка осуществить свою теорию о социалистической революции в самом слабом звене капиталистической системы; 2) монополизация коммунистической партии; 3) превращение политической функции в пожизненную профессию. О его личных ошибках не было речи. Однако это не означает, что я их отрицаю или не придаю им никакого значения.

В противовес к упрощенным, псевдомарксистским теориям, принижающим роль личности в истории (противоположная, также неверная крайность утверждает, что история делается героями), я придерживался и придерживаюсь следующего мнения: выдающиеся личности, которые выделяются умом, волей и нравственностью, будь это в положительном или отрицательном смысле, хотя сами и являются продуктом социальных условий, со своей стороны также влияют на общество и на его развитие. И поскольку у каждого человека есть как солнечные, так и теневые стороны характера – правда, у каждого в разной пропорции, – то это влияние, даже у такого гения, каким был Ленин, различно и может после его смерти быть другим, чем при его жизни, всё это в зависимости от благоприятных или неблагоприятных исторических условий.

Я уже упомянул, что Ленин был фанатично предан идее освобождения человечества от любого вида угнетения. Но что такое, в конце концов, фанатизм? Куда ведёт он? К нетерпимости по отношению к другим воззрениям, к неприемлемости другого мнения и, в конце концов, к тому, что в каждом, кто не согласен с тобой, видеть своего врага (или врага своего дела) и соответственно с ним обращаться. Я должен признаться, что когда в 1918 году впервые ознакомился с философским трудом Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», то большое впечатление от его обширнейшей эрудиции и потрясающей силы ума, с которой он защищал диалектический материализм от идеалистического позитивизма, было омрачено тем, что он зачастую свою нетерпимость ставил выше философской принципиальности, и даже позволял себе делать личные выпады против философских противников.

Да, эта фанатическая преданность самой по себе благородной идее борьбы за социализм нередко приводила Ленина к использованию на практике очень коварного принципа «цель оправдывает средства». В пылу борьбы за лучший общественный строй он забыл, что высокая цель не может оправдать низменные средства, так как такие средства принижают, чернят цель, потому что люди, которые используют подобные средства, себя морально разлагают. Таким образом, Ленин, не желая этого, объективно

способствовал наступлению кровавой диктатуры Сталина.

ЯНОУХ: В этой связи у меня к тебе еще один вопрос: как ты сегодня, после всего исторического опыта, относишься к Каутскому? Как ты оцениваешь его роль в истории рабочего движения? Он по-прежнему для тебя на 100 % «ренегат» Каутский, как нам его представляли в лекциях по марксизму? Такой же вопрос у меня и в отношении Розы Люксембург. Её мученическая смерть хотя и вписала её в пантеон выдающихся революционеров, но её нередко еретические взгляды уже с конца 20-х годов на социалистическую демократию и буржуазные свободы в сфере господства, как теперь называют, «реального социализма», не публикуются или тщательно ретушируются. Но даже из того, что нам известно, становится понятно, что она выступала за другой социализм, чем Ленин и большевики; по сегодняшней терминологии, я бы сказал, за демократический социализм.

КОЛЬМАН: Мне трудно конкретно ответить на этот вопрос, потому что я произведения Каутского и Розы Люксембург читал лишь отрывочно.

Однако я считаю, что было бы ошибкой односторонне оценивать значение Каутского для международного и, в особенности, германского рабочего движения. Как каждый человек, он постоянно развивался, и его взгляды в течение его 84 летней жизни менялись. Как известно, в возрасте 27 лет он был секретарем Энгельса в Лондоне, и в это время Маркс написал Энгельсу письмо (его содержание мне хорошо известно, так как именно я занимался расшифровкой его трудного почерка), в котором Маркс неблагоприятно высказывается о Каутском. Я предполагаю, что те девять лет, которые он провел под руководством Энгельса, оказались полезными для Каутского.: он стал отличным пропагандистом марксистской теории, его статьи по её популяризации получили широкое распространение и заслужили похвальные отзывы у Ленина. Особенно ценным был признан его труд «Аграрный вопрос». В то время Каутский решительно критиковал ревизиониста Эдуарда Бернштейна, который в своем произведении «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» (1898) выступил против революционной борьбы рабочего класса за диктатуру пролетариата и за сотрудничество пролетариата с буржуазией, отрицал теорию сверхприбыли Маркса и его закон о коммуляции капитала и одобрял захватническую политику германского империализма. Каутский был одним из главных составителей Эрфуртской программы социал-демократической партии Германии, которая была принята на съезде в 1891 г. в Эрфурте.

Энгельс выступил с резкой критикой этой программы, прежде всего из-за того, что в ней отсутствовали пункты о диктатуре пролетариата, требование отмены монархии и создания единой, неделимой республики. Эту критику оппортунистические руководители скрыли от широких партийных масс, также как они это сделали в 1875 г., когда Маркс и Энгельс подвергли уничтожающей критике предыдущую, вовсе ошибочную, по существу реакционную, Готскую программу.

Постепенно теоретические и политические взгляды Каутского стали скатываться на правые позиции. Он выступил с теорией производительных сил, в соответствии с которой развитие капиталистических производительных сил, переход от империализма к ультраимпериализму, автоматически – без классовой борьбы, революции и диктатуры пролетариата – привело бы к социализму. Во время Первой мировой войны Каутский занял центристскую позицию: хотя он прямо и не поддержал, как правое большинство его партии, военную политику кайзера Вильгельма, он стал противником левых, которые боролись за окончание войны и за свержение кайзеровского господства; как ведущий теоретик партии и Второго интернационала Каутский выступил против организационного раскола рабочего движения (что по моему мнению нужно одобрить), но также за стирание принципиальных, идеологических спорных вопросов (что я считаю неверным и вредным). После Октябрьской революции Каутский стал ожесточенным врагом большевиков. Я думаю, что он – хотя и был прав в обличении недемократических методов и жестокости – в целом мыслил также предвзято, односторонне и без понимания, как его оппонент Ленин. Последний в своем труде «Пролетарская революция и ренегат Каутский» (1918) не хотел принимать во внимание обоснованные предостережения Каутского, забыл его прежние заслуги и только обличал его раскольническую деятельность.

Что касается Розы Люксембург, то у меня было всегда впечатление, что ее теоретические и политические разногласия с Лениным касались, прежде всего, пути к социализму. Ленин, который высоко ценил ее за борьбу с ревизионизмом Бернштейна, центризмом Каутского и против войны, но критиковал за то, что она якобы недооценивает руководящую роль рабочего класса и его союз с крестьянством – по-моему, это было несправедливо, поскольку она с учетом условий на Западе не оставляла без внимания роль интеллигенции. В дискуссии о стихийной, начатой народными массами, или о запланированной сверху, начатой вождями революции, позиция Розы Люксембург о

диалектическом взаимодействии была, по моему убеждению, правильной. Но, с другой стороны, я считаю ее теорию автоматического краха капитализма заблуждением. Роза Люксембург, писала письма к Соне Либкнехт из той же тюрьмы, в которой я через четыре года спустя отсидел полгода. Ее письма – это свидетельство глубочайшей человечности: она не могла, разумеется, по-другому представить себе социализм, как общественный строй, который гарантирует всем людям полную свободу иметь свои собственные взгляды. В противовес нетерпимости Ленина она боролась за свободу инакомыслящих и необходимость неограниченной и своевременной информации народных масс. Лучшей характеристики её взглядов, как демократический социализм, вряд ли можно найти.

ЯНОУХ: Ты пережил в России обе революции – Февральскую и Октябрьскую. Не думаешь ли ты, исходя из твоего сегодняшнего опыта, что Октябрьская революция была преждевременной? Что она в определенном смысле была даже трагической? Что Россия, если бы революция остановилась на уровне Февраля, была бы избавлена от последующего ужасного 50-летнего развития, которое привело к миллионам и миллионам ненужных жертв и принесло страшные страдания сотням миллионов людей?

Можно было бы предположить, что какое-то буржуазное правительство в России (если хочешь, можно сравнить с Японией) было в состоянии обеспечить такое же, если не более высокое развитие народного хозяйства, науки и техники, чем в Советском Союзе.

КОЛЬМАН: Такая постановка вопроса очень проблематична. Как, впрочем, и все вопросы о прошлом, которые начинаются: что было бы, если бы… Твой вопрос, видимо, означает – была ли Октябрьская революция неизбежной, была ли она спровоцирована Лениным и большевиками. Это чудовищное заблуждение. Ленин перевёл жгучее требование народных масс положить конец проклятой войне в революционные лозунги; и именно поэтому миллионы солдат, крестьян и рабочих поддержали тогда ещё немногочисленную большевистскую партию. Само собой разумеется, буржуазное правительство Милюкова или Керенского не согласилось бы пойти навстречу этим требованиям народных масс.

Другой вопрос – возможно ли было и, в таком случае, каким образом избежать многочисленных жертв, вызванных революцией. Да, сначала Октябрьская революция не была более кровавой, чем Февральская. Но потом гражданская война, ожесточенное сопротивление бывших господствующих классов, помещиков и фабрикантов, которых поддержали иностранные

капиталисты, захватнические войска Антанты, вооруженная интервенция. На стороне контрреволюции было преобладающее большинство офицерского корпуса, царской бюрократии, интеллигенции. Страна была опустошена и ее экономика разрушена. Молодая, неопытная Советская республика боролась за своё существование. Да, дело дошло до массовых бессмысленных, недопустимых жестокостей, даже зверств, по обеим сторонам фронта, как на фронте, так и в тылу. Так, в ответ на белый террор был объявлен красный; Ленин сам несколько раз совершал необдуманные поступки. Но его самая главная ошибка – это, когда после бунта левых эсэров он отклонил предложение части их Центрального комитета о дальнейшем сотрудничестве, зафиксировав, таким образом, единоличное господство большевистской партии. Если бы этого не случилось, партия и Советский Союз, возможно, смогли бы избежать страшной диктатуры Сталина.

Ленин сам, как это видно из его статей и как свидетельствует его бывшая секретарша, писательница Драбкина, за последние два года до своей смерти осознал свою ошибку и пытался её исправить, но без успеха. В обществе, как и в природе, не может быть обратимых процессов. Окружение Ленина, старая большевистская гвардия уже была деморализована, и вся власть фактически уже была в руках Сталина; к Ленину относились с почтением, но на самом деле смотрели на него, как на взбалмошного старика. Возможно, Ленин признал, что на этот раз – не так, как в 1905 году – был прав Плеханов, а не он: народ России, не знавший самых элементарных демократических свобод, не был готов к социализму; для этого потребуется его ещё долго воспитывать; необходимо также многопартийное правительство. Во всяком случае, Ленин, этот величайший политик нашего времени, человек, единственной целью жизни которого был социализм, человек, не стремившийся заполучить какие-либо личные привилегии, сам пережил трагедию, которую он описал в предисловии к своему труду «Государство и революция»: «Вождей превращают в иконы, а их мысли искажают до неузнаваемости».

ЯНОУХ: Если ты сегодня оглядываешься назад на твою долгую богатую событиями жизнь, нет ли у тебя сожаления, что ты тогда решил остаться в России? Не было ли тебе иногда от этого горько в 20–30-ые годы?

КОЛЬМАН: Никогда, ни теперь, ни раньше. Несмотря на всё то, что мне пришлось испытать, несмотря на все мои ошибки и заблуждения, хотя, как член партии, я виноват в соучастии в преступлениях Сталина, хотя я сейчас стою перед руинами моих

иллюзий. Так как те идеи, за которые я боролся с оружием в руках и моим писательским пером, идеи социализма, неискаженная теория марксизма, диалектического и исторического материализма, эти идеи имеют научное обоснование, они истинны, гуманны и их нужно претворить в жизнь. Я не отношусь к тем, кто, как маятник, впадает из одной крайности в другую, кто всё, чему они раньше поклонялись, теперь рисуют чёрной краской. Я не стал ни антимарксистом, ни антикоммунистом, я также не отрицаю, что Советский Союз, несмотря на всё то, что неприемлемо, достиг большого прогресса по сравнению с царским прошлым, к примеру в жилищном вопросе, в народном образовании, в науке – однако за счёт миллионов человеческих жертв.

ЯНОУХ: Но ты не можешь отрицать, что за последние 60 лет все страны в мире достигли невероятного прогресса во всех областях.

КОЛЬМАН: Да, это так. Большая часть достижений Советского Союза обязана, видимо, этому всеобщему прогрессу. Но мы не сможем оценить, какой бы была Россия, если бы царизм оставался у власти.

ЯНОУХ: Но ни в какой другой стране, за исключением Германии, прогресс не был связан с такими чудовищными жертвами, как в Советском Союзе.

КОЛЬМАН: И при этом прогресс омрачен дефицитом демократии.

ЯНОУХ: К сожалению, не только дефицитом демократии, но также зерна, мяса, картофеля и т. д.

О марксизме, социализме, коммунизме

ЯНОУХ: Послушай, в твоём ответе не всё ясно. Ты остаёшься марксистом – я могу это понять. Но что это означает – ты не стал антикоммунистом? Или ты остался коммунистом? И, если да, то, что по твоему мнению означает – коммунист? Мне – и я думаю, не только мне одному – нужна система отсчёта. Ты вышел из КПСС, второй по величине коммунистической партии мира… Так с каким же коммунизмом ты себя идентифицируешь? Когда-то ты сравнил коммунистическую партию с орденом иезуитов: можно ли выйти из ордена и в то же время продолжать считать себя иезуитом?

КОЛЬМАН: Разумеется, я не стал антикоммунистом. Так меня могут называть только советские партийные бонзы и их зарубежные последователи.

Понятие коммунист может включать в себе следующее:

1) зарегистрированный член коммунистической партии – я им больше не являюсь;

2) тот, кто стремится к коммунистическому общественному порядку для человечества, к этой высшей ступени развития социализма, когда распределение общественного продукта происходит не на первой, самой низкой, ступени по принципу – «Каждому по труду», а по принципу – «Каждому по потребностям» – и таким коммунистом я остался;

3) этот термин возник потому, что Маркс и Энгельс использовали его для отличия от утопических и оппортунистических социалистов, а позднее, Ленин – для отличия от тех социалистов, которые в первой мировой войне поддерживали свои империалистические правительства. Поскольку с того времени социалисты и социал-демократы развивались в определенной степени в лучшую сторону, а с другой стороны многие коммунистические партии вырождались, то, наверное, было бы правильнее придумать новое название. Но мне лично все эти возможные переименования совсем не нравятся – я их слишком хорошо знаю: к примеру – Царицын – Сталинград – Волгоград и это лишь один пример из многих. Поэтому я и впредь хочу называть себя коммунистом, понимая под этим демократический социализм исключающий все иезуитское, бесчеловечное.

ЯНОУХ: Должен ли я понимать твой ответ таким образом, что ты по-прежнему убежден в том, что эта примитивная (если не сказать вульгарная) схема после более 60 лет безуспешного социального экспериментирования, причем безуспешная как в производственно-экономической, так и в социально-политической области, и её можно претворить в жизнь? Мои сомнения основаны на том, что капитализму в прошлом веке понадобилось более короткое время, чтобы доказать социально-экономическое и производственно-экономическое превосходство над феодализмом – и это было сделано с убедительным успехом. Мои сомнения усиливаются также и тем, что темп общественных перемен за последние 50 лет так резко вырос (сегодня история мчится вперед, как перепуганная лошадь); по моему мнению, и период времени, когда социализм, если он действительно является более высоким общественным строем, докажет своё неоспоримое превосходство над капитализмом, должен быть относительно коротким, во всяком случае много короче, чем был переход от феодализма к капитализму. Признаешь ли ты возможность, что дальнейшее развитие может пойти по иному пути, например, по пути какого-то симбиоза капиталистического и

социалистического обществ? Ты теперь живёшь в Швеции, которая, собственно говоря, и находится на таком пути.

КОЛЬМАН: В этом твоём вопросе, который производит впечатление, что ты как бы полемизируешь сам с собой, ты затрагиваешь не одну, а целый ряда довольно сложных проблем.

ЯНОУХ: Ты совершенно прав. Я полемизирую сам с собой. Я просто ищу путь. Я думаю, что мне сегодня уже ясно то, чего я не хочу, чего я хотел бы совсем избежать. Я думаю, что я также знаю, чего я хочу, какой цели я хочу достичь. Но я не совсем уверен, что моя цель достижима, что она снова не утопия, не приятная мечта; что эта цель, которую, говоря понятным языком, я хотел бы охарактеризовать, как «социализм с человеческим лицом», можно осуществить; что эта цель не противоречит человеческой сущности и объективным историческим закономерностям… И если её можно было бы осуществить, какой самый короткий путь к цели, и как можно было бы избежать повторения всех тех ошибок и катастроф, которые до сегодняшнего дня так обильно маркировали или даже мостили путь к социализму? Я далеко не так пессимистичен, как мой друг Шафаревич[16], в его статье о социализме, помещенной в сборнике «Из под глыб». Но я хотел бы, в то же время, избежать повторения всех тех ошибок и иллюзий и необоснованного оптимизма, у которых я, и не только я один, находился в плену такое продолжительное время. Во время моей недавней поездки в Китай, когда я моим друзьям в «по-китайски длинных дискуссиях» задавал подобные вопросы, я разъяснял мою позицию и все неприятные вопросы парафразой известного выражения «Dubito, ergo sum» («Я сомневаюсь, значит, я существую»).

КОЛЬМАН: Прежде всего, я не понимаю, почему временные периоды сменяющихся в истории человечества общественных формаций должны постоянно сокращаться. Даже если мы предположим, что так было до капитализма (включая его самого), то есть серьезная причина утверждать, что здесь должен наступить поворотный момент. Так как в отличие от всех прежних общественных форм (за исключением первобытного общества) социализм является бесклассовым обществом, которое принципиально отличается от всех предыдущих, что его рождение (хотя некоторые элементы социализма зарождаются уже при капитализме) – это чрезвычайно длительный процесс, связанный с тяжёлыми родовыми муками.

Далее. Верно, что сегодняшняя капиталистическая система, несмотря на кризисы, безработицу, инфляцию и рост цен – всё ещё имеет преимущество в производственно-экономической области (главный критерий, как постоянно подчеркивал именно

Ленин, – производительность труда), но по сравнению с чем? Ты же наверняка не доверяешь тем, кто называет социализмом ту общественную систему, которая существует в Советском Союзе и в его сателлитах, таких, как Китай, Куба, Ангола и других? Скорее можно сказать, что этот наполовину, или якобы, или псевдо социализм стал неудавшейся репетицией, провалившейся генеральной репетицией истинного социализма, преждевременными родами, плодом, рожденным не во время и в страшных муках. Сравнение между капитализмом и социализмом (в пользу последнего) было бы тогда справедливым, если бы демократические реформы Дубчека не были бы раздавлены советскими танками, если бы у него была возможность реализовать свои планы (а в действительности в его распоряжении было только 8 месяцев) и у него ничего не получилось бы. И, наконец, ещё что-то о том, что касается нового, третьего, не капиталистического, и не социалистического пути развития и ужасного ускорения темпа во второй половине нашего столетия. Кстати говоря, и мы это уже упоминали, это утверждение является составной частью марксистской теории: капитализм сам создает важные предпосылки и даже компоненты будущего социалистического общественного строя. В этом, и только в этом смысле можно говорить о конвергенции обеих систем. Но И ни в коем случае о симбиозе. Так как эти системы действительно антагонистичны: первая – эксплуататорская, а вторая исключает любой вид эксплуатации. О симбиозе также не может быть и речи, как и – чтобы это точнее обрисовать – между волками и овцами.

А в Швеции я прожил не так долго и я страдаю от языкового барьера; и я не хочу выдавать себя за социолога – как философ, я в основном занимался методологией и историей физико-математических наук, – так что я не могу компетентно оценивать местные условия. Но мне кажется, что все достижения в экономической и социальной областях, которые отличают эту страну от других капиталистических стран, являются заслугой политики социал-демократической партии, которая так долго была у власти, той политики, которая, хотя и с колебаниями и нерешительно, всё же в конце концов стремится к социализму по самому мирному и ненасильственному пути. Возможно, здесь сыграло роль и мудрое поведение местных капиталистов, которые предпочли пойти на уступки трудящимся, а не потерять всё в результате возможной революции.

По поводу удивительного ускорения общественного развития в начале 50-х годов я хотел бы добавить, что оно было вызвано начавшейся тогда научно-технической революцией, в которой – и

я в этом убежден – ведущую роль играли не ядерная энергия, не освоение космоса, не химизация сельского хозяйства, не биологизация промышленности, а автоматизация и кибернетика. Эта неукротимая гонка материального прогресса, однако, неразрывно связана – в данных социальных условиях, в том числе, с учетом раздела мира на 3 антагонистических лагеря – с сокрушительными побочными явлениями: бесчеловечность, перенаселённость и уничтожение биосферы. Эта гонка ведёт в зияющую бездну, к самоубийству человечества в атомной войне. А где же выход? Те, кто ищут его в религии или в самоусовершенствовании человека, сами себя обманывают. История учит, что ни одна из многочисленных религий, несмотря на их 1000-летнее существование, не сделала человека лучше, также как и все нравственные учения философов. Сегодняшние религиозные войны в Ирландии и Ливане говорят сами за себя. Многочисленные барьеры, которые разделяют отдельных людей, нации и расы друг от друга, звериные инстинкты, которые наполняют их ненавистью и завистью по отношению друг к другу, нельзя преодолеть лишь одним добрым желанием, каким бы честным оно не было. Это возможно было бы осуществить лишь с помощью преобразования всей общественной системы в такую систему, где исчезнет материальная основа для зависти и ненависти; такова будет система демократического социализма.

И последнее. Классификация общественного строя, который вероятно сменит капитализм, по принципу распределения общественного продукта нисколько не примитивна и не вульгарна. Хотя производство является базисом для распределения, всё же именно распределение является чувствительным и жизненно важным для каждого человека. И в то время, как при капитализме (как и при всех других предшествующих ему общественных формациях, с уже упомянутым исключением) распределение происходит через имущественное положение и его унаследование, то есть несправедливо, независимо от собственного трудового вклада для общества, для людей, даже за их счёт, то при социализме оно происходит справедливо; а на более высокой ступени, при коммунизме, когда при избытке товаров каждый может получить всё, что ему нужно (накопление товаров тогда не будет иметь смысла), проблема справедливости распределения исчезнет.

Прости, что я очень разговорился. Мы, пожилые люди, любим поговорить; и потом твои вопросы не так просты и довольно волнующие, поэтому на них нельзя ответить только парой слов.

ЯНОУХ: Но твой длинный и обстоятельный ответ меня все же не удовлетворяет. Марксизм описывает коммунизм, как общество

изобилия, и твой ответ исходит из этого постулата. Но что знали Маркс и Энгельс о сырьевом или энергетическом кризисе, о перенаселении или кризисе продовольствия? Если ты посмотришь на процесс развития человечества, тебе нетрудно будет прийти к выводу, что общество будущего будет не обществом изобилия, а дефицита, и оно должно будет ввести строгие меры экономии. Даже с моей богатой фантазией я не могу представить себе, как можно было бы осуществить названный тобой коммунистический принцип распределения в нашей ситуации, которая диаметрально противоположна выдуманной Марксом. Не обижайся, но я думаю, что именно такой способ мышления, без учёта новых ситуаций, знаний и т. д. типичен для старой марксистской школы и что в этом кроются и причины её неудач.

КОЛЬМАН: Такой вопрос, или точнее сказать: такое возражение, я и ожидал. Оно широко распространено среди противников коммунизма. Так как всё труднее закрасить чёрные теневые стороны капитализма белой краской, его прямые или косвенные защитники прибегают к более рафинированным методам. Судьба человечества представляется в самых чёрных тонах, так что зло капитализма, его грехи становятся неизбежным законом природы. Что тогда можно против этого сделать?

У меня нет повода для волнений, но я опасаюсь, что тебе будет неприятно, если я честно признаюсь, что я не ожидал, что ты твое воображение ограничишь такими узкими рамками. Ты делаешь такую широко распространенную ошибку – прямолинейно переводить нынешнее положение, трагически обусловленное господствующим общественным порядком, в принципиально отличное общество будущего. К тому же все перечисленные тобой кризисы можно преодолеть уже сегодня, при современном состоянии науки и техники, если бы не было этого гигантского расточительства на гонку вооружений, если бы разум и любовь к человеку – а не прибыль – регулировали производство и распределение товаров. Что даже сегодня при рациональной мировой экономике не должно быть никаких кризисов, что ни один человек, а не как сегодня две трети человечества, не должны голодать и страдать от болезней, было документально доказано Бемалем и бразильским учёным Кастро.

Что касается будущего: я не склонен впадать в убийственный пессимизм, но также и не в по-детски восторженный оптимизм. Говоря серьезно, возможности и способности человечества, во всяком случае, не бесконечны, а ограничены. Наш земной шар конечен, следовательно, конечны и его запасы энергии, ископаемых, источников питания. Даже если мы дадим волю

нашей фантазии и предположим, что мы сможем черпать всё это из других планет нашей солнечной системы, или даже из далекого космоса, что мы, к примеру, сможем использовать солнечный свет как главный источник энергии, что мы – если излучение солнца после многих миллионов лет станет угасать – перенесем орбиту земли ближе к нему, чтобы люди не допустили своего биологического вымирания, даже тогда вряд ли можно говорить о бесконечном, бескризисном существования человечества. Но к чему гадать на кофейной гуще, когда этого еще не происходит? Более или менее вероятные прогнозы возможны только на основании уже имеющегося опыта и только для относительно близкого, достижимого будущего. Гадать о том, как будет жить человечество в 2976 году (если оно вообще будет тогда жить), мы предоставим авторам научно-фантастических романов.

Поэтому давай посмотрим на ближайшие 200–300 лет. Ты не будешь отрицать, что бесконечные прогнозы того, что запасы угля и нефти будут исчерпаны в течение нескольких десятков лет, оказались преждевременными.

ЯНОУХ: Именно с этим я не согласен…

КОЛЬМАН: …что всё время находят новые месторождения в геологически мало или совсем неисследованных регионах, как и на дне морей и океанов, что другие виды источников энергии – солнце, ветер, морской прибой, энергия воды, приливы и отливы – используются ещё недостаточно, это касается также ядерной энергии и что, если мы сможем овладеть энергией ядерного синтеза в мирных целях (и можно предположить, что это произойдёт скоро)…

ЯНОУХ: …всё зависит от того, что ты понимаешь под словом скоро. Во всяком случае, не раньше, чем в XXI веке.

КОЛЬМАН: …и мы будем обладать колоссальным источником энергии. Что химия, особенно органическая, сможет заменить имеющиеся в природе сырьевые запасы, в этом сегодня никто не сомневается. Также и продукты питания – разумеется, не в иррациональном, хищническом обществе, а в руководимом по-научному – должны быть в достатке…

ЯНОУХ: Сегодняшняя тенденция как раз противоположна – нехватка продовольствия становится из года в год всё ощутимее…

КОЛЬМАН: Что касается перенаселенности, то, во-первых, плотность населения на нашей планете распределена неравномерно, так что нам не нужно опасаться, что на земле не останется места для людей – мы научимся делать пустыни и климат менее враждебными для жизни. Во-вторых, как ты сам

убедился во время поездки в Китай, в этой недавно такой отсталой стране научились с помощью современной фармакологии регулировать рост народонаселения. Почему это не должно произойти в коммунистическом обществе?

Во всяком случае, если даже такое общество будущего, несмотря на обилие продовольствия, должно будет ввести какой-то – и предположим даже строгий режим экономии, то отношение к этому его членов будет совершенно другим, чем сегодня. У них наверняка будет более высокое общественное сознание, чем наше сейчас.

ЯНОУХ: Ты только веришь в это, но у тебя нет доказательств, что это будет именно так.

КОЛЬМАН: В израильских кибуцах действует если не коммунистический, то социалистический принцип распределения; и там вряд ли найдётся кто-либо, кто станет расточительно пользоваться товарами или бессмысленно их для себя накапливать. И тем более в коммунистическом обществе. При всём притом я ни в коем случае не представляю себе общество будущего, как рай на земле, в котором люди живут совсем без забот. Но они не будут бороться друг с другом, и не будут страдать ни от нужды, ни от угнетения.

ЯНОУХ: Ты как-то сказал, что Маркс и Ленин недостаточно учитывали человеческую психологию. Я могу представить себе, какие конфликтные ситуации создались бы в таком обществе: жажда власти, нужда, расхождения во мнениях…

КОЛЬМАН: Никаких причин для проявления жажды власти или нужды не будет. Но кто знает, как всё это будет выглядеть на самом деле? Но борьба с особенностями природы, недовольство уже достигнутым – как в материальной, так и в духовной области – всё это останется и даже усилится с ростом достижений в этой области. Я это рассматриваю, как счастье для человечества. Поскольку это неукротимое стремление вперед, которое содержится в инстинкте выживания и в борьбе за существование как групп, так и отдельных индивидуумов, до сегодняшнего дня препятствовало и будет препятствовать и в будущем тому, чтобы человечество не останавливалось в своем развитии, не вырождалось физически, духовно или морально, чтобы не погибло в позорном массовом самоубийстве.

ЯНОУХ: Как ты сегодня относишься к марксизму? Считаешь ли ты его всё ещё самой правильной и универсальной философией? Если да, то как объясняешь его неспособность осуществить свои прогнозы в социальной и экономической областях?

КОЛЬМАН: Как и раньше, я считаю себя сегодня марксистом,

потому что я остаюсь непримиримым критиком грубых извращений марксизма в теории и особенно в практике Советского Союза и в так называемых социалистических странах. Я рассматриваю марксизм – диалектический и исторический материализм – как научное мировоззрение и метод познания в том смысле, что он опирается на неоспоримые результаты естественных наук и на всеобщий опыт общественного развития. Он охватывает всеобщие закономерности природы, общества и психики, то есть он универсален. И его теории, также как теории, а не гипотезы, любой науки, исключительно правильны в том смысле, что не может быть, например, двух или более верных теорий процесса горения, теории флогистона или молекулярной теории.

Однако это моё утверждение не имеет ничего общего с догмой (которой я, к сожалению, придерживался много лет), что марксизм, как его преподают, является непогрешимым учением. Марксизм всегда преподавали и преподают люди и разные заведения; и даже если это будут сталины или разные политбюро, всё равно они не были и никогда не будут непогрешимыми. Даже Маркс, несмотря на свою гениальность, допустил много ошибок в своем учении. Я совсем не хочу говорить здесь о частичных ошибках, как в вопросе о славянах или евреях, о его недооценке роли национальных проблем или о религиозности. По моему мнению, у него было три главных ошибки: 1) как каждый великий революционер и реформатор, он был нетерпелив и поэтому резко сокращал период времени до освобождения человечества от эксплуатации любого вида; 2) он недостаточно учитывал особенности психологии людей, их эгоизм, стремление к власти, что ведет к образованию новых привилегированных, бюрократических каст, которые используют любые средства насилия и обмана, чтобы сохранить свою власть; 3) он не рассчитывал на ответную реакцию. На то влияние, которое его собственное учение и развитие международного революционного рабочего движения окажут на капиталистическую систему, которая будет вынуждена пойти на значительные уступки, и он вряд ли мог предвидеть необычайный прогресс в нашем веке науки и техники и последствий этого.

И хотя я это признаю, я все же категорически отклоняю утверждение, что марксистский прогноз был ошибочным. Как раз напротив, осуществился важнейший главный марксистский прогноз: с Октябрьской революцией началась новая эпоха человечества, радикальные изменения в мире; капиталистическая система со своими колониями перестала быть гегемоном на нашей планете. И хотя возникла только полусоциалистическая,

собственно говоря псевдосоциалистическая общественная формация, так как в ней реализовано лишь одно из двух необходимых условий социализма, отмена частной собственности на средства производства, в то время как второе, необходимое условие, а именно осуществление социалистической демократии было подменено террористической, тоталитарной диктатурой – всё же мощь этой некапиталистической формации уже стала для всех капиталистических стран тормозом при наступлении на жизненные интересы трудящихся.

Маркс учил, что идеи достигнут непреодолимой силы тогда, когда народные массы овладеют ими. Пока это не случилось с марксистскими идеями, вследствие названных ошибок марксизма и всех тех извращений, которые из-за этого возникли. И это самая главная причина того, что социальная и экономическая программа марксизма нигде не была полностью претворена в жизнь. Но так как марксизм открыл общие законы развития общества, то это не вид религиозного верования, а моё научное убеждение, что человечество, если оно не пойдет на самоуничтожение в какой-нибудь атомной войне, в более или менее близком будущем сможет создать действительно справедливое общество, в котором каждому будут полностью гарантированы его права. Для этого нужно, чтобы мы, философы-марксисты, бесстрашно развивали дальше наше учение, чтобы мы очистили его от всех отложений временных течений марксизма, чтобы мы открыто отказались от всех преступных искажений нашего учения. Нужно, чтобы мы активно поддержали партии Каррильо, Берлингуэра, Марше, Макленнана и других в их благородном деле – борьбе в своих странах за осуществление модели Дубчека – социализма с человеческим лицом.

ЯНОУХ: В одном из своих американских выступлений Солженицын сказал: «Марксизм не наука; это у нас в Советском Союзе известно всем интеллигентным людям… Люди даже стесняются сказать о том, что марксизм является наукой… я не хочу перечислять все неверные прогнозы марксизма».

КОЛЬМАН: Я считаю Солженицына героическим борцом за права человека, который разоблачил кровавые преступления сталинской эпохи, прекрасно понимая, что это может стоить жизни ему и его семье. Я также считаю его самым крупным писателем нашего времени, достойным продолжателем традиций Льва Толстого и Достоевского, и он является выразителем совести и гения русского народа для сегодняшнего и будущих поколений.

Такой оценке не противоречит тот факт, что я не могу разделять ни его мировоззрения, ни политическую программу. Как это часто бывает, люди, разочаровавшиеся в одной идейной

крайности, впадают в другую. Он сам был сначала убеждённым коммунистом, и усвоил марксизм догматически, не критически (также как и я, как мы все почти без исключения). Но теперь он видит всё, что принесла Октябрьская революция, всё в Советском Союзе, всё в социализме только в чёрном цвете. И это несправедливо, предвзято, фанатично; это как пропаганда, которая рисует всё в белом или красном цвете.

Тот факт (если это действительно является фактом), что в Советском Союзе ни один интеллигентный человек не верит в то, что марксизм является наукой, также мало может что-то изменить, как тот факт, что ведьм не существует, хотя в средние века большинство людей в них верило. И почему метеорология и сейсмология остаются науками, хотя их прогнозы зачастую не сбываются? Во всяком случае, самый главный прогноз марксизма осуществился: капиталистическая система уже более не одна господствующая сила на земном шаре; она вынуждена делить власть, если уж не с социалистической, то всё же с полу-социалистической системой.

ЯНОУХ: Давай переведем дискуссию на язык точных наук. Если какая-то физическая теория предсказывала результаты, которых путем экспериментов не удалось достичь, причём эти эксперименты проводились в различных условиях, тогда, я бы сказал, что эта теория неверна, что нужно выдвинуть новую теорию. Я согласен с тобой в том, что касается аналитических возможностей марксизма. Однако посмотри на его синтетическую, конструктивную сторону. Во всех обществах, в которых марксизм является государственной философией, мы наблюдаем постоянное появление одинаковых или похожих ошибок такого принципиального характера, что я отказываюсь верить, что эта теория, по крайней мере, в её сегодняшнем виде, может дать миру какой-нибудь пример, что она может стать привлекательной. Социальные кризисы, восстания рабочих, несовершенные государственные структуры, которые по существу ещё хуже функционируют, чем капиталистические, отсутствие демократии и гражданских прав, подавление искусства и, отчасти, также науки, неспособность организовать сельскохозяйственное производство, неспособность играть ведущую роль в мировом производстве и технике, низкий уровень жизни и т. д. – это же всё характерные приметы, присущие всем так называемым социалистическим государствам (хотя и в различной степени) в четырёх частях света на протяжении 60 лет. Как ты объясняешь эту хроническую неспособность найти лучший рецепт для строительства лучшего и более совершенного общества?

КОЛЬМАН: Всё это кажется обстоятельно и основательно аргументированным, и чрезвычайно убедительным. Но только на первый взгляд. Вкратце можно установить следующий категорический силлогизм:

1. Есть государства, в которых марксистская теория претворяется в практику.

2. В таких государствах нет социализма. Значит:

3. Марксистская теория не сработала.

Но первая предпосылка не соответствует действительности. По правде сказать, она должна звучать так:

1. Есть государства, которые утверждают, что у них марксистская теория претворяется в практику.

А поскольку это утверждение неверное, даже ложное, то и заключение (3-й пункт) не соответствует истине, хотя вторая предпосылка соответствует фактам.

Это простой, чисто формально-логический анализ. Конечно, его нужно дополнить содержательным анализом приведенных здесь основных понятий, по крайней мере, понятий марксистской теории социализма. Я надеюсь, что мы с тобой одного мнения, что под марксистской теорией (причем я все остальные её многочисленные и разнообразные виды оставляю за скобками) нужно понимать учение о построении бесклассового общественного строя, в котором все люди без каких-либо различий свободны от любого вида угнетения. Далее, что социализм представляет собой такое общество, в котором важнейшие средства производства являются общественной собственностью и существует социалистическая демократия, то есть, что народные массы в действительности, а не только на словах оказывают активное влияние на государственную политику и что каждый гражданин может свободно защищать и пропагандировать свои убеждения, если они не являются человеконенавистническими.

Первое условие – обобществление важнейших средств производства – необходимо, но недостаточно, так как капитализм останется, превратившись лишь в государственный капитализм; тогда не частные капиталисты, фабриканты и банкиры будут присваивать значительную часть прибавочной стоимости, а новые привилегированные общественные слои, группы, касты или элиты (неважно, как мы их назовем). Только, если будет выполнено второе условие – социалистическая демократия, а именно одновременно с первым, можно быть уверенным, что социализм не выродился, что это не пустые слова, как это произошло сегодня во всех псевдосоциалистических странах в четырёх частях света, о которых ты говоришь.

Для меня, и я уверен для тебя тоже, речь идет не о том, чтобы обязательно стать победителем в этом диалоге. Мы оба хотим понять те проблемы, которые мучают нас в течение многих лет, хотим, как можно ближе приблизиться к истине. То, что марксизм в своей сегодняшней форме, хотя и способен, но в недостаточной степени, стать практическим руководством для строительства социализма, в этом я убежден уже в течение многих лет. Его нужно очистить не только от всего чуждого, что в него привнесли подобострастные философские бумагомараки, чтобы угодить властителям, не только освободить с помощью основательной, открытой критики от теоретических и практических ошибок и заблуждений, допущенных уже Марксом, Энгельсом, а позднее Лениным (не говоря уже о Сталине), от всего ненаучного, но, что самое важное – дополнить новыми руководящими принципами, которые диктуются новым социальным опытом. Всё это я, разумеется, здесь не смогу перечислить. В качестве примера могу назвать только два руководящих принципа: 1) социалистическое государство должно быть плюралистическим; тогда будет невозможна монополия одной единственной политической партии – о чём мы дискутируем уже более 10 лет, и я тогда защищал неверную противоположную позицию (конечно, я и сейчас не верю, что плюрализм является панацеей против зла социального угнетения)…

ЯНОУХ: и не только социального, но также и политического…

КОЛЬМАН: …но во всяком случае он является довольно действенным препятствием против этого; 2) при социализме никакие государственные или партийные функции не должны стать пожизненными, их носителей нужно выбирать только на определенное время, и чтобы их можно было в любое время освободить, если необходимо. Разумеется, я и это не считаю панацеей.

ЯНОУХ: Хорошо, я поверю тебе на какое-то время, что марксизм это наука (пойми, что я здесь выступаю в роли адвоката дьявола). Как ученый, я знаю, что всякая наука непрерывно должна развиваться и обновляться. Если этот процесс остановится, то наука перестанет быть наукой. Но кто развивал марксизм за последние полвека? Ты же не имеешь в виду Сталина с его пустыми фразами? А если я тебя спрошу: как ты относишься к западному марксизму? Скажем, к франкфуртской школе, к Маркузе и многим другим?

КОЛЬМАН: В течение всего средневековья, то есть многие века в Европе естественные науки развивались слабо, но они не переставали быть науками. Так что можно говорить о временной

стагнации, но не о смерти, и не о смертельной болезни, и не об общем склерозе, как многие это делают. Но даже и это было бы преувеличением. Даже в Советском Союзе, несмотря на извращения Сталина и его подручных, старшие и младшие экономисты, историки и философы внесли вклад в развитие марксизма (назовем хотя бы диалектический материализм и марксистскую методологию естественных наук). И не надо забывать Грамши[17] в Италии, Косика[18] в Чехословакии, Лукаша[19] в Венгрии, Колаковского[20] и Шаффа[21] в Польше, Струйка[22] в США, Гароди[23] во Франции, Хавеманна[24] в ГДР и многих других. Они смогли развить различные аспекты марксизма, несмотря на то, что те или иные их тезисы где-то были оспорены или даже отклонены (как, например, попытка Гароди достичь согласия между марксизмом и католицизмом).

И, наконец, о франкфуртской школе и о Маркузе[25]. Ты не должен забывать, что я долгое время жил за железным занавесом. Их труды были для меня недоступны; как все советские люди я был лишён возможности читать не только их, но и многих других авторов; и теперь я озадачен тем, что я не могу наверстать упущенное. Методы критики таких произведений состояли в том, чтобы наклеивать негативные этикетки, искажать содержание и в то же время утаивать их от читателей. Пусть эти произведения будут только наполовину марксистскими, само их существование доказывает, что марксизм далеко не мёртв, а рождает новые импульсы для творческого мышления, для своего оздоровления и дальнейшего развития.

ЯНОУХ: Если я сегодня думаю о том времени, когда революция направила своё развитие в ложном направлении, я прихожу к выводу, что начало этого процесса нужно искать где-то в феврале 1921 года во время оккупации Грузии или даже раньше во время похода на Варшаву в 1920 году[26]. У тебя же было европейское образование, взгляды и опыт, ты хорошо знал марксистскую теорию. Не появились ли уже тогда у тебя первые сомнения, может быть в глубине души, подавленные сомнения? Или это действительно наступило лишь в конце 50-х годов?

КОЛЬМАН: Ты говоришь: оккупация Грузии, поход на Варшаву. Всё это, как и позднее насильственная аннексия трех балтийских государств, Бессарабии и еще позднее Западной Украины я, как и абсолютное большинство советских людей, воспринял как интернационалистскую помощь народным массам этих стран (так заявляла официальная пропаганда). И мне даже не приходило в голову думать иначе, так что тогда у меня не могли появиться какие-либо сомнения.

ЯНОУХ: Давай сейчас вернёмся в 30-е годы, к политическим процессам, казням, к судьбам твоих знакомых и родственников, которые бесследно исчезали точно так, как это описал Оруэлл в романе «1984». Ты лучше всё это видел, чем твои соратники, ведь ты был на Западе, где уже начали писать об этих событиях. Я хотел бы понять, как могли возникнуть подобное ослепление и такая вера членов партии – или, если ты хочешь, я сформулирую вопрос по-другому: откуда такая способность режима затушевать этот ужасный террор или сделать его приемлемым для сторонников режима?

КОЛЬМАН: Конечно, я сам много раз пытался разобраться в этом. Когда были арестованы мой лучший друг, математик Валентин Иванович Хотимский, уже упомянутый мною брат моей первой жены, Владимир Иванов, и мой брат Рудольф, я всякий раз говорил себе: это ужасная ошибка – по пословице – лес рубят, щепки летят. Мы окружены врагами, которые затесались в наши ряды и своими ложными доносами стремятся уничтожить лучших. И что ошибка скоро прояснится. Но когда во время показательных процессов также и Владимир Иванов, которого я близко знал, признался, как и многие другие, что он был агентом-провокатором охранки и что он боролся против партии, я был, конечно, поражён. Я не сомневался в честности его показаний и процессов вообще. Я скорее стал сомневаться в моей собственной

способности разоблачить тех людей, которые смогли так умело выдавать себя за настоящих революционеров.

Ты должен понимать, что давление общественного мнения всегда и повсюду очень мощное, а в условиях диктатуры оно просто непреодолимо. С начала 30-х годов, а точнее сказать, с 1937 года – а может быть уже на несколько лет раньше – мы все жили в постоянном страхе. И чем дольше человек был в партии, чем выше была занимаемая им должность, тем чудовищнее становился страх. Кирсанова, жена известного старого большевика и партийного историка Емельяна Ярославского, рассказывала мне, что её муж и она тогда сидели на упакованных чемоданах и каждую ночь ожидали ареста. Этот страх давил так, что не то, что высказываться, но даже самому себе нельзя было признаться, что в стране царит разгул преступного насилия и лжи.

Но это был не только физический страх за свою жизнь и жизнь своих близких. Это был также страх потерять веру в идеалы, служившие содержанием всей жизни; идеалы, за которые мы боролись, за которые мы испытывали страдания. Ведь если бы мы их потеряем, что же тогда останется? Зияющая пустота. Как фетиш у нас перед глазами был не отдельный человек, а партия как таковая, как абстракция, которая стоит над человеком; и она была непогрешима; её пропаганда всегда была верной; а то, что писалось о московских процессах за рубежом, было ничего кроме подлой клеветы. Именно так, а не иначе я видел всё это, и моя тогдашняя упрощенная установка – всё, что у нас происходит, хорошо и правильно; все, что происходит у них (капиталистов), плохо и лживо… была мне оправданием.

ЯНОУХ: В твоём ответе мне многого не хватает. В 30-е годы, во время показательных процессов, советское руководство требовало от широких масс одобрения в форме резолюций трудящихся и их требований строго наказать виновных. Участвовал ли ты в таких собраниях и подписывал ли ты сам подобные резолюции? Не было ли у тебя сомнений, что это лживо, даже аморально, влиять таким образом на судей? Я думаю, что такие сомнения у людей возникали. Я вспоминаю, как мой отец в 50-е годы доверительно сказал мне, что его потрясли процессы в Праге и что всё это не может быть правдой. И если уж я начал вспоминать – тогда же мой отец сказал мне, это трагедия, что у окружающих его людей, как и у него самого, страха было больше, чем во время войны, во время фашистской оккупации. А, как ты знаешь, мой отец был храбрым человеком, он много лет был на подпольной работе, был узником Освенцима и Маутхаузена…

КОЛЬМАН: Такие собрания проводились преимущественно на крупных заводах, в высших школах и в некоторых научно-исследовательских институтах для создания впечатления, что эти процессы одобряют все слои населения. Я тогда работал в партийном аппарате, чьё одобрение было само собой разумеющимся, так что я не участвовал ни в одном из таких собраний и не подписывал подобных резолюций. Этим я не хочу сказать, что не стал бы их подписывать, если бы дело дошло до этого. Я искренне верил в подлинность обвинений и признаний обвиняемых! В связи с этим у меня не было угрызений совести, что общественное мнение требует сурово наказать коварных преступников. Ведь те из них, которых я знал лично, к тому же обманули моё доверие к ним, и я должен стыдиться моей доверчивости!

К тому же, как ты сам рассказал о твоем отце, те люди, которые сомневались в подлинности процессов или даже разглядели преступный замысел, не стали протестовать – они также молчали.

ЯНОУХ: Самой загадочной и самой отвратительной особенностью политических показательных процессов стало признание всех обвиняемых: старые большевики, которые с честью выдержали испытания каторгой и ссылкой, позднее стали ветеранами гражданской войны в Испании и гитлеровских концлагерей, вдруг и добровольно признаются в тяжелейших политических преступлениях, которые они никогда не совершали. И при этом клевещут на себя и на своих друзей. Ты можешь объяснить мне это? Ты же сам испытал это…

КОЛЬМАН: Этому есть различные объяснения, и я думаю, они все верны, а именно, в том или ином случае применялись различные методы. Конечно, можно лишь только делать гипотезы, ведь все жертвы были убиты; а их убийцы, из которых многие безнаказанно живут на пенсии в отставке, старательно сохраняют молчание. Некоторые люди утверждают, что некоторые из обвиняемых, которые дали против самих себя ложные, а иногда прямо-таки фантастические признания, были не те самые лица, а переодетые и загримированные актеры, которых ГПУ выбрало из числа своих узников и потом их ликвидировало, чтобы они в дальнейшем не смогли сознаться в этом обмане. Как мне рассказывали очевидцы, процессы проводились таким образом, чтобы публика находилась далеко от скамьи обвиняемых, что не позволяло рассмотреть и узнать обвиняемых. Но я все же считаю, что такой метод был связан с большими трудностями, так что его можно было бы применять только в единичных случаях.

По-другому обстоит дело с медицинским воздействием на обвиняемых. Во время длительных, месячных допросов можно было сломать волю пленников чисто физиологическими способами, полностью подчинить их себе, причем различными путями. Для одних гипноз; для других специальные яды, которые подмешивали в еду, или же это было воздействие самой еды. По собственному опыту могу сказать, что меня на Лубянке кормили жиром морских животных – китов и тюленей, а этот жир содержит, как мне позднее сказал один известный чешский токсиколог, субстанции, которые разлагающе действуют на человеческий мозг, разрушают волю (у меня они на мозг не подействовали, а только вызвали желудочные колики).

Кроме того, волю арестантов ослабляли еще более простым образом: им неделями не давали спать, все допросы проводились исключительно ночью, а днём спать не разрешалось. Что же касается сообщений о пытках, то они не достоверны. Следователь под пыткой может заставить узника подписать все, что угодно, но нельзя быть уверенным в том, что во время открытого судебного разбирательства он не откажется от вынужденных показаний.

Я считаю, что самым распространенным методом выбивания нужных самообвинений был морально-психологический. Так пытался со мной поступить один из моих следователей, правда, безуспешно. Он потребовал, чтобы я подписал длинный список обвинений, который он сам составил, клеветнических обвинений против ведущих политиков в Советском Союзе и в Чехословакии, а также в других странах, причём он апеллировал к моему коммунистическому сознанию. Он мне говорил примерно следующее: вы считаете себя коммунистом, так докажите это. Партии нужно ваше свидетельство, что эти люди предатели, шпионы, агенты капитализма. Если вы это подпишете, вы докажете свою приверженность партии. И если вы нам поможете, мы пощадим вашу жену и ваших детей. А когда я не стал подписывать, он перешел к другому методу: он стал грозить мне побоями, он даже открыл стенной шкаф и достал резиновую дубинку; но не стал бить меня, а только объяснил, что она не оставляет следов, но почкам будет конец. Затем он подвёл меня к виселице, которая была в раздевалке ванной комнаты, и, кто знает, может быть, она стоит там и сейчас.

Морально-психологические методы были, по моему представлению, самыми разнообразными. Например, арестованному грозили, что его жена и дети пострадают, если он себя не признает виновным. Так, один кэгэбешник требовал от моей жены, которая была сослана вместе с нашей девятилетней дочерью в Ульяновск, подтвердить, что я был троцкистом, а когда

она ответила решительным отказом, пригрозил отнять у неё ребёнка. Однако она не сдалась. Известно также, что некоторым арестованным обещали в случае их согласия подтвердить на процессе всё, что от них требовали, оставить им жизнь. Но их жестоко обманули – они подтвердили всё на публичном процессе, но затем их ликвидировали. Также было и на процессе Сланского. Сам Сланский, как и почти все другие обвиняемые, признался в самых страшных грехах; видимо за это им обещали помилование: но их почти всех повесили.

ЯНОУХ: Ты сам провёл свыше трех лет в следственной тюрьме Лубянки. Ты признал свою вину? Свои «преступления»? Если нет, то почему? Почему твоё объяснение не сработало в твоём случае?

КОЛЬМАН: Это звучит довольно странно, но это факт: в течение трех с половиной лет в тюрьме меня много раз обзывали шпионом, троцкистом, предателем и т. д., но ни разу ни письменно, ни устно, мне не предъявляли обвинение и не потребовали признать мои преступления; от меня только требовали оклеветать других, а именно известных политиков, подписать сочиненные следователем фантастические обвинения, что я всегда отказывался сделать.

ЯНОУХ: Ты сидел в трех различных тюрьмах: в России в период между февральской и октябрьской революциями, в Германии при Вирте и потом в сталинской. Было бы интересно сравнить – какая из них была самая суровая? И почему?

КОЛЬМАН: Разумеется, сталинская. Не только из-за жестокости, нечеловеческих методов ночных допросов, но прежде всего из-за сознания, что сидишь в тюрьме той страны, за существование которой я боролся тридцать лет.

ЯНОУХ: Я всё ещё никак не могу понять, почему так много коммунистов так долго, иногда до конца жизни (твой случай – это большое исключение) оставались верными и лояльными советской системе и КПСС, несмотря на все видимые ошибки и симптомы краха-провала-катастрофы, которые были очевидны даже для слепых. Ведь господствующая идеология и руководящая каста переживала страшное вырождение. У меня такое впечатление, что моему поколению – которому сегодня 40–50 лет – понадобилось более короткое время, чтобы у нас открылись глаза, и мы разделились на три группы: социалистических циников, врагов социализма, и внутреннюю социалистическую оппозицию – сторонников социализма с человеческим лицом, или демократического социализма. А вот почему, по твоему мнению, это продолжалось так долго и, собственно говоря, всё ещё продолжается? Что заставляло вас так себя вести?

КОЛЬМАН: Мне кажется, что это, собственно говоря, довольно просто. Инерция мышления – страшная сила. Она тем более сильна и непреодолима, чем дольше мы придерживались определенного способа мышления, чем теснее это было связано с нашими действиями, с нашими чувствами. Представь себе дореволюционного большевика, который всю свою сознательную жизнь боролся за марксистскую, социалистическую идею, разъяснял её другим, страдал за неё в царских застенках и каторжных тюрьмах, в ссылках. Как ему было тяжело, практически невозможно, признаться самому себе, что его мечта не сбылась, и то, что сегодня выдают за социализм, во многом является противоположностью социализма.

Переучиваться значительно сложнее, чем учиться; тут нужно стереть в мозговых извилинах то, что там продолжительное время впечатывалось, а потом вписать туда новое. А у пожилых людей это чрезвычайно сложно даже физиологически из-за их косности и нехватки гибкости, не говоря уже об общественном воздействии. Я знаю дореволюционных членов партии, которые чудом пережили 18 лет сталинских лагерей, а сегодня поют осанну, которые восторженно аплодируют всему тому, что происходит в Советском Союзе и партии. И это не потому, что они получили объедки с господского стола – как почётную плату и право на особую поддержку государственного аппарата снабжения, что конечно играет немалую роль; нет, только из-за своих убеждений.

ЯНОУХ: Давай ещё поговорим об этих убеждениях, об этом фанатизме. Где его корни? Считаешь ли ты, что корни кроются где-то в марксизме? Или это просто особый русский вклад в марксизм, следствие особых исторических условий – православной (греческо-католической) религии, может быть наследие татарского нашествия или влияние Византии? И какую роль играл Ленин в становлении этой новой религии?

КОЛЬМАН: Я не историк и не хочу делать скоропалительных выводов. Но всё же я считаю, что здесь играет роль не один фактор, а несколько. С одной стороны, именно потому что марксизм является (или во всяком случае хочет быть) научным мировоззрением и методом познания, его первооткрыватели и авангардные бойцы, как впрочем и большинство ученых, защищающих свои новаторские идеи, легко становятся фанатиками.

Я также не стал бы отрицать типично русские черты. Конечно, и не могло быть по-другому. Тут должно было найти отражение историческое развитие русского народа, его необычайное терпение, которое помогает выдержать немыслимые для

западного человека лишения, или преувеличенное уважение к официальным учреждениям, а также мессианизм – представление о том, что великий русский народ должен выполнить определенную миссию по отношению к малым народам и даже ко всему миру.

Что же касается роли Ленина, то, по моему мнению, имело смысл, когда он в дореволюционное время выступал за «партию нового типа», с почти военной дисциплиной и «демократическим централизмом». Это означало, что он ввел для большевиков те же или похожие организационные методы, как у левых социал-революционеров. Последние определенно находились под влиянием бланкизма[27]. Целесообразны были также и «профессиональные революционеры». Однако фатальной ошибкой Ленина было стремление сохранить эти организационные формы после революции, что, в конце концов, привело к вырождению партии. Из-за этого сегодня миллионы членов партии вообще ничего не решают в партийной жизни. Демократический централизм превратился в бюрократический централизм, а профессиональные революционеры стали привилегированной кастой; и партия рассматривается, как что-то сверхчеловеческое. Из произведений Ленина, написанных перед его смертью, ясно видно, что он с ужасом осознал этот процесс вырождения и пытался остановить его; но было уже поздно. Как уже было сказано, в обществе, как и в природе, не бывает обратимых процессов.

Религия и совесть, марксистская этика, искусство и наука

ЯНОУХ: А теперь я хотел бы перевести наш разговор на другую, уже теоретическую тему. Ты всю жизнь был атеистом, причем можно сказать воинственным; всю жизнь ты на трибуне и с пером в руках боролся с религией, с церковью, с верующими. Но когда я сегодня оцениваю результаты твоей (и не только твоей) 50-летней деятельности на антирелигиозном поприще, то мне кажется, что они более чем скромные. В Советском Союзе церковь приобретает всё больше значения и привлекает больше людей, чем в 30-е годы (или ты считаешь, что я ошибаюсь?). Мне кажется, что коммунистическая идеология, по крайней мере, в её советской версии, не может дать атеистам ту самую уверенность в смысле жизни, которую предоставляют верующим моральные каноны их религии. Китайская коммунистическая идеология, по-моему, более успешна в этом плане, хотя меня пугает ее иногда фанатичный, некритический, я бы сказал, религиозный характер.

Поэтому я хотел бы тебя спросить: как ты можешь себе объяснить, что вся антирелигиозная пропаганда потерпела провал? И, вообще, может ли социалистическая идеология заменить явно более глубокую и неискоренимую потребность человека в вере? И какое в твоём настоящем социалистическом обществе должно быть отношение между неверующими и верующими? Этот вопрос возник не на пустом месте: в Чехословакии, к примеру, в последнее время появился широкий оппозиционный фронт, куда вошли, начиная с марксистов и социалистов самой различной окраски, даже «Богемские Братья»[28] и католики. И я лично вижу в этом действительно «народном фронте» (или «национальном фронте») единственную возможность разрешить глубокий кризис современного чехословацкого общества.

КОЛЬМАН: Чтобы правильно ответить на эти многозначительные замечания и вопросы, мне пришлось бы написать целую книгу. Поэтому я смогу лишь коротко пояснить мою позицию, но сначала мне хотелось бы сказать следующее.

Во-первых, я, говоря в стиле принятой здесь терминологии, признался во многих своих грехах, но мне не надо каяться в том, что я когда-либо грешил тем, что боролся с верующими. Я всегда придерживался мнения, что религиозность человека является его слабостью, а не проступком, и тем более не преступлением; и что ему нужно помочь, разъясняя иллюзорность таких идей, а не пытаясь силой заставить его отказаться от них.

Далее: как мне удалось лично убедиться, вряд ли можно говорить о возрождении официального православия в Советском Союзе. Православие очень тесно связано со всей правительственной системой, поддерживается ею, и в свою очередь поддерживает эту систему, которая сопричастна к ответственности за ее преступления, и именно поэтому не пользуется большим авторитетом у политически неразвитого народа. Другое дело – религиозность. После сталинских массовых убийств 30-х годов, после раскулачивания, после послевоенной второй волны сталинских чисток в 40-х годах она значительно выросла, что привело к усилению многочисленных христианских сект, а также иудейской и исламской религий, прежде всего из-за преследований, которым подвергались их приверженцы.

А что касается китайской коммунистической идеологии, то я не могу оценить её, поскольку с ней не знаком.

Ты полностью прав, когда утверждаешь, что результаты антирелигиозной пропаганды в Советском Союзе минимальны. Но основная причина этого не в том, что она ведётся необученными агитаторами и грубыми методами (издёвки над верующими и

разнообразнейшая клевета на духовенство) и что она догматически искажается и сопровождается насильственными действиями (закрытие церквей, запрещение религиозного преподавания); и тем более не в том, что социалистическая идеология, марксизм, не смогли заменить те моральные ценности, которые даёт человеку религия. Настоящая причина кроется в том, что между реальной действительностью советского общества и моралью социалистической идеологии лежит непреодолимая пропасть. Именно поэтому антирелигиозная пропаганда должна была потерпеть провал.

Ну, и конечно неверно, что религиозность, вера в богов или в одного единственного бога, в потустороннюю жизнь, в сверхъестественные силы или явления, вообще является неискоренимой потребностью человека. Напротив, всё это является продуктом и неизбежным сопутствующим явлением классового общества. В начале человечества вообще не было никакой религиозной веры, пока не появились классы. А в совершенном коммунистическом обществе будущего религия постепенно отомрёт. Поскольку её причиной является чувство беззащитности человека от угнетения, причем угнетения двоякого рода: со стороны сил природы и со стороны сил общества. Эти последние потом исчезнут, а от первых останутся только болезни и неизбежная смерть, с чем разумные люди должны будут примириться.

Нет смысла говорить о том, что демократический социализм не должен делать разницы между верующими и неверующими, что при нем все права должны получить как религиозная, так и атеистическая пропаганда. Оппозиционный народный фронт в ЧССР, о котором ты говоришь, как и тот, который образовался в свое время в Италии и Франции против фашизма, и в который входили как атеисты-коммунисты, так и католические священники…

ЯНОУХ: Позволь мне перебить тебя. Ты действительно веришь, что наше знание археологии даёт тебе право утверждать, что в примитивном бесклассовом обществе не существовала вера в бога, в богов, в сверхестественное? Мне скорее кажется невероятным, что человек первобытного общества, который ежедневно сталкивался с непонятными явлениями и должен был ощущать свою полную беспомощность перед болезнями, смертью, превосходством диких зверей, природной стихии, голода и т. д., не пытался найти, поскольку он уже был человеком, какое-либо объяснение, утешение, надежду.

Я также сомневаюсь в правильности твоего утверждения, что в бесклассовом обществе будущего – если оно вообще реализуется

– религия постепенно исчезнет. Я не могу себе представить, что наша цивилизация в будущем будет способна исключить такие явления как отчуждение, вызванное чрезмерной технизацией жизни, как страх и боязнь будущего (перенаселение, нехватка сырья и продовольствия), как опасности, связанные с новыми научно-техническими открытиями; или что это общество будущего будет способно освободить человека от страха перед болезнями и смертью. Не является ли в этом случае «отцом мысли» только желание – одно из многих упрощений, которыми так богат марксизм и на которые ты сам во многих случаях указываешь?

КОЛЬМАН: У меня нет причины оспаривать то, что утверждается наукой, археологией и историей культуры. В эпоху раннего палеолита появились лишь первые зародыши религиозности, фетишизма, из которых постепенно, для этого потребовались многие сотни тысяч лет, развились тотемизм, анимизм, одушевленность всех вещей в природе. Это было фантастическое, искаженное отражение подлинной природы. Представление о богах (а позднее об одном единственном Боге) и, тем самым, религия, в полном смысле этого слова, возникла лишь тогда, когда в самом обществе появились образцы для подражания – власть имущие – то есть при матриархате. Это представление получило особое развитие при патриархате, в классовом обществе, когда к страху перед силами природы присоединился страх перед общественными силами. Не боги создали человека по своему подобию, а человек создал себе богов и их иерархию по своему собственному образу и в соответствии со своим общественным порядком.

Ты сказал, что не можешь представить себе, что люди будущего смогут, во-первых, ликвидировать опасные для них явления, а во-вторых, не испытывать страха перед ними и при этом не обратиться к религии. Ну, кто мог представить себе сто лет назад, что люди смогут использовать ядерную энергию, что они высадятся на Луне, что появятся электронные компьютеры и водородные бомбы?

Сила нашего воображения довольно ограничена. Это особенно касается того, каким будет менталитет людей будущего. Даже если мы предположим, что наука и техника бесклассового общества не будет в состоянии устранить все те страхи, которые ты перечислил, хотя я не вижу оснований для такого утверждения (при одном единственном исключении, это страх смерти, но об этом мы поговорим позднее) люди той эпохи будут отличаться от нас так же, как и мы отличаемся от наших предков. Я надеюсь, что ты согласишься с тем, что большинство из нас, по крайней

мере, в Европе, отказалось от различного рода суеверий, как например, от веры в чудеса. Конечно, ты можешь мне возразить, что место старых примитивных суеверий (например, чёрная кошка) заняли новые, более утонченные, что особенно в последние годы резко возрос интерес ко всему иррациональному, к спиритизму, к ясновидению, к тайным восточным учениям. Это всё верно. Но это же нетрудно объяснить, прежде всего, повседневной неуверенностью, угрозой атомной смерти, а также технизацией (технологизацией) нашей жизни, которая в сегодняшнем обществе служит не рациональным целям, а только нацелена на прибыль, милитаризм и власть. Всё это, я надеюсь, в будущем отпадёт. Люди будущего будут рациональными, будут думать и действовать по науке, их не будет парализовывать чувство страха. И они не будут искать утешения от своих бед в области каких-либо фантазий.

Я допускаю, что в этом сценарии человека будущего, освобожденного от религиозной веры, главную роль играет «желание, порождающее мысль». Ведь будущее не обозначено механистически (то есть, исключая человеческое воздействие), так фаталистически трактуют марксизм только догматики. Мы можем говорить о будущем только с некоторой, собственно говоря, неопределенной вероятностью. Поскольку я не догматический марксист и мои взгляды не определяются предписанными начальством принципами, то я не считаю себя всезнающим, компетентным во всех областях и не принимаю марксистские тезисы за абсолютную истину в последней инстанции. Я просто трезвый оптимист, который даже во время трех лет пребывания в одиночной камере лубянской тюрьмы придерживался главного принципа: готовиться к самому худшему, но надеяться на лучшее. Поэтому я и надеюсь, что люди освободятся от религиозной веры, противоположности научному познанию, что они вместо ожидания призрачного счастья от божьей милости, сами в борьбе завоюют реальное счастье.

В настоящее время в классовом обществе религия и наука вполне уживаются в головах многих крупных учёных. Они остерегаются делать окончательные логические выводы, они воздвигают между религией и наукой непреодолимую стену, которая обусловлена общественным воспитанием и положением этих учёных. Всего этого в бесклассовом обществе не будет. Марксистский тезис «наука и религия несовместимы» будет осуществлен в полном объёме.

В заключение ещё одно замечание. Ты говоришь, что марксизм грешит различными упрощениями, на которые я якобы ранее указывал. Это меня удивляет, ведь я обращал внимание на

те упрощения, которые внесли в марксизм догматики, а не на упрощения самого марксизма. Однако возможно такие имеются. Ведь всякая наука начинается с упрощений; они нужны, как первые ступени подхода к ее развитию и только потом от простейшего до всё более сложного и всё более точного отражения действительности. Также и марксистская философия и общественные науки. Поэтому не надо отвергать марксизм, его надо разрабатывать, дополнять, углублять и расширять, исходя из нового опыта, поскольку практика это критерий (хотя и относительный) теории.

ЯНОУХ: Наша дискуссия о религии неизбежно приводит нас к другой проблеме: к вопросу о жизни и смерти. С этим вопросом каждый человек сталкивается сначала в юности, потом уже в старости (а между этими возрастами ежедневные заботы оттесняют этот вопрос у большинства людей на задний план). Я знаю, что в последние годы ты написал книгу на эту тему, которая правда в Советском Союзе не была издана. Какую позицию ты, в возрасте 84-х лет, занимаешь по этой вечной проблеме? Считаешь ли ты, что марксизм может дать человеку такое же утешение, как религия, что марксистская наука способна заново сформулировать вопрос о жизни и смерти и предложить приемлемое для всех решение?

КОЛЬМАН: Да, мы с женой действительно написали книгу, которая называется «Почему люди боятся смерти?». В ней мы попытались с использованием богатых культурно-исторических и философских материалов на примере живых человеческих судеб всесторонне рассмотреть эту проблему с марксистской точки зрения. И хотя рукопись получила от специалистов два положительных отзыва, московское издательство отказалось её издать. По причине – нехватки бумаги. Но подлинная причина была другая: тема книги не соответствовала лицемерной оптимистической советской атмосфере, в которой любыми способами стараются вообще не затрагивать тему смерти; газеты замалчивают не только катастрофы на транспорте, но и такие стихийные катастрофы, как землетрясения, наводнения, лавины, которые связаны с человеческими жертвами, если они происходят в Советском Союзе, а пишут лишь о подобных событиях в США или Китае. К сожалению, нам не удалось вывезти рукопись из страны, так что вся наша работа пропала даром. Это еще одно дополнительное подтверждение (наряду со многими другими), что единственную цель, которой человек может достичь с абсолютной уверенностью, хотя она в большинстве случаев и не является желаемой, это смерть.

Я не осмелюсь осветить здесь на нескольких страницах или

даже в нескольких строках эту сложную, многоплановую и волнующую проблему. Я хочу сказать только одно. По моему мнению, Карел Чапек со своей пьесой «Дело Макропоулоса» внёс значительный вклад в философское понимание этой проблемы. Неограниченная по времени жизнь при нарастающей физической и умственной старческой слабости была бы для человека также нежелательна, как и преждевременная смерть. Я убежден, что медицинская наука в рационально построенном обществе будущего сможет обеспечить человеку при условии рационального образа жизни оптимальную продолжительность жизни, как в Библии до 120 лет, при сохранении его умственных способностей; разумеется, если человечество еще ранее не совершит самоубийство.

ЯНОУХ: Вопрос, который я задал тебе о смерти, неизбежно влечет за собой также вопросы и о других моральных категориях, таких как совесть, ответственность, вина и ее искупление. Считаешь ли ты, что марксизм как-то или даже лучше, чем религия, решил эти проблемы?

КОЛЬМАН: Пойми меня правильно, ведь вкратце невозможно изложить то, что я рассказывал на протяжении двух семестров в своих лекциях по марксистской этике (что также было темой в книгах других авторов) в пражском Карловом университете. Для тебя, как физика, приемлемым должен быть скорее рациональный анализ этических категорий, как это предлагает марксизм, чем тот, который основывается на божеском провидении.

Но, само собой разумеется, что все научные оценки этических категорий останутся пустой теорией или даже вредной догмой, если социальная практика не будет им соответствовать. Мы это часто с тобой обсуждали.

ЯНОУХ: Я бы не хотел заставлять тебя, это же не цель нашего диалога, излагать здесь основные контуры марксистской этики. Мой вопрос более короткий и специфический: изменились ли твои понятия о марксистской этике с тех пор, как ты преподавал их тридцать лет назад в Карловом университете? И в чем ты видишь главные характерные черты марксистской этики, которые отличают её от других этических мировоззрений? Я вижу здесь некоторые исторические параллели: христианская мораль, связанная с учением Христа, так никогда и не была реализована. И, по моему мнению, она никогда не была дальше от своей реализации, чем в средние века, в то время, когда церковь была на вершине своего могущества и славы. Так же обстояло и обстоит дело с коммунистической моралью: может быть за исключением коротких революционных периодов, мораль во всех марксистских странах была также далека от идеалов, описанных

Марксом или Калининым, как небо от земли.

Я не социолог и не проводил никаких подобных исследований. Но, несмотря на это, я позволю себе утверждать, что общее состояние морали на Западе, не хуже, а скорее лучше, чем на Востоке. Этим я не хочу сказать, что люди в странах, которые первым, по-моему, Билак[29] назвал странами реального социализма, были бы хуже, чем в капиталистических странах, но я чувствую всеобщее падение общественной морали в большей степени в Советском Союзе и в остальных восточноевропейских странах, чем в других регионах мира. Разумеется, для этого есть объективные основания: тоталитарный режим с его ужасными вездесущими органами власти разрушает и уничтожает характер человека. Бесстыдная ложь, официально выдаваемая за правду, коррупция, подкуп, отсутствие свободы во всех сферах жизни, связанное с низким уровнем жизни (если не сказать с нуждой), преследование детей из-за образа мыслей их родителей – всё это создаёт ситуацию, которая позволяет людям с низким уровнем морали стать во главе общества, поэтому и общество становится таким же, как они.

Не кажется ли тебе, что как христианская, так и коммунистическая мораль никогда не смогли реализоваться, потому что в них не принимались в расчёт человеческие свойства и может быть определенные социальные процессы?

КОЛЬМАН: Цель нашего диалога – прояснить по возможности целый ряд проблем. Как бы то ни было, мы не должны, как это часто происходит, смешивать такие основные понятия, как этика и мораль. Мораль – это свод правил, согласно которым человек, сознательно или несознательно, выстраивает свои отношения с другими членами социума, также как и психические и духовные качества, необходимые для этого. А вот этика – это учение о морали, теория, которая обосновывает мораль, и основывается на определенных философских или религиозных мировоззрениях. Вот почему из-за смешения этих понятий возникает немало недоразумений.

Любую этику, а их довольно много, лучше всего можно охарактеризовать посредством их высшего морального принципа, который учит нас отличать хорошее от плохого. Основной принцип христианской этики – поступай так, как понравится богу, чтобы ты в потустороннем мире получил не наказание, а награду. А вот основной принцип марксистской этики, как её сформулировал Ленин, говорит, что в моральном плане положительным является такое действие, которое способствует осуществлению бесклассового, коммунистического общества, свободного от эксплуатации. Я, конечно, не сторонник

христианской, либо какой другой этики. Но я должен защитить христианскую этику от обвинения в ответственности за низкий уровень морали в средневековом обществе – извращенность духовенства, в особенности, его верхушки, костры, на которых сжигали ведьм и т. д. В этом виновата не христианская этика, а именно то обстоятельство, что она ни тогда, ни позднее не была полностью реализована. Также и в том, что в Советском Союзе и в других, так называемых, социалистических странах отмечаются перечисленные тобой отвратительные аморальные явления, виновата не марксистская этика, а только тот факт, что её там нет.

Но тут возникает вопрос, почему не были воплощены в жизнь ни христианская, ни марксистская этики? По твоему предположению только по одной и той же причине: потому что обе они слишком абстрактны. Но это не так. Христианскую этику можно скорее назвать фантастической, чем абстрактной. А марксистская этика, напротив, включает также стремление к улучшению политико-экономических условий, при которых она может диктовать господствующую общественную мораль. А этих условий там как раз и нет. Так что у меня нет причины менять мои позитивные взгляды на марксистскую этику. Но это, однако, не означает, что я её считаю совершенной. Я согласен с тобой, что она недостаточно учитывает человеческую психологию. И я считаю, что важной задачей марксистских философов является дальнейшая разработка марксистской этики в этом смысле. И даже более того. Я утверждаю (30 лет назад я этого ещё не понимал), что ошибка Ленина состояла в том, что он в своей формулировке марксистских максим не сделал этой оговорки: «Такие действия не должны противоречить принципам гуманности». Это привело к тому, что вместо далекого светлого будущего сейчас царит очень мрачное настоящее. Так это и случилось. В сегодняшней, извращенной форме этот принцип звучит примерно так: «положительными в моральном плане являются такие действия, которые полезны для социалистического государства (то есть, его власть имущим)».

Пока мы говорили главным образом об этике. Что касается морали, то она никогда и нигде не бывает единой, а зависит от общественного класса и от социальной прослойки. Уже поэтому я считаю неверным проводить сравнения между моралью на Востоке и моралью на Западе. Кроме того, вряд ли найдётся научный, объективный критерий для этого: ведь мораль многогранна; например, мораль крестьянина в одном отношении может быть выше на Востоке, чем на Западе, а в другом отношении, в то же самое время, ниже. Я же, как и ты, не

социолог, и, также как и ты, не проводил сравнительных исследований фактического морального уровня. Да ещё мой недостаток: ты живёшь в капиталистическом мире три года, а я всего три месяца. Несмотря на это, я позволю высказать мои сомнения относительно твоего утверждения, что общий уровень морали на Западе не ниже, а даже выше, чем на Востоке. Не марксисты, а американские буржуазные социологи бьют тревогу по поводу постоянного роста в США преступности, гангстеризма, наркотической зависимости, сексуальной развращенности, особенно среди молодёжи. Когда я был в Нью-Йорке летом 1961 года, один полицейский предупредил меня, что прогулки вечером в Центральном парке связаны с риском ограбления или даже убийства.

Здесь, в Швеции, как я слышал, высокий процент разводов и самоубийств, хотя, или именно потому, что уровень жизни здесь высокий.

Солженицын сказал как-то, обращаясь к Западу: вы сыты и потому потеряли волю и разум. И хотя я эту фразу считаю чересчур общей и потому несправедливой, я всё же считаю, что отчасти она верна и относится также и к морали.

ЯНОУХ: Я могу привести десятки подобных примеров, заимствованных из Советского Союза: преступность там высока, хотя официальные статистические данные там, к сожалению, не публикуются. Также как тебя предупреждали в 1961 году в США, так и меня в 1954 году в Ленинграде предостерегали от появления на улицах после наступления темноты, из-за опасности ограбления или убийства. Также обстоит дело в СССР и с алкоголизмом, спекуляцией, коррупцией, так что СССР стал настоящей сверхдержавой также и в области преступности. Но я не думаю, что было бы правильным ставить знак равенства между общественной моралью и преступностью. Скорее, я имею в виду другую, более тонкую материю: к примеру, солидарность с товарищами и коллегами (скажем, в форме забастовок, протестов, демонстраций), права которых были несправедливо нарушены.

В нашем диалоге ты упомянул твоего друга Струйка, которого во времена маккартизма уволили с должности профессора Массачусетского технологического института. Протесты его друзей и коллег, не поддерживавших его марксистское мировоззрение или критически относившихся к нему, тогда привели к отмене университетом своего решения. Но я не могу вспомнить ни одного подобного случая в СССР или Чехословакии в 50-е годы (или раньше), чтобы кто-то выступил против увольнения профессоров или интеллектуалов, против их ареста или даже против ликвидации. Ты, конечно, можешь

возразить мне и я с тобой соглашусь в том, что сегодня ситуация выглядит лучше. Сегодня даже малые группы и отдельные граждане осмеливаются открыто, а не анонимно, протестовать против подобных нарушений. И хотя это лишь первые ласточки, но они все же представляют собой значимое явление. Кроме частично Чехословакии, а может быть также и ГДР, эти явления в Советском Союзе и Польше связаны не с социалистической моралью, а с откровенно «антисоциалистической» моралью, так что в этом случае трудно говорить о социалистической морали.

КОЛЬМАН: Тут мало о чем можно дискутировать. Возможно, что преступность в обеих странах – США и СССР – на одном высоком уровне; я только сомневаюсь, что она в США ниже, чем в СССР. Советская пресса не только не публикует данных о преступности в своей стране, но, как уже говорилось, никаких данных и о природных катастрофах. Такое лицемерие заходит настолько далеко, что даже в самых больших словарях не найдешь не только несалонные простонародные слова и выражения, но и религиозную лексику. Разумеется, понятия «аморальный» и «преступный» сильно отличаются. Что по законам одного государства является преступлением или только проступком, не обязательно является аморальным. И наоборот, то, что по законодательному кодексу не наказуемо, часто является сильно аморальным. И всё это не только с позиции классовой морали, но также с позиций общей человеческой морали, о которой писал Маркс. Но при всём этом уровень преступности характеризует уровень общественной морали.

Верно, что моральное возмущение против бесправных насильственных действий правительства в сталинскую эпоху вообще не могло публично выражаться, да и сегодня выражается лишь робко и запуганно, ведь преследования продолжаются. Это объясняется тем, что народ за время многовекового угнетения, сначала царского, а потом сталинского, держали в постоянном страхе и он не смог усвоить элементарные демократические права. Именно в этом кроются корни такого аморального положения, когда гражданин Советского Союза рассматривается не как индивид, а как цифровая единица стада овец.

А что касается протестов, то в их сегодняшних разнообразных формах участвуют не только социалистически и коммунистически мыслящие граждане, но также и диссиденты разных направлений. Это я знаю по собственному опыту, так что это мало что означает в вопросе о социалистической или несоциалистической морали.

ЯНОУХ: Мы уже говорили об оживлении религиозных чувств в Советском Союзе; я связал это с тем, что религиозный вопрос, а

точнее говоря, замена одной религии другой, в СССР так и не был окончательно решён. И я думаю, что подобное произошло и с национальным вопросом. За последние 10–15 лет в СССР наблюдается значительный подъём национального самосознания малых народностей; нарастает настоящая волна национализма, которая может сыграть важную роль при распаде или преобразовании советской империи. В этой связи у меня к тебе принципиальный вопрос: думаешь ли ты, что марксизм, по крайней мере, теоретически, занимает правильную позицию в национальном вопросе? И в чём ты видишь его ошибки?

КОЛЬМАН: Я считаю, что как Маркс, так и Ленин, в принципе правильно рассмотрели – в теоретическом плане – этот вопрос, утверждая, что только при социализме все народности, как малые, так и большие, смогут самостоятельно и свободно развиваться. Именно поэтому национальный вопрос постепенно потеряет свою остроту, так что, в конце концов, все нации и расы сольются в одно единое человечество. Однако, по моему мнению, как Маркс, так и Ленин не совсем правильно оценили большое значение этого вопроса и опрометчиво сочли, что период отмирания национальных чувств, как, впрочем, и религиозных чувств, будет довольно непродолжительным. События в Северной Ирландии, на Ближнем Востоке, на Кипре, в Южной Африке и в других регионах показали, насколько сильны эти чувства.

А что касается практики марксизма в национальном вопросе, то тут ничего нельзя сказать, так как социализм до сих пор нигде ещё не был реализован и так как Советский Союз, также как и другие социалистические страны, своей доктриной сделали искаженный марксизм.

ЯНОУХ: Ты написал в своём «Открытом письме» Брежневу, что сегодняшний Советский Союз такая же, если не еще более худшая, тюрьма народов, чем была царская Россия. Я думаю, что это касается не только тех наций и национальностей, которым не повезло, что они оказались в многонациональном Советском Союзе. Парадоксально, что Советский Союз в течение последних 30 лет (или дольше) стал, возможно, единственным государством в мире, который поработил целый ряд других народов, сделав их буквально своими колониями и не принимая во внимание их бывшую самостоятельность и их высокую степень промышленной и политической зрелости. Я считаю такую политику и такую ситуацию нетерпимыми, особенно в такое время, когда даже малые страны и даже многие мини-национальности получили государственную и политическую независимость в мире. И, конечно, трагично, что такая колониальная политика связывается с марксизмом и социализмом.

КОЛЬМАН: Да, это трагично и возмутительно, что самые подлые, самые низменные дела украшаются самыми благородными словами. И это яркое доказательство того, что внутренняя и внешняя политика государства неразрывно связаны, что правительство, угнетающее свой собственный народ, не может жить в дружбе с другими государствами и народами.

С другой стороны, противоположное утверждение, что борьба за права человека и стремление к разрядке международной напряженности, якобы, не имеют ничего общего и даже противоречат друг другу, является неверным, даже ложным.

Если твой сосед ежедневно избивает свою жену и детей, издевается над ними, будешь ли ты затыкать уши, чтобы не слышать их крики, и спокойно дожидаться, когда он замахнётся на тебя и ударит тебя ножом в живот? Положение нерусских наций в Советском Союзе резко противоречит учению Ленина о самоопределении народов, включая их право на выход из СССР, и потому противоречит Конституции Советского Союза. Тысячи украинских, балтийских, кавказских, центрально-азиатских националистов томятся в тюрьмах, лагерях и психушках, потому что они вступились за свои национальные права.

Русификация, в особенности, малых народностей, которых немало в составе РСФСР, проводится силовыми методами. И хотя во главе коммунистических партий союзных республик всегда стоят местные жители, в качестве первых секретарей республиканских Центральных Комитетов, они, как правило, играют роль своеобразной вывески; на самом деле вся партийная и государственная власти находятся в руках второго секретаря, а это почти всегда присланный из Москвы русский.

Но особо тяжело приходится тем национальностям, которых Сталин во время Второй мировой войны выселил из их родных мест проживания и которые наполовину вымерли в местах ссылки, в глуши крайнего Севера или полупустынях Средней Азии. Это были крымские татары, немцы Поволжья, калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы и другие. Мало того, что им даже отчасти не возместили несправедливо причиненный ущерб: они не могут вернуться в родные места и вернуть себе оставленное там имущество, которое было присвоено другими; их даже подвергают преследованиям, когда они борются за свои естественные права.

Отдельная проблема – советский антисемитизм. Отчасти он наследие царизма – во всех неудачах виноват всегда еврей. С другой стороны, антисемитизм подогрел Сталин, когда провалился его план сделать Израиль своим плацдармом на Ближнем Востоке. И, кроме того, антисемитизм должен

продемонстрировать арабам верность им Советского Союза. Сначала под прикрытием борьбы с космополитизмом, теперь ведётся борьба с сионизмом, следствием чего стала ликвидация большей части еврейской интеллигенции, закрытие еврейских школ, театров и печатных органов, дискриминация евреев в партийных и государственных органах и в сфере высшего образования. С другой стороны, многие евреи в Советском Союзе, которые ранее почти совсем потеряли своё национальное самосознание, снова приобрели его: они хотят уехать в Израиль. Я должен добавить, что уничтожение евреев нацистами – холокауст – в большой степени способствовало возрождению еврейского национального самосознания. Я хочу ещё добавить, что советские правители, как во всех других случаях, так и в этом, действуют лицемерно. Чтобы произвести впечатление непредвзятости, они держат одного еврея в правительстве; оставляют определенное число специалистов, особенно высококвалифицированных, которым трудно было бы найти замену, на ведущих должностях, особенно в науке, технике и медицине. Среди них есть и такие, кто, будучи довольными своим привилегированным положением, расхваливают положение евреев в Советском Союзе, чтобы угодить власть имущим. Ну, евреи не являются избранным народом, они не хуже, и не лучше других народов: они дали миру как Иисуса Христа, так и Иуду Искариота.

ЯНОУХ: После того, как ты уж начал критиковать недостатки и ошибки марксизма, ты, как философ и логик, конечно, не сможешь не обратиться к его собственным, глубоким корням. Тогда тебе придётся признать, что главная причина всех промахов марксизма кроется в том, что он односторонне, с классовых позиций, оценивает не только экономические и социально-политические проблемы, но и самого человека, с его менталитетом, всем его духовным миром, его моралью, его искусством, его наукой. То безотрадное положение, в котором находятся искусство и наука в Советском Союзе, подтверждает это довольно наглядно.

КОЛЬМАН: Я не хочу оспаривать, что литература и изобразительное искусство, а также наука, влачат в Советском Союзе плачевное существование. Я также не хочу оспаривать тот факт, что советские властители оценивают человека лишь на основе того, насколько он может быть полезен или вреден для целей привилегированного господствующего класса. Я сам мог бы привести несколько конкретных примеров. Но вину за это несет не марксистское учение о классовом характере общества или его идеология, а только деформация этого учения.

Истинная марксистская теория совсем не утверждает, что нет никаких моральных, творческих или научных критериев, кроме вечных общечеловеческих принципов; они не зависят от смены следующих друг за другом форм общества. Абсурдность подобного утверждения, которого придерживаются марксистские догматики, разоблачают самые простые примеры: что бесчеловечно мучить свою мать, что $2 \times 2 = 4$, что Венера Милосская для европейцев является эталоном женской красоты. Это несомненные критерии истины как для рабовладельческого, феодального так и капиталистического обществ, и они будут действовать и в бесклассовом коммунистическом обществе будущего.

Однако теория Маркса, неискаженный исторический материализм, утверждает, что моральные, творческие и научные критерии, также как и все элементы идеологии – политические, правовые, религиозные и философские – отражают, хотя и в разной степени и различным образом, интересы той или другой общественной группировки, в особенности, классов общества. В данное время господствующий класс или каста навязывают – с большим или меньшим успехом – целому обществу свою идеологию. Поскольку рабочий класс не владеет при капитализме средствами производства, он не заинтересован в эксплуатации человека человеком; наоборот, он стремится ее ликвидировать и создать бесклассовое общество. Поэтому рабочий класс является наиболее прогрессивным классом: его социалистическая идеология, включая взгляды на мораль, искусство и науку, находится, в сущности, в согласии с общечеловеческими идеалами.

Против этого выступает практика искаженного марксизма. Как я уже сказал, Ленин открыл путь для серьезных деформаций марксистской морали, так как он неправильно сформулировал максиму: «все, что помогает построению коммунистического общества, положительно». Но при этом он не добавил, что она не должна нарушать основные общечеловеческие нормы. Такие политики как Брежнев или Гусак и все их помощники – как журналисты, так и полицейские – считают не только позволительным, но прямо своим долгом и геройством, что «классовый враг» и «ренегаты» могут быть оболганы, обмануты, оклеветаны, шантажированы, что их можно преследовать, похищать, мучить и беспощадно «ликвидировать». В таких странах не существует проблемы соблюдения прав человека, поскольку для тиранов их подданные имеют лишь обязанности, но не права (которые признаются только на бумаге), поскольку они – не люди, а лишь только государственная собственность.

Такой же самый, прагматичный, упрощенный, примитивный критерий, получивший название «социалистический реализм» или «общественный заказ», используется в Советском Союзе при оценке беллетристики и изобразительного искусства. Стихотворение, рассказ, роман могут быть по своему стилю и форме, а также по своему содержанию, слабыми, нудными и совсем непривлекательными, но они восхваляются до небес и издаются массовым тиражом, а их авторов награждают государственными и Ленинскими премиями, лишь бы эти произведения приукрашивали властвующую систему и пропагандировали лозунги, которые в данное время провозглашает партийное руководство. Творчество же действительно талантливых, художественно одаренных, и даже гениальных писателей, таких как Солженицын, официальная критика поливает грязью, а цензура – всемогущий Главлит – душит их. Произведения таких писателей не печатаются, они лежат в ящиках письменных столов, или ходят в самиздате, только потому, что они отражают отрицательные стороны существующей системы. Таким образом, советский читатель не может прочесть произведения своих лучших писателей, а лишь тех, кто поет «аллилуйя». Настоящие же, современные писатели замалчиваются, но при этом постоянно повторяются фразы о свободе творчества и о необходимости положительной критики и самокритики. Об этом даже ходит издевательский стишок: «Мы – за смех!/ Но нам нужны/ Подобрее Щедрины и также Гоголи,/ Чтобы нас не трогали»[30].

ЯНОУХ: В 20-е годы ты жил в Советском Союзе. В то время там образовалась широко известная школа авангардистской живописи, которая даже оказала влияние на мировое изобразительное искусство. Достаточно назвать такие имена, как Шагал, Кандинский, Малевич и многие другие. Как ты тогда относился к этому модернизму? И как ты относишься к более поздней, а также к сегодняшней официальной позиции в отношении абстрактного и, вообще, модернистского искусства? Без всяких колебаний я охарактеризовал бы ее как извращенную и даже варварскую, особенно, когда я вспоминаю, как в Москве с помощью бульдозеров расправились с выставкой абстрактных картин художника Оскара Рабина в одном из московских пригородов.

КОЛЬМАН: Названные тобой художники Шагал, Кандинский, Малевич были представителями дореволюционной прогрессивной школы живописи в России. В первые годы после Октябрьской революции это также была процветающая школа. Художники выступали как представители и разработчики различных

модернистских направлений, которые последовали вслед за импрессионизмом прошлого столетия: например, кубизм, супрематизм, футурокубизм. Тогда официальное отношение к модернизму, не только в изобразительном искусстве, но и в беллетристике и в музыке, было либеральным. Лучшим примером этого могут служить слова Ленина о Маяковском, который сначала был футуристом, сказанные им Кларе Цеткин: «Я хотя не понимаю некоторые его стихотворения, но его всё же ценю». Само собой разумеется, что я разделяю такую позицию. Важным тогда был и тот факт, что во главе народного комиссариата образования стоял А. В. Луначарский, сам философ, эстет, литературовед и драматург, человек, получивший европейское образование, который с марксистских позиций (хотя, иногда, и не без ошибок), оценивал события в культурной жизни страны. На этом посту он руководствовался своим глубоким пониманием искусства и своим дружелюбием к его представителям. Всё это резко изменилось, когда Сталин начал реализовывать свою диктатуру; а его последователи уже без него слепо и верно продолжали его политику в области культуры. Примитивный и некультурный, такой же политический аферист, как Шикльгрубер-Гитлер, Джугашвили-Сталин признавал в искусстве и в культуре только то, что он считал полезным для утверждения своей власти. Своего идеологического комиссара А. А. Жданова он заставил подвергнуть гонениям талантливого сатирика Зощенко; а модернистское изобразительное искусство, музыка, архитектура клеймились, как гнойные язвы империализма, а к деятелям культуры относились, как к врагам. Сталин и правящая каста окружили себя посредственными льстецами и подхалимами, такими, как художник А. М. Герасимов, портретист Сталина и других партийных бонз, автор слащавых картин, приукрашивающих советскую действительность. Их повсюду расхваливали и им вручали всевозможные правительственные награды. Им завидовали действительно талантливые люди искусства, которым приклеивали ругательный ярлык «абстракционист» и которые из-за преследований в лучшем случае смогли эмигрировать. Но чаще всего, поскольку они нигде не могли найти работу, то становились безработными, другими словами «паразитами», а таких приговаривали к принудительным работам в лагерях или ссылали в Сибирь, за Полярный круг, или же немедленно, без учёта возраста и здоровья, призывали на военную службу.

Всё это полностью отражает тот факт, что партия поручила руководство культурой неотесанным, бескультурным, грубым и полуобразованным людям, какой, например, была недавно

умершая Фурцева, министр культуры. При оценке событий в искусстве они руководствуются следующими диктуемыми сверху директивами, которые разрабатываются партийными идеологами и официальными критиками: 1) смешиваются понятия реализма и натурализма; требуется, чтобы художники и скульпторы фотографически точно отражали действительность; любая попытка выразить личное отношение, собственное восприятие предмета тут же порицается, как опасный субъективизм, как идеализм; 2) требуется, чтобы все произведения искусства были понятны и доступны полуграмотным народным массам; забывается, что народ нужно сначала воспитать в плане понимания искусства, поднять его культурный уровень до уровня искусства, а не наоборот опустить искусство до народного уровня; 3) представляют поиски представителями абстрактного искусства новых средств выражения, которые соответствовали бы атомной и космической эпохе с её микро– и макромирами и отвечали бы ритму технической цивилизации, как простой анархический протест мелкобуржуазных, взбалмошных интеллектуалов против академизма; 4) в конечном итоге произведение искусства оценивается в политическом, идеологическом или национальном плане, в зависимости от того, кто его автор.

ЯНОУХ: Я думаю, что главной целью нашего диалога является попытка понять, каким было твоё мировоззрение и почему оно со временем изменилось. В этом плане ты не ответил на мой вопрос, какими были твои взгляды на современное искусство в 30-е годы и после Второй мировой войны: я имею в виду твою собственную, внутреннюю, а не официальную позицию. В одной дискуссии в 1946 году в Праге ты заявил следующее: «Я не верю, что так называемое модернистское, точнее сказать формалистическое, искусство может найти положительный отклик в социалистическом обществе. Я считаю его продуктом капиталистического общества, особой формой бунта и протеста против извращений империализма, бегством от ужасной действительности в придуманное королевство чистых форм. Советское искусство уже давно справилось с этой детской болезнью».

КОЛЬМАН: Эта цитата характеризует не только мою, как ты говоришь, официальную позицию, но и моё внутреннее отношение к модернистскому искусству в те годы, поскольку для меня тогда не было различия между ними. Я просто, без какой-либо критической оценки и при самом поверхностном понимании искусства вообще, и особенно модернистского, принял партийную позицию, как мою собственную, личную, как я, впрочем, тогда

относился к большинству идеологических и политических проблем. Только в 50-е годы, после процесса Сланского, у меня открылись глаза и я получил возможность познакомиться в парижском Музее современного искусства с выдающимися произведениями модернистской живописи, и тогда я начал понимать какой односторонней и несправедливой была моя тогдашняя позиция.

ЯНОУХ: Мне бы хотелось поговорить ещё о советской науке. По моему мнению, прагматизм советских руководителей не позволял относиться к науке также самовольно, как к искусству. Ведь от достижений науки зависит техника, военная промышленность, экономика и т. д. Несмотря на это, научное развитие в Советском Союзе отстает от Запада, хотя там тратятся колоссальные средства на науку. Большинство новых крупных и принципиальных открытий в физике, химии, астрономии, биологии, медицине, как и в области технологий, сделаны на Западе, а не в Советском Союзе. Чем это можно по твоему мнению объяснить? Вряд ли это можно объяснить только технической отсталостью лабораторий, бюрократизмом управленческого аппарата, ограниченными возможностями дискуссий и отсутствием зарубежных контактов.

КОЛЬМАН: Здесь нужно провести различие между общественными и естественными науками. Представители социальных наук – экономисты, историки, философы, социологи, юристы, демографы и этнографы, психологи, педагоги и другие – все они подвергаются той же предвзятой, придирчивой, уничтожающей партийно-политической цензуре, также как и писатели, и разделяют их неприглядную судьбу. Немного по-другому обстоит дело с естественными и техническими науками. Только потому, что в каждой из них только философски-логические основы и мировоззренческие тезисы могут находиться под воздействием материалистического или идеалистического, диалектического или метафизического мышления, в то время как преобладающая часть их содержания представляет собой вечные истины. И тем более потому, как ты это подчёркиваешь, что без прогрессивной естественной науки и техники даже социалистические страны, как впрочем и все другие, не смогут успешно развиваться. Их власть предержащие нуждаются в учёных, но в то же время они их боятся. Они вынуждены предоставлять им какую-то, хотя и ограниченную и контролируемую, свободу исследований: доступ к достижениям западной науки, к зарубежной научной литературе, к международным конгрессам, (разумеется, не без регулярных, превентивных «инъекций» против разлагающего влияния

западных демократических идей), а также относительно свободный выбор объекта исследований.

При этом все научные институты, начиная с Академии наук, как и все ВУЗы, строго контролируются службой безопасности и аппаратом Центрального Комитета партии. Тщательно следят за тем, чтобы все работающие там были идеологически дисциплинированы, и чтобы эти учреждения выполняли все директивы партии. Каждому идеологически или политически ненадежному учёному сразу же ограничивают карьерные перспективы, а его работы, как правило, не публикуются, даже если они по тематике не имеют никакого отношения к идеологии или политике. Это мне отлично известно по собственному опыту. После того, как в 1968 году я открыто заявил, что социализм нигде в мире, то есть даже в Советском Союзе, еще не осуществлен, по телефонному звонку из аппарата Центрального комитета было запрещено публиковать даже несколько строк из моих работ, пусть самых безобидных, будь это о теории относительности, об истории математической логики, о философской интерпретации сегодняшней физики или о проблематике бесконечности.

В результате такой политики, наука и техника в Советском Союзе и его странах-сателлитах стала всё более отставать от Запада. Как член Научного совета по кибернетике в Президиуме Академии наук СССР, я точно знал, насколько далеко отстала советская компьютерная техника от американской. И всё это несмотря на то, что значительная часть научных открытий, в особенности технических изобретений, старательно и сомнительными путями заполучалась из загнивающего капиталистического мира. Научные исследования не терпят никакой опеки. Настоящий учёный должен служить только истине, а не какому-либо правительству, тем более диктаторскому; он не может быть чиновником.

ЯНОУХ: Давай ещё раз вернёмся к истории. Одной из самых тёмных и позорных страниц в отношениях между наукой и идеологией в Советском Союзе было вмешательство и директивное руководство в сфере естественных наук (разумеется, не только в них). Я полагаю, что неверно считать одного Сталина главным виновным. Ещё Ленин высказывал авторитарные суждения и интерпретации новейших исследований естественных наук (например, в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм»), а еще ранее это делал Энгельс, который в своей работе «Диалектика природы» выступал как неоспоримый эксперт во всех сферах жизни и таковым продолжал считаться и в Советском Союзе. Может быть, идеологизация науки в Советском

Союзе в 1930–1950 гг. была ничем иным, как «аналитическим продолжением» марксистской практики, когда марксизм стал неприкосновенной государственной философией, которую уже больше нельзя обсуждать? Разве Сталин, как и вы все вокруг него, не руководствовался позицией Ленина, его тоном, категоричностью его суждений?

КОЛЬМАН: Если у тебя создалось впечатление, что я хочу всю вину свалить на одного Сталина, то это не верно. Ты совершенно прав, что уже Энгельс и Ленин идеологизировали всё, в том числе и естественные науки, и подчинили их соответствующим политическим потребностям. И еще: марксизм всегда выдавал и продолжает выдавать себя за единственную, непогрешимую истину в последней инстанции. Хотя Ленин категорически подчеркивал, что в связи с изменениями в обществе и с научными открытиями марксистские тезисы нужно будет поменять на другие, и что признание этого не является ревизионизмом, но на практике всё оставалось и остается по-другому.

В каждом конкретном случае, когда кто-то хочет улучшить, усовершенствовать или заменить устаревшую или совершенно неверную марксистскую доктрину более правильной, это объявляется отклонением и отвергается. Когда марксизм стал в Советском Союзе государственной доктриной и партийному руководству показалось, что некоторые тезисы естественных наук или даже целые научные отрасли, например, психотехника, генетика, кибернетика, наносят вред его интересам, они были объявлены лженауками, американской ловушкой-западнёй и отвергнуты. А у Сталина к этому прибавилось ещё болезненное, преступное самообожествление.

ЯНОУХ: Разве советское руководство, или хоть кто-нибудь из его членов, не понимали (я говорю о 30– 50-х годах), что такое идеологическое вмешательство и командование только ослабляет советское государство? Ведь уже тогда наука стала очень важной производительной силой. Не возникла ли по этой или другой причине какая-либо оппозиция, пусть даже временная, против такого вмешательства? Если такая была, то участвовал ли ты в ней? Если нет, то почему? Из страха или из оппортунизма?

КОЛЬМАН: Сначала я должен кое-что уточнить: речь идет не о трех десятилетиях, а только о 30-х годах, когда я своими статьями неумышленно помог сталинским преследованиям советской науки. В то время вообще не было и речи о какой-нибудь оппозиции. Я не намерен оправдывать мою тогдашнюю позицию, но ради истины должен добавить, что я не только никогда не выступал против теории относительности или против

квантовой механики, которые осуждались официальной философией, как реакционные, а выступал в их защиту, также как позднее я был первым, кто в СССР выступил в защиту кибернетики.

ЯНОУХ: Как ты оцениваешь сегодня свои статьи, в которых ты выступал против применения статистики и математики в биологии, медицине и т. д.? И при этом ты вёл острую борьбу, и даже сейчас, когда я читаю некоторые твои статьи, мой разум отказывается понимать их. В отличие от других философов, которые совсем ничего в этом не понимали, ты же сам математик. И потом разве Маркс сам не выступал за математизацию политической экономии? Писал ли ты эти статьи по собственному желанию и, исходя из твоих убеждений, или это было поручение партии или инициатива высших инстанций?

КОЛЬМАН: Ты же читал мои воспоминания «Мы не должны были так жить», поэтому ты знаешь, что я открыто и очень резко осуждаю эти статьи. Однако я должен подчеркнуть, что я не выступал против применения статистики и математики в биологии или где-то еще, а всегда указывал на то, что статистические и математические методы являются лишь вспомогательными средствами, что их нужно применять только основательно понимая биологию и другие науки, так как эти методы не могут их заменить. То, что мои статьи такие острые, в этом виноват мой характер. Разумеется, я писал их по своему честному убеждению, без какого-либо приказа или указания сверху; может быть имитируя позицию Сталина и партийного руководства в отношении таких отклонений, как в случае с Покровским.

ЯНОУХ: В некоторых твоих статьях (я приведу только характерные заголовки из твоих более чем 500 публикаций: «Вредительство в науке»,1930 г., «Против новейших открытий буржуазного обскурантизма»,1933 г., «Черносотенные бредни фашизма и наша медико-биологическая наука» 1936 г., «Против псевдонауки», 1938 г. «Сталин и наука» 1939 г., «Путешествие профессора Ландау к потомкам», 1941 г.) ты пишешь о контрреволюционных научных публикациях. Разве не ясно было, что их авторы по тогдашним понятиям должны были рассматриваться как контрреволюционеры, со всеми вытекающими отсюда страшными последствиями? Не чувствуешь ли ты после стольких лет личную ответственность за судьбу этих людей? Не чувствуешь ли ты себя в статье «О кризисе советского общества: Открытое письмо Брежневу» не участником, а иногда, может быть, даже инициатором таких погромов против науки и учёных?

КОЛЬМАН: Моя статья о Ландау не имеет ничего общего с другими перечисленными тобой. Я помню, что в ней я критиковал непозволительное смешение профессором Ландау специальной и общей теорий относительности; это ошибка, которую делают многие; при этом можно, якобы, получить возможность предсказывать будущие события. Эту мою критику я поддерживаю даже сегодня.

Тем более я осуждаю себя за остальные и другие, подобные им статьи. Конечно, в критикуемых мной работах были ошибочные формулировки, авторы которых намеренно или ненамеренно противопоставляли себя марксизму. А вот называть их контрреволюционными стало моей тяжелой виной. Это больше, чем вина: это было несчастье, это была не только моя личная трагедия, но и трагедия всего поколения революционных интеллектуалов, к которому я себя отношу. Мы были твердо убеждены в том, что наша позиция необходима для пролетарской революции, мы сделали из Коммунистической партии фетиш, каждое слово партийного функционера было для нас безусловным законом, Сталин, этот преступник и психопат, был для нас непогрешимым гением. Так что мы задолго до того, как попали непосредственно в когти палачей, стали их жертвами, их слепыми пособниками. Это, конечно, не умаляет мою личную ответственность за преступления того времени, хотя я могу с чистой совестью утверждать, что я никогда не был участником или тем более инициатором каких-либо гонений на кого-либо. Конечно, было немало таких, кто с помощью доносов устранял со своего пути более талантливых конкурентов, обеспечивая себе карьерный рост; но в их число я не входил. А для большинства, как я уже сказал, неосознанная причастность к сталинским преступлениям была страшной трагедией. Те же, кто сегодня этого понять не могут или не хотят, кто злорадно смакует наши прежние поступки, все они судят поверхностно и просто злые люди. Кроме того, те, кто объявляет себя строгими обвинителями и судьями, в те годы закрывали глаза на преступления сталинизма.

О кризисе советского общества: Открытое письмо Брежневу

ЯНОУХ: Твоё «Открытое письмо Брежневу» вызвало на Западе значительные отклики. Понятно, что не часто сталкиваешься с таким поступком 84-хлетнего человека, который почти 60 лет участвовал в коммунистическом движении. Однако твоё письмо мало комментировалось в западной коммунистической печати, и

почти не комментировалось в партиях, которые привержены идеям еврокоммунизма. Не говоря уже о различных неосталинистах, которые, конечно, считают тебя предателем и перебежчиком. Но также некоторые левые круги на Западе считают преувеличенным твоё сравнение советского империализма с американским.

КОЛЬМАН: Было бы настоящим чудом, если бы на меня не нападали с разных сторон. Мы ведь живём в мире ожесточённой политической и идеологической борьбы. Ты забыл назвать ещё кое-кого – несколько разновидностей антисоциалистов, которых моё письмо не удовлетворяет.

То, что еврокоммунистическая пресса предпочла не высказываться в отношении моего письма, я объясняю себе тем, что руководители соответствующих партий не хотели бы по своей инициативе раздувать конфликт с КПСС. Этот конфликт всё более обостряется после Берлинской конференции; видимо, они хотели передать в дальнейшем инициативу опытным инквизиторам из КПСС, которые начали «проработку» в международном масштабе уже на конференции в Софии.

Я не ставлю в один ряд агрессивную великодержавную политику СССР и империалистическую политику США; они различаются по своей экономической и социальной сущности и также частично по своим методам.

Я только подчёркиваю, что их цели в конечном итоге одинаковы (хотя они и маскируются с помощью различной фразеологии): это завоевание как можно большей части мира или, по крайней мере, порабощение как можно большей его части.

ЯНОУХ: Но, несмотря на это, догматические марксисты и неосталинистские круги на Западе (и даже некоторые из твоих бывших друзей) после публикации твоего Открытого письма Брежневу и твоих интервью стали считать тебя антисоветчиком. Насколько верна, по-твоему, такая оценка и критика? Может быть, это просто следствие широко распространенного в сегодняшней Чехословакии мнения, что коммунистические убеждения и марксистское мировоззрение нужно оценивать на основании отношения к Советскому Союзу; и что отношение к Советскому Союзу – это пробный камень для каждого коммуниста.

КОЛЬМАН: Ничего другого и нельзя было ожидать, так как советские власти уже давно стали использовать такую тактику. А в действительности именно они постоянно предоставляют антисоветчикам весомые аргументы для их пропаганды, демонстрируя как во внутренней, так и во внешней политике своё

истинное лицо угнетателя и агрессора.

Что касается меня, то я провожу чёткое различие между идеей советской системы, другими словами, идеальным советским государством и тем, чем СССР фактически стал в результате политики своих руководителей. Идентификация этих двух диаметрально противоположных понятий приводит антисоветчиков к тому, что они всю вину за противоречия между сегодняшним советским режимом и идеей советской системы приписывают последней. А в тоже время эта идентификация приводит догматических членов коммунистических партий к выводу, что они приписывают фактической, сегодняшней отвратительной советской системе свойства идеального советского общества. Советские власти объявляют Советский Союз страной зрелого социализма. Однако насколько зрелым является этот социализм, и, вообще, о каком социализме может быть речь в стране, в которой:

1) вместо обобществления лишь важнейших средств производства, все средства производства, даже самые мелкие, принадлежат государству. Поэтому трудящиеся – рабочие, техники, инженеры, крестьяне – никак не могут влиять на своих руководителей, на их производственные планы, на оценку результатов, и на цены на произведенные товары, и должны выполнять только то, что им диктуется сверху;

2) нет свободных выборов, а только лишь одобрение составленных наверху списков кандидатов;

3) ограниченное по времени выполнение политических функций превратилось в пожизненную привилегированную профессию;

4) любая не одобренная наверху критика считается государственным преступлением;

5) существует только одна единственная политическая партия, члены которой не могут влиять на партийно-государственную политику. Последняя определяется не партсъездами, не Центральным комитетом или Политбюро, а единолично генеральным секретарём; это партия, в которой не проводятся дискуссии, не допускается существование ни фракций, ни оппозиции;

6) параллельно с государственным аппаратом есть ещё вышестоящий партийный аппарат, который не несет даже фиктивной ответственности, как государственный аппарат, перед выбранными советами;

7) нет свободы собраний; разговоры только трёх человек, даже в семье, могут рассматриваться, как недозволенная организация, если там, к примеру, рассказывают безобидные

политические анекдоты;

8) нет свободы слова; если какой-то запутавшийся член партии на закрытом партийном собрании осмелится задать какой-нибудь щекотливый вопрос, его будут преследовать, как скрытого врага;

9) о свободе прессы не может быть и речи; все газеты, журналы, вся как художественная, так и научная литература подлежат цензуре и должны соответствовать действующим в это время политическим и идеологическим директивам;

10) нет правдивой информации о важных политических событиях; вместо этого официально распространяется ложная информация и полуправда, глушатся многие иностранные радиостанции;

11) есть только одна государственная доктрина, а именно, догматически искаженный марксизм, которая вбивается в головы, начиная с детского сада, затем в средней и высшей школе, в средствах массовой информации, кинофильмах и театрах;

12) государство вмешивается в вопросы религии, запрещая религиозное преподавание, даже частное; поддерживает одну единственную церковь – православную, если она ему исправно служит; преследует христианские секты, закрывает церкви, молельные дома, синагоги, мечети.

13) запрещены браки с иностранными гражданами, что достигается с помощью угроз, увольнения с работы; подвергаться преследованиям могут даже родители вступающих в брак и т. п.;

14) контролируется частная переписка, подслушиваются телефонные разговоры, и за гражданами следит разветвленная сеть платных и добровольных осведомителей секретной полиции КГБ, также и с использованием электронных «жучков»;

15) колхозники не имеют права без согласия председателя колхоза выходить из колхоза или переселяться в город;

16) выезд советских граждан за границы страны ограничен; они не могут свободно выехать из страны, и даже желание эмигрировать рассматривается как преступление;

17) любое общение советского гражданина с иностранцем рассматривается как запрещенная деятельность;

18) господствует атмосфера страха, скрытности, лицемерия, недоверия, рабской психологии;

19) стремление держать всё в тайне заходит так далеко, что на многие публичные мероприятия разрешен вход только по пропуску; что телефонов и адресов иностранных посольств нет в адресных книгах, и ещё многое другое;

20) многие нации и национальности в СССР лишены политической, культурной и экономической самостоятельности,

не говоря уже о праве на самоопределение, фактически ими руководят русские; корейцы, крымские татары, волжские немцы, чеченцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, балкарцы, курды и кавказские греки были депортированы со своей родины в те регионы, где большинство их погибло; а эстонцы, литовцы, латыши и украинцы (особенно западные украинцы), народы Кавказа и Средней Азии были лишены свободы;

21) под прикрытием борьбы с сионизмом и космополитизмом государство распространяет антисемитизм; евреи подвергаются дискриминации;

22) инакомыслящих, которые осмеливаются протестовать против извращения советской политики, будь в форме демонстраций, или только петиций за освобождение политзаключенных, зачастую помещают как националистов и верующих, без открытого суда и следствия, в тюрьмы, концлагеря и сумасшедшие дома, или депортируют в отдаленные регионы;

23) юстиция полностью зависит от партийно-государственного аппарата, а уголовное право не делает разницы между политическими и уголовными преступниками;

24) забастовки строжайше запрещены и подавляются с применением оружия;

25) профсоюзы полностью подчинены партийно-государственному руководству и защищают интересы не трудящихся, а государства;

26) вместо того, чтобы повышать уровень жизни населения, который значительно ниже западноевропейского, огромные средства тратятся на содержание гигантского аппарата тайной полиции – КГБ, армии, на которые опираются антинародные диктаторские режимы в ГДР, Польше, в оккупированной Чехословакии и в Венгрии, на военные базы за рубежом, на создание новых видов оружия массового уничтожения, на растущую гонку вооружений;

27) пропаганда досрочного выполнения плана заставляет трудящихся работать на износ, а значительная часть прибавочной стоимости, создаваемой ими, достаётся партийно-государственной бюрократии;

28) этой новой эксплуататорской касте предоставляются роскошные квартиры и дачи, она обеспечена специальным снабжением продуктовыми и промышленными товарами, безвозмездно пользуется транспортными средствами, лечится в элитных больницах и домах отдыха, причём всем эти пользуются также и дальние родственники партийных чиновников;

29) коррупция, подкуп, протекционизм, кумовство поразили все слои общества (от водопроводчика до председателя совета

союзной республики);

30) пьянство и хулиганство, особенно среди молодёжи, стало постоянно растущей грозной опасностью для общества.

Я только что перечислил множество тех характерных черт советского общества (может быть, я что-то и упустил), каждая из которых не совместима с демократическим социализмом – а никакого другого социализма и быть не может! Но, несмотря на это, я положительно оцениваю существование Советского Союза. Он является бастионом как против дальнейшего роста эксплуатации в капиталистических странах, так и против хищнического характера империализма; бастион не потому, что он проводил антиимпериалистическую внешнюю политику, а, напротив, именно потому, что он сам участвует в насильственном разделении мира на сферы влияния.

Я приведу несколько фактов: в Советском Союзе нет массовой безработицы (но при этом есть много людей, которые не могут найти себе работу, так как им по политическим или национальным причинам не разрешают работать по своей специальности, или предлагаются рабочие места в отдаленных малоразвитых регионах); там все трудящиеся получают пенсию по старости, болезни или инвалидности (низкие пенсии, которые получают колхозники и неквалифицированные рабочие намного ниже прожиточного минимума, в то время, как высокопоставленные чины обеспечены пенсиями, которые позволяют им вести роскошный образ жизни); советские граждане могут дать своим детям образование (только для евреев, как и прежде при царизме, определена особая квота среди студентов высшей школы); всем гарантировано медицинское обслуживание (причем его уровень очень низок и лекарств не хватает, и они стоят дорого); женщины имеют равные права с мужчинами в тех же профессиях, и работают за равную зарплату и в равных условиях (при этом им приходится трудиться еще и по дому). Всё это, несмотря на приведенные здесь недостатки, которые действуют, как ложка дёгтя в бочке мёда, приводит к тому, что предприниматели в капиталистических странах из страха перед революционным переворотом, который лишит их власти, теперь вынуждены делать значительные уступки экономическим и социально-политическим требованиям трудящихся.

Советский Союз – это чрезвычайно мощная военная держава с огромной армией, которая в изобилии оснащена самым современным оружием массового уничтожения, ракетами, танками, водородными бомбами, самолетами, обладает неисчерпаемыми человеческим резервами, громадным флотом, высокоразвитой военной промышленностью и обширным тылом,

который привык терпеть нужду. Советский Союз, как таковой, мешает притязаниям и попыткам США и Китая подчинить себе экономически и политически другие самостоятельные страны на различных континентах. И это не потому, что советское руководство преследует гуманные, миролюбивые, действительно социалистические цели, и не потому, что оно серьезно стремится к разрядке и мирному сосуществованию. Напротив, его цель такая же, как у его главных соперников, двух других сверхдержав, США и Китая, а именно – завоевание, агрессия, аннексия.

Эта цель сегодняшней внешней политики Советского Союза была уже заложена в ленинском лозунге мировой революции – а именно, распространение коммунистического режима на весь мир. Различие между 1917 годом и сегодняшним днем является, во всяком случае, существенным по двум причинам: 1) тогда большевики верили, что Октябрьская революция вызовет цепную реакцию в Германии и во всей Европе; экспорт революции Ленин теоретически и категорически отрицал (однако на практике уже тогда были срывы, как например поход на Варшаву); 2) Ленин постоянно подчёркивал, что после победы социалистической революции построение социализма в каждой отдельно взятой стране произойдёт по своим собственным законам, которые должны соответствовать историческим традициям и достигнутому экономическому и культурному уровню; и только лишь основные марксистские принципы социализма – обобществление средств производства и фактическая реализация прав всех трудящихся активно участвовать в управлении обществом – должны действовать во всех социалистических государствах. Но и в этом вопросе практика отошла от теории: на Украине, в Белоруссии, в Средней Азии с самого начала был точно такой же режим, как и в России.

Но стихийная революция так и не свершилась; вместо неё наступила эпоха войн, революций и фашистских переворотов, та эпоха, в которой мы живём. И советские диктаторы осуществляют (или, во всяком случае, стараются это делать) насильственное введение социализма по советскому подобию. Советский Союз напрямую оккупировал в Европе 4 страны с общим населением более четверти своего собственного. У СССР есть военные базы в Азии и Африке и он поддерживает каждый режим и каждое политическое движение, неважно прогрессивное ли оно или реакционное, только при условии, что за это он сможет реализовать свои агрессивные планы. Аппетиты советских руководителей были прямо-таки безграничны. Они мечтали вооруженным путем объединить оба германских государства, завладеть всеми балканскими странами, распространить свою

власть на всю Европу, заполучить верных и послушных вассалов на Ближнем и Дальнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

Реакционная роль Советского Союза в Восточной Европе хуже, чем подобная реакционная роль США в Латинской Америке. Невозможно провести различие между тремя супердержавами – США, Советским Союзом или Китаем и определить, кто же из них самый страшный враг человечества. Но все они одинаково опасны, одинаково хищны, одинаково нахальны и коварны. К этому я хотел бы добавить две вещи: 1) существование Советского Союза в сегодняшнем виде оказывает противоречивое влияние на международное рабочее движение: с одной стороны, весьма положительное – в духе старых традиций Октябрьской революции – как маяк социализма; а с другой стороны, весьма негативное, тормозящее – особенно после разоблачения Сталина в 1956 году, после оккупации Чехословакии в 1968 году – как устрашающий пример деформаций; 2) это опасное заблуждение, если, исходя из того, что Советский Союз постоянно страдает от растущих экономических трудностей и отстаёт в научном и технологическом плане от Запада, делать вывод, что его правители не посмеют развязать агрессивную войну. В истории есть немало примеров того, что диктаторские режимы прибегали к военным действиям как раз во время сильнейших внутренних кризисов, чтобы отвести внимание от нарастающих внутренних конфликтов.

ЯНОУХ: И вдруг теперь, почти два года спустя после конференции в Хельсинки в 1975 г., вопрос о нарушении прав человека внезапно попадает на первые полосы газет. Это ведет к ухудшению отношений между Востоком и Западом. Я считаю такое развитие правильным и полезным. С борьбой за права человека дело обстоит также как и с борьбой с эпидемиями или с загрязнением окружающей среды: это проблема международная, глобальная. Если человечество хочет выжить и обеспечить себе приемлемые условия жизни на нашей планете, то нужно совместно решать целый ряд проблем. Однако такой подход и такое сотрудничество вряд ли будут возможными и эффективными, если в международных отношениях не будет господствовать атмосфера доверия и взаимопонимания. Но нарушение прав человека и гражданина связано с ограничением свободы информации; и это неизбежно приводит к атмосфере подозрительности: каковы действительные намерения того или другого антагонистического государства? Чего оно добивается? И это только один отдельный пример возможных взаимосвязей.

КОЛЬМАН: Я полностью и безоговорочно согласен с тем, что ты сказал. Это не только засекречивание правдивой информации

или её искажение, но и нарушения всех других прав человека, как это практикуется в Советском Союзе и других странах восточного блока. Важнейшие из этих нарушений приведены в манифесте «Хартия 77», опубликованном в январе 1977 г. в Чехословакии, и подписанным, несмотря на полицейские преследования, более 700 гражданами из всех слоёв населения. Речь идёт о свободе слова, о свободе печати, о свободе от страха, о праве на образование, о праве на защиту от нападения на честь и совесть граждан, о свободе религии, о свободе создавать объединения, о праве на участие в руководстве общественными делами, о свободе частной и семейной жизни, о соблюдении тайны переписки и телефонного общения, о праве на свободный выезд из страны и т. д. Само собой разумеется, что от правительств, которые лишают своих собственных граждан этих прав и свобод, дискриминируют их различными способами, лишают их возможности работать по специальности, следят за ними и заключают их в тюрьму, нельзя ожидать доброжелательного отношения к другим государствам и их гражданам. Для них все международные договоры о гражданских и политических правах, которые они торжественно подписали, только клочки бумаги; разрядка и сосуществование – только пустые фразы. Поэтому необоснованным и лживым является тезис о том, что требование соблюдения прав человека и гражданина – это вмешательство во внутренние дела другого государства. К тому же, это бесстыдный и лицемерный тезис, потому что его защищают те, кто на четырёх континентах и также в восточно-европейских странах с помощью танков сами вмешиваются во внутренние дела народов. Не говоря уже о подрывной деятельности Главного разведывательного управления и Комитета государственной безопасности СССР, и о не прекращающейся лживой идеологической пропаганде во всем мире.

ЯНОУХ: Как ты оцениваешь тактику Запада по отношению к социалистическим странам? Правильна ли она? По этому вопросу много самых различных мнений. Одни (например, Солженицын или Буковский) считают, что торговля с этими странами только укрепляет их тоталитарные режимы, и поэтому фактически призывают к полному бойкоту экономических отношений с этими странами, такому как, например, бойкот Родезии или ЮАР. Другие убеждены в том, что даже неполноценная разрядка лучше, чем холодная война, что она в перспективе может привести к некоторому прогрессу также и в области прав человека и поэтому можно закрыть глаза на многие негативные явления и обойти их молчанием. Я лично считаю, что позиция Буковского и некоторых других диссидентов нереалистична. Ведь природа

капиталистического мира основана на прибыли, на экономических привилегиях, конкуренции; это главные критерии капиталистического общества. Поэтому полный бойкот такого привлекательного рынка, каким является Советский Союз и Восточная Европа, вряд ли удастся осуществить. Всегда найдётся кто-то, какая-нибудь фирма или государство, которые захотят решить свои внутренние проблемы путем торговли с Востоком. Запрещение такой торговли означало бы, что в этих странах может наступить такая же, или подобная, атмосфера несвободы, против которой, собственно, и были направлены эти шаги. Я также считаю, что полный разрыв торговых отношений с Востоком мог бы привести к возрождению холодной войны, к разрыву культурных связей и гуманитарных связей – это имело бы катастрофические последствия для внутреннего положения в странах восточного блока. Я в общем-то не считаю, что ситуация в советских тюрьмах будет ухудшаться и что свобода советских граждан будет все более ограничиваться. Почитай «Архипелаг Гулаг» и сравни его с высказываниями сегодняшних заключенных. Конечно, здесь могут происходить неожиданные перемены, и ситуация может временно меняться то в худшую, то в лучшую стороны. Но разве не факт, что в настоящее время в СССР уже не казнят политзаключенных, что власти вынуждены, по крайней мере, инсценировать судебные процессы, и что они учитывают, как видно на примере Ленинградского процесса или обмена Буковского на Корвалана, международное общественное мнение? Если бы я хотел наглядно сравнить советский режим сегодня со сталинским террором, то я бы сказал, что сегодня число политических заключенных в Советском Союзе измеряется десятками тысяч в год, в то время как число ежегодных жертв сталинского режима, число физических жертв, т. е. уничтоженных, исчислялось в сотнях тысяч. И это обстоятельство должно определять, по моему мнению, тактику Запада: она должна быть принципиальной (насколько это вообще возможно исходя из существа западного общества), но также достаточно гибкой, чтобы исключить худшее и это значит, превращения холодной войны в вооруженную, ядерную войну со всеми фатальными для всего человечества последствиями.

КОЛЬМАН: Тут при всем моем желании я не могу с тобой согласиться по некоторым, а именно самым важным пунктам. Разумеется, ты прав, что прибыль, а не мораль, не гуманные мотивы доминируют в политике капиталистических фирм и государств. Также нет сомнения и в том, что сегодняшнее положение в Советском Союзе несравненно мягче, чем во времена Сталина. И кто будет возражать, что западная тактика должна

быть хотя и жестко принципиальной, но при этом достаточно гибкой? Однако всё другое, что ты сказал, вызывает у меня серьезные сомнения.

Так ли это, что неполноценная разрядка может привести к прогрессу в борьбе за права человека? Но где же, ради Бога, этот вид разрядки? Где, на земле, под или над землей можно её найти? Может быть, ты имеешь в виду усовершенствование советских ракет, строительство американских спутников-убийц, проникновение Советского Союза вглубь Африки или расширение НАТО на южно-атлантический регион? Мой разум слишком ограничен, чтобы понять, каким образом это могло бы способствовать гарантированию прав человека, будь то в Чили, в Чехословакии или же в Родезии.

Далее, я полностью согласен с Буковским, когда он торговлю с Советским Союзом, и особенно предоставление кредитов и научно-технической помощи называет вмешательством в его внутренние дела. Я рассматриваю это вмешательство, как несравненно более сильное и эффективное, чем то, которое выражается в декларациях о желании и дальше выступать за соблюдение прав человека и гражданина. Не только потому, что такое вмешательство укрепляет тиранию в её борьбе против инакомыслящих, а, главным образом, потому, что оно помогает расширить и ускорить вооружение и подготовить третью мировую войну. Мнимое и чисто словесное вмешательство с требованием соблюдения прав человека не могло бы превратить сегодняшнюю разрядку в холодную, а затем и в горячую войну. Только действительное, эффективное вмешательство, путем материальной поддержки тоталитарных режимов, могло бы привести к апокалипсическому концу света.

Я считаю, что те круги на Западе, которые боятся краха сегодняшней мнимой разрядки и поэтому легко закрывают глаза на многие негативные явления в Восточном блоке, молчат, руководствуясь тремя ложными соображениями:

1. «Многие негативные явления» – это не мелочь, как может так поверхностно судить некто, удобно расположившийся с сигарой в мягком кресле, за чтением утренней газеты, но эти явления – ужасная судьба десятков тысяч людей, которые томятся в тюрьмах, лагерях, сумасшедших домах, чье человеческое достоинство ежечасно попирается, а их семьи влачат жалкое существование. Правда, сегодня нет казней политических заключенных (хотя это трудно утверждать с полной уверенностью). Нельзя также предположить возвращение к сталинскому массовому террору, который, как опасаются советские правители, мог бы обернуться против них самих. Если

бы так произошло, то «железный занавес» мог бы снова полностью изолировать Советский Союз от Запада. Однако если власти от случая к случаю должны будут в чем-то уступать (под давлением Запада!), то это совсем не означает, что репрессии не увеличатся. Ведь это факт, что мы почти каждый день узнаем о новых арестах в различных уголках Советского Союза (а сколько их утаивается!), об угрозах в адрес Сахарова, о преследованиях в Праге и Варшаве.

2. Неверно, хотя это часто делается, смешивать краткосрочную политику с долгосрочной. Я не отрицаю, что первая может принести временную выгоду и не только капиталистам, но и трудящимся: торговля с Советским Союзом может ощутимо увеличить занятость населения, сократить безработицу. И могут быть такие ситуации, когда подобная политика может укрепить какую-либо прогрессивную партию в её борьбе против консервативной партии. Но, несмотря на всё это, существует огромная опасность, что те, кто проводит и поддерживает краткосрочную политику, не замечают по своей близорукости или даже слепоте непоправимый ущерб в будущем. Гибкость слишком легко может сломать хребет принципиальности.

3. Психология властителей Советского Союза оценивается крайне ошибочно. Среди диктаторов есть и кровожадные «ястребы», которые пытаются демонстрировать свою силу. Каждую уступку партнера они расценивают как слабость, становятся более наглыми и выставляют всё больше требований. Все, к сожалению, выглядит так, что Запад пойдет на уступки советским властям, а также Югославии и Румынии, и что в Белграде третья корзина хельсинского Заключительного Акта будет исключена. Запад, таким образом, подпишет, если не собственный смертный приговор, то, во всяком случае, согласится со своим порабощением.

И вот что ещё: западные страны уже давно применяют запрет на импорт различных товаров, которые объявляются стратегически важными. Этот запрет не ведет к удушению господствующей у них парламентской демократии, плюрализма, к ограничению, гражданских прав и прав человека.

Почему запрет на экспорт зерна, другими словами, включение зерна и других видов продовольствия в список стратегически важных товаров (чем они в действительности и являются!), не превращает США и Канаду в тоталитарные режимы? Не стимулировал бы, наоборот, такой временный запрет, советских руководителей к либерализации общества? Непременно, ведь им не осталось бы ничего другого.

Поэтому здесь не идёт речь об абсолютном бойкоте торговых отношений Запада с Востоком, а только об условном бойкоте: Условием стало бы строгое соблюдение прав человека, и я хотел бы еще добавить: условием стало бы двустороннее сокращение вооружений. По моему мнению, несправедливо приписывать Буковскому идею безусловного бойкота; он, как я думаю, не является, как и я, врагом СССР, он стремится не к уничтожению Советского Союза, а к отмене господствующей там человеконенавистнической системы.

ЯНОУХ: Не противоречит ли сказанное тобою твоему марксистскому Я? Считаешь ли ты, что капиталистические страны действительно могут быть заинтересованы в том, чтобы Советский Союз превратился в демократическую, свободную систему? Подумай логично: если гражданские и человеческие права в социалистических странах будут значительно строже соблюдаться и реализовываться, тогда эта общественная модель станет гораздо более привлекательной (подумай только о гарантированной социальном обеспечении и безопасности, об обобществлении средств производства и т. д.). Если западные страны действительно могли бы заставить Советский Союз осуществить такие перемены, то таким образом они сами бы отпилили «тонкий и гнилой» сук, на котором они сидят.

КОЛЬМАН: Такие мысли я могу только приветствовать. Из них следует вывод, что как бы ни вели себя капиталистические страны, то есть будут ли они бойкотировать торговые отношения с Советским Союзом или, наоборот, развивать их, Советский Союз рано или поздно пойдёт по пути демократизации. Таким образом, превратившись в гуманное, социалистическое государство, он станет катализатором для ускорения перехода к социализму также и в капиталистических странах. Поэтому здесь идет речь об объективном историческом процессе, в котором субъективные намерения капиталистов хотя и не могут остаться без внимания, однако не будут решающим фактором.

ЯНОУХ: Поскольку ты защищаешь точку зрения, что Советский Союз способен к внутренней эволюции и к глубокой общественной трансформации, и я верю, что это твоя точка зрения, не имели бы такие изменения больше шансов в атмосфере постепенного «открывания»тия закрытого советского общества (свидетелями которого мы являемся уже двадцать лет), в атмосфере постоянного роста культурных, научных, технологических и торговых отношений? Советские граждане сегодня знают всё больше и могут также всё больше (сегодня, к примеру, глушится только «Радио Свобода»; мог бы ты в 50-е годы представить себе существование Сахарова или выставку

модернистского искусства?); это же всё должно повлиять на политику советского руководства. А импорт технологии, как и ее применение в советской среде, немыслимы без определенных изменений в самой советской системе: в сегодняшней советской системе, без децентрализации и демократизации, без постоянных контактов и постоянной конфронтации с внешним миром, такая технология очень быстро зачахнет. Я думаю, что в определенных кругах советского истеблишмента это начинают понимать. И сторонники бойкота не должны также забывать, что Запад нуждается в советском сырье и источниках энергии. Эта зависимость лишь увеличится в связи с политическими затруднениями, которые ядерная энергетика испытывает на Западе.

КОЛЬМАН: Я еще раз должен подчеркнуть со всей решительностью, что из факта, что сегодняшние преследования оппозиции в Советском Союзе стали несравненно мягче, чем во времена Сталина, ни в коем случае нельзя делать вывод, как будто их из года в год становится меньше. У меня, конечно, нет статистики по политзаключенным; но даже отрывочные факты, о которых я узнал за последние десять лет моего пребывания в Москве, однозначно говорят о том, что в количественном плане ситуация постоянно ухудшается. А в качественном плане еще больше: о режиме пребывания в лагерях и сумасшедших домах их жертвы уже достаточно писали. Я также не считаю, что в Чехословакии отмечается противоположная тенденция. В тоталитарных режимах переход к «открытому обществу» вовсе не простой и не однозначный процесс.

При этом многое зависит и от темпов такого развития. Если бы речь шла только о правах человека, только о десятках тысяч страдающих людей! Тогда можно было бы, в конце концов, согласиться с тем, что Советский Союз через пару лет под воздействием торговых и культурных связей пойдет по пути демократизации. Но ведь речь идет также и о том, что советские властители никогда не отказывались от своей преступной идеи силой распространить свою диктатуру на весь мир; они все время наращивают безумную гонку вооружений.

Верно, что не только капиталистические интересы получения прибыли, но также и потребности в сырье и особенно в источниках энергии подталкивают Запад к торговле с Советским Союзом, не ставя при этом никаких политических условий. Но это же полная близорукость!

Замечания к проблеме Чехословакии

ЯНОУХ: Я хотел бы задать тебе несколько так называемых «чехословацких» вопросов. Ты пишешь в твоих мемуарах, что ты и твоё поколение заблуждались и что вы «не должны были так жить». Как ты с твоей сегодняшней позиции оцениваешь свою деятельность в Чехословакии в 1945–1948 годах? Разве ты сам не способствовал тому (хотя в отличие от многих других не с помощью насилия, кулаков или дубинок, а только с помощью своего образования, знаний, интеллекта, боевого настроя в дискуссиях), что Чехословакии силой была навязана советская модель социализма, что таким образом Чехословакия фактически стала советской колонией?

КОЛЬМАН: Я с тобой полностью согласен и не намерен оправдывать мое тогдашнее поведение (в чем я откровенно раскаиваюсь) тем, что я действовал в соответствии с моими убеждениями и будучи ослепленным, будучи убежденным, что я представляю справедливое дело, что это необходимо для достижения высоких целей. Моя вина от этого меньше не становится. С другой стороны, я не хочу притворяться и утверждать, что всё, что я тогда говорил, к примеру, в публичных дискуссиях с профессором Козаком или с Чешскими Национальными социалистами и представителями Народной партии, было неверным или что я распространял только исключительно догматические и ложные учения. Но, к сожалению, я действительно был в плену иллюзий, что Советский Союз является образцовым социалистическим государством и что сталинская версия марксизма представляет собой высшую ступень в развитии этой философии. И я, конечно, способствовал, хотя и косвенно, тому, что Коммунистическая партия Чехословакии в феврале 1948 года так легко стала господствующей партией и, следовательно, что ее сегодняшние лидеры стали выдавать советскую оккупацию 1968 года за благословение. Ещё хочу добавить, что я хотя и предостерегал моих слушателей от авторитарного мышления и требовал от них, чтобы они критически оценивали события, но, несмотря на это, я не могу отрицать свою вину.

Это ирония судьбы, или говоря скромнее: ирония моей жизни, что я в Праге в сентябре 1948 года был из-за того арестован и отправлен в Москву на Лубянку, что я обвинил Сланского[31] в том, что он проводит политику отделения от Советского Союза и КПСС (это утверждение не было безосновательным). В то время я чувствовал себя скорее советским, чем чехословацким гражданином, больше членом КПСС, чем КПЧ. И поэтому я так и поступал. И хотя я, разумеется, в моей критике Сланского не упомянул ни о шпионаже, ни о

предательстве и тому подобном (такое мне не могло и в голову прийти), сообщение об этом чудовищном процессе и о казни Сланского (1952 г.) стало тяжелым ударом для меня. Но об этом я узнал после того, как меня выпустили из тюрьмы. Ведь я же не мог быть уверенным в том, что именно те мои слова не послужили импульсом для московских руководителей! А Сланский, которого я знал не с самой лучшей стороны, разумеется, не заслужил виселицы. Он ни в коем случае не был преступником.

Я еще должен рассказать о том, что во время моего второго пребывания в Праге в 1959–1963 годах (тогдашнее партийное руководство позвало меня, считая, наверное, что Лубянка сломила меня), я резко выступал против злоупотреблений культа личности Новотного[32]. Над живописным городом всё ещё возвышалась ужасная, безвкусная, гигантская статуя кровавого преступника Сталина; в тюрьмах томились сотни невиновных, которые были осуждены на инсценированных, незаконных процессах 50-х годов; в каждом школьном классе, в каждой витрине висел портрет Новотного, этого тупого, необразованного и бессердечного человека. В моём докладе о литературе и обществе, который я прочитал в 1962 году на общегосударственной конференции чехословацких писателей, я всё это открыто и безжалостно осудил. За этим последовало личное письмо Новотного в мою партийную организацию (Института философии Академии Наук) с требованием исключить меня из партии, что ему сделать, однако не удалось: все члены партийной организации, как один, встали на мою сторону. Тогда, в 1962 году, ещё были идиллические времена; тогда ещё там не грохотали советские танки; и маленькая партийная организация могла еще осмелиться не принимать всерьёз угрозы распустить её, а членов партбюро сослать на урановые рудники (эти угрозы исходили из аппарата Центрального Комитета) и воспротивиться диктату Первого секретаря и Президента страны. Но напряженность стала расти, и я уехал из Чехословакии, сознавая, что по крайней мере частично искупил свои прежние грехи.

ЯНОУХ: Ты был воодушевлен тем, что происходило в стране в 1968 году, перед оккупацией. Считаешь ли ты как философ, подавление Пражской Весны закономерностью или случайным процессом?

КОЛЬМАН: Философия диалектического материализма, которой я придерживаюсь, не признает ни в природе, ни в человеческой истории чисто закономерные или чисто случайные явления. Каждое явление можно рассматривать в одной связи как закономерное, а в другой – как случайное.

Также обстоит дело и с оккупацией Чехословакии. Это было логическим следствием великодержавных актов, чаяний и тенденций вековых захватнических завоеваний царской России, логическим следствием присоединения Сибири, Украины, Польши, прибалтийских стран, Кавказа, Средней Азии, Бессарабии – постоянного поглядывания на Дарданеллы и на все Балканы. Несмотря на неоднократные высказывания Ленина против «экспорта революции» и за «мирное сосуществование» государств с различным социальным строем, эта тенденция к экспансии всегда была составной частью главной надежды на мировую революцию. И это нашло свое воплощение в военном походе 1920 года под лозунгом «Даёшь Варшаву – дай Берлин!» Как известно, Сталин продолжил эту тенденцию к экспансии путем аннексии Эстонии, Литвы, Латвии, Закарпатской Украины: он мечтал также о том, чтобы войти победителем в Царьград под предлогом объединения всех армян, также как и о том, чтобы «освободить» Финляндию (на этот случай Куусинену был уже определен президентский пост). В этом отношении также и оккупация Чехословакии была в историческом плане полностью закономерной.

Всё, что происходит в человеческом обществе, как и в жизни каждого человека, всё причинно обусловлено не одной единственной причиной, а целым комплексом причин, среди них даже совсем незначительные, которые, однако, могут сыграть решающую роль, как, например, легкое нажатие на кнопку, которое может вызвать разрушительный взрыв. Вполне возможно, что, если бы Брежнев после застолья смог бы хорошо выспаться, он бы наверняка подумал бы о последствиях для Советского Союза и КПСС отрицательной реакции на Западе на вторжение в Чехословакию; тогда он не отдал бы своей авиации, танковым и ракетным войскам приказ перейти чехословацкую границу. Ты, конечно, понимаешь, что это я сказал в шутливой форме. Или представим себе, что тогда «голуби» в Политбюро имели бы на один голос больше, чем «ястребы», ведь известно, что были колеблющиеся. Так что, в этом плане оккупация стала делом чистого случая.

По этому поводу я хотел бы заметить, что часто слышал от советских людей, которые благосклонно относились к Чехословакии, примерно следующее размышление: Дубчек сделал ошибку, он был слишком неосторожен. Он позволил чехословацкой прессе критиковать советскую политику и положение в Советском Союзе, что привело советское руководство в ярость. Оно вряд ли смогло бы стерпеть «тявканье» 14 миллионов «неблагодарных чехословаков» на 250 миллионов,

освободивших их в 1945 году.

Такого рода размышления я считаю полностью ошибочными. Дуб-чек не мог действовать по-другому. Если он действительно хотел восстановить настоящий, неискаженный социализм, – а в этом не может быть никаких сомнений, – для этого ему нужна была поддержка абсолютного большинства народа. А это было возможно только в том случае, если бы он решительно покончил с эрой Новотного, когда журналистов за критические выступления приговаривали к длительным срокам заключения, если бы он гарантировал бы открытость и свободу слова.

ЯНОУХ: Когда ты сидел на Лубянке, следователи хотели заставить тебя подписать доносы на самых различных политиков Советского Союза, Чехословакии и международного рабочего движения, и сделать это, так сказать, про запас. Был ли среди них Рудольф Сланский?

КОЛЬМАН: Странным образом, нет. Это меня удивило; ведь я же выступал против него, и это привело к моему аресту. Но Готвальд был среди них.

ЯНОУХ: Есть у тебя какое-нибудь объяснение тому, что тебя выпустили на свободу задолго до смерти Сталина, к тому же по прямому указанию министра безопасности, то есть на самом высоком уровне? Сыграл ли здесь роль тот факт, что ты выступал против Сланского и, таким образом, помог разоблачить его?

КОЛЬМАН: Насколько я знаю, я был лишь один из целой группы освобожденных и реабилитированных именно в тот момент, когда Берия снял Абакумова с поста министра безопасности, заменив его Игнатьевым. Таким образом Берия, у которого уже земля горела под ногами, хотел упрочить свою позицию. Высказанная мною в 1948 году критика в адрес Сланского не имела ничего общего с обвинениями против него на показательном процессе 1952 года. Этот инициированный Сталиным процесс был лишь частью широко развернутой кампании по порабощению восточноевропейских стран.

О еврокоммунизме

ЯНОУХ: Сегодня очень много говорят и пишут о еврокоммунизме. Но ведь это очень сложный вопрос. Я не сомневаюсь, что у Каррильо[33] и Берлингуэра[34] самые благородные намерения. Однако персональные планы и добрые намерения это одно, другое дело историческая реальность, политическая ситуация, объективные закономерности, которые в случае прихода к власти этих партий могли бы отбросить

развитие этих стран на советский путь со всеми его отрицательными и страшными характерными чертами. Я действительно не знаю, как мне относиться к еврокоммунизму. В эмоциональном плане он мне близок и симпатичен, но разум требует проявить скептицизм и осторожность. Совместима ли марксистская философия с практической демократией, со свободой совести, мышления и прессы, с плюралистической политической системой? И если это так, то почему тогда еврокоммунистические партии не начали применять эти высокие и необходимые принципы так сказать у себя дома? В своей собственной внутрипартийной жизни? Почему они не предложили, например, исключенным из партии еретикам, таким, как Гароди[35], снова вступить в партию? Почему они запрещают существование фракций внутри партии? А что касается, например, Коммунистической партии Италии, которая считает Дубчека товарищем и коммунистом, то почему Берлингуэр не приехал к Дубчеку в Братиславу, чтобы выразить ему свою симпатию и солидарность, как это он сделал недавно, посетив в Мадриде Каррильо? Или он больше боится пражского правительства, чем мадридского?

КОЛЬМАН: Ну, здесь, пожалуй, мало о чём можно дискутировать. Как показала Конференция в Мадриде, три еврокоммунистические партии достигли согласия по двум крайне важным пунктам: 1) что они намерены идти своим собственным, самостоятельным, независимым от КПСС путём; 2) что они в будущем, когда примут участие во власти в своих странах, намерены соблюдать демократические свободы, права человека и гражданские права. Это всё, конечно, очень красиво. Но, к сожалению, в Совместном Заявлении нет никакой критики преследования инакомыслящих в советском блоке и нет ни слова об установлении демократии в их собственных партиях. Очень жаль, что они упустили такую возможность! Они же лучше, чем я, знают об имеющемся к ним недоверии: что не только правые, но также и многие левые подозревают их в том, что их политика это только маневр, чистая предвыборная тактика. С исторической точки зрения такое недоверие легко объяснить. Но я убежден в том, что они заявляют об этом совершенно искренне; но ведь такие вещи надо доказывать не словом, а делом! А это значит, разрешить дискуссии по вопросам программы, устава, стратегии и тактики, вплоть до образования фракций внутри партии; с распростертыми объятиями восстановить в партии товарищей, исключенных из-за критики; открыто заявить о том, что нет, и не может быть социализма без осуществления социалистической демократии; что требование соблюдения прав человека не

является вмешательством во внутренние дела какого-либо государства, а что это только категорический императив гуманности, независимый от политической системы; что без выполнения этого требования не может быть разрядки. И если они этого ещё не сделали, то нужно опубликовать все документы о преступлениях сталинизма, начиная с речи Хрущева на XX партсъезде.

У меня такое впечатление, что между еврокоммунистами в отношении этих требований нет единого мнения, нет принципиальной ясности. Они, правда, согласились заменить «пролетарский интернационализм», это приукрашивающее московскую диктатуру эвфемистическое словосочетание, лозунгом «международной солидарности». Но они не объясняют, что для них, которые хотят бороться за демократический социализм и национальную независимость, не может быть солидарности с теми, кто свободу в собственной стране втаптывает в землю железным кулаком, а в других странах делает это с помощью танков. Они всё ещё употребляют название «социалистический» для тех режимов, которые у власти в Советском Союзе и в его сателлитах, хотя там средства производства не обобществлены, а переданы во власть государства, когда государством руководит новая привилегированная эксплуататорская каста, а вместо социалистической демократии возникла террористическая диктатура. Октябрьская революция победила под лозунгом «Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Но сегодня эти советы власти не имеют, а являются только исполнительным органом – вся власть принадлежит партийной касте. Использование старой терминологии для обозначения новых явлений может привести лишь к путанице. В Советском Союзе нет государственного капитализма, поскольку там нет капиталистического класса – юридически все предприятия не принадлежат правящей верхушке. Но нет также и государственного социализма, так как у народа нет власти. Скорее всего такой режим можно по Марксу назвать «казарменным коммунизмом».

Вожди еврокоммунистов опасаются, что открытый разрыв с догматическим марксизмом, специально препарированным для нужд советских властителей, может привести к расколу в их собственных партиях (как это недавно случилось не без содействия Москвы в Швеции); ведь их членам в течение десятилетий вдалбливалась ошибочная идея идентичности истинного социализма с советской политикой. Разумеется, есть и такие, кто не хотел бы потерять привилегии, купленные ценой

беспринципной солидарности. Но в действительности – как мы уже говорили – философия марксизма не только не противоречит социалистической демократии, но, наоборот, без неё немыслима. Еврокоммунисты сами должны открыто заявить об этом.

Другой вопрос как поступать, если в ситуации, когда та или иная еврокоммунистическая партия будет участвовать в правительстве вместе с социал-демократами или другими социалистами, наступят такие объективные обстоятельства, при которых – при всём желании не только коммунистов, но даже плюралистического правительства – придётся провести мероприятия по ограничению гражданских прав. Разумеется, такое нельзя исключить. Но это не должно помешать нам поддерживать эти партии в надежде, что они достигнут своей благородной цели.

И ещё два замечания по этому поводу. Когда я, недавно выступая в Гамбурге перед студентами, упомянул о требовании свободы фракций, один из членов итальянской компартии так возразил мне: «Нельзя терпеть образование фракций, так как это приведёт к расколу в партии». Такую позицию я считаю несовместимой с партийной демократией, так как она ставит крест на свободе дискуссий, критики, оппозиции. Такой запрет на образование фракций был, как известно, одобрен, по предложению Ленина на X съезде КПСС в 1921 году, что явилось также одной из его роковых ошибок, приведших к ужасающим последствиям. А что же такое, собственно говоря, партийная фракция? Это группа членов партии, несогласных по некоторым пунктам с линией большинства и желающих отстаивать свои взгляды. Разве это преступление? Какой же иначе должна быть партийная демократия?

И ещё одно: я сказал, что недоверие многих социалистов по отношению к еврокоммунистам в историческом плане понятно. Ведь мы, коммунисты, виноваты в том, что в 30-е годы мы, вместо того, чтобы образовать вместе с социал-демократами, независимыми социал-демократами и социал-христианами политиками единый фронт против растущей фашистской опасности в Германии, направили огонь нашей критики против социал-демократов и тем помогли Гитлеру прийти к власти. Но такие же упреки мы можем направить и в адрес социал-демократов и других социалистов, которые не только ничего не сделали, чтобы предотвратить Первую мировую войну 1914–1918 годов, но даже поддержали её. Я считаю, что сегодня менее всего нужно возвращаться к этим ошибкам, которые, говоря открыто, были преступлениями, которые совершили обе стороны. Несмотря на кажущийся медовый месяц между Советским Союзом

и США, несмотря на штиль на обычно таком бурном Тихом океане, или как раз поэтому, время, в котором мы живём, несравненно более опасно для человечества, чем периоды перед обеими мировыми войнами. Поэтому я считаю долгом социалистов всех оттенков, и к ним я причисляю также и еврокоммунистов, вместе выступить против военной опасности, то есть не только за полное разоружение, но также и за гражданские свободы, за социальный прогресс и за национальную независимость во всем мире. В этом смысле я выступаю за конвергенцию социалистов и коммунистов и надеюсь, что она в будущем приведет не только к идеологическому, но также и к организационному единству международного социалистического движения.

ЯНОУХ: Компартия Франции на своём партийном съезде в 1976 году одобрила принципиальные изменения в своей программе; она попыталась осуществить определенную модернизацию своего теоретического «арсенала». Так она отменила понятие диктатуры пролетариата. В этой связи у меня сохранилось одно личное воспоминание: в 1967 году, на партийной конференции в Праге я сказал, что сегодня, в эпоху научно-технической революции, марксизм должен пересмотреть своё учение о руководящей роли пролетариата, поскольку пролетариат, что касается его численности и значения, все более заменяется научно-технической интеллигенцией. Тогда из-за моих еретических высказываний у меня было много трудностей, но я «выжил»; только спустя три года меня исключили из компартии; это произошло уже после оккупации Чехословакии. Что думаешь об этом, ты, марксист так называемой старой, классической школы?

КОЛЬМАН: Понятия меняют свой смысл. Так звучит название одной главы моей книги «Проблема бесконечности», которую я не смог опубликовать в Советском Союзе. Я считаю, что Компартия Франции (как и ты) совершенно права. С 1888 года, когда Маркс и Энгельс издали Коммунистический Манифест, в мире очень многое радикально изменилось; и только неисправимые догматики могут некритически придерживаться устаревших понятий.

Во всяком случае, странно, что именно теоретики в Советском Союзе с одной стороны утверждают, что пролетариата больше нет, а с другой настаивают на необходимости диктатуры пролетариата – во Франции! Вероятно, именно поэтому газета «Московская правда» недавно исключила из текста речи французского президента данные о жизненном уровне французских рабочих, с тем, чтобы советские рабочие не смогли

сравнить их уровень жизни со своим.

Я хотел бы ещё добавить, что даже само понятие «пролетарского интернационализма» значительно пострадало после того как в августе 1968 года советские танки раздавили его на улицах Праги.

ЯНОУХ: Должен ли я так понять твой ответ, что ты только в случае европейских демократических государств видишь возможность ненасильственного перехода к социализму? Или ты считаешь, что диктатура пролетариата будет заменена другой диктатурой? А какой она будет?

КОЛЬМАН: Да, я твердо убежден, что в Западной Европе не только возможен ненасильственный переход к социализму, но что он даже в высшей степени вероятен; это означает, что здесь применение силы ограничится чисто экономическими сферами – налогообложением, национализацией важнейших средств производства, ограничением прав предпринимателей. Когда Маркс утверждал, что между капитализмом и социализмом неизбежно наступит период диктатуры пролетариата, и это было 125 лет тому назад, он добавил, что формы этой диктатуры в различных странах будут отличаться друг от друга. Например, в Англии, и, если я не ошибаюсь, он упомянул также Францию, революционный переход пройдет, возможно, ненасильственным путём. Кстати, а чем же была новая, не предусмотренная ни Марксом, ни Лениным, форма диктатуры пролетариата – народная демократия в 1945–1948 годах в Чехословакии? В связи с этим мне хотелось бы еще добавить, что ни Маркс, ни Ленин не предсказывали появление двух тоталитарных общественных форм – ни фашизма, ни псевдосоциализма.

Это свидетельствует о крайней сложности социально-экономических закономерностей, а не о «ненаучности» марксизма или слабости его создателей; также как мы не можем упрекнуть Ньютона или его механику в том, что понадобилось три столетия для возникновения релятивистской механики. Мы должны извлечь из этого для себя урок о необходимости дальнейшего развития марксизма и борьбы с его догматическим перерождением. Я считаю, что именно победа демократического социализма в западноевропейских странах, с одной стороны, станет самым важным вкладом в дальнейшее развитие марксистской теории, а, с другой стороны, будет мощным, если не сказать самым мощным, стимулятором демократизации, либерализации, гуманизма в псевдосоциалистических странах.

ЯНОУХ: Ты как-то во время нашей беседы упомянул, что не видишь, какие общественные силы в Советском Союзе могли бы стать носителями демократизации, и, позволь мне добавить, модернизации советского общества. Я считаю, что положение не так уж безнадёжно. Советское руководство постоянно находится под двойным мощным и растущим внутренним давлением, не говоря уже о внешнем давлении.

Вот, например, политика разрядки. Причем я имею в виду подлинную разрядку, представляющую собой реальный и количественный обмен информацией, идеями, и постепенное открытие прочно закрытого советского общества (вследствие технического развития и революции в коммуникационных технологиях), ту разрядку, которая является не следствием каких-либо сделок между супердержавами, а следствием всеобщих тенденций второй половины XX столетия. Такую политику никак нельзя ни запретить, ни замедлить ее ход с помощью специально подготовленной армии полицейских и цензоров и сети глушилок зарубежных радиостанций. Таким образом, население в Советском Союзе, и тем более в Восточной Европе, сможет больше узнать о жизни в других странах, получать больше информации и больше возможностей сравнивать и размышлять; а их поведение и их взгляды будут меняться.

Так называемые движения за гражданские права или национальные, или религиозные движения – это только вершина айсберга, которая выступает над поверхностью. И советское руководство, и его политика и пропаганда не могут оставить без внимания эти тенденции и изменения, как в советском обществе, так и в восточноевропейских обществах. Полностью задержать такой быстрый процесс советское руководство никак не сможет: ведь для этого пришлось бы вернуться к всеохватывающему сталинскому террору и отгородиться от внешнего мира. Кроме того, у сегодняшнего руководства, наученного историческим опытом, есть, наверное, обоснованные опасения в отношении такого террора: оно знает, что может само стать его жертвой в будущем.

А изоляция от внешнего мира в настоящее время для советского руководства неприемлема: с одной стороны из-за его великодержавных амбиций, с другой стороны для него жизненно важно иметь доступ к технологии и промышленному ноу-хау Запада. Ведь научно-техническая пропасть между Советским Союзом и высокоразвитым индустриальным Западом не уменьшается; она остается такой же или даже ещё увеличивается. Технологическая модернизация Советского Союза, без которой он не будет способен преодолеть хронические трудности снабжения

и производства и которая поэтому является главной целью советского руководства (и особенно его генералитета), находится, однако, в глубоком и непреодолимом противоречии с централизованной, бюрократической и консервативной политической системой Советского Союза. Те требования, которые научно-техническая революция предъявляет этой системе, станут очень сильным фактором воздействия на осуществление принципиальных изменений.

КОЛЬМАН: Я полностью с тобой согласен, когда ты описываешь общие тенденции развития в Советском Союзе. Но ты, к сожалению, ошибаешься, когда говоришь, что процесс прозрения будет быстрым. Он проходит чрезвычайно медленно и охватывает всё ещё только очень тонкий слой советского общества, хотя со временем он распространится на постоянно растущие круги населения, и в самое последнее время не только на интеллектуалов, но и на часть трудящихся. Поэтому я хочу, несмотря на мой оптимизм, все же проявить сдержанность, особенно с учетом того, что за последнее время неистовство КГБ и других служб безопасности в Чехословакии, Польше, ГДР, как и в самом СССР, уменьшилось лишь незначительно.

ЯНОУХ: В твоём «Открытом письме Брежневу» ты говоришь, что остаёшься марксистом. А в твоих мемуарах ты, с другой стороны, утверждаешь, что вырождение социализма в Советском Союзе стало необратимым процессом. Видишь ли ты какой-нибудь выход, какие-нибудь перспективы для социализма? В чём и как?

КОЛЬМАН: Твои вопросы касаются проблем, о которых я сам постоянно задумывался за последние годы, которые меня беспокоили, волновали, так как «мышление болит», как говорил Масарик.

Это верно, что социализм нигде пока не был построен, осуществлен реализован. Я это уже написал в одной из статей в газете «Руде право» перед оккупацией 1968 г. и повторил это в докладе об использовании кибернетики в социальных системах на конференции в Москве и также в моей статье в югославском философском журнале «Кибернетика», за что и получил партийный выговор. Но из этого совсем не следует, что социализм нельзя осуществить. И также из этого совсем не следует, что я не в состоянии с приемлемой вероятностью предсказать, когда и где – и как, что чрезвычайно важно, – социализм будет реализован.

Мне кажется, что для этого есть три различные возможности, хотя может быть есть и другие, которые я мог упустить.

1. Не исключено, что молодое поколение в Советском Союзе

добьётся значительной демократизации режима. Тогда, разумеется, потеряет значение то, что я говорил о необратимом процессе вырождения социализма в Советском Союзе. Хотя я и признаю, что не вижу никаких заметных признаков этого: правда, когда я был в плену в России с 1915 года и при этом встречался со многими людьми из различных слоёв населения, я бы назвал сумасшедшим каждого, кто бы утверждал, что через два года революция свергнет царизм.

2. Можно серьезно рассчитывать на то, что социализм ненасильственным, демократическим путем, а именно тем путем, который предсказывал Маркс для западноевропейских стран, победит в таких западноевропейских странах, как Испания, Италия, Франция, Великобритания, а также Португалия. Я не сомневаюсь в том, что Каррильо или Берлингуэр действительно стремятся к демократическому социализму; и я считаю, что условия в Западной Европе становятся все более благоприятными для его реализации. И, наконец, третья возможность, катастрофическая: такой могла бы стать война между Советским Союзом и Китаем или советская попытка решить проблему обоих германских государств насильственным путём, что привело бы к третьей мировой, ядерной войне. По моему мнению, очень сомнительно, чтобы в этом случае дело дошло бы до демократизации, независимо от того, победит ли в этой войне Советский Союз или потерпит поражение. Скорее следует ожидать противоположное, а именно, наступления более жестокой террористической диктатуры. Или, что более вероятно, – полное уничтожение обеих воюющих сторон.

ЯНОУХ: Позволь мне еще заметить по этому поводу: конечно, глобальная мировая война не может привести к решению политических проблем, а только к уничтожению цивилизации, или, по крайней мере, к возврату в каменный век. Даже ограниченная ядерная война, на которую рассчитывают военные штабы некоторых стран (да может ли быть ограниченной такая война при наличии глобального оружия и многократной «overkill capacity» ядерных арсеналов), приведёт, как показал недавно опубликованный анализ группы американских физиков, к умом непостижимым в цифровом исчислении прямым, не говоря уже о косвенных, человеческим жертвам с обеих сторон.

Наш диалог неожиданно сильно затянулся. Мы затронули гораздо больше вопросов, чем первоначально предполагали. Мы начали с моего простого вопроса, как ты, собственно говоря, пришёл к социализму. Ты дал много ответов и сообщил мне много подробностей. Но мой главный вопрос все ещё остался, по крайней мере, для меня, без ответа. Но у меня в процессе

разговора зародилось подозрение, которое я хотел бы сформулировать в виде заключительного вопроса: возможно ли, что твоя уверенность в осуществимости марксистского социализма в достойной для человека форме стала для тебя (как и для многих других в твоем положении) непререкаемой религией?

КОЛЬМАН: Моя уверенность, что подлинный социализм когда-нибудь будет реализован, не является формой религиозной веры. Если это называть так, то пришлось бы также каждого, кто твердо убежден в истинности любой физической теории, называть приверженцем одной из религий. Ты же не можешь отрицать, что марксизм дал правильный научный анализ существующей действительности. Может быть, ты считаешь, что марксистские методы можно применять только при научном анализе природных явлений, а не общества и его истории. Но подумай: общество это ничто иное, как часть природы. Оно не находится над ней или вне её. Хотя социальные закономерности намного сложнее, чем, скажем, законы квантовой физики. Но, однако, из этого не следует, что нужно отбросить марксизм; скорее всего, его нужно далее развивать.

Франтишек Яноух – Эрнест Кольман

Перевод с немецкого В. М. Быкова. Под редакцией Ады Кольман и Франтишека Яноуха

Хронология важнейших событий из жизни Эрнеста Кольмана

1882 Родился в Праге 6 декабря, мать – Юлия, отец – Яромир

1910 Окончил гимназию «На Сметанце» в Праге

1911 Поступил в Карлов университет в Праге

1914 Окончил Философский факультет Карлова университета, звание доктора философии; отправлен на фронт

1915 Взят в плен на Восточном фронте

1916 Первый арест (в России)

1918 По рекомендации Бухарина принят в коммунистическую партию

1919 Избран членом Московского комитета партии

1920 Комиссар 5-й Красной армии в Сибири

1921 Родился сын Эрмар

1921–22 Германия, член ЦК коммунистической партии Германии

1922 Второй арест, (в Германии), выслан в СССР

1923 Подпольная работа в Германии

1924 Заведующий отделом просвещения Московского совета

1924 Родился сын Пиолен (Леник)

1925 Директор издательства «Московский рабочий»

1926 Родился сын Электрий (Элик)

1929 Заместитель начальника Агитпропа ЦК ВКП(б)

1931 Член дирекции Института Маркса и Энгельса, начальник отдела К. Маркса

1931 Поездка с Бухариным на научный конгресс в Англию

1932 Директор Института Красной профессуры

1933 Член президиума Коммунистической академии

1934 Профессор философии в МГУ

1935 Брак с Екатериной Концевой

1936 Заведующий Отделом науки Московского комитета ВКП (б)

1937–39 Арест и ликвидация брата Рудольфа Кольмана и брата жены Кольмана, Бориса Концевого

1939 Профессор математики МГУ

1939 Рождение дочери Ады

1940 Эвакуация в Алма-Ату

1941 Служба в 7-м Политотделе Красной Армии для работы с военнопленными

1942 Начало сотрудничества с журналом «Чехословацкие Листы» в Москве

1943 Возвращение в Прагу, профессор философии Карлова университета

1945 Заведующий Агитпропом ЦК КПЧ

1948 Третий арест (в Праге), перевезен в Москву через Вену

1948–52 Тюрьма на Лубянке

1949–52 Жена и дочь в ссылке в Ульяновске

1949–54 Сын Екатерины Концевой, Вячеслав Стороженко, арестован, осужден и сослан в Каргопольлаг, реабилитирован в 1954 г.

1954 Институт истории естествознания и техники АН СССР

1954–55 Лекции о кибернетике, борьба за ее реабилитацию

1959 Возвращение в Прагу

1960 Академик Чехословацкой Академии Наук (ЧС АН), директор Института философии, председатель Коллегии философских наук

1962 Отказ от всех функций и должностей и уход на пенсию

1963 Возвращение в Москву

1968 Поддержка Пражской весны

1969 Строгий партийный выговор с предупреждением из-за статей, поддерживающих Пражскую весну

1972–74 Работа над мемуарами

1975 Мемуары нелегально вывезены в Швецию

1976 Кольман с женой получают разрешение посетить дочь Аду в Швеции

1976 Открытое письмо Брежневу о выходе из коммунистической партии после 56 лет пребывания в ней

1976 Лишен звания академика ЧС АН

1976–78 Подготовка мемуаров к изданию, работа над Диалогом с Франтишеком Яноухом

1979 22-го января умирает в Стокгольме

Эрнест Кольман, 1926 г.

Мать Эрнеста Кольмана, Юлия

Брат Рудольф

Сестра Марта

Сибирь, 1921 г.

На Красной площади, 1919 г.

Кольман с Лениным, 1919 г.

С группой слушателей, 1926 г.

Катя и Эрнест на отдыхе, 1936 г.

1936 г.

В эвакуации. Алма-Ата, 1942 г.

С дочерью Адой. Прага, 1947 г.

Карикатуры чешского художника Адольфа Гофмейстера, 1947 г.

Кольман с женой Катей и дочерью Адой. Прага, 1947 г.

С женой и дочерью. На отдыхе в Паланге, 1954 г.

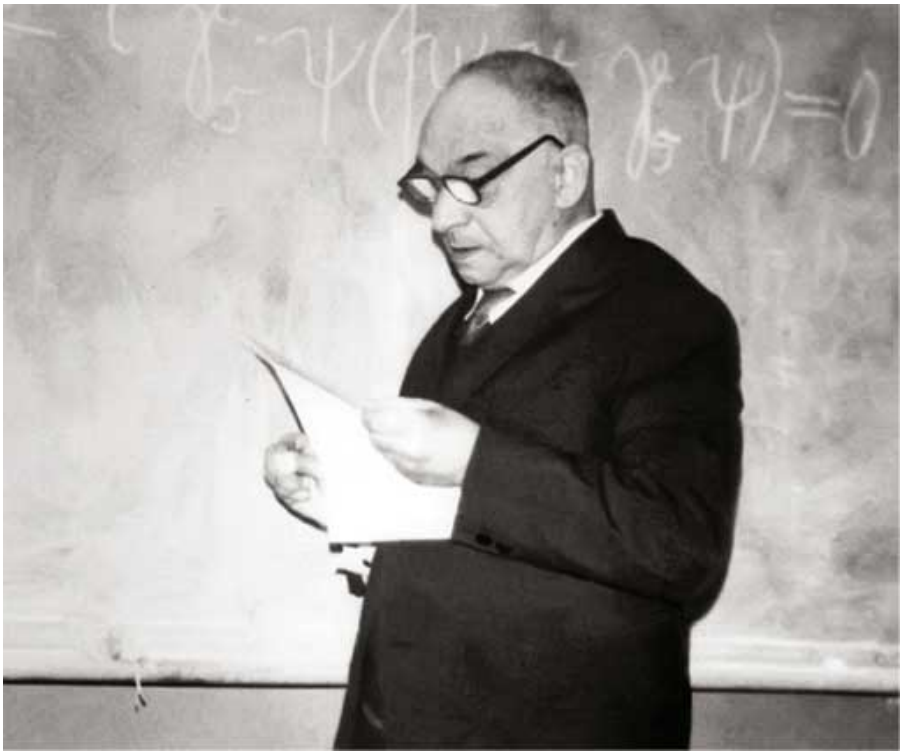
КИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
общества по распространению политических и научных знаний
Украинской ССР
ПОНЕДЕЛЬНИК 9 АПРЕЛЯ
Доктор философских наук, профессор
Э. Я. КОЛЬМАН
ПРОЧТЕТ ПУБЛИЧНУЮ ЛЕКЦИЮ НА ТЕМУ:
КИБЕРНЕТИКА
(о машинах, выполняющих некоторые психические функции человека)
„Они — созданные человеческой рукой органы человеческого мозга, овеществленная сила науки"
(К. Маркс, Очерки к критике политической экономии)
Лекция состоится в помещении клуба Киевского государственного университета
(ул. Владимирская, 58)
ВХОД ПО БИЛЕТАМ
Коллективные заявки на билеты принимаются по телефону 3-00-02

Афиша первой в СССР публичной лекции о кибернетике. Киев, 1956 г.

С женой и дочерью. Москва, 1957 г.

Южная Чехия, 1964 г.

С внучкой Катей и внуком Эриком. Голицыно, 1972 г.



Одесса, 1973 г.

Кольман с Франтишеком Яноухом. Стокгольм, 1976 г.

Семья Ады и Франтишека. Стокгольм, 1976 г.

С женой Катей. Москва, 1976 г.

notes

Примечания

1

Правда и поэзия, намек на название мемуаров Гете под названием Dichtung un Wahrheit.

2

Каждый выстрел – один русский (*нем.*).

3

Рудольф Кольман приехал в СССР со своей подругой Анной, и в 1930 г. у них в Москве родилась дочь Соня. Вскоре после рождения дочери Анна уехала вместе с ней на похороны своего отца в Германию, и в СССР они больше не вернулись. Соня живет в Лейпциге, Эрик Кольман – в Москве. Лишь в 2004 г. Соня и Эрик узнали друг о друге.

4

Во время перестройки, в 1992 г., Катя Концевая посетила своего брата в Алма-Ате.

5

Личные нападки (*лат.*)

6

В период между февралем и сентябрем 1948 г. было арестовано много некоммунистических политиков. Кольман, очевидно, являлся первым известным деятелем КПЧ, который был после февральского переворота отстранен с политической сцены и арестован.

7

Академик Эрнест Кольман был исключен из членов Чехословацкой Академии наук лишь в 1976 г., после того как он, уже будучи в Швеции, опубликовал свое открытое письмо Л. Брежневу (см. Приложение). После «бархатной революции» в 1990 г. Э. Кольману посмертно было возвращено звание академика.

8

Карел Крамарж (1860–1937) – чешский политик; одно время был премьер-министром Чехословакии.

9

Младочехи – политическое движение в Чехии в конце XIX века, выступавшее за освобождение чешского народа.

10

Карел Гавличек Боровский (1821–1856) – чешский поэт и журналист.

11

Петр Безруч (1867–1958) – чешский поэт.

12

Теодор Герцл (1860–1904) – основатель сионизма.

13

Моррис Розенфельд (1862–1923) – еврейский поэт.

14

Ярослав Врхлицкий (1853–1912) – чешский поэт.

15

Томас Гарриг Масарик (1850–1937) – чешский философ и политик. Первый президент Чехословакии.

16

Игорь Ростиславович Шафаревич (1923 г.р.) – математики, академик, диссидент.

17

Антонио Грамши (1901–1937) – итальянский марксистский философ.

18

Карел Косик (1926–2003) – чешский марксистский философ.

19

Лукаш Диерди (1885–1971) – венгерский социолог и философ.

20

Лешек Колаковский (1927–2009) – польский философ.

21

Адам Шафф (1913–2006) – польский философ и социолог.

22

Дирк Струйк (1894–2000) – американский математик и философ.

23

Рожер Гароди (1913) – французский марксистский философ.

24

Роберт Хавеманн (1910–1982) – немецкий физико-химик, философ. Работал в ГДР.

25

Херберт Маркузе (1898–1979) – немецкий философ и социолог.

26

Не могу воздержаться от недоумения: почему я не назвал в числе своих возражений кронштадтское восстание, которое ясно свидетельствовало о полном отходе большевиков от марксизма, от своих идеалов! (Примечание сделано Ф. Яноухом во время чтения русского перевода диалога в феврале 2011 г.).

27

Бланкизм – революционное течение, отдающее приоритет заговорщической деятельности и террору против властей. Связано с именем француза Луи Огюста Бланки.

28

Богемские братья – евангелическая церковь, действующая на территории Чехии.

29

Василь Биляк (1917 г.р.) – чехословацкий коммунистический политик, представитель просоветского крыла политбюро КПЧ.

30

Юрий Благов, журнал «Крокодил», номер 12, 1953 г.

31

Рудольф Сланский (1901–1952) – Генеральный секретарь КПЧ. Казнен.

32

Антонин Новотны (1904–1975) – чехословацкий политик, Президент и Первый секретарь КПЧ.

33

Сантяго Карильо (1915 г.р.) – лидер коммунистической партии Испании.

34

Энрико Берлингуер (1922–1984) – лидер коммунистической партии Италии.

35

Роджер Гароди (1913 г.р.) – французский марксистский философ.